Я. Элсберг

ГЕРЦЕН

Я. Эльсберг

ГЕРЦЕН

Жизнь и творчество

Издание четвертое, дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1963

Оформление художника
В. ЕРЕМИНА

ОТ АВТОРА

Наследие великого деятеля русского освободительного движения Александра Ивановича Герцена необычайно многосторонне. Герцен говорил, что Ломоносов был «типом русского... по своему энциклопедизму...» (7, 188) [1]. Эти слова с полным правом могут быть отнесены и к нему самому. Еще в 1845 году в письме к Огареву Герцен писал: «Надобно одействорить все возможности, жить во все стороны, это — энциклопедия жизни... Горе закапывающему талант, а развивший в себе все, насколько умел, прав» (III, 434). В «Былом и думах», подводя итог своему прошлому, Герцен имел все основания сказать: «Мы жили во все стороны» (9, 113). Деятельность Герцена охватывает политику, философию и эстетику, художественное творчество и публицистику, критику и историю общественной мысли и литературы. Бесспорно, что каждая из этих областей может быть и несомненно станет предметом специальных исследований. Такие монографии уже стали появляться. Также очевидна необходимость создания подробно разработанной научной биографии Герцена.

---

[1] В тексте арабскими цифрами обозначены тома (1—20) Собрания сочинений А. И. Герцена в тридцати томах, изд. АН СССР, римскими — тома Собрания сочинений и писем под ред. М. К. Лемке. По первому изданию цитируются произведения Герцена, по последнему — его письма. Для удобства читателя в нескольких случаях иностранные слова в цитатах даются в русском переводе.

Настоящая же книга ставит себе другую цель. Ее задача — на основе ленинских указаний охарактеризовать жизнь и творчество Герцена в целом как «...писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции»[1].

Удивительное по своей многосторонности дарование Герцена было замечательно целеустремленным. Не раз на протяжении этой книги мы будем отмечать, как тесно и неразрывно сплетались между собою философские, публицистические, художественные произведения Герцена, как в них ставились и разрешались разными средствами одни и те же кардинальные проблемы. Эта теснейшая взаимосвязь выходит далеко за пределы одного тематического, проблемного единства. Она находит свое специфическое выражение в том живом, непосредственном, лирическом отпечатке личности Герцена, который лежит на каждом его произведении.

В сущности все произведения Герцена — и теоретические, и публицистические, и беллетристические, и непосредственно автобиографические — в различной степени и форме представляют собою документы и вехи его идейного развития и борьбы и рассказ об этой борьбе.

Герцен был прав, когда определял содержание «Былого и дум» словами «биография и умозрение» (12, 451) и когда, характеризуя содержание одной из статей, входящих в философский цикл «Дилетантизм в науке», писал: «Тут моя поэзия... Я иными словами могу высказывать тут, чем грудь полна» (2, 265).

Герцен явился создателем литературных произведений особого рода: они возникли на основе его собственной жизни, его идейной, политической борьбы и по праву стали не только фактами литературы, но и средствами идейной пропаганды, явлениями политики.

Поэтому, желая дать представление о биографии Герцена, мы сосредоточиваем наше внимание на том, как его жизненный и идейный путь отразился и воплотился во всех основных его произведениях, независимо от их жанра и характера, и какую роль каждое из этих сочинений сыграло в осуществлении и развитии устремлений Герцена — революционера и патриота.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9.

Такая установка, естественно, обусловила биографическое, хронологическое построение книги. Это по преимуществу духовная, идейная, творческая биография Герцена. Фактам бытовой обстановки жизни Герцена, тем или иным событиям последней в книге отводится сравнительно скромное место: рассказ об этих событиях должен не столько повторять, сколько комментировать соответствующие страницы «Былого и дум» или дополнить их менее известным мемуарным и эпистолярным материалом.

Для того чтобы читатель мог уяснить себе историческое место Герцена в идейной борьбе эпохи, в работе значительное место отводится сопоставлению взглядов и оценок Герцена и ряда его современников: Огарева, Белинского, Чернышевского, Бакунина, Грановского, Тургенева, Боткина, Анненкова, Кавелина, Чичерина, Ю. Самарина, Прудона и др.

Настоящее, четвертое издание этой книги отличается от третьего (1956) рядом дополнений, из которых наиболее существенные касаются взглядов Герцена на пути развития человеческой личности, его этических воззрений и борьбы вокруг наследия Герцена в наше время, когда идеологи буржуазии вновь настойчиво пытаются, искажая идейную роль великого русского писателя, присвоить себе его наследие.

В предисловии к третьему изданию я перечислил ряд исследований о Герцене, вышедших в свет в 1951—1956 годах, результаты которых были использованы в монографии. Сейчас должен подчеркнуть, что в нынешнем ее виде эта книга многим обязана той большой коллективной работе, которая велась все эти годы над тридцатитомным Собранием сочинений А. И. Герцена в Институте мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР.

Для герценоведения очень большое значение имел выход из печати томов 63 и 64 «Литературного наследства» (1956—1958), содержащих материалы герценовского наследия, хранящиеся в заграничных коллекциях, материалы архива «Колокола» и т. д.

Из больших монографических работ, опубликованных в 1956—1962 годах, следует отметить книги Л. Гинзбург «Былое и думы» Герцена» (1957) и Е. И. Зелигер-Рубинштейн «Вопросы воспитания в жиз-

ни и творчестве А. И. Герцена» («Ученые записки Государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 234, Л. 1962). Весьма полезны «Материалы к библиографии произведений А. И. Герцена и литература о нем», 1947—1957, тщательно собранные Ф. П. Гусаровой, Г. И. Набоковой и Л. С. Терещатовой («Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 196 — «Творчество Герцена», Л. 1959, стр. 265 — 465). Материалы эти продолжают библиографию за 1936—1947 годы, опубликованную в т. 78 тех же «Ученых записок» (1948). (Ср. также работу С. А. Щелудько «А. И. Герцен в советской историографии (1917—1933)» в «Ученых записках Академии общественных наук», № 36, кафедра истории СССР, 1958).

Ряд важных вопросов исследования жизни, деятельности и творчества Герцена поставлен в подготовленном Институтом мировой литературы сборнике «Проблемы изучения Герцена» (изд. АН СССР, 1963, ред. В. П. Волгин, Ю. Г. Оксман и др.).

Мало исследованные вопросы революционной деятельности Герцена полнее освещены теперь в трудах Группы по изучению революционной ситуации конца 1850-х и начала 1860-х годов (руководитель — М. В. Нечкина) при Институте истории АН СССР. Указания на статьи этих сборников читатель найдет в тексте. Впервые герценовское литературно-критическое наследие собрано в книге «А. И. Герцен о литературе», составители и авторы предисловия И. Птушкина и В. Путинцев (1962).

Новой и очень важной чертой герценоведения последних лет является то, что активную роль в нем стали играть ученые народно-демократических стран, в особенности Германской Демократической Республики.

Ссылки на ряд статей, посвященных изучению наследия Герцена, появившихся в 1956—1961 годах и в особенности в 1962 году, в связи с широко отмечавшейся в СССР, а также и за рубежом 150-летней годовщиной со дня рождения великого писателя, даются по ходу изложения.

1963, июнь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА РОДИНЕ

1812—1847

I. РАННЕЕ РАЗВИТИЕ

(1812—1828)

Трудно назвать другого великого русского писателя или мыслителя XIX века, который бы так рано и близко, как Герцен, столкнулся на своем жизненном пути с крупнейшими событиями в истории своей родины, со значительными и оригинальными людьми, воплощавшими собою дух и характер этих событий.

Впоследствии Герцен указывал, что его художественная автобиография «Былое и думы» представляет собою «отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге» (10, 9). Действительно, жизнь его сложилась таким образом, что он часто оказывался на великих, трудных и решающих поворотах и перепутьях истории.

И Герцен с ранних лет умел не терять те яркие и разнообразные впечатления, которыми его дарила жизнь, а воспринимал их глубоко, страстно, деятельно. Задумываясь в 1837 году над замыслом художественной автобиографии, он спрашивал в письмах к своей будущей жене: «Для чего же душа будет терять впечатления, коим она подверглась в жизни, ежели только эти впечатления достойны не быть потраченными?» (I, 449).

1. В доме отца

Родился Герцен 25 марта (6 апреля) 1812 года в Москве, в семье богатого и знатного барина Ивана Алексеевича Яковлева. Яковлеву, его семье и домочадцам довелось испытать на себе бури и невзгоды Отечественной войны 1812 года. Капризная нерешительность барина, привыкшего к раз навсегда заведенному, неизменному распорядку домашнего быта, была причиной того, что Яковлев собрался покинуть Москву только в тот момент, когда наполеоновские авангарды уже вступали в опустевший город. Пришлось пережить пожары, грабежи, плен, жизнь на биваках под открытым небом. Яковлев должен был взять на себя поручение Наполеона отвезти Александру I письмо с предложением мира. События 1812 года, естественно, оставались неистощимым предметом бесед и рассказов в семье Яковлевых долго после того, как жизнь вошла в привычную колею. Поэтому и писал Герцен: «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей» (8, 22). Живое воображение переносило Шушку (так называли в семье маленького Александра) в ту грозную годину. С затаенным волнением слушал он рассказы нянюшки Веры Артамоновны о переходе французских линий или о том, как неприятельский драгун выхватил его из рук кормилицы, надеясь найти в пеленках спрятанные драгоценности. К тому же даже через десять лет, после того как отгремела «гроза двенадцатого года», Герцен еще видел на улицах Москвы обгорелые дома и развалины. В гостиной отца он встречал героев Отечественной войны, блестящих офицеров, окруженных ореолом мужества, храбрости, побед, славы и признания. И мальчик мечтал о военных подвигах, о красивом мундире и эполетах.

«Вечная память двенадцатого года», воспетая Пушкиным, навсегда осталась для Герцена дорогой и священной.

Неразрывной со «славою чудесного похода» (говоря опять пушкинскими словами) стала для подраставшего Герцена и слава Москвы — «народного города» (I, 61), как сказал он в одном письме 1830 года (то же выра-

жение Герцен повторил много позднее в «Былом и думах»). «Края Москвы, края родные» с ранних лет волновали душу Герцена. Летом 1833 года он писал: «Теперь деревня — рай, и я с радостью бы поехал... на короткое время, ибо для меня и Москва не хуже рая. Я привык, я люблю Москву, в ней я вырос...» (I, 106). В Москве Герцен видел воплощение тех народных сил, которые в кризисные моменты русской истории дали беспощадный отпор иностранным завоевателям — польским панам в 1612 и Наполеону — в 1812 году. Эти героические традиции великого города навсегда остались драгоценными для Герцена, несмотря на то что чем дальше, тем более резко он критиковал отсталость и косность ленивой и сонной жизни барской Москвы.

Герцен любил прогулки по Москве, посещения ее живописных окраин. Он живо чувствовал «родимой прелесть стороны» и много раз любовался панорамой громадного раскинувшегося города, с его древним Кремлем, садами и бульварами и золотыми маковками церквей, напоминавшей об исторической славе «матери градов России» (Пушкин).

Вообще, детство подарило Герцену много светлых впечатлений, причем своеобразие последних заключалось в том, что они необычайно рано ввели его в круг интересов общественной жизни России. Он имел все основания сказать: «Жизнь моя сложилась рано» (18, 88). Светлые образы, освещавшие детство Герцена, не принадлежали тому тесному домашнему кругу, который так чудесно изобразил Лев Толстой. В самом укладе семьи, в которой рос Герцен, были заложены черты и особенности, вызывавшие к себе раннюю настороженность мальчика.

Отцу Герцена к моменту рождения сына было 45 лет. В молодости гвардейским офицером он блистал на балах при дворе Екатерины II, затем много путешествовал и долго жил за границей. Служебная карьера ему не удалась, светские успехи и рассеянная жизнь наскучили, и этот умный человек рано превратился в брюзгу и педанта, надоедающего всем домашним вежливыми, но мучительнейшими, скучнейшими поучениями. К тому же он умел иронически подмечать слабые стороны людей и пользоваться этим.

Домочадцы должны были подчиняться его капри-

зам, возведенным в ранг незыблемого церемониала, выражавшегося, например, в том, что утренняя газета подавалась Ивану Алексеевичу нагретой, дабы не простудить рук еще сырыми листами. Таков был отец Герцена. Мать его, Луиза Гааг, была уроженкой немецкого города Штутгарта. Это была чрезвычайно добрая, ласковая, но безвольная и слабая женщина. Яковлев познакомился с ней во время последней из своих заграничных поездок. Она была тогда совсем молоденькой девушкой, тяготилась жизнью в родительском доме и однажды, обиженная и огорченная, нашла приют у своих знакомых в русском посольстве (русским посланником в Штутгарте был тогда Лев Алексеевич Яковлев, брат отца Герцена). За несколько месяцев до рождения сына Иван Алексеевич увез Луизу Ивановну в Москву. Брак их никогда оформлен не был. Мешали: с его стороны — барские предрассудки и лень, с ее — бесхарактерность, неспособность отстоять интересы свои и ребенка.

Таким образом, Герцен был «незаконным сыном» Яковлева и считался «воспитанником» последнего. Фамилия, данная ему отцом, происходит, по-видимому, от немецкого слова Herz — сердце. Яковлев любил сына, баловал его, но любовь и привязанность тщательно маскировались условностями светских манер и напускной холодностью привыкшего к одиночеству человека. Отцовские чувства выражались по преимуществу во внешней заботливости. Он создал, например, целую систему мелочной, подробно разработанной опеки, имевшей целью уберечь сына от простуды. Но эта стеснительная и надоедливая опека, регламентировавшая весь внешний распорядок жизни, оставляла как раз свободу духовному развитию ребенка. Кузина Герцена, Т. П. Кучина (впоследствии по мужу — Пассек), с которой он сердечно дружил в детстве, писала, вспоминая дом Яковлева: «У Ивана Алексеевича преобладал над всем процесс капризного человека, оригинального деспота, но семьи того времени, начинавшей отживать... и условий общественных приличий там не было. Даже воспитание Саши... давало свободу развиваться естественным силам и способностям»[1].

[1] Т. П. Пассек, Из дальних лет, т. I, изд. А. Ф. Маркса, 1905, стр. 118—119.

Отец не навязывал сыну никаких определенных воззрений на жизнь и требовал лишь неукоснительного соблюдения светских приличий. Герцен не знал того жестокого гнета скопидомного захолустного помещичьего быта, который давил молодого Салтыкова-Щедрина. Он не испытал на себе и того религиозного влияния крепкой, трудовой, но верующей семьи, которое Чернышевскому пришлось позднее преодолевать в упорной внутренней борьбе.

Яковлев был типичным барином екатерининского времени. Он строго следил, например, за формальным соблюдением окружающими церковных обрядов, но сам, по определению Герцена, верил лишь «по привычке, из приличия и на всякий случай» (8, 54).

Он заботился о физическом здоровье сына, но очень мало интересовался тем, что сын читает, и еще меньше тем, о чем он думает. Яковлев нанимал учителей, но не стремился знать, чему и как они ребенка учат; он даже не догадывался, какое влияние на развитие сына и друзей последнего могут иметь исторические уроки быстро развивавшейся русской жизни и передовые идеи западноевропейских мыслителей.

В распоряжении Герцена находилась большая библиотека отца, в которой особенно полно была представлена французская литература; Герцен в детстве прочитал почти всю, проникнутую освободительными идеями, западноевропейскую художественную литературу XVIII века, от юношеских драм Шиллера до комедий Бомарше. Отец вмешивался в чтение сына лишь изредка, под влиянием случайных обстоятельств, о чем осталось любопытное документальное свидетельство, относящееся, правда, уже к 1828 году.

В это время Герцен прочитал «Исповедь» Руссо и глубоко и верно почувствовал страстный демократический дух этой книги, впервые показавшей человечеству богатый внутренний мир плебея-просветителя, человека из народа, овладевшего передовой мыслью.

В письме к своей двоюродной сестре, Татьяне Кучиной, Герцен делится впечатлениями от исповеди «страдальца, энергической души, выработавшейся через мастерские часовщиков, передние, пороки до высшего нравственного состояния, до всепоглощающей любви к человечеству» (I, 30).

Кузина, увлекавшаяся модной тогда сентиментально-идиллической литературой и судившая о Руссо лишь понаслышке, ответила Саше письмом в нравоучительном тоне (она была на два года старше Шушки). По ее мнению, не следовало знакомиться с такими «нечистыми картинами». Письмо попало в руки Ивана Алексеевича, и она заслужила похвалу от последнего и упреки от Саши. «Во всем, что ты пишешь относительно Ивана Яковлевича Руссо, я с тобой согласен и тебя за письмо благодарю. Кто моему ребенку открывает глаза, тот меня одолжает», — написал ей Яковлев. Герцен же ответил ей: «Что это у вас за страсть читать морали?! Я теперь, по милости вашего письма, выслушиваю целые дни проповеди от папеньки» (I, 30).

Восприимчивый, быстро схватывающий, рано научившийся самостоятельно обдумывать прочитанное, мальчик мало был склонен к систематическому учению, зато страстно отдавался беспорядочному чтению, схватывал многое на лету. Знанием французского языка он, например, был обязан чтению отцовских книг не менее, чем учителю-французу. Учителя высиживали установленные для них часы, за редкими исключениями мало влияя на своего ученика.

Именно поэтому Герцен не мог примириться с попытками отца «приставить» к нему «немца», как тогда часто называли вообще иностранных гувернеров. «Немец при детях, — по позднейшему определению Герцена, — и не гувернер, и не дядька, это совсем особенная профессия. Он не учит детей и не одевает, а смотрит, чтоб они учились и были одеты, печется о их здоровье, ходит с ними гулять и говорит тот вздор, который хочет, не иначе, как по-немецки» (8, 51). Тупоумие, невежественность, страсть к мелочной регламентации, свойственные мещанину, нашли своих достойных представителей в тех двух немецких гувернерах, с которыми Шушке пришлось свести знакомство. Рано проснувшийся, бойкий и живой ум мальчика не подчинялся филистерской феруле; Герцен преследовал приставленных к нему «воспитателей» презрением и насмешками; к счастью, они не поладили и с Иваном Алексеевичем.

Из всех учителей наибольшее влияние на Герцена оказал преподаватель русского языка и словесности, студент медицины Иван Евдокимович Протопопов. Гер-

цен вспоминал впоследствии: «У него была теплая человеческая душа, и с ним с первым стал я заниматься» (1, 266—267). Протопопов, начавший свои занятия с Герценом в 1826 году, укрепил и развил в нем любовь к родной литературе.

Герцен подрастал в то время, когда, по его словам, «великий Пушкин явился царем-властителем литературного движения» (1, 268). Начиная с 1825 года ежегодно выходили отдельными книжками новые главы «Евгения Онегина». Гениальные строки, которые и сейчас поражают нас своей неувядающей прелестью, тогда впервые были прочитаны русскими людьми. Каждое пушкинское слово было откровением. «Евгений Онегин», эта, по определению Белинского, энциклопедия русской жизни, впервые поэтически и правдиво воссоздавала картины русской действительности во всем многообразии ее проявлений. Своим «романом в стихах» Пушкин учил ценить русскую культуру, бороться за ее самостоятельность, за просвещение, чуждое подражательного жеманства, за «свободу нашего прекрасного и богатого языка», за создание русской прозы — «почтовой» и книжной. Великий поэт звал к духовной деятельности, пронизанной «высокой страстью», могущей явиться плодом лишь «труда упорного», на который был не способен Онегин.

«Евгений Онегин» воспитывал современников. «Что за восторг, что за восхищенье, — вспоминал Герцен, — когда я стал читать только что вышедшую первую главу «Онегина»! Я ее месяца два носил в кармане, вытвердил на память. Потом, года через полтора, я услышал, что Пушкин в Москве. О боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнею, поглядевши на него. И я увидел наконец, и все показывали, с восхищеньем говоря: «Вот он, вот он» (1, 268—269).

Когда вышла вторая глава, Герцен решительно посоветовал Татьяне Кучиной, любившей, чтобы ее называли Темирой, не пренебрегать своим прекрасным русским именем, которым «страницы нежные романа» впервые «освятил» Пушкин.

Самые яркие, пленительные и непреходящие впечатления, самые заветные мысли и убеждения Герцена находили в творчестве Пушкина поэтический отклик.

Быть может, инстинктивно, но дух свободы и вольности мальчик чувствовал и в тех стихах поэта, которые прошли цензуру.

К настроениям протеста толкала также настороженность ко всему происходящему в отцовском доме, смутное ощущение себя в «ложном» положении. Шушка видел, что мать страдает от придирчивого педантизма и капризов отца, и, конечно, чувствовал себя на ее стороне. Из случайно схваченных разговоров между взрослыми, из наблюдений мальчик убеждался, что некоторые родственники отца смотрят на него, как на «незаконнорожденного», с высокомерной благосклонностью, что ему придется встретиться с такими трудностями в жизни, от которых избавлены его сверстники из других барских семей.

Вспыхивало порой горькое чувство незаслуженной обиды, туманившее отроческие радости и мечты. Брюзжанье отца, скучный и чинный распорядок домашнего быта вызывали в мальчике возмущение.

Остро воспринимал Герцен проявления крепостнического деспотизма. Правда, Яковлев притеснял своих слуг гораздо больше и чаще поучениями, чем какими-либо наказаниями. Но если крепостных редко отправляли в полицию для телесного наказания, то Герцен ребенком не мог не сталкиваться с другими жестокими и грубыми проявлениями крепостнического гнета. Так, на его глазах разыгрывались страшные, душераздирающие сцены, сопутствовавшие отдаче дворовых слуг в солдаты,— ведь военная служба продолжалась тогда двадцать пять лет.

Когда Герцену было десять лет, в их доме покончил с собою крепостной интеллигент Толочанов. Жизнь его была исковеркана крепостным ярмом. Герцен слышал «стон и страдальческий голос» (8, 46) отравившегося.

Смутное недовольство, глухой протест дворни против крепостнических порядков находили отклик в душе мальчика. Герцена тянуло в девичью и переднюю еще и потому, что здесь он чувствовал себя гораздо непринужденнее, свободнее, проще, чем в комнатах отца, вечно чему-нибудь поучавшего.

Летом в подмосковных усадьбах — в Покровском и Васильевском — маленький Герцен любил шалить и иг-

рать с деревенскими ребятами. Он был подвижным и резвым мальчиком, живость которого не в состоянии были подавить мелочная опека отца и тепличное воспитание. В деревне он ощущал себя ближе к народной жизни. Рано почувствовал он обаяние русской природы.

Посещения «передней», знакомство с жизнью деревни вызывали много дум у впечатлительного мальчика. Далеко не все противоречия русской жизни, открыто обнажавшиеся здесь, были тогда же осознаны Герценом, но впечатления, ими порожденные, не пропали даром. Он видел, как тяжка под гнетом крепостничества участь народа.

По словам Герцена, «передняя» с ранних лет развила в нем «непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу» (8, 47).

2. Пробуждение политических интересов и дружба с Огаревым

Огромную роль в духовной жизни Герцена сыграло восстание декабристов. Ему Герцен был обязан своим «нравственным пробуждением» (8, 56).

Впоследствии он, называя декабристов «великими предшественниками нашими», заявлял: «...мы от *них* считаем наше духовное рождение... *их* голос разбудил нас к жизни и *их* пример поддержал через все существование наше» (13, 67).

Четырнадцатое декабря, как неожиданно разорвавшаяся бомба, ошеломило ту среду, в которой рос Герцен. Восстание на Сенатской площади воочию показало, насколько быстро менялась Россия, какие изменения произошли в русском обществе после 1812 года.

«В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма», — говорил В. И. Ленин[1]. Цвет русского дворянства и офицерства оказался способным на открытое революционное выступление, — в этом была сущность небывалого еще исторического урока. Произошла схватка двух исторических сил: царизма и русского революционного движения.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 234.

Многие из семей, к которым принадлежали арестованные, были хорошо знакомы Яковлевым. Воображение Герцена не могло не быть поражено тем, что замешанными в декабрьское дело оказались смелые и блестящие молодые люди, офицеры, доказавшие в войне 1812 года свою преданность отчизне. Среди восставших и казненных был один из его любимых поэтов К. Ф. Рылеев. Много позже, в 60-х годах, он в таких выражениях характеризовал образы этих людей, сохраненные отроческой памятью: «Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками» (18, 88).

Герцена глубоко тронула и взволновала самоотверженность русских женщин, воспетых впоследствии Некрасовым, добровольно принявших всю тяжесть судьбы жен ссыльнокаторжных. Самая жестокость расправы Николая I с декабристами толкала мальчика на сторону восставших. Герцен был тогда политически еще очень наивен. Он не имел сколько-нибудь ясного представления о целях декабристов. Но в нем уже зрели новые думы.

В «Былом и думах» Герцен писал:

«Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудили ребяческий сон моей души». В июле 1826 года Герцен присутствовал на торжественном молебствии в Кремле в честь воцарения Николая I. «Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, осквернённым кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем...» (8, 61).

Естественно, что Герцену уже «хотелось кому-нибудь сообщить... мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение», он «слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб

говорить без разбора» (8, 63). Первый, с кем Герцен поделился своими заветными думами, был учитель русского языка Протопопов. Охваченный «восторгом» «от новой литературы нашей» (1, 268) и благоговея перед Пушкиным, учитель был растроган признанием своего ученика и стал ему приносить рукописные тетради с запрещенными революционными стихотворениями Пушкина и Рылеева. С волнением и трепетом должен был читать Герцен гордые строки своего любимого поэта:

Хочу воспеть я вольность миру,
На троне поразить порок[1].

Революционные стихотворения Пушкина помогли Герцену лучше понять и осознать идейные связи поэта с поколением декабристов, которые он инстинктивно ощущал. Громче зазвучала для него «знакомая струна, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном нашем сердце» (13, 273). Страстная мечта об «огнённой деятельности» принимала все более ясную революционную окраску. Декабристы явили Герцену великий исторический пример героизма, пример, навсегда ставший для него священным. В их лице для Герцена соединились воедино традиция патриотическая и традиция революционная. Впечатления от 14 декабря, «переплетаясь с мифическими рассказами 1812 года, составили в моей памяти то золотое поле иконописи, — писал Герцен, — на котором еще чернее выходят лики святых» (18, 89). Образы декабристов вставали перед духовным взором Герцена как образы «богатырей, кованных из чистой стали с головы до ног, воинов-сподвижников, вышедших сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» (16, 171).

Цитируя эти герценовские строки в своей знаменитой статье «Памяти Герцена», В. И. Ленин писал: «К числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и «очистило» его»[2].

---

[1] Цит. это стихотворение по тексту, воспроизведенному Герценом во второй книжке «Полярной звезды» за 1856 год, стр. 3.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9.

С 1825 года «*события* несущейся истории» (11, 575) захватили Герцена и неудержимо увлекли его в бурлящий поток политики.

Уже в отрочестве у Герцена возникло ощущение своего исторического призвания. Он почувствовал себя преемником декабристов, мстителем за них, хранителем их заветов, продолжателем их дела. Смелое и гордое чувство своей неразрывной связи с историческими деятелями, которым выпала на долю великая честь принадлежать к первому из поколений, «действовавших в русской революции»[1], было в жизни Герцена источником огромной внутренней работы, большого морального удовлетворения.

Сознание Герцена формировалось под воздействием идейных влияний, очень схожих с теми, которые испытали на себе декабристы. Стихи Пушкина и Рылеева — с одной стороны, с другой — книги Вольтера, Шиллера, Руссо упоминались многими из декабристов в числе любимых их произведений. Герцен читал произведения Вольтера раньше, чем те религиозные книги, знание которых необходимо было для поступления в университет. В письме 1828 года к Т. Кучиной Герцен делает критические замечания по адресу «восторженного мистика» — священника, преподававшего ему «закон божий». Шестнадцатилетний подросток подчеркивает при этом свою противостоящую религии и мистицизму заинтересованность «миром политическим» (I, 29). Как и декабристам, Герцену многое открыли и объяснили политические и социальные уроки Великой французской революции, живые традиции которой для Герцена были воплощены в его учителе французского языка, суровом и угрюмом старике Бушо, в прошлом якобинце, свидетеле событий 1793 года. На одном из занятий он спросил Бушо: «Зачем... казнили Людвика XVI?..— Потому что он изменил отечеству. — Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор? — Обеими руками». И Герцен сделал последовательный вывод: «Ясное дело, что поделом казнили короля» (8, 64).

Политические интересы сообщили жизни Герцена новое содержание. Уже не с трепетом обиды и возмущения, а иронически смотрел он на домашние порядки.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.

Его негодование, его насмешки уже метили дальше, чем в капризного и хандрящего домашнего деспота.

Таким образом, необычайно рано, четырнадцатилетним мальчиком, Герцен оказался в атмосфере передовых идей и настроений своего времени. Увлечение ими и своеобразное «ложное» положение в доме Яковлева мешали стать ему избалованным барчонком. Он рано стал жить в мире, проникнутом, говоря пушкинскими словами, «светлых мыслей красотой».

И, наконец, большим событием оказалось для Герцена то, что на пороге между детством и отрочеством у него появился настоящий друг.

Николай Огарев был на полтора года моложе Герцена. Он был сыном богатого помещика, дальнего родственника Яковлева. Мальчики познакомились еще в 1823 или 1824 году. К 1827 году они уже стали неразлучными друзьями. Раз открывшись друг другу, Герцен и Огарев с удивлением и восхищением обнаружили глубокое духовное родство, существовавшее между ними. Огарев воспитывался под теми же идейными влияниями, что и Герцен. Пушкин, декабристы, Великая французская революция, герои Шиллера — все эти великие деятели, события, образы и связанные с ними традиции и заветы так же волновали и вдохновляли Огарева, как и Герцена. В позднейшем автобиографическом наброске Огарев писал: «В отроческом мышлении помню минуты высокого наслаждения, которые имели влияние на все остальное мое развитие... Я не могу забыть первые впечатления, которые сильно затронули меня (скажу в скобках — и тебя), — это чтение Шиллера и Руссо и 14 декабря. Под этими тремя влияниями, очень родственными между собою, совершился наш переход из детства в отрочество» [1].

В Огареве Герцен нашел верного друга, которому можно было доверить самые затаенные чувства и любимые мысли. Живой характер Герцена требовал общения, чуждого всяких оговорок и оглядки.

Он рано начал мечтать о пропаганде своих взглядов. Огарев был его первой чуткой и восторженной аудиторией. Как выразился Герцен в одном письме 1833 года, ему он мог «перелить свои ощущения не через холо-

[1] «Литературное наследство», т. 39—40, стр. 358.

дильник пера, а пламенной, каленой лавой речи» (I, 116). Огарев понимал Герцена с полуслова, у Огарева «сердце так же билось, как у меня». Он был единственным и до конца преданным другом, которому Герцен мог рассказать об оскорблениях и ранах, причиняемых домашней обстановкой. Герцен был слишком горд и самолюбив, чтобы сознаваться в этом кому-нибудь другому.

В 1837 году он писал своей невесте: «Сколько раз ребенком почти приходил я бледный и со слезою на глазах к Огареву и склонял голову, которая кипела от внутренней обиды, на его плечо. И что было бы, ежели бы не этот друг?! Но решительно, кроме Огарева, никто не слыхал и жалобы» (I, 502). О том, сколь много Огарев помог Герцену в отроческие годы, свидетельствуют «Былое и думы». Вспоминая о «невыносимой скуке нашего дома», Герцен писал, что «если б не близок был университетский курс, не новая дружба, не политическое увлечение и не живость характера, я бежал бы или погиб» (8, 86).

Огарев был человеком, который с удивительным тактом умел оказывать врачующую нравственную поддержку. Он не отказывал в ней не только Герцену, но и гораздо менее близким ему людям. Притом он был способен на подлинное самоотречение.

Тяжкое горе, мучительные переживания Огарев умел переносить без звука жалобы, ему не изменяла кроткая и грустная улыбка. Внешняя мягкость и даже слабость сочетались у него с постоянством убеждений.

По словам Герцена, он обладал «женственной способностью притяжения» (9, 10). В кружке Герцена Огарев никогда не играл той руководящей роли, которая принадлежала его другу, но вместе с тем занимал в нем своеобразное и значительное место. Глубоко принципиальный и неспособный идти на идейные компромиссы, Огарев вместе с тем умел сглаживать те мелкие разногласия и расхождения, те обиды самолюбия, которые порою возникали в дружеском кругу. В этом отношении он был мягче, обходительнее Герцена. Запальчивость, раздражение, которым порой поддавался последний, ему были чужды.

Близость, существовавшая между Герценом и Огаревым и выдержавшая впоследствии такие испытания,

которые только в редчайших случаях оказываются под силу дружбе, была проникнута подлинным и страстным единством духовных интересов. Огарев не только понимал с полуслова интимные признания Герцена. Он живо воспринимал его мысли, хотя не всегда полностью соглашался с ними. Однако, даже не соглашаясь с тем или иным мнением Герцена, Огарев так глубоко интересовался точкой зрения друга, что споры с ним всегда были плодотворны для Герцена. Притом в основном и главном их мысли всегда развивались в одном направлении. Огарев нередко отставал от Герцена, но далеко идущих разногласий между ними не возникало никогда. Поэтому взаимоотношения Герцена с Огаревым ни разу не принимали того драматического характера, который, как мы увидим, приобрела впоследствии дружба Герцена и Грановского. Ни к кому Герцен не был так близок в своей жизни, как к Огареву, ни на кого он не мог положиться столь безоговорочно.

С другой стороны, и Огареву Герцен был необходим. Огарев, рано почувствовав свое поэтическое призвание, делился с Герценом своими стремлениями и замыслами. Герцен укреплял в нем веру в его поэтический талант.

Огарев, несмотря на свою богатую внутреннюю жизнь, в меньшей степени, нежели Герцен, умел находить пути проявления своих дарований, поле практической деятельности. В этом отношении помощь Герцена была для него неоценима. Ту широкую дорогу политической и публицистической деятельности, на которую Огарев вышел в лондонский период своей жизни, он вряд ли нашел бы без помощи друга.

Мысль о том, что Огарев и он сам, при всех различиях между ними, дополняют вместе с тем друг друга, Герцен высказал в одном письме 1833 года: «Твое бытие более созерцательное, мое — более пропаганда. Я деятелен, ты лентяй; но твоя лень — деятельность для души. И при всем этом симпатия дивная, какой нет ни с кем решительно; симпатия и не требует тождества. Глубокое признание друг друга, взаимное дополнение — вот начала этой дружбы, сильной выше всяких обстоятельств» (I, 117).

Дружба с Огаревым дала большой толчок полити-

ческим, революционным устремлениям Герцена. Неизгладимо в памяти обоих друзей запечатлелась клятва, которую они дали друг другу на Воробьевых горах. «Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу»[1]. Огарев писал Герцену лет десять спустя: «Помнишь ли эту гору, этот берег крутой и высокий, под которым течет спокойная река, а за рекой город идет в беспредельность? О! я всегда вспоминаю ее, когда я счастлив, и теплые, сладкие слезы навертываются на глазах. Там мы сознались в дружбе, неразрывной до гроба, там высказались лучшие чувства, лучшие идеи нашей юности» (XII, 176).

Герцен сказал в «Былом и думах»: «Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные» (8, 80).

Самый факт «страстной дружбы» Герцена и Огарева, проникнутой подлинно прогрессивными идеалами того времени, был исторически значительным явлением. После разгрома декабристов для передовых людей России остро встал вопрос о собирании прогрессивных сил. Среда, откуда черпались эти силы, тогда была настолько узка, что одним из первых шагов на этом пути явилось создание тесных дружеских кружков юношей, страстно преданных воодушевлявшим их передовым идеям, преданных друг другу, как будущим борцам за эти идеи. Много позднее 30—40-х годов кружки, видоизменяясь по своему составу и характеру, оставались важной организационной формой русского революционного движения. Ленин писал в 1908 году: «Кружки, т. е. тесные, замкнутые, почти всегда на личной дружбе основанные, сплочения очень малого числа лиц, были необходимым этапом развития социализма и

[1] Дата клятвы на Воробьевых горах не может быть установлена с полной точностью, ибо в относящихся к этому событию упоминаниях Герцена имеются расхождения. Во всяком случае, оно произошло в 1826 или 1827 году. Ср. статью М. В. Нечкиной — введение к публикации «Моей исповеди» Н. П. Огарева («Литературное наследство», т. 61, стр. 669) и «Историю Москвы», т. III, изд. АН СССР, 1954, стр. 391.

рабочего движения в России»[1]. Дружба Герцена и Огарева и была зародышем дружеского кружка русских передовых людей 40-х годов XIX века, первым этапом на пути его создания.

II. ЮНОСТЬ

(1829—1834)

1. В университете.— Первые философские сочинения

В 1829 году Герцен поступил на физико-математическое отделение Московского университета. Русские университеты, и в особенности Московский, становились к этому времени центрами передовой общественной мысли страны. Среди декабристов было мало людей, получивших университетское образование, значительная часть их кончила военные училища. После 14 декабря именно в армии, в первую очередь в военных школах, резче всего сказывалась реакционная политика и притупляющая муштра Николая I, стремившегося вытравить в молодом поколении всякую вольную мысль. В университетах дышалось свободнее. Молодежь как из дворянской, так и разночинной интеллигенции тянулась туда. Московский университет, по выражению Герцена, «вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года» (8, 106). Гончаров, автор «Обломова», учившийся в университете в те же годы, что и Герцен, вспоминал: «Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих, самых полезных, может быть громких блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим знанием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение... Даже простые люди, и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках»[2]. Так как печать была придавлена цензурой, а каких-либо открытых собраний, обсуждений или хотя бы публичных лекций не допускалось, то профессор-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 13, стр. 89.

[2] И. М. Соловьев, Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников, СПб., вып. 1, стр. 122.

ская кафедра была тогда, в сущности, единственной трибуной, с которой можно было обратиться к довольно широкой аудитории. Необычной казалась в то время и студенческая среда с ее свободой общения, пестротой состава (от изнеженных барчуков до бедняков-разночинцев) [1] и чувством равенства, особенно важным и ценным в стране, в которой засилье сословных предрассудков так часто оказывало губительное воздействие на судьбы, ум и волю людей.

Можно себе представить, как университетская атмосфера должна была вдохновлять живого, деятельного и страстного Герцена с его органической устремленностью к пропаганде, к свободному слову, к идейной борьбе.

По словам Герцена, «вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огаревым, шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше оклиматился в две недели, чем в родительском доме с самого дня рождения» (8, 115). Пылкость, общительность, благородство, цельность и внутренняя чистота, блестящее остроумие, задор и смелость, искреннее чувство товарищества — все эти качества Герцена не могли не привлекать к нему сердца юношей. Он быстро становится центром дружеского кружка.

Наиболее близко к Герцену и Огареву в годы студенчества стояли Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин, В. В. Пассек, А. Н. Савич. В 1831 году с этим кружком сошелся Н. Х. Кетчер, который был старше других его участников. По-разному сложились впоследствии судьбы и взаимоотношения друзей.

Герцен и Огарев надеялись на то, что их небольшой кружок станет зерном будущего тайного общества «по образу и подобию декабристов» (10, 317). Такие мечты были характерны и для других кружков революционной молодежи, возникавших в ближайшие после 14 декабря годы. Так, в кружке братьев Критских в 1826—1827 годах традиции декабристов были окружены вели-

---

[1] О социальном составе московского студенчества и значительном удельном весе в его среде разночинцев см. М. Поляков, Студенческие годы Белинского, «Литературное наследство», т. 50, стр. 356—357.

чайшим почетом и жила «мысль подражать им»[1]. С другой стороны, в кружке Сунгурова уже развивалась мысль о революционном обращении к народу.

Однако на рубеже 30-х годов дальнейший подъем революционного движения зависел не от появления узких кружков заговорщицкого характера, существование которых при усилившейся полицейской слежке было недолговечно.

В данной обстановке требовалось прежде всего расширение и углубление революционной пропаганды, способной возбудить поиски революционной теории. Выполнению этой исторической задачи и содействовал студенческий кружок Герцена и его друзей, хотя их мечтам о тайном обществе не суждено было осуществиться: «Общества, в сущности, никогда не составлялось, но пропаганда наша пустила глубокие корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены» (10, 318).

Яковлев стремился ограничить встречи Герцена с Огаревым и другими друзьями, требовал возвращения домой вечером не позже половины одиннадцатого и даже приказал лакею сопровождать сына в университет и обратно. Герцену приходилось прибегать к всевозможным уловкам, чтобы избегнуть этой безмерно надоевшей, но теперь совсем уже не страшной опеки. Так, например, в ночь под новый, 1830 год Герцен, как он рассказал в одном письме, «перевел часы, начиная от больших английских с курантами до маленьких карманных, получасом вперед и таким образом встретил новый год очень чинно и благочестиво дома, потом потихоньку сел на извозчика и отправился к Нику» (I, 47). (Огарев подолгу жил один в большом отцовском особняке у Никитских ворот, ставшем постоянным местом встречи друзей.)

Университетские годы были для Герцена периодом удивительно быстрого интеллектуального роста. От беспорядочного чтения он перешел к накоплению действительно глубоких и многосторонних знаний. Особенное значение имели для студентов лекции профессоров Павлова и Каченовского. Павлов, читавший физику и

---

[1] См. А. Г. Цейтлин, Творчество Рылеева, изд. АН СССР, 1955, стр. 271.

агрономию в своих курсах, ставил важнейшие вопросы естествознания в широком философском освещении. Он знакомил своих слушателей с философией Шеллинга. Историк Каченовский вызывал самостоятельную работу мысли своей, пусть спорной, но резкой и скептической критикой исторических источников и легенд.

Смутные стремления и мечтания Герцена пронизывались постепенно глубокой и острой мыслью; все более целеустремленными становились поиски жизненного пути, достойного передового человека.

В его духовном мире было еще, конечно, чрезвычайно много идеалистического, мечтательно-романтического, но совершенно неправильно представлять себе Герцена-юношу прекраснодушным фантазером, только декламирующим монологи Карла Моора и маркиза Позы. Герцен восхищался героями Шиллера, революционно-романтическим духом и благородством их стремлений. Он вживался в их образы, мечтал о том, чтобы в будущем сыграть роль, которая бы их напоминала. Любовь к Шиллеру не отрывала Герцена от окружающей его действительности, а, наоборот, обостряла критическое отношение к ней.

Огарев был прав, когда в 50-х годах, пытаясь обрисовать «умственное, теоретическое развитие» Герцена и свое собственное, находил «зародыш реализма» и в восприятии «идеального Шиллера». «В героях Шиллера и в его философских письмах, — писал он, — важным для нас становилась не идеализация, не духовность понятий; это было преходящее; важным было то, что для оправдания идеализации и духовности — мы должны были пальцем дотронуться до действительного общества и указать ложь, указать рану, указать страдание... первый шаг наш в области мышления был не исканием абстракта, не начинанием с абсолюта, а был столкновением с действительным обществом и пробудил жажду анализа и критики. Таким образом, в 14, 15 и 16 лет, состоя под влиянием Шиллера, Руссо и 14 декабря, мы занимаемся математикой и естественными науками, мы хотим чего-то положительного...»[1]

Читая Шиллера, Герцен мечтал о самоотверженных подвигах на благо России. Образы, мысли и чувства

[1] «Литературное наследство», т. 39—40, стр. 358.

поэзии Шиллера и Рылеева соединились для него воедино; недаром через много лет назвал он последнего «Шиллером заговора» декабристов.

Ни Герцен, ни Огарев никогда не были *подражателями* западноевропейских мыслителей и писателей. В них рано сказалась самостоятельность русской мысли. Они не были книжными людьми. Герцен имел право впоследствии не раз иронически писать о книжных, отвлеченных людях, космополитах и педантах с их дряблой и трусливой мыслью.

Выбор Герценом физико-математического отделения не был случаен. В «Былом и думах» он рассказал о том, какое большое влияние оказало на его выбор знакомство с двоюродным братом Алексеем Александровичем Яковлевым. Это был последовательный и крайний сторонник французского материализма XVIII века. Одинокий чудак, прозванный «химиком», целиком ушедший в естественнонаучные занятия, он противопоставил романтическим настроениям своего младшего брата скептический взгляд на духовную и общественную деятельность человека исключительно как на результат механических и физиологических процессов. «Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что все — дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы...» (8, 113).

В спорах с «химиком» обнаружилась крайне важная черта в Герцене как в мыслителе — его самостоятельность в подходе к важнейшим философским проблемам. Однако при столкновении с идейным противником он всегда стремился прислушаться к логике его рассуждений, причем, признав убедительность последних, был готов пересмотреть свои собственные выводы. Эта герценовская черта потому имела столь плодотворное значение для всей его деятельности, что она соответствовала особенностям обстановки, в которой развивалась тогда передовая русская мысль.

В 30-х годах, когда Герцен складывался как мыслитель, он не мог еще опереться на классические материалистические работы, которыми располагал Чернышевский, чье философское мировоззрение формировалось в конце 40-х годов. Для Чернышевского большое значение имели не только работы Фейербаха, но и «Пись-

ма об изучении природы» Герцена и статьи Белинского.

Герцен и Белинский показали блестящий пример решения в материалистическом и диалектическом направлении ряда важнейших философских проблем. Эти труды стали той исходной точкой, которая, в соединении с твердой верой в будущую великую историческую активность народных масс России, позволила Чернышевскому придать русской материалистической мысли строгую последовательность и целеустремленность, громадную пропагандистскую энергию, широкое революционное влияние. Перед Герценом же в 30-х и 40-х годах вставала необходимость решить самые основные философские вопросы. Он был первым русским мыслителем XIX века, специально и подробно осветившим в больших работах кардинальные философские проблемы. Русские материалисты XVIII века, Ломоносов и Радищев, не могли ему помочь в той мере, в какой он сам впоследствии помог Чернышевскому. Метафизический материализм, легший в основу воззрений Ломоносова, уже не мог удовлетворить Герцена, с глубоким интересом и пониманием относившегося к деятельности великого русского ученого. По-видимому, произведения Радищева, находившиеся под запретом царской цензуры, не были доступны Герцену-юноше.

Идейный путь Герцена — это путь долгих, страстных, упорных исканий, путь, на протяжении которого он допустил немало ошибок, испытал немало сомнений и поражений. Но Герцен всегда находил в себе силы, чтобы снова подняться и вновь идти вперед. При этом он обнаруживал богатство, гибкость и многогранность мысли, чуткой и внимательной ко всем сторонам действительности, стремящейся охватить все разнообразие ее черт и красок и отличающейся вместе с тем изобилием обобщающих определений, характеристик, аналогий и сопоставлений. В самой природе и окружающей действительности Герцен искал подтверждения правильности своих убеждений.

Эти качества проявились уже в университетские годы. Едкая критика «химика» заставила Герцена всерьез взяться за естественные науки. Он сближается с профессором М. А. Максимовичем, талантливым ученым-естествоиспытателем, чьи труды «расшатывали

устои теологических и метафизических представлений в естествознании»[1].

Интерес Герцена к естественным наукам не был односторонним. Расширялось его философское образование, он заинтересовался немецким классическим идеализмом, в частности философией природы Шеллинга. Первая же философская работа Герцена «О месте человека в природе» (1832) обнаружила его стремление к глубокому решению основных проблем познания. Впоследствии Герцен писал, что «...наука... нигде не дает жатвы, где не посеяна: она должна не только в каждом принимающем народе, но в каждой личности прозябнуть и возрасти» (3, 10).

Правда, он еще только ищет верный философский путь, но уже подвергает критике как немецкий идеализм (в нем «всю природу подталкивают под блестящую ипотезу и лучше уродуют ее, нежели мысль свою») (1, 24), так и метафизический материализм (в нем «все идеальное, духовное исчезло, мышление истолковалось домашними средствами из особого расположения органов») (1, 21).

Позиция Герцена в решении основного философского вопроса наиболее ясно сказалась в мысли о том, что человек умозрением узнал законы природы, «сбегающиеся с законами его мышления» (1, 18).

Таким образом, Герцену представляется, что законы сознания и законы бытия, имея те и другие свои собственные истоки, но обладая внутренним единством, «сбегаются», то есть как бы «встречаются» между собою.

Герцен тем самым оставляет место идеалистическому объяснению законов природы, хотя в этой формулировке уже отражается начало того трудного пути, идя по которому он позднее в «Письмах об изучении природы» пришел к материалистическому утверждению о том, что «законы мышления — сознанные законы бытия» (3, 111).

Критикуя Фихте, который «за своим *я* не разглядел природы», Герцен называет великим, колоссальным знаменитого английского философа Бэкона. Следует

---

[1] С. Р. Микулинский, М. А. Максимович как естествоиспытатель, в «Трудах Института истории естествознания», т. V, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 208.

вспомнить характеристику взглядов этого «родоначальника *английского материализма* и вообще *опытных* наук *новейшего* времени», данную Марксом и Энгельсом. «У *Бэкона,*— писали они в «Святом семействе»,— как первого своего творца, материализм таит еще в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития». По учению Бэкона, «...первым и самым важным из прирожденных свойств *материи* является *движение,*— не только как *механическое* и *математическое* движение, но еще больше как *стремление, жизненный дух, напряжение...*»[1].

В своем кандидатском сочинении «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» (1833) Герцен уже намечает проблему «синтеза» «эмпирии и идеализма», которая позднее и, разумеется, гораздо глубже и правильнее будет им поставлена в его знаменитых «Письмах об изучении природы». Но и в своей студенческой работе Герцен стремится к такому философскому методу, который, с одной стороны, может опереться на всю совокупность материалистических естественнонаучных знаний, а с другой стороны — дает возможность раскрыть «общие многообъемлющие начала» природы (1, 37).

Герцен рано почувствовал реакционность политического содержания систем Шеллинга и Гегеля. Вскоре после окончания университета, в письме к Огареву, он указывает: «...нашему брату надлежит идти далее (Шеллинга. — *Я. Э.*), модифицировать его учение, отбрасывать ipse dixit[2] и принимать не более его методы. Причина: Шеллинг дошел до мистического католицизма, Гегель — до деспотизма!» (I, 120).

Для Герцена передовая наука и революционная пропаганда были неразрывны, и в этом он видел типическую особенность русской передовой мысли. Вспоминая в «Былом и думах» свои университетские годы, Герцен писал: «Наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов» (8, 117).

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 2, стр. 142.

[2] Буквально: «сам сказал».

2. *Политика и утопический социализм*

Идейная атмосфера, в которой созревал Герцен, прекрасно характеризуется поэтическими строками Огарева из письма 1833 года к своему другу:

Когда в часы святого размышленья
Мысль светлая в твой ум вдруг западет,
Чиста и пламенна, как вдохновенье,
Она тебя возвысит, вознесет.
. . . . . .
О! если с чувством мысль сроднилась,
Поверь, она не обольстит:
Она недаром заронилась
И святость истины хранит... [1]

Каковы же были в те годы социально-политические взгляды Герцена? Впоследствии он вспоминал: «Проповедовали мы везде, всегда... Что мы собственно проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу» (10, 318).

Герцен и его друзья были уверены в том, что «из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней» (8, 117).

Июльская революция во Франции, падение Бурбонов не могли не вызвать у Герцена бурного восторга. Революция казалась легкой и праздничной, и недаром Герцен, для того чтобы дать представление о своем отношении к этим событиям, ссылается на знаменитые страницы Гейне во второй книге «Людвига Берне». В августовские дни 1830 года Гейне писал, что июльская революция вдохновляет поэта на «слова, подобные пламенеющим звездам, брошенным с высоты, сжигающим дворцы и освещающим хижины». Победа «бедных людей» казалась ему полной. Гейне думал, что теперь

---

[1] Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы, т. I, «Советский писатель», 1937, стр. 3.

осталось лишь «понять, декларировать и осуществить учение о правах человечества»[1].

Прогремело польское восстание. Герцен и его друзья глубоко сочувствовали каждому его успеху. Имя Костюшко стало священным для Герцена, он хранил его в своей памяти рядом с образами декабристов. И не удивительно: казалось, что революция приближалась к сердцу России. Вскоре внезапное исчезновение одного студента-поляка и переданное вслед за тем по секрету известие о его аресте наглядно показало, как беспощадно царизм расправляется с теми, кто восстает против него. Эти жизненные уроки были более серьезными, вескими и запоминающимися, чем известная «маловская» история, связанная с требованием студентов удалить из университета грубого и невежественного профессора Малова, в которой Герцен активно участвовал, поплатившись за это карцером. Быть может, наиболее резко, в наиболее жестокой форме жизнь столкнула Герцена с гнетом царизма, когда он познакомился со студентами-поляками, поневоле оказавшимися в Москве. Позднее он вспоминал: «Представьте себе то чувство, с которым иногда в аудитории Московского университета мы слушали рассказы ваших соотечественников (эта статья Герцена написана в форме письма к одному польскому публицисту. — *Я. Э.*) и видели затаенный упрек, а иногда и хуже — снисходительное сожаление, и — молчали, как дети какого-нибудь злодея, стыдясь имени своего отца» (14, 48—49).

Встречи со студентами-поляками вызвали в душе Герцена чувство ответственности русского передового человека за судьбы польского народа, угнетаемого царизмом. Так зарождалась мысль о будущем братском союзе славянских народов, в котором столь большая роль должна принадлежать освобожденной демократической России, мысль, которая, как увидим ниже, заняла одно из центральных мест в пропаганде и публицистике Герцена.

Подавление польского восстания, а особенно утверждение буржуазного порядка во Франции в период Июльской монархии не могло не вызвать глубокого

---

[1] Цит. в переводе по Heinrich Heine, Sämtliche Werke под ред. E. Elster, т. VII, стр. 59, 60, 64.

разочарования. «Мы начали с внутренним ужасом разглядывать,— пишет Герцен,— что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно; теории наши становились нам подозрительны» (8, 161). Эти сомнения не могли заставить Герцена отвернуться от политики. Слишком велика была политическая целеустремленность его интересов. Но, усомнившись в «идеях просвещенного либерализма, идеях прогресса», Герцен испытал влияние учений утопических социалистов, выразивших в начале XIX века, по словам Энгельса, «всеобщее разочарование» в буржуазном обществе[1]. Как говорит Герцен, ему самому и его кружку «чудесно подходил смутный, религиозный и в то же время аналитический сен-симонизм». Герцена привлекали в сен-симонизме как его научное содержание, так и присущие ему эмоциональные романтические черты.

Сен-Симон резко выступал против традиционной религии, он саркастически говорил о «небесном рае», о «мистических и суеверных идеях» и призывал «в этой жизни своим трудом способствовать возрастанию благосостояния человеческого рода»[2]. Сен-симонизм проповедовал равноправие женщины. Герцен видел в сен-симонизме новый «мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно-чистый» (8, 162).

Сен-симонизм не указывал конкретных исторических путей перехода к этому новому миру, но он убеждал Герцена в том, что мир стоит накануне решительного коренного переустройства, которое должно затронуть все стороны человеческой жизни, социальный и политический строй, культуру, мораль. Под влиянием учения Сен-Симона обострилось у Герцена и Огарева напряженное ожидание великих переломных, кризисных событий и укрепилась восторженная готовность отдать все свои силы, самую жизнь ради торжества светлого будущего.

Герцен противопоставлял «религию жизни», «религию красоты» сен-симонизма — христианской «религии

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. первое, т. XIV, стр. 260.

[2] Анри де Сен-Симон, Соч., Гиз, 1923, стр. 233, 234.

смерти», «религии бичевания и худобы от поста и молитвы» (8, 162). Говоря о «религии» сен-симонизма, Герцен имеет в виду идеалистическую, романтическую сторону сен-симонизма как новой социальной веры, пропагандирующей «нравственное воспитание» человечества для будущего социалистического общества.

Герцен не мог в начале 30-х годов дать столь последовательную критику сен-симонизма, как это сделал впоследствии Чернышевский в своем историческом исследовании «Июльская монархия». Великий революционный демократ превосходно поймет всю «историческую важность» сен-симонизма, как попытки «найти способы к удовлетворению потребностей массы», а вместе с тем отметит и слабые стороны сен-симонизма — свойственный ему «характер мечтательности», «фантастическую идеализацию», сказывающиеся в нем «сильные следы католических идей». Учение это, по словам Чернышевского, более похоже «на поэзию, чем на серьезную науку». Чернышевский увидит корень этих слабых сторон сен-симонизма в том, что, стремясь к «преобразованию учреждений сообразно благу беднейшего и многочисленнейшего класса», учение это не было еще «делом собственной надобности»[1] этого класса, то есть не было еще связано с исторической активностью народных масс. Всего этого Герцен в юности заметить не мог. В его собственных воззрениях было тогда слишком много элементов «мечтательности» и экзальтации, характерных для всего его поколения.

Герцен ценил сен-симонизм и за те его качества, которые позволяли молодому Энгельсу назвать это учение *«социальной поэзией»*[2]. Но из всего этого отнюдь не следует, что Герцен некритически воспринял сен-симонизм, что он послушно следовал за ним и был всегонавсего русским «сен-симонистом».

В идейном развитии Герцена рано сказались трезвость, ясность, положительность русской передовой мысли. Несмотря на свое увлечение новой социальной

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, Гослитиздат, М. 1948, стр. 156, 160, 164, 167, 185.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 1, стр. 528.

верой, способной принести «обновление миру», Герцен быстро и резко реагировал на мистические черты сен-симонизма. «Мы чувствуем... — писал Герцен Огареву в 1833 году, — что мир ждет обновления, что революция 89 года ломала — и только... надобно другие основания положить обществам Европы; более права, более нравственности, более просвещения. Вот опыт — это S. Sim. Я не говорю о нынешнем упадке его, таковым я называю его религиозную форму... Мистицизм увлекает всегда юную идею» (I, 117).

Та романтическая, идеалистическая форма, в которую Герцен порою облекал свои революционные стремления и философские искания, во многом противоречила существу последних, но не могла остановить развития мировоззрения Герцена в направлении к материализму. В мистических же сторонах сен-симонизма Герцен правильно почувствовал проявление сектантской ограниченности и застоя мысли.

Герцен был знаком и со взглядами Фурье. Он сумел разглядеть за фантастической оболочкой системы Фурье внутреннюю ее ценность. «Цель оправдывает странности», — писал он Огареву о Фурье (I, 117).

Герцен нашел в сен-симонизме, как в утопическом социализме вообще, новое обоснование своей веры в будущее. Увидев, что плодом Великой французской буржуазной революции стал буржуазный порядок, он сделал вывод, что «революция 89 года ломала — и только», то есть сломала абсолютизм и крепостничество, но не смогла создать подлинно новое, социалистическое общество. Это новое общество, по мнению Герцена, могло быть создано пропагандой идей утопических социалистов, воспитанием «нового человека». Сам Герцен рано стремился стать одним из тех «новых людей», которые поведут человечество в царство социализма. Верно передавал настроения и мысли тех лет Огарев, когда писал Герцену: «Первая идея, которая запала в нашу голову, когда мы были ребятами, — это социализм. Сперва мы наше *я* прилепили к нему, потом его прилепили к нашему я, и главною целью сделалось: мы создадим социализм»[1].

---

[1] Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. II, Госполитиздат, М. 1956, стр. 306.

Однако Герцен, в отличие от большинства западноевропейских утопических социалистов, не усомнился в целесообразности политической борьбы. Он по-прежнему стремился вступить в бой с самодержавием и крепостничеством. Недавно найденные материалы следствия по делу Герцена показывают, в частности, что одним из вопросов, наиболее его занимавших, было «стесненное состояние крестьян помещичьих», которое он осуждал [1].

В «Былом и думах» Герцен говорит о себе и своих друзьях университетских лет, что они «рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду через море!». Этот рубеж Герцен определяет понятиями «социализм и реализм», называя их «пробными камнями, брошенными на путях революции и науки» (8, 162).

Термин «реализм» Герцен, начиная с 40-х годов, не раз употреблял для определения своего философского мировоззрения. Критикуя ограниченность метафизического материализма, он не только в молодые годы, но и много позднее не решался назвать свои воззрения материалистическими, хотя и вкладывал в понятие «реализм» именно материалистическое содержание.

Как мы видели, неустанная и страстная работа мысли уже в юности толкала Герцена к материалистическим выводам в воззрениях на природу. Однако в своих взглядах на историю человеческого общества Герцен, в тесной связи со своими утопически-социалистическими убеждениями, стоял тогда на идеалистической точке зрения. Вместе с этим уже в то время Герцен обнаружил глубокое понимание некоторых великих событий и явлений истории. В этом отношении интересна написанная в 1833 году его статья «Двадцать осьмое января», характеризующая историческую роль Петра I. Герцен в этой статье исходил из того, что в истории «произволу места нет». Он считает, что «развитие человечества требует — скажем более: обрекает — некоторых людей на высокую должность *развивателей*» — вождей прогресса. Но появление таких «развивателей» он пытался истолковать «из законов развития идеи» (1, 30).

[1] «Литературное наследство», т. 63, стр. 278.

Герцен рассматривает Петра I как такого «развивателя», задачей которого было «образовать, просветить страну». Но при этом для Герцена русский народ отнюдь не безличный объект просветительской деятельности «развивателя». Он убежден, что Россия устремится за Петром «с мощностию и силою характера славянского... Пусть разовьется у нас народность, пусть русские, быстро слившиеся с Европою или, лучше, вдохнув ее в себя, оставят одни элементы, им свойственные, и переработают их в свое собственное. Тогда потребуем отчета у России, и она не изменит великому характеру своему» (1, 35).

Герцен уже тогда, несмотря на политическую и культурную отсталость России, чувствовал огромные потенциальные силы своего народа. Его волнует вопрос о пробуждении исторической активности народных масс. Сейчас, с его точки зрения, «Россия еще не имеет голоса».

Герцен касается и своеобразия тех исторических условий, которые создали национальный характер русского народа. Он останавливается на роли русской государственности и опровергает взгляд французского историка Мишле, утверждавшего, что историческая миссия России — «охранять восточные пределы Европы». Герцен заявляет: «Для цели жизни государства еще недостаточно быть ведетою для других государств». Русское государство должно «вместе с Европою стремиться к ее мете», к развитию «гражданственности и... цивилизации», то есть к социализму (1; 30, 31).

Идейный рост Герцена в 30-х годах часто недооценивается.

Жизнерадостность Герцена, его насмешливость, склонность к веселым и остроумным проказам — все это, особенно полно проявившееся в годы юности, нередко заслоняет то, как много в его раздумьях уже тогда было тревог и сомнений. Юношески восторженная, романтическая оболочка взглядов Герцена той поры не должна скрыть от нас глубины и политической остроты его идейных исканий.

Пора решающих идейных и жизненных испытаний для самого Герцена еще не наступила, но действительность России, судьба декабристов, политические события в Западной Европе — все это уже заставляло глубоко сомневаться в просветительских идеях прогресса,

все пристальнее и все более критически всматриваться в будущее.

В письме 1833 года к Огареву Герцен признается, что сам знает «мрачные думы», «сомнение... вот рана моей души» (I, 122).

Впоследствии, в статье «Русские немцы и немецкие русские», Герцен писал о духовном облике молодого поколения 30-х годов, сопоставляя последнее с поколением декабристов: «Юношеская самонадеянная мысль александровского времени смирилась, стала угрюмее, и с тем вместе серьезнее. Боясь светить ярко, светить вверх, она, таясь, жгла внутри и иной раз светила вниз... Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения» (14, 157).

В оценке слабых и сильных сторон мировоззрения Герцена мы должны всегда помнить следующий ленинский критерий: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно с своими предшественниками»[1]. Применяя этот единственно правильный критерий, нельзя не удивляться силе и проницательности герценовской мысли. Двадцатилетний юноша сумел критически оценить основные философские системы своего времени. Восприняв идеи утопического социализма, Герцен вместе с тем отнесся критически к системам сен-симонизма и Фурье. При этом поражает широчайший объем знаний и интересов Герцена. Философия, история, политика, естественные науки — все охвачено его вниманием. Он знакомится с основными классическими работами, существующими во всех этих областях на разных языках. Герцен не растерялся в этом богатстве знаний, он сумел глубоко понять творческие задачи, стоящие перед русской культурой.

Вспоминая о 30-х годах в «Былом и думах», он писал: «Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря, — наследие

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 166.

общечеловеческой науки и чисто народной Руси» (9, 35).

Действительно, какими бы незрелыми ни были политические взгляды и идеалы Герцена в студенческие годы, им уже тогда владела мысль о том, чтобы творчески переработать выводы «общечеловеческой науки» в соответствии с требованиями русской жизни и воодушевить «чисто народную Русь» передовыми идеалами.

3. Дружеский круг, мечты и замыслы

В мае 1833 года Герцен писал одному из друзей: «Приближается время выхода из университета. Многим, очень многим обязан я ему; науками, сколько в состоянии был принять и сколько он в состоянии был мне дать. Но главное, методу я там приобрел, а метода важнее всякой суммы познаний. Друзья, я вас там приобрел, и это приобретение оживило всю мою душу... Решительно могу сказать, что все сладкое, что было в моей юности, произошло от друзей и от наук» [1].

Однако научные, философские интересы были для Герцена, вдохновленного героическим примером декабристов, неотрывны от его освободительных, революционных стремлений. Герцен и Огарев не забывали о клятве, данной друг другу на Воробьевых горах. Время, проведенное в Москве после окончания университета, Герцен назвал «продолжающимся пиром дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула» (8, 150). Но и на этом светлом и радостном пиру Герцена тревожили думы о том, как выбрать такой путь в жизни, на котором он мог бы развернуть свой талант и внести свой вклад в духовную жизнь родины. В июле 1833 года Герцен пишет Огареву: «Ты не можешь вообразить, какая деятельность опять у меня; так кровь и кипит. Учиться, учиться, а потом писать!» (I, 118).

Литературная работа, к которой Герцен рано почувствовал призвание, не могла полностью удовлетворить его. Не случайно в статье о Гофмане [2], написанной в

---

[1] «Литературное наследство», т. 39—40, стр. 189.

[2] Об этой статье см. А. Л. Дымшиц, Вопросы романтизма в литературной деятельности молодого А. И. Герцена, «Ученые за-

1834 году, он иронически говорит о *«немецкой болезни — литературе»*, имея в виду отрыв части немецкой интеллигенции от интересов общественной практики, политики. Германии Герцен противопоставляет в этом отношении Францию, явно намекая на эпоху Великой французской революции: «Во Франции, в конце прошлого столетия, некогда было писать и читать романы; там занимались эпопеею» (1; 66, 69).

В августе 1833 года Герцен писал Огареву: «Ежели я после выхода из университета немного сделал материального, то много сделал интеллектуального. Я както полнее развился, более определенности, даже более поэзии. Нам недостает еще положительности (ибо она основана на бесчисленном множестве фактов) и отчетливости» (I, 121). В этих строках очень существенна самокритика, которой Герцен подвергает собственные взгляды. Он требует больше «положительности» и «отчетливости», то есть более конкретного, точного знания действительности и большей последовательности мысли. Интересно в этом письме и другое. Указывая на свои интеллектуальные успехи, Герцен отмечает, что «немного сделал материального». Здесь снова ощущается мечта о более активном участии в общественной жизни. Но поиски такого поприща в ту эпоху были чрезвычайно трудны. Об открытой политической деятельности под гнетом режима Николая I не приходилось и думать. Пути подпольной или полулегальной деятельности не были еще найдены. Даже для сколько-нибудь заметной и влиятельной работы в роли передового публициста дорога была преграждена. На глазах Герцена в апреле 1834 года, по приказу Николая I, был закрыт умеренно либеральный «Московский телеграф» Николая Полевого. Герцен был лично знаком с Н. Полевым, и они не раз откровенно беседовали друг с другом на общественные и философские темы. Полевой чувствовал обаяние Герцена, ценил талант

писки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 120, Л. 1955. А. Л. Дымшиц правильно подчеркивает критику реакционного романтизма, характерную для этого герценовского выступления. Ср. также работу: D. Lokis, Alexander Herzen in den dreißiger Jahren, «Vorträge auf der Berliner Slawistentagung (11—13 November, 1954)», Akademie-Verlag, Berlin, 1956.

своего молодого друга и впоследствии не побоялся написать ему в Вятку теплое, дружеское письмо, которое в 1859 году было опубликовано Герценом в «Полярной звезде». В начале 30-х годов Полевой интересовал Герцена как живой, деятельный, влиятельный журналист, выступавший против дворянской реакции. Но Герцен видел, что Полевой не был в сущности передовым человеком ни в политике, ни в философии, что он сам идет гораздо дальше издателя «Московского телеграфа».

Внимательнее и строже Герцен присматривается к окружающим его людям. Он замечает, что некоторых из них может удовлетворить жизнь, на которой он сам решительно не согласен остановиться. Такие наблюдения Герцену приходится делать и в тесном дружеском кругу. Зарисовки ряда друзей и приятелей он дал в частично сохранившейся автобиографической повести «О себе».

«Вот высокий молодой человек, с лицом последнего могикана; он сел на маленький стол (парки тотчас же подломили ножки жизни этого стола); стенторский голос его, как Нил при втечении в Средиземное море, далеко вдается в общий гул» (1, 170) — так рисует Герцен Николая Кетчера, лекаря по образованию, поэта-переводчика по занятиям и призванию, сына инструментального мастера, шведа по происхождению (поэтому друзья и прозвали Кетчера упсальским бароном). Кетчер был в 30-х годах искренне увлечен восторженными свободолюбивыми настроениями герценовского кружка. Он был способен на решительные суждения, подтверждаемые резкими жестами, на романтическую дружескую привязанность, морализирующие поучения и деятельную помощь товарищам. Но он не умел упорно думать, он не шел вперед. Как говорит Герцен, Кетчер «начал свою жизнь переводами Шиллера и кончил переводом на жизнь одного из лиц, которые Шиллер так любил набрасывать» (1, 171). Вот он-то, декламируя Шиллера, все дальше уходил от сколько-нибудь верного понимания русской общественной жизни. Не удивительно, что уже в 30-х годах дружеское отношение Герцена к Кетчеру стало приобретать иронические оттенки. Герцен ясно понимал, что его самого влечет к совсем другим, несравненно более

трудным и высоким целям, чем его шумного и безалаберного друга.

Другого участника кружка, Алексея Николаевича Савича, будущего известного русского астронома, Герцен обрисовал как «худощавого молодого человека, белокурого, несколько бледного, в вицмундирной форме, с неумолимой речью,— это магистр математического отделения, представитель материализма XVIII века, столько же неподвижный на своем коньке, как и барон на своем» (I, 171).

Карьера ученого, замкнутого в своей специальности, далекого от общественной жизни родины, не представляла для Герцена ничего привлекательного. Он писал Огареву в 1838 году: «Савич уехал в Петербург, он отправляется на 6 лет в Дерпт на казенный счет, а после должен 6 лет прослужить ординарным профессором. Хорошо это или худо? Для него хорошо, ибо он весь в науке, а наука — космополит» (I, 121). Для самого Герцена была бы нестерпима жизнь в окраинном городе, тогда очень плохо связанном с центрами русского общественного движения. Он хотел не уйти в науку, а использовать ее для общественного служения.

Рисует Герцен и тонкий силуэт Н. М. Сатина. «Он может чище всех своих товарищей служить изящным типом юноши». Но обаяние, присущее Сатину, не позволяет Герцену забыть о слабости его характера, об отсутствии у него твердой воли — «резигнация» (I, 172), покорность судьбе наложила на него свой отпечаток. С этим живой и деятельный Герцен никогда не мог примириться.

Так Герцен уже в юности остро реагировал на духовную неподвижность, слабость и ограниченность своих друзей.

Герцен скажет о себе в 1843 году: «Доселе я тридцать лет не останавливался. Рост продолжается, да, вероятно, и не остановится» (2, 209). В этом действительно заключалась отличительная черта Герцена, которая является вместе с тем характерной чертой передовых русских мыслителей вообще. Ведь Чернышевский говорил о Белинском, что он «до самой смерти своей... шел вперед»[1]. А сам Белинский указывал, что

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 226.

русской личности «...душна и страшна... всякая ограниченность и узкость...» [1], что «в России всё движется так быстро» [2].

Николая Сазонова, одного из наиболее близких в те годы к Герцену людей, никак нельзя было упрекнуть в неподвижности и ограниченности. Это была талантливая, мыслящая натура. В повести «О себе» Герцен говорит о нем как о «молодом человеке с опухшими глазами и выразительным лицом». Герцен видит в нем «одно из тех эксцентрических существований, которые были бы исполнены веры, если бы их век имел верования; неспокойный демон, обитающий в их душе, ломает их и сильно клеймит печатью оригинальности» (1, 171). На Сазонова Герцен и его друзья возлагали большие надежды, но уже тогда в нем проглядывали черточки, заставлявшие настораживаться. Сазонов любил бить на эффект и был склонен к фразерству. Ему не хватало страстной убежденности. Он не был способен к большому и упорному труду.

Неизвестно, замечал ли тогда Герцен эти недостатки друга, с очевидностью проявившиеся впоследствии. Но в данной тут же автохарактеристике Герцена чувствуется та сильная вера в идеалы своего отрочества, в дружбу, освященную служением общему делу, которой недоставало Сазонову.

Сознание своей силы Герцен черпал в способности быстро овладевать высшими духовными ценностями, созданными человечеством; он смело шел вперед, не удовлетворяясь уже достигнутым, стремясь найти своим идеалам приложение в жизни.

Герцену казалось тогда, что его будущее зависит только от его собственных сил, что ничто не может помешать ему полностью их развернуть. Он знал, что «поприще деятельности» необходимо искать и добывать, но он верил в свою энергию, упорство и настойчивость. Эта вера имела основание, но Герцен еще не представлял себе, какие препятствия жизнь воздвигнет перед ним, какие суровые уроки ему преподаст.

---

[1] В. Г. Белинский, Письма, т. III, СПб. 1914, стр. 196.
[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, изд. АН СССР, стр. 447.

Пока что ему виднелись широкие дали научного, публицистического, художественного творчества. В голове теснились замыслы. Некоторые заметки и небольшие статьи Герцена, в частности статья «О неделимом в растительном царстве», затрагивающая вопросы философии природы, появились в журналах. Если его имя еще не было известно среди сколько-нибудь широкого круга читателей, то ряд выдающихся людей того времени обратил внимание на молодой талант. Мы уже упоминали, что Герценом интересовался Николай Полевой. Герцен был принят в доме Михаила Федоровича Орлова, представителя поколения декабристов. Здесь он встретился впервые с П. Я. Чаадаевым, а также с Н. Н. Раевским. Это были замечательные люди своей эпохи. Друзья великого Пушкина, они до 1825 года, будучи связаны с движением декабристов, стояли в центре политической и литературной жизни. М. Ф. Орлов был одним из видных деятелей декабристского движения и уцелел лишь потому, что брат его, А. Ф. Орлов, сыграл большую роль в подавлении восстания 14 декабря и стал одним из наиболее приближенных к Николаю I царедворцев. Чаадаев еще не опубликовал своего «Философического письма», но обладал бесспорной репутацией одного из крупнейших представителей общественного движения 20-х годов. «Твой жар воспламенял к высокому любовь», — восклицал Пушкин в послании к Чаадаеву.

Орлов и Чаадаев были для Герцена «библейскими личностями, живыми легендами» (18, 89). Они воплощали в себе живую историю, целую эпоху русского духовного развития. Встречаясь с ними, Герцен как бы прикасался к той исторической нити революционного движения, которую он хотел протянуть дальше. Но вместе с тем Герцен чувствовал, что эти замечательные люди рискуют стать ненужными, лишними. Встреча эта тем более заставляла его искать новых путей.

Вместе со своими друзьями Герцен составляет в начале 1834 года план исторического, литературного и философского журнала, в котором должны были быть представлены такие постоянные отделы, как «философия истории», «исторические отрывки, оригинальные и переводные», теория литературы и критика, «философия природы» (1, 61).

В плане журнала Герцен обосновывает энциклопедический характер предполагавшегося издания и тем самым характеризует основы своего мировоззрения, свои политические, литературные и философские интересы. «...Изучение слова и деяний человека еще недостаточно, человек — часть природы, он ее принадлежность, она его обусловливает, она подчиняет его своим законам; следственно, чтоб понять человека, надлежит понять природу» (1, 59). Слова эти свидетельствуют об известном усилении материалистических тенденций в мировоззрении Герцена.

Программа журнала, который замыслил Герцен, существенна и для понимания его эстетических воззрений той поры. Исходя из того, что «человечество развивается в двух направлениях: в мире гражданском и в мире эстетическом, в мире *дела* и в мире *слова»,* он придает большое значение проблемам эстетики.

В области последней Герцен отстаивает позиции, в значительной мере определяемые ранее высказанным положением о том, что законы бытия и законы сознания «сбегаются». В плане журнала говорится: «Гражданское состояние есть *воплощенное слово,* и, обратно, литература, как слово народа, есть выражение его быта».

В плане чувствуется (разумеется, эзоповски недоговоренное) стремление Герцена увидеть в литературе соратницу передовой политической мысли и политического революционного действия: «...нераздельное представляет нам литература и политический быт» (1, 59).

Издание журнала осуществить не удалось. Надежды на создание в тогдашней России трибуны, с которой можно было бы сколько-нибудь полно высказать свои взгляды, вообще были явно утопическими. К тому же над Герценом и его друзьями уже нависали грозовые тучи.

III. ИСПЫТАНИЯ

(1834—1839)

1. Арест и ссылка

Девятого июля 1834 года был арестован Огарев. Легко себе представить, какое огромное впечатление произвело это событие на Герцена. Нельзя было не

вспомнить о жестокой судьбе нескольких студентов Московского университета, арестованных тремя годами раньше по делу Сунгурова и его друзей. Они были сосланы рядовыми в различные полки, главным образом на Кавказ. Тогда Герцен и Огарев участвовали в сборе денег для осужденных, отправляемых по этапу, после чего Огарев был вызван в полицию и получил «отеческое», но многозначительное предупреждение о том, что за ним и его приятелями отныне будет строгий надзор. Угроза эта не могла остановить друзей. Наоборот, по образному определению Герцена, она явилась для них «чином, посвящением, мощными шпорами» (8, 146). Друзья гордились тем, что удостоились внимания царской полиции. Они не очень стеснялись в переписке, напротив, даже склонны были открыто щеголять своим свободолюбием. В делах полиции имелось донесение о том, что Огарев и его приятель поэт Соколовский в декабре 1833 года распевали марсельезу у подъезда Малого театра. Герцен, Огарев и их ближайшие друзья одно время носили на шее одинаковые трехцветные шарфы в честь знамени республиканской Франции. Во всем этом было немало мальчишества, сказывалась революционная незрелость. Но это была незрелость целого поколения, которое после разгрома декабристов не могло еще найти пути революционной деятельности. В основе же этих, по внешности мальчишеских, выходок лежало юное негодование, протест и решимость идти навстречу опасности.

Друзья, мечтая о будущей революционной деятельности, готовы были жертвовать собой. Воображение не раз рисовало им своды тюрьмы, мрачные казематы и далекую Сибирь. Тем не менее, арест Огарева был для Герцена неожиданным и тяжелым ударом. Слишком резок был переход от мечтаний о будущей деятельности, от поэтических надежд к суровой прозе русской жизни. Еще не найдя своего поприща, Огарев оказался в лапах царской полиции, а Герцен горько чувствовал свое бессилие помочь другу. Впрочем, он пробовал хлопотать, даже отправился к московскому обер-полицмейстеру с наивной просьбой разрешить ему свидание с Огаревым, но все эти попытки, разумеется, кончились неудачей.

Серьезность положения была подчеркнута Н. Н. Раевским в разговоре с Герценом за обедом у М. Ф. Орлова. Когда Герцен сообщил об аресте Огарева, Раевский, которому столь памятны были дни и месяцы, последовавшие за 14 декабря 1825 года, сказал: «Так вот... и ваш черед пришел; этот омут всех утянет» (8; 177—178).

Лишенный друга, подавленный случившимся, Герцен особенно чутко и благодарно должен был отозваться на сердечное участие и сочувствие, которое в те дни он встретил со стороны своей семнадцатилетней двоюродной сестры Натальи Александровны Захарьиной.

Н. А. Захарьина была дочерью старшего брата Яковлева — Александра и Ксении Ивановны Захарьиной, вероятно, крепостной последнего. Для А. А. Яковлева, с его, по выражению Герцена, «циническим развратом» (8, 110), Ксения Захарьина была лишь одной из многочисленных случайных наложниц. После смерти отца, примерно с восьми лет, Наташа воспитывалась у княгини Марьи Алексеевны Хованской, родной сестры Ивана Алексеевича Яковлева. Если Герцен рос шаловливым мальчиком, избалованным матерью, за духовным, нравственным развитием которого не было никакого наблюдения, то Наташу предоставили самой себе просто потому, что ее жизнь и судьба были Хованской совершенно безразличны. Наташа всегда чувствовала себя чужой в доме «благодетельницы». Она с детства привыкла к уединению, к углублению в самое себя. В религиозной вере она пыталась найти утешение от унижения, оскорблений и попреков, выпадавших на долю бедной «воспитанницы». Получив скудное образование, она, однако, много читала, думала. В ней рано проснулись незаурядные душевные силы, высокие стремления. Замечательная цельность и страстность чувств сочетались в ней с внешней сдержанностью. Она с детства питала глубокую симпатию к двоюродному брату, симпатию, тщательно скрываемую и тем более углублявшуюся. Пылкий, обаятельный юноша, об уме и благородстве которого она много слышала в кругу родных, невольно привлекал ее. Впоследствии Наталья Александровна писала Герцену: «Еще ребенком я любила тебя без памяти, боялась тебя, и каждое слово твое было мне — за-

кон; я прыгала от радости, когда ты обращал на меня внимание... Я гордилась тем, что твоя сестра...» [1]

Что же касается самого Герцена, то в студенческие годы сестра интересовала его довольно мало. Он был слишком увлечен жизнью университета, новой дружеской средой. На сестру, которая была на пять лет моложе его, двадцатилетний студент смотрел как на ребенка. От того времени сохранилось несколько записок Герцена. В одной из них он извиняется, что не мог лично поздравить «любезнейшую Наталию Александровну» с днем ее рождения: «...ей-богу, нет никакой возможности, я виноват, что давно не был, но обстоятельства совершенно не позволили мне по желанию расположить временем» (I, 131). Другие записочки были приложены к посылаемым Наталье Александровне, по ее просьбе, книгам. Наташа рассказывает брату о своих переживаниях, о своем намерении идти в монастырь, Герцен дает дружеские советы, пытается морально помочь ей.

Внезапно новый свет на их отношения кинула встреча, происшедшая 20 июля 1834 года. День этот они в своей дальнейшей переписке вспоминают десятки раз. 20 июля на Ходынском поле было большое гулянье и скачки. Вся Москва отправилась туда. Томившийся неизвестностью и тяжелыми предчувствиями в связи с арестом Огарева, не находивший себе места, Герцен также поехал на скачки. Здесь он встретил двоюродную сестру в обществе компаньонки княгини. Наташа вполголоса спросила его об Огареве. Они пошли прогуляться на близлежащее кладбище. Сестра утешала Герцена. Впоследствии он вспоминал: «Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня... Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть моя улеглась» (8, 179).

Они условились встретиться на следующий день. Встрече этой не суждено было состояться. В ночь на 21 июля Герцен был арестован.

Наталья Александровна тяжело переживала следовавшие за этим дни. Позднее она говорила о них в

---

[1] Соч. А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 34, 35.

письме к Герцену: «Две ужаснейшие ночи провела после твоего взятия, это 21 июля 1834 года, как только узнала, что ты взят. Ни слезы не выкатилось из глаз, но зато я думала, что к утру меня не будет в живых; во всю жизнь мою я не была больнее телом и душой» [1].

Герцен был заключен сначала в пречистенскую полицейскую часть, затем в Крутицкие жандармские казармы. Тюремные условия не были суровыми. Он имел возможность читать и переписываться с родными, в том числе и с Натальей Александровной. Чтение, впрочем, было, по крайней мере сначала, ограничено немногими случайными книгами, имевшимися в тюрьме. Герцен изучал итальянский язык и писал свои первые литературно-художественные опыты: «Легенду» и «Первую встречу». Но все эти занятия, разумеется, не могли заглушить его внутренней тревоги.

В письме к Наталье Александровне от 10 декабря Герцен спрашивает: «Неужели нам суждена гибель, и какая гибель — немая, глухая, о которой никто не узнает! Зачем же природа дала нам эти огненные души, стремящиеся к деятельности и к славе? Неужели это насмешка?» (I, 160). В письме от 8 февраля 1835 года Герцен говорит: «Я не разлюбил Русь, мне все равно, где б ни было, лишь бы дали поприще; идти по нем я могу, но создать поприще не в силах человека» (I, 165). Только в тюрьме Герцен получил ясное представление о чудовищном произволе самодержавия, тяготевшем над Россией. Он воочию убедился, каким страшным издевательствам подвергался в полиции и тюрьме простой русский человек, крестьянин или мещанин. В камере молодого арестанта было слышно, как подследственных били и секли во время допросов, как гремели их цепи. Наконец, следствие по собственному делу показало Герцену, что передовой интеллигенции не приходится ждать пощады от николаевского правительства.

Арест Огарева и Герцена был вызван следующими обстоятельствами. Один провокатор устроил у себя дома вечеринку и в разгаре веселья предложил присутствующим спеть сатирические куплеты, направленные против царя. Автором некоторых куплетов был уже упо-

---

[1] Соч. А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 329.

минавшийся Соколовский. Во время пения нагрянула полиция. Жандармам удалось установить связи и знакомства Соколовского с Огаревым, а при обыске у последнего были обнаружены письма Герцена, что повлекло за собой и его арест.

Следственная комиссия смогла обвинить Герцена лишь в том, что он «молодой человек пылкого ума и хотя в пении песен не обнаруживается, но из переписки его с Огаревым видно, что он смелый вольнодумец, весьма опасный для общества» [1]. Держался Герцен на допросах с достоинством. Он очень умело использовал то обстоятельство, что в распоряжении следователей не было никаких документальных доказательств, которые позволяли бы предъявить ему обвинение в распространении или хотя бы высказывании мыслей, «противных правлению в России». Такие мысли не содержались в его письмах к Огареву, в которых громко звучали утопически-социалистические мечтания. Следует отметить, что вообще никто из арестованных по этому делу с изложением своих подлинных убеждений на следствии не выступал. Впоследствии Герцен оценит такую тактику как слабость, в противоположность мужественному поведению шестидесятников, не скрывавших на допросах у царских следователей своих политических взглядов. Но это не было чертой, характеризующей именно данную группу молодежи, привлеченную к политическому дознанию, или тем более личной слабостью Герцена. Это была черта, типическая вообще для процессов 30—40-х годов. Русские передовые люди той поры еще не вступили в открытую войну с правительством. Они проходили теоретическую подготовку к ней.

Из-за недостаточности улик следствие шло медленно и растянулось почти на девять месяцев. Лишь в самом конце марта 1835 года Герцену и другим арестованным по этому делу был объявлен приговор. Герцен был сослан в Пермскую губернию, Огарев — в Пензенскую, с тем чтобы они были там определены на службу: николаевское правительство не без основания считало, что чиновничья лямка является средством, притупляющим

---

[1] Цит. по комментарию М. К. Лемке, Полн. собр. соч. Герцена, т. XII, стр. 335.

свободомыслие молодых дворянских интеллигентов. Арестованные же, уличенные в пении сатирических песен, поплатились несравненно более жестоко. Они, в том числе и Соколовский, были присуждены к заключению в Шлиссельбургскую крепость на неопределенный срок.

Девятого апреля 1835 года Герцен имел прощальное свидание с матерью и Наташей, а также с Сазоновым, случайно, как и Кетчер, не привлеченным к делу. Свидание 9 апреля навсегда осталось в памяти Александра и Наташи. На следующее утро Герцен писал ей: «Мне было нынче грустно ночью, очень грустно, Natalie, Natalie. Я много теряю в Москве — что у меня только есть. О, тяжко чувство разлуки, и разлуки невольной... Когда же мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы; изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру» (I, 173).

Герцен, может быть впервые, живо почувствовал все обаяние Натальи Александровны. Люди, знавшие ее и оставившие свои воспоминания, единодушно сходятся в характеристике ее облика. Она не была красавицей, но правильные, несколько крупные черты лица, глубокие синие глаза, легкая поступь, прирожденное изящество и грация оставляли ощущение одухотворенного обаяния, богатой внутренней жизни. В Наталье Александровне поражало сочетание мягкости и нежности с исключительной силой характера. Об этой черте ее писал такой человек, как Белинский.

Герцен еще не мог отдать себе ясного отчета в характере симпатии, которую он испытывал к Наталье Александровне. Но он чувствовал в ней верного друга, на глубокое и деятельное понимание и сочувствие которого можно было твердо опереться. Кузина, которую он знал довольно мало, стала любимой сестрой.

Герцен ощутил, что нежность, обаяние, душевная чистота Наташи укрепляют его веру в свои силы, его бодрость и оптимизм, смягчают тоску и одиночество.

Переписка Натальи Александровны и Герцена за время ссылки последнего занимает целый том в собрании сочинений, изданном Ф. Павленковым в 1905 году, причем письма Натальи Александровны по количеству и по размеру значительно превосходят письма ее корреспондента. В обстановке, в которой находился Герцен, эти письма имели для него огромное значение. Ему

было трудно переносить вятское одиночество (Пермь, как место ссылки, была через две недели по прибытии туда Герцена заменена Вяткой). Он лишился дружеской, идейно близкой среды. Письма от друзей из Москвы приходили редко. Опасаясь новых преследований, родные Огарева, по-видимому, всячески препятствовали его сношениям с другом.

Переписка с Натальей Александровной явилась для Герцена подлинной душевной потребностью, сыграла плодотворную роль в его духовном развитии и оказала ему громадную моральную помощь.

Герцену пришлось в течение нескольких месяцев прослужить в канцелярии вятского губернатора в качестве рядового писца, занятого исключительно перепиской набело бумаг, составленных начальством. В «Былом и думах» Герцен вспоминал: «Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Не материальная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени — вот что делало канцелярию невыносимой... В канцелярии было человек двадцать писцов. Большей частью люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия — дети писцов и секретарей, с колыбели привыкнувшие считать службу средством приобретения, а крестьян почвой, приносящей доход, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости... Просидевши день целый в этой галере, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван,— изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие... И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения» (8; 244—245). Впервые Герцен оказался опутанным той «потрясающей тиной мелочей» захолустного крепостнического приказного быта, которую Гоголь с такой силой воплотил вскоре в «Мертвых душах». В письме от 5 декабря 1835 года Герцен писал Наталье Александровне: «В Перми я не успел оглядеться, но здесь, пришедши в обыкновенную жизнь, окруженный мелочами, смешными и подлыми, притеснениями маленькими, душа моя упала с высоты» (I, 209).

Правда, у Герцена появились в Вятке и близкие люди. К ним принадлежали представители вятской разночинной интеллигенции, местный учитель Скворцов, его жена, кое-кто из молодых купцов (об отношениях между Герценом и знаменитым архитектором Витбергом, также сосланным в Вятку, будет сказано особо). Впоследствии Герцен тепло и нежно вспоминал об этих своих «подснежных друзьях». И они платили ему глубокой благодарностью за то, что он их приобщил к иной, высшей, ранее совсем неведомой им жизни. В том, что Герцен и в Вятке сумел найти людей, которых волновало, возбуждало его слово, людей, с которыми можно было вести беседы, проникнутые «любовью и *негодованием*» (8, 289), сказалось непреодолимое стремление Герцена к пропаганде свободолюбивых идей, его постоянные поиски аудитории, охваченной сочувствием и симпатией. Однако в отношениях с ними не могло не сказаться интеллектуальное неравенство. «Подснежные друзья» инстинктивно почувствовали «смелый ум и дух высокий» Герцена, но сами не имели ни силы, ни характера, чтобы продолжать начатое Герценом и выйти из болота обывательщины. Вскоре после того как Герцен покинул Вятку, его отношения с ними оборвались, но и раньше он должен был чувствовать слабые стороны своих вятских друзей. И тем не менее, они помогли ему. Они окружили его восхищением, любовно выслушивали его признания и сетования, а Герцен нуждался в укрепляющей моральной поддержке. Он ведь не был подготовлен к борьбе, которая требовала не только высоких стремлений, но и способности каждодневно, по мелочам отстаивать свое «я», свои убеждения, свое будущее.

В тюрьме на допросах шла прямая борьба со следователями. Герцен с гордостью ощущал себя тогда «узником», «колодником», а здесь, в Вятке, бороться нужно было молча, стиснув зубы, с напряжением всех душевных сил, не позволяя тине и грязи просочиться в душу. Через 13 лет спертый воздух вятского существования так же будет душить молодого Салтыкова. Но он еще до Вятки познал серое и грязное крепостническое пошехонье, к тому же это был человек, духовно более закаленный, чем Герцен. Герцен же в Вятке часто бывал близок к отчаянию.

2. Герцен и Н. А. Захарьина

Двадцать пятого июня 1835 года Герцен писал Н. А. Захарьиной: «Нет, ей-богу, я не могу привыкнуть к этой жизни. Не иметь ни одного сердца, в которое бы мог перелить восторг свой, свои чувства, нет ни одного человека, который хотел бы понять меня *или мог бы.* Без симпатии я не могу жить» (I, 186). А несколькими месяцами позднее Герцен говорит о «дивном действии», которое имеют на него письма Натальи Александровны: «это струя теплоты на морозе» (I, 194). Переписка эта осуществлялась благодаря матери Герцена, при ее посредстве. Письма Наташи укрепляли веру Герцена в то, что вятская жизнь лишь преходящий этап, что перед ним вновь откроется высокое и прекрасное будущее. Она писала Александру: «Нас все будет окружать необыкновенное, все прекрасное, изящное», и в другом письме: «Именно наша жизнь должна быть необыкновенная, сколько я ни слышу, ни вижу,— ни одной не позавидовала, я хочу жить только той жизнью, которую можешь дать только ты» [1].

А тремя годами позднее Наталья Александровна, обсуждая в письме литературные планы Герцена, восторженно восклицает: «Как встрепенется Русь, сколько земли свеет с нее печатный Александр, как взмахнет она крылами, сколько покровов спадет перед ее глазами, и там, где путь его, сколько исцеленных, воскресших, спасенных...» [2]

В течение трех лет ссылки в первую очередь именно Наталья Александровна чутко и отзывчиво заменяла Герцену ту аудиторию, которая была ему насущно необходима.

Из переписки они узнали друг друга и убедились в глубокой духовной близости, существовавшей между ними. Переписка с Наташей напоминала Герцену эмоциональную атмосферу, в которой сложилась его дружба с Огаревым. Общими были у Герцена и Наташи их мечты о жизни и деятельности на благо отчизны, общей

---

[1] Соч. А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 166, 209.

[2] Там же, стр. 435.

была их привязанность к родной и любимой Москве. 24 сентября 1835 года Наташа писала: «Вчера я была в городе... Въезжая в родимый Кремль, вспомнила тебя,— и он что-то показался мне грустным, на нем давно не было твоего следа, он грустит об Александре. Погрусти со мной, Кремль родимый, потоскуем о нем вместе; он — твой сын, верный, достойный сын»[1]. А двумя годами позднее Герцен как бы отвечает на эти строки: «Когда вы едете в Москву? Тяжелая минута для тебя, когда ты опять издали увидишь Крутицы и там Кремль, и мысль, что меня нет, отравит это свидание с Москвой. А я люблю Москву, люблю ее за ее русский характер, люблю за воспоминания юности, люблю за тебя, Наташа» (I, 473).

Некоторые дореволюционные исследователи считали, что переписка с Натальей Александровной оказала отрицательное воздействие на Герцена, и объясняли ею резкий поворот, якобы происшедший в его воззрениях в период тюрьмы и ссылки, его «мистические настроения» и т. п. Действительно, Герцен в своих письмах к Наташе не раз говорит о своем перерождении, происшедшем под ее влиянием, указывает, например, что благодаря ей он познал «религиозную идею» (I, 407).

На самом деле вопрос об элементах религиозности в воззрениях Герцена решается гораздо сложнее.

Еще до тюрьмы и ссылки у Герцена сказывалась, если использовать выражение Энгельса, «старая идеалистическая привычка» представлять себе социалистическое учение «как новую, истинную религию»[2]. В том самом письме к Огареву от 1 августа 1833 года, в котором Герцен критикует «мистический католицизм» Шеллинга, он сообщает: «Я теперь пристально занимаюсь христианством. Огарев, с каким стыдом должны мы думать, что доселе не знали Христа! Какая высота, особенно в посланиях Павла!» (I, 122).

Неделей позже Герцен развивает такую схему исторического развития христианства: «Его первая фаза была мистическая (католицизм)... Вторая фаза — пере-

---

[1] Соч. А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 35.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. первое, т. XIV, стр. 655.

ход от мистицизма к философии (Лютер). Нынче начинается третья, *истинная, человеческая* — фаланстерство (может быть, сен-симонизм??)» (I, 126).

Герцен выступал против мистицизма сен-симонистов, но, не зная научно обоснованного пути к «обновлению мира», он надеялся в первую очередь на «нравственное воспитание», на «просвещение» человечества и порой облекал свои надежды в религиозную форму.

В 30-х годах Герцен не отдавал себе отчета в том, в какой степени такого рода упования противоречат сущности его исканий. Фразы о создании новой религии мешали трезвому пониманию действительности и навязывали ложное представление, будто пропаганда избранных и «нравственное воспитание» способны принести миру «избавление».

Весьма показательно, что Герцен мог одновременно работать над двумя столь различными литературно-художественными опытами, как «Первая встреча» («Германский путешественник») и «Легенда». Обе эти вещи написаны в тюрьме и лишь несколько переработаны в Вятке.

В первом из этих произведений уже чувствуется идейная направленность, живость и остроумие герценовского беллетристического стиля, умение Герцена при помощи ряда художественных зарисовок довести до читателя определенную и важную для него мысль. Пропаганда участия в «биографии человечества», то есть активной, практической деятельности во имя передовых общественных целей,— такова мысль этого первого значительного художественного произведения Герцена.

В 1838 году Герцен писал Н. А. Захарьиной об идее «Первой встречи»: «...эта мысль чисто политическая, и от нее-то именно Сазонов и приходил в восторг, ибо она разом выражает все расстояние сухих теоретических изысканий права и энергической живой деятельности, деятельности практической» (II, 37). В центре рассказа — образ Гёте. Используя некоторые высказывания Гёте в его автобиографических произведениях и сатирических пьесах, Герцен, отмечая величие «творца Фауста», рисует вместе с тем образ Гёте-придворного, находящегося в армии интервентов, выступивших в поход против революционной Франции, Гёте, который «пишет комедии в день Лейпцигской битвы» и

«не занимается биографиею человечества, беспрерывно занимаясь своею биографиею» (1, 120).

Интересны также некоторые обрамляющие рассказ эпизоды. О встрече с Гёте рассказывает «германский путешественник», который, однако, отмечает, что он сам «не настоящий немец» (1, 111). Путешественнику довелось побывать в революционном Париже, где он встречался с Анахарсисом Клоотсом, известным деятелем французской революции.

Эпизодическое появление в «Первой встрече» Клоотса особенно интересно потому, что этот пламенный проповедник атеизма, «культа разума» и интернационального братства впоследствии неоднократно упоминался Герценом, шутливо относившим Клоотса даже к числу своих «личных друзей» (IX, 49), то есть наиболее симпатичных ему исторических деятелей прошлого.

Образ этого члена Конвента говорит прежде всего о могущественном пафосе революционной эпохи. Зато пруссаки из армии контрреволюции характеризуются следующим образом: «У них что-то глубокомысленное снаружи и совершенное отсутствие мыслей, кроме повиновения фельдфебелю, внутри» (1, 112).

«Легенда» написана в тюрьме, всего два-три месяца спустя после «Первой встречи», но доработку этих вещей в Вятке Герцен производил в обратном порядке: сначала, в марте 1836 года, он был занят «Легендой», а в июне того же года — «Первой встречей». Таким образом, и в тюрьме и в ссылке Герцен занимался этими двумя произведениями почти одновременно.

В отличие от «Первой встречи», «Легенда» не представляет сейчас никакой художественной ценности. Написанная в искусственно-приподнятом, цветистом стиле, она является, как на то указал сам Герцен, переработкой жития преподобной Федоры, входящего в Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского.

Введение к повести передает настроение Герцена в тюрьме. Выражая неудовлетворенность тем, что «наш век» не знает мощных, зовущих к подвигам верований, автор вспоминает о «блестящей эпохе монастырей» и говорит: «Эта жизнь для идеи, жизнь для водружения креста, для искупления человека казалась мне высшим выражением общественности». Герцен саркастически указывает на тот «свист и смех, с которым встретило

XIX столетие религиозное направление» (1; 83, 84). Неясное в такой связи упоминание о «религиозном направлении» объясняется, как отмечает Л. Крестова, тем, что в рукописном тексте вместо этих слов стоит имя Сен-Симона[1]. Рассказывает же «Легенда» о религиозных исканиях в первые века христианства.

«Первая встреча» и «Легенда», при всем несходстве их колорита и изображенных в них характеров, объединены — пусть еще незрелой и абстрактной — мечтой о жизни, чуждой мелких обывательских интересов, посвященной высоким идеалам человечества, являющейся «высшим выражением общественности». Но, разумеется, религиозная форма, в которую облечена эта мечта в «Легенде», кладет на произведение весьма своеобразный отпечаток, свидетельствуя, что в тюрьме и ссылке в мировоззрении Герцена более заметно выступали те черты, которые еще до ареста обусловили его симпатии к «религиозным» сторонам сен-симонизма. Однако даже «Легенда», как то доказала Л. Крестова, не противостоит общественным устремлениям Герцена. Она является лишь характерным проявлением той противоречивой религиозной формы, которую порой эти герценовские чаяния принимали. Довольно скоро у Герцена стало проявляться критическое отношение к «Легенде». 14 февраля 1837 года Герцен говорит в письме к Наташе: «Лучшая статья моя *«Германский путешественник»*. Право, ты увлеклась «Легендой» (I, 388).

Таким образом, было бы неправильным считать, что на период вятской ссылки приходится резкий поворот в воззрениях Герцена. Переписка с Натальей Александровной не могла привести Герцена к мистицизму. Несомненно, однако, что именно в этот период у него более явственно, чем раньше, проявлялись взгляды пантеистического и даже деистического характера, связанные с идеалистическими чертами его воззрений в предшествующие годы.

Религиозная фраза появляется в письмах и произведениях Герцена в Вятке несравненно чаще, чем до ссылки. Встречается порой даже выспреннее восхищение церковным служением, призывы к молитве и т. п. Это

---

[1] См. статью Л. Крестовой в сб. «Памяти П. Н. Сакулина», М. 1931, стр. 117.

отражалось на слоге и тоне писем Герцена к Наталье Александровне, а также его произведений той поры. Впоследствии Герцен писал о языке своих писем к Наталье Александровне из Вятки: «...рядом с истинным чувством — ломаные выражения, изысканные эффектные слова... Тогда я все еще старался писать свысока и писал дурно, потому что это не был мой язык» (8, 346). Но эти настроения были для Герцена чем-то внешним и поверхностным. В самых письмах Герцен порой должен был сознаваться в том, что ему приходится делать усилия, для того чтобы попасть в тон своей корреспондентки. Так, в одном письме 1838 года он просит Наташу молиться за него, но признается при этом, что ему самому «до молитвы далеко». «Молитва у меня бывает, как молния мгновенна и ярка в минуту сильной горести, в минуту сильного восторга,— в обыкновенное же время нет потребности. Ум действовал у меня прежде сердца, и вот следы» (I, 408). Постепенно, как мы увидим, эти минутные настроения тоже исчезают, уступая место все более цельному и глубокому взгляду на мир.

В разлуке и одиночестве Герцен довольно скоро осознает характер своего чувства к Наталье Александровне. 9 апреля 1835 года он простился с ней, а 12 октября уже спрашивает в письме: «Веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дружба? Я не верю» (I, 201). Герцен назвал свой вопрос «безумным» и «страшным», но он не мог испугать Наталью Александровну, потому что она в своей цельности и чистоте уже знала и чувствовала одно: «На земле у меня нет существа драгоценнее тебя, я люблю тебя более всех на свете. Ужели это чувство более, выше дружбы, — я не умею назвать его, но верю ему. Никогда, никогда я не буду любить, никогда не позволю никакому чувству в душе моей стать выше того чувства, которое я имею к тебе» [1].

Увлечения, которые пережил Герцен до чувства к Наталье Александровне, не оставили заметного следа. Радостная «весенняя», «первая любовь» к Людмиле Пассек, озарившая собою год, следовавший за окончанием

---

[1] Соч. А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 40.

университета, быстро прошла. В Вятке у Герцена, по его собственному выражению, был «маленький роман», который, однако, вырос затем в «большое угрызение». Он довольно скоро понял, что его чувство к П. Медведевой недолговечно. Герцен чистосердечно написал обо всем Наташе. Он и в Вятке заботился о Медведевой, а в последующие годы вместе с Натальей Александровной оказывал ей дружескую помощь.

Не случайным было то, что прежние увлечения Герцена носили столь мимолетный характер. Герцен и в любви искал всестороннего понимания, полного единства духовных интересов. Такое глубокое удовлетворение ему впервые принесла любовь к Наталье Александровне.

Наталья Александровна была, несомненно, одной из самых замечательных женщин своего времени. В «Былом и думах», впервые упомянув о ней, Герцен писал: «Первый раз в моем рассказе является женский образ... и, собственно, один женский образ является во всей моей жизни» (8, 179).

«Частное» занимало в жизни Герцена чрезвычайно важное место и, сложно сочетаясь с «общим», играло бóльшую роль, чем у некоторых видных его современников. Салтыков-Щедрин, например, требовал от «частного» лишь того, чтобы оно не мешало его общественно-литературной деятельности, так как ясно видел, что жена его Елизавета Аполлоновна совершенно чужда его идейным стремлениям. Чувство к Ольге Сократовне занимало в личной жизни Чернышевского не меньше места, чем любовь Герцена к Наталье Александровне, но Чернышевскому и в голову не приходила мысль рассматривать свои отношения с женой как одну из центральных тем лирического автобиографического рассказа, хотя в своем политическом романе «Пролог» Чернышевский тепло, трогательно и с неподдельным восхищением изобразил свою жену в лице Волгиной.

Причиной этому было не только то, что Ольга Сократовна, морально поддерживая мужа, не обладала таким глубоким и осознанным пониманием его идейных интересов, какое отличало Наталью Александровну в ее отношениях к Герцену. Чернышевский, представитель нового революционного поколения, опирался на гораздо более широкий круг передовых людей, чем Герцен. Чер-

нышевский уже смог изобразить в лице Веры Павловны в «Что делать?» типическую передовую женщину тех лет, принадлежащую к кругу «обыкновенных порядочных людей нового поколения». Герцену же и Наталье Александровне их отношения, владевшее ими «высокое чувство» казались столь замечательными и достойными литературного отражения именно потому, что свидетельствовали об исключительной тогда, «необыкновенной» жизни, могущей служить примером для других.

Необычайно узок был круг передовых людей, к которому принадлежал Герцен. В отличие от него, Чернышевскому уже не было нужды изображать свою личную жизнь в автобиографических произведениях как доказательство роста «новых людей», как воспитывающий и вдохновляющий пример: он мог указать на рост целого нового поколения. У Герцена в 30—40-х годах такой возможности не было. Герцен потому так много уделял внимания своей личной жизни и так пространно впоследствии рассказал о ней в «Былом и думах», что придавал ей большое общественное значение. Он был исторически прав, потому что глубокая и верная любовь, основанная на единстве высоких духовных стремлений, была в 30—40-х годах редким явлением. О такой любви стоило рассказать другим. Интересно, что в феврале 1853 года Чернышевский, прося Ольгу Сократовну стать его женой и предупреждая об опасности, которая ей будет угрожать, если она свяжет с ним, революционером, свою судьбу, приводил ей в пример Наталью Александровну и Герцена. «Былое и думы» тогда еще не были напечатаны, и Чернышевский знал лишь устные рассказы о жизни Герцена, на основе которых уже складывалась легенда. Так, Чернышевский говорил Ольге Сократовне, что Наталья Александровна умерла, узнав, что Герцен арестован полицией Наполеона III, решившей выдать его царскому правительству. Наталья Александровна выступает в рассказе Чернышевского как пример жены передового революционного деятеля [1]. Это показывает, какой большой интерес возбуждала тогда среди нового, подраставшего революционного поколения даже личная жизнь Герцена.

[1] См. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, стр. 419.

3. Уроки Вятки и литературная работа

Письма Герцена к Наталье Александровне из Вятки рисуют нам по преимуществу одну сторону его жизни. Так, в этих письмах почти нет конкретных социальных или даже бытовых наблюдений, а между тем московские главы «Записок одного молодого человека», зарисовки быта губернского города в «Кто виноват?» и в особенности главы «Былого и дум», рассказывающие о вятской жизни, указывают, какой огромный запас впечатлений большой общественной значимости откладывался в памяти Герцена именно в то время, когда он, казалось, целиком ушел в восторженную и благоговейную любовь к Наталье Александровне.

Ссылка обогатила Герцена знанием подлинной жизни. В «Былом и думах» Герцен писал, характеризуя перелом, происшедший в нем между годами студенчества и ссылкой: «Из детской я перешел в аудиторию, из аудитории — в дружеский кружок,— теории, мечты, свои люди, никаких деловых отношений... Практическое соприкосновение с жизнью начиналось тут — возле Уральского хребта» (8, 226).

До ареста и ссылки представления Герцена о характере самодержавно-крепостнического гнета и его проявлениях в повседневной жизни русского народа были очень отвлеченными. До Вятки Герцен вовсе не знал того страшного «болота приказных дел», в котором гибли тысячи невинных, затянутые в этот омут щупальцами чиновничьего произвола, сетью ябед, клеветы и волокиты. В Вятке Герцен впервые столкнулся со страшной системой деспотического произвола. К тому же в Вятской губернии, где большую часть жителей составляли не помещичьи, а государственные крестьяне, бесправие народа перед чудовищным своевластием и тиранией чиновничества выступало с особенной наглядностью. Знакомству с положением крестьян способствовали и занятия Герцена по статистике края — губернское начальство вскоре поручило ему эту работу как одному из немногих образованных чиновников.

Из материалов губернской канцелярии и благодаря собственным наблюдениям во время ревизий и поездок по губернии Герцен узнавал и о крестьянских бунтах, в которые выливался народный протест, и о следовав-

ших за ними кровавых усмирениях. Герцен указывал впоследствии, что именно ссылка помогла ему лучше узнать жизнь крестьянства.

В Перми и Вятке Герцен встретился и с другими жертвами царизма — польскими ссыльными, встретился с ними уже иначе, нежели в университетской аудитории. Теперь он сам был преследуем царизмом, сам находился в полной зависимости от такого жестокого самодура, каким был вятский губернатор Тюфяев. Тем самым как бы скреплялся складывавшийся в испытаниях союз передовых русских людей и борющихся за свободу своей родины поляков, союз, направленный против общего врага — самодержавия. Написанная в Вятке «Вторая встреча» рисует печальный, но проникнутый стойкостью и мужеством образ польского ссыльного Цехановича, которого не в силах были сломить преследования царизма.

Еще в начале вятской жизни, в ноябре 1835 года, Герцен писал Кетчеру: «Единственная польза, которую я приобрел, что ближе узнал некоторые части законоведения и самую Русь. Опыт — дело важное: ежели писанного не вырубишь топором, то полученного опытом не выжжешь огнем» (I, 206).

Двумя годами позднее, в письме к тому же Кетчеру, Герцен придает уже гораздо более важное положительное значение своему вятскому опыту. Он говорит, что все, что ему пришлось узнать и пережить в Вятке, «оставляет на душе разные слои, и хотя они перемешаны с грязью, но душа выплавляет из них сумму опытов, итог практических заметок и мечтаний, деловых бумаг и фантастических образов, а от этого делаешься многостороннее, *прилагаемее* — и польза очевидная. Вы, господа, не знаете России, живши в ее центре; я узнал многое об ней, живучи в Вятке. Большая часть ваших синтетических мыслей основана на книгах; у меня их мало, но я их утверждаю на самом совершающемся деле, на фактах юридических» (I, 465).

Наблюдения над повседневным бытом провинциальной бюрократии питали иронию и сарказм Герцена. Вятское чиновничье общество стало предметом его ранних сатирических зарисовок. Эти очерки по большей части до нас не дошли, но краткие сведения о них сохранились. Таково, в частности, относящееся к 1837 году

«письмо из Вятки», о котором Герцен пишет Наталье Александровне: «Это карикатура, следственно, не по твоей части» (I, 441). Сатирические опыты Герцена Наталья Александровна не любила. «Иронии я чужда»,— писала она[1]. Герцен возражал: «Зачем ты не любишь ее? Она проникает особым огнем целое, ибо это не насмешка, а внутреннее неудовольствие за мелочничество людей, и мне она естественна, как дышать» (II, 124).

Ирония Герцена была далека от безысходного и бесплодного скептицизма, а между тем жестокая и грязная провинциальная действительность нередко порождала у своих жертв именно такой скептицизм устали и ожесточения. В «Былом и думах» Герцен оставил нам портрет одного пермского врача — «довольно оригинального произведения русского *надлома*» (8, 237). Доктор Чеботарев был умным человеком, но весь протест его против окружавшей среды сводился к сарказмам, каламбурам и ироническим выпадам, с которыми местные чиновники свыкались довольно легко. У Герцена же сатира и ирония были лишь оборотной стороной напряженных и глубоких исканий иной жизни. Впоследствии, как мы увидим, Герцен не раз рисовал в своих художественных произведениях образ человека, чье мировоззрение носит характер безысходно-скептический... Но каждый раз, в той или иной форме, Герцен подчеркивал слабые стороны такого воззрения, видя в нем следствие «повреждения» и «надлома».

Ненависть же Герцена к царизму никогда не угасала. В одном из вятских писем к Н. Захарьиной от начала 1837 года он, несколько прикрывая свою мысль, говорит: «Последние годы нашей жизни похожи на историю римских цезарей, где ряд злодеев наследовал друг другу» (I, 384). Далее намеками Герцен сопоставляет Николая I с Тиверием и Нероном.

В Вятке Герцен прочитал напечатанное в «Телескопе» знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева. В «Былом и думах» он рассказал об огромном впечатлении, произведенном на него этим безжалостным обвинением, брошенным в лицо самодержавно-крепостнической России. Письмо Чаадаева для Герцена про-

[1] Соч. А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 435.

звучало как сигнал, свидетельствующий о том, что сознание невыносимости самодержавно-крепостнического гнета стало прорываться наружу. Какие бы пессимистические и ошибочные выводы ни делал сам Чаадаев, для Герцена сознание этой невыносимости означало призыв к борьбе.

В какой мере Герцен закалился в ссылке, показывают его взаимоотношения с А. Л. Витбергом. Александр Лаврентьевич Витберг (1787—1855), русский архитектор и художник, был известен своим проектом гигантского храма-памятника, посвященного освобождению России от наполеоновского нашествия и заложенного в 1817 году в Москве на Воробьевых горах. Еще в 1833 году Герцен, видя следы начатой и брошенной затем постройки храма, отметил это «великое намерение монументально увековечить славу 1812 года» (1, 52). Впоследствии Герцен в «Былом и думах» с полным основанием назвал проект Витберга, созданный в величественном и вместе строгом классическом стиле, «колоссальным, исполненным религиозной поэзии» (8, 278), и указал притом, что корни этого великого творческого замысла лежат прежде всего в драматических, потрясших душу художника событиях 1812 года. Витберг, сосланный по клеветническому обвинению в злоупотреблениях, будто бы им совершенных при постройке храма, прибыл в Вятку на полгода позднее Герцена. Они быстро сблизились и вскоре поселились вместе. Витберг явился для Герцена тем примером стойкости и верности своим стремлениям, в котором молодой ссыльный, как мы видели, очень нуждался. Невинно опозоренный и разоренный, лишенный возможности осуществить любимый замысел, Витберг, тем не менее, не покладая рук трудился над совершенствованием своего проекта и решительно отказывался просить милости у царского правительства. Витберг действительно жил своим творчеством. Герцен учился у него непоколебимой верности своему призванию. И Витбергу во многом помогла близость его юного друга. Молодость, остроумие, веселость Герцена рассеивали печаль, в которую художник был погружен. Витберг видел, что Герцен понимает и ценит его творчество. Портрет Герцена, написанный Витбергом, отражает глубокую симпатию художника к своему молодому другу. Одухотворенное лицо, блестящие глаза, взор,

устремленный вдаль, высокий лоб, вьющиеся волосы, классический профиль — таков образ юного Герцена, переданный Витбергом. Герцен записал воспоминания Витберга, помогал ссыльному архитектору материально — по его предложению Витберг поселился вместе с ним в хорошей и просторной квартире. В одном из своих писем к Наталье Александровне Герцен обещал со временем рассказать Европе о Витберге; впоследствии в «Былом и думах» он действительно выполнил это обещание.

Но, восхищаясь Витбергом-художником, Герцен вместе с тем скоро увидел слабые стороны его воззрений. Глубокий, неискоренимый мистицизм страшно ограничивал кругозор Витберга, приводил к той «лени души», которая всегда вызывала резкий протест у Герцена. Уже в письмах к Наташе, относящихся к осени 1837 года, Герцен, говоря о своих отношениях с Витбергом, вынужден был сознаться: «...одна симпатия страданий и таланта соединяет нас, в силу остальных идей нас делит огромное расстояние XIX века с XVIII» (I, 461). Под влиянием Витберга Герцен заинтересовался писателями-мистиками, вроде Сведенборга, и даже выписывал сочинения последнего из Москвы, но, как сказал он в «Былом и думах», «реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земным человеком» (8, 288).

Все более реалистическими становятся и литературные работы Герцена. Некоторые его литературные замыслы в Вятке носили отвлеченно-романтический, далекий от общественных интересов характер. Таков план повести о человеке, всю свою сознательную жизнь искавшем «тайны воскрешения» любимой (I, 324). В повести «Елена», начатой тогда же, осенью 1836 года, Герцен в мелодраматической форме выразил угрызения, вызванные в нем романом с Медведевой. Герой повести, молодой князь, бросил женщину, любившую его, и женился на другой. Последней Герцен хотел придать «божественный характер» Натальи Александровны (I, 328), в противоположность «пламенной» и «земной» Елене, жертве князя. Впоследствии Герцен очень низко, и совершенно справедливо, расценивал это свое произведение. Автобиографический характер носил, по-видимому, относящийся к 1837 году, не дошедший до нас очерк

«I Maestri» («Учителя»), посвященный встречам в Москве с поэтом И. И. Дмитриевым, игравшим в литературе конца XVIII века прогрессивную роль, и в Вятке с Жуковским и Витбергом. Постепенно литературные замыслы Герцена все более последовательно входили в русло реалистического и по преимуществу автобиографического повествования.

Художественная проза Герцена первой половины 30-х годов, как на то справедливо указала Л. Гинзбург[1], по своему складу и стилю во многом перекликается с прозой Лермонтова тех же лет, с «Вадимом» и «Панорамой Москвы».

Проза этих молодых писателей при всей незрелости и подражательности формы (Герцен указал на подражание Гюго, сказавшееся в его слоге того времени) обладала отличиями принципиального значения, выделявшими ее в потоке романтической литературы. И у Герцена и у Лермонтова традиционная, порой даже наивная художественная форма еще скрывала и скрадывала искания и борьбу мысли. Но за шаблонным обликом «пламенных», «божественных» героев и героинь, в творчестве обоих писателей, несмотря на все различие их мировоззрения, чувствовался богатый духовный мир передовых дворянских интеллигентов.

Содержание духовной жизни и Герцена и Лермонтова противоречило той форме, в которую была облечена их проза первой половины 30-х годов. Оба они искали пути к реализму. В этом направлении каждый из них шел своим путем. Для Герцена это был по преимуществу путь автобиографии.

Еще до тюрьмы и ссылки Герцена привлекали зарисовки наиболее ярких эпизодов своей жизни. 7 июня 1833 года Огарев, отвечая на не дошедшее до нас письмо Герцена, указывал: «Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши, как в этом месте развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей»[2].

Герцен в этом же месяце осуществляет свое намерение и в отрывке «День был душный...» (1, 52), еще в

---

[1] Л. Гинзбург, Творческий путь Лермонтова, Гослитиздат, М. 1940, стр. 28, 29.

[2] Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. II, Госполитиздат, 1956, стр. 262.

несколько взвинченных тонах описывает происшедшее незадолго до того посещение им и Огаревым Воробьевых гор. Это посещение пробудило у друзей воспоминания об их отроческой клятве. Но в этом отрывке выступают и резкие сатирические ноты, направленные против строя, в котором «солдат продает свою кровь за палочные удары», а «будочник, утесненный квартальным, притесняет мужика» (1, 54).

Уже в начале своего пребывания в Вятке Герцен, раздумывая над «Легендой», писал Наталье Александровне, что предполагает отразить в этой повести «новый опыт своей души». Он хотел «выразить, как самую чистую душу увлекает жизнь пошлая, такая, которую я веду здесь. Жизнь та же, которую ведут *все*» (I, 193). Герцен не выполнил этого намерения, но восемью месяцами позднее, в апреле 1836 года, он высказывает несравненно более широкие замыслы реалистической автобиографической работы, впервые придавая ей доминирующее значение в своих литературных планах: «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей... Пусть впечатления, которым я подвергался, выражаются отдельными повестями» (I, 271). Автобиографический замысел непрерывно расширяется, конкретизируется и углубляется. «Все яркое, цветистое моей юности я опишу отдельными статьями, повестями, вымышленными по форме, но истинными по чувству»,— говорит Герцен в июне 1836 года (I, 302). И, сообщая далее своей корреспондентке конспект задуманного произведения, он дает, в сущности, черновой набросок плана первых частей «Былого и дум». Герцен включает в свой план и детские воспоминания о 1812 годе, и ссылку, и дружбу с Огаревым, и «годы странствования» (тюрьму и ссылку), и любовь. В процессе работы над повестью «О себе» [1] Герцен при-

---

[1] О развитии автобиографических замыслов Герцена в 30-х и начале 40-х годов см. работу В. А. Путинцева «Герцен-писатель», изд. АН СССР, 1952, гл. I. Автор этой книги доказал, что повесть «О себе» послужила лишь основой для «Записок одного молодого человека», являясь более ранним и шире задуманным самостоятельным автобиографическим произведением Герцена. См. также комментарий Л. Я. Гинзбург (т. 1, Собр. соч. А. И. Герцена, изд. АН СССР, 1954) и исследование А. Н. Дубовикова («Литературное наследство», т. 63). В этой последней работе впервые вскрыто

ходит к выводу, что именно автобиографический жанр наиболее соответствует особенностям его литературного таланта: «...нет статей, более исполненных жизни и которые бы было приятнее писать, как воспоминания. Облекая эти воспоминания во что угодно, в повесть или другую форму, всегда они для самого себя имеют особый запах, приятный для души... сверх того, лицо существующее имеет какую-то непреложную реальность, свой резкий характер по тому самому, что оно существует... Повесть лучшая форма, но это не мой род» (I, 448—449).

Герцен не хотел быть *только* писателем. Автобиографическая литература привлекала его как раз потому, что она не могла быть создана чисто литературным путем. Он хотел жить жизнью, достойной художественного воспроизведения. Герцен мечтает стать создателем такой автобиографии, которая сливалась бы с «биографией человечества». Он рано почувствовал в своих автобиографических работах средство своеобразной пропаганды. Они должны были рассказать людям о жизненном пути, носящем на себе яркий и живой отпечаток «биографии человечества», и призвать других к «деятельной» жизни, сливающейся с жизнью «универсальной».

Испытания ссылки как бы укрепляли Герцена в праве на автобиографию в таком ее понимании. Но если Герцен много пережил в Вятке, много извлек из этого испытания и многое задумал, то сделал он там мало. Его очерки и статьи вятского периода в рукописном виде ходили по рукам в Москве и пользовались успехом. В «Телескопе» в 1836 году была напечатана статья о Гофмане. Но Герцен чувствовал в себе силы влиять на гораздо более широкий круг. Уже покинув Вятку, он

то очень существенное обстоятельство, что мемуары Т. П. Пассек «Из дальних лет» в несколько прикрытой форме воспроизводят *ряд* фрагментов из повести «О себе», а не только зарисовку дружеской пирушки (см. т. 1, стр. 170) и отрывок «Часов в восемь навестил меня...» (см. т а м ж е, стр. 251); рукопись этой повести Герцена в некоторой ее части находилась в распоряжении Пассек. Вместе с тем исследование А. Н. Дубовикова показало, что степень точности воспроизведения Пассек рукописей Герцена весьма различна и в каждом конкретном случае требует специального изучения. Мемуаристка сокращала рукописи Герцена, редактировала его стиль. Это относится и к письмам Герцена к Пассек, цитированным нами на стр. 11—12.

писал Наталье Александровне: «Ты думаешь, что вся Россия, весь мир должен на меня смотреть твоими глазами; это ошибка, Наташа, увлеченье. Мир и люди смотрят не на душу развернутую, как ты, но на труд созданный; они поднимаются от труда к душе, и талант собственно, может, в том и состоит, чтобы элементы души своей отвердить словом, или искусством, или действием вне себя, и тем выше талант, чем ближе создание идеалу. Каким же образом ты воображаешь, что мои статьи могут сделать влияние? Это ребячество: по этим статьям, как по предисловию, могут заключить, что из писавшего что-нибудь выйдет, не более» (II, 36).

В Вятке Герцен упорно думал о характере своей будущей деятельности. Еще 4 ноября 1836 года он писал Наташе: «Страсть деятельности снова кипит и жжет меня. Люди, люди, дайте мне поприще, и более ничего не хочу от вас, дайте изведать силу, за что же ей понапрасну пропадать в груди?» (I, 347). Философская и литературная деятельность мыслится Герцену в непрерывной связи с активным влиянием на умы и души людей. «Мышление без действования — мечта!» (1, 330) — записывает он в конце 1836 года. Правда, характер будущей практической деятельности Герцен не представлял себе сколько-нибудь ясно. Он раздумывал даже над тем, не может ли служебная карьера открыть перед ним возможность действительно принести пользу родине. Такие планы встретили решительное возражение со стороны Натальи Александровны. В то время как Герцен, теоретически по крайней мере, допускал и компромиссы, лишь бы они открывали перспективу практической деятельности, Наталья Александровна решительно восставала против самой мысли о таких компромиссах, так как это никак не мирилось с ее представлением о той «необыкновенной жизни», которой она хотела жить вместе с Александром. И Герцен должен был согласиться с нею. Но он вновь говорит о том, что и литература его целиком удовлетворить не может. «Ты совершенно права насчет службы, но ведь и одной литературной деятельности мало,— в ней недостает *плоти,* реальности, практического действия, ибо, право же, человек не создан быть писателем... Как же быть,— об этом поговорим после, кое-что я придумал, но все это хаос, сброд проектов» (I, 402).

К этому же вопросу Герцен возвращается в августе 1837 года. «Отвлеченной мыслью я не достигну высоты, я это чувствую, но могу представить себе возможность большого круга деятельности, которому бы я мог сообщить огонь души. Какой это круг — все равно, лишь бы не ученый: мертвая буква и живое слово разделены целым морем. Разумеется, я под ученым занятием не понимаю литературу. Однако и в самой литературной деятельности нет той полноты, которая есть в практической деятельности» (I, 456).

Мысль Герцена устремлялась к самым сложным философским и естественнонаучным проблемам и действительно была способна овладеть ими. Но замкнуться в этих вопросах, стать профессиональным ученым Герцен не хотел. Мы уже видели, что путь кабинетного ученого, избранный Савичем, был для него неприемлем. Литературную работу Герцен мечтал соединить с общественной, политической деятельностью. Он не видел еще практических путей к тому, но целеустремленно искал такого жизненного пути, который дал бы ему возможность развернуть свои силы.

4. Во Владимире

Герцен рвался из Вятки, но все его хлопоты долго не приносили результатов. Внезапно положение изменилось. В мае 1837 года в Вятку приехал путешествовавший по России старший сын Николая I, Александр Николаевич, будущий император Александр II, которому тогда еще не было двадцати лет. Наследнику сопутствовал его воспитатель поэт В. А. Жуковский. Герцену пришлось показывать Александру и его свите приготовленную к их приезду выставку, и, разумеется, личность молодого ссыльного не могла не обратить на себя внимание Жуковского. Он живо заинтересовался судьбой Герцена и взялся ходатайствовать за него в Петербурге. В результате этих хлопот Герцен был переведен во Владимир и в конце 1837 года покинул Вятку.

Перемена была разительная. От Москвы Герцена отделяла теперь уже не тысяча верст, а всего около двухсот. Письмо к Наталье Александровне шло уже не пят-

надцать, а всего от двух до пяти дней. Во Владимире Герцена смогли навестить и Луиза Ивановна, и Огарев, и Кетчер. «Жизнь в письмах» (выражение Натальи Александровны) шла к концу.

Герцен приехал во Владимир 2 января 1838 года, а 17 января он уже подал губернатору рапорт с ходатайством о предоставлении ему отпуска в Москву «как для свидания с родственниками, так и по домашним обстоятельствам, требующим неотлагательно моего личного присутствия» (II, 17). Но такое разрешение ссыльному мог дать лишь сам Николай I. Рапорт пошел в высокие инстанции.

Наступило время, полное томления и ожидания. Герцен перечитывает свои старые письма к Наталье Александровне, которые ему привезла мать, и вновь берется за свою автобиографическую повесть. Проходит около полутора месяцев. За это время рапорт Герцена через министра внутренних дел дошел до шефа жандармов и начальника «III Отделения собственной его императорского величества канцелярии» Бенкендорфа, который решил не докладывать о нем императору. Герцен получил отказ. Тогда он решается на небезопасный шаг — тайно приехать в Москву для свидания с Натальей Александровной. Если бы Герцена задержали в Москве, ему вновь угрожала бы дальняя ссылка или даже крепость.

Третьего марта в Москве произошло первое, после тюрьмы, свидание Александра с Наташей. Свидание это состоялось втайне, ибо княгиня Хованская всячески препятствовала сближению Наташи с Герценом и пыталась выдать ее замуж, не жалея для этого даже приданого. А спустя еще два месяца, 8 мая, Герцен, с помощью Кетчера, увез свою невесту из дома княгини во Владимир. Здесь они на следующий день обвенчались. Эти события Герцен, с присущим ему даром оттенять дорогие ему воспоминания юмористическими подробностями, описал в той главе «Былого и дум», заглавие которой состоит из знаменательных для него дат: «Третье марта и девятое мая 1838 года».

Служба во Владимире не отнимала у Герцена много времени, губернатор Курута благоволил к нему, Наталья Александровна была в хороших отношениях с женой губернатора. Но, как говорит Герцен, и «в этом

одиночестве грудь наша не была замкнута счастием, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие...» (8, 378).

В Вятке возможности получения новых книг из Москвы, в особенности на иностранных языках, были очень ограниченны. Теперь, во Владимире, Герцен мог погрузиться в чтение. Друзья присылали ему и новейшие, вышедшие за границей, книги и брошюры, которые в самой Москве имелись лишь в очень небольшом количестве экземпляров. Так, например, Герцен во Владимире впервые познакомился с писаниями такого известного христианского демократа, как Ламенне, и нашел в них «огонь, поэзию, увлечение» (II, 93). Во Владимире Герцен сумел приобщить Наталью Александровну к тому идейному миру, в котором жил сам.

В марте 1839 года во Владимир приехал Огарев, и друзья увиделись впервые после долгой разлуки. Герцен вновь соединился с самыми близкими ему по духу людьми. Недаром в предвосхищении этой встречи он писал Наталье Александровне: «...наше *trio* одно чисто, светло, без пятна: *Огарев, ты и я*» (II, 97). Восторженное настроение, которым была овеяна владимирская встреча друзей, лучше всего характеризуется строками Огарева:

Сбылась мечта, и этот миг высокой
Я не во сне, а наяву узнал.
Любовь и дружба! Вы теперь со мной,
Теперь вы вместе, вместе у меня... [1]

С Огаревым приехала его жена Мария Львовна — они поженились еще в 1836 году. Герцен вскоре разгадал жену своего друга. Любя Огарева и стремясь сохранить свою власть над ним, молодая женщина только делала вид, что ей дорог и близок тот круг высших духовных интересов, которыми жил поэт. На самом деле подлинные ее стремления лежали в другой обла-

[1] Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы, т. I, «Советский писатель», стр. 39.

сти. Она хотела пышной, богатой, светской жизни, возможность которой открылась перед нею после смерти старика Огарева, оставившего сыну большое состояние. Ей хотелось блистать в свете; не щадя мужа, не считаясь с его склонностями, она тащила его за собой в светский омут. Герцен уже в декабре 1839 года назвал ее женщиной «без сердца и даже без такта» и жалел своего друга: «Бедный, бедный Огарев! и еще повязка не спала с глаз его!» (II, 342).

Герцен ощущал пребывание во Владимире как переломный период своей жизни. Приезжавшие, в частности Кетчер, рассказывали Герцену о переменах, происшедших в московских кружках, о новых интересах, идеях, владеющих умами. В Вятке все помыслы Герцена были сосредоточены на стремлении вырваться из провинциального болота, чтобы вновь активно участвовать в идейной жизни страны. Во Владимире Герцен много читал и напряженно думал, ибо понимал, что стоит непосредственно перед осуществлением своих стремлений.

Все более обильной и целеустремленной становится литературная деятельность Герцена. Сначала его привлекают темы и образы, навеянные жизнью в Вятке. В частности, он пишет не дошедшую до нас повесть «Его превосходительство», центральным персонажем которой являлся вятский сатрап Тюфяев,— по словам Герцена, «сюжет самый отвратительный, возмущающий все чувства благородного человека... тут гуляй моя ирония, клейми людей»,— добавлял он (II, 85).

Углубляется работа над повестью «О себе».

Замысел автобиографии по-прежнему влечет Герцена. Он живет и развивается в его творческом сознании, становясь очень емким. Стремление увидеть и воплотить в каждом сочинении своем «отдельную часть жизни души моей» привело к тому, что, в сущности, почти все написанное Герценом в вятской и владимирской ссылке так или иначе связывалось в его представлении с планами автобиографии.

Об этом свидетельствует письмо к Н. А. Захарьиной от 14 января 1838 года, характеризующее состав «моей биографии». «Со временем это будет целая книга. Вот план. Две части: 1-я до 20 июля 1834. Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарева, мечты о славе, вакханалии,

и все это оканчивается картиной грустной, но гармонической,— нашей прогулкой на кладбище (она уже написана). *Вторая* начнется моей фантазией «22 октября». Вообще порядка нет: отдельные статьи, письма, Tutti frutti — все входит; за этим «Встреча», «I Maestri» и «Симпатия»; далее, что напишется. В прибавлении к 1-му тому «Германский путешественник»,— эта статья проникнута глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июля... Пожалуй, тут можно включить и мои «Письма к товарищам»: «Пермь, Вятка и Владимир...» (II, 22).

Таким образом, Герцен не только хронологически раздвигает рамки намечающейся автобиографии, но вводит в ее состав «отдельные статьи, письма», весьма разнообразные по содержанию и форме, от романтической «фантазии» «22 октября» до писем о Перми, Вятке и Владимире (они остались неизвестными, но носили, по-видимому, сатирически-бытовой характер) — «все входит». Следовательно, уже в 30-х годах намечалось такое расширение автобиографического замысла, которое в дальнейшем превратило его в центральный и наиболее характерный жанр литературного творчества Герцена. Однако до этого было еще очень далеко.

Среди других произведений владимирского периода значительный интерес представляют драматические опыты или, точнее, диалоги на философские и социальные темы «Из римских сцен» («Лициний») и «Вильям Пен», относящиеся к 1838—1839 годам.

Напряженные думы о будущем человечества пронизкают собою эти произведения. Позднее Герцен очень точно охарактеризовал их определяющую идейную линию, заметив, что в них «ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм» (1, 337).

В «Лицинии» Герцен переносит читателя в «Рим во времена Нерона», в эпоху, когда неизбежность крушения старого мира становится все более очевидной, «сильная гроза предвидится» и «бродят вопросы, никогда не являвшиеся прежде». Герой произведения — молодой римлянин Лициний, охваченный «трепетом перед будущим неизвестным, но близким, ...отрицанием всех уз, которыми сросся человек с былым и существующим...». Ему неизвестно христианское учение, но, как

говорит Герцен, «веяние духа современности раскрыло в нем вопросы, на которые, кроме Евангелия, не было ответа» (1, 184). «Каждая слеза, каждое страдание человека» отзывается в сердце Лициния. Он не верит в то, что свержение Нерона и возвращение к древней римской республике способны указать спасительный путь. Он видит пропасть, лежащую между патрициями и плебеями, справедливо ненавидящими аристократов Рима. Лициний ощущает необходимость решительного, коренного переворота, он ищет новой религии и мечтает о светлом будущем, но вместе с тем мрачно и скорбно смотрит на судьбу своего собственного поколения: «...мы — промежуточное кольцо, вышедшее из былого, не дошедшее до грядущего» (1, 194).

Совершенно очевидно, что Лициния волнуют вопросы животрепещущие для самого Герцена. Как найти путь, ведущий к будущему, и делом, а не мечтами содействовать приближению его?

В этом произведении ставится и вопрос о роли плебеев, народа в грядущих событиях, причем чувствуется, что у самого Герцена вполне ясного ответа еще нет. Лициний, сочувствуя плебеям, сомневается в том, пойдут ли они на борьбу с тираном. Он допускает, что «на плебеев обопрется цезарь», а лучшие из римлян окажутся на стороне патрициата (1, 192). Но в финале сцены «кружок обдерганных плебеев» восторженно слушает проповедь нового учения (1, 194). Однако Герцен болезненно остро ощущает разрыв, существующий между народом и передовыми людьми и их революционными идеями.

Романтику Лицинию, стремящемуся подняться над действительностью, «на небо», Герцен противопоставляет Мевия — «благородную, прекрасную античную натуру, но не принадлежавшую к тем организациям, которые шагают за пределы понятий своего века». В этих образах воплощены социальные, философские и эстетические проблемы, стоявшие тогда перед Герценом.

Мевий — «классик со всем реализмом древнего мира» (1, 184), со стихийным материализмом, сказали бы мы сейчас. Герцен вкладывает ему в уста такие аргументы материалистического характера, которыми он сам будет позднее пользоваться в полемике с идеали-

стами. Возражая Лицинию, Мевий говорит: «Зачем ты так делишь дух от тела, и точно ли они непримиримые враги, и мешает ли тело духу, не оно ли чрево, из которого дух развился?» (1, 186).

Чувствуется, что лучшие и сильнейшие стороны облика и мироощущения «классика» обладают для автора «римских сцен» непреходящей прелестью и ценностью, которая, с его точки зрения, не должна быть утрачена человечеством.

Но Герцен отмечает и ограниченность Мевия, его свойственное вообще античности непонимание индивидуально неповторимого своеобразия человеческой личности, недооценку активной роли сознания. «Нет,— возражает Мевию Лициний,— я считаю жизнь каждого человека важнее всей природы. Человек — носитель бессмертного духа, к которому природа только рвется» (1, 188).

Ясна и идеалистическая односторонность Лициния, и тем не менее именно последний для Герцена «мой герой», ибо в нем «предсуществует романтическое воззрение» (1, 184). Позднее в «Дилетантизме в науке» Герцен определит романтизм, как искусство средневековья, которое, по сравнению с античностью, является хотя и односторонним, но все же шагом вперед в художественном развитии человечества, ведущим к реализму. Но в данном случае Герцен придает романтизму, воплощенному в образе Лициния, более широкое и многостороннее значение. Это — пафос социальных исканий, устремленности к будущему. Лициний духовно богаче Мевия.

Однако в Мевии заложены возможности духовного развития, значение которого он сам недооценивает. Недаром Мевий чувствует «магическую силу» речи Лициния и в порыве внезапно охватившего его отчаяния ищет ответ именно у него: «Что нам делать, что нам делать?» (1, 194).

В образах Лициния и Мевия отразились противоречия эстетических исканий Герцена, его отношение к художественному наследию прошедших эпох, к античному искусству [1] и к романтизму.

---

[1] Детальное рассмотрение отношения Герцена к духовному наследию античности содержится в исследовании А. А. Тахо-Годи

Во Владимире мужает эстетическая мысль Герцена, он все больше освобождается от предрассудков юношески незрелого романтизма с его неестественной приподнятостью и сознает себя сторонником реализма.

Герцен мечтает об искусстве, которое сочетало бы духовное богатство с полнокровным ощущением жизни и ее красоты, хотя в «римских сценах» эта глубокая перспектива еще только намечена и даже проступают горькие сомнения в преемственности развития культуры, в том, насколько новое искусство с его духовными исканиями сумеет воспринять наследие античности [1].

Очень существенна также характеристика «готизма» в сохранившихся отрывках из статьи об архитектуре 1836—1838 годов. В готической архитектуре Герцен видит «стремление вверх, здание рвется всеми частями в небо и, суживаясь, пропадает в воздухе; в массе ищется не красота, а одухотворение». Готика отталкивает «все светлое, радостное», пренебрегает земным (1; 327, 328).

Для эстетических воззрений Герцена этого периода характерно и появление критических нот по отношению к Шиллеру. В письме, относящемся к концу 1839 года, Герцен признается Огареву: «А ведь как хочешь люби Шиллера, в нем нет той универсальности, как в Шекспире и Гёте. Шиллер понимал односторонне жизнь, оттого-то он и аспирировал беспрестанно к будущей жизни» [2].

Материалистические тенденции эстетических воззрений Герцена характеризуются и его полемикой в упомянутой статье об архитектуре против «...несчастного заблуждения, что искусство зависит от личного вкуса художника или от случая...». Он решительно отрицает «...право независимости от духа времени» — великий художник «не может быть несовременен» (1; 326—327). Но вместе с тем понятие о духе времени еще обладает у Герцена чертами, напоминающими идеали-

---

«Проблемы античной культуры у Герцена» («Ученые записки Московского областного педагогического института», т. XXVI, М. 1953).

[1] Это наблюдение сделано в аспирантской работе Л. А. Ивановой (Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР, 1956).

[2] «Литературное наследство», т. 61, стр. 388.

стические представления об абсолютном духе. Герцен говорит здесь о «животворной мысли творчества», которая, как он надеется, «сойдет на землю...».

На примере «Вильяма Пена» мы еще более отчетливо видим, как «остаток религиозного воззрения» «перерабатывается» у Герцена в «революцию, в социализм». Отнюдь не претендуя на историческую точность, Герцен воспользовался здесь некоторыми чертами биографии квакера Пена, возглавившего переселение английских сектантов в Америку. В диалоге Герцен резко подчеркивает социальные противоречия Англии — «везде простолюдин сгнетен, страдает» (1, 203),— но вместе с тем не идеализирует и новое, созидающееся американское буржуазное общество. Пен видит красоту «нового края, призванного им к жизни», и в то же время с печалью вынужден признаться, что «мечтаемое евангельское братство не учредилось» (1, 342). Это настроение Пена перекликается с мыслями самого Герцена, вызванными чтением книги Токвиля об Америке и изложенными в письме к Кетчеру от 20 августа 1838 года. Социалистические искания Герцена постепенно освобождались от религиозной оболочки и теснее «сочленялись» с реальной жизнью. Его мечта все более обращена к будущей «великой эпохе братства и гармонии» (1, 332), а с этой мечтой росла и вера в великую историческую роль России. В вышеназванном письме к Кетчеру Герцен говорит: «...будущее России необъятно — о, я верую в ее прогрессивность» (II, 203).

Во Владимире Герцен как бы подводит идейный итог годам юношества и ссылки. Он отмечает как положительное «практический элемент», вошедший в его жизненный опыт. Герцен убежден в том, что его «будущие произведения не будут пахнуть лампой кабинета». Но он решительно не удовлетворен сделанным и прежде всего требует от самого себя выработки ясного и глубокого мировоззрения: «Я многое еще хочу уяснить во взгляде моем и имею залоги, что это не останется без успеха» — я «иду вперед, решительно иду»,— говорит он в письме к Огареву.

Герцен чувствует, что он духовно растет и крепнет. «Какая деятельность кипит опять в груди!» (II, 262) — восклицает он в письме к Огареву 1839 года. «Пора расстаться с провинцией»,— пишет он в другом письме

(II, 223). В июле 1839 года с Герцена был снят полицейский надзор, и он смог жить в столицах и принимать непосредственное участие в общественно-литературной жизни России. В начале 1840 года Герцен с женой и сыном-первенцем Александром, родившимся в 1839 году, окончательно покидает Владимир.

IV. ГЕРЦЕН И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА 40-х ГОДОВ XIX ВЕКА
(1839—1847)

В 40-е годы деятельность Герцена — философа и беллетриста достигла блестящего расцвета.

Герцен «...в крепостной России 40-х годов XIX века... сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени» [1].

Расцвет деятельности Герцена в 40-х годах не может быть объяснен только обстоятельствами его биографии. Расцвет этот вызывался потребностями русского общественного развития.

Белинский писал в 1844 году: «Нельзя не подивиться быстроте, с которою движется вперед русское общество... в России все движется так быстро» [2]. Назревал кризис крепостнического хозяйства, росло недовольство народных масс, ширился круг прогрессивной интеллигенции, крепло освободительное движение, направленное против самодержавия и крепостничества.

Правда, как позднее указывал Герцен, «круг умственной деятельности того времени (то есть 30—40-х годов.— *Я. Э.*) был... вне народа, молчавшего в отчужденности, он был в книге и аудитории, в теоретическом споре и в ученом кабинете» (17, 99). Но в 40-х годах теоретическая мысль передовых людей достигла такой высоты, что начала отвечать крайне важным потребностям национального народного развития.

Обозначались поиски передовыми людьми революционной теории, способной указать пути превращения России в демократическую страну. В. И. Ленин в своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» пи-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9—10.

[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 447.

сал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории» [1].

В теснейшей связи с общественной мыслью развивалась художественная литература, все более трезво и критически изображавшая действительность. Все эти процессы общественной жизни 40-х годов становились все более интенсивными.

Сороковые годы, точнее первая их половина, стали для Герцена второй юностью. Юным, кипучим было идейное, дружеское окружение, в котором очутился Герцен и где ему, рядом с Белинским, суждено было играть ведущую роль. Здесь велись острые, горячие споры; в трудной борьбе за истину выковывалась русская передовая мысль. Герцен понимал, что участвует в общем деле исторического значения. Он всегда с любовью вспоминал о кружках передовых русских людей 40-х годов.

Имея в виду эти кружки, Герцен писал в 1862 году: «Все, что впоследствии развилось и вышло наружу, все, около чего теперь группируются мнения и лица,— все зародилось в эту темную, московскую ночь, за свечкой бедного студента, за товарищеской беседой на четвертом этаже, за дружеским спором юношей да отроков» (16, 106). С гордостью спрашивал он в «Былом и думах»: «Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?» (9, 45).

Сравнивая идейную атмосферу 40-х и 30-х годов, Герцен писал: «Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних» (9, 40). Действительно, вся идейная работа 40-х годов была несравненно более напряженной, трудной, ответственной, а потому и гораздо более плодотворной, чем мечтательная пропаганда 30-х годов. Когда осенью 1839 года Герцен на более или менее продолжительный срок оказался в Москве и столкнулся с виднейшими представителями ее передовых кружков, ему сразу же пришлось доказать свое идейное совершеннолетие. И Герцен вышел побе-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.

дителем из этой проверки. Испытания ссылки пошли ему впрок. Впоследствии он упомянет о *«резервах* ссылки» (10, 321). Он чувствовал, что в эти годы проходил подготовку для активной борьбы, которая теперь наступала.

1. Герцен и Белинский

После ссылки Герцена и его друзей в идейной жизни московской дворянской интеллигенции большую роль стал играть кружок Н. В. Станкевича, основание которому было положено еще в университете в те годы, когда там учился и Герцен. По своим политическим настроениям кружок Станкевича, до того как к нему примкнул Белинский, был значительно умереннее, чем кружок Герцена, где господствовали революционные и социалистические настроения. Однако, как показал Н. Л. Бродский [1], идейной пропасти между этими двумя кружками в университете не существовало, хотя близости между их участниками и не возникло. Тому мешали не только идейные различия, но и юношеская запальчивость, кружковая замкнутость и исключительность. Герцен признавал, что и для кружка Станкевича характерно было «глубокое чувство отчуждения от официальной России» (9, 36). Интерес к теоретическим, философским вопросам также был свойствен обоим кружкам.

Однако участником кружка Станкевича был и такой человек, как Константин Аксаков, принадлежавший к патриархальной, не только по быту (таких было много), но и по духовному складу, московской помещичьей семье. Здесь он с детства воспринял в идеализированном виде монархическую и сословно-дворянскую, помещичью традицию и остался ей верен до конца жизни. Он некоторое время находился под обаянием замечательных людей кружка Станкевича, но всегда испытывал внутренне сопротивление, подогреваемое семьей, против свободолюбивых и критических настроений кружка. В самом начале 40-х годов К. Аксаков, естественно, примкнул к славянофилам.

---

[1] Н. Л. Бродский, М. Ю. Лермонтов, Гослитиздат, 1945, стр. 277.

Годы, следовавшие за университетом, были для Герцена и Огарева годами испытания, закалки и укрепления их революционных убеждений. Члены же кружка Станкевича в середине 30-х годов сосредоточились на изучении философских систем и методов с целью научно обосновать свои свободолюбивые устремления.

В этом-то отношении теоретическая работа кружка Станкевича была в высшей степени плодотворна, тем более что в нем все более руководящую роль стал играть Белинский с его неукротимым стремлением приложить философские идеи к практике и обратиться со своим могучим пропагандистским словом к читающей публике.

Когда Герцен возвратился в Москву, Станкевич был за границей, и виднейшими представителями кружка являлись Белинский, уже занявший выдающееся место в литературной критике, Михаил Бакунин, будущий известный анархист, в то время страстный пропагандист философии Гегеля, и недавно вернувшийся из-за границы историк Грановский. Последний, впрочем, проведший студенческие годы в Петербурге, был в большей мере связан со Станкевичем лично, чем с его кружком в целом.

Встреча Герцена с Белинским имела исключительное значение для дальнейшего развития русской передовой мысли. Жаркие споры на политические и философские темы, вскоре разгоревшиеся между ними, помогли поискам революционной теории и оказались плодотворными для них обоих.

По богатству и разнообразию знаний, по политической заостренности своих воззрений Герцен превосходил тогда Белинского.

Белинскому пришлось пережить в борьбе за самостоятельность своей мысли период мучительного кризиса, выйти из которого ему помог именно Герцен. Известное положение Гегеля — «все действительное разумно, все разумное действительно» — было истолковано Бакуниным таким образом, что вело к идеализации русской действительности того времени, к примирению с ней. По этому пути, намеченному Бакуниным, вначале пошел и Белинский, но пошел иначе, по иным побуждениям и с иной целью, чем Бакунин.

Отвлеченность и книжность миросозерцания, неуме-

ние видеть подлинные очертания и краски жизни и тем более понимать ее глубинные процессы сочетались у Бакунина с фанатическим стремлением навязывать свои взгляды друзьям и знакомым. Как говорил Белинский, «Мишель (Бакунин.— *Я. Э.*) ...кроме глубокой натуры и гения, требовал еще от удостоиваемых его дружбы одинакового взгляда даже на погоду и одинакового вкуса даже в гречневой каше»[1]. Бакунин вместе со Станкевичем содействовал ознакомлению Белинского с новейшими философскими работами и философской терминологией. На этом основании он считал себя идейным опекуном великого критика, совершенно не понимая, какую мощную духовную силу он пытался себе подчинить. Именно Белинский вместе с Герценом, а отнюдь не Бакунин, стали деятелями, которые в 40-х годах, как сказал Чернышевский, «шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде»[2].

Бакунин не обладал ни герценовским интеллектуальным богатством, накопленным долгим трудом и напряженными размышлениями, ни свойственными Белинскому последовательностью, ясностью и трезвостью мысли. Бакунин, по верному наблюдению одного современника, всегда искал необычайных выводов и потрясающих эффектов и ни о чем не умел говорить просто. Герцен и Белинский были с ним лично близки, но видели пороки его миросозерцания. Белинский говорил впоследствии Бакунину, что ему «идеальные комедии... надоели» и что «об искусстве можно рассуждать с философской точки зрения, но о достоинстве холодной телятины должно говорить просто»[3]. А Герцен даже в очерке 1851 года, где он ставил себе целью создать для Бакунина, как пленника царизма, мученический венец, должен был, касаясь своих с ним взаимоотношений на рубеже 30—40-х годов, отметить: «Я же пытался внести в его суровую науку побольше революционных элементов» (7; 351, 355).

В отличие от Бакунина, Белинский никогда не витал в теоретических отвлечениях. Ему чужда была схоластическая диалектика Бакунина, стремившегося прежде всего устранить всякое сомнение в абсолютной пра-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 555.
[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 224.
[3] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 350.

вильности гегелевской системы. Белинский жаждал насытить свою деятельность «живыми интересами нашей жизни» (так Чернышевский определил впоследствии содержание критики Белинского) [1].

Для Белинского вышеприведенное утверждение Гегеля не представляло ценности и интереса само по себе. Оно на некоторое время увлекло Белинского только потому, что в нем великий критик увидел средство, указывающее выход из той удушливой атмосферы отвлеченных философских и литературных дискуссий, в которой как рыба в воде чувствовали себя такие люди, как Бакунин и Боткин. Белинский же упорно и страстно искал обоснование своей литературной и общественной деятельности в самой действительности. Так он дошел до идеализации существующего порядка, до самых крайних выводов из «примирения с действительностью», стремясь во что бы то ни стало, в отличие от «абстрактного героя» — Бакунина, к практическому «осуществлению своих идей» [2].

Белинский в своих известных статьях о брошюре Жуковского и книге Ф. Глинки, посвященных годовщине Бородинского сражения, пропагандировал «примирение с действительностью». Реакционеры из Английского клуба — средоточия аристократической Москвы — были довольны этими статьями. Против этих взглядов Белинского и восстал Герцен. Он достиг в это время уже такой политической зрелости, что ошибочность позиции, занятой Белинским, была для него очевидна. Герцен резко подчеркнул реакционную сущность тех политических выводов, к которым пришел Белинский. Он был, несомненно, прав, заявляя, что «такое воззрение... противуположно русскому духу» (9, 22), то есть всему складу и стремлениям русской передовой мысли. Однако Герцен видел, что такая точка зрения является для Белинского лишь «переходной болезнью» (9, 27). «На Белинского многие (и я в том числе) сердились, но чувствовали, что заблуждение искренно, что он ворочится». Для Герцена очевидна была *«чистота ошибки»* Белинского (17, 103). И сам Белинский позже расценивал этот момент своего духовного развития как тяж-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 226.
[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 388.

кую болезнь. Ведь и «примиряясь» с самодержавно-крепостнической действительностью, он не переставал видеть в ней чудовище.

Под влиянием споров с Белинским Герцен взялся за глубокое изучение философии Гегеля. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский, не имея возможности упоминать имени Герцена, писал об этой философской работе «г. Огарева и его друзей», то есть в первую очередь Герцена: «Люди, споривши с Белинским и его друзьями... увидели, что Гегеля можно победить только его собственным оружием, и принялись за глубокое изучение этого мыслителя. Они приступили к нему с силами ума, совершенно зрелого, с проницательностью, изощренною привычкою к самостоятельному мышлению и богатым опытом жизни, наполненной всевозможными столкновениями,— с запасом твердых убеждений, данных жизнью и строгой наукой» [1]. Герцен, по его собственному выражению, «в поте мозга завоевывал Гегеля». Он, как сказал Ленин, «усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции» [2]. Истолковывая таким образом гегелевскую диалектику, Герцен доказывал, что «если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана» (9, 22). Он чем дальше, тем все более последовательно рассматривал действительность в самодвижении ее революционных изменений.

Герцен глубоко чувствовал величие философского гения Гегеля, историзм его концепций, значение его диалектики. И он же подвергал последнюю все более глубокой критике в направлении, ведущем к диалектическому материализму. Подлинно правильное понимание диалектики дал лишь марксистский диалектический метод, но одна из крупнейших философских заслуг Герцена заключается в критике им идеализма Гегеля. Как писал Герцен в «Былом и думах», Гегель «оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека». Герцен указывал, что «диалектическая метода, если она не

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 218.
[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.

есть развитие самой сущности... становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике» (9; 21—22). По мнению Герцена, послушное следование за Гегелем приводило к увлечению «логическими штуками» (2, 317).

В русских передовых людях Герцен высоко ценил диалектический и революционный характер их воззрений. Поэтому автор «Былого и дум» и писал о Белинском как о «диалектически-страстной натуре бойца».

Герцен был убежден, что русскому революционеру, бойцу против царизма, охваченному страстным стремлением к переделке действительности, должен быть присущ диалектический взгляд на мир. У такого человека этот взгляд выражает идею борьбы против всего косного и реакционного, веру в победу нового и прогрессивного.

Герцен был прав, когда заявлял, что «исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру» и что *«русский дух* переработал Гегелево учение» (9, 18). Герцен стремился к такому мировоззрению, в котором революционные убеждения, усвоенные им с юности, священные для него традиции декабристов, получили бы глубокое развитие и философское обоснование. Как указал Чернышевский, «сильнейшие из друзей г. Огарева (Чернышевский имеет в виду именно Герцена. — *Я. Э.*) возвели свои убеждения к общим философским принципам» и увидели, «как много выигрывают оттого их идеи и в прочности и в стройности» [1]. Следует, однако, иметь в виду, что в конце 30-х годов Герцен только становился на путь материалистической критики Гегеля.

В недавно найденном [2] втором письме о чтениях Грановского, в свое время не увидевшем света, Герцен так охарактеризовал отношение Грановского к Гегелю, которое, несомненно, разделял сам: «Грановский, коротко знакомый с писаниями великих германских мыслителей, не подавлен ими. Он смотрит на Гегеля как на исторический момент науки, — а вовсе не как на по-

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 218, 219.

[2] См. публикацию И. Г. Птушкиной в № 3 «Нового мира» за 1962 г., стр. 235.

следний предел, он смотрит на него, как на такой момент, который миновать нельзя, так как нельзя и остаться на нем навеки; он, историк, знает, как истинны слова философа, что человек никогда не может стать выше своей эпохи. Не знать Гегеля и отвергать его не мудрено; но идти далее можно после добросовестного изучения» [1].

Чем дальше, тем больше он, по собственному выражению, освобождался от «самодержавной власти» Гегеля (2, 317). Естественные науки и история, деятельное участие в общественной жизни учили Герцена применению диалектики, «развитию в жизнь философии» (II, 426).

В этой напряженнейшей умственной работе Герцену по-своему помогал Огарев. По глубине, проницательности, творческой силе и критицизму мысли он далеко уступал Герцену. Самостоятельно Огарев, вероятно, никогда бы не пришел к тем выводам, которых достиг Герцен. Но он был первым, с кем Герцен делился своими сомнениями и выводами. Самые возражения Огарева, споры и беседы с ним, постепенно приближавшимся к убеждению в правоте своего друга, были для Герцена ценны и плодотворны.

В мае 1840 года Герцен с семьей переехал в Петербург. Он был переведен по службе из Владимира в Петербург, в министерство внутренних дел, что давало право постоянно проживать в столице. Жизнь в Петербурге оказала на Герцена, как и на Белинского, большое влияние. Здесь на тяжелом жизненном опыте окончательно укрепились и заострились важнейшие политические убеждения Герцена.

Быт и атмосфера петербургской жизни во многом отличались тогда от быта не только провинции, но и Москвы [2]. Москва в начале 40-х годов являлась духов-

---

[1] Наиболее содержательный анализ философской эволюции Герцена в связи с его отношением к Гегелю дан, на мой взгляд, в работе А. И. Володина «Герцен и Гегель», помещенной в подготовленном Институтом мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР сборнике «Проблемы изучения Герцена», изд. АН СССР, М. 1963.

[2] См. характеристику Петербурга в связи с идейной эволюцией Белинского в книге М. Я. Полякова «Виссарион Белинский. Личность — идеи — эпоха», Гослитиздат, 1960, глава «В Петербурге 40-х годов».

ным центром передовой России. Вокруг Московского университета и связанных с ним кружков ширила свои ряды прогрессивная интеллигенция, в которой, наряду с преобладанием дворян, все большую роль начинали играть разночинцы. Называя эту интеллигенцию «особенным средним сословием, в котором находятся люди всех сословий», Белинский рассматривал ее как «оазис» в пустынях крепостничества и барства. В 1845 году Белинский писал, что в Москве «таких оазисов едва ли не больше, чем в каком-нибудь другом русском городе» [1]. Но Белинский ясно видел, что сонный и ленивый быт барской Москвы до какой-то степени влияет и на прогрессивную дворянскую интеллигенцию, придает ей настроения успокоенности, кружковой узости и примиренчества к идейным врагам. Против такого «москводушия» резко и иронически выступал великий разночинец.

Иным был Петербург. Чернышевский так определял особенности петербургской жизни: «Петербург, как известно всем пережившим идеалистический период воззрений, нимало не удобен для сохранения таких мечтаний. В Петербурге действительная жизнь настолько шумна, беспокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ее сущности, трудно не разубедиться в том, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы». Петербург наглядно учил тому, что «филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого сходства с русской жизнью» [2].

Физиономия Петербурга была сложна. С внешней стороны это был блестящий военно-придворный город. Но именно здесь противоречия русской жизни проявлялись наиболее обнаженно. Петербург был центром жестокой и хищной царской бюрократии, правившей отсюда всей Россией и пытавшейся остановить всякое движение вперед. Для хищников-казнокрадов, дельцов, откупщиков, подкупавших сановников и министров, Петербург открывал широкое поле деятельности. Разночинная же интеллигенция, передовые люди из дворян здесь особенно остро ощущали свое бесправие, ужас положения народа. В Петербурге больше, чем в Москве, становился заметен технический прогресс (например,

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 404.
[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 219.

постройка царскосельской железной дороги), но он покупался бедствиями и муками народных масс. Столкновение старого и нового, контрасты богатства и нищеты проявлялись тут особенно резко.

«Нигде я не предавался так часто, так много скорбным мыслям, как в Петербурге, — писал Герцен в 1842 году. — Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет... Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние» (2, 41).

«Питер, — свидетельствовал Белинский, — имеет необыкновенное свойство оскорбить в *человеке* все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если будут страдать в нем — человек; если Питер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советником»[1]. Петербург воочию показал Белинскому царство «чинолюбия, крестолюбия, деньголюбия, взяточничества... разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности...»[2] Здесь он приходит к непримиримой ненависти, направленной против «гнусной расейской действительности»[3]. Борьба, протест против господствующего порядка, «идея отрицания» представляется теперь Белинскому священным «историческим правом».

Пройдя через острые, прямо высказанные разногласия, пережив «добрую ссору», Герцен и Белинский стали друг к другу ближе, чем были до нее. Если первая встреча в Петербурге, в июне, была холодной, то в ноябре — декабре 1840 года, как отмечает Ю. Г. Оксман, «...все чаще и значительнее становятся встречи Белинского с Герценом...»[4]. Следует сказать, что философское развитие Герцена шло более равномерно, менее порывисто, чем идейные искания Белинского. Великий критик порой доходил до самых край-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 418.
[2] Там же, стр. 577.
[3] Там же.
[4] Ю. Оксман, Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, Гослитиздат, М. 1958, стр. 271.

них выводов из тех предпосылок, которые он считал истинными. Так было в вопросе о «разумной действительности», послужившем причиной расхождения между ним и Герценом. Однако даже ошибки Белинского не имели ничего общего с той пустой и барской игрой в философию, которая была характерна для многих дворянских интеллигентов той поры. Органическое, острое и верное ощущение потребностей общественного развития России, присущее Белинскому, помогало ему сравнительно легко, как это отметил еще Чернышевский, отказываться от своих заблуждений. А раз встав на верный путь, Белинский шел по нему более последовательно, чем Герцен, как это позднее сказалось, например, в их совместной борьбе против славянофилов. Философская мысль Белинского была еще более решительной, чем мысль Герцена, она с еще большей настойчивостью искала непосредственного, практического приложения. Плебей Белинский прошел гораздо более суровую жизненную школу, чем Герцен; школа эта закалила его. Никакой авторитет не мог остановить Белинского, заставить поколебаться в своих выводах. По словам Герцена, Белинский «был совершенно свободен от влияний, которым мы поддаемся, когда не умеем от них защищаться. Соблазненные новизною, мы в ранней юности запоминаем множество вещей, не проверив их разумом» (7, 236). Отвлеченная разработка философских проблем никогда не привлекала Белинского. Выводы своей философской мысли он стремительно прилагал к жизни.

Согласно определению Герцена, Белинский «придал силу мысли» (7, 237). Впоследствии Герцен замечательную черту мышления Белинского увидит именно в характерном для последнего «живом, метком, оригинальном сочетании идей философских с революционными» (9, 28). В искание русской передовой мысли Белинский внес еще небывало страстный дух народного протеста. Он стоял к народу ближе, чем кто-либо из деятелей предшествовавшего и современного ему освободительного движения. В этом проявлялась особенность исторического положения Белинского. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский», — писал

В. И. Ленин[1]. Белинский чувствовал себя пролагателем подлинно новых путей, человеком, вносящим в окружающее его общество, даже в круг близких друзей, непривычную еще последовательность, непримиримость, резкость мышления.

При всей гибкости, глубине ума Герцен не обладал той непримиримой принципиальностью, целеустремленностью, беспощадной и суровой последовательностью во взглядах и в поведении, которые отличали его друга. Герцен в 40-е годы уже ясно увидел эти характерные черты Белинского, определявшие собою существенные различия между ними. Герцен писал о Белинском в своем дневнике: «...я люблю его резкую односторонность, всегда полную энергии и бесстрашную» (2, 282). Под «односторонностью» Герцен разумел здесь именно последовательность великого критика — «человека экстремы». По мнению Герцена, «тип этой породы людей — Робеспьер. Человек для них — ничего, убеждение — все» (2, 242). Сам же Герцен не раз должен был сознаться в том, что не умел с такой решительностью и непоколебимостью, как Белинский, рвать во имя передовых идей с людьми, изменявшими им.

Осознав, что в московских спорах прав был Герцен, Белинский теперь особенно высоко ценил последнего как принципиального человека. В конце 1840 года Белинский так характеризовал Герцена: «...этот человек мне все больше и больше нравится... Какая восприимчивая, движимая, полная интересов и благородная натура!.. Мне с ним легко и свободно... Эта живая натура вызывает наружу все мои убеждения»[2].

Герцена и Белинского объединяла решительная враждебность ко всякому «идолопоклонству», «клиентизму... перед западными авторитетами» (10, 326), как выразился впоследствии автор «Былого и дум», в данном случае враждебность к слепому преклонению перед авторитетом Гегеля. Многие московские дворянские интеллигенты, увлекавшиеся тогда гегельянской философией, требовали от Герцена именно «безусловного принятия» всех книг и положений немецкого философа, они сами были способны лишь на «механическую слеп-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223.
[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 579—580.

ку» (9; 18, 19) его учения, взглядов и даже фраз. Творческий, деятельный характер идейных исканий Герцена и Белинского непримиримо противостоял такому догматическому, рабскому восприятию философии Гегеля.

Дружба Герцена и Белинского окрепла еще более после нового преследования, которому подвергся Герцен.

В ноябре 1840 года Герцен в письме к отцу сообщил о слухе, ходившем по городу. Рассказывали, что один будочник, то есть полицейский солдат, убил и ограбил какого-то купца и сознался в том, что и ранее совершил несколько убийств. При этом Герцен прибавил: «По этому вы можете судить, какова здесь полиция» (II, 375—376). Письмо попало в перлюстрацию и было доложено царю графом Бенкендорфом, который приказал разыскать Герцена. Внезапно утром 7 декабря на квартиру к Герцену явился квартальный надзиратель, предложивший немедленно отправиться с ним в III Отделение. Здесь Герцену объявили, что по распоряжению императора его «за распространение необоснованных слухов» высылают из Петербурга с запрещением проживать и служить в столицах, то есть в Петербурге и в Москве.

В это время Наталья Александровна ожидала второго ребенка. Случившееся так потрясло ее, что после преждевременно наступивших родов жизнь ее находилась в большой опасности, а ребенок прожил всего лишь несколько дней. Смутное, горькое, беспокойное время наступило в семье Герцена. Он особенно остро и болезненно почувствовал теперь свое бесправие. Царский бюрократический Петербург показал ему всю меру своего всевластия.

Огарев, узнав о ссылке друга, писал Герцену, что он советует в этом акте произвола видеть «частный случай», который «не может навести уныние за общее. Когда я получил твое письмо, я взбесился, а потом примирился с ходом вещей... Не ты первый, не ты и последний». Герцен ответил Огареву: «Ты, Огарев, проповедуешь *резигнацию,* но в том случае, в котором ты ее проповедуешь, мне она не идет: даже я думаю, что именно и беда-то вся, что ее *слишком много.* Я понимаю, что человек, одержимый чахоткой, был бы жалок со своими упреками и гневом на судьбу... но резигна-

ции, когда бьют в рожу, я не понимаю, и люблю свой гнев столько же, сколько ты свой покой». Герцен категорически не соглашался видеть в происшедшем «частный случай» и, наоборот, подчеркивал его политическое значение: «случай, о котором идет речь, принадлежит к пакостям, превышающим всякую меру». Он резко выступает против проповеди покорности и смирения в духе христианства. «Христиане истинные могли смотреть равнодушно на все, что с ними делали; для них жизнь была дурная станция по дороге в царство божие, где наградятся труды. Мы на жизнь не так смотрим, мы слишком шатки в вере, в нас будет слабостью, что у них сила» (II; 414—415). Не христианского смирения, а политической активности и борьбы искал Герцен, хотя и допускал возможность своего поражения в ней: «в борьбе с властью «князя тьмы» я могу быть побежден, но не покорюсь и думаю, что тут гордость уместнее резигнации» (II, 417).

Белинский также не мог не восстать со всей энергией против гонения, которому подвергся Герцен. Возмущение и гнев, испытанные Белинским, еще больше сблизили его с Герценом.

Правда, дружба с Белинским не приобрела у Герцена столь интимного характера, как отношения с Огаревым: не было детских и отроческих воспоминаний, долголетней привычки делиться взаимно всеми личными переживаниями. Белинский вышел из среды, резко отличавшейся от той, в которой вырос Герцен. Некоторое добродушно-насмешливое, критическое отношение к барским привычкам последнего не покидало великого разночинца, при всей искренней любви и даже восхищении Герценом. Но по идейному уровню, по революционной устремленности только Герцен, несмотря на свои колебания, был в 40-х годах подлинным соратником Белинского. В этом смысле Герцен чувствовал себя к Белинскому даже ближе, чем к Огареву.

Герцен в 40-х годах был, по определению Ленина, «демократом, революционером, социалистом»[1]. Но в эти годы Герцен «не видел революционного народа и не мог верить в него»[2]. В 60-х годах сам Герцен, вспоминая

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
[2] Там же, стр. 12.

40-е годы, должен был сознаться: «Мы не знали народа» (20, 72).

В 40-х годах Герцен был дворянским революционером и демократом, в мировоззрении которого революционно-демократические элементы, несмотря на его колебания к либерализму, все больше росли и укреплялись. Только в 60-е годы, увидев революционный народ, Герцен «безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» [1].

Белинский же, стоявший к народу ближе, чем Герцен, лучше знал настроения крепостного крестьянства, отразил их, как указал Ленин, в письме к Гоголю и с революционно-демократической стойкостью и последовательностью непоколебимо верил в пробуждение революционной активности народа.

Однако, при всех их индивидуальных и идейных особенностях, Герцен и Белинский действительно выстрадали, каждый по-своему, свои революционные и демократические убеждения. Более всего им была чужда холодная и отвлеченная рассудочность. Волновавшие их теоретические проблемы были для них вопросами жизни и смерти. На их примере с рельефной ясностью подтверждается глубина и правильность замечания В. И. Ленина: «...без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого *искания* истины» [2]. Страстность эмоций сочеталась у них с глубиной и остротой ума. Ими владела могучая любовь к родине и мощная ненависть демократов ко всему тому, что мешало России стать передовой страной, явиться, по выражению Белинского, «идеалом человечества» [3].

Об этой любви и этой ненависти Белинский и Герцен говорили почти в одних и тех же выражениях. Белинский писал, что «ненависть иногда бывает только особенною формою любви» [4]. Герцен определял ненависть как «сверхэкзальтацию любви» (II, 416).

Белинский и Герцен дополняли друг друга в той громадной и разносторонней работе, которая была ими выполнена в течение 40-х годов. Белинский был вели-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.
[2] Там же, т. 20, стр. 237.
[3] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 489.
[4] Там же, т. XII, стр. 433.

чайшим публицистом эпохи. Его критические статьи, далеко выходя за пределы литературно-эстетических вопросов, пропагандировали, как указывал впоследствии Герцен, «то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России» (9, 43), воззрение революционного демократа и материалиста.

Если Белинский в своей публицистике и критике освещал в материалистическом духе по преимуществу вопросы развития общества, культуры и литературы, то Герцен в своих философских работах 40-х годов сосредоточил внимание главным образом на общих проблемах познания.

Вся литературно-критическая деятельность Белинского была борьбой за рост и укрепление передовой литературы: она представляла собою истолкование в материалистическом и демократическом духе той широкой картины русской жизни, которую давала современная ему поэзия и беллетристика. Белинский великолепно знал русскую жизнь. Сопоставляя литературу с жизнью, он учил читателя делать из литературных образов политические выводы, учил писателей трезвому реалистическому воспроизведению действительности. Именно Герцен во второй половине 40-х годов явился создателем наиболее социально заостренных художественных произведений этих лет, произведений, содержавших идейно целеустремленную демократическую критику крепостнического строя.

С начала 40-х годов Герцен приступил к осуществлению своих творческих замыслов. В то же время он упорно стремился вырваться из царской России, чтобы найти наилучшее приложение своим силам. Белинскому же сколько-нибудь длительная жизнь и деятельность за границей казалась просто-напросто невыносимой, невозможной.

Побывав за границей, Белинский пришел к выводу, что «новости литературные у нас то же самое, что за границею новости политические»[1]. Его точку зрения подтвердит впоследствии Чернышевский, отметив, что «литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа»[2]. Потому-то Белинский и

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 409.
[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 303.

обратил все свое внимание на литературу. Белинский был, как указывал Чернышевский, «одним из замечательнейших наших ученых»[1], но предпочитал оставаться журналистом и вести читателя к познанию русской жизни через критический анализ литературных произведений, так как понимал, что «великую пользу может приносить, для настоящего и еще больше для будущего, кафедра, но журнал бо́льшую, ибо для нашего общества, прежде науки, нужна человечность, гуманическое образование... Журнал поглотил теперь у нас всю литературу — публика не хочет книг — хочет журналов»[2]. В этой упорной и последовательной ориентации Белинского на самого широкого читателя тех лет проявлялась позиция революционного демократа-разночинца. Журнальная работа Белинского была возможна только в России. Существенно иным было в этом отношении положение Герцена. Ни в своих философских статьях, ни в беллетристических произведениях он, находясь в России, не мог дать волю своему политическому темпераменту. Между тем Герцен ощущал в себе способности и силы политика-публициста, выступающего с открытым забралом и черпающего материал для своей работы из всей совокупности явлений и фактов политической и идейной жизни Западной Европы и России в их прошлом и настоящем. Герцен стремился к «деятельной жизни», то есть к активной общественной, политической деятельности, сочетающейся с теоретической литературной работой и по глубине и широте своего влияния аналогичной журналистике Белинского.

Герцен чувствовал, что, только вырвавшись за границу, он сумеет полностью развернуть свои силы и таланты.

Уже в феврале 1841 года Герцен писал Огареву: «Во всяком случае, 1 января 1845 года мы встречаем в Женеве, то есть каждый с своей стороны пусть сделает все от него зависящее... Давай руку. И с этой-то надеждой я поеду в Новгород» (II, 416). Поездка за границу отнюдь не была в представлении Герцена лишь средством спасти себя, свою семью от гонений царизма. За границей он намеревался искать не́ покоя,

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 277.
[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 566.

не отдыха и праздности. Огареву и другим своим московским друзьям Герцен писал после того, как они в таком неверном направлении интерпретировали его проекты: «Я поручил С<атину> растолковать вам, что я разумею и как я разумею отъезд. Вы не поняли меня. Никто не говорил о праздной жизни, да и мог ли я, весь сотканный из деятельности, решиться жить сложа руки. Бел<инский> без восхищения не может говорить о моем желании — он его схватил именно с той точки, с которой я хотел» (II, 427).

У нас нет других данных, которые позволили бы осветить в подробностях эти самые ранние герценовские планы заграничной деятельности. Нет прямых оснований утверждать, что уже тогда Герцену ясно рисовалась возможность создания за границей вольной русской печати. Но цитированные строки, бесспорно, свидетельствуют о том, что мысль о поездке за границу была связана у него с какими-то довольно определенными планами деятельности, вероятнее всего литературной. Положительное отношение Белинского к этим предположениям Герцена крайне существенно. Невозможно было бы именно со стороны великого демократа ожидать какого бы то ни было одобрения мечтам о праздной туристской жизни за границей. Тем более это было бы невозможно по отношению к Герцену, который не только восхищал Белинского своим умом, но уже дал бесспорные доказательства замечательного литературного таланта, высоко оцененного великим критиком.

О том, что Белинский и Герцен в 1841 году в Петербурге задумывались именно над путями эмигрантской деятельности, свидетельствует и более поздняя, относящаяся уже к 1845 году, запись в дневнике Герцена, имеющая в виду жизнь Огарева за границей: «Я не токмо не против заграничной жизни, но допускаю в известных случаях экспатриацию (то есть эмиграцию. — *Я. Э.*), но не для того, чтоб жить там праздному и проживать все свое состояние пошло, — такое употребление богатства в наше время преступно. Да и такая жизнь за границей — безнравственное бегство» (2, 412).

2. «Записки одного молодого человека»

В конце 1840, а затем в августе 1841 года в «Отечественных записках» были напечатаны за подписью Искандера (на восточных языках — Александр), в дальнейшем прочно ставшей литературным псевдонимом Герцена, «Записки одного молодого человека», по словам Белинского, привлекшие к себе «всеобщее внимание».

«Записки одного молодого человека» как бы подвели итог вятским автобиографическим опытам Герцена и вместе с тем явились своего рода ранним вариантом первых частей «Былого и дум».

«Записки одного молодого человека» с полной ясностью показали их автору и такому чуткому, проницательному критику, как Белинский, в какой мере автобиографический жанр действительно соответствует особенностям литературного таланта Герцена. Столь же очевидным стало и то, с каким трудом подобные автобиографические произведения укладываются в рамки, строго обозначенные царской цензурой.

Герцен должен был обосновать свое «право» рассказывать о себе. В вятских автобиографических опытах, рассчитанных на узкий дружеский круг, подразумевавшимся обоснованием этого права служило в значительной степени испытание тюрьмой и ссылкой. Цензура исключала возможность такой мотивировки. Нельзя было в произведение, рассчитанное для печати, включить, например, такой эпизод, как отроческую клятву на Воробьевых горах.

Приводя сначала возможное возражение против самой попытки опубликовать свои «Записки» («скучна будет илиада человека обыкновенного, ничего не совершившего»), Герцен затем отвечает: «...о каких совершениях идет речь? Кто жил умом и сердцем, кто провел знойную юность, кто человечески страдал с каждым страданьем и сочувствовал каждому восторгу, кто может указать на *нее* и сказать: «вот моя подруга», на *него* и сказать: «вот мой друг», — тот *совершил кое-что*». Способность глубоко и ярко чувствовать жизнь, богатство ее красок и противоречий и сопереживать «биографию человечества» — таково, в сущности, право на автобиографию, отстаиваемое Герценом. Поэтому

он и приводит слова Гейне: «Каждый человек... есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история». Герцена привлекает «зрелище развития духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное, общее направление» (1, 258). Герцен дает тем самым ранний вариант позднейшей замечательной формулы, определяющей содержание «Былого и дум»: «отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге» (10, 9).

Герцен сознательно отказался от мысли рассказать в «Записках» о себе как о созревшем и закалившемся в жизненных испытаниях человеке. Чем больше развертываются «Записки», тем более становится очевидным, что автор не мог сколько-нибудь полно и всесторонне рассказать о своих революционных взглядах, о своем мироощущении конца 20-х и 30-х годов. Зато гораздо конкретнее и подробнее Герцен повествует о духовных, в особенности книжных влияниях, сказавшихся на его развитии в детстве и отрочестве. Внимательный читатель, понимавший с полуслова и не смущавшийся умолчаниями, мог тем самым самостоятельно сделать выводы о том, каким должен был вырасти человек, в детстве и отрочестве обнаруживший охарактеризованные здесь интеллектуальные и эмоциональные склонности.

Герцен не мог в «Записках» раскрыть истинную суть своего стремления к «практической жизни» (1, 316), то есть к действенному вмешательству в «биографию человечества», в гражданскую историю, в политическую борьбу. Но читатель улавливал такое направление мысли автора. В «Записках» «польско-прусский дворянин» Трензинский повторяет рассказ «германского путешественника» о Гёте из «Первой встречи». В Трензинском Герцен хотел изобразить человека, чья сила и энергия сломлены обстоятельствами, чья «грудь покрыта ранами незаслуженными» (1, 315). Он придал ему, «не думая не гадая» (18, 90), черты Чаадаева. Но так как Герцен вовсе не хотел представить именно и только Чаадаева, заслуживает внимание догадка — хотя и слишком категорически высказанная — о том, что в лице польско-прусского дворянина автор «Записок» задумал изобразить «поляка, сосланного на далекий

север России после польского восстания»[1]. Во всяком случае, цензурные условия делали невозможным какое-либо уточнение политической биографии Трензинского, и читатель был в состоянии лишь в самых общих чертах уловить замысел автора. Этот образ должен был указать «выход» из грязного малиновского быта, «хоть в отчаянии, но только в разумном, сознательном» (18, 90). Беседа «одного молодого человека» и Трензинского подчеркивает невозможность «внутренний мир сделать независимым от наружного» (1, 303), если эту независимость понимать как самоизоляцию от действительности, как равнодушие к ней.

Фигура Трензинского оказалась довольно искусственно пристегнутой к рассказу о Малинове, и поэтому Герцен отметил впоследствии, что он «наклепал на Малинов Трензинского» (18, 90).

В отличие от «Былого и дум», в отличие даже от вятских замыслов, Герцен в подцензурных «Записках одного молодого человека» должен был коснуться истории, «биографии человечества», лишь вскользь и осторожно. Так, например, не могла появиться в «Записках» характеристика революционного Парижа, образ Анахарсиса Клоотса из «Первой встречи». Однако искренность и пылкость «Записок», чувствующийся в них живой отпечаток замечательной и духовно богатой человеческой личности, идейная целеустремленность, их проникающая, — все это говорило читателю о «частной жизни», связанной с жизнью «универсальной». Герцен рассказывает о том, как с детства учитель привил ему восхищение «новой литературой нашей» (1, 268) во главе с Пушкиным, о своем увлечении Шиллером и его героями, об «уроках гражданских добродетелей», которые ему внушило изучение древней истории Греции и Рима — этой «эстетической школы нравственности» (1, 277), об отроческой дружбе, полной «детской непорочности и чистоты душевной» (1, 281). И все эти эпизоды и образы заставляли читателя понимать и догадываться, что человек, сумевший так гордо, полно, молодо рассказать о своем детстве, отрочестве и юности,

---

[1] А. С. Долинин. О книге В. А. Путинцева «Герцен-писатель», «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института», т. IV, Л. 1954, стр. 313.

должен был остаться верен своим взглядам тех лет, закалив эти убеждения в жизненных испытаниях. Герцен давал понять внимательному читателю, что не по своей воле оказался он в городе Малинове. Так, например, описывая переезд через Оку по пути в ссылку, Герцен говорит о горести разлуки с родной Москвой, с другом, с «девой-утешительницей» и замечает: «На том берегу ничего для меня, ни желания ступить на него, ни воли не ступать» (1, 286).

Герцен хотел намекнуть на то, что цензура заставила многое опустить в «Записках»; поэтому он шутливо упоминает о собаке, игравшей с тетрадью «Записок» и выдравшей из нее ряд листов, — «не думаю, чтоб это были худшие места» (1, 280).

Цензура, конечно, не давала возможности говорить о конфликте «молодого человека» с политическими порядками николаевской России. Зато Герцен обрушился на грязную и душную обывательско-чиновничью среду Малинова — Вятки, изобразив «толпу людей, двигающуюся и влекущуюся к одним призракам, по горло в грязи, забывшую всякое достоинство, всякую доблесть; тесные, узкие понятия, грубые, животные желания... Ужасно и смешно!» (1, 293). В «Записках одного молодого человека» сказалась одна из характерных черт герценовского стиля: его дар сочетать гневный сарказм и шутливую насмешку. Так, характеристика малиновской «толпы» иллюстрируется им множеством шутливо обрисованных сцен и иронически подмеченных черточек: чиновники ожидают появления губернатора в его приемной; состоящий при губернаторе и поэтому чувствующий себя здесь по-домашнему чиновник особых поручений «один громко говорит — остальные шепчут; исправник похудел, когда он вошел, и поклонился низко; чиновник особых поручений потолстел, увидев исправника, и поклонился ему наизнанку, то есть закинув голову на спину» (1, 296).

В «Записках одного молодого человека» уже заметно проявляется характерная особенность герценовского юмора, отличного, например, по своей форме от юмора Гоголя. Автор «Мертвых душ» стремился к тому, чтобы в его изображении комическое выступало прежде всего как нечто объективно присущее самой действительности, непроизвольно выступающее в чертах изображаемых

писателем действующих лиц. Гоголь, по выражению Белинского, «как бы прикидывается простачком... автор не позволяет себе никаких сентенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть»[1]. Разумеется, Герцен также находит уродливое и смешное в самой действительности, но он подчеркивает и оттеняет эти черты своими сарказмами, эпиграммами, каламбурами, шутками, анекдотами и публицистическими обобщениями и оценками. Уже в «Записках одного молодого человека» видно, что Герцену интересно и важно не только изобразить действительность, но и прямо высказать свои суждения о ней, свое понимание ее.

В этом произведении, в котором, по позднейшему замечанию автора, еще заметен «след Гейне» (8, 11), то есть ученическое следование литературной манере «Путевых картин», уже окрепли реалистические тенденции художественного творчества Герцена. Здесь в значительной степени уже исчезает перегруженность метафорическими образами, известное щегольство и игра ими, порою уводящая в сторону от основной линии зарисовок, оттенки романтической восторженности и романтической меланхолии, расплывчатость лиризма — черты, характерные для автобиографической повести «О себе», результатом переработки которой и явились «Записки».

Белинский принял живое участие в опубликовании «Записок». Он хлопотал за них в цензуре. Именно по его совету Герцен решился напечатать это свое автобиографическое произведение.

Оно заинтересовало читающую публику, в узком же кругу столичной интеллигенции, в котором автора знали лично, записки эти вызвали особенно острую реакцию, показавшую, что автобиографические произведения Герцена действительно воспринимались неотделимо от его жизни и личности и что споры вокруг них вели к дискуссии, далеко выходящей за узколитературные рамки.

Находились также люди, у которых автор «Записок одного молодого человека» начинал уже вызывать внутреннее сопротивление. Таков был Василий Петро-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. I, стр. 298—299.

вич Боткин, один из участников кружка Станкевича — Белинского — Бакунина. По словам Герцена, Боткин, «резонер в музыке» и «философ в живописи», «был один из самых полных представителей московских ультрагегельянцев. Он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях» (9, 256).

Выросший в богатой купеческой среде, в той или иной степени носившей на себе отпечаток «темного царства», Боткин, несомненно, с искренним увлечением окунулся в мир интеллектуальных интересов кружка Станкевича. Он обладал к тому же литературными способностями. Но Боткину не было дано разорвать с той средой, к которой он принадлежал. Отвлеченная философичность его мышления была оборотной стороной трусости и неспособности сделать такой решительный шаг в жизни. Типичный буржуазный эстет, он преклонялся перед каждой модной иностранной философской новинкой. Вкусный обед и новая мысль доставляли ему одинаковое удовольствие. У него не было сильных искренних убеждений. Стремление к революционной переделке действительности уже тогда вызывало у него страх.

Для Боткина Герцен был человеком, слишком живо воспринимающим действительность; с неприязнью относился Боткин и к тому стремлению активно участвовать в общественной жизни, которое пронизывало собою «Записки одного молодого человека». Естественно, что Боткин получил отпор от Белинского.

«О «Записках одного молодого человека» не хочу с тобою спорить, — писал Белинский Боткину, — ибо не вижу никакой возможности ни согласиться с тобою, ни тебя согласить со мною. Ты просто несправедлив к нему как к лицу и не любишь его как личность. А для меня это — человек, один из тех, каких у нас, к несчастью, мало»[1]. «Статья Герцена — прелесть, объедение, — писал Белинский Кетчеру. — Давно уже я не читал ничего, что бы так восхитило меня. Это человек, а не рыба: люди живут, а рыбы созерцают и читают книжки, чтобы жить совершенно напротив тому, как

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 17.

писано в книжках. У меня страшная охота сделаться рыболовом и варить уху»[1].

Способность Герцена создавать художественные произведения, носящие на себе живой и непосредственный отпечаток его личности, привела Белинского, с его удивительной критической проницательностью, к выводу о том, что автобиографический жанр дает возможность особенно полно проявиться литературному дарованию Герцена. Это заключение Белинский сделал, имея пред собою лишь ранние автобиографические опыты Герцена. В 1863 году, говоря о «Былом и думах», Герцен отметил: «Это мой настоящий жанр, и Белинский угадал это в 1839 году» (XVI, 566).

Позднее, в 1846 году, Белинский в письме к Герцену развил свою мысль об особенностях его литературного таланта: «У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества. Как Нос в гоголевской повести того же имени, ты можешь сказать о себе: «Я сам по себе!» Деятельные идеи и талантливое, живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с личностию автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь... Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, — ты — большое имя в нашей литературе, и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина»[2]. Белинский высказывает здесь важнейшую мысль об органической связи между литературным творчеством и личностью Герцена. Великий критик указывает и на то, что личность Герцена характеризуют «деятельные идеи», то есть стремящиеся активно проявить себя. Эту особенность индивидуальности Герцена Белинский подчеркивал еще в конце 1840 года, говоря о его «живой, деятельной и практической натуре»[3]. Белинский замечательно прозорливо наметил то направление жизни и литературной деятельности, которое потенциально открывалось перед Герценом. Заветные думы и мечтания самого Герцена

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 62.
[2] Там же, стр. 272.
[3] Там же, т. XI, стр. 579.

полностью соответствовали, как мы видели, такому прогнозу, и они действительно получали чем дальше, тем все более полное осуществление.

2. В новгородской ссылке

В середине 1841 года Герцен покинул Петербург, чтобы отправиться в Новгород. Между приказом Николая I о второй ссылке Герцена и отъездом прошло около семи месяцев. Такой отсрочке содействовали ведомственные трения между III Отделением и министром внутренних дел графом А. Г. Строгановым, в канцелярии которого Герцен служил в Петербурге. Ссыльному Герцену Строганов, в пику жандармам, дал сравнительно высокую должность советника новгородского губернского правления. Но бюрократическая карьера не могла соблазнить Герцена. Им владели совсем другие замыслы. Пока что, однако, приходилось служить в Новгороде.

Город этот оставил у Герцена весьма тягостные воспоминания. Он охарактеризовал Новгород как пародию на бюрократический Петербург. В качестве советника Герцену пришлось заведовать отделением губернского правления, ведавшим, в частности, «злоупотреблениями помещичьей власти». Герцен делал все, что было в его силах, чтобы помочь жертвам крепостнического произвола избавиться от преследований, порки и пыток. Но скоро он убедился в ничтожности такой помощи.

Помещики, подкупавшие судей и подьячих, фактически пользовались полной безнаказанностью. Самые законы были на их стороне. Так, например, крестьянка, которую помещик ссылал в отдаленное имение, не имела права взять с собой десятилетнего сына. И Герцен ничем не мог облегчить ее положение. Вопиющая бедность и бесправие крестьянских масс мучили Герцена, закаляли его ненависть к крепостническому порядку.

Тяжелые удары обрушились в это время и на самого Герцена и его семью. В декабре 1841 года Герцен вновь потерял новорожденного ребенка: «Двоих детей я уже лишился по милости гонений» (2, 212), — записал он в свой дневник. Наталья Александровна не могла опра-

виться от перенесенных в Петербурге потрясений, вызванных полицейскими преследованиями.

Герцена все больше охватывало тяжелое, щемящее раздумье. Он чувствовал себя «в кругу зверей», в мире «мертвых душ», изображенных в только что вышедшей книге Гоголя. Неизгладимое впечатление произвела на него гоголевская поэма. Но Герцен, как ни горько было у него самого на душе, «сквозь туман нечистых, навозных испарений» увидел в «Мертвых душах» «удалую, полную сил национальность», почувствовал веру Гоголя в будущее России. Собственные наблюдения Герцена как бы перекликались с лирическими отступлениями Гоголя: «...кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пением, они едут на лодке; крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья; и потом в бурю — какая дерзость, смелость, летит себе, а что будет, то будет» (2, 214).

Герценовскому ощущению русской жизни органически родственны были гоголевский образ Руси, мчащейся вперед, подобно необгонимой тройке, и знаменитая, полная законной гордости, гоголевская характеристика меткого и живого русского слова, и ряд других, содержащихся в «Мертвых душах», определений черт и особенностей русского национального характера.

Но при этом Герцен ни на минуту не мог забыть о страшном, сковывающем силы нации гнете самодержавия и крепостничества, получившем свое живое воплощение в пошлости, бедности, «несовершенстве» жизни, изображенной Гоголем.

Раздумья и переживания Герцена в этот период отразились в дневнике, который он начал вести в Новгороде. Герцен не мог примириться с тем, что он, с его силами и творческими замыслами, обречен на прозябание в провинциальном захолустье, на страшную потерю времени в канцелярии, на разъедающую неудовлетворенность и горечь, на возможность новых преследований. «Одно чувство всплывает над всеми, — писал Герцен в дневнике,— тягостное и ужасное. Чувство моего положения... Я назначен собственно для трибуны, форума, так, как рыба для воды. Тихий уголок, полный гармонии и счастья семейной жизни, не

наполняет всего, и именно в ненаполненной доле души, за неимением другого, бродит целый мир бесплодно и как-то судорожно... И все вместе оскорбительно до невероятной степени; достоинство моей человеческой личности, а вместе и всех личностей замято в грязь... бесправием» (2; 212, 213, 216). Герцен видел перед собою жестокие примеры того, как человеческие силы и дарования гибнут в этой атмосфере. Так, в Новгороде он узнал о смерти М. Ф. Орлова. Это было зловещее напоминание: «Горе и, пуще, бездейственная косность подъедает геркулесовские силы» (2, 201).

Жизнь в Новгороде с особенной силой заставила Герцена осознать пропасть, отделявшую тогда народные массы от передовой интеллигенции, стремившейся посвятить свою жизнь народу, борьбе за его счастье. Разбирая дела о преследованиях крепостных, Герцен столкнулся лицом к лицу с народными низами. Этот опыт заставил его прийти к выводу: «Барству, чиновничеству мы не хотим протянуть руки... а православный народ, которому, для которого, за который всякий благородный человек готов бог знает что сделать... молчит и не доверяет, нисколько не доверяет» (2, 214).

Но Герцену пришлось встретиться и с фактами, опровергавшими такое пессимистическое заключение. В своем дневнике Герцен отметил: «Буфетчик здешней гостиницы совещался со мною насчет своего сына; он третий год в гимназии. «Да уже мне бы хотелось его после в университет, чтоб был человеком». Мальчик приходил ко мне, живой. Я ему дал книгу и подстрекнул заниматься. Советую идти по медицинскому факультету. Отец чей-то вольноотпущенный. In potentia (потенциально. — *Я. Э.*) много в русской душе» (2, 217). Этот случай, свидетельствовавший о происходивших процессах формирования интеллигенции, кровно связанной с народом, совершенно чуждой барству и чиновничеству, заставил Герцена задуматься. Он чутко реагировал на все явления русской жизни, указывавшие на (в значительной степени еще подспудный) рост русского народа, простого русского человека, на могучие силы, искавшие выхода и приложения.

Хотелось бороться с окружающей действительностью во имя этого будущего. В этом Герцену много помогла его способность смеяться над ненавидимым и

презираемым, бить его сарказмом и меткой остротой. Это давало сознание своей силы и удовлетворение. Недаром впоследствии Герцен писал о «родной нашей иронии, иронии-утешительнице, мстительнице» (18, 272). Именно в Новгороде Герцен создал свой первый, получивший широкую известность, фельетон «Москва и Петербург». В статье этой Герцен дал волю своей веселой, идейно острой и содержательной шутке. Так, перечисляя «разные слои людей», увиденных им в Петербурге, Герцен называет, между прочим, «людей, беспрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов... поэтов в III Отделении собственной канцелярии и III Отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами» (2, 34). Основная мысль сравнения Петербурга и Москвы, проводившегося Герценом, заключалась в том, что Петербург выражает собою «привычку деятельности», хотя деятельность его пока что бессмысленна, московской же жизни присущ «характер стоячести» (2, 37). Ненависть к петербургской бюрократии, охваченной жаждой все регламентировать и всем управлять, презрение к ленивому и сонному московскому барству пронизывают собою этот фельетон. Герцен касается в нем лишь отрицательных сторон русской жизни, проявлявшихся в быту Петербурга и Москвы. Поэтому здесь Герцен не говорит о Москве как о «народном городе», о славных традициях 1812 года; характеризуя же Петербург, называет его «городом без истории в ту и другую сторону» (2, 33). Эти слова вызвали даже полемические замечания Белинского в статье «Петербург и Москва», появившейся в 1845 году. У разночинца Белинского была более крепкая, чем у Герцена, вера в историческую роль Петербурга, в его будущее. Белинский подчеркивал национальное, государственное значение создания новой столицы Петра I, а также многообещающие, прогрессивные тенденции быта и жизни Петербурга как «представителя... новизны»[1], хотя, разумеется, не менее Герцена ненавидел Петербург как средоточие николаевской бюрократии. Но Герцен в этой «шутке» (так он определил жанр статьи) сознательно пользовался лишь сатирическими красками. Разумеется, нече-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 412.

го было и думать о напечатании этого очерка. Но он ходил по рукам и пользовался большой известностью. Впоследствии Герцен опубликовал свой фельетон в «Колоколе». В приспособленном к цензурным требованиям виде сопоставление Петербурга и Москвы было включено Герценом в фельетон «Станция Едрово», опубликованный в 1847 году и полемически шутливо направленный против аналогичного по теме водевиля Константина Аксакова «Почтовая карета».

По своему жанру и характеру к статье «Москва и Петербург» близок другой очерк, написанный во второй ссылке, — «Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме». В этих фельетонах ярко проявляется талант Герцена как взыскательного и тонкого стилиста. Еще из Владимира Герцен писал Наталье Александровне о том, что тщательно заботится о своем слоге. «Я не оставляю свою мысль в папильотках, а... разбрасываю ее вьющимся локоном» (II, 129). Действительно, непринужденная, улыбающаяся, блестящая нарядность стиля сказывается уже в этих работах Герцена, не умаляя и не заслоняя собою значительность проникающей их мысли. К этим статьям Герцена вполне может быть отнесена замечательная характеристика самого жанра фельетона, данная Белинским: «Это болтун, по-видимому добродушный и искренний, но в самом деле часто злой и злоречивый, который все знает, все видит, обо многом не говорит, но высказывает решительно все, колет эпиграммою и намеком, увлекает и живым словом ума и погремушкою шутки... Где ж ужиться с фельетоном русской публике, которая так церемонна, серьезна, чопорна, с таким избытком одарена великодушною готовностию благопристойно скучать, так уважает, даже вчуже, благонамеренную наружность?»[1] Разумеется, Белинский метил и попадал здесь в царскую цензуру, которая ставила непреодолимые препятствия острому ироническому фельетону, блестящим мастером которого явился Герцен.

В фельетонах Герцен мог отвести душу, дать выход накипевшей гневной насмешке, но он ясно понимал, что эти писания не открывают путей к тому «большому труду», к которому он стремился. В этом смысле не-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 89.

сравненно плодотворнее была философская работа, которой Герцен был занят в Новгороде. Тут он начал писать статьи, образовавшие собою цикл «Дилетантизм в науке». Наперекор тоске, гневу, скорби, Герцен сосредоточивает свои силы в области теории, и здесь, в теоретических статьях, проявляется его целеустремленность, богатство переживаний и присущая его натуре «храбрость последовательности» (2, 352).

Но раньше чем перейти к характеристике этого произведения, необходимо сказать об одном чрезвычайно существенном событии новгородского периода жизни Герцена. Увидев не только свое полное бессилие чем-либо существенным помочь обращавшимся к нему, как чиновнику, крепостным, но и то, что, будучи на царской службе, он, в глазах крестьян, является как бы соучастником преступлений царской бюрократии, Герцен в конце 1841 года подает прошение об отставке. Это был рискованный шаг. В своем дневнике Герцен записывает: «Все пугают меня ужасными последствиями отставки, но так и быть, лучше год лишний ссылки» (2, 205). Приходилось опасаться, не усмотрит ли правительство в такой просьбе признак непокорности. Но Герцен пошел на риск. Он хотел добиться, по крайней мере, нравственной свободы. К счастью, обстоятельства сложились благоприятно. Герцен получил отставку, а еще через несколько месяцев, в июле 1842 года, благодаря помощи влиятельных при дворе лиц, — и возможность жить в Москве. Но по воле Николая I он по-прежнему оставался под полицейским надзором и был лишен права приезжать в Петербург.

4. «Дилетантизм в науке».— Эстетические взгляды Герцена начала и середины 40-х годов

С упорством, со страстной энергией Герцен изучал сложнейшие философские вопросы. В решение их он вкладывал не только энергию и богатство своего интеллекта, но и всю полноту своих чувств и переживаний. О первой же из статей цикла «Дилетантизм в науке» Герцен говорил, что она написалась «с огнем и вдохновением. Тут моя поэзия, у меня вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами. Я иными словами

могу высказывать тут, чем грудь полна» (2, 265). Рассматривая те или иные философские проблемы, Герцен вместе с тем как бы рассказывает о собственном идейном пути, о том, как он сам «переживал» эти вопросы и выстрадал их решения. Герцен не только высказывает отвлеченную мысль, но показывает ее рост и созревание, ее психологическое действие в связи с отвергаемыми ею предрассудками и вызвавшими ее эмоциями. Так, например, в первой из статей «Дилетантизм в науке» Герцен создает подлинно художественную картину восхождения мыслителя к вершинам науки, последовательной и беспощадной в своих выводах. На языке философии, так же как и на языке политики и образами искусства, Герцен говорил об одном и том же — о своих поисках революционной теории, способной указать путь к светлому будущему.

В характере философского изложения отразилось обращение Герцена к сравнительно узкому кругу передовой русской интеллигенции. В начале 40-х годов он не столько стремится внедрить в сознание широкого читателя свои самые последние выводы, популяризируя их, сколько открывает передовым людям идейный путь мыслителя во всей его сложности и во всех его оттенках и изгибах, преодолеваемых сомнениях и колебаниях.

В Новгороде Герцен изучает французских материалистов и Гегеля. Он восхищается: «Что за огромное здание воздвигнула философия XVIII века». За время вятской ссылки Герцен прошел «через искус» пантеистических и даже деистических увлечений. Теперь же он считает, что атеизм «последовательнее, нежели робкий деизм Вольтера и Руссо». Герцен указывает, что бог деизма, выступающий лишь как безличная первопричина мира, «неучаствующий, праздный, которого мы не можем знать и пред которым благоговеем, не удовлетворит ни горечи придыхания религиозного ума, ни строгость логического» (2; 208, 207).

Герцен выступает теперь как представитель «ума логического», противопоставленного «уму религиозному». Однако он не сразу приходит к последовательным материалистическим выводам. Говоря об исторической заслуге французских материалистов XVIII века, Герцен пишет: «Ошибка их состояла в том, что они, понявши

генезис духа во временном, конечном, приняли его за произведение материи, за материю. Генезис отчасти верен у них; даже если бы несколько шагов они пробились бы дальше, то они сами поняли бы, что они со словом материя сопрягают еще что-то обладающее ею, призывающее ее к жизни, что-то вечное, бесконечное» (2, 207). Критикуя ограниченность метафизического материализма, Герцен сам еще колеблется между материализмом и идеалистическим представлением об абсолютном духе. Герцен склонен материалистически решать вопрос о развитии духа из природы, из материи и при этом подвергает критике метафизический материализм за его неспособность понять активную, действенную роль сознания. Но, правильно стремясь подчеркнуть эту роль, Герцен соскальзывает порой на идеалистические позиции. Тогда дух, в противоречии с предшествующими положениями, выступает у Герцена как нечто первозданное, призывающее материю к жизни, а не возникающее из нее.

Таково содержание философских записей Герцена в его дневнике, относящихся к середине апреля 1842 года. Сравнение этих записей с философскими статьями, входящими в цикл «Дилетантизм в науке», первая из которых датирована 25 апреля 1842 года, ясно показывает направление идейного развития автора.

При всех колебаниях мысль Герцена упорно развивалась в сторону все более последовательного материалистического взгляда на мир. Герцен знал, как он выразился в первой из указанных статей, что «только живой душой понимаются живые истины». Им владела «смелость знать, святая дерзость сорвать завесу с Изиды и вперить горящий взор на обнаженную истину, хотя бы то стоило жизни, лучших упований». Герцен приступает к анализу основных философских вопросов, заранее отвергая «твердые, застылые мысли», «сбивчивые, неверные понятия», «изготовленные скептические и мистические возражения» (3; 19, 22).

Герцен все глубже познает революционное значение гегелевской диалектики, учится понимать ее как «алгебру революции», сосредоточивая свое внимание именно на «живом» в учении великого немецкого философа.

Подводя итог своих философских занятий в 1842 году, Герцен записывает в своем дневнике 28 декабря:

«Сначала усердное чтение Гегеля, понимание и воспроизвожденье живое его учения» (2, 254). Такое чтение Гегеля принесло свои богатые плоды сначала в статьях о дилетантизме, а затем особенно в «Письмах об изучении природы».

В своей первой большой философской работе Герцен сначала не столько предлагает законченные решения важнейших философских проблем, сколько создает живые, конкретные характеристики типических проявлений распространенного тогда по преимуществу среди дворянской интеллигенции «дилетантизма в науке». Дилетантизм неприемлем для передовых людей, потому что он враждебен «новым убеждениям, многообъемлющим и великим». Герцен остроумно обрисовывает сущность «дилетантов», любящих «пофилософствовать, но пофилософствовать между прочим, легко и приятно, в известных границах... Они любят не науку, а именно туманное, неопределенное стремление к ней, в котором раздолье им мечтать и льстить себе» (3; 9, 12).

Эта характеристика бар-дилетантов, с их дряблой и трусливой мыслью, была чрезвычайно острой и злободневной для того времени. Таких дилетантов было немало и среди людей, окружавших тогда Герцена. Вспомним, к примеру, хотя бы В. П. Боткина, типического дилетанта в философии, эстетике и критике.

Как особую разновидность дилетантов Герцен разоблачает реакционных романтиков, имея при этом в виду славянофильствующую, оглядывающуюся назад дворянскую интеллигенцию, с которой ему пришлось столкнуться и полемизировать уже в сентябре 1841 года, когда он приезжал в Москву в отпуск. К врагам передовой науки Герцен в этих очерках причисляет также отгораживающихся от жизни «цеховых ученых», эту «бюрократию науки» (3, 57), узких специалистов и эмпириков. Наконец, Герцен останавливается на формалистах — «буддистах» науки, которых «калачом не заманишь в мир действительности и жизни» (3, 69),— слепых последователях немецкой идеалистической философии. Таким формалистом в философии был тогда Бакунин.

Дилетантам Герцен не сразу противопоставляет определенное воззрение. Он дает характеристику передового человека — «человека, поднявшегося до современности, с живой душой». Это не просто композици-

онный прием. Статьи «Дилетантизм в науке» отражают постепенный рост мысли их автора. Недаром Герцен отметил в записи дневника, сделанной 14 мая: «Писал эти дни вторую статью о дилетантизме. Мне самому уясняется мысль, писавши. Вероятно, это скорее недостаток, нежели достоинство» (2, 212). Передового человека Герцен характеризует, вернее, изображает так живо и эмоционально, что мы не только понимаем, но как бы видим всю меру энергии, самоотверженности, страсти, страданий, вложенных этим человеком в свои идейные искания.

Как говорит Герцен, передовой человек «глубоко прострадал пустоту субъективных убеждений, постучавшись во все двери, чтоб утолить жгучую жажду возбужденного духа, и, нигде не находя истинного ответа, измученный скептицизмом, обманутый жизнью, он идет нагой, бедный, одинокий и бросается в науку». Так Герцен рисует знакомый ему самому трудный и мучительный путь к объективному знанию через преодоление идеалистических и пантеистических иллюзий. Этот путь недоступен дилетантам, ибо «они не могут найти сил перенести с самоотвержением начала и дойти до той оборотной точки, с которой боль скептицизма и лишений заменяется предчувствием знания успокоенного» (3, 20). Такой скептицизм, такие сомнения и колебания являются для Герцена не выражением устали и отчаяния, а трудным переходом к более высокой ступени научного знания. «Броситься в науку» вовсе не значит для него склониться под ярмо чужого авторитета подобно формалистам. Научное познание Герцен рассматривает в его движении к объективной истине. Прийти к науке — значит творчески, самостоятельно участвовать в ее развитии. «Наука не требует ничего вперед, не дает никаких начал на веру, и какие начала у нее, которые вперед можно было бы передать? Ее начала — это конец ее, это последнее слово, итог всего движения, до них она достигает; самое развитие их есть неопровержимое доказательство... Она не говорит: «Допусти то и то, а я тебе дам истину, спрятанную у меня, ты можешь получить ее, рабски повинуясь»; в отношении к лицу она только направляет внутренний процесс развития, прививает индивидуальности совершенное родом, приобщает ее к современности...» (3; 20—21).

В последней из статей «Дилетантизм в науке» Герцен противопоставляет Фауста его помощнику Вагнеру: «Фаусту наука — жизненный вопрос «быть или не быть»; он может глубоко падать, унывать, впадать в ошибки, искать всяких наслаждений, но его натура глубоко проникает за кору внешности, его ложь имеет более истины в себе, нежели плоская, непогрешительная правда Вагнера... Вагнера наука не мучит... Он покой свой купил на медные гроши, оттого, что он не беспокоился собственно никогда» (3; 78—79). В эту характеристику отношения Фауста к науке Герцен, несомненно, вложил то, «чем грудь полна».

Энергия и беззаветность исканий, свойственные Герцену, вели его к большим идейным победам. Постепенно в статьях «Дилетантизм в науке» все яснее начинают вырисовываться положительные черты пропагандируемых Герценом философских взглядов.

Мы уже упоминали, что первая из этих статей была закончена в те же дни, когда были сделаны отмеченные выше философские записи в дневнике. Естественно, что формулировки здесь и там очень близки. Но статья свидетельствует о новом поступательном развитии мысли Герцена. Говоря о склонности дилетантов «играть в философию» и придерживаться произвольных, субъективных и по сути идеалистических точек зрения, не считающихся с объективностью природы, Герцен пишет: «В этом отношении материалисты стоят выше и могут служить примером мечтателям-дилетантам: материалисты поняли дух в природе и только как — природу, но перед объективностью ее, несмотря на то, что в ней нет истинного примирения, склонились; оттого между ними являлись такие мощные люди, как Бюффон, Кювье, Лаплас и др.» (3, 15). Таким образом, материалистический вывод, рассматривающий дух «только как природу», кажется Герцену правильным, хотя и недостаточным.

Во второй из статей, датированной 9 мая 1842 года, Герцен противопоставляет реалистическое воззрение на мир взглядам «философов-романтиков». Последним свойственно «феодальное воззрение средних веков, приложенное несколько к нашим нравам», мистицизм, им чуждо «материальное направление века» (3; 27, 28).

Шаг вперед делает Герцен в последней статье, напи-

санной уже в Москве и помеченной 23 марта 1843 года. Теперь Герцен говорит: «Природа... углубляясь более и более, оканчивает человеческим я; в нем она достигла своей цели. Личность человека, противопоставляя себя природе, борясь с естественною непосредственностью, развертывает в себе родовое, вечное, всеобщее, разум. Совершение этого развития — цель науки» (3, 84). Такая мысль — хотя и непоследовательный, но шаг вперед к материалистическому взгляду на мир, к убеждению в том, что сознание человека является продуктом развития материи.

В большом промежутке, который отделяет время создания первых двух статей «Дилетантизма в науке» от работы над последними статьями цикла, Герцен впервые прочитал «Сущность христианства» Фейербаха. Книгу эту привез в Новгород в самом конце мая 1842 года Огарев, навестивший своего друга. Она явилась для Герцена радостным подтверждением того, что избранный им философский путь был правилен. Он испытал то счастье, которое в момент трудных духовных исканий дает неожиданная встреча с сильным единомышленником, чья мысль уже пришла к ясным и определенным выводам. «Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости» (9, 27).

Но еще до знакомства с Фейербахом, не позднее апреля того же года, Герцен, как мы видели, во многом уже преодолел пантеистические и идеалистические иллюзии. В Новгороде, в спорах с одной дамой, фанатической сторонницей религии и мистицизма, Герцен заявил прямо: «Нет ни личного духа, ни бессмертия души» (9, 27).

В «Дилетантизме в науке» очень большое значение приобретает глубокое понимание и проницательная оценка философии Гегеля с точки зрения передовых идей.

По словам Герцена, «Гегель видел, что многим из общепринятого надобно пожертвовать; ему жаль было разить; но, с другой стороны, он не мог не высказать того, что был призван высказать. Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всех следствиях его и ищет *не простого,* естественного, само собою вытекающего результата, но еще чтоб он был в ладу с существующим; развитие делается сложнее, ясность затем-

няется. Присовокупим к этому дурную привычку говорить языком школы, которую он поневоле должен был приобрести, говоря всю жизнь с немецкими учеными. Но мощный гений его и тут прорывается во всем колоссальном своем величии. Возле запутанных периодов вдруг одно слово, как молния, освещает бесконечное пространство вокруг, и душа ваша долго еще трепещет от громовых раскатов этого слова и благоговеет перед высказавшим его» (3; 62—63).

Восхищаясь мощью мысли немецкого философа, Герцен восклицает: «Нет укора от нас великому мыслителю!» (3, 63). Но это чувство отнюдь не лишает зоркости критический взор русского мыслителя.

В «Логике» Гегеля он увидел «плод всего прошедшего мышления, семя огромного, могучего дуба» (3, 39). В дальнейшем же развитии мировой философской мысли Герцен предвосхищал «шаг в практические сферы». Гегель «не сделал этого шага». Он впадал «много раз в *немецкую* болезнь, состоящую в признании ведения последней целью всемирной истории». В этом смысле Гегель «часто непоследователен своим началам» (3, 82).

Герцен был убежден в том, что «деяние, а не наука — цель человека» (3, 73). Гегель же «более намекнул, нежели развил мысль о деянии. Это дело не его эпохи, — дело эпохи, им порожденной. Гегель, раскрывая области духа, говорит об искусстве, науке и забывает практическую деятельность, вплетенную во все события истории» (3, 73). Но автор «Дилетантизма в науке» понимал и историческую обусловленность ограниченности гегелевской философии, и новые задачи, вставшие перед передовой мыслью 40-х годов. Говоря о «ряде мыслителей, замыкающемся Гегелем», он писал: «Они не имели иных требований, кроме потребности ведения, но это было своевременно... Мы совсем не в том положении; для нас жизнь в отвлеченно-всеобщих сферах — несвоевременность, личная охота» (3; 73—74).

Гегель и помогал Герцену в критике субъективистских воззрений дилетантов, их формализма, отрыва от жизни, их непонимания обобщающего единства подлинной философской мысли.

И после знакомства с философией Фейербаха фило-

софский путь Герцена оставался самостоятельным. Еще раньше Герцен понял бесплодность и ошибочность поисков «истинной религии», что было так характерно для немецкого философа. Впоследствии Герцен писал, имея в виду Белинского и себя: «Для них не нужно было, чтоб Фейербах разболтал тайну Гегелева учения, чтоб понять ее» (5, 221).

В отличие от Фейербаха, Герцен не отбросил диалектики. «Острая критика, которой Герцен подвергает в «Дилетантизме в науке» методологические принципы, характерные для «дилетантов» и ряда ученых-специалистов, является по существу критикой метафизического и обоснованием диалектического метода»[1]. Но, как мы еще увидим, черты антропологизма и натурализма и позднее были присущи материалистическим воззрениям Герцена.

Крайне существенны те политические выводы, которые неразрывны с философской концепцией автора «Дилетантизма в науке».

Для передового человека, по мнению Герцена, «мало блаженства спокойного созерцания и видения; ему хочется полноты упоения и страданий жизни; ему хочется *действования,* ибо одно действование может вполне удовлетворить человека» (3, 69). Герцен разоблачает свойственное гегельянцам-формалистам «примирение со всей темной стороной современной жизни» (3, 77). Наука должна стать достоянием народных масс, ибо «все дело философии и гражданственности — раскрыть во всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества» (3, 14). Герцен мечтает, таким образом, о том, чтобы передовое мировоззрение объединило собою народ и передовых людей, он стремится к тому, чтобы «луч науки» достиг «обыкновенных людей» (3, 45), чтобы наука «живым элементом» вошла в «стремительный поток практических сфер», то есть народной жизни. Но это еще неосуществимо, ибо наука находится в таком состоянии, что она не может предложить массам «плод свой».

Если эти мысли Герцена, нарочито им затемненные и сформулированные при помощи «странного и трудно

---

[1] З. В. Смирнова, Комментарий к «Дилетантизму в науке» (3, 222).

понятного языка» (3, 45) тогдашней философии, перевести на наш язык, то окажется, что вывод его отличается замечательной революционной последовательностью, проницательностью и дальнозоркостью: только тогда наука соединится с народом, когда она сумеет дать ему революционную теорию.

В деле претворения выводов науки в общественную практику и народную жизнь Герцен особую роль отводит русской передовой мысли. Он основывается при этом на некоторых особенностях исторического развития России, в сущности больше всего на стремительном росте русской культуры: «Может, тут раскроется великое призвание бросить нашу северную гривну в хранилищницу человеческого разумения; может, мы, мало жившие в былом, явимся представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела. В истории поздно приходящим — не кости, а сочные плоды» (3, 73).

Герцен стремился к практической переделке мира на основе выводов передовой науки. Но самая переделка эта не представлялась ему в 40-х годах зависимой от материального уровня развития общества. Герцен не отдавал еще себе отчета в громадной роли, которую в этой переделке должна сыграть историческая инициатива народных масс. Он не рассматривает общественную практику как критерий правильности теоретических выводов, хотя уже указывает на преимущество мыслителя, «искусившегося самыми событиями» (3, 51). Во всех этих отношениях Герцен в значительной степени оставался на просветительских позициях. Он знал по опыту мировой истории, что «массы действуют, проливают кровь и пот» (3, 51). Его восхищение вызывали писатели, «произведшие огромное влияние, потрясавшие, двигавшие массы» (3, 54); он сам стремился к такой деятельности.

Но Герцен еще далек был от выводов, что «великие вопросы в жизни народов решаются только силой»[1]. Ему казалось, что достаточно прийти к верному и глубокому теоретическому выводу, для того чтобы иметь возможность претворить его в жизнь: «С того мгновения, как человек поймет истину, она будет у него в гру-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 9, стр. 111.

ди, и тогда... дело сознательного деяния начнется» (3, 87). Свои надежды в данное время он возлагает на передовую интеллигенцию, называя ее «македонской фалангой» науки и человечества (3, 64). Однако призыв Герцена выработать передовое, по сути материалистическое, мировоззрение, ставящее перед собой проблему изменения действительности, его выступления против «аристократии знания» (3, 48) были явлением очень большого значения.

В. И. Ленин писал: «Слово тоже есть дело; это положение бесспорное для приложения к истории *вообще* или к тем эпохам истории, когда открытого политического выступления масс нет...»[1] В 40-е годы философское слово Герцена было большим политическим делом. Оно воспитывало молодое поколение в духе материализма и демократизма. Отвергая гегельянское представление о существующей действительности как о совершенной «абсолютной форме бытия», Герцен саркастически спрашивал: «Отчего при этой абсолютной форме бытия в Манчестере и Бирмингаме работники мрут с голоду или прокармливаются настолько, насколько нужно, чтобы они не потеряли сил?»

В философских работах Герцена перед читателем вставала не только система теоретических взглядов, но и образ деятельного, глубоко думающего и ярко чувствующего человека, умеющего конкретно, зримо рассказать о своих идейных борениях. Читатель видел, что философский трактат превращается под пером Герцена, если употребить его же выражение, в «лирическую поэму воспитания в науку» (3, 68). «Поэма» эта повествовала о том, как Герцен «дострадался до науки» (3, 68), и звала следовать по этому пути, взять на себя «тяжелый крест *трезвого знания*» (3, 66).

В этом отношении в «Дилетантизме в науке», быть может, особенно рельефна и убедительна нарисованная Герценом картина того, как человек поднимается к вершинам научных теоретических обобщений. Герцен говорит: «Путь достижения к науке идет, по-видимому, бесплодной степью; это отталкивает некоторых. Потери видны, приобретений нет; поднимается в какую-то изреженную среду, в какой-то мир бесплотных абстрак-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 9, стр. 53.

ций, важная торжественность кажется суровою холодностью; с каждым шагом уносишься более и более в это воздушное море — становится *страшно просторно,* тяжело дышать и безотрадно, берега отдаляются, исчезают, — с ними исчезают все образы, навеянные мечтами, с которыми сжилось сердце».

Так Герцен рисует первый этап перехода сознания от единичного к всеобщему. Но он не останавливается на этом. «Еще шаг,— продолжает Герцен,— и мир начинает возвращаться, но он не чужой уже; наука дает на него инвеституру. Поблекли мечты, основанные на раздраженной фантазии, чрез посредство которой дух прорывался к знанию; но зато действительность просветлела, взор проникает глубоко и видит, что нет тайны, которую хранили бы сфинксы и грифы, что внутренняя сущность готова раскрыться дерзающему» (3; 19, 20).

Герцен показывает воочию, какое огромное духовное удовлетворение дает завоеванное в труде и борьбе мысли теоретическое обогащение сознания.

В философских работах 40-х годов Герцен большое внимание уделяет вопросам эстетики.

Эстетические воззрения Герцена характеризуются материалистической направленностью, глубоким историзмом, диалектическим взглядом на развитие искусства, убеждением в его активной общественной роли, тонким пониманием его своеобразия и внутренних закономерностей.

С наибольшей полнотой Герцен раскрыл свои эстетические воззрения в «Дилетантизме в науке».

В первой из статей этого цикла Герцен дает обоснование тезиса об объективности эстетических представлений и категорий. Полемизируя с философским субъективизмом «дилетантов», для которых «...личные убеждения — окончательное, безапелляционное судилище», Герцен указывает: «...сентенции такого рода признаются только, когда речь идет о философии и эстетике. Объективное значение других наук, даже башмачного ремесла, давно признано. У всякого своя философия, свой вкус. Добрым людям в голову не приходит, что это значит самым положительным образом отрицать философию и эстетику. Ибо что же за существование их, если они зависят и меняются от всякого встречного и поперечного?»

Субъективизм многих эстетических теорий Герцен объясняет тем, что «...предмет науки и искусства ни око не видит, ни зуб неймет. Дух — Протей; он для человека то, что человек понимает под ним и насколько понимает...» (3; 14—15).

Однако Герцен не видит в духе первопричину искусства и науки, а, пользуясь этим идеалистическим термином, характеризует им, в сущности, лишь особенности содержания науки и искусства как видов духовной деятельности человека.

В «Дилетантизме в науке» Герцен касается и основного вопроса эстетики, вопроса об отношении искусства к жизни, о сущности прекрасного. Правда, по этому вопросу эстетики у Герцена нет обобщающей формулировки, подобной знаменитому позднейшему определению Чернышевского: «*прекрасное есть жизнь*... прекрасен тот предмет, который высказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни...»[1]

Но целый ряд мыслей Герцена, выраженных не в столь определенной форме, ведет к этому же выводу. Герцен пишет: «Обратимся к природе: неясная для себя, мучимая и томимая этой неясностью, стремясь к цели ей неизвестной, но которая с тем вместе есть причина ее волнения, — она тысячью формами домогается до сознания, одействотворяет все возможности, бросается во все стороны, толкается во все ворота, творя бесчисленные вариации на одну тему. В этом поэзия жизни, в этом свидетельство внутреннего богатства» (3, 85).

Таким образом, Герцен, пусть вскользь и не останавливаясь специально на эстетической стороне вопроса, говорит здесь о том, что поэзия жизни, то есть ее красота, заключается в развитии природы, в богатстве, интенсивности, напряженности этого развития. С точки зрения Герцена, сама жизнь творит прекрасное и является его источником.

Очень большой интерес представляет та концепция исторического развития искусства от античности до начала XIX века, которую Герцен излагает во второй статье цикла — «Дилетанты-романтики».

Герцен начинает с характеристики эстетического идеала, воплощенного в античном искусстве, его пла-

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. II, стр. 10.

стической прелести и грации и вместе с тем исторически обусловленной ограниченности духовного идейного содержания. Герцен так определяет своеобразие античного мировоззрения и искусства: «Греко-римский мир был, по превосходству, реалистический; он любил и уважал природу, он жил с нею заодно, он считал высшим благом существовать... Грек, одаренный высоким эстетическим чувством, прекрасно постигнул *выразительность внешнего,* тайну формы; божественное для него существовало облеченным в человеческую красоту; в ней обоготворялась ему природа, и далее этой красоты он не шел... Дальнейшее развитие духа было необходимым шагом вперед, но оно не могло иначе быть, как на счет плоти, тела, формы: оно было выше, но должно было пожертвовать античной грацией» (3, 30).

Средневековый романтизм Герцен рассматривает как реакцию на античное искусство, видя, однако, в этом романтизме не только отступление к идеализму, иррационализму и пессимизму, отказ от сильнейших сторон классического идеала, но вместе с тем и известный, хотя и глубоко противоречивый шаг вперед в художественном развитии человечества. Романтизм, с его точки зрения, вносит в это развитие более глубокое отражение духовной жизни человека.

По словам Герцена, «раскрылись богатства души, о которых тот (античный.— *Я. Э.*) мир и не подозревал. Целью искусства сделалась не красота, а одухотворение. Громкий смех пирующего Олимпа прекратился; ждали со дня на день преставления света, вечность которого была догмат классического воззрения. Все вместе разливало что-то величественно грустное на действия и мысли; но в этой грусти была неодолимая прелесть темных, неопределенных, музыкальных стремлений и упований, потрясающих заповеднейшие струны души человеческой» (3, 32).

Герцен прослеживает дальнейшее развитие искусства, сопоставляя византийскую живопись, рассматриваемую, как одно из явлений романтизма, с живописью эпохи Возрождения: «Византийская кисть отреклась от идеала земной человеческой красоты древнего мира. Итальянская живопись, развивая византийскую, в высшем моменте своего развития отреклась от византизма

и, по-видимому, возвратилась к тому же античному идеалу красоты; но шаг был совершен огромный; в очах нового идеала светилась иная глубина, иная мысль, нежели в *открытых глазах без зрения* греческих статуй» (3, 35).

Таким образом, искусство эпохи Возрождения явилось, с точки зрения Герцена, громадным эстетическим успехом человечества.

Именно эта эпоха впервые принесла победу реализму, как наиболее многостороннему и глубокому изображению и воплощению жизни и человека, его телесной красоты и духовного богатства в их неразрывном единстве.

Характеризуя искусство итальянского Возрождения, Герцен говорит, что великие художники этой эпохи «...облекли во всю красоту земной плоти небесное, и идеал их — идеал человека преображенного, но человека... Живопись, поднявшись до высочайшего идеала, стала снова твердой ногой на землю, а не оставила ее» (3, 35).

Герцен указывал на «несовместимость христианства со всякой живой сферой, так и с искусством», ибо религия уводит искусство от жизни. Великие мастера итальянского искусства, даже посвящая свое творчество религиозным темам, оставались верными земной действительности — «живопись была эманципацией из-под власти исключительности религиозной» (2, 315).

Аналогичную точку зрения развивал В. Г. Белинский во «Взгляде на русскую литературу 1847 года». Говоря о произведениях живописи итальянских школ XVI столетия, Белинский указывает: «Их содержание, по-видимому, преимущественно религиозное; но это большею частию мираж, а на самом деле предмет этой живописи — красота как красота, больше в пластическом или классическом, нежели в романтическом смысле этого слова»[1].

Литературу и искусство Возрождения Герцен рассматривал как основу для дальнейшего мощного художественного подъема.

В творчестве Шекспира он видит «гениальное раскрытие субъективности человеческой во всей глубине,

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 307—308.

во всей полноте, во всей страстности и бесконечности, смелое преследование жизни до заповеднейших тайников ее и обличение найденного» (3, 36). Герцен противопоставляет при этом творчество Шекспира — романтизму средневековья, подчеркивая реалистический характер мироощущения величайшего английского драматурга, совершенно чуждого стремлению уйти от земной жизни, и отмечая вместе с тем, что он «затворяет романтическую эпоху искусства и растворяет новую» (3, 36).

Эта новая эпоха характеризуется в понимании Герцена дальнейшим развитием и углублением реализма, его идейным обогащением, ясным осознанием такими великими его представителями, как Гёте, новых идейно-художественных целей.

Некоторые эстетические определения и оценки Герцена могут быть сближены с соответствующими высказываниями Гегеля, но в целом герценовская методология и понимание им процесса мирового художественного развития принципиально отличны от гегелевской концепции.

В то время как для Гегеля отдельные этапы художественного развития человечества представляют собою лишь последовательные формы осуществления идеи прекрасного, у Герцена исторические изменения искусства выступают как следствия изменяющихся потребностей общества, тесно связанные с развитием общественной мысли, философии. Так, Герцен указывал, что романтизм, который всячески подчеркивал свою отрешенность от земной жизни, от реальной действительности, на самом деле был порождением не «духа», как его понимают идеалисты, а жизни: «Романтизм был прелестная роза, выросшая у подножия распятия, обвившаяся около него, но корни ее, как всякого растения, питались из земли. Этого романтизм знать не хотел; в этом было для него свидетельство его низости, не достоинства, — он стремился отречься от корней своих» (3, 32).

Вообще Герцену нередко удавалось проницательно и тонко связать создание того или иного художественного произведения с чертами общественной психологии, обусловленными политической обстановкой эпохи. Характеризуя в 1842 году «Последний день Помпеи» Брюллова как «высочайшее произведение русской живописи»,

Герцен видел своеобразие содержания этой картины в том, что «предмет ее переходит черту трагического, самая борьба невозможна». «Дикая, необузданная», стихийная сила несет с собою «безвыходно трагическую гибель» (2, 229). В этом, по мнению Герцена, и сказалось «вдохновение Петербурга» (2, 40). Он полагает, что атмосфера дикого и жестокого, неотвратимого и гибельного произвола и насилия и заставила художника обратиться к своей теме. Впоследствии, в 50-х и 60-х годах, Герцен возвращался к этой мысли, уточняя ее.

Эти мысли о «Последнем дне Помпеи» имеют очень существенное теоретическое значение для верного понимания такой эстетической категории, как трагическое. С точки зрения Герцена подлинный трагизм присущ тем явлениям искусства, в которых воплощена *борьба* против сил и событий, несущих с собою гибель или угрожающих ею.

Следует вместе с тем иметь в виду, что, остановившись перед историческим материализмом, Герцен не был в состоянии до конца научно объяснить закономерности исторической эволюции искусства. Он учитывал по преимуществу лишь факторы духовного, политического, психологического, физиологического порядка.

Принципиальные отличия воззрений Герцена от эстетической концепции Гегеля совершенно отчетливо выступают и в отношении к вопросу о будущем искусства, о перспективах, перед ним открывающихся.

В художественном развитии человечества Герцен, в отличие от Гегеля, видел сложный и *противоречивый,* но в конечном счете *поступательный* и *восходящий* процесс; так, например, для Герцена архитектура эпохи Возрождения, в частности храм Петра,— «шаг назад искусства и шаг вперед человечества» (3, 34).

Опыт мировой литературы и искусства вел Герцена к выводу о том, что именно идейное обогащение свидетельствует о новых успехах художественного развития.

Реализм, отрицая и классицизм и романтизм, продолжил и развил сильнейшие стороны обоих художественных течений.

«Романтизм и классицизм должны были найти гроб свой в новом мире, и не один гроб — в нем они должны

были найти свое бессмертие. Умирает только одностороннее, ложное, временное, но в них была и истина — вечная, всеобщечеловеческая: она не может умереть, она поступает в майорат старшим рода человеческого» (3, 37).

Под таким углом зрения Герцен и касается далее творчества Гёте и Шиллера, представляющих «великий образ, как должны быть приемлемы романтические и классические элементы в нашем веке» (3, 38).

Известно, что для Гегеля стремление искусства к изображению прозы жизни было признаком начинающегося распада, ухода в мелочи и случайности.

По его словам, «искусство возвращается к подражанию природе и именно к измеренному приближению к случайному характеру, к непосредственному, взятому самому по себе, к некрасивому и прозаическому существованию. — Здесь естественно само собою напрашивается вопрос, должны ли мы вообще такого рода продукцию еще называть художественными произведениями» [1].

С другой стороны, рост идейности искусства, удельного веса «рефлексии и критики» представлялся Гегелю усилением элементов произвольной субъективности, также знаменующим собою падение искусства. Как писал Гегель, «...искусство стало интересоваться либо исключительно только случайным внешним миром, либо столь же случайной субъективностью». Гегель видит не поступательное развитие реализма, а «разложение романтической формы искусства» [2].

Совершенно иначе оценивает эти процессы Герцен. Еще в 1839 году в письме к А. Л. Витбергу он отстаивал право искусства, касаясь самых возвышенных тем, отражать вместе с тем черты жизненной повседневности. В «Дилетантизме в науке» Герцен говорит, что реалистическое искусство способно овладеть всеми сторонами действительности, изображая тот «занимающийся материальными улучшениями, общественными вопросами, наукой» век, которому чужды мертвенные реакционно-романтические идеалы и их носители. Именно этот мир Герцен называет «кипящей, благоухающей

[1] Гегель, Соч., т. XIII, Соцэкгиз, 1940, стр. 157.
[2] Там же, стр. 155, 165.

жизнью», и приветствует «веселую песню жизни современной» (3; 41—42).

Герцен все более высоко ставит Гёте, особенно ценя, как он о том говорит в «Письмах об изучении природы», то сочетание «художественного глубокомыслия» с «любовью к бытию, упоением от него» (3, 138), которое было свойственно немецкому гению. Для Герцена особенно ценно именно это сочетание беспредельно многостороннего и многокрасочного реалистического изображения жизни с глубочайшим, целеустремленным и ясным ее осмыслением. В этой связи следует отметить, что у Герцена понимание непреходящего значения творчества Гёте, как одного из величайших представителей реалистического искусства, постоянно углубляется и обогащается [1].

Отношение Герцена к вопросу об идейности реалистического искусства ярко проявляется и в его оценках сатирических произведений, в частности «Мертвых душ», с одной стороны, и сатиры Лукиана, с другой.

Отмечая в дневнике 1842 года, что в творчестве Гоголя настоящее отразилось «во всей отвратительной действительности», Герцен подчеркивает глубокий реализм автора «Мертвых душ», который в созданных им типах сохранил жизнь «во всей полноте» и, что особенно важно, сквозь «туман нечистых, навозных испарений» вызвал образ «удалой, полной сил национальности», выразил «упование на будущее» (2; 214—220). Тем самым Гоголь и выразил чаяния передовой России.

Таким образом, высоким достоинством подлинного реализма Герцен считает глубину и народность положительных устремлений писателя, который притом ни в чем не должен смягчать изображение всего отрицательного.

Отправляясь от этого же критерия, характеризует Герцен (в «Письмах об изучении природы») и сатиру Лукиана. Говоря о «глумливом, злом» отрицании, проникающем собою произведения сатирика античности, «Вольтера той эпохи» (какое совпадение с оценкой Энгельса!), о его «едких насмешках», Герцен оговаривает слабость его положительных идеалов — «такое

[1] Ср. В. Жирмунский, Гёте в русской литературе, Гослитиздат, 1937, стр. 352 и след.

отрицание оставляло пустоту в душе» (3, 219). В этом Герцен видит отражение характерных черт духовной жизни эпохи, породившей сатиру Лукиана.

Считая, что развитие реализма органически связано с ростом его идейности и осознанной целеустремленности, Герцен подчеркивал ту тесную и вместе с тем сложную связь, которая существовала между развитием художественного реализма и передовых идей в науке. С этой точки зрения он обращается (в «Дилетантизме в науке» и в «Письмах об изучении природы»), в частности, к эпохе Возрождения. В пятом из «Писем об изучении природы» Герцен, имея в виду эту эпоху, говорит: «В науке победа над средневековым воззрением не была так торжественна, так полна, как в области искусства: Рафаэль, Тициан, Корреджио сделали невозможным дуализм в эстетике» (3, 240).

В искусстве Герцен видит важный фактор общественной жизни. В дневнике 1842 года он следующим образом характеризует роль театра: «Сцена, как выразился кто-то, есть парламент литературы, трибуна, пожалуй, церковь искусства и сознания. Ею могут разрешаться живые вопросы современности, по крайней мере обсуживаться, а *реальность* этого обсуживанья в действии чрезвычайна» (2, 227).

Мысль эта получила глубокое и блестящее развитие в статье «По поводу одной драмы». «[illegible] тяготящее, занимающее известную эпоху, — писал здесь Герцен,— само собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. Это обсуживание приводит к заключениям не отвлеченным, но трепещущим жизнию, неотразимым и многосторонним» (2, 51).

Герцен видел ясно, каким большим влиянием в общественной жизни могут обладать яркие, широко обобщающие типические характеры, созданные литературой и, в частности, драматургией. Он проницательно понимал, например, политическую сущность гоголевских типов. Для него тип Хлестакова характеризует собою существенные стороны целого государственного порядка, царской бюрократии. Отмечая в своем дневнике черты хлестаковщины, присущие Уварову, этому реакционеру, который не прочь был пококетничать с Евро-

пой, блеснуть с виду гуманной, а по сути пустой и лживой фразой, Герцен записывает: «Вечный тип Хлестакова, повторяющийся от волостного писаря до царя» (2, 267).

Концепция эстетического развития человечества, которую Герцен развивал в начале и середине 40-х годов, перекликается с тем пониманием истории искусства, которое содержится в статье Белинского о «Горе от ума» (1839). Но оценки и характеристики Герцена охватывают значительно более широкий круг явлений искусства, они конкретнее и точнее. Притом в концепции Белинского, в связи с тем духовным кризисом, который он переживал, когда писал эту статью, проблема роста идейности в литературе нового времени не играла столь важной роли, как у Герцена.

Рассматривая в «Дилетантизме в науке» целый ряд важнейших философских и эстетических вопросов, Герцен настойчиво стремится привить своей аудитории волю к идейному росту и освобождению личности, придавленной самодержавно-крепостническим гнетом, политической робостью и покорностью перед религией. Он внушает гордое сознание духовной силы, неограниченных возможностей, открытых перед человеческой личностью, способной смело идти вперед к вершинам подлинного знания и к активному вмешательству в жизнь.

Для Герцена будущий расцвет человеческой личности, ее многостороннее духовное развитие и возрастание ее творческой энергии неотделимы от политического и социального освобождения народа.

Философские работы Герцена, в частности «Дилетантизм в науке», произвели чрезвычайно большое впечатление на современников. Белинский называл первую статью «донельзя прекрасной» — «я ею упивался и беспрестанно повторял — вот как надо писать для журнала». Но великий критик остался менее доволен второй статьей, посвященной романтикам, — «чувствуется, что не все сказано»[1]. Действительно, статья не ведет к политической характеристике славянофилов. Сам Герцен понимал, что под игом цензуры он вынужден был здесь «закрыть» свою мысль. Он рассматри-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 130, 148.

вал свои философские работы как серьезное политическое дело, которое вновь могло навлечь на него тяжелые кары. Но это не останавливало его. 28 февраля 1843 года Герцен записывает в дневнике следующие строки, связанные с предстоявшим появлением в очередном номере «Отечественных записок» второй из статей «Дилетантизм в науке»: «Или цензура ее изуродует, или эта статья может принести последствия. Может, третью ссылку. Горько будет, но я готов. Я окреп и возмужал в последнее время» (2, 268).

Замечательный образец философской публицистики, статьи «Дилетантизм в науке» завоевали популярность. Грановский «ездил с «Отечественными записками» из дома в дом, сам читал вслух, комментировал...» (9, 126). Сочинение пользовалось значительным влиянием в кругу петрашевцев. В. Энгельсон рассказывал впоследствии, что чтение этих статей с их глубоким оптимизмом помогло ему отогнать мысль о самоубийстве.

5. Герцен, славянофилы и западники

С начала 40-х годов в московских кружках развертываются дискуссии по основным политическим и социальным вопросам.

Споры шли, особенно в печати, главным образом по литературным и историческим вопросам, но суть тех разногласий, которые уже вполне определились в 1842 году, коренилась в основных политических и социальных проблемах русской жизни.

Низкая производительность крепостного труда, стремление помещиков, чьи хозяйства втягивались в товарное обращение, еще больше усилить эксплуатацию своих рабов (о чем Щедрин так наглядно рассказал в «Пошехонской старине»), частые неурожаи и голод, охватывавшие в конце 30-х и начале 40-х годов ежегодно целый ряд губерний, — все это порождало все более ширившееся и выражавшееся в крестьянских бунтах недовольство народа.

В 1839 году двенадцать губерний Центральной России были захвачены волной пожаров и крестьянских волнений. С особенной силой огонь бушевал в Симбирской губернии. О симбирских пожарах и поджигателях

Герцен упомянул позднее в своей книге «О развитии революционных идей в России» (1851), указывая на эти не получившие огласку события как на пример того, как мало общественное мнение Западной Европы знает о том, что происходило и происходит в недрах империи, чей блестящий фасад свидетельствовал лишь о казенном благополучии.

Рост недовольства бросался в глаза не только в провинции и деревне, но и в самой Москве.

В 1840 году жестокий неурожай обрушился на Московскую и некоторые другие губернии. Как сообщает жандармский отчет за этот год, «от совершенного недостатка в пропитании и прекращения многих работ города наполнились нищими, и особенно в Москве, стекались они отовсюду во множестве, как к месту, исстари гостеприимному; на больших дорогах и на станциях толпы голодных окружали проезжих, на коленях прося помощи». И хотя жандармы, стремясь не тревожить царя, заверяли его, что при всех этих бедствиях «дух народный не изменял чувству преданности к установленным властям», тем не менее они должны были сознаться в том, что «мысль о свободе тлеет» между крестьянами и что «мысль эта угрожает опасностью на будущие времена России». И далее составитель отчета сообщал, что «кроется повсюду какое-то общее неудовольствие, которое можно выразить одним словом, писанным к шефу жандармов из Москвы: «не знаю, а что-то нехорошо!» И это выражение мы часто слышим вырывающимся у людей самых кротких, самых благонамеренных» [1].

Правительство Николая I было глубоко обеспокоено настроением народных масс. Это привело, в частности, к архикелейному обсуждению крестьянского вопроса в ряде так называемых «Секретных комитетов», состоявших из высших сановников империи. Не только работа этих чрезвычайных органов, но и самое их учреждение хранилось в строгой тайне.

Плодом деятельности одного из этих комитетов явился указ от 2 апреля 1842 года, так называемый указ об «обязанных крестьянах». Согласно этому пра-

[1] «Крестьянское движение 1827—1869 гг.», вып. I, Соцэкгиз, 1931, стр. 40—42.

вительственному акту помещики получали право вступать со своими крепостными в определенные регламентируемые договором отношения. Договор устанавливал как повинности со стороны крестьян, так и размер предоставляемых помещиком земельных наделов. Фактически власть помещика, если не считать некоторые маловажные ограничения, полностью сохранялась. Немногочисленные случаи применения этого закона лишь помогли крепостникам получать доходы со своих недоимочных имений, где использование силы по отношению к разоренному крестьянству становилось опасным.

Герцен был вполне прав, когда, узнав об этом указе, весьма скептически оценил возможные практические результаты его. «Состояние крестьян мнимо улучшится» (2, 209), — записывает он 15 апреля в своем дневнике. Впоследствии Герцен эти действия николаевского правительства называл «лукавым и двусмысленным намеком» (12, 82).

Но в обстановке глухой реакции и всеобщей, если употребить выражение Герцена, «немоты» даже такой намек способствовал общественному возбуждению. Не только в Москве и Петербурге, но и среди провинциального дворянства пошли толки и споры; слухи об освобождении находили благодарную почву в народе. В журналах появляется несколько статей, комментирующих указ.

И хотя правительство вскоре приняло меры к тому, чтобы прекратить всякое обсуждение крестьянского вопроса, последний все больше становится в центре общественного внимания. Даже у весьма умеренных по своим политическим взглядам помещиков-интеллигентов появляется понимание неизбежности каких-то перемен.

Для передовых же людей освобождение крестьян становится ключевым вопросом политики.

Какие бы проблемы ни затрагивались в идейной борьбе 40-х годов, все они так или иначе восходили к вопросу о крестьянстве, об изменении его судьбы, о его будущем. Как писал Герцен, «...с 1842 года главным занятием мыслящих русских было обдумывание способа раскрепощения крестьян. Все другие задачи зависели от этого» (12, 78).

На знамени русского освободительного движения,

возглавляемого Белинским и Герценом, стоял призыв к борьбе против самодержавия и крепостничества. К Белинскому и Герцену примыкали в первую очередь: Огарев, Грановский, просветитель, колебавшийся между либерализмом и демократизмом, между идеализмом и материализмом, но постепенно все более ясно понимавший идейную правоту Герцена и, в отличие от либералов, не пошедший на сделку с самодержавием; Щепкин, художественное творчество которого было насыщено стихийным демократическим протестом против крепостничества.

Что же касается таких людей, как Боткин, Кетчер, Е. Корш, то они до поры до времени поддерживали Белинского и Герцена. Литературная деятельность Боткина и Корша играла еще известную, хотя и очень скромную, прогрессивную роль. Однако активного и смелого участия в борьбе с реакцией они не принимали. Их стеснял самодержавно-крепостнический гнет, но в гораздо большей мере боялись они народа, его революционной активности. Социалистические и революционно-демократические убеждения Белинского и Герцена были для них неприемлемы. Поэтому, как только наступила пора идейных испытаний и дифференциации, они из «друзей» Белинского и Герцена, какими они себя считали, точнее из их приятелей, превратились в их противников.

Приятельские отношения между ними, с одной стороны, и Белинским и Герценом, с другой, были возможны только в обстановке относительно слабого размежевания демократизма и либерализма в 40-х годах. Но, как мы увидим, уже в 1846 году этим либералам пришлось приоткрыть свое настоящее лицо.

Зато чем дальше, тем более полюбовно договаривались они со славянофилами.

Тревога за положение класса помещиков, за судьбы русской монархии породила к началу 40-х годов идеологию так называемого славянофильства. Это была замаскированная и демагогическая агентура реакции. В 1848 году вождь славянофилов Хомяков со свойственным ему цинизмом определил политическую роль славянофильства, как «мнимую оппозицию», которая и «есть истинное и единственное консерваторство». Такая «мнимая оппозиция», как признавался Хомяков, нужна

была для того, чтобы власть царя и помещиков была поддержана «живой силой охранной», то есть мнимо общественным мнением, роль выразителей которого славянофилы на себя и брали.

Задачу свою Хомяков видел в том, чтобы оторвать общество от «вопроса политического», то есть от борьбы с самодержавием и крепостничеством, и увлечь его «истинным», то есть религиозным, просвещением, ибо, по словам Хомякова, «корень и начало дела — религия» [1].

Славянофилы выступают ярыми пропагандистами религии, покорности и смирения, сторонниками сохранения сельской крестьянской общины, подчиненной помещику, врагами передового развития России.

Это была безнадежная и реакционная утопия, ибо уничтожение крепостного права, необходимость чего помещики-славянофилы осознали, в частности, на опыте своей хозяйственной деятельности, распространение наемного труда, рост активности народных масс — все это должно было направить Россию на путь, противоположный тому, о котором мечтали славянофилы.

Наиболее дальновидные и политически трезвые из числа помещиков-славянофилов чем дальше, тем отчетливее понимали выгодность наемного труда и вытекающую отсюда необходимость изменений в положении крестьян, но они неизменно соглашались лишь на такие меры, которые обеспечили бы неприкосновенность власти царя и помещиков. Страх перед освобожденным крестьянством никогда не покидал славянофилов, и к концу 40-х годов И. В. Киреевский, например, больше всего опасался того, чтобы крестьянский вопрос «тронулся», ибо видел в этом угрозу революционных потрясений. Он даже считал несвоевременным издание царским правительством каких-либо «новых законов», имеющих целью регламентировать отношения помещиков и крепостных, то есть законов в духе указа от 2 апреля 1842 года, так как все это могло «возмущать народ ложными слухами о свободе» [2].

Однако борьбу против всего прогрессивного, в защиту всего косного, отсталого, азиатского в тогдашней

---

[1] А. С. Хомяков, Соч., т. VIII, стр. 169—170.

[2] И. В. Киреевский, Полн. собр. соч., т. II, М. 1911, стр. 249.

русской жизни, пропаганду покорности самодержавию и крепостничеству, отстаивание интересов помещиков славянофилы вели гораздо более хитрыми, ловкими и сложными путями, чем лощеный, но по-николаевски грубый и напыщенный министр Уваров или откровенно и наивно холопствовавшие перед правительством издатель «Москвитянина» Погодин и его сотрудник Шевырев, идеологически и по личным связям примыкавшие к славянофилам.

Славянофилы не прочь были даже пофрондировать и тем самым приобрести репутацию независимости и гражданской смелости. Они в известной мере выступали как противники царской бюрократии, но всегда хорошо сознавали свою истинную роль по отношению к самодержавию и крепостничеству.

Недаром Николай I, питая к славянофилам некоторую долю недоверия, относился к ним с благожелательной строгостью. Он ни разу не подвергнул кого-либо из них серьезной каре. В этом смысле необычайно характерной, в своем роде классической, является резолюция Николая I на ответах, которые в 1849 году дал И. С. Аксаков следователю III Отделения.

Ответы эти Николай I снабдил рядом пометок, выдержанных в тоне отеческих внушений слишком пылкому, но вполне благонадежному молодому человеку, а в заключение «начертал» следующую по-фельдфебельски лапидарную резолюцию, адресованную начальнику III Отделения А. Ф. Орлову: «призови (арестованного И. С. Аксакова.— *Я. Э.*), прочти (замечания царя. — *Я. Э.*), вразуми и отпусти»[1].

Резолюция эта — лучший аттестат славянофилам как верноподданным, выданный притом «безупречно компетентной инстанцией»...

Излюбленным демагогическим прикрытием для славянофилов служили фразы о «русском просвещении», о «народной жизни», о «нашем умственном порабощении». Белинский отмечал как заслугу славянофилов их критику «русского европеизма»[2], то есть низкопоклонства перед западноевропейской буржуазной культурой.

---

[1] «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 2, М. 1888, стр. 147.

[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 17.

Но эта критика, именно потому, что она служила демагогическим прикрытием реакционных политических целей, была малоплодотворна, а по сути обманчива. На деле сами славянофилы покорно следовали за реакционно-идеалистическими взглядами Шеллинга, сочетая их с православием. Они, как указывал Белинский, жонглировали категориями идеалистической диалектики, — Герцен называл Хомякова «бретером диалектики» (9, 156).

Славянофилы, как метко определил Герцен, «западной наукой дошли до своих национальных теорий» (2, 392). Недаром они со своими религиозными упованиями совершенно неспособны были оценить всю силу и самостоятельность русской передовой мысли, продолжали твердить о ее «школьнической подражательности»[1] и в борьбе с нею прибегали к самым гнусным средствам. В действительности же именно славянофилы были послушными и робкими подражателями немецкой идеалистической философии.

Славянофилы страшились роста демократической русской культуры, роста простого русского человека. Привлекая внимание к изучению русской истории, сами славянофилы, как показал Белинский, были бессильны сделать что-либо положительное в этом отношении, ибо не умели и не хотели видеть в прошлом и настоящем России элементы будущего.

В области эстетики, ратуя на словах за народность, славянофилы на деле выступали пропагандистами искусства, проникнутого религиозным духом, служащего интересам самодержавия и православия. Их собственные литературные изделия представляли барскую подделку под русскую народность.

Глубокое освещение подлинных тенденций развития России и русской культуры, последовательную критику «русского европеизма», то есть слепого низкопоклонства перед иностранщиной, неразрывную с критикой реакционного национализма славянофилов и пропагандируемой ими национальной исключительности, сумели дать только Белинский и Герцен.

Славянофилы называли своих противников, участников освободительного движения, «западниками», «евро-

[1] А. С. Хомяков, Соч., т. I, стр. 86.

пейцами». Чернышевский указывал, что это прозвище было дано «в насмешку»[1]. Белинский сам себя никогда так не называл. Герцен пишет эти слова, когда речь идет о нем и о Белинском, почти всегда курсивом, подчеркивая тем самым условность этого наименования (курсив у Герцена заменяет кавычки), а иногда прямо оговаривая: «*европейцы,* как называли их славянофилы...» (7, 234).

В буквальном же смысле слова термин «западники» Герцен относил только к «западным доктринерам» — «немцам из русских — умным, образованным, но не русским» (14, 158), то есть к либералам-космополитам, чуждым и враждебным интересам и потребностям русского народа. Обозначение «западники» вполне подходило к таким «идолопоклонникам» буржуазной Европы (X, 160), как Боткин, Кетчер, Корш, Кавелин, который в позднейших своих работах, рассказывая об идейной жизни 40-х годов, употребляет это наименование без всяких оговорок и кавычек. Это и не удивительно — оно ему было как раз впору. Белинского же он тем самым пытался принизить до себя. В таком ложном расширительном истолковании термин «западники» и был усвоен либерально-буржуазной наукой.

Демагогически называя передовых русских людей «западниками» и столь же демагогически критикуя западноевропейскую буржуазную культуру, прикидываясь защитниками народа, славянофилы на деле терпимо и даже апологетически относились к буржуазной эксплуатации. Такое отношение Хомякова к английской буржуазии и ее господству Белинский разоблачил в обзоре русской литературы за 1844 год[2]. В этом-то и смыкались славянофилы и западники-космополиты, и именно поэтому они впоследствии так легко договорились между собой при проведении «сверху» крестьянской реформы 1861 года.

Со славянофилами Белинский боролся как с проповедниками покорности самодержавию, крепостничеству и православию. Эту борьбу он вел гораздо более последовательно и непримиримо, чем кто-либо из его современников, даже более последовательно, чем Герцен, не говоря уже о Грановском. Белинскому славянофилы были не-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 86.
[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 461 и след.

нависты прежде всего как добровольные защитники и пособники царизма, оказывающие в той или иной степени растлевающее влияние на общество и пытавшиеся привлечь к себе молодежь, студенчество.

С беспощадной последовательностью вскрывая идейную несостоятельность славянофильских теорий, Белинский тем самым разоблачал самодержавие и крепостничество. Лучше, чем кто-либо другой, он понял, какие огромные возможности для обличения самодержавия и крепостничества открывает борьба со славянофилами.

Не являясь официально признанными, эти теории могли быть подвергнуты критике в печати. Поэтому-то так много полемизировал со славянофилами Белинский, разоблачая, например, их лицемерный призыв к смирению, которое царские чиновники вколачивали плетьми и шпицрутенами.

За ловкой игрой диалектическими категориями и софизмами Хомякова, за громкими, но бессодержательными фразами К. Аксакова, за их религиозным велеречием и риторической поэзией скрывалась, как это показывал Белинский, внешне облагороженная, окультуренная, но тем более вредная, глубоко реакционная пропаганда.

В теории славянофилы мечтали о некоем идеальном и патриархальном самодержавии, которое правило бы, опираясь на «любовь» народа, на общину, на какой-то туманно вырисовывавшийся в представлении самих славянофилов совещательный выборный орган. А на деле, пропагандируя религию, смирение и покорность перед господствовавшим в стране политическим гнетом, славянофилы играли на руку не какому-то идеальному, а реально существовавшему тогда самодержавно-крепостническому строю. Белинский рассматривал славянофильство именно и исключительно с точки зрения неумолимой политической логики, которая заставляла славянофилов в идейной борьбе 40-х годов оказаться на стороне крепостников и самодержавия.

Поэтому Белинский называл славянофилов «витязями прошедшего и обожателями настоящего»[1]. Сам Белинский пламенно верил в будущее России. Вот почему, признавая отдельные относительно положительные черты

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 351.

воззрений славянофилов, он вместе с тем беспощадно разоблачал это течение, как пособничество самодержавию и православной церкви.

Герцен, так же как и Белинский, считал исторической заслугой славянофилов постановку ими вопроса о национальном своеобразии русского народа и его истории. Но, в отличие от Белинского, Герцен не был непримирим и до конца последователен в разоблачении реакционной сущности славянофильства.

Он был склонен отличать циничного демагога Хомякова от не столь ортодоксальных и субъективно более искренних его сторонников, которых называл «славянофилами не яростными» (2, 318).

С некоторыми славянофилами — с Константином Аксаковым, восторженным, наивным, искренним, но фанатически преданным своим реакционным убеждениям, с умным и наблюдательным, но холодным Юрием Самариным — Герцен поддерживал довольно близкие личные отношения. Некоторое время он поддавался демагогической фразеологии славянофилов, упорно стремился найти положительную сторону их воззрений и установить общий язык. Славянофилы не скупились на фразы о великом русском народе и о своем патриотизме. Славянофильские заявления о «жизненной силе» русского народа как раз и привлекали Герцена. Но на деле славянофилы в русской жизни видели не тенденции необычайно быстрого и бурного развития, а застой и косность, и идеализировали именно эти черты, создавая ложный, патриархальный, иконописный облик русского народа. Чем дальше наблюдал Герцен славянофилов, тем более приходил к выводу, что «они никаких корней не имеют в народе... они вспоминают то, что народ забывает» (2, 392). Именно Белинский и Герцен всей своей деятельностью показали, что русская передовая мысль становится все более самобытной, глубоко национальной, верной русской действительности и вместе с тем находится на уровне высших идейных достижений человечества, обогащая собою мировую культуру.

Национализму славянофилов, их грубому высокомерию по отношению к передовой культуре других народов, в особенности западноевропейских, противостояло убеждение Герцена в плодотворности такого международного сотрудничества, которое не только ни в чем не ограничи-

вает глубокое своеобразие и творческую самостоятельность каждой нации, а, наоборот, содействует их расцвету. Он призывал «постигнуть то великое единство развития рода человеческого, которое раскрывает в мнимом враге — брата, в расторжении — мир» (2, 112). Он был убежден в том, что использование исторического и идейного опыта Европы окажется глубоко плодотворным для русской мысли и что национальное своеобразие не будет утрачено в общечеловеческом, а обогатится в своем развитии.

Славянофилы осуждали петровские реформы, видя в них лишь насильственную ломку коренных национальных начал, имевшую своим результатом разрыв между государством и народом, европеизированной интеллигенцией и народными массами. Развитие русской культуры они противопоставляли духовному развитию всего остального человечества. В противовес славянофилам Герцен и Белинский видели в Петре I носителя тех исторически прогрессивных черт русского государственного строительства, которые были совершенно утрачены самодержавием эпохи Николая I. «Лицо его велико в этом веке, и мысль его велика, она еще не совсем исполнилась, но, вероятно, будет и ей осуществление» (2, 300),— писал Герцен о Петре I в своем дневнике. При этом, однако, он указывал на варварские, насильственные, бюрократические методы, которыми проводились петровские реформы, породившие «страшный, высший деспотизм и инквизиционно-канцелярское управление» (2, 338). Герцен саркастически писал о «громких улучшениях... которые вносятся на конце штыка или привязанные к кнуту» (2, 341). Он видел отрицательные черты петровских реформ и в насаждении ими «духа подражания европейцам» (2, 267).

Белинский неоднократно упрекал Герцена за его слишком снисходительное, недостаточно принципиальное отношение к славянофилам. Статьи самого Белинского проводили последовательную линию в этом вопросе и вызывали бешенство противников. И все-таки Герцен очень медленно приходил к выводу о необходимости разорвать с славянофилами. «Нельзя... порвать так холодно связи многих лет. Дружба должна быть снисходительна и пристрастна, она должна любить лицо, а не идею» (2, 373),— записывал Герцен в свой дневник еще в августе 1844 года. Герцен порой даже противопоставлял «свет-

лую гуманность» своих выступлений «исключительным взглядам» Белинского (III, 394).

Герцену было тяжко сознавать, что на стороне правительства оказались некоторые представители дворянской интеллигенции, еще недавно не отделявшие себя от таких прогрессивных деятелей, как Станкевич, Грановский и сам Герцен. «Отвратительная тягость нашей эпохи тем ужаснее,— писал Герцен в своем дневнике в 1842 году,— что людям мыслящим приходится бороться не с одними людьми силы и власти, а еще с долею литераторов» (2, 240). Герцен еще не отдавал себе отчета в том, что именно острота надвигавшегося социально-политического кризиса обусловливала и дифференциацию интеллигенции.

Но после того, как поэт Языков, принадлежавший к славянофилам, выступил с полемическими стихами, заключавшими в себе по сути политический донос на Герцена и его друзей, последний должен был изменить свою точку зрения. Чаша переполнилась. «Наши личные отношения,— говорит Герцен в своем дневнике в декабре того же 1844 года,— много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена!» (2, 397). Герцен ставит здесь в пример Робеспьера, по распоряжению которого был арестован и затем казнен его школьный товарищ и друг, сторонник Дантона, Камилл Демулен. Сам Герцен на опыте идейной борьбы учился революционно-демократической последовательности в духе Белинского, которого он сопоставлял с Робеспьером. Герцен понял, что Белинский был прав.

Теперь Герцен уже отдает себе отчет в том, что если бы политическая власть оказалась в руках славянофилов, то ему и его друзьям пришлось бы жестоко поплатиться за свои убеждения. Он записывает в дневнике в ноябре 1844 года, имея в виду славянофилов: «...если б материальная власть была их, то нам бы пришлось жариться где-нибудь на лобном месте» (2, 390).

В письме к Кетчеру от 10 октября 1844 года Герцен заявляет: «Я веду открытую войну с славянофильством» (III, 415). Это заявление подтвердил такой фельетон Герцена, как «Москвитянин» и вселенная» (он сам назы-

вал его «диатрибой»), появившийся в мартовском номере «Отечественных записок» за 1845 год, где в шутливо-иронической форме была проведена очень важная мысль о том, что идейные позиции И. В. Киреевского, ставшего в это время во главе «Москвитянина», ничем существенным от взглядов таких откровенных реакционеров, как Погодин и Шевырев, не отличаются. Эта точка зрения была поддержана В. Г. Белинским.

Герцен порывает и личные отношения со славянофилами.

Герцен и Белинский в своей полемике против славянофилов исходили из истинно патриотических, передовых представлений о русском народе. Это не тот смиренный, неподвижный, оглядывающийся назад народ, ложный образ которого рисовали славянофилы. Это подлинный русский народ, в жизни которого, несмотря на страшный, давящий на него гнет, чувствуется смутное, но мощное брожение, обещающее прорваться наружу и дающее, по выражению Герцена, «право делать высокие заключения о будущем призвании» (2, 338). Ощущение великого исторического призвания русского народа в высшей степени было свойственно Герцену, как и Белинскому.

В 1849 году Герцен писал, что его любовь к России и вера в нее «не животное чувство привычки; это не тот природный инстинкт, который превратили в добродетель патриотизма; я люблю Россию потому, что я ее знаю сознательно, разумно» (6, 221). Вера Герцена покоилась на ощущении роста русского народа, на проницательном понимании и обобщении наблюдаемых им процессов русской жизни. Он исходил из фактов исторического прошлого России, а еще больше — из собственных наблюдений, приводивших к выводу о силе, ясности, трезвости русского народного ума. Когда Герцен летом 1844 года жил в подмосковном Покровском, он записал в свой дневник: «Я смотрю здесь беспрерывно на низший класс, в всегдашнем соприкосновении с нами... Ум блестит в глазах, вообще на десять мужиков, наверное, восемь неглупы и пять положительно умны, сметливы и знающие люди...» (2, 363). По словам Герцена, в России «при самом безжалостном, свирепом деспотизме, при управлении не национальном, бездушном, инквизиционном, с каждым десятилетием виден шаг вперед» (2, 335).

В 1847 году Белинский, ссылаясь на официальные от-

четы, указывал, «как быстро распространяется в России грамотность между простым народом», и подчеркивал при этом, что «быстрые успехи в деле распространения грамотности в простом народе основаны именно на глубокой потребности, какую чувствует народ в грамотности, и на сильном стремлении, какое он оказывает к учению»[1].

Характерно также признание, сделанное III Отделением в отчете за 1839 год: «Простой народ ныне не тот, что был, за 25 лет пред сим. Подьячие, тысячи мелких чиновников, купечество и выслуживающиеся кантонисты, имеющие один общий интерес с народом, привили ему много новых идей и раздули в сердце искру, которая может когда-нибудь вспыхнуть»[2].

Прошлое и настоящее родины внушало Герцену, как он говорит в своем дневнике, «упование в горести, твердую надежду в, по-видимому, безвыходном положении» (2, 339). Герцен к 1844 году уже ставил перед собою вопрос о роли исторической активности народных масс. Несколько раньше он отмечал, что такие просветители XVIII века, как Гольбах, «держались вдали от масс», и противопоставлял им Руссо (2, 302). Герцен приходит к выводу, что «история (история России, славянства.— *Я. Э.*) не вовлекала всех сил народа в свою ткань, она оставляла его почвой — и не более» (2, 338). Ему рисуется такая демократизация общественного строя, которая дала бы возможность народу активно проявить свои силы.

Раздумье о будущем русского народа тесно связывалось у Герцена с размышлениями о будущем славянства. Эти размышления были в особенности возбуждены в 1844 году книгой Мицкевича, содержавшей его лекции, прочитанные в Париже[3].

Глубоко заинтересовался Герцен этими лекциями, посвятив им ряд дневниковых записей. Он восхищался творениями великого польского поэта, их высокой поэтичностью, свойственным им «духом отрицания», направлен-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 70.

[2] «Крестьянское движение 1827—1869 гг.», вып. I, Соцэкгиз, 1931, стр. 31.

[3] Об отношении Герцена к Мицкевичу см. Б. Ф. Стахеев, Мицкевич и прогрессивная русская общественность, Госкультпросветиздат, 1955, стр. 45 и след.

ным против царского деспотизма. Вера в великое будущее славянства, призыв к единению славянских народов затрагивали самые сокровенные надежды Герцена: «Эта прекрасная сторона верования в будущее всего прекраснее у поляка,— у поляков, бежавших от ужасов и казней и носящих с собою свою родину» (2, 333). В лекциях этих он увидел «много прекрасного, много пророческого» (2, 342) и почерпнул немало ценного для понимания славянских литератур и фольклора.

Но вместе с тем Герцен указывал на «католическое воззрение» (2, 264), проявляющееся в произведениях Мицкевича. Он решительно критиковал Мицкевича за реакционно-романтическое обращение к прошлому Польши, идеализацию этого прошлого, за религиозно-пессимистические настроения, сказавшиеся в лекциях, а также за недооценку прогрессивных элементов русской истории и культуры.

Герцен в своем дневнике со всей определенностью ставил вопрос о политической ответственности передовых русских людей за судьбу угнетаемой царизмом Польши и указывал на «примирение», то есть на тесную связь и дружбу свободной России и свободной Польши (2, 412) как на одну из важнейших задач, стоящих перед русскими революционерами. Но, мечтая о том, чтобы русские и другие славянские народы вступили на путь революционной борьбы, Герцен решительно возражал против попыток идеализации политической роли этих народов в те годы. Поэтому он тут же отмечал с горечью: «Славяне везде рабы, везде холопы — смирные, пассивные холопы» (2, 334). Поэтому он и говорит так резко о слабых сторонах воззрений Мицкевича: «Грустно видеть, на чем он основывает надежду Польши и славянского мира. В его надежде, если ее принять за надежду всех поляков, полный приговор Польше. Нет, не католицизм спасет славянский мир и воззовет его к жизни» (2; 342—343).

В отношении таких реакционно-романтических упований Герцен даже сопоставлял Мицкевича со славянофилами, указывая вместе с тем на важное, коренное отличие между ними, на то, что славянофилы постоянно опирались на самодержавие и православие.

Герцену представлялись малоубедительными славянофильские ссылки на общинное устройство как на залог великого будущего России и некоторых других славян-

ских стран. Он указывал, что расцвет общины относится к «периоду величайшей незрелости» (2, 334). В конце же 40-х годов Герцен, под влиянием разочарования в перспективах революции в Западной Европе, коренным образом пересмотрит свое отношение к общине и именно в ней увидит элемент будущего. Однако при таком резком различии между взглядом, который Герцен развивал в 1844 году, и его позднейшими народническими воззрениями, сложившимися в самом конце 40-х годов, есть одна крайне существенная черта, которая их все же связывает. В воззрениях московских славянофилов Герцен отмечал основной порок: «Они не имеют геройства последовательности, они все же хотят отыскать отгадки в прошедшем» (2, 334). Герцен же искал этой отгадки в тех тенденциях развития славянских народов, которые вели к будущему. Славянофилы мечтали о союзе между помещиком и патриархальной крестьянской общиной под главенством первого. Герцен же, даже проповедуя народнические взгляды, смотрел в будущее и считал необходимым коренное демократическое переустройство общины, освобожденной от власти помещика.

В то время как Герцен боролся за национальную свободу всех славянских народов, славянофилы, утверждающие, что они являются защитниками последних, на деле проповедовали «подчинение всех славян могуществу и влиянию российского орла» — так оценивал их роль Герцен в 60-х годах, оглядываясь в прошлое. Герцен же мечтал о том, чтобы стремления и борьба передовых людей России и Польши слились в один поток. Так зарождались выкристаллизовавшиеся впоследствии идеи Герцена о будущем братском союзе славянских народов.

Все чаще и все с большей остротой ставит перед собою Герцен вопрос о взаимоотношениях передовых людей и народных масс. Порою он приходит к крайне пессимистическим выводам: «Наше состояние безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей и наше дело — отчаянное страдание. Страдание бессимпатичное, не оценяемое и, конечно, полезное для будущего, но нам не дающее никакого личного вознаграждения» (2, 278).

Вместе с тем Герцен все внимательнее начинает прислушиваться к доносящимся до него отзвукам крестьян-

ского движения, крестьянских бунтов. Он отмечает в дневнике волнения «кабальных рабочих» — крепостных крестьян на Лепешкинской фабрике под Москвой (2, 380), отчаянную смелость молодого крестьянина, пошедшего навстречу собственной гибели для того, чтобы расправиться с помещиком-злодеем (III, 443). «В Тамбовской губернии,— записывает Герцен в апреле 1844 года,— было возмущение крестьян одной волости... Крестьяне жаловались, что с них берут лишние поборы... они втиши наделали кистеней, пик и отказались от платежа. Явилась земская полиция... Они их прогнали. Привели роту солдат: солдаты не хотели стрелять,— чуть ли не первый случай после Петра. Разумеется, наконец их усмирили и, вероятно, часть перебита... Все мужики этой волости молокане; перед ними шла девушка, певшая псалмы. И так из раскольничьих скитов вырываются такие звуки среди общей немоты крестьян» (2, 349). Эта «общая немота» и объясняет нам, почему Герцен «не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах» [1].

Но в 40-х годах Герцен все чаще имел возможность наблюдать явления, свидетельствовавшие о расширении круга передовой интеллигенции за счет людей, подымавшихся из демократических низов. По своему социальному составу русское студенчество 40-х годов было уже значительно более демократическим, чем студенчество начала 30-х, к которому в свое время принадлежал Герцен. Передовые идеи захватывали и учащихся духовных учебных заведений, где училось много детей низшего, в том числе и сельского духовенства, очень близко стоявшего к народу и знавшего его кровные нужды. Из семинарий начинали выходить не только будущие духовные и светские чиновники царизма, но и такие революционеры, как Чернышевский и Добролюбов.

Однако в эти годы Герцен был еще далек от вывода, что формируется новое революционное поколение, идущее на смену поколению дворянских революционеров, более близкое к народным массам. Он еще возлагал свои надежды на интеллигенцию, принадлежащую к среднему дворянству, так как с этим слоем было связано литературное движение тех лет. Герцен, особенно в Петербурге,

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.

сталкивался и с разночинной интеллигенцией. Но он не мог себе представить, каким образом эта интеллигенция, состоявшая главным образом из мелких чиновников, задавленная бедностью, отупляющей работой и не имеющая свободного времени для занятий и творчества, сумеет стать духовным вождем страны. Он еще не понимал, в какой мере трудная и жестокая жизненная школа, которую это новое поколение проходило, закаляла молодых разночинцев. Непримиримость и последовательность Белинского он рассматривал тогда лишь как индивидуальную особенность великого критика. Только последующий жизненный и политический опыт привел Герцена к пониманию исторической роли этого нового поколения.

Глубокая и острая постановка ряда важнейших вопросов развития России, стремление опереться на народные массы страны и крепкая вера в их потенциальные силы, подлинный патриотизм, закалившийся в борьбе со славянофилами, наконец сочувственный отклик ширящейся аудитории — все это создало ту почву, на которой разнообразно и богато развивалось творчество Герцена.

6. Дневник Герцена 1842—1844 годов

Дневник 1842—1844 годов занимает важное место в литературном наследии Герцена, являясь замечательным документом его духовного развития.

Раздумья Герцена, его стремления и мечты, теоретические искания и личные переживания, наблюдения и встречи — все это отразилось в дневнике, начатом в Новгороде и продолженном в Москве.

В дневнике зрели замыслы и подготовлялись будущие работы. В нем Герцен набрасывал характеристики замечательных современников, впоследствии положенные в основу соответствующих портретов «Былого и дум». Он записывал мысли, которые затем получали развитие и обоснование в философских статьях, бросал вскользь иронические и сатирические замечания, которые позднее были отточены и расцвечены в фельетонах и публицистических очерках. Дневник поражает идейной насыщенностью, меткостью наблюдений.

Мы видим воочию, каким богатым был духовный рост Герцена в 40-х годах, с какой энергией и смелостью он

наедине с собою ставил все основные вопросы общественной жизни и философии, насколько плодотворным явилось неустанное обращение его к историческому и теоретическому опыту человечества.

Дневник знакомит со всем обширным кругом интересов Герцена. Герцен был в курсе всех последних достижений как русской, так и западноевропейской науки (в области истории, философии, эстетики, естествознания), литературы и публицистики.

В центре дневника — вопросы о судьбах России, о самодержавно-крепостническом гнете и путях борьбы с ним, о взаимоотношении народа и передовых людей, о русском обществе.

Дневник позволяет уяснить, каким сложным было в мировоззрении Герцена сплетение революционно-просветительских и утопически-социалистических идей.

Ему, борцу против самодержавия и крепостничества в России, были идейно близки традиции просветительства[1] и якобинства, их критики феодализма, абсолютизма, религии и церкви, неотрывные от революционного наследия декабризма. В революции 1789 года он видел «действие со стороны масс» (2, 295). При этом Герцен отмечал особую роль демократических идей плебея Руссо в умственном движении XVIII века, хотя ясно видел ошибочность обращения автора «Общественного договора» к патриархальному прошлому.

С другой стороны, Герцен разделял глубокое разочарование западноевропейских утопических социалистов, вызванное утверждением господства буржуазии в Западной Европе, и видел исторически обусловленную ограниченность просветительства; ряд записей в дневнике посвящен критике основ собственнического строя Западной Европы, буржуазной эксплуатации как «сифилитического шанкра, заражающего кровь и кость общества» (2, 360).

Высоко ценя «величайшие пророчества» утопических социалистов, Герцен вместе с тем отмечает отвлеченность и надуманность представлений Фурье и сен-симонистов о путях к социалистическому будущему. У Фурье, напри-

---

[1] Вопрос об отношении Герцена к идеологии эпохи Просвещения рассматривается в диссертации И. Г. Птушкиной «Литература немецкого просвещения в оценке А. И. Герцена» (МГУ, 1954).

мер, он увидел «убийственную прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании» (2, 345). Герцен пытается в самой действительности, в историческом развитии общества найти элементы и тенденции, ведущие вперед, хотя и остается на почве идеализма.

Во всех этих суждениях и оценках живо чувствуется творческая самостоятельность русского мыслителя, его стремление выработать революционную теорию, найти ответы на вопросы, поставленные русской жизнью, тщательно взвесить политические и социальные уроки Западной Европы и Америки.

Заслуживает внимания историческая концепция, отразившаяся в «Дневнике» и получившая затем более подробное обоснование в «Письмах об изучении природы» и «С того берега». Герцен считает, что буржуазное общество, в частности в том виде, как оно осуществилось в Соединенных Штатах, имеет много общего с феодальным строем; «...царство среднего сословия было все же продолжение феодального социализма, которого высшее развитие в Америке...» (2, 287). Слово «социализм» в данном случае у Герцена, по-видимому, означает социальный строй общества. Здесь сказалось и влияние Фурье, писавшего о буржуазном обществе как об «индустриальном феодализме».

Вместе с тем Герцен стремился уяснить себе исторические закономерности общественного развития. Он подходит к этому вопросу с позиций диалектики, отмечая, в частности, «революционность» абсолютизма по сравнению с феодальной раздробленностью, но уделяет внимание почти исключительно политическим, а не экономическим факторам.

Все разнообразные струи дневника как бы слиты в один поток страстным, энергичным, а порою и скорбным раздумьем Герцена о судьбах родной страны и своем участии в них. Дневник отражает искания зрелого человека и писателя, не нашедшего, однако, полностью удовлетворяющей его деятельности.

Герцен прекрасно отдавал себе отчет в том, как затруднена под гнетом николаевского порядка всякая деятельность, направленная к прогрессивным целям. Он не раз отмечал в дневнике огромное значение лекций Грановского, понимал, какой переворот в умах производят

статьи Белинского, видел успех собственных статей («Дилетантизм в науке») у молодежи. И тем не менее, Герцен был глубочайшим образом неудовлетворен. В декабре 1843 года, отмечая успех Грановского, впервые в России выступившего с публичными общедоступными лекциями, Герцен записывает в дневнике: «Можно было бы радоваться и мечтать, если б можно было забыть, что в то же время розгами засекают до полусмерти юношей. А такое воспоминание представляет такими жалкими, такими ничтожными все наши усилия, дела» (2, 318).

Герцен болезненно переживал необходимость обращаться с теми или иными просьбами, например о разрешении жить в столицах, к сановникам и жандармам Николая I. Он вызывал в памяти исторические примеры людей, шедших на «хитрые уступки» власть имущим врагам ради спасения родной страны. Но Герцен спрашивал себя, прав ли он, «спасая себя» (2, 206). Разрешить этот вопрос могло только будущее. Ибо если его политическим и литературным замыслам суждено было осуществиться, тогда будущее доказало бы, что он «спасал себя» для большого патриотического и революционного дела.

А Герцен чувствовал, что «страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы», над передовыми людьми. И он понимал, что, когда эта туча разразится, «удар не минует» его головы (2; 328, 329).

Достичь же безопасности ценой отказа от политической, идейной активности представлялось Герцену презренным.

Мы знаем, что он стремился покинуть родину для того, чтоб найти за рубежом трибуну. Но он еще не видел практического пути к осуществлению этих планов.

«Горе людям,— писал Герцен,— пользующимся властью, чтобы еще более втаптывать в грязь народ». В своем гневе и протесте против самодержавно-помещичьего строя он сознавал себя представителем истинных интересов народа. Вместе с тем он с болью видел, что сами народные массы до такой ненависти не доросли, «не имеют этой последовательности ненависти к истинно враждебному стану» (2, 286). Он доходил даже до утверждения, что передовые люди находятся «вне народных потребностей», ибо народ политически пассивен. Однако чем дальше, тем все громче звучит в дневнике вера в будущую историческую активность народных масс,

в грядущее их сближение с передовыми людьми. «Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего»,— записывает он в своем дневнике (2, 339). Как ни сильна, однако, была эта вера у Герцена, настоящее каждодневно оскорбляло чувство гордости патриота и революционера. Герцену было горько сознавать, что царизм сделал Россию в глазах Западной Европы «представительницей всего ретроградного» (2, 413).

Жгучее возмущение вызывали в нем подлые, пресмыкательские разглагольствования реакционных журналистов, их «неуважение к национальному перу» (2, 340). И тем горше было сознавать всю невозможность открыто заклеймить этих прислужников царизма.

В 1843—1844 годах Герцен написал ряд блестящих по остроумию фельетонов, направленных против славянофильского «Москвитянина» и вообще против реакционной журналистики, в особенности против Булгарина и Греча («Москвитянин» о Копернике», «Ум — хорошо, а два — лучше», «Москвитянин» и вселенная» и др.). Остроумие и шутка прикрывали в этих фельетонах резкость разоблачений, продолжавших традицию пушкинских памфлетов, появлявшихся за подписью Феофилакта Косичкина. Явно намекая на связь реакционного журналиста Греча с тайной полицией, Герцен заявляет, что «Греч, по прекрасному выражению «Москвитянина», рассматривает Европу в полицейском отношении». Шутливо говорит Герцен о том, что Греч и его сподвижники «не любят... современную науку, и не токмо не любят, но и не знают ее, — да и зачем же знать то, чего не любишь... они развили в себе высшие взгляды, перед которыми интересы науки — ребячество» (2; 117—118). Но когда мы фельетонные выпады Герцена сравниваем с его записями о Грече в дневнике, то становится ясным, какое неизгладимое клеймо поставил бы Герцен на «медном лбу» этого «раба, потерявшего всякое уважение к человеческому достоинству», с его «холопским взглядом», «подлой речью» и «поражающими цинизмом» писаниями (2, 340), оскорбляющими национальное достоинство, если бы имел возможность заговорить в печати полным голосом. А ведь даже не все эти фельетоны смогли в 40-х годах появиться в печати.

Невозможность открыто бороться выводила Герцена из себя, вызывала у него острое недовольство собою, а с

другой стороны — стремление забыться. Все это, естественно, отзывалось и в личной жизни. В дневнике Герцен, смело и откровенно касаясь отношений с Натальей Александровной, говорит об осложнениях в своей личной жизни. Герцен сознавал, что при пылкости и импульсивности своего характера, при неудовлетворенности настоящим он порой растрачивал силы и чувства.

«Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования,— записывает Герцен в свой дневник,— а между тем наши страдания — почка, из которой разовьется их счастие. Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем всяких наслаждений, пьем вино...» (2, 226—227). В этом покаянии, несомненно, много преувеличено. Лентяем Герцен не был никогда. Тем, что Герцен создал, он был обязан не только богатству своих дарований, но и неутомимому труду.

Но мучительная тяжесть существования под гнетом самодержавия, сознание невозможности открытой политической борьбы, к которой Герцен стремился всем своим существом, нередко вызывали у него, несмотря на большие успехи, уже достигнутые им в литературе и философии, приступы отчаяния, глубочайшего пессимизма, наложившие свой отпечаток на ряд страниц дневника. В одну из таких минут Герцен присоединился к полным горечи словам прорицательницы Кассандры из стихотворения Шиллера о том, что «заблуждение — это жизнь» (26 мая 1843 г.).

Однако, по существу, Герцен выступает здесь как критик либеральных и идеалистических заблуждений, свойственных многим из близко стоявших к нему людей; они тешились иллюзиями и жили ими, сам же Герцен предпочитал прямо смотреть в лицо смертельной опасности, нести «крест трезвого знания», как сказано в «Дилетантизме в науке».

Герцен отнюдь не замыкался в своем «Дневнике», ища в нем отдушину для горьких переживаний. «Дневник» является и своеобразной панорамой общественной и идейной жизни: дифференциация дворянской интеллигенции, различные типы и течения ее, подъем оппозиционных настроений, еще очень робкие признаки демократизации культурной жизни, такие события, как публичные лекции Грановского, различные черты социальной и

индивидуальной психологии, а также и многое другое нашло здесь глубокое освещение. Отразилась в дневнике и личная жизнь Герцена, то «частное», которое служило ему вместе с тем материалом для «общих» размышлений о морали и этике современного ему общества.

7. «Кто виноват?»

В середине 40-х годов Герцен завоевал широкую известность как выдающийся художник[1].

Роман Герцена «Кто виноват?» по праву занял в русской литературе 40-х годов одно из первых мест.

В художественных произведениях Герцена воплощались его философские искания, политические стремления, противоречия духовной жизни. К этим произведениям полностью могут быть отнесены слова М. И. Калинина: «Художественная литература первой половины XIX века значительно двинула вперед развитие политической мысли русского общества, познание своего народа»[2]. На них лежит живой отпечаток личности автора, делящегося с читателем собственным жизненным, политическим, теоретическим опытом.

Белинский, так же как и Грановский, остроумно и верно сопоставлял Герцена-художника с Вольтером, автором «Кандида» и других философских повестей. Герцену важнее высказать и проиллюстрировать ту или иную мысль, чем дать законченный художественный образ того или иного персонажа или проследить его судьбу. В беллетристике Герцена Белинский и Грановский живо почувствовали поэзию мысли.

---

[1] Художественным произведениям Герцена 30—40-х годов посвящен целый ряд вышедших за последние годы работ; обзор их см. в статье В. А. Путинцева («Вопросы литературы», 1962, № 4). Отмечу, в частности, книгу Г. Гая «Роман и повесть А. И. Герцена 30—40-х годов», Киев, 1959, статьи Л. Плоткина «Герцен-беллетрист» в его сб. «Литературные очерки и статьи» («Советский писатель», 1958) и Е. Дрыжаковой «Проблема «русского деятеля» в творчестве Герцена 40-х годов» («Русская литература», 1962, № 4). См. также статью А. Б. Шапиро о синтаксическом строе произведений Герцена в «Материалах и исследованиях по истории русского литературного языка», т. V, изд. АН СССР, 1962.

[2] М. И. Калинин, О моральном облике нашего народа, Госполитиздат, 1945, стр. 4.

Очень глубоко и тонко замечание Белинского в статье «Русская литература в 1845 году»: «Автор повести «Кто виноват?» как-то чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, плоды своей наблюдательности — в действие, исполненное драматического движения» [1].

Свое обаяние роман Герцена сохранил до наших дней. Читая его, как бы знакомишься с автором, человеком удивительно богатого, глубокого и блестящего ума. Герцен не покидает авансцену повествования, все время как бы представляет читателю действующих лиц, описывая и характеризуя их, оценивая их духовную жизнь.

Ум Герцена выступает здесь во всем своеобразии — «ум, оживленный и согретый, так сказать, *осердеченный* гуманистическим направлением»,— как выразился Белинский [2] в письме к Герцену. Прав был молодой, но быстро выдвигавшийся во второй половине 40-х годов критик Валериан Майков, сказавший по поводу «Кто виноват?», что Герцен «так энергически прочувствовал истину, что для него жизнь и наука составляют совершенное тождество, наука осмысливает для него жизнь, жизнь в свою очередь сообщает плоть и кровь его науке» [3]. Однако Майков недооценивал художественное дарование Герцена.

Белинский определил «задушевную мысль Искандера» в его романе, как «мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя» [4].

Кто виноват в таком искажении достоинства человека, в калечении его жизни и судьбы? Гнет самодержавия и крепостничества,— отвечает своим романом Герцен; разумеется, не прямо, а сопоставлениями, намеками, шуткой, биографиями своих персонажей.

В ироническую форму Герцен вкладывает серьезное содержание. Таков рассказ о Любоньке, дочери помещика отставного генерала Негрова и его крепостной. Любонька

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, стр. 396.

[2] Там же, т. XII, стр. 271.

[3] Валериан Майков, Критические опыты, СПб. 1891, стр. 280.

[4] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 319—320.

сначала росла в доме отца, как барское дитя. Но после женитьбы отца, еще в младенческом возрасте, Любонька была «разжалована» в дворовые. Некоторое время спустя она, однако, по капризной барской милости, вновь была «произведена в барышни» (4, 26) и возвращена из людской в бельэтаж. Герцен, пользуясь терминами военного чинопроизводства — «разжалована», «произведена»,— как будто шутливо рассказывает о судьбе Любоньки, на самом же деле шутливая форма эта дает резкий саркастический штрих для характеристики помещичьего произвола, жертвой которого была воспитанница Негрова.

Положение крестьян у помещика Негрова определено Герценом лаконично, но многозначительно в словах: «О крестьянах не знаю,— они молчали» (4, 16). Помещик Карп Кондратьевич в его отношениях с «непокорными крамольниками», то есть крестьянами, нарисован «полководцем», который наносил «врагу наибольшее число ударов» (4, 135). Упоминание в этой связи о конюшне, где обычно в имениях помещиков производилась порка крестьян, содержало достаточно ясный намек.

Искандер такими красками рисовал в своем романе крепостников, что журналист и шпион Булгарин доносил по начальству: «Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой — образцы добродетели» [1].

Описывая быт департаментской канцелярии, в которой протекала столь быстро прервавшаяся чиновничья деятельность юного Бельтова, Герцен рисует портрет его «почтеннейшего сослуживца», многоопытнейшего столоначальника Осипа Евсеича. И здесь шутливость тона опять-таки лишь оттеняет сущность этой характеристики, подчеркивающей бездушие царской бюрократии. Осип Евсеич «отроду не переходил мысленно от делопроизводства на бумаге к действительному существованию обстоятельств и лиц», он «оканчивал дело у себя как удобнее было: справкой в Красноярске, которая не могла ближе двух лет возвратиться... он до того был беспристрастен, что вовсе не думал, например, что могут быть лица, которые пойдут по миру прежде, нежели воротится справка из Красноярска» (4, 100).

---

[1] Цит. по комментарию М. К. Лемке к т. IV, Полн. собр. соч. А. И. Герцена, стр. 459.

Судьба Круциферского, который, окончив университет, не получил возможности ни заняться научной деятельностью, ни существовать частными уроками, ярко характеризует то униженное, жалкое положение, в котором под гнетом самодержавно-крепостнического строя жила разночинная интеллигенция, очень часто не находившая применения своему труду.

Произвол власть имущих, раболепное чинопочитание, холопство и пресмыкательство — таковы черты обрисованного Герценом чиновничьего и помещичьего быта. Но Герцен не удовлетворяется изображением этого быта в его косности и неподвижности. У него иная цель. Даже в погрязших в этой бытовой тине людях Герцена интересовали те стороны их характеров, которые свидетельствовали о том, что в них «жизнь задавила... не одну возможность» — так Герцен говорит даже о Негрове.

Герцен всматривается в задавленные, приглушенные, неразвитые возможности человека. Больше всего его привлекают образы людей, выделяющихся в той или иной мере, благодаря присущей им силе или даровитости, на фоне окружающего их серого и грязного быта. Такова прежде всего Любовь Круциферская, эта, по определению Горького, «первая женщина в русской литературе, поступающая как человек сильный и самостоятельный»[1]. Едва ли приходится сомневаться в том, что в этом образе отразились некоторые черты как жизни, так и характера Натальи Александровны. Можно, например, провести параллель между той обстановкой, в которой Любонька жила у Негровых, и той, в которую Наталья Александровна была поставлена в доме княгини Хованской. Когда Герцен говорит о том, что «бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развития,— совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста» (4, 46),— мы невольно вспоминаем характеристику Натальи Александровны, данную впоследствии в «Былом и думах». Еще более усиливается сходство, когда Герцен останавливается на особенностях духовной жизни Любоньки. «С двенадцати лет эта головка, покрытая темными куд-

[1] М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, М. 1939, стр. 168.

рями, стала работать; круг вопросов, возбужденных в ней, был не велик, совершенно личен, тем более она могла сосредоточиваться на них... она думала и мечтала, мечтала для того, чтоб облегчить свою душу, и думала для того, чтоб понять свои мечты. Так прошло пять лет... Задумчивая, скрытно пламенная, Любонька в эти пять лет стала чувствовать и понимать такие вещи, о которых добрые люди часто не догадываются до гробовой доски» (4, 47). Так складывался характер женщины замечательной и редкой душевной силы.

Герцен пользуется записями Любоньки в дневнике, чтобы высказать свои собственные мысли о высоких духовных качествах и уме русского крестьянина. «Не могу никак понять,— записывает Любонька,— отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, а ведь те учились и все помещики, чиновники, а такие все противные...» (4, 49).

Герцен не ограничивается в «Кто виноват?» картиной общественных порядков в царской России, уродующих людей и ломающих их судьбы. Он указывает в романе и на тот единственный, с его точки зрения, путь, идя по которому передовой человек может найти выход. Это путь богатой идейной жизни, общественной активности, практического приложения сил, направленных к изменению действительности. Одну из причин семейной драмы Круциферских Герцен видел в замкнутости их личной жизни, чуждой широкому кругу идейных интересов. Этот мотив перекликался с выводами, содержащимися в статье «По поводу одной драмы». В «Кто виноват?», так же как и в своих философских работах, Герцен последовательно пропагандирует мысль о «гражданской деятельности», то есть о политической деятельности как задаче передового человека: «Ничто в мире не заманчиво так для пламенной натуры, как участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории; кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей; тот, чем бы ни занимался, во всем будет гостем... он внесет гражданский спор в искусство, он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоет, если будет музыкант».

Легко узнать в этих словах думы, тревожившие самого Герцена. Можно даже сказать, что Герцен здесь

имеет в виду больше самого себя, чем Бельтова, в душе которого «темно и отчетливо бродили эти мысли» (4, 106). Бельтов выступает в романе как тип человека благородного и даровитого, но не удовлетворяющего тем высоким требованиям, которые автор предъявляет к передовым людям. Герцен прямо говорит об этом в письме к Огареву от 3 августа 1847 года, написанном уже из Парижа: «Быть своевременным, уместным, взять именно ту сторону среды, в которой возможен труд, и сделать этот труд существенным — в этом весь характер практического человека». Этому требованию не отвечает Бельтов. С этой точки зрения, в «Кто виноват?» «цель не Бельтов», так как в нем не воплощено представление Герцена о «практическом», то есть передовом и нашедшем путь практической деятельности человеке. Но образ Бельтова — средство воспитательного «воздействия не на из рук вон сильного человека, но на прекрасного и способного человека» (V, 47).

Образ Бельтова, человека с «болезненной потребностью дела» и вместе с тем с «отсутствием всякого практического смысла», способного поэтому, в конечном счете, лишь на «многостороннее бездействие» и «деятельную лень» (4; 121, 122), должен был, по мысли Герцена, явиться предостережением для каждого «прекрасного и способного человека». Старый учитель Бельтова, встретившийся с ним после долгой разлуки, говорит ему: «достоинство жизни человеческой в борьбе» (4, 166). Но Бельтов этим достоинством явно не обладал. В письме к Огареву Герцен подчеркивал при этом, как злободневен такой пример даже для людей, принадлежащих к их собственному кругу, и в подтверждение напоминал ему «биографию всех знакомых (в частности, Бакунина и Сазонова.— *Я. Э.*) да и наши несколько» (V, 47).

Роман Герцена, как и его философские работы, как и критические статьи Белинского, звал к деятельности, основанной на верном понимании действительности. По убеждению Герцена, путь к «практической деятельности» могла открыть передовому человеку только глубокая, напряженная и независимая работа мысли.

Автор «Кто виноват?» рисует интеллектуальное развитие Бельтова. Бросаясь во все стороны, но ни в одном направлении не достигая серьезных успехов, Бельтов, перейдя от общественных наук к медицине, «очень скоро

наткнулся в новых занятиях своих на те вопросы, на которые медицина учено молчит и от разрешения которых зависит все остальное. Он остановился перед ними и хотел их взять приступом... он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов: на такие труды у него не было способности» (4, 105). Бельтов не сумел подойти к разрешению основных философских проблем, он не способен был творчески выстрадать истину, он не знал «упорного труда». Наука, философия не стали для него делом жизни, они не вели его к познанию действительности, к отысканию путей и средств практической деятельности, достойной передового человека и нужной родной стране. Дворянская среда, романтическое, далекое от подлинных нужд действительности воспитание, отсутствие широкого и доступного поля общественной деятельности, непоследовательность мысли, душевная слабость — всем этим объясняет Герцен то, что ни живость чувств, ни «быстрый ум» не предохранили Бельтова от превращения в «умную ненужность».

Образ Бельтова занял видное и своеобразное место в галерее русских «лишних людей», созданной писателями начала и середины XIX века. Интеллектуальная жизнь «лишнего человека» нашла в портрете, созданном Герценом, свое наиболее конкретное воплощение. Место такого дворянского интеллигента на фоне *идейной* жизни 30—40-х годов уясняется лучше всего именно на основе «Кто виноват?».

Однако в характеристике Бельтова, данной в романе, сказалась и такая снисходительность Герцена к дворянской интеллигенции, которая повлекла за собою некоторую неясность идейного и творческого замысла, положенного в основу этого образа. В самом деле, что именно обусловило жизненные неудачи Бельтова? Играли ли существенную роль его субъективные качества, его дилетантизм, неспособность к упорному труду, отсутствие целеустремленности, праздность, во многом объясняемые богатством (Бельтов — владелец большого имения с 3000 крепостных), или же вина падает целиком на внешние обстоятельства и препятствия? В романе Герцена нет ясного ответа на эти вопросы.

С присущей ему проницательностью и последовательностью критического суждения на эту двойственность

образа Бельтова указал Белинский: «...во второй части романа характер Бельтова произвольно изменен автором. Сперва это был человек, жаждавший полезной деятельности и ни в чем не находивший ее по причине ложного воспитания... Мы думаем, что при этом автор мог бы еще указать слегка и на натуру своего героя, нисколько не практическую и, кроме воспитания, порядочно испорченную еще и богатством... Натура его была чрезвычайно богата и многосторонна, но в этом богатстве и многосторонности ничто не имело прочного корня»[1].

Далее Белинский критикует «натуру» Бельтова под углом зрения тех черт, которые великий критик стремился воспитать и укрепить в демократической интеллигенции. Белинский хотел видеть в своих последователях сильных, цельных, стойких, страстно убежденных людей, способных в будущем решать практические революционные задачи. Поэтому еще в 1844 году, в статье о сочинениях В. Ф. Одоевского, Белинский писал: «Теперь всякое простое, честное убеждение, даже ограниченное и одностороннее, ценится больше, чем самое многостороннее сомнение, которое не смеет стать ни убеждением, ни отрицанием и поневоле становится бесцветною и болезненною мнительностью»[2]. Именно такая «бесцветная и болезненная мнительность», такое «многостороннее сомнение» (которое, конечно, не имело ничего общего с целеустремленной многосторонностью деятельности самого Герцена), такие колебания, неустойчивость, метания и неумение найти себе практически пути общественной деятельности были свойственны многим дворянским интеллигентам той поры.

Поэтому Белинский отмечал некоторую идеализацию Бельтова: «...В последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею, гениальною натурою, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща»[3]. Белинский считал опасным объяснение слабости и бездеятельности интеллигента той поры исключительно внешними, объективными условиями, хотя, конечно, ясно понимал и сам на

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 321.
[2] Там же, т. VIII, стр. 318—319.
[3] Там же, стр. 321—322.

себе чувствовал страшную тяжесть гнета самодержавия и крепостничества. Но и под этим игом сам Белинский, Герцен, Грановский (каждый по-своему и в разной степени) нашли себе большое, плодотворное поле деятельности. Поэтому Белинский и подходил к Бельтову с такой политической и моральной требовательностью.

И сам Герцен вкладывал в уста Крупову упрек, адресованный Бельтову: «Вы, как все богатые люди, не привыкли к труду» (4, 155). Но порой в романе ударение ставилось на том, что только внешние условия мешали Бельтову приложить свои силы и способности.

Известная идеализация Бельтова сказалась и в том, как в романе изображены его отношения с Круциферской. Он не терпит поражения в любви, он как будто подчиняется лишь необходимости, покидая любимую только для того, чтобы не нанести смертельного удара ее семье. Но — правдивый художник — Герцен дал почувствовать и внутреннюю слабость, нерешительность героя романа. Здесь прав был Добролюбов, отметив, что Бельтов убежал от Круциферской.

То, что творческий замысел Герцена в отношении Бельтова страдал неясностью и двойственностью, доказывается и его позднейшим, 1862 года, письмом к сыну: «Бельтов оттого бросался из угла в угол, что его социальная деятельность, к которой он стремился, находила *внешнее* препятствие. Это — пчела, которой не позволяют ни делать ячейки, ни отлагать мед» (XV, 208). Герцен снимает здесь с Бельтова тот элемент субъективной вины, который отмечал сам и на котором делал упор Белинский.

Для Герцена как дворянского революционера характерно, что интеллигент-разночинец Круциферский не стал центральным персонажем романа. Он не противопоставляет себя сколько-нибудь решительно и принципиально окружающему помещичье-дворянскому обществу. В известной мере это соответствовало еще слабому самосознанию рядового интеллигента-разночинца середины 40-х годов, но Салтыков в «Запутанном деле» (1847) уже сумел отразить рост стихийного протеста среди разночинной интеллигенции. В этом отношении роман Герцена, несомненно, уступает повести Салтыкова, но вместе с тем оба эти произведения, по остроте постановки социальных проблем, возглав-

ляют прогрессивную литературу 40-х годов, «натуральную школу», представляя собой ее левое, демократическое крыло.

Круциферский, как верно отметил Б. М. Теплов в статье «А. И. Герцен как психолог»[1], является, так же как и Бельтов, представителем «дилетантизма в науке». «Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет... он... остался при своих мечтах, при нескольких широких мыслях, которым уж прошло несколько лет, при общей любви к науке, при вопросах, давно решенных» (4, 158). Это та «любовь к науке», которая, как говорил Герцен в «Дилетантизме в науке», соединяется с «совершенным отсутствием пониманья ее», такая любовь, которая «не достигает ничего» (3, 45). Ни Круциферский, ни Бельтов не были способны на страстную, творческую, действенную любовь к истине, к науке, которой была проникнута жизнь и деятельность самого Герцена.

В «Кто виноват?» посредством живых столкновений и споров действующих лиц Герцен пропагандирует свое философское мировоззрение. Один из героев этого произведения, доктор Крупов — первый из персонажей в созданной Герценом галерее скептиков,— опровергает идеалистические и романтические воззрения Круциферского, его спиритуализм. На обвинение в том, что он забывает духовную сторону человека, которая «одна и дает смысл грубой материи», Крупов заявляет: «Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой, а знаю живую» (4, 132). Однако Герцен указывает, что спор Круциферского с Круповым почти бесплоден, ибо приобрел характер «провинциальной стоячести» —« они в эти годы переговаривали ежедневно одно и то же». Дискуссии эти не ведут ни того, ни другого из спорящих к теоретическому углублению и развитию своих взглядов. При этом Герцен характеризует взгляд Крупова как «медицинский» (4, 158), то есть естественнонаучный, метафизический материализм, подчеркивая тем самым ограниченность его мировоззрения.

Биография и весь облик Круциферского ведут Герцена к еще одному чрезвычайно существенному выводу.

---

[1] «Советская педагогика», 1945, № 5—6, стр. 41—42.

Рассказывая об окончании Круциферским университета, Герцен спрашивает себя, не мог ли из него развиться человек, существование которого напоминало бы жизнь немецкого филистера. По мнению Герцена, страшный, невыносимый характер социального и политического гнета, который испытывают на себе русские люди, делает для них невозможной спокойно-ограниченную жизнь. Вместе с Белинским Герцен был убежден, что русскому человеку чужды узость, мещанская ограниченность. Герцен подчеркивает в романе, что русская жизнь богата резкими противоположностями и чревата острыми конфликтами. Дикое угнетение рождает противодействие, жестоким и невежественным крепостникам противостоят люди замечательного благородства и высоких стремлений, люди потенциально богатых, но еще не развернувшихся сил.

Роман, написанный в 1841—1846 годах и напечатанный частью в «Отечественных записках» и затем полностью в приложении к «Современнику», имел большой успех у читающей публики. Даже Иван Аксаков, связанный с враждебным Герцену славянофильским лагерем, в письме к отцу от 11 февраля 1847 года вынужден признать: «Это не художественное произведение, если хотите,— но, не говоря о болезненном желании всюду острить, в нем много чудесных вещей! Так тяжело и тоскливо стало у меня на сердце, когда я прочел его; тем более что это произведение современное, 19-го века, болезням которого мы все более или менее сочувствуем» [1].

Непринужденная манера повествования, искрящаяся остроумием и шутливостью беседа передового интеллигента о своем поколении, о судьбах человека в царской России вызывала у славянофила Ивана Аксакова возражения именно потому, что слишком острым было жало герценовской насмешки, слишком явным нежелание Искандера считаться со всякого рода рутинными авторитетами. Но даже Аксаков должен был отметить силу и убедительность картины, нарисованной Герценом. Белинский же хотя и писал автору: «К числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно

[1] «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. I, М. 1888, стр. 420—421.

острить», вместе с тем отмечал тут же, что «в... повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши». В другом письме к Герцену он уже говорил о «повестях в *твоем* роде, т. е. с глубокою гуманною мыслию в основе, при внешней веселости и легкости» [1].

«Кто виноват?» и по содержанию и по стилю занял своеобразное место в русской литературе. Прав был Белинский, сказав, что произведение это «собственно не роман, а ряд биографий, мастерски написанных и ловко связанных внешним образом в одно целое именно... мыслию» [2]. «Кто виноват?» отличается такими чертами композиции, которые впоследствии получат гораздо более полное и богатое развитие в «Былом и думах». Портреты и биография, связанные раздумьем о судьбах человека в николаевской России,— таков в сущности принцип построения «Кто виноват?». Но Герцен здесь еще не мог дать свободу автобиографическому повествованию, не мог он также рисовать портреты и рассказывать биографии своих друзей и врагов. Поэтому естественно вымышленная фабула, интрига должны были вступить в свои права. Но автор всемерно старался урезать их. Ведь повесть для него была лишь «рамой для разных скицов и кроки» (IV, 187). Написав только начало повести, то есть изложив по сути лишь несколько биографий, Герцен в письме к издателю «Отечественных записок» говорит: «Повесть решительно не пишется; я паки советую поместить ее отрывком, в подстрочном примечании можно сказать, что такой-то женится на такой-то» (IV, 190). Предложение это показывает, насколько для Герцена важнее и интереснее были характеристики и биографии изображаемых им людей и на такой основе обобщающие заключения и рассуждения, нежели беллетристическое фабульное повествование. Впоследствии свои «прерванные», то есть действительно незаконченные, повести Герцен издаст отдельной книгой. «Кто виноват?» он продолжал, по-видимому, главным образом из-за успеха, неожиданно для него самого выпавшего на долю этого произведения. Но уже тогда он понимал, что именно автобиография была тем жанром, который в наибольшей степени и с максимальной свобо-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 258 и 272.
[2] Там же, т. X, стр. 322—323.

дой давал ему возможность рисовать портреты встреченных людей, фиксировать свои разнообразные наблюдения, повествовать о собственных идейных исканиях, давать волю своему уму, соединяя художественные зарисовки с теоретическими обобщениями. Однако жизнь под игом самодержавия не открывала, как мы уже видели на примере «Записок одного молодого человека», этой возможности во всей ее шири.

Относясь пренебрежительно к фабульному развертыванию повести, Герцен обосновывает в «Кто виноват?» интерес к биографиям «людей обыкновенных», оправдывая тем самым биографические отступления, допускаемые им по поводу второстепенных персонажей: «Меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна,— это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задней мысли — куда вынесет!» (4, 87).

Это последнее замечание Герцена, несмотря на свою беглость, отнюдь не случайно. Оно тесно связано с некоторыми долгими и упорными его размышлениями. Герцен утверждает, что страшный гнет царизма, загоняющий духовную жизнь в подполье, препятствует сколько-нибудь широкому объединению единомышленников под определеными лозунгами и знаменами, мешает формированию партий и, наоборот, благоприятствует ограниченности сект и групп, обособленности одиночек-интеллигентов. Еще в дневнике 1843 года Герцен указывает, что «когда народ ощущает один темный трепет призвания... тогда мыслящие, не имея общей связи, начинают метаться во все стороны... Общая связь одна — все убеждены в тягости настоящего, но выход находит каждый молодец на свой образец» (2, 257). И в дневнике и в романе Герцен высказывает, таким образом, одну и ту же мысль, и притом в очень схожей форме. В «Кто виноват?» мысль эта иллюстрируется биографиями некоторых персонажей. Герцен изобразил здесь ряд людей, несомненно образованных, умных, даровитых, но все они в той или иной мере оказываются «поврежденными», ненужными, беспомощными, далекими от действительных потребностей жизни.

В «Кто виноват?» сказывается сильное влияние Гоголя. Картины помещичьего и чиновничьего быта, созданные Герценом, вызывают в памяти образы и мотивы «Мертвых душ». Тем не менее, и здесь глубокое своеобразие герценовского стиля неоспоримо. Говоря о «Записках одного молодого человека», мы уже останавливались на некоторых характерных чертах герценовского юмора. В «Кто виноват?» изображение косного «гоголевского» быта крепостнической России в его мертвенной вещественности играет бóльшую роль, чем в «Записках одного молодого человека». Но столь же очевидно, что, в отличие от Гоголя, не изображение «страшной, потрясающей тины мелочей, опутавших нашу жизнь», стало центральной задачей Герцена. Гоголь только в лирических отступлениях своей великой поэмы провидел будущий широкий путь, открывающийся перед родной страной, и целиком сосредоточился на изображении характеров «скучных, противных, поражающих печальною своей действительностью». Герцен же, еще не найдя «прекрасного человека», своего положительного героя, ищет его черты, пусть еще недоразвившиеся, а порой еще только намечающиеся, в различных людях — в Круциферской, в Бельтове, например.

Для своеобразия стиля Герцена в «Кто виноват?» показательны особенности языка романа.

В этом отношении интересна, например, характеристика Бельтова и его положения в провинциальном городе во второй главе второй части «Кто виноват?». С одной стороны, Герцен дает здесь и бытовые зарисовки в гоголевском духе, используя лексику провинциально-чиновничьего просторечия: «Приезжай уважаемый друг наш, Павел Иванович Чичиков, и полицеймейстер сделал бы для него попойку, и другие пошли бы плясать около него и стали бы его называть «мамочкой»...» С другой стороны, сам Бельтов тут же характеризуется посредством сложных понятий, определений и формулировок, например: «многостороннее бездействие», «деятельная лень». Наконец, в романе Герцена содержатся такие поэтические и страстные образы, которые косвенно отражают полет его собственных чувств и стремлений. Бельтов *«готовился* начать свою жизнь, не замечая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую

выносят их тела» (4, 122). Сам-то Герцен чувствовал себя еще только *входящим* на арену политической борьбы.

Объективные условия ставили непреодолимые препятствия созданию образа положительного героя. О них писал Белинский Кавелину в 1847 году, опровергая клеветническое утверждение о том, что отсутствие положительных персонажей в «сочинениях Гоголя и натуральной школы» объясняется «оскорбительным понятием о России»: «Это обвинение нелепое... Что хорошие люди есть везде, об этом и говорить нечего, что их на Руси, по сущности народа русского, должно быть гораздо больше, нежели как думают сами славянофилы... и что, наконец, Русь есть, по преимуществу, страна крайностей и чудных, странных, непонятных исключений,— все это для меня аксиома, как $2 \times 2 = 4$. Но вот горе-то: литература все-таки не может пользоваться этими хорошими людьми, не входя в идеализацию, в реторику и мелодраму, т. е. не может представлять их художественно такими, как они есть на самом деле, по той простой причине, что их тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с тою общественною средою, в которой они живут»[1]. Для Белинского и Герцена положительным героем мог быть лишь человек, вступивший в резкий и непримиримый конфликт с самодержавно-крепостническим строем. Однако такому герою цензура не давала доступа в литературу. Те революционные мысли, гнев и ирония, которые владели самим Герценом, не могли быть высказаны открыто.

Не договаривая, а порой лишь намеками комментируя судьбы своих персонажей, не изображая передовых людей, а только указывая на человеческие силы, способности и стремления, загубленные существующим строем, Герцен, тем не менее, в своем романе ставил перед читателем самые острые вопросы современности и заставлял русского человека задуматься над тем, каковы же должны быть лучшие, «прекрасные» люди эпохи. В отличие от Тургенева, образ лишнего человека важен Герцену не сам по себе, а как предостережение передовому человеку. Герцен уже готовился к созданию образов и

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 459, 460.

портретов тех передовых, «эксцентрических», по его позднейшему выражению, людей, которые, по словам Белинского, еще представляли в русской жизни «чудные, непонятные, странные исключения», но вместе с тем глубоко и верно отражали собою «сущность народа русского».

8. «Сорока-воровка»

В богатой и разнообразной галерее портретов замечательных людей, написанных Герценом на протяжении его литературной деятельности, выдающееся место принадлежит гордому и страстному образу героини «Сороки-воровки».

Герцен рассказал в этом произведении не только о страданиях русской женщины под гнетом крепостного права, но и о ее даровитости, духовном росте и борьбе.

В русской женщине, показывает Герцен, душевная чистота, благородство и стремление к правде сочетается со способностью неукротимо бороться против угнетения и насилия, за свое достоинство и честь. Героиня «Сороки-воровки» сознательно идет на гибель, но она предпочитает смерть позору холопства и покорного подчинения насилию. В этом рассказе яркое художественное воплощение нашла вера Герцена в талант и силы русского народа, сдавленные крепостным ярмом, но растущие, несмотря на страшный гнет. Он показал в других своих произведениях, какие богатые натуры из народа гибли в то время, «не зная, не подозревая сами, что в них гибнет и сколько в них умирает» (8, 325). Героиня же «Сороки-воровки» уже осознала свои силы, свое громадное дарование. Она знает, что в ней «погибла великая русская актриса» (4, 233). Страдающая и надломленная, она прямо смотрит в глаза смерти и идет к гибели, «гордая и величественная» (4, 232). Рассказ «Сорока-воровка» пленяет нас высокой, хотя и скорбной красотой своей героини.

В «Сороке-воровке» герценовское стремление соединить художественные зарисовки с теоретическими обобщениями и убедить читателя не только яркой конкретностью образов искусства, но и острой мыслью, получает новое и сильное по своей форме выражение. С самого начала в нем ставится основная проблема, которая

затем уж иллюстрируется и разрешается художественно полнокровным рассказом о великой русской крепостной актрисе. Этому рассказу предшествует спор трех молодых людей о положении женщины в русском обществе и о том, представляет ли русская действительность почву, на которой способна вырасти великая актриса. Спор этот так мастерски передан Герценом, что перед нами встают интеллектуальные, в точном смысле этого слова, портреты его участников, в том числе и самого Герцена. «Разговор — прелесть, умно чертовски»,— писал Герцену Белинский [1].

Участниками беседы, предваряющей самый рассказ, являются «молодой человек, остриженный под гребенку», «другой, остриженный в кружок», и «третий, вовсе не стриженный» (4, 213).

В то время некоторые из славянофилов в полемическом задоре пытались даже внешне походить на людей из народа. «Стрижка в кружок», распространенная среди простонародья, была одним из таких признаков.

«Стриженного в кружок», отстаивающего в разговоре славянофильскую точку зрения, Герцен называет далее «славянином», как вообще тогда часто называли славянофилов. По мнению славянина, характернейшая и ценнейшая черта русской женщины — патриархальное смирение и покорность. «Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы» (4, 213), и потому, по его мнению, так мало больших русских актрис.

Точку зрения, как будто диаметрально противоположную славянофильской, отстаивает «вовсе не стриженный». Он фигурирует затем под прозвищем «европеец». Это либерал — западник и космополит. Он утверждает, что женщина в России «вполовину менее развита», чем мужчина, так как «отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий». Но тут ему возражает «остриженный под гребенку», который раньше возражал славянофилу. Он, несомненно, является выразителем взглядов самого Герцена. (Кстати сказать, Герцен, как вспоминает И. Панаев, стригся под гребенку.) «Каждый видел... собственными глазами,— говорит он,— что у нас в образованных сословиях женщины несравненно

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 265.

выше своих мужей; вот и ловите жизнь после этого общими формулами. Дело очень понятное. Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит себе» (4, 216). Герцен тем самым намекает на уродующие человека социальные условия России эпохи Николая I, превращавшие громадное большинство мужчин образованных сословий или в безликую массу солдафонов, целиком ушедших в тогдашнюю тупую и мертвенную военную муштру, или же в армию чиновников, погрязших в бумажном круговороте канцелярий. Женщины же, если они живут духовными интересами, отдаются в домашнем одиночестве чтению и раздумью, и это ведет к той «возбужденности мысли», которая «есть своего рода образование». В этих возражениях сказывается целый ряд особенностей, чрезвычайно характерных для Герцена.

Герцен, как мы видели, всегда умел ощутить подспудные, потенциальные силы русского народа. Поражающее порой своим богатством развитие русской женщины он также рассматривал как одно из проявлений этих скрытых сил. Между тем либералы-западники с их космополитизмом были далеки от подлинного понимания русской жизни и потому не могли видеть сильные, пусть еще не развитые свойства русского человека.

Так, «европеец» считает, что в России не может быть великой актрисы, потому что русская женщина не способна выразить те душевные движения и страсти, которые воплощены в великих творениях мировой драматургии: «Мы... не дошли... до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других» (4, 217).

Автор «Сороки-воровки», таким образом, вкладывает в уста «европейца» слова, прямо противоположные убеждению Белинского и Герцена в том, что русский народ сумеет особенно плодотворно воспринять и развить все высшие достижения мировой культуры, обогащая при этом последнюю. Но следующий за тем рассказ одного известного артиста, опровергая выводы «европейца» и еще в большей мере «славянина», подтверждает правильность наблюдений «остриженного под гребенку». Великая русская актриса существует, притом в лице крепостной рабы, и образ ее особенно резко указывает на то, под каким страшным гнетом развивались тогда

могучие силы русского народа. Эта великая русская актриса с потрясающей силой выразила высокие чувства невинно обвиненной, оскорбленной, страдающей женщины в произведении, созданном западноевропейским драматургом, и сделала это «лучше автора» (4, 223). В ее словах звучат не смирение и покорность, а гордое сознание своей правоты и горькая ирония, соединяющаяся с предчувствием неизбежной гибели.

Русская актриса сумела, по мысли Герцена, воплотить такой образ потому, что русская действительность того времени была не только источником страшных страданий для передовых людей, но и учила этих последних отважно бороться против давившего их гнета крепостничества.

Образом Анеты автор откликался и на состояние русского искусства. Герцен был современником Мочалова, создавшего такой образ Гамлета, который, по словам Белинского и Тургенева, в равной степени свидетельствовал и о гениальности английского драматурга, и о силе и самостоятельности духовных исканий великого русского актера, выразившего муки и борьбу передовой русской интеллигенции 30—40-х годов.

В «Сороке-воровке» Герцен указывает на ложь славянофильской идеализации смирения и покорности, будто бы свойственных простому русскому человеку, и вместе с тем отвергает утверждения «европейца»-либерала, не сумевшего правильно оценить все богатство подспудных творческих сил русской народной жизни.

С чрезвычайной резкостью поставлен в «Сороке-воровке» столь острый тогда вопрос о крепостной интеллигенции, и в этом отношении повесть эта близка по своему духу к «Дмитрию Калинину» Белинского. Пропасть между высокими духовными стремлениями и социальным положением русских крепостных интеллигентов была так страшна, что не раз приводила в то время к беспощадным столкновениям не только с помещиками, но и с царизмом. Николаевское правительство признавало необходимым «строго воспретить высшее образование крепостным людям»[1].

Герцен показывает, что из низов народа вырастают

---

[1] См. В. С. Нечаева, В. Г. Белинский, изд. АН СССР, 1949, стр. 367—369.

великие дарования, выросла «великая русская актриса». Но эти дарования топчутся в грязь крепостничеством, гибнут под его пятой. Князь, хозяин крепостного театра, кричит своей рабе, великой русской актрисе: «Кому смеешь говорить! Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная девка, а не актриса...» (4, 231). Князь видит в великой русской актрисе только свою холопку, свою вещь; ее духовное превосходство вызывает у него бешеную злобу. Она же предпочитает собственную гибель и даже гибель своего ребенка — холопству.

В повести звучит как сильный протест, так и глубоко скорбная, даже трагическая нота, отражающая тяжкие, мрачные настроения и сомнения, порой охватывавшие Герцена. Рассказчик-артист думает о судьбе крепостной женщины, по прихоти помещика попавшей на сцену, превратившейся в человека большой культуры, но оставшейся рабой:

«Бедная артистка!.. Что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить весть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной» (4, 233).

Герцен говорит тем самым о том, что замечательный, но являвшийся еще редким исключением рост простого русского человека под гнетом крепостничества не свободен от черт трагической обреченности. Однако в целом рассказ утверждал веру в тот будущий расцвет личности простого человека, который явится следствием освобождения народа.

Полемика Герцена на два фронта была чрезвычайно своевременной и злободневной. Такую же позицию в то время занял и Белинский в «Мыслях и заметках о русской литературе» и во «Взгляде на русскую литературу 1846 года». «Сорока-воровка» была написана в 1846 году, появилась же она впервые в февральском номере «Современника» за 1848 год.

К середине 40-х годов ясно обнаружилось, что, легковесно критикуя славянофильство, либералы-западники под этим прикрытием пропагандируют антидемократические, антинародные идеи и взгляды.

Даже Анненков, сам близко стоявший к либеральным западникам, видел, что им свойственна барская привычка к высокомерному обращению с народом, «кичливость сбразованностью» [1], то есть своими абстрактными, книжными знаниями. В России они мечтали лишь несколько ограничить самодержавие и установить буржуазный порядок. Впоследствии они стали открытыми лакеями царизма. Русский народ, русского крестьянина они презирали. В творческие силы, в духовный рост народных масс эти космополиты не верили. Они не видели талантливости русского человека, не ценили его национального своеобразия. Боткин, Корш и им подобные считали, что литература, искусство и философия существуют в России для какой-нибудь сотни интеллигентов, бар, что народ никогда не будет принимать участия в духовной жизни страны. В двадцать пятой главе своих воспоминаний Анненков, как обычно не умея разобраться в существе идейных споров и расстановке идейных сил, рассказывает о любопытном инциденте, разыгравшемся в 1845 году между Коршем, которого мемуарист называет одним из «крайних западников», и Грановским. Последний гневно обрушился на Корша за одно его высокомерное замечание о русской крестьянке. Сторону Грановского принял Герцен. Анненков пытается противопоставить позицию, занятую Грановским в этом споре, взглядам Белинского, но очевидно, что в данном случае последний, наоборот, поддержал бы Грановского. Ведь таких либералов-западников и космополитов, как Корш, Белинский и назвал во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» сторонниками «фантастического космополитизма».

В одном из своих писем 1847 года Белинский говорит: «Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше; ожесточенные скептики для меня в 1000 раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению,

---

[1] П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПб. 1909, стр. 278.

представляющей человечество стране,— не верю я их интересам. Любовь часто ошибается, видя в любимом предмете то, чего в нем нет,— правда; но иногда только любовь же и открывает в нем то прекрасное или великое, которое недоступно наблюдению и уму» [1].

Под «восторженными патриотами» Белинский разумеет здесь славянофилов с их громкими, но лживыми и пустыми патриотическими фразами и восклицаниями.

Но вместе с тем Белинский обрушивался и на «спокойных скептиков», на русских космополитов, насмешливо и с холодной иронией, без всякой горечи болтавших о недостатках русской жизни, об отсталости народа и восхищавшихся западноевропейским буржуазным порядком и его культурой.

Несколько позднее, в «Капризах и раздумье», Герцен почти в тех же самых выражениях говорил о таких «беспачпортных бродягах в человечестве». Герцен противопоставляет космополита подлинному «другу человечества», ибо космополит — «друг со всеми на свете, то есть ни с кем в особенности» (2, 99).

«Сорока-воровка» посвящена Михаилу Семеновичу Щепкину — основоположнику русского сценического реализма.

Щепкин, бывший крепостной, по собственному выражению, «знал русскую жизнь от дворца до лакейской». Рассказы Щепкина о виденном и испытанном им открывали перед Герценом и его друзьями целый мир, в котором жил простой русский человек. Замечательные устные рассказы Щепкина Герцен приводит в «Былом и думах», они служили также материалом для художественного творчества Гоголя. В этих рассказах Герцен чувствовал, как он отмечал в своем дневнике, «струю демократии и иронии» (2, 343). История великой русской актрисы также была рассказана Герцену Щепкиным, и именно последний является тем «известным художником», в уста которого эта история вложена. Любопытно, что, по сведениям московской полиции 40-х годов, «актер Щепкин на одном из своих вечеров подал мысль, чтобы авторы писали пьесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена» [2]. Рассказ Щепкина о единич-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 433.

[2] См. статью А. Б. Дермана к «Запискам М. С. Щепкина», изд. «Современные проблемы», М. 1928, стр. 232.

ном, хотя и многозначительном случае из крепостнического быта поднят Герценом на уровень большого идейно-художественного обобщения.

9. «Доктор Крупов»

«Доктор Крупов» (подзаголовок этого произведения: «О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности. Сочинение доктора Крупова») был закончен Герценом в феврале 1846 года, но напечатан был этот рассказ в «Современнике» в 1847 году, уже после отъезда Герцена за границу. Царская цензура сделала при этом в «Докторе Крупове» купюры, ослаблявшие сатирические выпады Герцена. Только в 1854 году (в сборнике «Прерванные рассказы») он восстановил полный текст рассказа.

«Доктор Крупов» — блестящий, предельно острый памфлет против самодержавно-крепостнического строя. Порядки и нормы жизни и быта в условиях самодержавно-крепостнического строя, при котором казенное благополучие и лицемерие прикрывают жестокость нравов и бессмысленность существования, предстают в восприятии Крупова как порядки и нормы сумасшедшего дома. Но сатира направлена здесь не только против крепостнического строя в России, но и против господствующего в Западной Европе буржуазного общественного строя и его «сумасшествия». Крупов находит «очень удовлетворительные симптомы» безумия и «в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме, и во многих других». «Да сверх того в Европе остались несколько видоизмененными и все азиатские глупости,— собственно переменились только названия» (4, 265). Эта последня фраза Крупова предвещает собою ту полемику против западников, апологетов западноевропейского буржуазного порядка и его культуры, которая в дальнейшем все более громко будет звучать в творчестве Герцена. Она непосредственно перекликается со следующим заявлением Белинского во «Взгляде на русскую литературу 1846 года»: «...пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно *человеческое,* и, на этом основании,

все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого» [1].

В «Докторе Крупове» образ скептика впервые у Герцена оказывается в центре созданного им художественного произведения. (Крупов фигурировал уже в «Кто виноват?», где его образ носил более бытовой, гораздо менее идейно законченный характер.) Сатирические оценки Крупова в заостренной, гротескной форме отражают суждения самого автора, однако, тонкий художник, Герцен не просто поручил высказывание некоторых своих взглядов персонажу произведения, а создал внутренне убедительный образ старого и одинокого врача-материалиста, прожившего тридцать лет в провинциальном городе крепостнической России и пришедшего к безнадежно скептическим выводам о человечестве как о «повально поврежденных». Вероятно, пермский врач, о котором упоминалось выше, натолкнул его на создание образа Крупова. Но Герцен творчески углубил и заострил черты, схваченные в действительности, и придал им всю значимость и характерность, которыми для того времени обладало мироощущение, проникнутое скептицизмом и пессимизмом.

Через восприятие Крупова Герцен дает резко очерченную картину жизни провинциального города, который «возник собственно для удовольствия и пользы начальства» (4, 258). Парадоксальная точка зрения Крупова положена в основу памфлета. Крупов определяет чиновничество как «особое специфическое поражение мозга» (4, 257). Эти сатирические обобщения предвещают сатирические образы Щедрина. Крупов говорит об истории как о «горячке» и «аутобиографии сумасшедшего» (4, 264). Позиция Крупова давала также превосходную возможность рассматривать реакционные общественные теории как проявления «родового безумия» человечества, как его духовные болезни. Крупов характеризует романтизм как «духовную золотуху», а славянофильство — как «проказу исключительной национальности» (4, 299).

Но Герцен не Крупов. Он говорит о себе в 1844 году: «На меня грусть самая тяжелая, самая разъедаю-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 19.

щая находит минутами, потом — солнечный свет, теплый день, дружеское слово, слово любви, одно появление Сашки (сына.— *Я. Э.*) — и грусть проходит» (III, 411). Несмотря на все колебания и мучительные сомнения, в сознании Герцена жило убеждение в неустанном прогрессивном развитии человечества и России.

Да и Крупов указывает на средства лечения «родового безумия человечества». Основными являются «истина» и «точка зрения» (4, 299), то есть глубокий, безбоязненно правдивый взгляд на действительность.

Многозначительна также следующая затем эзоповская оговорка Крупова: «...в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только» (4, 267). Внимательный читатель тех лет, несомненно, понимал, что Герцен здесь разумел сознательные революционные усилия передовых людей, усилия, которые он своими произведениями постоянно стремился возбудить и укрепить.

Так в повести сказывается непоколебимая энергия духовных исканий Герцена. Его оптимизм чувствуется и во всем складе повести, в которой, как и вообще в его творчестве, едкий сарказм сочетается с иронией, сатира с веселой шуткой. Герцен умел, как он выразился впоследствии, находить «комический бортик к трагическим событиям».

Очень важна в этом произведении замечательная фигура крестьянского мальчика Левки, которого в деревне считают юродивым и беспрестанно обижают. Образ этот показывал, как живущие в народе человечность, наивность, чистота, безграничная верность в дружбе, любовь к природе, отвращение к жестокости сталкиваются с существовавшими тогда варварскими общественными установлениями и подвергаются гонениям.

«Доктор Крупов», как отметил Белинский, не мог иметь у широкой публики того «страшного» успеха, который выпал на долю «Кто виноват?». Роман содержал больше конкретного, близкого и волнующего русскую публику материала. Рассказ был сложней по своему содержанию и идейной направленности. Более сложным был и самый жанр сатирической и иронической «философской повести», лишенной каких-либо элементов фабульной занимательности.

Но зато глубоко поняли и тонко почувствовали силу и прелесть этого произведения Герцена его друзья. Белинский именно в «Докторе Крупове» увидел наиболее цельное и полное проявление особенностей герценовского дарования, которое в данном случае не отвлекалось, как то имело место в «Кто виноват?», в сторону сюжетного развития, столь мало интересовавшего Герцена.

В «Докторе Крупове» глубокая и острая мысль представлена в живом лице — возникает художественный образ мировоззрения. Герцен заставляет Крупова не просто излагать его теорию, а рассказать об «истории возникновения оной в голове моей» (4, 278). Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года», называя «Доктора Крупова» «превосходным рассказом», Белинский писал: «В нем автор ни одною чертою, ни одним словом не вышел из сферы своего таланта, и оттого здесь его талант в бо́льшей определенности, нежели в других его сочинениях. Мысль его та же, но она приняла здесь исключительно тон иронии, для одних очень веселой и забавной, для других грустной и мучительной, и только в изображении косого Левки — фигуры, которая бы сделала честь любому художнику,— автор говорит серьезно» [1].

«Доктор Крупов» вызвал критические замечания со стороны представителей дворянского либерализма. В этом отношении любопытен позднейший отзыв такого противника Герцена, как Б. Н. Чичерин. Сближая Герцена и Крупова, Чичерин определял их ум как «склонный к едкому отрицанию и совершенно неспособный постичь положительные стороны вещей» [2]. Чичерин не мог примириться с беспощадностью, с которой Герцен устами Крупова произносил свой приговор над буржуазно-помещичьим порядком.

«Доктор Крупов» вызвал ряд отголосков в дальнейшем творчестве Герцена. Мы говорим прежде всего о его «Афоризмах Тита Левиафанского», написанных незадолго до смерти. Другим отголоском является образ доктора в повестях «Скуки ради» и «Доктор, умирающий и мертвые».

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 326.

[2] Б. Н. Чичерин, Воспоминания. Путешествие за границу, изд. Сабашникова, М. 1932, стр. 51.

Герцен неоднократно вспоминал Крупова и ссылался на него. Так, позднее он писал, например, о своих европейских наблюдениях: «Я вам рассказывал... что один поврежденный доктор принимал журналы за бюллетени сумасшедших домов: это был человек отсталый; теперь журналы... — бюллетени смирительных домов и галерных выходок» (5; 231—232).

А в 1860 году в «Колоколе», характеризуя выступление графа В. Н. Панина, Герцен причислил этого реакционного зубра, назначенного руководить подготовкой крестьянской реформы, к больным, описанным и опекаемым доктором Круповым: «О Крупов, прими его, возьми его, облей его холодной водой... еще... еще и еще немного!» (14, 255).

В «Докторе Крупове» Герцен продолжает и заостряет великую сатирическую традицию русской литературы. Прав был Гончаров, указав, что в сарказмах Герцена «слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого»[1]. Тот мир, где ум приносит горе, Герцен изобразил как мир, выживший из ума. С другой стороны, сатирические идеи Крупова получили отклик в дальнейшем развитии русской литературы у Щедрина («В больнице для умалишенных») и у Толстого («Дьявол»)[2].

По сатирической направленности к «Доктору Крупову» примыкает небольшой художественный отрывок «Мимоездом» (1846), впервые опубликованный Герценом в 1854 году в сборнике «Прерванные рассказы». В разговоре рассказчика с судьей последний сознается в том, что при господстве имущественного неравенства и бюрократического произвола, в сущности, «виноватого вовсе нет», ибо «преступления» крестьян и бедняков — обычных жертв царского судопроизводства — почти всегда находят объяснение в их горькой нужде и бесправии. Но именно поэтому судья, о котором рассказывает Герцен, и боится вдаваться в «облегчающие причины» (4, 273) и предпочитает оставаться верным беспощадной букве закона.

---

[1] И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма, Гослитиздат, Л. 1938, стр. 80.

[2] См. И. Нович, Духовная драма Герцена, Гослитиздат, 1937, стр. 224—225.

«Кто виноват?», «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» ознаменовали собою важный этап как развития творчества самого Герцена, так и литературного движения того времени в целом.

Произведения эти показали, что эстетические принципы Герцена, его представление о характере развития реализма не только защищались им, как теоретиком, но и получали претворение в его художественной практике.

Теперь в произведениях Герцена уже не чувствуется того, резко заметного в его прозе 30-х годов, противоречия между мыслью, достигнувшей значительной идейной высоты, и традиционной и довольно наивной выспренне романтической художественной формой.

При появлении «Кто виноват?» Белинский характеризовал Герцена как «необыкновенный талант в совершенно новом роде» [1]. Реализм Герцена 40-х годов действительно был новым словом в литературе. Своеобразие его таланта Белинский видел в том, что он — «философ по преимуществу, а между тем немножко и поэт, и воспользовался этим, чтобы изложить свои понятия о жизни притчами». Говоря о том, что роман этот представляет собою «ряд биографий», великий критик отмечал вместе с тем, что эти последние «бесконечно разнообразны, глубоко правдивы и богаты философским значением» [2].

Этот союз искусства и философии, во многом определивший собою отличительный характер герценовского творчества, отвечал назревшим потребностям русского художественно-литературного и философского развития.

Потребности русского литературного развития с замечательной определенностью и ясностью сформулировал еще Пушкин.

Основоположник новой русской литературы, ощущая слабые стороны русской прозы по сравнению с поэзией, подчеркивал, что первая «требует мыслей и мыслей». Пушкин указывал в 1825 году, что «ученость, политика

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, стр. 396.
[2] Там же, т. X, стр. 325, 326.

и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует» [1].

Во многом схожую мысль выразил Герцен в 1851 году, подчеркнувший, что русский «метафизический язык» окончательно сформировался в 40-х годах: «В продолжение XVIII века новорусская литература вырабатывала тот звучный, богатый язык, которым мы обладаем теперь, — язык гибкий и могучий, способный выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французского остроумия» (7, 331).

Несколькими годами позднее, в «Былом и думах», Герцен значительно обогатил эту мысль, сказав, что «главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легости, с которой все выражается на нем, отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть» (9; 19—20).

Сам Герцен сыграл очень большую роль в осуществлении тех задач, которые перед художественной литературой и философией, перед литературным языком России поставил национальный гений.

Герцен является представителем того периода нашего литературного развития, когда художественная литература, ввиду относительной неразвитости литературы политической, философской, обладала, по словам Чернышевского, «энциклопедическим значением». «Литература,— писал он,— у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведование других направлений умственной деятельности... Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто, кроме поэта, говорил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто, кроме романиста, говорил России о том, что слышала она от Гоголя?» [2]

В этом корень того, что и в философских и публицистических произведениях Герцена чувствуется перо художника, а с другой стороны, в его художественном творчестве философ и поэт выступают рука об руку.

---

[1] Сб. «Пушкин-критик», Гослитиздат, 1950, стр. 71.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 303, 304.

Герцен одновременно и содействовал окончательной выработке «метафизического языка» и укреплению самостоятельной роли философской литературы и обогатил философским содержанием, «мыслями и мыслями» художественную прозу. Этот процесс идейного обогащения искусства мог протекать лишь на основе творческого освоения классического наследия.

В герценовской прозе 40-х годов получили развитие традиции французской литературы эпохи Просвещения — «литературы идей», как ее называл Бальзак. Не случайно Грановский сказал о «Докторе Крупове»: «Так шутил Вольтер во время оно»[1], а Белинский, характеризуя творения Герцена, также вспоминал автора «Кандида». С точки зрения художественных принципов создания, образ доктора Крупова с его непредвзятым, прямым до парадоксальности, резким до чудачества, беспощадно скептическим взглядом, может быть сопоставлен с Простодушным у Вольтера: «Его мыслительный дар, не искривленный заблуждениями, сохранил всю свою прямоту. Он видел вещи такими, как они есть, вместо того чтобы, подобно нам, под действием представлений, сообщенных нам с детства, видеть их всю жизнь такими, какими они не бывают»[2].

Но, разумеется, Искандер не был подражателем Вольтера. «Доктор Крупов» мог возникнуть только на русской почве. В этом произведении отразилась закалявшаяся в испытаниях и борьбе русская революционно-демократическая мысль, ненавидящая косный и темный крепостнический быт того времени, с едкой горечью переживающая свое практическое бессилие. В «Докторе Крупове» чувствуется и «гоголевское» умение воспроизводить быт во всей его колоритности и вещественности, и вместе с тем эти бытовые картины пронизаны тонкой и острой «пушкинской» мыслью в духе «Истории села Горюхина».

Восприятие традиций литературы французского Просвещения оплодотворено у Герцена идейными уроками послереволюционной эпохи, опытом русской литературы, прежде всего Пушкина, а также Гоголя, что

---

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», 1897, т. II, стр. 445.

[2] Вольтер, Философские повести, Гослитиздат, М. 1954, стр. 234.

позволило Искандеру достигнуть высокого уровня историзма, преодолеть известную отвлеченность интеллектуальных характеристик французских просветителей.

С диалогами литературы Просвещения, в частности Дидро, могут быть сопоставлены диалоги «Сороки-воровки», но у Герцена они проникнуты более рельефным конкретно-историческим ощущением стоящих за ними типов.

Лиризм Герцена в «Кто виноват?», в «Докторе Крупове», в «Сороке-воровке» углубился, обогатился философским содержанием, приобрел сатирическую силу и остроту, искусное эзоповское прикрытие.

Впоследствии Герцен считал, что при характеристике того или иного этапа литературного развития необходимо ответить на вопрос о том, каков «лиризм» (18, 214), то есть каково раскрытие личности автора в художественных произведениях данного времени.

В такой постановке вопроса сказалось своеобразие стилевых устремлений самого писателя. Герценовская проза и в повести, и в автобиографии, и в философии, и в публицистике всегда в той или иной степени лирична, мы всегда чувствуем яркую и богатую индивидуальность самого автора с его политическими устремлениями, внутренней жизнью, философскими интересами. Здесь проявляется глубокое художественное родство между творчеством Герцена и прозой Гейне, особенно позднейшей, при всех существующих между ними отличиях.

Хотя цензурные условия николаевской России в этом, как и в других отношениях, крайне ограничивали возможности Герцена, мешали ему придать своей лирической прозе ясно выраженный автобиографический характер, глубокий, острый и блестящий ум и моральное благородство автора живо ощущаются читателем.

С этими особенностями творчества Герцена связаны и характерные для него методы типизации. Автора «Доктора Крупова» интересует создание таких персонажей, которые отражают идейную жизнь эпохи, типические умонастроения, известные стороны культуры, общественной психологии, духовный уклад того или иного социального слоя, — разумеется, в индивидуально-конкретном преломлении этих черт.

Как формируется духовный склад человека, каковы

исторические и социальные корни его интеллектуального духовного облика, каковы индивидуальные судьбы людей, представляющих то или иное духовное идейное течение эпохи,— таковы те стороны жизни, которые в особенности интересуют Герцена.

Даже когда Герцен говорит о людях, чей облик, в сущности, сливается с тем серым и косным бытом, который их окружает, то и в этом случае он останавливается на том, каким образом самое их существование, далекое от каких-либо осознанных идейных интересов, соприкасается — пусть через ряд посредствующих звеньев — с острыми общественными конфликтами.

Так, в своем романе Герцен, характеризуя московские «полубогатые дворянские дома», которых обитатели «скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам», отмечает присущее им «какое-то затаенное озлобление против всего нового» — «они воображают себя представителями нашего национального быта» (4, 20).

Разумеется, идейное обогащение реалистического искусства осуществляется в 40-х годах отнюдь не только в художественной практике одного Герцена. Оно по-разному проявляется у всех наиболее замечательных художников-реалистов этих лет. Однако не было другого писателя, в творчестве которого искусство и философия находились бы в столь тесном взаимодействии.

Положение и роль Герцена в русской литературе глубоко своеобразны. Он с полным основанием может быть назван писателем поколения дворянских революционеров, писателем, заключающим собою пушкинский период русской литературы. И это в первую очередь сказывается в том, что пафос герценовской прозы (так же как и пушкинской лирики) сосредоточивается на отражении и воплощении чувств, мыслей и переживаний русского передового человека, дворянского революционера. Очень глубоко и остроумно предположение А. В. Луначарского о возможных идейных путях Пушкина: «Может быть... мы увидели бы Пушкина на путях герценовских» [1].

---

[1] А. В. Луначарский, Классики русской литературы, Гослитиздат, 1937, стр. 119.

Эпическое изображение жизни, характерное для Тургенева, Гончарова, не является в эти годы определяющим для Герцена.

Вместе с тем хотя Герцен и испытал, особенно в своем романе «Кто виноват?», очень сильное влияние Гоголя и во многом с гоголевской точностью и конкретностью рисовал картины быта, его проза 40-х годов не является сатирической, несмотря на то что элементы сатиры играют в ней очень большую роль. Пафос «Кто виноват?» — в лирическом раздумье о судьбах даровитых и многообещающих, но не сумевших приложить своих способностей русских людей, о жизни которых писатель рассказывает. Это не тот пафос, который присущ такой сатирической эпопее, как «Мертвые души».

Конечно, творчество Герцена никак не ограничено лирическим отражением идейной жизни передовых людей. Но в сущности все его образы связаны между собою раздумьем о том, каков должен быть тот передовой человек, который окажется способным действенно вмешаться в жизнь и выдержать предстоящую ему трудную борьбу.

С другой стороны, типы угнетателей и эксплуататоров, людей враждебных народу и передовой мысли, выступают у Герцена прежде всего как предмет насмешки, презрения и ненависти передового человека, черты которого, столь близкие к образу самого автора, через эти оценки и суждения лучше уясняются читателю.

Произведения Герцена принадлежали к той части прогрессивной литературы 40-х годов, в которой революционные и демократические идеи получили свое наиболее сильное выражение.

По идейной целеустремленности они являлись предвестниками революционно-демократической литературы 60-х годов.

В этом отношении любопытно, что, при внешнем сходстве взаимоотношений действующих лиц в первой части герценовского романа и в написанном в 1850 году «Месяце в деревне» Тургенева (супруги-помещики, бедная воспитанница, разночинец-учитель), «Кто виноват?» резко отличается от этой пьесы заостренным изображением социальных противоречий. У Тургенева социальная коллизия затушевана сложным переплетением и столкновением личных чувств, опоэтизирован-

ным изображением дворянской усадьбы. Под данным углом зрения «Кто виноват?» ближе к «Противоречиям» Салтыкова, хотя в этой художественно незрелой повести (как и в «Запутанном деле») в центре внимания оказывается не дворянин, а разночинец. Надо, однако, отметить, что образ разночинца в повестях Салтыкова и у Некрасова этих лет не был изображен с той полнотой и многосторонностью, какая достигнута Герценом в передаче духовной жизни дворянского интеллигента.

Вместе с тем следует ясно видеть то общее, что соединяет Герцена с Тургеневым тех лет как представителей реализма одного и того же периода. Духовная жизнь 40-х годов оказала на их творчество огромное и во многом решающее влияние. Но Герцен находился в самом центре идейных исканий тех лет и воплотил их в своем творчестве. Тургенев же создал поэтические образы людей, так или иначе связанных с духовным движением и наследием 40-х годов, но находящихся в известном отдалении от идейного центра эпохи.

Однако и у Тургенева и у Герцена антикрепостнический протест, проникающий собою их творчество, опирался на поступательное развитие русской жизни, русской мысли 40-х годов.

11. «Письма об изучении природы»

В 1845—1846 годах Герцен печатает в «Отечественных записках» свои классические «Письма об изучении природы». Всего два-три года отделяют эти «Письма» от статей, объединенных в цикле «Дилетантизм в науке», но быстрый идейный рост Герцена, сказавшийся в «Письмах», очевиден. Как указывал сам Герцен, он уяснял себе некоторые основные философские положения именно в процессе работы над статьями «Дилетантизм в науке». Поэтому здесь можно видеть, как постепенно, меняя некоторые существеннейшие формулировки, Герцен приближается к материализму.

В «Дилетантизме в науке» Герцен концентрировал свое внимание в большей мере на разоблачении врагов передового мировоззрения, чем на характеристике самих передовых воззрений.

Напротив, «Письма об изучении природы» представляют собою изложение философского credo Герцена. Философская позиция Герцена декларируется им открыто и развернуто в первом же письме — «Эмпирия и идеализм», которое так высоко оценил В. И. Ленин. В этом письме, как и в следующем за ним, «Наука и природа — феноменология мышления», Герцен отвечает на основной вопрос философии о соотношении бытия и сознания, о познаваемости мира. Следующие затем письма представляют собою исторический и критический обзор постановки и решения ряда важнейших проблем философии природы основными философскими системами.

Двенадцатого июня 1845 года Герцен пишет Краевскому, в журнале которого печатались «Письма»: «Стараюсь теперь всеми силами, чтобы изложение новой философии сделать как можно популярнее: все обвиняют в темноте мои статьи. Тем более постараюсь, что у меня образовался *совершенно особый взгляд:* худ ли, хорош ли, да судят читатели «Отечественных записок» (IV, 186. Курсив наш.— *Я. Э.*).

Двадцать третьего июня, посылая Краевскому шестое из «Писем об изучении природы», Герцен заявляет: «Знаю одно, что тот взгляд, который тут развит, не был таким образом развит ни в одной из современных историй философии» (IV, 187).

В примечании к третьему письму Герцен указывал, что, излагая «главные моменты греческой философии», он «следовал лекциям Гегеля об истории древней философии». Но Герцен имел в виду только последовательность изложения, принятую Гегелем, и используемые последним материалы: «Все места, цитированные мною из Платона, Аристотеля, взяты оттуда». При этом Герцен подчеркивал: «Знакомые с германской философией увидят в самом изложении древней философии некоторые довольно важные отступления от «Лекций об истории философии». Я во многих случаях не хотел повторять чисто абстрактных и пропитанных идеализмом мнений германского философа, тем более что в этих случаях он был неверен себе и платил дань своему веку» (3; 146—147). Герцен нарочито скромен в таком определении своего отношения к «Истории философии» Гегеля. На самом деле «Письма об изучении природы»

дают оригинальное и самостоятельное освещение греческой философии.

Сошлемся лишь на один пример — на характеристику Гегелем и Герценом философии Фалеса.

Фалес считал первоосновой мира воду. Гегель полагал, что в учении Фалеса «берется не чувственная вода в ее особенности, противопоставляемой другим вещам природы, а вода как мысль, в которой все вещи природы растворены и заключены»[1]. Таким образом, Гегель пытается видеть в Фалесе идеалиста. Герцен дает гораздо более глубокое истолкование идей Фалеса, сохраняющее их наивно-материалистическое содержание. «Для него (Фалеса.— *Я. Э.*) вода не только вещество, отличное от других веществ земли, воздуха, но вообще текучий раствор, в котором все распускается, из которого все образуется; в воде оседает твердое, из нее испаряется легкое; для Фалеса она, вероятно, была и образ мысли, в которой снято и хранится все сущее: только в этом значении, широком, полном мысли, эмпирическая вода как начало получает истинно философский смысл. Вода Фалеса — существующая стихия и вместе с тем мысль... это детское провидение единства бытия и мышления» (3; 148—149). Герцен в философии Фалеса и других его современников видит «реальный греческий такт, заставивший их искать свое начало в самой природе, а не вне ее, искать бесконечное в конечном, мысль в бытии, вечное во временном» (3, 150). Вообще, как отмечает Герцен, «воззрение греков нам кажется материальным в сравнении с схоластическими дуализмом и с трансцендентальным идеализмом немцев: в сущности, его скорее должно назвать реализмом» (3, 145). Вспомним, что под реализмом Герцен разумел материалистическое философское миросозерцание.

Понимание Герценом древнегреческой философии и, в частности, воззрений Фалеса интересно сопоставить с соответствующими оценками Энгельса. В «Диалектике природы» мы читаем: «Перед нами целиком первоначальный стихийный материализм, который естественно считает при своем возникновении само собою разумеющимся единство в бесконечном многообразии

---

[1] Гегель, Соч., т. IX, Лекции по истории философии, кн. первая, Партиздат, 1932, стр. 161.

явлений природы и ищет его в чем-то определенно телесном, в чем-то особенном, как Фалес в воде» [1].

В «Письмах об изучении природы» Герцен вплотную подходит к проблеме отношения «знания к предмету, мышления к бытию, человека к природе» (3, 96). На этот основной философский вопрос Герцен теперь отвечает материалистически, и каждый раз его ответ углубляет представление о мире и человеческом сознании.

Еще в дневнике 1844 года Герцен записал: «Дух, мысль — результаты материи и истории» (2, 361). Теперь он подробно обосновывает это свое положение.

По словам Герцена, необходимо понять, что «разумение человека не вне природы, а есть разумение природы о себе, что его разум есть разум в самом деле единый, истинный, так, как все в природе истинно и действительно в разных степенях, и что, наконец, законы мышления — сознанные законы бытия, что, следственно, мысль нисколько не теснит бытия, а освобождает его» (3, 111).

В другом месте Герцен говорит: «Человеческое сознание без природы, без тела,— мысль, не имеющая мозга, который бы думал ее, ни предмета, который бы возбудил ее» (3, 302).

В противовес метафизическому материализму, Герцен подчеркивает активную роль человеческого сознания: «Мышление делает не чуждую добавку, а продолжает необходимое развитие, без которого вселенная не полна,— то самое развитие, которое начинается со стихийной борьбы, с химического сродства и оканчивается самопознающим мозгом человеческой головы. Хотят ум сделать страдательным приемником, особого рода зеркалом, которое отражало бы данное, не изменяя его, т. е. во всей его случайности, не усваивая,— тупо, бессмысленно; а данное, сущее во времени и пространстве, хотят сделать деятельным началом,— это прямо противоположно естественному порядку» (3, 105).

Взгляд Герцена на активную роль человеческого сознания был чрезвычайно плодотворен для обоснования убеждения в общественно преобразующей роли передовой теории, характерного для всей русской революю-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. первое, т. XIV, стр. 498.

ционной демократии убеждения в возможности широкого практического применения выводов науки к общественной практике. При этом Герцен считает, что подлинной действенной силой может обладать только то сознание, та теория и мысль, которые опираются на материалистическое представление о природе, о бытии. С этой точки зрения он критикует идеализм Гегеля. Герцен пишет в первом письме: «Гегель, как и Лейбниц, приносит все временное, все сущее на жертву мысли и духу; идеализм, в котором он был воспитан, который он всосал с молоком, срывает его в односторонность, казненную им самим — и он старается подавить духом, логикой природу; всякое частное произведение ее готов считать призраком, на всякое явление смотрит свысока.

Гегель начинает с отвлеченных сфер для того, чтоб дойти до конкретных; но отвлеченные сферы предполагают конкретное, от которого они отвлечены. Он развивает безусловную идею и, развив ее до самопознания, заставляет ее раскрыться временным бытием; но оно уже сделалось ненужным, ибо помимо его совершен тот подвиг, к которому временное назначалось... Гегель хотел природу и историю как *прикладную логику,* а не логику как отвлеченную разумность природы и истории. Вот причины, почему эмпирическая наука осталась так же хладнокровно глуха к энциклопедии Гегеля, как к диссертациям Шеллинга» (3; 119—120).

Герцен выступает также против идеалистического утверждения о непознаваемости мира. По его мнению, невозможно «успокоиться на предположении невозможности знания» (3, 96). Материалистическое представление о мире Герцен противопоставляет утверждению о «невозможности ведения истины» и указывает, что, отстаивая эту последнюю точку зрения, остается лишь признать, что «голова человека так устроена, что ей *только мерещится* истина, *кажется* такою, что она не может вполне знать или знает только субъективно, что, следственно, знание человеческое — какое-то родовое безумие» (3, 111). Это последнее высказывание Герцена хорошо показывает нам теснейшую органическую связь, существующую между проблематикой его философии и художественного творчества. Мы видим здесь, как Герцен теоретически опровергает те же мысли доктора Крупова о «родовом безумии», охватившем человечест-

во, на ошибочность и односторонность которых он намекал в своей повести.

Познание мира представляется Герцену как бесконечный, исторически развивающийся процесс[1]. Наука, по словам Герцена, «всякий раз считает себя завершением ведения человеческого, но она представляет отчет, вывод мышления данной эпохи — она себя только считает абсолютной, а абсолютно то движение, которое в то же время увлекает историческое сознание далее и далее» (3, 129).

Представление Герцена о природе носит диалектический характер. В природе, по словам Герцена, «в этом вечном настоящем без раскаяния и надежды, живое, развиваясь, беспрестанно отрекается от миновавшей формы, обличает неестественным тот организм, который вчера вполне удовлетворял» (3, 92). Характеризуя взгляды Гераклита, Герцен говорит: «Бытие живо движением... жизнь есть не что иное, как движение беспрерывное, не останавливающееся, деятельная борьба и, если хотите, деятельное примирение бытия с небытием, и чем упорнее, злее эта борьба, тем ближе они друг к другу, тем выше жизнь, развиваемая ими» (3, 156); природа — «процесс, она течение, перелив, движение» (3, 128). В «Былом и думах» Герцен писал о диалектике: «Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль — становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике» (9; 21—22). Диалектический же метод в его «Письмах об изучении природы» выступал именно как «развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль», то есть как отражение в сознании процессов развития самой жизни.

Герцен учился диалектике у Гегеля, все успешнее перерабатывая ее в материалистическом направлении. Все глубже уясняет он себе ее значение как метода мышления и исследования.

С другой стороны, мысль Герцена направлена против метафизического материализма с его склонностью

---

[1] Взгляд Герцена на научный метод и соотношения наук охарактеризован в труде Б. М. Кедрова «Классификация наук», I, изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС, М. 1961, стр. 246 и след.

отождествлять сознание и материю. Он критикует «материализм, ничего не понимающий, кроме вещества и тела, и именно потому не понимающий ни вещества, ни тела в их действительном значении» (3; 313—314). Но Герцен умел различать сильные и слабые стороны метафизического материализма. В «Письмах об изучении природы» он подчеркивает огромное прогрессивное историческое значение французского материализма XVIII века. Однако, как и представители последнего, Герцен не видел еще в борьбе идей отражения борьбы классов [1].

Критикуя идеализм, с одной стороны, и метафизический материализм — с другой, Герцен рассматривал в «Письмах об изучении природы» вопрос о взаимоотношениях философии и естествознания.

Еще в «Дилетантизме в науке» Герцен выступал против «поклонников позитивизма, потерявших дух за подробностями и упорно остающихся при рассудочных теориях и аналитических трупоразъятиях» (3, 9). «Письма об изучении природы» пронизаны мыслью о том, что только единство опытного исследования и широких теоретических обобщений, опыта и «умозрения» может способствовать плодотворному познанию природы. Герцен заявляет, что «философия без естествоведения так же невозможна, как естествоведение без философии» (3, 93). Критикуя ограниченность эмпиризма, отказывающегося от философских обобщений, Герцен пишет: «Без эмпирии нет науки, так, как нет ее и в одностороннем эмпиризме. Опыт и умозрение — две необходимые, истинные, действительные степени одного и того же знания... Опыт есть хронологически первое в деле знания, но он имеет свои пределы, далее которых он или сбивается с дороги, или переходит в умозрение. Это два магдебургские полушария, которые ищут друг друга и которых, после встречи, лошадьми не разорвешь» (3; 97—98).

Эти слова не были в устах Герцена отвлеченным поучением. Он сам был не только философом, но и естествоиспытателем. Он не переставал учиться и пополнять свои знания.

---

[1] Ср. Д. И. Чесноков, Мировоззрение Герцена, Госполитиздат, 1948, стр. 103.

С осени 1844 года Герцен посещал в университете лекции профессора И. Т. Глебова по сравнительной анатомии и работал в анатомическом театре. Лекции этого незаурядного ученого производили на его слушателей очень большое впечатление. Глебов был учеником и последователем замечательного русского естествоиспытателя-материалиста И. Е. Дядьковского, а впоследствии университетским учителем И. М. Сеченова [1].

В студенческой аудитории, среди молодого поколения, Герцен чувствовал себя гораздо лучше, чем в гостиных барской Москвы.

Философская пропаганда Герцена имела много точек соприкосновения с деятельностью выдающегося русского естествоиспытателя 40—50-х годов К. Ф. Рулье. Статья Герцена о лекциях Рулье — наглядное проявление того, каким благотворным было взаимодействие философии и естествознания в России.

В. И. Ленин следующим образом определил теоретический уровень, достигнутый Герценом в «Письмах об изучении природы»: «Первое из «Писем об изучении природы»,— «Эмпирия и идеализм»,— написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» [2].

Герцен еще не решается объявить себя представителем материализма. Им владел еще, если употребить выражение Энгельса, «обычный философский предрассудок против слова: материализм» [3], под которым он, по старой традиции, разумел лишь вульгарный материализм. Герцен стремился к такому философскому воззрению, которое бы соединило в себе лучшие и сильные стороны как метафизического материализма, так и классического идеализма, освободившись притом от ограниченности того и другого. Приводя некоторые цитаты из «Писем», Плеханов заявлял: «Под впечатлением

---

[1] См. С. Р. Микулинский, И. Е. Дядьковский, изд. Московского общества испытателей природы, М. 1951, стр. 97.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. первое, т. XIV, стр. 647.

всех этих отрывков легко можно подумать, что они написаны не в начале 40-х годов, а во второй половине 70-х, и притом не Герценом, а Энгельсом. До такой степени мысли первого похожи на мысли второго. А это поразительное сходство показывает, что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, а стало быть, и Маркса»[1]. Но, в отличие от Ленина, Плеханов не умел различить основную, ведущую материалистическую тенденцию философского развития Герцена и писал об идеализме автора «Писем об изучении природы»[2].

Чрезвычайно существенна та осознанная самостоятельность философских воззрений, которая была достигнута Герценом в «Письмах об изучении природы». Эта самостоятельность явилась плодом энергических, беззаветных и трезвых поисков русскими людьми 40-х годов передовой теории. С другой стороны, Герцен глубоко интересовался учениями, новейшими выводами и стремлениями передовой революционной западноевропейской мысли. Отметим в этой связи, что в своем дневнике 1842 года Герцен горячо приветствовал революционные и материалистические идеи «Немецких летописей», где печатались Маркс и Энгельс (2, 223).

Обосновывая в «Письмах» взгляд на природу, как на постоянно обновляющееся развитие, Герцен стремился применить этот взгляд и к истории общества.

Впоследствии, уже после смерти Герцена, Огарев писал о «Письмах об изучении природы»: «Это было в России первое слово, которое сбивало разом тупоумие всякой метафизики и тупоумие всякого правительственного строя. Цензура их пропустила, потому что всего их значения не поняла»[3].

Как уже отмечалось, по словам Герцена, в природе «...живое, развиваясь, беспрестанно отрекается от миновавшей формы, обличает неестественным тот организм, который вчера вполне удовлетворял» (3, 92).

Герцен понимал, что в развитии природы раскрываются внутренние противоречия ее явлений, их противоположные стороны — старое и новое, умирающее и на-

---

[1] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIII, Гиз, 1926, стр. 377.
[2] Там же, стр. 370.
[3] «А. И. Герцен в русской критике», М. 1953, стр. 177.

рождающееся: «...чем более развита жизнь, чем в высшую сферу перешла она, тем отчаяннее борьба бытия и небытия...» (3, 156).

Такое диалектическое представление о природе и вело Герцена к революционным выводам о характере общественного развития.

Сопоставляя факты и процессы природы и общественной жизни, «физического мира» и «исторического мира», имея в виду, в частности, «образ жизни» Западной Европы, Герцен указывает, что и современный общественный строй, «вероятно... во многом изменится,— человечество не давало подписки жить всегда, как теперь; у развивающейся жизни ничего нет заветного... Юридическая ирония многолетней давности не признается жизнию, совсем напротив, давность с точки зрения природы, дает только одно право — право смерти» (3, 92).

Герцен говорит о существовании закономерностей общественного развития и выступает против взгляда, присущего «некоторым из скептиков и недоученной толпе», согласно которому «вся всемирная история кажется делом личных выдумок и странного сплетения случайностей... все сущее во времени имеет случайную, произвольную закраину, выпадающую за пределы необходимого развития, не вытекающую из понятия предмета, а из обстоятельств, при которых оно одействоряется; только эту закраину, эту перехватывающую случайность и умеют разглядеть некоторые люди и рады, что во вселенной такой же беспорядок, как в их голове» (3, 135).

Герцен отмечал огромное значение материалистических и атеистических идей передовых французских мыслителей XVIII века: «никогда такая огромная сумма всеобщих сведений не была приводима в форму более общедоступную; никакое философское учение не имело такого обширного круга применяемости, такого мощного практического влияния... Философы XVIII столетия раскрыли двоедушие и лицемерие современного им мира» (3; 311—312).

Но, исходя из существования объективных закономерностей исторического развития, Герцен обнаруживал и слабую сторону исторических воззрений французских просветителей XVIII века, состоящую в том, что они «хотели *все вывести из разума:* и гражданский быт и

нравственность,— хотели опереться на одно теоретическое сознание и пренебрегали завещанием прошедшего, потому что оно не согласовывалось с их à priori» (3, 310). Характеризуя диалектику исторического развития, борьбу нового со старым, Герцен говорит: «Старое страшно защищается» (3, 207).

Однако Герцен не приходит к историко-материалистическим взглядам на развитие общества. Он стремился к вовлечению народных масс в активную историческую деятельность. Он верил в огромные творческие силы, заложенные в русском народе, но он не представлял себе, как тесно развитие этих сил связано с материальными условиями жизни России.

Маркс на основании наблюдения западноевропейской жизни уже в «Немецко-французских ежегодниках» 1844 года утверждал, что завоевание будущего общества зависит от соединения «философии», то есть передовой мысли, с пролетариатом. Рост пролетариата в Германии Маркс ставил в зависимость от «*промышленного* развития»[1]. Герцен же, в силу отсталости России, не был в состоянии связать проблему исторической активности народа с исследованием экономической основы общества. Он мечтал о такой передовой теории, которая явилась бы «истинно народным словом» и была бы способна зажечь массы, вдохновить их на борьбу, но не мог понять, что это «слово» должно исходить из трезвого научного знания материальных условий жизни общества. Остановившись перед историческим материализмом, Герцен также не смог прийти к выводу о том, что коренные изменения в общественной жизни происходят лишь путем суровой непримиримой классовой борьбы, путем революционных переворотов, совершаемых массами.

«Письма об изучении природы» явились великой вехой в развитии русской материалистической философии, родоначальником которой был Ломоносов. Русская материалистическая мысль выступает здесь во всем своем богатстве, поражая глубиной и блеском. «Письма» являются одним из тех гениальных творений Герцена, которые объясняют нам замечательное определение Горь-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 1, стр. 428.

кого, сказавшего, что Герцен «представляет собою целую область, страну, изумительно богатую мыслями»[1].

Герцен обладал замечательным даром передавать читателю силу, красоту, обаяние прогрессивной философской мысли, притом в том ее своеобразии, которым она обладала у каждого из великих ее представителей. Он как бы рисует самый ход мысли, ее развитие во всем ее драматизме и противоречиях, с ее сильными и слабыми сторонами. Так характеристика Декарта наглядно передает и прогрессивные и отсталые стороны учения великого французского мыслителя. По словам Герцена, когда Декарт «поднялся в страшно изреженную среду (имеется в виду «среда мышления».— *Я. Э.*), в которую не впустил ничего вперед идущего, когда в этом мраке, в котором все исчезло, кроме его самого, он сосредоточился в глубине духа своего, сошел внутрь своего мышления, поверил свое сознание, — у него вырвалось из груди знаменитое подтверждение своего бытия: cogito, ergo sum (я мыслю, следовательно, существую). Отсюда неминуемо должно развиться единство бытия и мышления, мышление делается аподиктическим доказательством бытия; сознание сознает себя неразрывным с бытием,—оно невозможно без бытия... Но все силы Декарта были потрачены на этот силлогизм, кажется, так простой и который даже совсем не силлогизм. Устрашенный величием своего начала, глубиной своего разрыва с былым и настоящим, он качается, хватается за клочья старого; прошедшее проникает в его душу; в нем схоластика, уже ослабевающая, падающая, снова воскресает сильною и преображенною... Признав сущностью своей одно мышление, неразрывно связанное им с бытием, Декарт растолкнул мышление и бытие; он принял их за две разные сущности (мышление и протяжение). Вот и дуализм, вот и схоластика, возведенная в логическую форму» (3; 245—246).

Своими философскими, так же как и художественными, произведениями Герцен высоко поднимал читателя в сферу трудных, но столь плодотворных идейных исканий, где, говоря словами Пушкина, «ожесточенное страданье», муки сомнений и разочарований не в состо-

---

[1] М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, стр. 206.

янии были затмить «светлых мыслей красоту». Неизменно прививая веру в творческую силу и самостоятельность русской передовой мысли, Герцен вместе с тем внушал сознание того, что победы философии дались усилиями передовых умов всех наций, и показывал, как исторический и идейный опыт разных народов обогащал собою развитие науки.

«Письма» оказали большое влияние на современников. Молодежь — притом не только в университете, но и в духовных семинариях — зачитывалась ими. От одного семнадцатилетнего семинариста, сына знакомого священника, Герцен узнал о напряженном интересе, возбужденном его философскими работами среди учащихся высшего курса семинарии. Семинарист, посещавший Герцена, под влиянием «Писем об изучении природы» порвал с религиозными воззрениями, отказался от карьеры священника, чтобы не проповедовать с алтаря то, что он сам считал ложью. «Духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники» (9, 205),— заявил он Герцену.

Юный Чернышевский познакомился с письмами еще в Саратове[1]. Чтением их увлекались А. Н. Островский и его друзья[2]. Герцену рассказывали, как были приняты студентами его статьи в «Отечественных записках». «Признаюсь, мне было очень весело слышать, большей награды за труд не может быть. Юноши тотчас оценили, в чем дело, и гурьбою ходили в кондитерские читать» (2, 404).

«Письма» много содействовали идейному размежеванию, ставшему к концу 40-х годов более резким.

12. Этические воззрения Герцена

В статьях «По поводу одной драмы», «По разным поводам» и «Новые вариации на старые темы», написанных в 1842—1846 годах и образовавших впоследст-

---

[1] Н. М. Чернышевская, Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, Гослитиздат, 1953, стр. 16.

[2] Л. Р. Коган, Летопись жизни и творчества А. Н. Островского, Госкультпросветиздат, 1953, стр. 27.

вии цикл «Капризы и раздумье», а также в статье «Несколько замечаний об историческом развитии чести», написанной в 1843 году и дорабатывавшейся в 1846 году, Герцен ставит всегда волновавшие его вопросы развития личности, соотношения «частного» и «общего», проблемы этики.

Герцен был ярким, полно и всесторонне живущим человеком, а с другой стороны, глубоким мыслителем, пристально-внимательным к историческим изменениям действительности, общества и человеческих воззрений, а именно поэтому для него на протяжении всей его жизни поиски гармонического соответствия между интересами личности и общества обладали первостепенным, полным истинного драматизма значением.

Притом Герцен именно потому, что рано стал сознавать свою жизнь и личность как «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге» (эту «формулу» «Былого и дум» мы уже упоминали в начале книги), умел в своей личной жизни видеть те ее черты и стороны, которые представляли принципиальный широкий интерес. Свое «частное» он смог связать с «общим».

В 40-х годах он еще не был в состоянии непосредственно рассказывать о себе, но косвенно, в обобщенной форме, уже беседовал с читателем о том, что ему пришлось пережить. Такова статья «По поводу одной драмы», написанная в октябре 1842 года и напечатанная в 1843 году.

Она показывает, что свои революционные и материалистические взгляды Герцен стремился распространить и на «сферу личных отношений», на «психологический быт», на вопросы морали и этики. Он считал необходимым произвести «расчистку человеческого сознания от всего наследственного хлама» (2, 74), от предрассудков и ошибочных воззрений, воспитанных крепостничеством и буржуазным обществом, и боролся за расцвет человеческой личности, за подъем чувства собственного достоинства, за духовный рост человека.

Говоря о том, что «чем более человек сосредоточивается на частном, тем более голых сторон он представляет ударам случайности», что «люди, основывающие все благо своей жизни на семейной жизни, ставят дом на песке», Герцен в статье «По поводу одной дра-

мы» зовет «не отвергнуться влечений сердца, не отречься от своей индивидуальности и всего частного», но «раскрыть свою душу всему человеческому, страдать и наслаждаться страданиями и наслаждениями современности» (2; 63, 65). Он указывает, что невозможно подчинить личную жизнь отвлеченным, рационалистическим нормам поведения, невозможно особенно тогда, когда эта личная жизнь не узка и не замкнута. Он подчеркивает, что попытка «рабски подчинить страсти сердца, всю естественную сторону, все личные требования — разуму» исходит из идеалистического представления о природе. Идеализм не хочет признавать стихийную силу природы, ее противоречия и случайности. «Природа для идеалистов,— пишет Герцен,— *развратившаяся идея*» (2, 60). Этим остроумным афоризмом он разъясняет, что для идеалистов природа, не подчиняющаяся произвольно навязываемым ей теориям и законам, представляет собою в сущности лишь ошибочную идею, а не объективную реальность.

Между тем именно в атмосфере обособившейся и замкнутой личной жизни особенно резко сказывается «внутренняя случайность чувств» и «внешняя случайность обстоятельств» (2, 59). «Природа», объективный ход жизни, человеческие чувства умеют постоять за себя. Только передовое сознание способно, по мысли Герцена, считаясь с силой чувств, найти для них верный путь.

Идеалисты же *«не дают себе труда устремить сердце к разумной цели,* а требуют, чтоб оно отреклось от себя... Таких требований не признает гордое сердце человека, оно сильно своими страстями и знает свою силу» (2, 60).

Герцен защищает полноту, непосредственность человеческих чувств от попыток насильно подавить и рассудочно регламентировать их. Выход он видит в приобщении всего личного к «универсальной жизни». Осознав такое приобщение как свою внутреннюю потребность, любящие укрепляют тем самым существующую между ними связь — «страстность не утрачивается, но преображается, теряя свою дикую судорожную сторону... по мере расширения интересов, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а с нею и ядовитая жгучесть страстей» (2, 64). Но Герцен на собственном

примере убеждался, что и приобщение к «универсальной жизни» не спасает от противоречий и страданий в личном.

И Герцен рано начинает осознавать те огромные трудности, которые представляет верное решение этических вопросов, поведения личности, нахождение путей ее роста в конкретных общественных условиях.

В статье «Несколько замечаний об историческом развитии чести» сказано: «Жизнь общественная — такое же естественное определение человека, как достоинство его личности. Без сомнения, личность — действительная вершина исторического мира: к ней все примыкает, ею все живет; всеобщее без личности — пустое отвлечение; но личность только и имеет полную действительность по той мере, по которой она в обществе. Аристотель превосходно назвал человека *«зоон политикон»*. Истинное понятие о личности равно не может определиться ни в том случае, когда личность будет пожертвована государству, как в Риме, ни когда государство будет пожертвовано личности, как в средние века. Одно разумное, сознательное сочетание личности и государства приведет к истинному понятию о лице вообще, а с тем вместе к истинному понятию о чести. Сочетание это — труднейшая задача, поставленная современным мышлением; перед нею остановились, пораженные несостоятельностью разрешений, самые смелые умы, самые отважные пересоздатели общественного порядка, грустно задумались и почти ничего не сказали» (2, 155).

Герцен видит, что истинное решение этических задач сталкивается со всей толщей повседневного бытового уклада, укоренившихся привычек, всего того, что Гоголь называл «потрясающей тиной мелочей жизни», благословляемых господствующей моралью.

В статье «По разным поводам» Герцен заявляет, что «не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от всего наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принимания неестественного за естественное, непонятного за понятное.

Действительно трудное для понимания не за тридевять земель, а возле нас, так близко, что мы и не замечаем его,— частная жизнь наша, наши практические отношения к другим лицам, наши столкновения с ними.

Людям все это кажется очень простым и чрезвычайно естественным, а в сущности нет головоломнее работы, как понять все это. Кто раз, на минуту отступя в сторону, добросовестно всмотрится в ежедневную мелочь, в которой мы проводим время, да подумает об ней, тот или расхохочется до того, что сделается болен, или расплачется до того, что потеряет глаза. Мы слишком привыкли к тому, что мы делаем и что делают другие вокруг нас, нас это не поражает; привычка — великое дело, это самая толстая цепь на людских ногах; она сильнее убеждений, таланта, характера, страстей, ума» (2; 74—75).

Герцен резко выступает против традиционного в крепостническом и буржуазном обществе воззрения, согласно которому женщина «должна жить исключительно сердцем, ее мир ограничен спальней и кухней» (2, 69).

Он отмечает в своем дневнике: «Зачем женщина вообще не отдается столько живым общим интересам, а ведет жизнь исключительно личную? Зачем они терзаются личным и счастливы личным? Социализм какую перемену внесет в этом отношении?» (2, 283).

Герцен предчувствует, что только социалистическая переделка общества сможет коренным образом и широко, а не в порядке единичных исключений, изменить положение женщины в семье и в обществе. Но социалистическое «обновление мира» представлялось ему тогда еще сравнительно легким и быстрым.

В целом же этические воззрения Герцена в середине 40-х годов достигают высокого теоретического уровня. Ведь у Фейербаха в «Сущности христианства» этика еще принимает форму «истинной религии». Лишь значительно позднее, в «Лекциях о сущности религии», вышедших в свет в 1851 году, Фейербах выдвигает понятие «эгоизма человека», как «соответствующее его природе, а стало быть, и разуму... самопризнание, самоутверждение по отношению ко всем неестественным и бесчеловечным требованиям, которые предъявляют к нему теологическое лицемерие, религиозная и спекулятивная фантастика, политическая грубость и деспотизм»[1]. Другое, аналогичное рассуждение о «вполне законном эгоизме» «угнетенной массы или большинст-

[1] Л. Фейербах, Соч., т. III, Гиз, стр. 56.

ва» было отмечено В. И. Лениным в конспекте этой книги Фейербаха [1]. Очевиден материалистический характер этой мысли, опирающейся на традиции Эпикура и Гельвеция. Но Герцен самостоятельно развил аналогичные взгляды еще в 1845—1846 годах.

В «Письмах» Герцен дал высокую и сочувственную оценку этики Эпикура. Характеризуя историческое значение этики французского материализма XVIII века, и прежде всего Гельвеция и Дидро, Герцен писал: «Философы XVIII столетия раскрыли двоедушие и лицемерие современного им мира; они указали ложь в жизни, противоречие официальной морали с частным поведением. Общество толковало о строгих нравах, гнушалось всем чувственным — и предавалось самому нечистому распутству; философы сказали во всеуслышание, что чувства имеют свои права, но что одно чувственное не может удовлетворить развитого человека, что высшие интересы жизни тоже имеют свои права. Эгоизм доходил до безобразия в обществе и скрывался под личиною самоотвержения, презрения к богатству; философы доказали, что эгоизм — один из необходимых элементов всего живого, сознательного, и, оправдывая его, раскрыли, что человеческий эгоизм — не только чувство личной любви к самому себе, но, сверх того, чувство любви к роду, к человечеству, к ближнему» (3, 312).

Герцен утверждает ценность человеческой личности во всем богатстве ее развития, имея в виду прежде всего личность человека, борющегося за свободу своего народа. Герцен, по словам Горького, видит в личности «силу организующую» [2].

В «Новых вариациях на старые темы» (1846) Герцен подробно охарактеризовал «высокий эгоизм» — «эгоизм развитого, мыслящего человека», сознающего ценность своей личности, противостоящей «средневековым воззрениям», то есть религии и ее проповеди смирения, покорности, «гнусной любви» рабов. Герцен при этом намекает и на социальный смысл этого «высокого эгоизма». Он пишет: «Что мы сказали об эгоизме, то

---

[1] См. В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 54.

[2] М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, стр. 206.

же должно сказать о своеволии. *Минин начал своевольно великое дело восстания против чужеземного порабощения...* Я полагаю, что *разумное признание своеволия есть высшее нравственное признание человеческого достоинства»* (2, 97). Нетрудно догадаться, что в данном случае понятие исторически законного «своеволия» охватывает собою и понятие революционности и что народное восстание против царизма было в глазах Герцена столь же высоким проявлением «эгоизма» угнетенных масс и великим историческим делом, как и борьба русского народа против интервенции. Есть все основания думать, что эти мысли Герцена сыграли свою роль при формировании материалистической этики Чернышевского, его теории «разумного эгоизма».

Герцен еще в своем дневнике 1842 года формулировал вывод об исторических изменениях морали, этических воззрений человечества и об их поступательном развитии: «Конечно, добродетель вечна и всегда должна была быть нормою действования. Но как определилась и понималась добродетель в данные эпохи? Мир эллинский, юдаический, христианский разумели совсем разное. Все течет и текуче, но бояться нечего, человек идет к фундаментальному, идет к объективной идее, к абсолютному, к полному самопознанию, знанию истины и действованию, сообразному знанию, т. е. к божественному разуму и божественной воле» (2, 243) [1].

Но Герцен никогда не был объективистом. Значение субъективного фактора для него было несомненным. Проблемы этики он хотел решать и деятельно, на практике своей собственной жизни, а не только теоретически отвлеченно. Об этом он писал еще в дневнике.

А в статье «По разным поводам» Герцен дает характеристику «натуры действительной», противопоставленной, с одной стороны, «плоской натуре», воплощающей собой ползучий эмпиризм и узкое делячество, и с другой — натуре романтической. Натура действительная не изменяет своим юношеским идеалам, но «воспиты-

[1] Говоря о «божественном разуме» и «божественной воле», Герцен использует эти идеалистические термины, в сущности, для условного обозначения тех вершин, которые суждено достигнуть человеческому сознанию, этике, в частности. Однако здесь чувствуется и влияние идеалистических представлений об «абсолютном».

вает свои убеждения по событиям, так, как Петр I воспитывал своих воинов шведскими войсками». Она умеет считаться с действительностью. Это натура живая, «беспрестанно обновляющаяся» (2, 84). Таким передовым человеком и хотел быть Герцен. Он презирал Боткина, как человека, «обоготворяющего маленькие удобства и боящегося поднести чашу жизни к устам, потому что тяжело держать ее». Зато Белинский, его смелость и последовательность приводят Герцена к многозначительному выводу: «Мы только тех людей можем уважать, которые, решивши в сердце и в голове вопрос, ломят все препятствия, пренебрегают ранами, словом, имеют храбрость поступка и всех последствий его, доросли до действительной жизни» (2, 290).

Однако Герцен еще не мог знать и предвидеть, с какими трагическими событиями его вскоре столкнет жизнь и история и как мучительно трудно будет ему «воспитывать свои убеждения по событиям».

13. В Москве в 1842—1846 годах.— Герцен и Грановский.— Дружеский круг и идейные расхождения.— Отъезд за границу

Осень и конец 1841 года знаменуют собою начало борьбы Белинского и Герцена против славянофилов и окончательное формирование московского кружка передовых людей 40-х годов, идейно возглавлявшего освободительное движение той поры.

В сентябре 1841 года в Москве проводил свой отпуск Герцен, в конце того же года Белокаменную посетил Белинский. При этом, проездом в Москву, он во второй половине декабря 1841 года навестил Герцена в Новгороде.

Белинский, Герцен, Грановский, Огарев и Щепкин составили основу кружка. Именно они, несмотря на серьезные идейные отличия, существовавшие между ними и к 1846 году приведшие к резким расхождениям, определили лицо этого кружка. К ним примыкали также Кетчер, Корш, Боткин. Но эти последние были здесь более или менее случайными людьми, неспособными на какую-либо серьезную борьбу с противниками передового лагеря, а к середине 40-х годов уже игравшими внутри кружка Белинского — Герцена — Грановского

замаскированную приятельскими отношениями фальшивую роль.

Можно и должно говорить об участии — притом руководящем — Белинского в московском кружке, несмотря на то что великий критик бывал в Москве лишь наездами. Следует иметь в виду, что в Петербурге у Белинского были приятели, но не было столь близких ему — и идейно и лично — людей, как Герцен, Грановский, Щепкин.

Идейно близким Белинскому человеком был в Петербурге, конечно, Некрасов.

Но характерно, что как раз Некрасов, как о том свидетельствует Кавелин, посещая Белинского, держался в стороне от других участников так называемого «петербургского кружка» и весьма иронически изобразил их впоследствии в незаконченной повести «Как я велик!».

Если непосредственное, личное участие Белинского в московском кружке было ограничено внешними обстоятельствами, то его письма и статьи оказывали огромное направляющее влияние на москвичей — мысль и слово Белинского постоянно принимали живое участие в духовной жизни московского кружка. С другой же стороны, деятельность москвичей, в особенности Герцена, служила важной идейной поддержкой Белинскому.

Белинский и Герцен особенно остро ставили и подчеркивали кардинальные вопросы, которые определяли собою основные линии идейных, политических разногласий. Формирование московского кружка, в первую очередь благодаря им, было процессом идейного отбора, проверки, размежевания, собирания прогрессивных сил.

Анненков назвал Герцена и его друзей, собиравшихся летом 1845 года в подмосковной усадьбе Соколово близ Химок (здесь снимали дачи Герцен и Грановский, а неподалеку жил и Щепкин), «подвижным конгрессом»[1] деятелей русской культуры. Идейное общение это было глубоко плодотворным. Оно толкало вперед философскую мысль и художественное творчество Герцена, научную и пропагандистскую работу Грановско-

[1] П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПб. 1909, стр. 278.

го, проникнутую новаторским духом сценическую деятельность Щепкина.

«К этому времени, — писал Герцен в «Былом и думах»,— относятся начала всего сделанного потом... Мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли» (9, 112). Белинский и Герцен знали, что их деятельность ведет к непримиримому столкновению с царизмом. Под «железным кулаком» Николая I, говорит Герцен, «мысль наша сделалась дерзка и неустрашима» (14, 45). Но он чувствовал при этом, что Москве передовых людей «недоставало одного — простора, шири; накопившиеся мысли ныли по воле...» (16, 106).

Герцен остро ощущал отсутствие Огарева, в эти годы много путешествовавшего за границей. В письмах к последнему он делится всем, что его волновало.

Еще в 1841 году он писал Огареву: «Наши письма — важнейший документ развития: в них, время от времени... отзываются все впечатления на душу» (II, 416). Это определение очень точно. Так, например, письмо Герцена к Огареву от 1 (13) января 1845 года — один из важнейших документов философского развития друзей. С полным основанием письмо это включается теперь в собрание избранных философских сочинений Герцена. Оно представляет собою существенное дополнение к «Письмам об изучении природы». Герцен дает в письме критику идеализма. «Логика хочет задавить своим всеобщим элементом частно-вольную природу,— пишет он.— Напрасно сознательная мысль хочет стать перед природой, как prius (первоначальное.— *Я. Э.*). Это логическая перестановка... Что такое чистая мысль в самом деле? Это — привидение, это — те духи бесплотные, которые видел Дант и которые хотя не имели плоти, но громко рассказывали ему флорентинские анекдоты» (III, 435, 436).

В годы отсутствия в Москве Огарева крепкая дружба связала Герцена с Грановским, по характеру своему как бы созданным для того, чтобы играть в кругу друзей объединяющую роль. «Где был Грановский,— писал Чернышевский,— там могло быть только одно чувство — чувство братства» [1]

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 222—223.

По всему своему духовному складу Герцен и Грановский во многом отличались друг от друга. Грановский был гораздо более сдержанным, чем Герцен, он не выражал своих мыслей с той резкостью и страстностью, которая органически была присуща Искандеру. Грановскому чужда была ирония, Герцен не раз упрекал его за идеализм, за мягкость, за нежелание расценивать действительность со всей трезвостью и беспощадностью. В отличие от остальных участников кружка, Грановский, по определению Герцена, «нашел занятие вполне поглощающее, единое, сообразнейшее душе и глубоко, отчетливо, прекрасно идет по этой дороге» (III, 437). Однако письма Грановского той поры показывают, что в обстановке николаевской реакции у него не было никакой уверенности, что он сумеет эту деятельность продолжать. Им владело глухое беспокойство. В отличие от Герцена, он менее уверенно, менее смело смотрел вперед.

Разумеется, и Герцен получал удовлетворение от своей философской и художественной работы, но у него не было ощущения того, что он уже окончательно встал на единственно верный путь. Вся его жизнь в России 40-х годов как бы пронизана исканиями, сомнениями, неудовлетворенностью.

Это состояние выражается по-разному: то в тревожном раздумье, то в остроумной шутке, но, громко или приглушенно, дает о себе знать и в письмах, и в дневнике, и в художественных произведениях Герцена.

Первого января 1845 года Герцен пишет новогоднее послание Кетчеру, находящемуся в Петербурге, и рисует при этом картину, как их круг будет встречать новый, 1865 год. Грановский будет тогда, пишет Герцен, ректором университета, самого же себя он изображает в виде «гунявого старичишки и болтуна», который вместе с Огаревым, больным подагрой, будет «придумывать, чем бы заняться дельно — анатомией или музыкой» (III, 431, 432). Очевиден шутливый тон этого письма. Однако в основе его лежит и серьезная мысль, и горькое чувство. Герцен никогда не мог бы удовлетвориться кругом семьи и друзей, хотя именно в это время семейная жизнь его складывалась спокойно и счастливо. Подрастал Саша, родившийся во Владимире, в декабре 1843 года родился сын Николай. Правда,

вскоре обнаружилось, что он глухонемой, но этот необычайно милый, кроткий и понятливый ребенок стал общим любимцем. В 1844 году у Герценов родилась дочь Наталья. Но в семье и даже среди друзей Герцену было тесно.

Герцен всегда живо чувствовал быстроту движения жизни: «Человечество несется теперь, как по железной дороге. Годы — века» (3, 74). Он хотел деятельно участвовать в этом развитии и страшился вынужденной пассивности или же новых преследований, могущих помешать осуществлению больших замыслов. В январе 1844 года он записывает в свой дневник: «Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы (то есть передовых людей.— *Я. Э.*)... Удар не минует моей головы, меня знают они давно» (2; 328—329). Герцен имел перед собою пример Чаадаева, с которым он был близок после ссылки. Такой замечательный мыслитель был обречен, как выразился Герцен в дневнике, на «ничтожную жизнь маленьких прений, пустой траты себя словами о ненужном, ложной заменой истинного дела и слова» (2, 383). Идейно Чаадаев «ужасно отстал» (2, 226).

Но, подавляя внутреннюю тревогу, Герцен шел вперед. Он был сильнее Грановского, впадавшего порой в глубочайший пессимизм. «Я крепче тебя» (III, 411),— писал Герцен в 1844 году своему другу.

Как говорил впоследствии Герцен, «Грановский думал историей, учился историей и историей... делал пропаганду». Пропаганда же Грановского представляла собою, по словам автора «Былого и дум», «постоянный, глубокий протест против существующего порядка в России» (9; 122, 124).

Грановский первый начал в Московском университете чтение публичных лекций, имевших огромный успех и привлекавших самую разнообразную публику — от светских дам до разночинной молодежи. Происходило «новое сближение города с университетом» (2, 122).

Главная мысль, которая лежала в основе как публичных лекций Грановского по истории средних веков, так и его университетского курса, мысль о противоречивом, но неуклонном прогрессивном развитии человечества являлась хотя и косвенным, но вместе с тем неумолимым обвинением против господствовавшего в Рос-

сии отсталого самодержавно-крепостнического строя. Пропаганда Грановского по сути своей доказывала историческую обреченность этого порядка.

Герцен высоко ставил деятельность передового ученого-пропагандиста. Он понимал общественную политическую своевременность исторического курса, который читал его друг. В статье о лекциях Грановского он подчеркнул их злободневность: «...былое пророчествует... устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед» (2; 112—113).

Следует отметить, что лекции Грановского содержали и замаскированные политические намеки и политические выпады, несомненно понятные чутким слушателям. Так, например, по словам самого историка, он в своих лекциях «несколько раз выводил на сцену Шевырева», в частности когда говорил о риторах IV—V веков [1].

И Белинский видел в научной проповеди Грановского, раздававшейся с университетской кафедры, важное средство идейного воспитания молодежи, уступающее по силе и широте влияния только передовому журналу. Высоко оценили впоследствии роль Грановского и столь взыскательные судьи, как Чернышевский и Щедрин. Чернышевский сказал о нем следующее: «Человек, по природе и образованию призванный быть великим ученым и шедший всю жизнь неуклонно и неутомимо по ученой дороге, не оставил, однако, по себе сочинений, которыми наука двигалась вперед... Однако почему же Грановский писал мало?.. Потому, что он был истинный сын своей родины, служивший потребностям ее, а не себе. Не знаем, сознавал ли он, на какую высоту становится, какую блестящую славу снискивает, отказываясь от своей личной ученой славы?» [2] Чернышевский указывает далее, что, с точки зрения влияния на широкую аудиторию, живое слово Грановского было более действенным, более эффективным, чем те капитальные исторические сочинения, которые он мог бы написать.

Д. Заславский писал в «Правде»: «Имя Грановского неотделимо от имен Белинского и Герцена. Между ними существовали расхождения. У каждого был свой по-

---

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 459.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 353.

литический и литературный облик. Но они творили общее дело» [1].

Грановский, как и Герцен, работал над изучением закономерностей исторического развития и считал необходимым, чтобы историческая наука исходила из того же представления о развитии, что и естественные науки. Материалистические тенденции, укреплявшиеся в исторических воззрениях Грановского, в последний период его деятельности [2] (на эти тенденции указывал Чернышевский [3]) сложились не без влияния Герцена, призывавшего своего друга войти «в физиологию истории», подвергнуть ее «естественно-историческому рассмотрению» (V, 281).

Грановский обладал глубокой верой в то, что преданное служение науке принесет свои плоды, он, подобно Герцену, чувствовал силу «русского ума, любящего свет и простор». Не случайно Герцен именно в статье о публичных чтениях Грановского указывал: «У нас не может быть науки, разъединенной с жизнию: это противно нашему характеру» (2, 122). Грановский всем своим обликом противостоял «цеховым ученым», разоблаченным Герценом в «Дилетантизме в науке». Своей деятельностью он воплощал единство передовой науки и освободительной пропаганды. В лице Грановского русская историческая наука служила народу.

Грановский хорошо понимал характер Герцена. Поверхностные наблюдатели часто недооценивали стойкости его убеждений. Их вводил в заблуждение внешний облик Герцена, его громкий смех, шутливые выходки, брызжущее остроумие, пылкость и импульсивность. Многие считали его только человеком увлечений и порывов.

---

[1] «Правда» от 21 марта 1938 г. Д. Заславский, Истинный сын своего народа (125 лет со дня рождения Т. Н. Грановского).

[2] Характеристику общественно-политических воззрений Грановского см. в кандидатской диссертации А. А. Андрианова, Т. Н. Грановский и общественное движение 40-х — первой половины 50-х годов XIX века в России (Московский областной педагогический институт, 1954). Ср. также вводную статью Я. З. Черняка к публикации писем Т. Н. Грановского в томе 62 «Литературного наследства». О Грановском-историке см. С. А. Асиновская, Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский), изд. АН СССР, М. 1955.

[3] См. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 358.

Грановский же писал одному своему другу в 1845 году: «Жаль, что ты мало знаешь Герцена... Встреча и близкое знакомство с таким человеком доставили бы тебе много радости. Это одна из самых чистых, умных и твердых натур, какие мне встретились, несмотря на его наружное легкомыслие» [1].

Сохранилась и более поздняя чрезвычайно интересная характеристика Герцена, принадлежащая перу Грановского. В августе 1849 года он, прочитав «Доктора Крупова», писал Герцену: «От этой пьесы мне повеяло всем тобою. В Левке и в Крупове были знакомые, дорогие мне черты, хотя они и не похожи один на другого» [2]. Этот отзыв друга, так хорошо знавшего Герцена, помогает уяснить себе глубокое своеобразие личности последнего. Острота и резкость мысли, часто шутливой и иронической, но полной страсти и способной дойти до самых беспощадно скептических выводов, сочетались у Герцена с нравственной цельностью и чистотою, неподдельной искренностью и непосредственностью, с гуманностью, мягкостью и нежностью дружеского чувства.

Так же как и Белинский, Герцен всегда целиком, без оглядки и задней мысли отдавался труду, а в часы отдыха — дружеской беседе, веселью, развлечению. В этой непосредственности, цельности и «раскрытости» (если использовать герценовское выражение) характера было нечто почти детское, необычайно привлекательное. Самая мысль Герцена была свободна от малейшего оттенка умничания—впоследствии Герцен сказал—«хуже и вреднее дураков нет — как умники» (20, 716), она выражала собою всего человека, все богатство его натуры.

Грановский понимал Герцена, но он идейно отставал от него, революционера, демократа и материалиста, и это не могло не отразиться на их взаимоотношениях. Грановский не шел на компромиссы с самодержавием. Благородством и глубиной убеждений он резко отличался от Боткина или Корша. Но он не был готов к революционной борьбе. Это был «слабый политический борец, просветитель, а не революционер»,—писал Д. Заславский в уже цитированной статье. В этом было резкое отличие Грановского от Герцена. Грановский не

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, М. 1897, стр. 420—421.

[2] «Литературное наследство», т. 62, стр. 96.

искал революционной теории. Он не понимал, что передовая мысль закаляется в борьбе, в непримиримых столкновениях с противниками ее. Он пытался обойти острые углы и искал соглашения там, где оно уже было невозможно. В этом отношении для него характерно полное непонимание величия исторической роли Робеспьера, как главы якобинцев,— в данном вопросе и Белинский и Герцен решительно возражали Грановскому. Искандер писал Белинскому: «Максимилиан один истинно великий человек революции... может быть, в этом случае я вдаюсь точно по-твоему в величайшую крайность; но что делать, это не минутное увлечение, а убеждение глубокое» [1].

К середине 40-х годов Грановский все больше склоняется к идеализму. Порой он еще пытался найти утешение в религиозных упованиях. Упомянув в дневнике об обращении Грановского в тревожные минуты жизни к молитве, Герцен пишет: «Я не могу этого делать. В решительных минутах я, наконец, нахожу силу и стою, будто на барьере во время дуэли, — жду, что пуля — мимо или в грудь... Жду мрачно, собравши всю твердость... Я иду и на гору, и под гору с дикой, свирепой последовательностию, не отгоняю страшного, а всматриваюсь в него» (2, 323).

Десятого апреля 1843 года Герцен записывает в дневник: «Вчера так тихо, мирно сидели мы вечер у Грановского, мы, они, Кетчер и Боткин,— какая благородная кучка людей, какою любовью перевязанная!» (2, 275). Но уже 26 мая того же года Герцен вносит совершенно иной оттенок в характеристику дружеского круга. «Я смотрю около — всё дети, умные, полные благородства, высоких симпатий и веры, детской веры» (2, 282). Герцен имел в виду романтизм и идеализм, присущий его друзьям.

Вывод этот подтвердился, когда появились в печати «Письма об изучении природы». Сам Герцен указал Грановскому, хвалившему их, что тот не может быть согласен с внутренним смыслом «Писем», то есть с материалистическими воззрениями, легшими в их основу. Грановский ответил на этот вызов в соответствии с общей своей идейной позицией: «Мне в твоих статьях нра-

[1] «Литературное наследство», т. 56, стр. 80.

вится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро: они живо, резко затрагивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед; ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться». Но то, что Грановскому казалось лишь крайностью и односторонностью, являлось для Герцена выстраданной истиной. А от подлинного друга Герцен требовал «тождества в главных теоретических убеждениях» (9; 209, 211).

Между тем у Боткина, Корша и других все больше обнаруживались черты либералов-западников, апологетов западноевропейского буржуазного строя. В этом отношении Грановский был гораздо ближе к Герцену и Белинскому, нежели к ним, но он не сумел тогда понять правоту Герцена в основных философских вопросах.

Теоретические расхождения обрастали личными размолвками. С Герценом оставался один Огарев, вернувшийся в 1846 году из-за границы и во многом самостоятельно прошедший тот же идейный путь, что и Герцен. Тяжесть этого конфликта передала в своем дневнике Наталья Александровна, целиком разделявшая взгляды мужа и страстно переживавшая споры и вызванные ими осложнения. Она пишет 30 октября 1846 года: «Шесть месяцев тому назад все мы протягивали друг другу руку, хотелось еще думать, что нет в свете людей ближе между собою,— или хотели думать, теперь даже и этого никому не хочется. Какая страшная тоска и грусть была во всех, когда сознали, что нет этой близости... Однако же мало-помалу силы возвращаются, проще, самобытнее становится, будто сошел со сцены и смотришь на нее из партера... Разошлись по домам, теперь хочется уехать подальше, подальше»[1]. Друзья тяжко переживали «теоретический разрыв». Разногласие между Герценом и Грановским получили и более широкий общественный отклик. Студенческая молодежь, увлеченная статьями Герцена и горячо любившая Грановского, хотела, писал Герцен, «чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений» (9, 207). Молодежь чувствовала грань, отделяющую воззрения Грановского от материализма «Писем об изучении природы». Самый факт того, что «теоретический разрыв» повлек за собой

[1] «Русские пропилеи», изд. М. и С. Сабашниковых, т. I, М. 1915, стр. 233—234.

личные расхождения, был глубоко знаменателен. Он свидетельствовал об обострении идейной борьбы. Размежевание постепенно приобретало политический характер.

Расхождения с Грановским, с Кетчером обострили у Герцена чувство неудовлетворенности московской жизнью. К тому же стало ясно, что получить разрешение на журнал, о чем хлопотали друзья, не удастся.

Герцен особенно страдал от того, что у него не было «практического дела, которое было бы принимаемо за дело истинное, вовлекающее в себя все силы души», страдал от «расторжения теоретической жизни и практической» (2; 383, 384). Он разделял судьбу многих русских передовых людей, которым и много позднее приходилось, по словам В. И. Ленина, во времена подготовки революции «...страдать от чрезмерного погружения в теорию, оторванную от непосредственного действия» [1].

Все более неотступно думал Герцен о заграничной поездке; еще давно, как мы видели, он связывал с ней свои надежды на «деятельную жизнь». Именно потому в своем дневнике он резко критиковал Огарева, не нашедшего себе за границей дела.

Герцен стремится за пределы николаевской России «не для того, чтоб жить там праздному и проживать все свое состояние пошло... такая жизнь за границей — безнравственное бегство» (2, 412). Герцен ищет за границей не безопасного и безмятежного существования. Там он надеется работать на благо России, русского народа, используя для революционной деятельности те возможности, которых не было на родине.

Вместе с тем Герцена влекло за границу, особенно во Францию, предчувствие наступающих революционных сдвигов. Сопоставляя социалистическое учение с ранним христианством, он записывает в свой дневник в марте 1844 года: «В наше время социализм и коммунизм... предтечи нового мира общественного... Обновление неминуемо. Принесется ли оно вдохновенной личностью одного, или вдохновением целых ассоциаций пропагандистов — собственно, все равно; разумеется и то, что пути эти вовсе не противуположны» (2, 345).

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 71.

Социалистический переворот представлялся тогда Герцену возможным в результате одной лишь революционной пропаганды. Герцен и отдаленно не представлял себе суровости и беспощадности тех уроков классовой борьбы, которые ему вскоре пришлось усвоить. Однако Герцен не закрывал глаза на назревание кровавых революционных событий в Европе. В октябре 1843 года Герцен делает в своем дневнике следующую запись: «3 сентября в Афинах (Герцен имеет в виду происшедшее в столице Греции вооруженное восстание.— *Я. Э.*) и движение в Италии. Итак, юг Европы не спит. В Италии будут казни. В Греции — бог знает что. Правительство Людвига-Филиппа против, оно не хочет понять своего призвания в борьбе двух начал и укрепляет Париж. Без крови не развяжутся эти узлы. Отходящее начало судорожно выдерживает свое место и, лишенное всяких чувств, готово всеми нечеловеческими средствами отстаивать себя» (2, 309). Самый характер этой записи говорит о том, в какой мере кровавые революционные события еще представлялись тогда Герцену неестественными и ненормальными. В тот период он даже видел в правительстве Июльской монархии возможного примирителя классовых противоречий.

Хлопоты о разрешении ехать за границу шли мучительно долго. Тем временем в мае 1846 года, в возрасте 79 лет, умер отец Герцена, оставив сыну значительное состояние. К концу этого же года ходатайство Герцена привело наконец к положительному результату. Паспорт был выдан ему сроком на 6 месяцев, целью поездки указано было лечение жены. В январе 1847 года Герцен с женой, матерью и детьми выехал за границу.

Накануне отъезда друзья давали Герцену прощальный ужин. На нем присутствовали среди других Чаадаев и Грановский. Первый тост Герцен предложил «за старшего из нас — за Чаадаева» (18, 90). Герцен как бы чтил тем самым в лице Чаадаева своих предшественников. Щемящее чувство боли испытывал Грановский. Именно разлука с потрясающей ясностью показала ему, как много терял он с отъездом Герцена. С особенной остротой ощутил он силу своей привязанности к другу. Его покидал дорогой и близкий человек, в котором ключом била жизнь, передовая смелая мысль, молодое чувство.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЕРЦЕН В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

1847—1851

I. В ПАРИЖЕ В 1847 ГОДУ

«Берлин, Кельн, Бельгия,— все это быстро прореяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и *доехали,* наконец»,— говорит Герцен в «Былом и думах» (10, 16). Торопился Герцен в Париж, и Пруссия и Бельгия оставили у него лишь беглые впечатления.

В Эльберфельде, по пути в Кельн, Герцен садится в поезд. Это было его первое длительное путешествие по железной дороге. В России Герцену приходилось ездить только по царскосельской дороге. В тот же день, в письме из Кельна, он делится впечатлениями с далекими друзьями: «Езда по железным дорогам имеет какое-то величие и притом сладострастие. После этого вихря, несущего вас с быстротою стрелы, почтовые кареты и дилижансы делаются противны» [1].

Двадцать пятого марта Герцен приезжает в Париж. Легко себе представить, с каким интересом наблюдал Герцен жизнь французской столицы. Ведь он приехал из страны, в городах которой и на улицах и в общественных местах не знали непринужденного обмена мнениями и громкого веселья, где всякое сборище возбуждало подозрительное внимание царской полиции, где

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы». Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1927, стр. 28, 32.

даже у себя дома люди боялись громко высказывать свои взгляды, опасаясь быть подслушанными. А здесь Герцена окружила шумная уличная толпа, не стеснявшаяся в выражении своих мнений, лилось через край веселье публичных балов и маскарадов, слышались озорные сатирические песенки Беранже. Там, на родине, передовая мысль вынуждена была прятаться и прибегать к эзоповскому языку. А здесь громко шли нескончаемые споры по политическим и социальным вопросам, и в витринах книжных магазинов каждый день появлялись все новые и новые публицистические брошюры. Здесь журналистика выступала со скандальными обвинениями против продажных и преступных министров Луи-Филиппа, газетные заголовки кричали о сенсационных убийствах, дуэлях, взятках, вскрывались гнойные язвы буржуазного общества, на верхах которого в эпоху Июльской монархии, по словам Маркса, «деньги, грязь и кровь сливаются в один поток» [1]. Росло общественное возбуждение.

Герцен рассказывает в «Былом и думах», что сразу по приезде он не мог усидеть дома: хотелось взглянуть на улицы и площади, известные ему по событиям Великой французской революции. В Париже проводило время немало русских дворянских интеллигентов. Но это были по большей части праздные туристы. Они слепо преклонялись перед иностранными знаменитостями. Самым скверным в этом преклонении было то, что оно освобождало от необходимости искать за границей конкретной, действительно весомой работы на пользу родины и вело лишь к более или менее легковесным литературным упражнениям на политические и социальные темы, а главным образом к громким, но ни к чему не обязывающим фразам. О таких туристах иронически писал Маркс: «Русская аристократическая молодежь воспитывается в немецких университетах и в Париже. Она гонится всегда за самым крайним, что только дает Запад. Это чистейшее гурманство...» [2] Герцен считал характерным для этой молодежи «почтение, благоговение, низкопоклонство...» (19, 308).

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 11.

[2] Там же, изд. первое, т. XXV, стр. 534.

В Париже находились в то время и близкие Герцену люди — Бакунин, Сазонов. Радостной была их встреча на чужбине. Они быстро ввели Герцена в курс парижской жизни. Но чем дальше, тем все резче обнаруживается непонимание между ними и Герценом.

Бакунин и Сазонов были опьянены атмосферой Парижа, встречи и беседы с Луи Бланом, с Прудоном, споры с польскими эмигрантами о будущих границах свободной России и свободной Польши, дебаты на философские темы — все это заполняло их время и внимание.

Уже вскоре по приезде Герцен отзывается о Сазонове как о «романтике, плодовитой бесплодности» (V, 48). Он имел основания для такой характеристики. Сазонов искал только такой деятельности, которая протекала бы «при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов» (10, 322), и, конечно, не находил ее.

Сам Герцен задачу «практического человека» видел в том, чтобы «быть своевременным, уместным, взять именно ту сторону среды, в которой возможен труд, и сделать этот труд существенным» (V, 47). Этого Герцен достиг в России. По-новому встала перед ним та же задача за границей. И здесь он сравнительно быстро находит путь к «литературной (практической и очень) деятельности». Мы увидим, что его «Письма из Avenue Marigny» (так называлась улица, где жил Герцен), написанные в Париже и печатавшиеся в «Современнике», имели серьезное значение в русской идейной жизни.

Бакунина Герцен считает «примером противоположным», то есть человеком, не нашедшим практического дела (V, 48), применения. Правда, Бакунин, покинув Россию в 1840 году, провел время не праздно. В 1842 году, под псевдонимом Жюль Элизар, Бакунин напечатал в журнале «Немецкие летописи», издававшемся в Дрездене левым гегельянцем Руге, статью «Реакция в Германии». Статья эта привлекла к себе всеобщее внимание. Она была проникнута горячим предчувствием революционных событий. Герцен, ознакомившись с этой статьей в 1843 году, пришел в восторг. Накануне революции 1848 года Бакунин находился в дружеских отношениях не только с Прудоном, но и с К. Марксом и целиком был захвачен желанием принять активное участие в назревавших революционных событиях. И тем не менее

вышеприведенная оценка Герцена имела под собою веские основания. Революционные устремления Бакунина были чрезвычайно отвлеченными, в них не чувствовалось знания практических условий.

Герцен рассказывает, что в первых же парижских беседах с Бакуниным и Сазоновым обнаружилось, что последние были разочарованы новостями, привезенными из России. Они ждали известий о русской революции, не очень задумываясь над тем, существуют ли предпосылки для нее. «Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами» (10, 323).

Критическое отношение Герцена к Бакунину разделил во время своего пребывания в Париже и Белинский. Фантастическая, лишенная реальных оснований вера Бакунина в скорую и легкую революцию в России вызвала отпор со стороны Белинского, так хорошо знавшего русскую жизнь. Он иронически называл Бакунина «верующим другом» своим и относил его к числу неисправимых «фантазеров».

Наиболее подробные воспоминания о жизни Герцена в Париже оставил П. В. Анненков, находившийся с ним, как и со всем кругом русских передовых людей 30—40-х годов, в приятельских отношениях. Анненков был внимательным наблюдателем и мемуаристом, обладавшим несомненным чутьем на замечательных людей своего времени и умевшим «интервьюировать» последних, как то показывает, например, большое письмо Маркса о Прудоне, вызванное запросом Анненкова.

Такой человек мог более или менее точно, притом с любопытными деталями, фиксировать внешнюю сторону жизни Герцена в Париже, но ему, либералу-западнику, остались совершенно недоступны подлинные стремления, руководившие будущим создателем «Колокола». В своих воспоминаниях Анненков подробно описывает, как быстро преобразился Герцен внешне в Париже, как он из

«московского жителя... в долгополом сюртуке, который странно мешал его порывистым движениям», стал «джентльменом западной расы — с подстриженной головой, щегольской бородкой... и пиджаком, ловко и свободно державшимся на плечах».

Анненков вспоминает, какой большой интерес возбудил к себе Герцен в политических и литературных кругах Парижа. «Многосторонняя образованность Герцена начинала ему служить всю ту службу, к какой она была способна, — он понимал источники идей лучше тех, которые их провозглашали, находил к ним дополнения и очень часто поправки и ограничения, ускользавшие от специалистов по данным вопросам. Он начинал *удивлять* людей, и немного прошло времени с его приезда, как около него стал образовываться круг более чем поклонников, а, так сказать, *любовников его,* со всеми признаками страстной привязанности... Не раз при разгаре этого интеллектуального пира в Париже мне вспоминались московские пиры села Соколова, сопровождавшиеся таким же нервным возбуждением физических и нравственных сил»[1]. Пытаясь же определить направление деятельности Герцена в Париже, Анненков заявляет: «Почва европеизма... окончательно овладеет им (Герценом. — *Я. Э.*) и уже не уступит его никакой другой». По его мнению, Герцен стремился за границей «нажить себе второе духовное отечество, так как первое уже лишилось своей притягательной силы»[2].

Трудно было ошибочнее и хуже понять Герцена!

Завязывая разнообразные связи в демократических кругах Парижа, с горячим участием наблюдая общественную жизнь Франции, Герцен упорно искал пути, которые бы вели к завоеванию трибуны для представителя передовой мыслящей России. «Духовным отечеством» для Герцена всегда и неизменно оставалась Россия. К ней всегда были обращены его помыслы.

Герцен еще не имел тогда возможности выступить в западноевропейской печати с такими большими статьями о России (это значило бы отрезать себе путь к возвращению на родину), как в 1849 году, но самая его

---

[1] П. В. Анненков, Литературные воспоминания, стр. 320—321.

[2] Там же, стр. 303, 322, 323.

личность, глубина и блеск его мысли обращали уже на себя внимание. Тем самым подготовлялась почва для будущей политической и литературной деятельности Герцена, как зарубежного представителя революционной России.

II. «ПИСЬМА ИЗ «AVENUE MARIGNY»

Цензура Николая I, беспощадная по отношению к малейшим попыткам открытого публицистического обсуждения социальных и политических проблем русской жизни, до известной степени допускала в период, предшествовавший революции 1848 года, критику буржуазного порядка Франции. Этим и воспользовался Герцен в «Письмах из Avenue Marigny», появившихся в «Современнике». На западноевропейском материале он затронул вопросы злободневные и для России. Форма писем-фельетонов, начиная с этого момента, станет одним из его излюбленных литературных жанров. Этот жанр предоставлял ему возможность коснуться широкого круга тем.

Форма эта в высшей степени отвечала тяготению Герцена к свободному, не стесненному какими-либо строгими рамками изложению и языку. Впоследствии Герцен скажет, что для «всякой всячины... форма письма самая широкая, она свободна, как женская блуза, нигде не шнурует и нигде не жмет» (18, 64). В частности, эта форма была особенно удобна для «врасплох остановленных и наскоро закрепленных впечатлений» (5, 9), составивших, по словам автора, содержание «Писем из Avenue Marigny». Но «Письма» Герцена обладают существенными особенностями, резко отличающими их, например, от «Парижских писем» Анненкова. Последние содержательны, но в них не чувствовалось определенного взгляда, ясной оценки. Их содержание сводилось к фотографиям отдельных фактов, комментированных литератором-обывателем. «Письма» же Герцена проникнуты напряженной, ищущей мыслью. Сам Герцен назвал свою переписку «какой-то движущейся, раскрытой исповедью» (11, 515). Такой «исповедью» были не только его личные, интимные письма, но и его публицистические, очерковые выступления, фельетоны-«письма».

«Письма из Avenue Marigny» представляют собою как бы непринужденную беседу Герцена с московскими друзьями. Он прямо обращался к ним в начальных строках первого письма, вспоминая часы расставанья под Москвой. Любопытно, что в те месяцы 1847 года, когда Герцен писал и посылал в Россию «Письма из Avenue Marigny», сильно сократилась его личная корреспонденция с оставшимися на родине друзьями. Наиболее важные свои впечатления он сумел «остановить» и «закрепить» в письмах-фельетонах, предназначенных для печати, и не было необходимости писать эпистолярные отчеты-очерки, какими в сущности являлись письма Герцена к московским друзьям в первые месяцы 1847 года.

Характерно, что литературные произведения Герцена воспринимались его друзьями именно как письма, как исповедь. Так, «Доктор Крупов», напечатанный в «Современнике», когда Герцен уже путешествовал за границей, явился для Грановского «и художественным произведением и письмом от тебя»[1].

«Письмам из Avenue Marigny» присущ до некоторой степени шутливый тон. Сам Герцен охарактеризовал их как «шалость à la «Reisebilder» («Путевые картины». — *Я. Э.*) Гейне, это болтовня à la Диккенсова «Италия» (V, 178). Так, с самого начала Герцен говорит о себе как о туристе, шутит, что он «до того обжился в вагонах, что, бывало, так и тянет, и поедешь куда-нибудь без всякой нужды... в Остенд, в Антверпен» (5, 398), рассуждает о том, как немецкая кухня влияет на немецкий национальный характер и т. д. и т. п.

Такая шутливость тона отражает отчасти действительное настроение Герцена в ту пору. Следует иметь в виду, что первое из «Писем из Avenue Marigny» датировано маем 1847 года, а последнее — сентябрем того же года. В это время Герцен был еще очень далек от трагических настроений, навеянных июньскими событиями 1848 года и с такой силой отразившихся в книге «С того берега». Но вместе с тем шутливость Герцена является своеобразной формой эзоповского языка, рассчитанной на царскую цензуру. Несколькими годами позднее, в своей книге «О развитии революционных идей в России», Герцен указывал: «...цензура чрезвычайно способ-

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 446.

ствует развитию слога и искусства сдерживать свою речь... Сжатая речь богаче смыслом, она острее; говорить так, чтобы мысль была ясна, но чтобы слова для нее находил сам читатель — лучший способ убеждать. ...Читатель, знающий, насколько писатель должен быть осторожен, читает его внимательно; между ним и автором устанавливается тайная связь» (7; 216—217).

Эта характеристика вполне может быть отнесена к «Письмам из Avenue Marigny». Герцен, например, шутливо говорит о том, что «в печальное время от 1793 до 1814 рейнская кухня подвергалась сильному влиянию французских поваров, ниспровергнувших во многом нравственно-безвкусный и семейно-пресный характер германских яств» (5, 19), и русскому читателю было достаточно ясно, что, назвав цензуры ради эпоху 1793—1814 годов, то есть эпоху Великой французской буржуазной революции и наполеоновских войн, «печальным временем», Герцен получил возможность высказать главное — указать на исторически прогрессивное воздействие этих событий на германские государства с их феодальными порядками.

Но эзоповская манера сказывается не только в частностях. Ею прикрыта основная мысль «Писем». Рейн вызывает у Герцена исторические параллели: «Много жил этот край! Много жила вообще Европа» (5, 20). Какое же отношение русского к этому духовному наследству? Чуждо ли оно ему? И Герцен отвечает: «Разве, привенчивая нас к Европе, Петр I не упрочил нам права наследия? Разве мы не взяли их сами, усваивая ее вопросы, ее скорби, ее страдания вместе с ее нажитым опытом и с ее нажитой мудростью?» (5, 21). Такая постановка вопроса, чрезвычайно типичная для Герцена, получит в его сочинениях дальнейшее углубление и развитие. Он не ограничивается утверждением того, что историческое наследие Европы принадлежит также русским людям. Герцен утверждает, что русский народ имеет возможность учесть исторические уроки, которые пришлось испытать другим, в данный момент более передовым народам, и на основе этого опыта самому пойти вперед и стремиться, в свою очередь, обогнать их. «Европеец под влиянием своего прошедшего не может от него отделаться. Для него современность — крыша многоэтажного дома, для нас... — высокая терраса, фун-

дамент... Мы с этого конца начинаем» (5, 21). Герцен призывал русских передовых людей всматриваться в социальный опыт Западной Европы, для того чтобы самим идти вперед по пути, имеющему всемирно-историческое значение. Эти призывы Герцена были в высшей степени плодотворны. Ленин, говоря о том, как в 40—90-х годах XIX века Россия «выстрадала» марксизм, указывал, что сопоставление опыта Европы было одним из путей к тому. И именно в области сопоставления задач русской передовой мысли, с одной стороны, и опыта Западной Европы — с другой, Герценом было сделано чрезвычайно много. Его взгляды перекликались со взглядами Белинского. Последний указывал, что русские «по праву наследники всей Европы», «мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно»[1], то есть подчеркивал быстроту развития русской культуры, плодотворно использующей исторический, идейный опыт Западной Европы.

Герцен, как и другие русские передовые люди, был глубоко убежден, что восприятие русским народом опыта Западной Европы происходит творчески в соответствии с исторически сложившимися национальными особенностями России. «Сколько ни декламировали о нашей подражательности, она вся сводится на готовность принять и усвоить формы, вовсе не теряя своего характера, — усвоить их потому, что в них шире, лучше, удобнее может развиваться все то, что бродит в уме и в душе, что толчется там и требует выхода, обнаружения» (5, 24).

Замечательную характеристику развития русского народа и его культуры дал с этой точки зрения Белинский во «Взгляде на русскую литературу 1846 года»: «Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он, тем не менее, совершается национально. Иначе нет прогресса. Когда народ поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе силы переработывать их силою собственной национальности в собственную же сущность, — тогда он гибнет политически. На свете много людей, известных под именем «пустых»; они умны чужим умом, ни о чем

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 152; т. IV, стр. 198.

не имеют своего мнения, а между тем, и учатся, и следят за всем на свете. Пустота их в том и состоит, что они заимствуют целиком, и их мозг не переваривает чужой мысли, а передает ее, через язык, в том же самом виде, в каком принял ее. Это люди безличные, потому что чем человек личнее, тем способнее обращать чужое в свое, т. е. налагать на него отпечаток своей личности. Что человек без личности, то народ без национальности... Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении... Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль»[1].

Ощущение глубокого национального своеобразия русского исторического, культурного развития, предчувствие и предвосхищение великих перспектив, открывающихся перед родным народом, органически было свойственно Герцену. Он был убежден в том, что «история этого (русского. — *Я. Э.*) народа в будущем» (5, 25).

Шум и блеск Парижа не ослепили Герцена. С самого начала он резко критически, с отвращением и презрением относится к буржуазии, так откровенно и цинично господствовавшей при Июльской монархии. Герцен вел читателей «Писем» к выводу о том, что вопрос об отношении к буржуазии существен и для русских людей именно потому, что они являются духовными наследниками Европы и болеют ее страданиями, мучаются ее сомнениями. Тем самым Герцен утверждал, что русский передовой человек должен занять критическую позицию по отношению к господству буржуазии и осознать себя социалистом. Это звучало смело в обстановке господства самодержавия и крепостничества, в стране, в идейной жизни которой еще не произошло ясного размежевания между либерализмом и демократизмом. Но, как мы увидим, «Письма из Avenue Marigny» способствовали такому размежеванию.

Герцен был представителем той поры общественного развития, когда, по словам Ленина, «...демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое»[2]. Своими произведениями Герцен воспи-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 29—30, 21.
[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 253.

тывал в русских передовых людях сознание неразрывности демократизма и социализма.

Разумеется, обо всем этом Герцен прямо в «Письмах из Avenue Marigny» говорить не мог, но весь материал «Писем», их эмоциональный склад и ход мыслей вели именно к таким выводам.

Прежде всего Герцен подчеркивает переходный характер «общественного быта» современной ему Западной Европы и в особенности переходный характер ее идейной жизни. «Беспорядок» в последней произошел «от немецких теорий и французских практик», то есть от великих революционных потрясений, ареной которых была Франция, и от того диалектического взгляда на мир, от той «алгебры революции», по позднейшему выражению Герцена, которая возникает из революционно-критического переосмысления гегелевского метода. Эта теория и эта практика «подняли все дрожжи со дна общественного быта и со дна сознания человеческого; все и пошло бродить, мир очутился hors des gonds (**соскочил с петель.** — *Я. Э.*). Возьмешь предмет и не знаешь потом, откуда и как начать» (5; 28—29).

Мысль о сложной взаимосвязи явлений общественной жизни Герцен иллюстрирует на примере парижских театров. Низкий художественный уровень большей части французских театров объясняется растленным влиянием буржуазии. При этом сначала Герцен придает своей мысли шутливую форму: «Чтоб сказать со смыслом пять слов о Фредерике Лемэтре и Левассоре (известных парижских актерах. — *Я. Э.*), мне нужно начать чуть не с Фредерика Барбароссы, и по крайней мере с того Левассера, который сидел в Конвенте» (5, 29). Но шутка эта вплотную подводит к постановке серьезнейшего вопроса: «Остается узнать, весь ли Париж выражают театры, и какой Париж — Париж, стоящий за ценс, или Париж, стоящий за ценсом; это различие первой важности» (5, 29). Дальнейшее изложение и строится на этом противопоставлении. Сначала Герцен рисует «тип парижского пролетария», француза-плебея, «людей толпы», «блузников». Именно французские «работники», а вовсе не буржуа, походят на «порядочных людей», они отличаются чувством собственного достоинства, они гуманны и вежливы: «... что за уважение к женщине, что за трогательное внимание к детям!»

(5; 31, 32). «Пора бы перестать, — говорит Герцен, — разглагольствовать о корыстолюбии бедных, пора простить, что голодным хочется есть, что бедняк работает из-за денег... Дело совсем не в ненависти к деньгам, а в том, что порядочный человек не подчиняет всего им, что у него в груди не все продажное» (5, 30).

Такими настоящими, порядочными людьми и являются французские пролетарии, «дети и внучата угомонившихся крикунов предместий св. Антония и Марсо» (5, 31), то есть плебеев эпохи французской революции. Им Герцен противопоставляет «буржуа, проприетера, лавочника, рантье» — «Париж, за ценсом стоящий» (5, 32). У буржуа — «нравственность, основанная на арифметике, на силе денег, на любви к порядку» (5, 35). Оборотной стороной этой буржуазной нравственности являются «развратик втихомолку», «сальные намеки», «пристрастие к двусмысленностям и непристойностям» в искусстве, в частности в театре (5; 37, 38).

Со страниц «Писем из Avenue Marigny» встает облик морально растленной французской буржуазии, которая «смеется над самоотвержением; приносили людей на жертву идеям — буржуази принесла идеи на жертву себе» (5, 240).

Герцен дает злую характеристику эксплуататорской сущности буржуазного строя, формального буржуазного «равенства». Буржуазная политическая экономия, восхваляющая капиталистический порядок, «совершенно последовательно говорила неимущему: «Не женись, не имей детей, поезжай в Америку, работай 12 часов или умирай с голоду», прибавляя к этим советам поэтическую сентенцию, что не все приглашены жизнию на ее пир, и бесчеловечную иронию, что «вольному воля», что «нищий пользуется теми же гражданскими правами, как Ротшильд» (5, 237).

Иллюстрируя историческую эволюцию буржуазии, Герцен рисует превращение «хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цирюльника и дворецкого» Фигаро, который был «вне закона» до революции, в «Фигаро-законодателя» Июльской монархии. Он теперь «обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством» (5, 33).

Соответственно выродилась и буржуазная культура. «Было время, когда острая и сметливая публика умела

ловко поднять всякий политический намек, всякую смелую мысль; это было во время беранжеровских песен и памфлетов Курье; нынче она охладела к идеям, к «словам»; ныне все акции, фонды, дороги, да и, к тому же, хорошо было фрондерствовать во время Реставрации, а теперь мы сами стали консерваторами и боимся слишком зацеплять политику» (5; 38, 402). Театр Июльской монархии представляет собою, по словам Герцена, «зрелище двадцати зал, в которых набились битком люди с шести часов вечера для того, чтоб до двенадцати восхищаться глупыми пьесами, сальными фарсами, и это всякий вечер» (5, 38). Таким образом, шутливое, с каламбурным оттенком, замечание Герцена насчет того, что разговор об актере Левассоре нужно начинать с члена Конвента Левассера, оказалось, содержало серьезную мысль. Только сопоставление социальной и культурной роли буржуазии до и после французской революции позволяло правильно понять характер общественного строя Июльской монархии и его культуры.

Герцен глубоко чувствовал силу и обаяние передовой французской культуры.

Он любил смех Вольтера, его волновал плебейский протест Жан-Жака Руссо и привлекали вольные песни Беранже. Он восхищался французской комедией.

В этой культуре Герцен видел выражение лучших традиций и стремлений народа Франции. Именно «работник», парижский пролетарий воплощает в себе, по убеждению Герцена, лучшие черты национального характера и революционные традиции Франции. Народ ненавидит и презирает буржуазию, которая предпочитает на сцене и разыгрывает в жизни «пошлые и тяжелые фарсы» (5, 55). «Самая... непростительная сторона в буржуазии — это ее полное сознание; она очень хорошо знает, что уронила Францию в глазах Европы, в глазах народа» (5, 240).

«С тех пор, как все интересы их (буржуа.— *Я. Э.*) можно разменять на звонкую монету, с тех пор, как жизнь превратилась для них в средство чеканить деньги, народ возненавидел их тем более, чем ближе к ним стоит» (5, 239).

Но, остановившись перед историческим материализмом, Герцен, даже констатируя решительную противоположность интересов и стремлений народа и буржуазии

и чувствуя историческую обреченность последней, не видел и не знал исторических закономерностей, которые обусловливают конец ее господства. По словам Герцена, «будущности для буржуази... нет. Она теперь уже чувствует в своей груди начало и тоску смертельной болезни, которая непременно сведет ее в могилу» (5, 239). Так экономика подменялась психологией.

Герцен не различает еще сколько-нибудь ясно материальных, экономических основ буржуазного общества. Поэтому он и говорит лишь о «записной буржуазии и ажиотерах», устранение которых, в его представлении, способно было бы коренным образом изменить существующий порядок. Эти иллюзии питались и социально-политическими особенностями Июльской монархии. Ведь тогда, как говорил Маркс, «господствовала не французская буржуазия, а лишь *одна* ее *фракция:* банкиры, биржевые и железнодорожные короли, владельцы угольных копей, железных рудников и лесов, связанная с ними часть земельных собственников — так называемая *финансовая аристократия*... Собственно *промышленная буржуазия* составляла часть официальной оппозиции, т. е. была представлена в палатах лишь в виде меньшинства... *Мелкая буржуазия,* все ее слои, а также *крестьянство* были совершенно устранены от участия в политической власти»[1].

Выражая демократический протест против господства буржуазии, Герцен не отдавал себе вместе с тем правильного отчета в ее силе.

В 1847 году Герцен еще довольно оптимистически смотрел на будущее Западной Европы, несмотря на то что общественный порядок и буржуазный быт в период Июльской монархии вызывали у него отвращение и презрение. Герцен пишет о положении Франции: «Вы увидите много запутанного, много трудного, много отрицательного, но с тем вместе увидите, что безнадежного, отчаянного ничего нет и что Франция еще изворотится без радикальных средств землетрясения, небесного огня, потопа, мора, которыми так богата искаженная Франция вновь изобретенного Востока (Герцен метит в славянофилов с их теориями исторического регресса

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 8—9.

Западной Европы. — *Я. Э.)*, говорящего с дикой радостью о всем дурном на Западе» (V, 160).

Но оптимизм этот не мог быть прочен. Герцен исходил не из знания законов развития общества, а из «доброго желания», из убеждения, что буржуазный строй недостоин французского народа, его революционных традиций. Поэтому оптимизм Герцена и должен был потерпеть тяжкое крушение в буре революции 1848 года и испытать колебания еще накануне ее.

Было бы неверно, однако, думать, что в 1847 году Герцен вовсе не учитывал условий материальной жизни и их значения для развития общества. Как раз «Письма из Avenue Marigny» ясно показывают, что внимание Герцена к этим вопросам значительно возросло по сравнению с его дневниками и философскими произведениями первой половины 40-х годов. В воззрениях Герцена уже тогда были налицо элементы критики некоторых сторон утопического социализма. Непосредственное знакомство с жизнью Франции, с представителями этих учений усилило его критическое отношение к утопическому социализму. В «Письмах из Avenue Marigny» Герцен называет «существующих социалистов и коммунистов» «людьми какого-то дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем» (5, 234). И тем не менее, в главном и решающем Герцен еще оставался утопическим социалистом. Но, высоко ценя критическую сторону в учениях великих утопических социалистов, Герцен скептически относится к предписываемым ими рецептам построения будущего: «Люди, смелые на критику, — были слабы на создание; все фантастические утопии двадцати последних годов проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный такт, по которому он, слушая, бессознательно качает головой и не доверяет отвлеченным утопиям до тех пор, пока они не выработаны, не близки к делу, не национальны, не полны религией и поэзией» (5, 238).

В критическом отношении к утопическому социализму Герцен в 40-х годах не был одинок среди русских передовых людей. Белинский и Петрашевский критиковали утопический социализм за его попытки отвлеченным путем предвосхитить будущее. Герцен не обладал революционно-плебейской последовательностью Белинского. И тем не менее, в его чутком внимании к доле-

тающим из глубин народа искрам крестьянских бунтов уже в середине 40-х годов сказывается демократ, в котором все более побеждают стремления революционера. Герцен писал впоследствии: «Под... железным кулаком... (Николая I. — *Я. Э.*) наша мысль стала отрезвляться, он добил нас, как квартальный, не пускающий вперед, до мужиков... мысль наша сделалась дерзка и неустрашима» (14, 45).

Слова Ленина о том, что Чернышевский «...был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом...»[1], имеют обобщающее значение для целого периода развития русской передовой мысли.

В том, как Герцен рассматривал перспективы общественного развития Франции, также чувствуется демократ, хотя еще и не закаленный в революционной борьбе и отдающий дань утопическим иллюзиям.

Герцен искал такое социальное учение, которое указало бы конкретные средства к уничтожению «мира голода и нищеты» (5, 43) и было бы способно вдохновить народные массы, начертать им реальные цели.

«Все несчастие прошлых переворотов, — пишет Герцен, — состояло именно в упущении экономической стороны... Тут — одна из причин, почему великие слова и идеи остались словами и идеями» (5, 235). «Вопрос о материальном благосостоянии» Герцен называет «важнейшим общественным вопросом нашего века» (5, 234). Герцен критикует буржуазную политическую экономию за то, что «до человека собственно ей не было дела. Занимаясь им по мере его производительности, она... должна была за пределами своими оставить того, который не производит за недостатком орудий» (5, 237). По словам Герцена, «наука Адама Смита измельчала, выродилась в торговую смышленость, в искусство с наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведений и обеспечивать им наивыгоднейший сбыт» (V, 166).

Пороком «попыток новой экономической науки», то есть экономических теорий утопического социализма, Герцен считал то, что они «держались во всеобщностях, представляли больше стремление, нежели достигнутый результат» (5, 238). Герцен стремится к тому, чтобы

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 97.

социалистическое учение опиралось на конкретное, научное знание «вопроса о материальном благосостоянии». Но все дело в том, что, оставаясь еще в основах своего мировоззрения утопическим социалистом и просветителем, Герцен не ставил и не мог ставить решение «экономического вопроса» в зависимость от исторической смены производственных отношений.

Герцен не анализирует исторических изменений в производственных отношениях, а говорит о необходимости «привести труд, ценность, плату, обладанье к разумным началам, к незыблемым правилам» (5, 235). Это типичные мысли просветителя, отправляющегося не от объективного научного изучения исторического процесса, а от отвлеченных «разумных» начал и надеющегося на этом пути разрешить «экономический вопрос». Решение «вопроса о материальном благосостоянии» представляется Герцену предварительным необходимым условием активности народных масс. Герцен не понимал, что «учит только серьезная, упорная, отчаянная борьба» [1], что именно в процессе классовой борьбы происходит идейный и моральный рост трудящихся масс. К Герцену 1847 года могут быть отнесены слова Ленина: «Старые социалисты-утописты воображали, что... они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм» [2].

«Письма из Avenue Marigny» сыграли большую положительную роль в русской общественной жизни и литературе.

Сквозь многообразие беглых, но красочных и живых зарисовок парижской жизни, в которых сказывались как острота мысли, так и художественная чуткость и мастерство, проступал образ автора «Писем» в напряженности, богатстве и целеустремленности его духовной жизни.

Перед читателями вставал русский передовой человек, вглядывающийся в жизнь страны, в которой, по его выражению, «все худое и хорошее, что делается здесь, точно делается на сцене, а в партере сидит все человечество» (5, 235).

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 363.
[2] Там же, т. 29, стр. 51.

Этот человек не растерялся перед богатством и увлекательностью открывавшегося перед ним зрелища, не разменялся на мелочи. За его оценками чувствуется смелость и гибкость русского ума, обнаруживается высокая требовательность, критическая проницательность, свойственные передовой русской мысли. Этот человек плодотворно усваивает уроки исторического и социального опыта Франции.

Герцен, конечно, отдавал себе отчет, насколько отсталым, по сравнению с буржуазной Францией, был господствовавший в России самодержавно-крепостнический строй. Но Герцена не могли ослепить буржуазный порядок и его культура. Он видел их пороки и болезни. Он мечтал о социалистическом строе, который устранит эксплуатацию человека человеком, власть денег и создаст возможности для полного и богатого расцвета человеческой личности.

* * *

«Письма из Avenue Marigny» и письмо Герцена М. С. Щепкину [1], затрагивавшее те же вопросы, вызвали острую реакцию. «Письма» подействовали, как лакмусовая бумажка,— они вскрыли размежевание буржуазно-дворянского либерализма, с одной стороны, и революционного демократизма, слитого с утопическим социализмом, — с другой. Наиболее откровенным выразителем либерально-буржуазных настроений явился В. П. Боткин.

Побывав в 1847 году во Франции и вернувшись затем на родину, Боткин почувствовал, насколько для него чужда и стеснительна та атмосфера идейной требовательности и принципиальности, которая господствовала в дружеском кругу, возглавленном Белинским и Герценом.

Характеризуя этот круг, великий критик писал с гордостью, что он «нигде не встречал людей, с такою ненасытимою жаждою, с такими огромными требованиями на жизнь, с такою способностию самоотречения в пользу идеи, как мы» [2]. Но такие люди, как Боткин, как

[1] «Литературное наследство», т. 61, стр. 207—212.

[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 67.

Корш, лишь подделывались под тон этого круга, он их стеснял, однако они до поры до времени не смели его нарушить. Кавелин вспоминал, что при Белинском «каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, как можно подальше» [1]. Белинского боялись, ибо знали его чистоту и беспощадность. Острого и меткого слова и веселой насмешки Герцена остерегались не меньше, чем бичующего гнева великого критика. Душевное благородство Герцена, высокий идейный уровень его интересов — все это также невольно заставляло подтягиваться. Как вспоминала верный друг герценовской семьи Т. А. Астракова, «личность Александра как бы ограждала всех от влияния мелочных дрязгов, — если что и прорывалось, то он всегда умел это обратить в шутку и показать вид, что это и не могло быть иначе, как не достойное внимания дело, или обращал данный вопрос в научную форму, и тогда начинались философские прения» [2].

Не случайно, что только после отъезда Герцена Боткин разоткровенничался. В письме к Анненкову от 20 марта 1847 года он жаловался: «Вы не можете представить себе, как здесь трудно живется, каких здесь все исполнено требований... Умеренность и терпимость, которые так привлекательны во французском обществе, здесь это — не добродетели, это — презренные ереси. Имейте их, и вас тотчас обвинят в фривольности» [3].

Еще только ознакомившись с герценовским письмом Щепкину, Боткин выступил в защиту буржуазии, указывая, что письмо это «точно писал один из тех немцев, которые года три назад приезжали в Париж учить французов». Свою защиту буржуазии он попытался также прикрыть теоретическими хитросплетениями и в письмах к Герцену сделал вид, что готов признать законными позиции социализма [4]. В то же время он писал

---

[1] «Белинский в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1948, стр. 88.

[2] «Литературное наследство», т. 63, стр. 538.

[3] «П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 534—535.

[4] См. «Литературное наследство», т. 62, стр. 44—45. Л. Р. Ланской высказал вполне вероятное предположение, что Боткин имел в виду «Маркса, издававшего вместе с А. Руге в 1844 году в Париже «Deutsch-französische Jahrbücher» («Литературное наследство», т. 61, стр. 207).

Анненкову: «Вы меня браните за то, что я защищал bourgeoisie; но ради бога, как же не защищать ее, когда наши друзья со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве?» Боткин не соглашается и с герценовской характеристикой «развратного влияния буржуазии на сцену» и «лицемерства французского общества». Боткин, с его прекраснодушием и философическим фразерством, был типичным и ограниченным буржуазным западником; экономические и моральные устои буржуазного общества были в его представлении незыблемыми. «Что касается до лицемерства, — писал он, — то я думаю, что оно всегда было, есть и будет, и только одно какое-нибудь мечтательное первобытное общество не грешно в нем» [1].

Не соглашаясь с Герценом в революционно-демократическом противопоставлении народа и буржуазии, Боткин заявил, что «чуть разбогатеет ouvrier, тотчас становится bourgeois, так же как разбогатевший мужик становится купцом». Он пытался протестовать против «обожающего поклонения массам», лицемерно прикрываясь «глубоким состраданием» к их «трагическому жребию» [2]. Недаром Белинский говорил о Боткине, что он «съездил в Европу... заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей» [3]. Сам же Белинский был, конечно, на стороне Герцена. Он свидетельствовал: «Эти письма, особенно последнее, писались при мне, на моих глазах, вследствие тех ежедневных впечатлений, от которых краснели и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то мигали не без замешательства» [4]. Белинский во время своего предсмертного заграничного путешествия пробыл в Париже с конца июля по конец сентября 1847 года. Тяжело больной, утомленный путешествием и стосковавшийся по родине, Белинский нашел в семье Герцена дружеское внимание.

---

[1] «П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 542.
[2] Там же, стр. 535, 540, 533.
[3] «Белинский в воспоминаниях современников», сб. под ред. Ф. М. Головенченко, Гослитиздат, 1948, стр. 95.
[4] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 447.

Шумная жизнь Парижа не отвлекала Герцена и Белинского от занятий и дум, определявших собою самое содержание их жизни.

Здесь Белинский прочел Герцену свое знаменитое письмо к Гоголю. Герцен, считавший книгу Гоголя преступлением, по достоинству оценил значение письма Белинского. Он сказал на ухо присутствовавшему при чтении Анненкову: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его» [1].

В Париже друзья, разумеется, не раз обсуждали вопросы, поднятые в «Письмах из Avenue Marigny». Вернувшись в Россию, Белинский выступил в защиту Герцена от нападок Боткина, Корша и других: «Если и есть в письмах Герцена преувеличение — боже мой — что ж за преступление — и где совершенство? Где абсолютная истина?.. Я не говорю, что взгляд Герцена безошибочно верен, обнял все стороны предмета, я допускаю, что вопрос о bourgeoisie — еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит — решит его история, этот высший суд над людьми. Но я знаю, что владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором... Все в нем мелко, ничтожно, противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной гордости... Герцен и в своих письмах остается, как и во всем, что ни писал он, человеком с талантом, и читать его письма — наслаждение даже и для тех, кто замечает в них преувеличение или не совсем согласен с автором во взгляде» [2]. Присоединился Белинский и к герценовской оценке французского искусства. Не имея возможности полно и ясно высказываться по затронутым Герценом вопросам в печати, Белинский кратко повторил этот свой отзыв во «Взгляде на русскую литературу 1847 года».

Белинский обладал более конкретным и трезвым пониманием основных политических задач, стоящих перед русскими передовыми людьми, чем Герцен. Белинский считал правильной ту критику буржуазии, которую развивал Искандер, однако он сразу же ставит перед собою вопрос о том, какие практические выводы из этой критики следует сделать в отношении России. Еще в

---

[1] П. В. Анненков, Литературные воспоминания, стр. 356.

[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 447—448.

обзоре «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский писал: «Теперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно... Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль донкихотов, горячась из них... У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения»[1]. Роль буржуазного развития Белинский оценивал конкретно-исторически, учитывая особенности России как отсталой страны, томившейся под игом крепостничества.

Все эти вопросы обсуждались Герценом, Бакуниным, Белинским во время пребывания последнего в Париже и вызывали оживленные споры. Бакунин, вспоминал Белинский, «доказывал мне... что избави-де бог Россию от буржуази»[2]. Насколько можно судить по одному упоминанию в другом письме Белинского[3], Герцен держался при обсуждении этого и связанных с ним вопросов осторожнее и не соглашался с упрощенным решением Бакунина. Белинский же чем дальше, тем все решительнее приходил к выводу о прогрессивности буржуазного развития для России. «Я знаю, — писал Белинский, — что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества»[4]. Белинский полагал, что «внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази»[5]. Великий революционный демократ обладал таким мощным историческим оптимизмом, который не мог быть поколеблен противоречиями капиталистического развития. При этом Белинский решительно отвергал «владычество капиталистов», то есть такой социальный и политический порядок, в котором господствующее положение принадлежит буржуазии, хотя при этом проводит еще различие между «буржуа-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 32.
[2] Там же, т. XII, стр. 468.
[3] Там же, стр. 448—449.
[4] Там же, стр. 452.
[5] Там же, стр. 468.

зи вообще» и «большими капиталистами» [1]. Последнее объяснялось тем, что при Июльской монархии господствовала только финансовая аристократия. До июньских же дней 1848 года Белинский не дожил.

В спорах, которые в Петербурге и Москве разгорелись вокруг «Писем из Avenue Marigny», особое место занял Грановский. Философские, теоретические разногласия 1846 года теряют для Грановского былое их значение (в этом сказалась, как увидим, идейная эволюция замечательного русского просветителя), и он пишет Герцену: «Соколовские споры не оставили следов, и сколько любви и преданности оставил ты за собою» [2]. По самому своему существу вопросы, поставленные в «Письмах из Avenue Marigny», Грановского затронули меньше, чем Боткина, с одной стороны, и Белинского — с другой. Грановскому не по душе пришлась фельетонная легкость тона «Писем из Avenue Marigny». «В них слишком много фривольного русского верхоглядства. Так пишут французы об России», — говорит Грановский в письме к своему другу Фролову в ноябре 1847 года [3]. Надо, однако, иметь в виду, что Грановский высказал это суждение до знакомства с четвертым письмом, в котором принципиальная сущность взглядов Герцена выступала на первый план. Недооценивал Грановский и эзоповское значение насмешливо-иронической манеры Герцена.

Грановский любил юмор Герцена. Его восхитила, как мы видели, сатирическая мысль, проникавшая собою «Доктора Крупова». Однако бьющие через край остроумие и ирония в «Письмах из Avenue Marigny», нарочитое смешение серьезного с пустяками, множество шутливых отступлений отпугнули Грановского.

Критическое отношение Грановского к «Письмам из Avenue Marigny» принципиально отличалось от полемики Боткина. Основная проблема «Писем» не представлялась Грановскому такой острой. «Что мне за охота спорить с тобою о настоящем значении буржуазии, я говорю об этом довольно с кафедры»,— писал он Герцену [4].

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 449.
[2] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 445.
[3] Там же, стр. 424.
[4] Там же, стр. 446.

В 1847 году Грановский думал, что русский передовой человек имеет еще право относиться к вопросу о социальной роли буржуазии менее страстно, чем Герцен, окунувшийся в гущу политической борьбы Франции и увлеченный идеями утопического социализма.

В том, как Герцен отнесся к критике друзей, сказалась его непоколебимая принципиальность и искренность. В письме, датированном 31 декабря 1847 года и посланном из Рима, Герцен прямо заявил им: «Должен откровенно сказать, что я чувствую настолько в себе самобытности, что даже ваше суждение (без увеличения — очень важное и влиятельнейшее) не может меня потрясти, и я признаю за этими письмами кой-какие достоинства» [1]. Герцен не придавал своим высказываниям в «Письмах» значения полных и окончательных выводов. «Письма эти... не последнее слово, не весь собранный плод». Герцен подчеркивает, что «Письма» представляют собою лишь «несколько набросанных впечатлений, несколько заметок, шутки и дело, мысли, помеченные на скорую руку середь иных занятий, при недосуге, при новости явлений, при оглушительном громе событий» (5; 265, 264). Но он твердо отстаивает данную здесь оценку французской буржуазии. Герцен решительно отводит довод, сводящийся к тому, что русский передовой человек, страдая от гнета самодержавия и крепостничества, не должен резко критиковать буржуазный порядок Западной Европы: «Недостаточно найти страну, в которой все еще хуже, чтоб находить хорошим то, что делается здесь» (5, 89). Демократ и гуманист, Герцен сознает себя как врагом русского самодержавия, так и врагом господствующей во Франции буржуазии. Иронически говорит он о том, что в его письмах находят «недостаток достодолжной скромности в обращении с старшими братьями» (5, 264), то есть с западноевропейскими странами, их социальным порядком и культурой.

Герцен отстаивает свое право на смех над «вещами, которые мне кажутся презрительными» (5, 89), над всем исторически обреченным и отживающим. Он всегда высоко ценил смех, видя в нем, как сказал впоследствии, «одно из самых сильных орудий против всего, что от-

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 40.

жило и еще держится бог знает на чем, важной развалиной, мешая расти свежей жизни и пугая слабых» (5, 266). Жизнь и деятельность за границей позволила Герцену совершенствовать и широко использовать это оружие. «В плесени, покрывающей общество во Франции, все вызывало смех, все досадовало, все дразнило меня», — писал Герцен, но подчеркивал при этом: «Я, помнится, нигде не смеялся... над Францией, стоящей за цензом» (13, 190), то есть над Францией народных масс, пролетариата.

III. В ИТАЛИИ В 1847—1848 ГОДАХ. — «ПЕРЕД ГРОЗОЙ», ИТАЛЬЯНСКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И «ПИСЬМА С VIA DEL CORSO»

С возраставшим отвращением наблюдал Герцен «безобразное нравственное падение» французского буржуазного общества. Подспудное брожение народного недовольства он мог ощущать лишь смутно: «Там где-то внизу раздавались какие-то крики титанов, что-то сильное и страшное». «Смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике, смерть на трибуне» (5, 245) — все это угнетало Герцена. Осенью 1847 года он решил покинуть Париж. 21 октября Герцен направился в Италию. Об этой поездке он и Наталья Александровна мечтали еще в период вятской ссылки. Наталья Александровна восторженно рисовала себе тогда страну, где «и небо юга, и воздух — любовь, и люди — огонь»[1]. С тех пор прошло двенадцать лет, пора юношеских мечтаний миновала давно, но прославленные образы природы и искусства Италии сохраняли свою власть над воображением Герцена и его жены.

Однако впечатления от итальянской природы, ее городов и искусства не смогли сразу подавить разъедающих дум, которые заронила в душу Герцена жизнь в Париже. Об этом свидетельствует первая глава знаменитой книги Герцена «С того берега», датированная 31 декабря 1847 года. Она была написана сразу по приезде в Рим и озаглавлена «Перед грозой». Впрочем,

[1] Соч. А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной, изд. Ф. Павленкова, т. VII, стр. 132.

заглавие это, очевидно, было дано уже после «грозы», то есть после июньских дней 1848 года.

Очерк «Перед грозой» рисует столкновение двух мировоззрений, он изложен в виде спора двух собеседников, один из которых говорит от лица автора. В образе другого обобщены и заострены черты, характерные для Ивана Павловича Галахова — «мечтателя и идеалиста».

Диалог отразил те споры и беседы, которые Герцен вел с Галаховым поздней осенью 1847 года в Ницце, по пути в Рим. В 40-х годах Галахов примыкал к кружку Герцена — Огарева. Среди передовой дворянской интеллигенции той поры он представлял собой характерный тип «лишнего человека». «Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, — писал Герцен о Галахове, — он с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить *истину*... Галахов искал не с скромным самоотвержением, что бы ни нашлось, а искал именно истины успокоительной, оттого и не удивительно, что *она* ускользала от его капризного преследования» (9; 115—116). В поисках такой «истины успокоительной» он шел в католический монастырь, занимался философией, наконец увлекся фурьеризмом. Романтические надежды сочетались в Галахове с меланхолическими настроениями, от которых к полной безнадежности был только шаг. Галахов много думал и много страдал, но его мысли не получили творческого философского или поэтического воплощения, он ничего не оставил после себя.

С самого начала диалога Герцен упрекает своего оппонента в том, что последний не хочет «принять истины, так как она откроется вашей собственной мыслию» (6, 20). Герцен призывает к глубокому, «безбоязненному изучению жизни», ибо «жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами» (6, 24). «Нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану», «...где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?» — подчеркивает Герцен, разумея под «планом» и «программой» абстрактные предположения о будущем, навязываемые действительности утопическим сознанием. «Жизнь не довольствуется отвлеченными идеями» (6; 25, 27).

«Если б человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда, — по мнению Герцена, — истории не было бы, а была бы логика». На самом же деле «борьба, взаимное действие естественных сил и сил воли, которой следствия нельзя знать вперед, придает поглощающий интерес каждой исторической эпохе» (6, 36). Как видим, Герцен понимает всю бесплодность распространенных тогда утопических теорий с их попытками навязать реальной жизни свои надуманные законы и правила. Он стремится к научному познанию общественного развития, проводит аналогии между человеческим обществом и природой, развивающейся по независимым от человеческого сознания объективным законам. Но, не видя подлинного значения материальных условий жизни общества, Герцен не в состоянии приблизиться к определению закономерностей общественного развития и потому приходит опять-таки к идеалистическому, глубоко пессимистическому выводу, что «в истории все — импровизация» (6, 36).

Однако взгляд Герцена несравненно трезвее прекраснодушно-романтического миросозерцания его собеседника. «Молодой человек», как его называет Герцен, ищет истины, как тихой пристани, как отдохновения. Он упрекает Герцена в равнодушии и отчаянии. Но на деле именно он сам легко поддается полному, безвыходному отчаянию. Если будущее, притом близкое будущее, не соответствует заранее выработанным и по сути иллюзорным представлениям о нем, тогда этому мечтателю и идеалисту «наши труды» кажутся «вздором», «наши усилия смешны» (6, 26). Он уже устал, у него уже нет сил для борьбы. Герцен же напряженно и остро воспринял поучительные уроки западноевропейской истории еще до июньских дней и поражения революции 1848 года. Он заявляет: «Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников», то есть надежды «Руссо и его учеников» — деятелей французской революции. Ибо «мы были свидетелями, как все упования теоретических умов были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над их наукой, мыслию, теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 1830 г. биржевой оборот» (6, 29).

Еще будучи во Франции, как о том свидетельствует первое из «Писем с Via del Corso», Герцен напряженно

задумывается над той беспощадностью, которая была присуща открытым столкновениям пролетариата и буржуазии. По пути в Италию Герцен проезжал через Лион, где в 1831 и 1834 годах произошли рабочие восстания. В трагических судьбах этого города он увидел отражение «иной борьбы» — «борьбы работников с хозяевами, с фабрикантами». Следы этого кровавого и ожесточенного конфликта произвели на Герцена громадное впечатление. С сарказмом говорит он о том, что приказ о расстреле восставших строителей был дан «министерством, составленным из газетчиков и филантропов, из историков и либералов!» (5, 71).

Герцен с болью констатировал разрыв, существующий между «диалектикой чистого разума» и «эмбриогенией» жизни, между «мыслью... теоретическою, которая точно так же развилась и сложилась исторически, но сознательно», и «фактом современного мира, отвергающим мысль и представляющим, так же как она, необходимый результат прошедшего» (6, 29). Но в отличие от «милого идеалиста», он не падает духом. Им владеет «святое беспокойство», он чувствует «огонь жизни» и принимает «вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль» (6, 36). Он не предается наивно утопическим мечтаниям и отчаянию, а стремится выработать такой взгляд на мир, который бы в своем стремлении изменить жизнь опирался на «средства» самой действительности. Герцен еще очень далек от понимания подлинных закономерностей общественного развития, но он страстно и настойчиво ищет именно такого понимания.

Когда лет десять спустя И. С. Тургенев жил в Риме, он красоту и прелесть «вечного города» ощущал прежде всего в его «величественной и умирающей обстановке», в его «запустении», носящем «печать изящества и грации»[1]. На Тургенева Рим навевал светлую печаль, умиротворенную грусть о прошлом.

Герцену же «каждая арка, каждая колонна» говорила «о силе, о шири, об этом стремлении к царственному раздолью», о широкой жизни древнего Рима (5, 262).

В великих произведениях итальянского искусства Герцен видел не только памятник славному прошлому, но и обещание светлого будущего.

---

[1] П. В. Анненков, Литературные воспоминания, стр. 499.

Но и памятники величия древнего Рима, и его художественные шедевры — все отступало в восприятии Герцена на задний план перед «самой захватывающей внимание, самой новой стороной» (5, 264) жизни «вечного города» — перед освободительным движением.

Скептические выводы, уже напрашивавшиеся в «Перед грозой», были отодвинуты в сознании Герцена этими впечатлениями.

В Италии Герцены надеялись найти «покой, солнце, изящные произведения — и сколько-нибудь человеческую обстановку» (5, 252). Но нашли они нечто несравненно большее. Они стали свидетелями бурного подъема итальянского национально-освободительного движения. Легко вообразить себе ту светлую радость, то громадное возбуждение, которыми Герцен был охвачен. «Представьте... себе, — писал он в «Письмах с Via del Corso», — целую страну в праздничном наряде, да еще в такое воскресенье, которое не имеет понедельника, — страну, которая не обманула себя на день, а вступила в новую эру, — и в дополнение представьте, что эту страну называют «Италией»!» (5, 252).

Герцен увидел «народные движения в Риме», которые «носят на себе особый характер величавого порядка, мрачной поэзии» (5, 95). В «Былом и думах» он рассказал о том, как его, Наталью Александровну и их спутниц приветствовал во время ночного народного шествия Чичероваккио, «простой, честный римский плебей... знаемый всеми в Риме и знающий всех... трибун в питейных домах и народных сходках» (5, 274).

Герцен находился и в толпе, демонстрировавшей перед дворцом неаполитанского короля в день опубликования конституции. «Безумный восторг и сатурналия, оргия, в которой участвует целый город, опьяневший от политического воскресения... — так передает Герцен свои впечатления от этого дня. — Римской величавости в этом опьяненье, в этом восторге нечего было и искать, gravité (серьезность. — *Я. Э.*) совсем не в характере неаполитанцев, у них живость и комизм прививаются ко всему... Но восторг, одушевление... глубоко потрясал душу» (5; 287—288).

Образы Италии той поры навсегда остались в памяти Герцена. В Риме он получил весть о февральской революции 1848 года в Париже, которая явилась сигналом

для развития революционного движения в Италии. Впоследствии Герцен писал, что «последними днями нашей жизни в Риме (то есть мартовскими и апрельскими днями 1848 года, когда после февральской революции во Франции и мартовского восстания в Вене волна революционных событий прокатилась по Италии и происходило изгнание австрийских войск и властей. — *Я. Э.*) заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли, с отроческого обручения на Воробьевых горах» (10, 26). Непосредственно вслед за этим Герцену пришлось пережить тягчайшее духовное испытание в своей жизни, порожденное июньскими днями 1848 года в Париже.

«Я обязан Италии, — говорит Герцен в «Письмах с Via del Corso», — воскрешением лучших упований, обновленной верою в свои силы и силы других; я здесь увидел одушевленные лица, слезы, я здесь увидел, что и сам не разучился сильно чувствовать. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую великую минуту ее жизни — в это спокойное, благородное Risorgimento (так называют итальянское национально-освободительное движение 1847—1849 гг. — *Я. Э.*), полное силы, сознания и того изящества, которое присуще всему итальянскому — дворцу, хижине, нарядной женщине и нищему в лохмотьях» (5, 252).

Это радостное настроение было усилено еще тем, что и здесь Герцен и его жена нашли родных, русских людей, близких по духу, молодых, способных на страстную привязанность и восторженную дружбу.

В Рим приехал со своей семьей Алексей Алексеевич Тучков, с которым Герцен находился в дружеских отношениях еще в Москве. Тучков был человеком незаурядным. Он был живым свидетелем и представителем русского общественного движения пушкинской поры. В свое время близкий к кругам декабристов, Тучков был арестован после 14 декабря, но вскоре освобожден. Он глубоко интересовался событиями западноевропейской политической жизни, и как раз за границей между ним и Герценом обнаружилось единодушие в таком важном вопросе, как оценка буржуазного порядка Франции.

Встреча в Риме не была случайной. Тучков — сосед Огарева по имению, давно поддерживавший с ним дружеские и деловые связи, — был осведомлен о путешест-

вии Герцена, который, в свою очередь, был рад его приезду.

С Тучковым приехали его дочери Наталья и Елена. Первой из них суждено было впоследствии сыграть большую роль в жизни Герцена, внести в нее много мучительного и тяжкого.

Вместе с Тучковыми Герцены путешествовали по Италии, осматривали достопримечательности Рима и его окрестностей, вместе проводили вечера, принимали участие в народном шествии, возглавленном Чичероваккио.

Герцену казалось, что вновь воскресло очарование московского дружеского кружка. Самые заветные стремления и надежды как будто находили созвучие и исполнение в ширившемся вокруг освободительном движении. Казалось, вся жизнь становится прекрасной и свободной. Не удивительно, что Герцен звал в Италию Грановского и его жену и мечтал о встрече с ними.

Но и в Италии Герцен всегда помнил о России. В Неаполе он прочитал «Антона Горемыку» Григоровича. Образ несчастного русского крестьянина запал ему в душу: «Я испытывал угрызения совести, мне было стыдно находиться там, где я был» (13, 178).

Что же касается восторженного, романтически окрашенного восприятия Герценом итальянских событий, сказавшегося в «Письмах с Via del Corso», то оно являлось очередной иллюзией, которая была не в состоянии долго противостоять суровым урокам действительности. За живописным и нарядным одеянием итальянского risorgimento Герцен не сумел разглядеть его классовую сущность. Энгельс в статье «Движения 1847 года», напечатанной в январе 1848 года, писал: «До настоящего времени все реформы были и могли быть исключительно реформами в интересах буржуазии... Сейчас в Италии буржуазия становится — благодаря... богатству, а особенно благодаря возрастающему значению промышленности и торговли для жизни всего народа — тем классом, от которого главным образом и зависит освобождение страны от чужеземного господства. Движение в Италии является, таким образом, определенно буржуазным движением» [1].

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 4, стр. 463.

Этого буржуазно-ограниченного характера итальянского национально-освободительного движения Герцен тогда не замечал. В своих итальянских зарисовках он лишь вскользь упоминает о «златой посредственности, людях пресных, ни теплых, ни холодных, соответствующих французским буржуа-либералам, любящим умеренный прогресс, и притом любящим в нем умеренность больше прогресса» (5, 293).

Торжественность, энтузиазм, красочность, свойственные народным движениям в Италии, заслонили от Герцена их ограниченность. Обосновывая свои надежды на будущее Италии, Герцен исходит прежде всего из психологической характеристики итальянца как национального типа. Он не ставит перед собою вопроса, как должна была влиять на исторические судьбы итальянского народа экономическая отсталость страны, ее раздробленность, пассивность крестьянства, оставшегося в стороне от национально-освободительного движения, в которое было втянуто лишь население крупных городов. Герцен сопоставляет русского и итальянского крестьянина. В народах Италии и России он видел «затаенную мысль» (5, 271) о будущем. Но по отношению к русскому крестьянству это убеждение основывалось на верном ощущении все убыстряющегося развития огромной и единой страны, растущего протеста многомиллионных народных масс против гнета самодержавия и крепостничества. Россия шла к формированию поколения идейно передовых и последовательных революционных демократов, искавших опоры именно в крестьянстве. Буржуазная демократия Италии находилась на более низком идейном уровне, стояла на идеалистических позициях, отдавала значительную дань религиозным и мистическим настроениям, была слабо связана с крестьянскими массами.

Герцен в своей характеристике итальянского крестьянина исходил из субъективных впечатлений. Он видел то, что ему хотелось видеть.

«Письма с Via del Corso» чрезвычайно живо передают поэтическую атмосферу итальянского национально-освободительного движения, которая так радостно вдохновляла Герцена. Зарисовки политических событий, народных сцен, ярких и характерных фигур, выдвинутых этим движением, сменяют в письмах друг друга, сопровождае-

мые оживленным комментарием автора, окрашенным в светлые, а порой и торжественные тона.

Но в этих письмах нет ни той реалистической глубины в наблюдениях, ни той остроты и силы мысли и обобщений, которые характерны для таких произведений Герцена, как «Былое и думы» и «С того берега». Не случайно Герцену пришлось впоследствии в некоторых случаях оговаривать в примечаниях ошибочность данных им в письмах из Италии оценок, как, например, оценки политической роли папы Пия IX, который ему казался неспособным «ни к жестокости, ни к преследованиям» (5, 90), а на деле был отъявленным реакционером.

Когда читаешь эти письма, то создается впечатление, что Герцену, захваченному бурным потоком никогда еще им не изведанных ярких и радостных впечатлений, не было времени осмыслить и обобщить их. Он спешит, боится упустить тот или иной красочный штрих, ту или иную живую подробность, быстро переходит от одного события к другому, взволнованный, порой почти опьяненный.

Рассказывая о том, как в Риме, на маскарадном балу, торжественно было объявлено о февральской революции в Париже и об изгнании Луи-Филиппа, Герцен записывает: «Во сне это или наяву? События с каждым днем густеют, становятся энергичнее и важнее, усиленный пульс истории постукивает лихорадочно, личные взгляды и ощущения теряются в величине совершающегося» (5, 123).

Герцен чувствовал исторический пафос надвигающихся событий. Он покидал Рим наэлектризованным, «ждущим необыкновенного» (5, 131). Но он считался с любой возможностью: «или светлое воскресенье, или страшный суд возле». Им владела, по его выражению, «мужественная готовность на все» (5, 124).

IV. ИЮНЬСКИЕ ДНИ 1848 ГОДА

Получив весть о февральской революции в Париже, Герцен в апреле выехал из Рима и в первых числах мая был уже в Марселе, на территории Французской республики. Сердце его радостно билось. Он готов был поза-

быть о Париже Июльской монархии, он стремился к Парижу, вновь доказавшему свою верность революционным традициям. Через несколько месяцев Герцен свое настроение тех дней охарактеризует как «ребяческое увлеченье» (5, 375).

В Париж Герцен прибыл 5 мая, на следующий день после открытия Учредительного (Национального) собрания. Он сразу ощутил резко изменившийся с конца 1847 года, необычайно бурный темп политической жизни — «в воздухе носилось что-то резкое и возбужденное» (5, 378). С каждым днем все более явственно обострялась политическая борьба, усиливалось наступление буржуазии, направленное против пролетариата. «Слово «социализм», — писал Герцен, — делалось уже позорным клеймом в глазах мещан-представителей» (то есть депутатов собрания. — *Я. Э.*) (5, 381). Надвигались события 15 мая 1848 года. По словам Маркса, «пролетариат ускорил развязку, когда, ворвавшись 15 мая в Национальное собрание, сделал безуспешную попытку вернуть себе свое прежнее революционное влияние; — он достиг лишь того, что его энергичные вожди попали в руки тюремщиков буржуазии» [1].

День 15 мая Герцен провел «с утра до ночи на улице». Он видел народную демонстрацию, направлявшуюся к Учредительному собранию. «Я был, — писал впоследствии Герцен московским друзьям, — у дверей Ассамблеи, когда Гюбер (один из руководителей демонстрации 15 мая. — *Я. Э.*) произнес: «Именем французского народа объявляю Национальное собрание распущенным!» Новость эта тотчас распространилась в городе. Что это за восторг был! Но Национальная гвардия буржуазных легионов ворвалась в свою очередь, и тут увидели вещи неслыханные... Я сам видел каннибальскую радость этих преторианцев, когда они взяли Hôtel de Ville (ратушу. — *Я. Э.*), взяли без выстрела, ибо там не было вооруженных людей» [2].

Герцен говорит: «Пятнадцатое мая сняло с моих глаз повязку, даже места сомнению не осталось: «революция побеждена». Еще 10 мая Герцен расценивал политиче-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 28.

[2] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 52—53.

ские перспективы гораздо более оптимистично: «Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего.— Но что прочувствовано, то остается в душе, что совершено — того не сдует реакцией» (5, 302). До 15 мая Герцен разделял широко распространенную тогда в среде буржуазных демократов иллюзию, сущность которой, по словам Маркса, заключалась в том, что будто *«господство буржуазии* было устранено вместе с введением республики»[1]. Впоследствии Герцен должен был признаться, что он «только после 15 мая понял, какую республику приготовляют французскому народу» (5, 304). С другой стороны, 15 мая Герцен впервые увидал «сосредоточенную ненависть со стороны работников» (10, 222), направленную против буржуазии. Но если уже 15 мая Герцен многое понял, во многом стал отдавать себе ясный отчет, то все же не эти события, а июньские дни потрясли его и наложили неизгладимый отпечаток на его думы, переживания, на все его мировоззрение. Накануне июньских дней Герцен уже пришел к выводу, что у него перед глазами «открытая борьба народа с буржуази... — это начало страшной социальной войны» (5, 321). И все-таки позднее он писал, что в июньские дни увидал «вещи, которые... никогда не считал возможными в Париже, даже в минуты ожесточенной досады и самого черного пессимизма» (5, 346). По словам Маркса, июньское восстание рабочего класса Парижа было «первой великой битвой между обоими классами, на которые распадается современное общество»[2]. Герцен стал свидетелем этой битвы, зверского террора французской буржуазии, которая, как писал Маркс, «отомстила за пережитый ею смертельный страх неслыханными жестокостями и перебила свыше 3000 пленных»[3].

На глазах Герцена 23 июня рабочие строили баррикады на улицах Парижа и артиллерия Кавеньяка готовилась к разгрому повстанцев. А через два дня вечером Герцену пришлось услышать «правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 18.

[2] Там же, стр. 29.

[3] Там же.

друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос» (6, 43). Увидал Герцен и омнибусы с трупами повстанцев, и конвоируемых по улицам пленных со связанными руками. В нескольких шагах от ворот дома, в котором жил Герцен, был застрелен глухонемой мальчик, не услышавший оклика часового. Сам Герцен был задержан на улице, квартира его подвергалась обыску. Вновь изменился Париж. Герцен писал о днях, последовавших за июньским восстанием: «Там, где кипела жизнь, где громкая «Марсельеза» раздавалась с утра до ночи, где веяло старым воздухом девяностых годов, — там тишина, разносчик газет не смеет кричать, бледный блузник сидит перед своей дверью пригорюнившись, женщина в слезах возле него — они разговаривают вполслуха и осматриваются. К ночи все исчезает, улица пуста — и мрачный патруль подозрительно и мерно обходит свой квартал с заряженными ружьями и с дерзким, вызывающим видом... гонимые работники отходят от неравного боя» (5, 346). Так предстала перед Герценом классовая борьба во всей ее беспощадности. Он понял, что «дряхлый мир... отчаянно защищается» (6, 122). Прежние иллюзии были разрушены.

В парижском доме Герцена, широко открытом не только для старых друзей, но и для многочисленных новых знакомых из среды французской и международной демократии, шли «раздраженные, злые споры, — споры прозекторов с плохими лекарями» (10, 226). Герцен чувствовал себя прозектором, силою беспощадного анализа рассекающим труп старого общества. «Плохими лекарями» он называл людей, не умевших расстаться с прежними надеждами, повторявших старые избитые фразы о скором и легком торжестве социализма и революции и предлагавших всеспасительные, а на самом деле никчемные и утопические рецепты исцеления всех социальных зол. С раздражением наблюдал Герцен пустую и призрачную деятельность людей, неспособных отдать себе отчета в том, свидетелями каких жестоких исторических уроков они явились, и продолжавших тешить себя учреждением различных комитетов и клубов, строивших планы, заранее обреченные на крушение.

А среди знакомых Герцену буржуазных демократов различных стран было немало и таких, кто был смертельно напуган июньскими днями — для них эти события

явились началом пути, приведшего их впоследствии в лагерь правительственного большинства и контрреволюционных либералов, на командные посты в международных банках и иных буржуазных институтах; покуда же они свое предательство маскировали скептическими прогнозами и безнадежностью.

Все меньше единомышленников оставалось у Герцена и на родине. Анненков, Корш, молодой Чичерин — будущий антагонист Герцена (уж не говоря о Боткине и Кетчере), напуганные июньскими днями и николаевской реакцией, открещивались теперь даже от того совершенно невинного интереса к революционным событиям на Западе, которым они раньше не прочь были пощеголять. Белинского уже не было в живых. Но в обстановке все более резко обнаруживавшейся с февраля 1848 года политической дифференциации Грановский воспринял июньские дни как личную трагедию. 11 июля 1848 года в письме к Е. Б. Чичериной Грановский говорит об этих событиях: «Опять там восторжествовала картечь, угнетатели ликуют. Они думают вернуть рабочих и пролетариат в прежнее рабство. Верите ли, руки у меня опустились. Надежды на все рухнули. Мне тяжело, я не нахожу себе места»[1]. Победа реакции во Франции была, по убеждению Грановского, чревата новыми опасностями и преследованиями для всего передового в России.

Тяжело восприняли Герцен и Наталья Александровна отъезд в Россию Тучковых, последовавших за ними из Италии в Париж. Молодые девушки вносили в дом Герцена аромат юности и надежд. Тучков был близок Герцену мужеством и постоянством своей мысли. День разлуки с ними в августе 1848 года, по словам Герцена, «как-то особо каркнул вороном в моей жизни» (10, 229), усилились смутные, мрачные предчувствия. Тяжкие раздумья о своей собственной судьбе овладевают Герценом. Вручая Н. А. Тучковой для передачи друзьям в России одну из самых сильных глав книги «С того берега» — «После грозы», центральную по своему значению в этом произведении, Герцен присоединил к ней страницу посвящения, оканчивавшуюся строками: «Прощайте! Я не смею ни вас назвать, ни сам назваться. — Там, куда вы едете, и плач (Герцен говорит в «После грозы», что эта

[1] «Литературное наследство», т. 7—8, стр. 380.

его статья «первый плач, вырвавшийся из души моей», после «страшных гнусных июньских дней».—*Я. Э.*)—преступление, и слушать его — грех» (6, 41).

V. В ПАРИЖЕ В 1848—1849 ГОДАХ

Возвращаться в Россию, где царизм еще более усилил гнет и преследования, значило для Герцена отказаться от самых дорогих своих надежд и стремлений и обречь себя на бездействие. Когда Герцен раздумывал о том, что ожидает его по возвращении на родине, он с горечью рисовал друзьям и себе картину будущего своего «отживания» [1] в каком-нибудь глухом имении, неподалеку от Огарева и Тучковых. Если «Письма из Avenue Marigny» еще смогли появиться в России, то уже на судьбе «Писем с Via del Corso» Герцен должен был убедиться в том, что, напуганная революционными событиями в Европе, царская цензура ставила теперь непреодолимые препятствия для какого-либо обсуждения общественных вопросов. Эти письма на родине не появились, и больше Герцен уже не строил себе никаких иллюзий относительно возможности печататься в России.

Ему было хорошо известно, как беспощадно расправляется царское правительство со своими идейными противниками. В августе 1848 года, в письме к друзьям, Герцен еще допускал возможность своего более или менее скорого возвращения в Россию, хотя тут же многозначительно говорил о «внешней необходимости» [2], которая может его заставить надолго остаться за границей. В то время он еще не знал, что уже с июня 1848 года царская тайная полиция следит за ним и собирает обвинительный материал. Но он слишком хорошо знаком был с нравами царских жандармов, чтобы не считаться с вероятностью преследований.

Герцена тянуло на родину с громадной силой. В письме, переданном Тучковой для московских друзей, он признавался: «Никогда, ни в какое время вы мне не были так нужны. Иногда я мечтаю о возвращении, мечтаю

---

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 63.
[2] Там же, стр. 57.

о бедной природе нашей, о деревне, о наших крестьянах, о соколовской жизни, и мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, утративши все упования. Я страшно люблю Россию и русских, — только они и имеют широкую натуру, ту широкую натуру, которую во всем блеске и величии я видел во французском работнике. Это два народа будущего, т. е. не французы, а работники, оттого-то я не могу оторваться и от Парижа» [1]. Как неразрывно сплетаются здесь патриотические убеждения Герцена с революционными симпатиями передового русского человека, глубоко переживающего судьбы западноевропейского пролетариата! Отказаться от возвращения на родину Герцену было мучительно больно. «Иногда мне кажется, что мы не увидимся, — у меня от этой мысли кровь стынет в жилах» [2], — писал он.

Герцена менее всего привлекала одинокая, бездеятельная жизнь на чужбине, вдалеке от всего родного. Но он чувствовал, что здесь, за рубежом, еще может найтись реальное, практическое, революционное дело, нужное родине. Он не хотел поддаться безнадежности, бежать на родину и склониться под ярмо царизма, подобно Анненкову, покинувшему в это время Францию. И Герцен искал дела, присматриваясь к людям и обстоятельствам. Герцен, заявляя (в письме к друзьям), что «теперь еще надобно быть здесь», предупреждает возможное возражение: «Зрителем», — скажете вы. И да, и нет, — отвечу я. Человек нигде не посторонний, он везде дома и везде видит свое дело, если это дело человеческое» [3]. Но, рассматривая судьбы революционного движения в Западной Европе как «свое дело», Герцен вместе с тем не преувеличивает долю своего возможного участия в нем. К тому же он все более пессимистически расценивал ближайшие перспективы этого движения. Между тем в международных демократических кругах Герцен уже стал завоевывать авторитет как представитель русского революционного движения. «Ненависть к русской политике (то есть к политике царизма, душившего революцию на Западе. — *Я. Э.*) велика, — писал Герцен в середине 1848 года, — но русские начинают бо-

---

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 45.
[2] Там же, стр. 57.
[3] Там же, стр. 58.

лее и более заслуживать признание и уважение. Нас не мешают с правительством... на нас перестают смотреть с точки зрения кнута, снега и почтовой езды. Я должен сказать, что, сколько от меня зависело, и я не уронил имени русского ни в Риме, ни в Париже»[1]. Герцен не преувеличивал. Он понимал, что помог росту авторитета передовых русских людей за границей, содействовал разрушению легенды о России как о стране варварства. А ведь в то время в Западной Европе была еще очень популярной и считалась достоверной нашумевшая книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Кюстин рассматривал Россию как страну, где «двор составляет все», и называл ее «страной фасадов», якобы лишенной «цивилизации, общества, литературы, театра, искусства, науки»[2].

По словам Герцена, Кюстин «знал... русский народ только по петербургским извозчикам» и «не узнал ничего о мире литературном и научном» (6; 196, 197). Кюстин называл Пушкина «подражателем» и отказывался видеть в нем русского национального поэта.

Сама личность Герцена и его пока еще устные выступления в кругах французской интеллигенции опровергали ложь де Кюстина. Мужественный, красноречивый, воодушевленный страстью революционера и патриота, Герцен сразу приковывал внимание и умел внушить глубокий интерес к себе и к своим мыслям, заставлял относиться с подлинным уважением к передовому русскому человеку.

Но разве этим мог удовлетвориться Герцен! Он искал большого поприща, широкого влияния.

В письме к Грановскому Герцен признается: «Трудно вам рассказать, до какой степени здесь изживаешься в беспрерывном раздражении»[3]. Это раздражение, связанное с сознанием своего практического бессилия, невозможностью найти пути активной деятельности, обострялось ходом политических событий, наступлением реакции, всей душной атмосферой Парижа того времени.

Десятого декабря 1848 года президентом Французской республики был избран Луи Бонапарт, будущий

---

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 56.

[2] Маркиз де Кюстин, Николаевская Россия, изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1930, стр. 68, 79.

[3] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 65.

император Наполеон III. Для Герцена это избрание, которое он предвидел, служило подтверждением его мрачных предчувствий о будущем Франции и Европы. Тяжелые настроения господствовали в то время в семье Герцена.

В ноябре 1848 года болела тифозной горячкой четырехлетняя дочь Герцена Тата (Наталья Александровна), некоторое время жизнь ее находилась в опасности. Болезнь эта физически и нравственно потрясла хрупкий организм жены Герцена. В мае 1849 года в Париже свирепствовала холера. В доме Герцена погибла от нее молодая приятельница его матери. Немногим позднее Герцену пришлось ухаживать за И. С. Тургеневым, который в это время тоже болел, но быстро выздоровел. Но и в такой обстановке Герцен не опускает рук, не падает духом. Он принадлежал к тем людям, которые в самих несчастиях умеют, по его выражению, находить «пути к развитию» [1], то есть не уходить в безвыходное и бесплодное отчаяние, а превозмогать его. «Я упорно иду по своей дороге» (V, 282), — писал он московским друзьям в 1849 году. Герцен искал выхода в творчестве. Он продолжает работу над последней частью «Писем из Франции» — «Опять в Париже». Однако, посылая новые письма в Москву, Герцен уже не думал о печатании их в России. Он желал только дать своим друзьям верное представление о происходящих во Франции событиях. Это был своеобразный политический отчет. Впоследствии очерки «Опять в Париже» вошли в русское издание «Писем из Франции и Италии» [2] с большими сокращениями по сравнению с первой редакцией.

Письма, составляющие этот цикл, представляют собой отчасти очерк событий политической жизни Франции примерно с конца 1847 года и до мая 1848 года, отчасти философско-публицистические размышления, посвященные уяснению уроков, из этих событий вытекающих.

---

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 69.

[2] Первое издание «Писем из Франции и Италии» на немецком языке вышло еще в 1850 году, вслед за книгой «С того берега». Герцен не включил в него «Писем из Avenue Marigny», но зато дал, правда со значительными сокращениями, позднейшие письма. В русских изданиях 1855 (фактически конца 1854 года) и 1858 годов письма подвергались стилистической обработке. Самое деление на циклы было отброшено.

Герцен берется также за труд, отразивший все его горчайшие и мучительнейшие переживания, сомнения, разочарования и все его поиски, надежды, прогнозы. Этот труд — книга «С того берега» — был обращен как к русскому, так и западноевропейскому читателю.

По эмоциональной и художественной силе, по страстной сосредоточенности мысли очерки «С того берега» далеко превосходят «Опять в Париже».

Создание книги «С того берега» отвечало глубокой внутренней потребности автора. В этих статьях Герцен, по собственному выражению, «сам себе, с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упования и надежды» (10, 226). В этой книге было столько страсти, скорби и смелости, что она властно требовала немедленного отклика, ответной реакции, сочувствия и возражений.

По мере создания Герцен посылал отдельные главы «С того берега» московским друзьям. Вместе с тем он искал путей, которые позволили бы ему обратиться со своим публицистическим словом к широкой русской аудитории. Так зарождаются у Герцена планы печатать за границей книги для России. Эти предположения укрепляли его намерение стать эмигрантом.

Первого марта 1849 года датировано обращение Герцена к русским друзьям «Прощайте!», предназначенное для русского издания «С того берега» и появившееся в печати лишь в 1855 году, когда это издание удалось осуществить. Здесь впервые Герцен заявляет прямо: «Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение... Я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным» (6; 12, 14). «Если б еще надо было умерить себя для общего дела, — пишет Герцен, — может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом» (6, 14). «Открытая борьба», «свободная речь» — вот что заставляет Герцена остаться за рубежом. «За

эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык» (6, 13). Далее Герцен четко формулирует те цели, которые он ставит себе, оставаясь за границей: «Я остаюсь здесь... для того, чтоб работать... здесь мне нет другого дела, кроме *нашего* дела... я здесь бесценсурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель» (6; 16—17).

Вместе с тем он указывает на другую сторону своей будущей деятельности: «Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов... об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина» (6; 17—18).

Особенно замечательно в этом обращении последовательное, проникнутое сознанием глубокой ответственности перед родной страной обоснование Герценом исторического права на эмиграцию. Он указывает, что и в истории других стран свободное слово, по необходимости издалека обращенное к родному народу, томящемуся под политическим гнетом, обладало особой мощью: «За словами виднелись действия, жертвы... Эмиграция — первый признак приближающегося переворота» (6, 17). Это заявление Герцена — документ большого исторического значения. В сущности, это первая декларация русского революционера-эмигранта. Герцен добровольно становится политическим изгнанником. Ведь он все еще не знал о переписке, которую уже вело о нем III Отделение.

Из русских эмигрантов той поры лишь один Бакунин не менее сознательно и самостоятельно, чем Герцен, ре-

шил для себя вопрос о невозвращении на родину и о том, чтобы отдаться целиком революционной работе. Уехав за границу в 1840 году, он уже в конце 1842 года пришел к твердому решению «не возвращаться в Россию»[1]. Только через год после этого Бакунину было предъявлено требование царского правительства о возвращении в Россию. Многозначительное решение свое он принял, таким образом, по собственной инициативе. Однако никак нельзя сказать, что семью годами позднее Герцен лишь последовал примеру Бакунина. Свою роль за границей Бакунин рассматривал существенным образом иначе, чем Герцен. «Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы»[2]. Бакунин и не задумывался над особыми и конкретными задачами русского эмигранта-революционера, задачами тем более трудными, что они еще никем не были сформулированы и требовали исключительного самоотвержения и отваги. Правда, когда разразилась революция 1848 года, Бакунин, опьяненный ее атмосферой, мечтает, действуя в Познанском герцогстве, на границе с Россией, поднять поляков и русских против Николая I. Но это был, конечно, лишь один из многих, заранее осужденных на фиаско бунтарских планов Бакунина. Революционная стихия 1848 года бросала его в разные стороны, попытки его и стремления, полные энтузиазма бунтаря, всегда были лишены глубокой мысли и ясной цели.

Таким образом, как показывает «Прощайте!», в начале 1849 года Герцен четко определил свои позиции как революционера-эмигранта. Ранняя, лишь недавно опубликованная, редакция этого документа «Addio» (6; 316—323) свидетельствует о том, что уже тогда в неразрывной связи с решением вступить на путь эмигранта Герцен ясно поставил перед собою задачу создания вольной русской печати. Он пишет здесь: «Русская эмиграция началась — это великий признак... Я первый начинаю печать в Европе — увидят, буду ли я последний...» (6, 321).

---

[1] М. А. Бакунин, Собрание сочинений и писем, т. III, изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1934, стр. 120.

[2] Там же, стр. 121.

Более подробно суть этой великой задачи Герцен охарактеризовал в заметке, датированной 1 мая 1849 года, также оставшейся в свое время в рукописи и озаглавленной «Вместо предисловия или объяснения к сборнику». Герцен думал предпослать ее книге своих произведений 1848—1849 годов, которую тогда собирался напечатать за границей по-русски для распространения в России. В заметке Герцен обосновывает целесообразность создания вольной русской печати за границей. Это была необычайно смелая и вместе с тем практически плодотворная мысль. Она диктовалась глубоким убеждением Герцена в великом революционном будущем России. Вера его тем и была сильна, что не ограничивалась общими словами и декларациями, а вела к практически целесообразным действиям. В этом сказывались ясность, трезвость, последовательность и революционная отвага русского ума. Заявляя, что считает насущно необходимым, «чтобы где-нибудь раздалось свободное русское слово», Герцен говорит: «Недоставало одного — печатать по-русски за границей. Я это делаю теперь и охотно берусь быть издателем рукописей, которые мне доставят. Но для кого мы будем печатать по-русски? Я знаю, что не только книгу в России запретят, но что учредят особый пограничный кордон *ad hoc* и новое ведомство предупреждения и пресечения ввоза мятежной книги — и все-таки печатаю *ее для русских в России*. Мы посмотрим, кто сильнее — власть или мысль. Мы посмотрим, кому удастся — книге ли пробраться в Россию, или правительству не пропустить ее» (6; 148—149). Герцен вступил в единоборство с царизмом, потому что верил в будущий подъем освободительного движения в России и видел в «свободном русском слове» реальное оружие, способное содействовать этому подъему. Так Герцен уже практически подходил к созданию «заграничной русской литературы» (6, 146).

Выступая в 1849 году с предложением печатать за границей по-русски и для русских, Герцен надеялся, что его друзья в России откликнутся на это начинание. Заметка была написана в форме письма, копия его сейчас найдена в собрании Грановского, и поэтому можно думать, что она до Москвы дошла. Но так как тогда, в 1849 году, мысль Герцена об издании за границей книг для России практических последствий не имела, то,

вероятно, и не возникла сколько-нибудь острая дискуссия.

Однако гораздо более важным, чем отношение московских «друзей» к герценовскому замыслу, является тот факт, что в молодом поколении русской революционно настроенной интеллигенции тоже зародилась мечта о вольной русской печати. Об этом свидетельствует, в частности, обращенное к Герцену письмо А. А. Чумикова (он находился в то время за границей), близкого в 40-х годах к петрашевцам. Правда, письмо это относится к августу 1851 года, но в нем слышится не внезапно возникшая, а бережно выношенная мысль. Чумиков писал, вспоминая об успехе, которым среди петрашевцев пользовался герценовский фельетон «Петербург и Москва»: «С каким энтузиазмом слушали мы ваше сравнение Москвы с Петербургом — мы перечитываем старые «Отечественные записки», потому что в России нет более литературы. Вы авторитет (а *нас* более, чем вы полагаете), и мы стадо без вождя: руководствуйте нами, пишите более, только не для Европы, а для нас собственно — Европа вас не поймет, она слепа и глуха теперь! Пишите по-русски. Старайтесь найти средство распространять ваши сочинения в отечестве, хоть посредством аэростатов (если иначе нельзя провезти чрез границу), ведь в Берлине уже разбрасывают объявления таким средством. Надо непременно организовать presse clandestine (подпольную печать. — *Я. Э.*), иначе сон наш надолго продлится»[1].

Теперь мы знаем, что в кругу петрашевцев уже обсуждался вопрос о печатании за границей на русском языке[2]. Призыв Чумикова был, вероятно, отголоском этих еще крайне неопределенных замыслов.

Мысль Герцена, как будто такая отвлеченная и практически еще неосуществимая, на деле шла навстречу стремлениям, возникшим на родине, и уже имела почву

---

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 718.

[2] См. «Дело петрашевцев», т. II, стр. 332. Мысль о печатании русских книг и иных изданий за границей возникала еще среди декабристов (см. М. К. Азадовский, Затерянные и утраченные произведения декабристов, «Литературное наследство», т. 59, стр. 757—758, и «Декабристы. Новые материалы», М. 1955, стр. 136).

здесь. К Герцену тянулись молодые сердца России, авторитет его неуклонно рос.

Что же касается московского круга тех людей, которые еще считали себя друзьями Герцена, то их крайне обеспокоило самое его решение не возвращаться в Россию.

Тогда еще ни Боткин и Кетчер, ни сам Герцен не отдавали себе отчета в том, какая резкая политическая грань постепенно ложится между ними. В позднейшем письме к Герцену Грановский сообщал: «Память о тебе свежо сохранилась в кружке твоих друзей. Когда случай сводит нас вместе... твое имя чаще всех других раздается между нами»[1]. Но если Грановский и любил и понимал Герцена, то такие люди, как Боткин и Кетчер, еще сохранивший в то время личную симпатию к Герцену, совершенно не уясняли себе подлинного значения принятых им решений, хотя и критиковали их. Будто предугадывая это, Герцен в своем обращении «Прощайте!» писал: «Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что *вы* еще не совершенно свободны» (6, 14). Боткин, Кетчер, Анненков совсем не были «свободными» в этом смысле людьми. После 1848 года они вообще отказались от какой-либо общественной деятельности, уйдя целиком в повседневные дела, в мелкие литературные занятия, в обывательщину.

Как вспоминала одна свидетельница московских споров, вызванных решением Герцена, Кетчер обвинял последнего в «бегстве от друзей». Но, отмечает она при этом, «Грановский не разделял упреков за удаление за границу и говорил: «Что же было ему делать?»[2] И это не удивительно. В 1849 году Грановский писал Герцену в Париж: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом... Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением... Есть с чего

---

[1] «Полярная звезда», книжка пятая на 1859 год, стр. 220.

[2] Цит. по комментарию М. К. Лемке к Полн. собр. соч. А. И. Герцена, т. V, стр. 298.

сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя... Когда ж развалится этот мир! Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершение судьбы. Кое-что еще можно делать благородному человеку, пусть выгоняют сами»[1]. Если Грановский сам с такой безнадежностью смотрел на перспективы своей деятельности, то естественно, что он мог понять и одобрить поступок Герцена, которого неудержимо влекло к открытому, прямому выступлению против царизма. 28 декабря 1849 года в письме к Неверову Грановский рассказывает о том, как его вызвал к себе московский митрополит, «лукавый пастырь» Филарет, и упрекал в том, что в его лекциях не проводится религиозной точки зрения. Филарет сказал Грановскому: «В вашей деятельности есть что-то скрытное. Мне надо знать ваши верования». Грановский отказался отвечать на эти вопросы. «Я ему ответил, что до моих верований ему нет никакого дела, — пишет Грановский и заключает: — Вероятно, скоро выгонят. Сам я не уйду. Ты знаешь, я не из тех, кто бегает от опасности. Тяжело, брат! Близкие ушли, кто совсем, а кто далеко. Кругом пустота. Что же дальше? Будем делать пока наше маленькое дело, а там, что будет. Пусть будет проклято настоящее! Может быть, будущее будет светло!»[2] Судьба Грановского подтверждала правильность решения, принятого Герценом.

Письмо Грановского говорит и о другом. Оно показывает, что со смертью Белинского и отъездом Герцена Грановский чувствовал свое одиночество в кругу таких, все более мельчавших и погрязавших в трусливом либерализме и обывательской тине людей, как Боткин, Анненков, Кетчер и другие.

Для Грановского это было время не только горького сознания того, что ему доступно лишь «маленькое дело», не соответствующее его подлинным силам, но и время напряженнейших исканий. В 1847—1849 годах Грановский снова возвращается к тем вопросам, по которым в 1846 году определились принципиальные разногласия между ним и Герценом. И подобно тому как в политике, в оценке событий революции 1848 года, Грановский встал

---

[1] «Полярная звезда», книжка пятая на 1859 год, стр. 215—216.
[2] «Звенья», т. V, стр. 752—753.

на сторону Герцена, а не Боткина и Анненкова, так и в области философии Грановский признал теперь правоту автора «Писем об изучении природы». Грановский писал Герцену 25 августа 1849 года: «На дружбу мою к вам двум (то есть к Герцену и Огареву. — *Я. Э.*) ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса. Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из *худшей стороны* самого себя. *Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа.* Зато все, что было романтическое в самой натуре моей, вошло в мои личные привязанности» (9, 126). Грановский, таким образом, прямо говорит здесь об отказе под влиянием Герцена от своих прежних религиозно-идеалистических воззрений.

Замысел Герцена начать в 1849 году в Париже печатание книг «для русских в России» не смог осуществиться. В цитированной заметке Герцен указывал как на возможный пункт организации своей будущей типографии не только Париж, но и Лондон. Очевидно, осуществление такой деятельности в Париже вызывало в нем уже в начале мая 1849 года какие-то сомнения.

Тем временем наступило новое обострение политической борьбы во Франции. В конце мая открыло свои заседания Законодательное собрание. «Горе», этой партии мелкобуржуазных республиканцев, «парламентскому авангарду демократической мелкой буржуазии», по определению Маркса [1], принадлежало в собрании значительное меньшинство. Прошло то время, когда мелкая буржуазия вместе с крупной шла против рабочих, как то было в июньские дни 1848 года. Рост монархических реакционных сил заставил мелкобуржуазную демократию встать в оппозицию к «партии порядка» и правительству. Ледрю-Роллен, вождь «Горы», выступил в собрании 11 июня с резкими обвинениями против прави-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 61.

тельства Бонапарта. Основным пунктом обвинения была военная интервенция французских войск в Италии против Римской республики и в защиту светской власти папы. Для Луи-Наполеона это было средство привлечения на свою сторону столь влиятельного во французской деревне католического духовенства. Ледрю-Роллен сказал, по обыкновению, громкую и резкую речь, затем его предложение срочно обсудить предъявленное правительству обвинение было отвергнуто большинством.

«Гора» увидела свое бессилие в парламенте, но она была совершенно неспособна на решительную вооруженную борьбу. Больше того, она опасалась ее. «Гора» призвала своих сторонников к мирной демонстрации. 12 июня с известием об этом к Герцену явился Сазонов. «Он был в величайшем одушевлении, говорил о... неминуемости успеха, о славе, которая ждет участников, и настоятельно звал меня на это жнитво лавр». Перед глазами же Герцена неотразимо стоял факт поражения революции в июне 1848 года. Для него было несомненным, что рабочие еще никак не могли оправиться от поражения. На возражения и сомнения Герцена Сазонов не без ехидства «заметил, что оно, конечно, покойнее и безопаснее писать у себя дома скептические статейки в то время, как другие отстаивают на площади свободу мира, солидарность народов и много другого добра». Тогда Герцен, подчинившись ложному самолюбию, по его словам, «чувству весьма дрянному, но которое многих привело и приведет к большим ошибкам» (10, 44), согласился участвовать в демонстрации.

В уличной процессии 13 июня приняли участие до тридцати тысяч человек. Когда же правительственные войска, во главе с генералом Шангарнье, совершили нападение на безоружных участников демонстрации, то они, как писал Маркс, «в один миг рассыпались во все стороны и лишь на бегу издавали слабые крики «к оружию!» [1].

Герцен, находившийся в первых шеренгах процессии и едва не пострадавший от драгунской сабли, еще ясней, чем раньше, почувствовал внутреннюю несостоятельность

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 69.

всего этого движения. В «Былом и думах» он дал живые зарисовки отдельных эпизодов и участников демонстрации, подтверждающих вывод Маркса о том, что «июнь 1849 г. был столь же смешной, сколь и ничтожной пародией на июнь 1848 года», и что «в продолжение всего 13 июня пролетариат занимал... скептически-наблюдательную позицию» [1].

Сам Герцен писал в сентябре 1849 года в Москву о «глупом дне 13 июня, в который парижский народ заплатил Горе за июньские дни 48 года» (V, 285). Но, в отличие от Маркса, он не понимал классового, мелкобуржуазного характера движения, возглавленного «Горой». Герцен указывал лишь на «бедность... республиканской идеи», во имя которой действовала «Гора» (10, 53). «Гора» в своей борьбе против правительства ссылалась на параграфы республиканской конституции. Она исходила из буквы закона и не хотела видеть, на чьей стороне реальная сила. А Герцен уже научился не верить никаким словам, фразам, декларациям.

После 13 июня 1849 года начались аресты как среди французов-демократов и социалистов, так и в кругах международной эмиграции. Ледрю-Роллен эмигрировал в Лондон. Были арестованы многие друзья Герцена. Сам Герцен, предвидя такую же участь, решил покинуть Францию. Около 20 июля 1849 года он выехал из Парижа и отправился в Женеву. В «Былом и думах» он юмористически описал переход франко-швейцарской границы с чужим паспортом. Опасения Герцена подтвердились. Несколькими месяцами позднее он сообщил московским друзьям из Женевы: «Тюрьмы во Франции страшны, беззаконие еще страшнее — я решился убраться, тем более что для меня 13 июня — день презрительный и глупый. Я сделал очень хорошо, ибо на другой день после отъезда моей жены явились... жандармы к моей матери, захватили все, что было письменного» (V, 285).

Намерение более прочно обосноваться в Париже, организовать здесь русскую типографию, таким образом, оказалось неосуществимым. Начался новый период заграничной жизни Герцена.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 62, 67.

VI. ДУХОВНАЯ ДРАМА ГЕРЦЕНА ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

1. Идейное содержание «С того берега» и «Опять в Париже»

Думы и переживания Герцена, вызванные поражением революции 1848 года, получили свое наиболее сильное, резкое и полное отражение в книге «С того берега». Впервые она вышла в немецком переводе, сделанном под диктовку Герцена, по-видимому в самом начале 1850 года (по опубликованным до настоящего времени материалам представляется затруднительным установить точную и бесспорную дату выхода книги). Это первое издание имело иной вид, чем последующее первое русское издание 1855 года, в основном повторенное в позднейших переизданиях. С одной стороны, в первое издание были включены две статьи о России, впоследствии изъятые из книги. С другой — это первое издание не содержало тех статей Герцена, которые появились позднее, в 1850 году, в журналах и затем вошли в книгу «С того берега», как главы ее: «Эпилог 1849», «Доносо-Кортес», «Omnia mea mecum porto».

К книге «С того берега» примыкают по своему содержанию и те письма из Парижа, которые первоначально были включены Герценом в цикл «Опять в Париже».

Читая «С того берега», следует помнить характеристики, которые сам Герцен давал своей книге. В письме 1850 года он говорит о ней: «Элемент лирический, так сказать, и совершенно субъективный преобладает в ней... в ней чувствуются бешенство и слезы за сомнением». В другом, более позднем, письме Герцен указывает: «Это не наука, а обличение, это бич на нелепые теории и на нелепых риторов-либералов, фермент — и больше ничего. Но это захватывает и ведет к жизни, это сердит и заставляет думать»[1].

Действительно, нельзя получить правильного представления об этой книге Герцена, если не иметь в виду ее своеобразного «лирического» характера. Если впоследствии автор «Былого и дум» охарактеризовал свою автобиографию как «отражение истории в человеке», то

[1] «Литературное наследство», т. 7—8, стр. 80, и «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 75.

«С того берега» является отражением в сознании Герцена именно июньских дней, дней поражения революции 1848 года, притом отражением, возникшим по горячему следу событий. Поражение революции привело Герцена к тягчайшим разочарованиям, к «духовному краху», по определению В. И. Ленина[1]. «С того берега» отражает потрясенное этими событиями сознание автора во всех тех противоречиях и сомнениях, которые мучили тогда его. В книге «С того берега» перед нами встает человек, откровенно и беспощадно раскрывающий читателю все свои духовные боли. Он не пытается «отговориться» от труднейших и мучительнейших проблем, которые перед ним поставила действительность. Он не пробует обмануть самого себя и своих читателей утопическими рецептами, являющимися якобы панацеей от всех социальных зол. Он не играет роли мудреца и провидца, которому удалось найти легкое решение всех выдвинутых эпохой вопросов. А ведь буржуазная демократия Франции жила тогда такого рода настроениями, порожденными духовным бессилием, стремлением по-старому держаться хотя бы за клочья давно разодранных революционной бурей утопических верований и иллюзий. Достаточно сослаться хотя бы на книжку Луи Блана «Организация труда», вышедшую в том же 1850 году девятым, дополненным изданием, которую Герцен называл «пустой» (5, 336). Луи Блан по-прежнему рассматривал здесь учреждение «министерства прогресса» как верное средство, способное «совершить социальную революцию и постепенным и мирным образом привести к уничтожению пролетариата»[2]. И это после июньских дней 1848 года! Для Герцена 1848 год был, по его выражению, «педагогическим годом»[3]. Луи Блан же, типичный мелкобуржуазный социалист, пережив этот год, ничему не научился.

«С того берега» — искренняя, страстная идейная исповедь одного из самых сильных и передовых умов эпохи революции 1848 года. Но это не только исповедь.

«С того берега» — вместе с тем беспощадный пламенный памфлет против буржуазного порядка с его эксплуатацией человека человеком, против буржуазной реак-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
[2] Louis Blanc, Organisation du travail, 1850, стр. 119.
[3] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 65.

ции, обагренной кровью народа, против сладкоголосого и лицемерного либерализма, защищающего и идеализирующего буржуазный строй.

«С того берега» — это призыв к «отваге знания», отклик на самые жгучие вопросы современности, разоблачение «воззрения устарелого, рабского и полного лжи» (6, 7).

В сочетании этих качеств — корни непреходящего значения книги. Сам Герцен хорошо понимал силу этого своего произведения. В посвящении, написанном в 1855 году, то есть после того, как он создал первые части своей великой автобиографии, он говорил, обращаясь к сыну Александру: «Я ничего не писал лучшего и, вероятно, ничего лучшего не напишу» (6, 7). Такая оценка может показаться спорной; но если «Былое и думы» далеко превосходят «С того берега» размахом, эпической широтой, богатством сменяющих друг друга красочных зарисовок, многообразием и рельефностью встающих перед читателем портретов, то по страстной лирической силе, пронизывающей собою «С того берега», как и по сосредоточенности и напряженности мысли, образов, слова, этому произведению принадлежит, думается, первое место в творчестве Герцена.

В «Былом и думах» Герцен вспоминает, вглядывается в прошлое, взвешивает его уроки. В книге «С того берега» Герцен делится разочарованиями, сомнениями, исканиями, которые владеют им сегодня и будут мучить завтра. Безнадежно и бесплодно пытаться отыскать в книге какую-либо стройную и строгую систему взглядов. По этой причине легко, вырывая и тенденциозно подбирая отдельные высказывания Герцена, использовать их для ошибочной, односторонней характеристики его воззрений. По такому пути и пошли некоторые реакционные литераторы, тщетно пытавшиеся именно на основе «С того берега» изобразить Герцена противником революции и социализма. В. И. Ленин писал о «рыцарях либерального российского языкоблудия, которые прикрывают теперь свою контрреволюционность цветистыми фразами о скептицизме Герцена»[1]. А в наше время по этому же пути идут проповедники антикоммунизма, всячески извращая духовное наследие Герцена.

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.

Сложность и внутренняя противоречивость «С того берега» не должны скрыть от нас побеждающую в этой книге и ведущую вперед тенденцию идейного развития Герцена. В желании верно понять направление идейных исканий Герцена нам указывает путь гениальный анализ В. И. Ленина в статье «Памяти Герцена». Говоря об «остановке» Герцена перед историческим материализмом, В. И. Ленин пишет: «Эта «остановка» и вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 г. Герцен покинул уже Россию и наблюдал эту революцию непосредственно. Он был тогда демократом, революционером, социалистом. Но его «социализм» принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48-го года форм и разновидностей буржуазного и мелкобуржуазного социализма, которые были окончательно убиты июньскими днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою *тогдашнюю* революционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из-под ее влияния пролетариат.

Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848-го года был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме»[1].

Скептицизм Герцена Ленин противопоставлял скептицизму либералов, который является «формой перехода от демократии к либерализму, — к тому холуйскому, подлому, грязному и зверскому либерализму, который расстреливал рабочих в 48 году, который восстановлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который *проклинал,* не умея понять его классовой природы, Герцен»[2]. Именно в работе «С того берега» духовный крах Герцена особенно наглядно обнаруживает свою сущность как «крах *буржуазных иллюзий* в социализме», как такой крах, который, низвергнув герценовскую мысль в пучину смятения и разочарования, вместе с тем освободил ее от прежних иллюзий и заблуждений. Герцен недаром сказал, что «страдание, боль — это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность» (6, 22). В свете гениального ленинского анализа противоречия герценовской мысли, так

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
[2] Там же.

обнаженно выступающие перед нами в «С того берега», воспринимаются не как проявления разбитого внешними событиями и обессиленного внутренней борьбой мировоззрения, а как диалектически связанные между собою этапы освобождения Герцена от буржуазных иллюзий в социализме.

Герцен, как он выразился, «казнил» в «С того берега» все свои прежние просветительские, утопически-социалистические и буржуазно-демократические представления об историческом прогрессе, об «обновлении мира», все те «буржуазные иллюзии в социализме», о которых писал Ленин.

Сам Герцен в 1850 году разъяснил, как нужно понимать «С того берега» и какова основная мысль этого произведения. В письме к Маццини от 13 сентября 1850 года он говорит, ссылаясь, в частности, на главу «Omnia mea mecum porto»: «То, что я требую, что я проповедую, это — полный разрыв с неполными революционерами: от них на двести шагов несет реакциею. Нагромоздив целый ряд ошибок, они еще стараются оправдать их, и это — лучшее доказательство, что они их снова повторят» (VI, 143).

Бесповоротно разочаровался Герцен в тех учениях мелкобуржуазного социализма, которые ранее возбуждали в нем живой интерес. Он понял, как плохо такие социалисты, как Луи Блан, знали действительность, как мало они были связаны с народом, с пролетариатом. Обильную дань отдавали они легковесным иллюзиям, пытаясь коренные общественные вопросы решить при помощи отвлеченных деклараций или законодательной деятельностью в рамках буржуазного государства.

У Луи Блана и Пьера Леру Герцен находил «христианство и романтизм, переложенные на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная, риторическая нравственность без соотношения к практической жизни» (5, 176). Поражение революции ничему их не научило. В главе «LVII год республики, единой и нераздельной» Герцен характеризует «аристократов демократической республики», «алых членов Собрания», то есть виднейших представителей буржуазной демократии, во главе с Ледрю-Ролленом, как «людей прошедшего, несмотря на революционность свою, связанных со старым миром на живот

и на смерть... их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него» (6; 49, 50, 51).

Сам Герцен ненавидел «прошедший мир» глубоко и стойко. Он восклицал, вспоминая о том, что пережил, услышав ружейные залпы, которыми буржуазия расстреливала после июньских дней своих пленников: «За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощают такие минуты!*» (6, 43).

В книге «С того берега», как и в очерках «Опять в Париже», Герцен дает гневные, острые зарисовки буржуазной Франции, ее социального и бытового уклада, ее хозяев, идеологов и наемников, а также типического французского буржуа. Вот интеллектуальный портрет последнего:

«У французов среднего состояния, кроме исключений, есть какое-то образованное невежество, какой-то вид образования при совершенном отсутствии его. Их понятия невероятно узки — их ум так неприхотлив и так скоро удовлетворяем, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенций Вольтера или Шатобриана все равно, пожалуй, того и другого вместе, чтоб довольствоваться ими и покойно учредить на них нравственный быт свой лет на сорок жизни; к этому у него прибавляются практические нравоучения, предания и кодекс» (5, 317).

Наблюдения Герцена как бы иллюстрируют вывод Маркса о том, что июньское восстание побудило французскую буржуазию вступить «в открытый союз с феодальной монархией против народа»[1]. Герцен пишет:

«Защитники порядка с какой-то болезненной горячностью напрашиваются на самый грубый деспотизм, лишь бы власть обеспечила неприкосновенность стяжания. Они из-за этого протянули руку всем правительствам, ненавидящим Францию; они из-за этого отдали детей своих на воспитание иезуитам, которых сами терпеть не могут; они из-за этого дошли до того героизма подлости, что хвастаются публично доносами — так, как их публичные сестры хвастаются своим развратом.

Образованность не обязывает французских консерваторов ни к чему; с этой стороны они совершенно свобод-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 31.

ны; при своих риторических, учтиво стереотипных и чувствительно моральных фразах они свирепы, безжалостны и безраскаянны» (5, 192).

Герцен передает свои впечатления от обсуждения в Национальном собрании закона о ссылке и заточении июньских повстанцев:

«Я с ужасом, смешанным с любопытством, с тем любопытством, с которым мы смотрим, как кормят гиену или как boa constrictor глотает живых кроликов, следил за прениями о депортации.

Не думайте, что я хочу говорить о нелепости осуждать людей на вечную тюрьму за поступки, сделанные через несколько дней после переворота, когда умы еще волнуются, а учреждения не установились, — нет. Я знаю, как враги судят и осуждают своих врагов, — чего тут ожидать лучшего? Но колоссально то, что Собрание, состоящее из семисот человек, возвращается через два года в казематы, в которых гибнут их противники, для того чтоб удесятерить наказание...

Когда остаток совести Одилона Барро восстал против этой неслыханной нелепости, когда раскаяние за июньскую кровь вызвало Ламорисьера на трибуну, чтоб предложить укрепленное место вместо тюрьмы, тогда надобно было видеть этих ирокезов порядка, этих каннибалов религии, этих шакалов добродетели и семейной жизни. Звериные звуки злобы вырывались из груди этих бесчувственных стариков, этих бездушных адвокатов — во время собирания голосов...

И все это делается для защиты общества, религии, семьи.

Хорошо должно быть общество, защищаемое такими средствами. Общество, защищаемое Тьером; религия, защищаемая Тьером; семейство, защищаемое Тьером!» (5; 192—194).

Герцен рисует картину парижского быта в годы, непосредственно следовавшие за июньскими событиями:

«Трудно издали вообразить себе, что делается в Париже. Никаких гарантий, этих бедных, небольших гарантий... не существует более. Террор, сальный, скрывающийся за углом, подслушивающий за дверью, тяготит каким-то чадным туманом надо всем. Всякий мерзавец, который донесет на вас какую-нибудь политическую небылицу, может быть уверен, что на другой день поли-

цейский комиссар с двумя шпионами явится к вам осматривать бумаги. Семейные тайны, дружеские сообщения — все перерыто рукою лакеев светской инквизиции, половина унесена и *никогда* не возвратится к вам. Люди, имеющие или имевшие политическое значение, не спят дома, прячут бумаги, запасаются визированными пассами. Все боятся дворников, комиссионеров, трех четвертей знакомых; письма приходят подпечатанные, на углах улиц постоянно бродят подозрительные фигуры в сюртуках не по мерке, в потертых шляпах, с подло военным видом и с палкой в руке. Они провожают глазами прохожих и передают их своим партнерам.

Вечером шайки шпионов отправляются на ловлю запрещенных для продажи журналов, они всякими обманами выманивают какой-нибудь нумер «Evénement», городовые сержанты, спрятанные в засаде, бросаются тогда на бедную лавчонку или стол, единственное достояние какой-нибудь старухи, пропитывающей семью. Сержанты хватают старуху, старуха плачет, ее толкают, ругают и ведут к префекту вместе с каким-нибудь обтерханным мальчиком 8 лет, который до вечера не ел и продал тайком «Эстафету». Прохожие видят и идут своей дорогой, не смея поднять голоса» (5; 195—196).

Не менее выразительны и образы руководителей буржуазного террора, очерченные Герценом: портрет военачальника, в крови потопившего восстание рабочих; в его «жестких, суровых чертах средневекового кондотьера», «в его исхудалом и болезненном лице не примешивалось ничего человеческого, смягчающего к чертам хищной птицы; от хилой фигуры его веяло бедой и несчастием» (6, 63); сатирический портрет Тьера, главы «партии порядка», этого «остряка, седого gamin, шалуна, болтуна, либерала, облитого лионской кровью, вольнодума, продиктовавшего сентябрьские законы...» «Самая наружность Тьера, малорослого старичишки, с кругленьким брюшком, на тоненьких ножках, с видом плута-дворецкого, Фигаро, типически выражает буржуазную Францию... Тьер — полнейший представитель современного большинства, дерзкого на вид и смиренного на деле, которое, остря и помирая со смеху, ссылает на поселение, сажает на цепь, которое имеет одного бога — капитал и не имеет богов разве его» (5, 194).

В июньские дни Герцен научился презирать либера-

лов, которые «долго играли, шутили с идеей революции и дошутились до 24 февраля». Герцен следующим образом характеризует роль либералов в событиях революции 1848 года: «Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился — не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле — пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил наконец, где же *его* доля во всех благах, в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от *брата* за штыками осадного положения, спасая *цивилизацию и порядок!*» (6; 52, 53).

И Герцен приходит в книге «С того берега» к решительному выводу: «Государственные формы Франции и других европейских держав не совместимы по внутреннему своему понятию ни с свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью» (6, 54).

В пятом письме своих очерков «Опять в Париже» Герцен распространяет отрицание буржуазного порядка и на Северо-Американские Штаты. По его мнению, «все, что политическая республика могла дать (то есть буржуазная республика. — *Я. Э.*), она дала Северо-Американским Штатам». Герцен приводит слова американского журналиста Брисбена: «Республика, которая, как наша, учреждена на известных основах политического Европейского общества, ничего не может сделать для трудящихся классов, она не может, не нарушив своих жизненных основ, предоставить людям равенство, к которому мы стремились». И Герцен заявляет: «Я вполне разделяю мнение господина Брисбена» (5; 425, 426).

Сатирическим резюме наблюдений Герцена над буржуазным, так же как и феодальным, обществом звучит его знаменитое суждение: «...каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства» (V, 424).

По своей непримиримости в отношении к буржуазному строю «С того берега» — характерна для литературы русской революционной демократии 60-х годов. Она создала классические по своей силе и остроте антибуржуазные социально-политические памфлеты, в которых конкретность художественных сатирических зарисовок сочетается с последовательностью аналитической мысли в отрицании установлений буржуазного строя. В этом отношении книга Герцена идейно связана с такими произведениями, как итальянские фельетоны и статьи Добролюбова (в особенности «Из Турина») и «За рубежом» Щедрина.

Русские революционные демократы превосходно сознавали, насколько господствующий тогда в России самодержавно-помещичий строй является исторически отсталым по сравнению с буржуазным порядком Западной Европы и Америки. Но они глубоко верили в потенциальные силы русского народа, скованные тогда гнетом царизма и крепостников, ибо великолепно знали свой народ и его характер. Они были твердо убеждены в том, что рост и пробуждение этих сил и разгорающаяся революционная борьба образуют предпосылки, для того чтобы создать в России социальный строй, гораздо более передовой, нежели тот, который существовал в то время в западноевропейских странах. Герцен называет диктатуру Луи Бонапарта «диктатурой управы благочиния» (5, 213), сближая тем самым западноевропейскую буржуазную реакцию с режимом Николая I. В таком сближении отражается последовательность критики Герценом буржуазного порядка.

В книге «С того берега» Герцен заявляет, что в жизни народа Франции он глубоко сочувствует «одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей» (6, 13). Он понял, что революционной борьбе пролетариата и «революции народных масс» (5, 205) свойственны невиданные еще решительность, суровость и непримиримость; те, кто «умирают от голода, от холода», те, кто ропщут «над нашей головой и под нашими ногами», идут «покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому» (6; 58, 59). Герцен почувствовал, как глубоко народ разочарован в буржуазных революциях, в буржуазной демократии. «С того берега» и «Опять в Париже» отражают это разочарование. «Его

(народ. — *Я. Э.*), — пишет Герцен, — обманули, он не верит больше в тех, которые оставили его в день его восстания» (5, 205). В июньские дни Луи Блан отказался присоединиться к рабочим, он находился в Национальном собрании, по ту сторону баррикады.

Чем пытливее вглядывался Герцен в окружающую действительность, в исторические события, тем все более твердо приходил он к выводу о том, что именно народные массы определяют собою ход исторического развития. В народной жизни, в тенденциях ее развития Герцен ищет ответа на мучившие его еще в «Перед грозой» вопросы о том, каков же «факт современного мира», «эмбриогения жизни». Герцен призывает заняться «физиологией общественной жизни, историей как действительно объективной наукой», установить «законы исторического развития», подлинные и объективные, а не продиктованные «отвлеченными нормами, которые строит чистый разум» (6, 67). Для Герцена «исполнение социализма представляет... неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами. Жизнь осуществляет только ту сторону мысли, которая находит себе почву, да и почва при том не остается страдательным носителем, а дает свои соки, вносит свои элементы» (6, 78).

Глубокое и точное изучение исторической «почвы», неразрывное с последовательным и страстным стремлением к осуществлению социалистических идеалов человечества, — таков для Герцена единственный путь, ведущий вперед, ибо «для того, чтоб деятельно участвовать в мире, нас окружающем... мало желания и любви к человечеству» (6, 84).

Герцен ставит целью уяснить себе «народную мысль», стремления народа. Он указывает на необходимость «изучить эту самобытную физиологию рода человеческого... понять ее путь, ее законы» (6, 68), советует вглядеться, «идет ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что она идет, и идти с нею или от нее, но зная ее путь». Однако народное движение мыслится Герцену еще как движение в основе своей только стихийное. Для Герцена «народы, массы — это стихии, океаниды; их путь — путь природы, они, ее ближайшие преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями... ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою

или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо» (6, 80).

Такое представление о народной жизни нередко вело Герцена к недооценке духовного роста масс и перспектив их будущего развития. Политическая идейная незрелость парижского пролетариата в 1848 году порою трагически воспринималась им как нечто «природное», неизменное, непоколебимое.

Вместе с тем Герцен чувствовал мощь, энергию, страсть народного движения. Народные массы, по словам Герцена, «полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией, у них она не остается... теорией, она у них тотчас переходит в действие, им оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для них» (6, 68). Народным массам Герцен противопоставляет «наше поколение», буржуазно-демократическую интеллигенцию: «Мы какие-то бездушные риторы, у нас кровь холодна, а горячи одни чернилы; у нас мысль привыкла к бесследному раздражению, а язык к страстным словам, не имеющим никакого влияния на дело» (6, 108).

Не следует эти слова упрощенно истолковывать как исчерпывающую автохарактеристику. Герценом владело в этом случае то же страстное и горькое чувство, которое продиктовало Лермонтову его знаменитую «Думу». Герцен казнит и преследует в себе все то, что его духовно роднит с современным ему поколением буржуазно-демократической интеллигенции, и самая мощь его саркастической самокритики — свидетельство ее плодотворности. Но вместе с тем характеристика эта отражает и глубину духовного краха Герцена. С гениальной точностью Ленин определил причину этого краха — остановку Герцена перед историческим материализмом.

Не понимая исторической роли условий материальной жизни человечества, роли производственных отношений, Герцен не мог определить характер и направление исторического развития. Именно черты антропологической ограниченности, присущей материализму Герцена, были одним из источников, питавших его пессимизм. В «Consolatio» доктор приходит к пессимистическим выводам о будущем человечестве, основываясь на аналогиях с животным миром и указывая пределы, поставленные развитию последнего. И у самого Герцена, как мы только что видели, встречаются подобные аналогии.

Герцен отмечал «силу социальных идей», особенно великую «с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по праву существующего гражданского порядка — пролетарий, работник» (6, 55). А несколько позднее, осенью 1851 года, он в одном письме говорит: «Насколько вся образованная часть Франции развращена, гнусна и не имеет никакого будущего, настолько велики пролетарии и даже крестьянин» (VI, 429).

Но Герцен не видел экономических корней исторической роли пролетариата. Поэтому его надежды на народ, на пролетариат и не были твердыми, устойчивыми, они вновь и вновь подвергались скептической переоценке. Герцен не замечал в идейной жизни своего времени и такой правильной революционной теории, которая в состоянии была бы соединиться с народом, вооружить народные массы и научно определить путь к будущему. «Сознательного действия, т. е. такого, которое бы вполне удовлетворяло, не может еще быть, мы действуем ощупью» (6, 67),— писал Герцен. По этим причинам будущий взрыв революционного протеста народных масс и представлялся ему в виде стихийного «катаклизма». Но он приветствовал эту надвигающуюся революцию народных масс. «...Что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему...» (6, 48). Герцен неизменно оставался верен «тому берегу» — берегу революции.

Не уяснив себе закономерностей, определяющих историческую роль рабочего класса, Герцен не был в состоянии оценить величайшую прогрессивность того экономического порядка и той культуры, которые несет с собой революционный пролетариат, — в надвигающемся перевороте он видит прежде всего «хаос и разрушение». Недооценивая историческую инициативу и активность народных масс, Герцен писал: «Массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим им — и в голову не приходит» (6, 124). Ему представляется возможным, что в предстоящих схватках классовой борьбы погибнет или надолго будет погребена европейская цивилизация, «цивилизация меньшинства», чуждая народным массам и тем самым таящая в себе

внутренний порок и неизбежность будущей своей гибели. Герцен в период работы над книгой «С того берега» не понимал, что социалистический пролетариат является законным наследником всех величайших достижений мировой культуры, которые при социализме впервые станут достоянием народа и тем самым явятся фундаментом созидания новой, невиданно богатой народной социалистической культуры. Правда, Герцен убежден в неустанном развитии человеческой культуры; цивилизация, по словам Герцена, «бесконечна, как мысль, как искусство... цивилизации не гибнут, пока род человеческий продолжает жить без совершенного перерыва, — у людей память хороша; разве римская цивилизация не жива для нас?.. Она принесла свое миру современному, она приносит многое нам, но ближайшее будущее Рима прозябало на других пажитях» (6; 31, 30). Тем самым Герцен утверждал, что, быть может, в отдаленном будущем ценности европейской цивилизации в том ее виде, в каком ее застанет «социальный переворот», вновь возродятся в памяти человечества.

Герцен усвоил диалектический взгляд на историю человечества. В одной из глав «С того берега», озаглавленной «Vixerunt», отвечая своему оппоненту, он говорил: «Что касается до движения собственно, его не уймешь. Девиз нашего времени, больше нежели когда-нибудь, semper in motu» (вечно в движении. — *Я. Э.*) (6, 72). Но тот исторический период, который непосредственно должен был следовать за «социальным переворотом», представляется Герцену прежде всего эпохой разрушения старого мира и его культуры, а не эпохой творчества нового. Допуская самую возможность гибели великих ценностей, созданных человечеством, или по крайней мере многовековое — лет на 500, — как он указывает в одном письме (V, 288), — забвение их после революционного переворота, Герцен обнаруживает глубоко пессимистический характер своего мировоззрения в этот период.

Этот пессимизм, проявившийся в книге, приводит Герцена к все более и более мрачным гипотезам относительно будущего общественного развития Европы. После июня 1848 года Герцен, как то наиболее ясно выражено в очерке «После грозы», ожидал еще стихийного, беспощадного и кровавого народного восстания — «хаоса и

разрушения» (6, 48) — и приветствовал этот приближающийся «разгар бешенства, мести, раздора, возмездия» (6, 48). В одном письме конца 1848 года Герцен писал московским друзьям, что им, быть может, еще суждено будет увидеть «зарево издали» (V, 246). Но по мере того как укреплялась реакция и власть Луи Бонапарта, будущего Наполеона III, пессимизм Герцена принимает все более трагический колорит. В главе «Эпилог 1849» Герцен говорит, что «последняя надежда, — которая согревала, поддерживала, — надежда на месть, — на месть безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что в груди у современного человека есть сердце, — исчезает» (6, 108). Герцен признавал наиболее вероятным тот вариант будущего переворота, возможность которого он допускал и раньше в главе «LVII год республики, единой и нераздельной», датированной 1 октября 1848 года. Здесь Герцен полагал, что будущее принадлежит «катаклизму, перевороту», который совершат пролетарии, народ. Однако затем он говорит и о другой возможности, о «перевороте исподволь», который он представляет себе в виде «раздробления собственности», в виде торжества «мелкого собственника». В этом случае, по мнению Герцена, «все силы, таящиеся теперь в многострадальной, но мощной груди пролетария, иссякнут; правда, он не будет умирать с голода, да на том и остановится, ограниченный своим клочком земли или своей каморкой в работничьих казармах» (6, 60).

«Народы, — пишет Герцен, — ...перед падением тупеют, их понимание помрачается, они выживают из ума... измельчавшая Европа изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии» (6, 109).

Такой пессимистический взгляд Герцена неразрывно связан с непониманием им тогда роста исторической активности народных масс, с одной стороны, и роли передовой революционной теории — с другой. Рабочее, народное движение он рассматривает почти исключительно как движение стихийное, идущее или к стихийному разрушению старого порядка, или к стихийному же превращению в мелкую буржуазию и подчинению духовному укладу буржуазии. Но такая пессимистическая оценка перспектив исторического развития вступала в резкое противоречие с диалектическими и материалистическими

элементами в мировоззрении Герцена, с его выводами о решающей роли, которая принадлежит в истории народным массам, с его наблюдениями, свидетельствующими о том, что передовые идеи начинают проникать в массы.

Поэтому, даже предсказывая, что Европа станет «мещанской», Герцен не видит в этом последний итог исторического развития человечества. В главе «LVII год республики, единой и нераздельной» Герцен, допуская, что «все силы, таящиеся теперь в многострадальной, но мощной груди пролетария, иссякнут», вместе с тем оговаривается: «...если это будет, тогда главный поток истории найдет себе другое русло... человечество не пойдет узким и грязным проселком, — ему надобно широкую дорогу» (6, 60).

В «Эпилоге 1849», предвещая, что «будущие поколения... обмелеют, обнищают умом и сердцем» и «протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом», Герцен провидит, однако, за этой, очевидно, многовековой задержкой исторического развития опять «весну, молодую жизнь... варварство младенчества, полное неустроенных, но здоровых сил» (6; 109—110), что в дальнейшем и поведет к развитию социалистического строя.

Только на фоне этой противоречивости суждений, высказанных в «С того берега», можно будет в дальнейшем правильно оценить преодоление Герценом в 60-х годах такой ограниченности своих воззрений.

Несмотря на все колебания, сомнения и пессимизм Герцена, мы чувствуем в книге, как неустанно бьется его мысль, как неутомимо ищет она путь, ведущий вперед. В этом отношении показательно, как Герцен продолжил со своим оппонентом тот спор, начало которого, относящееся к осени 1847 года, было изложено в «Перед грозой». В «Vixerunt» он описывает продолжение этого спора в ноябре 1848 года. Роли Герцена и его оппонента теперь существенно изменились. Как ни потрясен Герцен, как ни глубок его пессимизм, он по-прежнему зовет «к знанию, к изучению» действительности. У его же собеседника былой прекраснодушный оптимизм сменился полным и безысходным отчаянием, даже равнодушием к перспективам революции. В начале 1848 года ему «все лучшие упования, все задушевные надежды» казались

уже «исполняющимися» (6, 64), а после июня он считает, что «будущее водворяемое погибнет вместе с дряхлым, отходящим». Как мы видели, такой взгляд, действительно заводящий в тупик, был органически неприемлем для Герцена даже в моменты крайнего обострения его пессимизма.

Поэтому Герцен в «Vixerunt» возражает своему отчаявшемуся оппоненту: «Будущее, которое гибнет, не будущее... тогда вы возражали мне, а теперь согласились через край. Вы не жизнью, не мыслию дошли до вашего нового взгляда... вы дошли до него... от минутного отчаяния, которым вы наивно... прикрыли прежние надежды» (6; 69, 77).

Однако в «С того берега» выделялся один мотив, который давал возможность современникам обвинять Герцена в том, что он пытается занять по отношению к событиям общественной, политической борьбы позицию стороннего наблюдателя. В главе «Consolatio» Герцен дает слово человеку, которого он называет доктором, как бы подчеркивая тем самым, что общество больно и что необходимо поставить диагноз его болезни. Доктор ставит резкий, беспощадный диагноз. Старый мир безнадежно болен, и он не видит средств для его излечения. Доктор черпает «утешительное сознание» в том, что не испугался истины, а, открыв ее, нашел довольно сил, «чтоб вынести ее» (6, 106). Он пытается отойти в сторону от событий, не находя в них для себя никакой роли. Доктор приходит к выводу, что ему остается лишь «внутренняя работа», которую его собеседник считает праздностью. Он подумывает о том, чтобы уехать в Америку, хотя сознает, что «там очень скучно» (6, 106). Многозначительно самое название этой главы — «Consolatio» («Утешение»). Утешение заключается для доктора в том, чтобы отойти в сторону в спокойном сознании силы и проницательности своей мысли, одинаково чуждой как старому миру, так и будущему перевороту народных масс. Доктор считает, что народное «восстание неотвратимо», но так как «глухое брожение, волнующее народы, происходит от голода» (6, 97), то в этом грядущем восстании он отрицает созидательные, творческие элементы.

Несомненно, что доктору принадлежат и такие мнения, которые в той же книге «С того берега» были вы-

сказаны самим Герценом. Однако было бы неправильно отождествлять точку зрения доктора и самого автора. Холодный созерцательный скептицизм доктора чужд Герцену, страстно ищущему путь вперед и не страшащемуся трагических противоречий. Именно «Consolatio» особенно отчетливо показывает, что в этой книге Герцен не раз спорит сам с собою, сомневается в декларированных им же пессимистических положениях, вновь и вновь взвешивает их, оспаривает и действительно неуклонно ищет объективную истину. Доктор, настроенный безнадежно скептически, считает, что пропасть между «безличной массой» и «самобытной личностью» никогда не будет преодолена. Но ему возражает его собеседница, и ответ ее, бесспорно, отражает чаяния самого Герцена: «Да... до тех пор, пока вообще будет толпа, но заметьте, что прошедшее и настоящее не дают вам причины заключать, что в будущем не изменятся эти отношения; все идет к тому, чтоб разрушить дряхлые основы общественности» (6, 102). Ведь Герцен мечтал о духовном росте народа, о том, чтобы простой человек не был бы частицей бессознательной «толпы», — еще с начала 30-х годов его волновал этот вопрос. Но после 1848 года он сомневался, что эта цель достижима в ближайший исторический период. Его сомнения и отразились в книге.

Не следует при этом забывать, что в первом издании «С того берега» статьи, построенные в виде диалогов, — «Перед грозой», «Vixerunt» и «Consolatio», — составляли особый, первый отдел книги, имевший общий заголовок «Кто прав?». Герцен подчеркивал тем самым спорность высказываемых здесь точек зрения. Особенно же существенно то, что идейные позиции «человека средних лет» — несомненно, самого Герцена — в «Перед грозой» и «Vixerunt», с одной стороны, и доктора в «Consolatio» — с другой, не совпадают. Доктор доводит пессимистические и скептические мысли Герцена до таких пределов, что у последнего возникают возражения против столь крайних выводов. В этой связи следует вспомнить, что мировоззрение доктора Крупова в «Кто виноват?» и в «Докторе Крупове» также не может быть приписано автору. Герцен в «Перед грозой» сам сравнивает себя с хирургом, и тем не менее его анализ не ведет к тем заключениям, к которым приходит доктор в «Consolatio».

В «Vixerunt» «человек средних лет» заявляет: «Я уважаю Плиния, остающегося досматривать грозное извержение Везувия в своей лодке, забывающего явную опасность. Удалиться было благоразумнее и во всяком случае покойнее» (6, 66). Но именно такое «поэтическое любопытство» «ведет к знанию, к изучению, оно мучится об неоткрытой части света, подвергается заразе, чтоб узнать ее свойство» (6, 65). В «Vixerunt» не Герцен, а его оппонент — «молодой человек» и «милый идеалист» — стремится покинуть европейскую арену исторических событий. Бесповоротно придя к выводу, что «этот мир гибнет», что историческое развитие зашло в безысходный тупик, он заявляет: «Я... отправлюсь с первым пароходом в Америку или в Египет, лишь бы вон из Европы. Я устал, я изнемогаю здесь, я чувствую болезнь в груди, в мозгу, я сойду с ума, если останусь» (6, 65). Герцен же глубоко чувствует исторический пафос грядущего революционного взрыва. Недаром первому отделу «С того берега», озаглавленному «Кто прав?», он предпослал эпиграф из Гёте:

Иль думал ты,
Что я возненавижу жизнь,
Бегу в пустыню потому,
Что сны цветущие не все
Созрели в яви?

Таким образом, в первом издании «С того берега» вывод доктора в «Consolatio» нельзя рассматривать как итог размышлений Герцена.

Однако несколько позднее выхода из печати первого (немецкого) издания «С того берега» Герцен опубликовал в одном немецком журнале статью, озаглавленную «Omni mea mecum porto» («Все свое с собою несу»), в которой уже непосредственно от своего имени развивает некоторые существеннейшие положения, высказанные доктором в «Consolatio». Герцен заявляет здесь: «Корабль идет ко дну. Страшна была минута сомнения, когда рядом с опасностию были надежды; теперь положение ясно, корабль не может быть спасен, остается гибнуть или спасать себя. Долой с корабля, на лодки, бревна — пусть каждый пытает свое счастие, пробует свои силы» (6, 118). Герцен, подобно доктору, ищет спасения во «внутренней работе». При этом он указывает: «Будет

ли притом такая или другая внешняя деятельность или никакой не будет — я не знаю. Да, в сущности, это и не важно... если в вас есть не только что-нибудь годное, но что-нибудь глубоко шевелящее других, оно не пропадет — такова экономия природы... ваши слова, дела, мысли займут свое место без особенных хлопот» (6, 132). Герцен высказывает желание начать независимую, «самобытную жизнь» человека, который сам «создает свою нравственность» (6, 131), и в то же время он понимает, как невозможен и как оскорбителен для бойца такой выход из борьбы.

«Идти бы прочь... — размышляет он в «Эпилоге 1849». — Своею жизнию начать освобождение, протест, новый быт... Как будто мы в самом деле так свободны от старого?.. И разве вдали мы не будем слышать стоны, разве можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши — преднамеренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побежденным, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею» (6; 113—114).

Не раз уже указывалось, в какой мере неправильно было бы ту или иную мысль, содержащуюся в этой книге, рассматривать как окончательный вывод Герцена[1]. Это — раздумья, сомнения, гипотезы, внутренний спор. А побеждающая тенденция развития всей этой напряженнейшей «внутренней работы» лежит, как уже приходилось убеждаться, совсем не в том направлении, которое выражает доктор в «Consolatio» и которым, казалось бы, определяется позиция самого Герцена в «Omnia mea mecum porto». Герцен и в этом своем выступлении, как всегда, был искренен. В «Omnia mea mecum porto», как в любом произведении Герцена, отражен момент его жизни, его страданий. Для подтверждения обратимся к фактам биографии.

Приехав в июне 1849 года в Женеву, Герцен около полугода прожил с семьей в Швейцарии. Затем он вернулся в Париж, чтобы уладить материальные дела ввиду

---

[1] Ср. статью Л. Я. Гинзбург «С того берега» Герцена (Проблематика и построение)» в Известиях АН СССР, Отделение литературы и языка, т. XXI, вып. 2, М. 1962.

ду попыток царского правительства конфисковать не только его имущество, но и капитал матери. Французская столица 1850 года, Париж устоявшейся реакции вызвал у Герцена острое отвращение — «с утра до ночи все стороны души были оскорбляемы, грубо, нагло, дерзко» (5, 191). Герцен присутствует на прениях в Законодательном собрании, где озверелые буржуа попирали конституцию республики, отменив всеобщую подачу голосов, и измышляли все новые жестокие меры против своих политических противников, учреждая для них тюрьмы и лагеря на гибельных Маркизовых островах. Герцен становится свидетелем того, как власти буржуазной республики преследуют и затем закрывают журнал, в котором он принимал активное участие. Наконец, сам он подвергается высылке из «свободной» Франции. Такой разгул реакции навевает самые темные думы. В минуты отчаяния Герцен подумывает о том, чтобы отойти «в сторону от непогоды и долгого ненастья, не видя средств остановить его» (5, 191). Именно в таком настроении он пишет «Omnia mea mecum porto».

В июне 1850 года Герцен поселился с семьей в Ницце, входившей тогда в состав Италии. Он говорил, что в Ницце надеялся найти «покой в ее безмятежной пустоте, удаляясь от трескучей деятельности больших городов». Именно Ницца, не имеющая «никакого значения — ни политического, ни ученого, ни даже художественного», привлекала Герцена. «Это мирная обитель, в которую я отхожу, — писал он, — от мира сего, пока мы не нужны друг другу. Счастливый ему путь. Он довольно меня мучил, я не сержусь на него, он не виноват, но не имею больше ни сил, ни охоты делить его свирепые игры, его пошлый отдых» (5; 190—191). Уже эти слова ясно показывают, что сам Герцен искал именно не «пошлого отдыха». Он намеревался на время уйти от «мира сего» для того, чтобы из своего «прекрасного далека», чуждого, как он полагал, «духу тревоги и людского безумия» (5, 200), беспристрастно разобраться в случившемся. В то время Герцен не раз сравнивал себя и в книге «С того берега» и в письмах к друзьям с «мудрейшими из римлян» периода падения Рима и распространения христианства, с философами III века, порвавшими со старыми верованиями и скептически расценивающими новые.

Еще в «Письмах об изучении природы» Герцен касался исторической роли этих мыслителей, осуждая их скептицизм. Он упоминал здесь о том, «какие страшные слова вырываются иногда у Плиния, у Лукана, у Сенеки» — «какая усталь пала на душу людей этих, какое отчаяние придавило их!» (3, 209).

Но если в годы работы над «Письмами об изучении природы» Герцен ожидал скорого и легкого торжества социализма, то в книге «С того берега» отразилось крушение этих надежд. Поэтому существенным образом и меняется отношение его к римским философам-скептикам.

В заключение главы «Consolatio» Герцен подчеркивает проницательность их пессимизма — «они не испугались истины» (6, 106).

Эти слова вложены здесь в уста скептику-доктору. Однако из письма Огареву от 10 июня 1849 года видно, что характеристика эта выражает и собственную точку зрения Герцена. Он как будто склонен был представить свою будущую жизнь овеянной скорбной, но истинной поэзией, которая, казалось ему, присуща одинокой, свободной и сосредоточенной в себе личности. Именно в таком стремлении встать над общественной борьбой эпохи особенно резко и наглядно проявился духовный крах Герцена после поражения революции 1848 года.

Он хотел встать над борющимися классами и партиями, но действительность доказала ему всю невозможность этого. На собственном опыте Герцен убедился в том, что стремление к одинокой и свободной «поэтической жизни» является очередной иллюзией, и притом иллюзией человека старого, буржуазного мира.

И в тринадцатом из «Писем из Франции и Италии», датированном 1 июня 1851 года, то есть более чем через год после «Omnia mea mecum porto», Герцен вынужден сознаться: «Я долго думал, что можно по крайней мере лично начать новую жизнь, отступить в себя, удалиться от толкучего рынка. Невозможно — будь хоть один человек возле вас, с которым вы не порвали все отношения, через него воротится старый мир, порочный и распутный, лукавый и предательский» (5, 209). Уединение в Ницце не принесло спокойствия: «Напрасно радовался я моему тихому удаленью... я не нашел желанного мира, ни покойной гавани» (5, 201).

Впоследствии в «Былом и думах» Герцен дал еще более глубокую характеристику внутренних противоречий «С того берега»: «Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших «С того берега». Я в себе преследовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и за обман; я не над ближним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным, но тут и запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя. Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться... от лишних. И надменно я поставил заглавием последней статьи: «Omnia mea mecum porto» (10; 233—234).

По словам Ленина, «...духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела»[1]. Герцен видел слабость буржуазной демократии, умирание ее революционности, но, остановившись перед историческим материализмом, не сумел провидеть те великие исторические перспективы, которые открыло перед человечеством созревание революционности пролетариата. Поэтому Герцен и верил только «в несколько человек... в себя». Но мысль его была слишком пытливой и неутомимой, чтобы остановиться на этом. Ленин указывал, что у Герцена «скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата»[2]. Но с полной определенностью это своеобразие герценовского скептицизма обнаружилось много позднее, уже в 60-х годах.

Было бы, однако, неверно полагать, что, выступая впервые в 1850 году перед западноевропейским читателем со значительной и получившей громкий отзвук книгой (напомним, что первое издание «С того берега» вышло на немецком языке), Герцен преследовал в ней

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10

[2] Там же, стр. 11.

только и исключительно цель высказать свое разочарование в «старом мире», в прежних надеждах и упованиях.

Пусть приглушенно и лишь изредка прорываясь сквозь завесу мрачно-пессимистических и скорбных раздумий, в книге Герцена все же слышались иные звуки и мысли, пробивался луч надежды, возникали образы, зовущие вперед и внушающие бодрость и оптимизм.

Лиризм Герцена проникнут «непреоборимым желанием противудействия, борьбы, исследования, изыскания средств, причин» (6, 71). В главе «Доносо-Кортес» автор «С того берега», трезво признавая, что реакция способна «сбить с пути целое поколение» и «задержать ход человечества на минуту» (6; 137, 138), вместе с тем заявляет, что силы регресса не в состоянии предотвратить наступление революции и социализма, подобно тому как в свое время гонения римских цезарей не смогли воспрепятствовать торжеству христианства, ибо «время Евангелия наступало!» (6, 142). Герцен убежден в том, что «история принадлежит постоянно одной партии — партии движения» (5, 202). Назревшая историческая потребность не будет подавлена даже самым жестоким, мучительным и диким насилием; историческая «минута», в течение которой движение вперед задерживается, может быть длительной, но она не способна оказать решающее влияние на ход исторических судеб.

Однако в таких оценках и прогнозах не чувствовалось еще уверенности и стойкости. Мы видим не раз, как мысль Герцена вновь колеблется и отступает. Он боялся надеяться — слишком уж жестоки были уроки испытанных разочарований.

Какими извилистыми путями мысль автора «С того берега» шла к своим пессимистическим выводам, можно понять из некоторых писем Герцена к Гервегу.

В письме от 1 апреля 1850 года Герцен сообщает Гервегу о своём намерении «написать нечто подобное моим диалогам (то есть диалогам, вошедшим в немецкое издание «С того берега».— *Я. Э.*), но совсем в другом роде. Название будет «Пролог».

Далее он набрасывает эскизно, рассчитывая на понимание с полуслова, некоторые мысли, которые должны быть развиты в будущем «Прологе». Здесь, между прочим, говорится: «Довольно отчаиваться, все кончено,

тяжелые времена прошли. Он мертв, этот старый мир, ну, а мы не черви, пожирающие трупы.

Вон, черт возьми».

«Следует,— говорит далее Герцен,— проповедовать близкие похороны, заняться наследниками и наследством».

Набросок этот, бесспорно, не чужд оптимистической тенденции. Тем более любопытно, что несколькими днями позже Герцен создал статью «Omnia mea mecum porto». Совпадение некоторых тезисов и формулировок тут и там — разительное.

Так, например, в статье говорится: «Много найдется мастеров бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживут на счет гнили. Оставим им труп...» (6, 118). Но в целом эта глава «С того берега» звучит вовсе не как пролог, оптимистически приоткрывающий будущее, а как попытка «отойти с двумя-тремя в сторону...» от мира, судьба которого расценивается крайне пессимистически.

Почему же мысль Герцена изменила своему направлению?

Насколько мы можем судить по письму к Гервегу от 5 апреля, последний, узнав о замысле «Пролога», упрекнул Герцена в излишнем оптимизме. Хотя Герцен в ответ и заявил: «Ты ломишься в открытую дверь... Я не убаюкиваю себя никакой надеждой», тем не менее он не полностью согласился со своим корреспондентом, восхищаясь, каким самообладанием и тактом «истекшие два года наделили массы».

Однако тут же Герцен уступает Гервегу, признав, что массы «не знают, чего хотят», что в общественной жизни и борьбе господствует хаос. И выводом звучит утверждение, которое и легло в основу герценовской статьи: «именно в такие эпохи личность чувствует себя свободнее, чем когда-либо» [1].

Герцен внимательно наблюдал жизнь. Он уже улавливал и такие черты ее, которые опровергали его пессимизм, но все же поддавался последнему.

Оптимистические ноты наиболее сильно проявляются в той части книги, в которой Герцен касается вопросов русской жизни.

---

[1] «Литературное наследство», т. 64, стр. 158.

Во второй отдел первого издания «С того берега», кроме статей «После грозы» и «LVII год республики, единой и нераздельной», были включены две статьи, носившие названия писем к Георгу Гервегу (эта статья имела еще и особый заголовок — «Россия») и Маццини, вождю итальянской мелкобуржуазной республиканской демократии. В этих письмах Герцен выступал как русский, желающий рассказать Западной Европе о своем народе и «проклинать во всеуслышание наших угнетателей» (6, 233). Никогда не оставлявшее Герцена стремление к практической революционной деятельности на благо родной страны наложило особый отпечаток даже на самые пессимистические страницы «С того берега». Это хорошо сознавал сам Искандер. В письме к одному из своих западноевропейских корреспондентов, Монсею Гессу, от 3 марта 1850 года Герцен в ответ на некоторые критические замечания последнего о книге «С того берега» указывал: «Моя позиция наблюдателя определяется моей национальностью, я физиологически принадлежу к другому миру, я могу с большим равнодушием констатировать страшную язву, которая снедает Западную Европу. В России мы страдаем только от детской неразвитости и материальной нужды, но нам принадлежит будущее. Славянский мир еще не существовал во всей полноте своих сил; теперь он инстинктивно приготовил себе огромную арену действия — Россию». И далее, что особенно знаменательно, Герцен вводит крайне существенное ограничение излюбленного им в «С того берега» сопоставления себя с римскими философами эпохи разложения культуры Древнего Рима. «В этом отношении, — продолжает Герцен, — мы, русские, находимся в совсем ином положении, чем римские философы,— те не имели ничего, кроме своей мысли, мрачной и гордой... и они предвидели то время, когда Юстиниан закроет их школы или какой-нибудь другой император сожжет византийскую библиотеку, чтобы покончить с их наукой. Мы же, наоборот, только ждем, когда выступить» [1].

Герцен не терял глубокой веры в великое будущее своего народа и по-прежнему упорно искал практической революционной деятельности. В этом отношении

[1] «Литературное наследство», т. 7—8, стр. 80.

очень характерны заключительные строки «России»: «Если же и здесь дойдут до того, что заткнут нам рот и не позволят даже проклинать во всеуслышание наших угнетателей, то я уеду в Америку. Я — человек и пожертвую всем ради человеческого достоинства и свободы слова» (V, 363). Для Герцена, следовательно, мысль о поездке в Америку неразрывно связана с задачей борьбы с «нашими угнетателями». В этом резкое отличие самого Герцена от доктора-космополита из «Consolatio», для которого Америка лишь наиболее благоприятное место для «внутренней работы», и тем более от «милого идеалиста», который в Америке надеялся найти забвение от поражения революции 1848 года.

Таким образом, в первом издании «С того берега» мотив ухода от общественной борьбы, звучащий в «Consolatio» в словах доктора, не приобрел доминирующего значения.

В уже цитированном письме к Маццини от 13 сентября 1850 года Герцен решительно возражал против попыток истолковать позиции, занятые им в книге «С того берега», как «отказ от дела»: «Я не сижу сложа руки, у меня еще слишком много крови в жилах и энергии в сердце, чтобы мне нравилась роль пассивного зрителя. С 13-ти лет и до 38-ми я служил одной и той же идее, имел одно только знамя: война против всякой установленной власти, против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности» (VI, 143—144).

Во втором издании книги, которое было ее первым русским изданием, Герцен ввел охарактеризованную выше статью «Omnia mea mecum porto» и исключил письма к Гервегу и Маццини. Исключение объяснялось прежде всего тем, что материалы эти в 1855 году совершенно устарели и не представляли интереса для русского издания. Ведь это были первые попытки Герцена познакомить западноевропейского читателя с русским народом и его передовой интеллигенцией. Естественно, что теперь, обращаясь непосредственно к русскому читателю, автор заменил эти статьи-письма обращением к русским друзьям, озаглавленным «Прощайте!», о котором мы говорили выше. В 1855 году это обращение, датированное 1 марта 1849 года, являлось живым доказательством постоянства стремлений, стойкости Герцена.

В самом деле, обе задачи, намеченные здесь Герценом, были им выполнены: он действительно стал «бесцензурной речью» передовой России и рассказал Европе о «мощном и неразгаданном» русском народе (6, 17).

Включение в книгу статьи «Omnia mea mecum porto» отвечало общему замыслу ее как рассказа об исканиях Герцена после поражения революции 1848 года. Но, разумеется, статья эта менее всего могла восприниматься в 1855 году как окончательный вывод.

Представляет интерес и то, что Герцен в русском издании нарушил тот хронологический (по датам написания) порядок, в котором были расположены главы «С того берега». «Доносо-Кортес», датированный 15 марта 1850 года, помещен здесь в конце книги после главы «Omnia mea mecum porto», датированной 3 апреля 1850 года. Таким образом, финал главы «Доносо-Кортес», выражающий веру в будущую победу революции и социализма, заключает собою и всю книгу.

Русское издание «С того берега» 1855 года говорило в значительной степени уже не о настоящем, а о прошлом, о пройденных и преодоленных испытаниях, и звало к борьбе, а не к созерцательности. Недаром в посвящении сыну Герцен называет ее «памятником борьбы, в которой я пожертвовал многим, но не отвагой знания», а в черновом варианте этого посвящения указывает: «лучше погибнуть с революцией, чем спастись в богадельные реакции» (6, 314).

Итак, в первом анонимном (немецком) издании «С того берега» 1850 года, имевшем остро злободневное значение, Герцен, обращаясь по преимуществу к западноевропейскому читателю, не столько решал те или иные вопросы, сколько с подчеркнутой и вызывающей остротой ставил их. Даже охваченный скептицизмом и пессимизмом Герцен, объединив диалогические главы книги заголовком «Кто прав?», указывал на спорность содержащихся здесь пессимистических заключений. Герцен тогда еще практически не нашел пути и средств революционной борьбы на благо родины, но он искал их и обосновывал историческую роль и задачи русского революционера, рассказывая западноевропейской демократии о России. Во втором (русском) издании «С того берега» (1855) Герцен обращался к русскому читателю, выступал уже не анонимно, а как революционер-эми-

грант, подписываясь своим широкоизвестным псевдонимом «Искандер». Теперь самые пессимистические главы книги звучали лишь как рассказ о пережитом и передуманном.

Организатор Вольной русской типографии, издатель «Полярной звезды», автор «Былого и дум», революционер и эмигрант, на практике доказал, что сумел найти дело, сыгравшее в жизни его народа огромную историческую роль.

2. Художественные и публицистические элементы в книге «С того берега»

Чтобы создать «С того берега», нужно было быть не только великим мыслителем, но и великим художником. В этом произведении нет сюжетного, фабульного развертывания действия в том смысле, в каком эти понятия обычно применяются в отношении беллетристики, но «С того берега» обладает и внутренним драматизмом и художественным единством.

Все главы книги, одни из которых могут быть названы очерками и памфлетами, другие — исповедью, третьи — диалогами, объединены, если употребить выражение Герцена, изображением его «логического романа». Герцен спрашивает в очерке «После грозы»: «Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования — и как она захватила потом более и более и дотрогивалась до святейших достояний души» (6, 45).

Подлинный герой «С того берега» — мысль Герцена, и драматизм книги определяется исканиями этой мысли, ее «романом» с истиной. Высказывая в книге те или иные идеи, Герцен дает их в неразрывном единстве с лирическим повествованием о своих духовных исканиях, с художественным изображением их психологического воздействия, вызванных ими эмоций, ассоциаций, воспоминаний, а также в тесной связи с важнейшими историческими событиями.

В книге «С того берега», особенно в таких главах, как «После грозы» и «Эпилог 1849», рельефно выступает сложное сочетание художественных и публицистических

элементов, вообще характерное для герценовского стиля. Неразрывная органическая связь мыслителя и писателя проявляется здесь именно в том, что действительность в равной степени служит автору отправной точкой и для художественного творчества и для теоретических обобщений.

Зарисовки июньских дней Герцен дает как художник, в конкретных индивидуализированных образах, и вместе с тем исторический опыт этих событий он анализирует и обобщает как публицист.

Самые искания своей мысли Герцен делает предметом художественного лирического рассказа, соединяя его с прямыми философскими отступлениями.

Разумеется, дар конкретного, образного воссоздания тех или иных явлений действительности не был исключительной особенностью публицистики Герцена. Замечательные художественные образы видим мы у ряда выдающихся публицистов. Но в книге «С того берега» средства художественного и научного мышления переплетаются настолько тесно, что невозможно говорить о подчинении одних другим. И Герцен, разумеется, пользовался художественным образом в виде сравнения или метафоры для иллюстрации своей мысли. Но своеобразие его стиля в целом определяется тем, что художественные образы выступают в ткани произведения самостоятельно, как результат впечатлений художника.

Уже в «Перед грозой» получил яркое проявление дар Герцена на языке художественных образов говорить об идейной жизни своего времени, о своих колебаниях, сомнениях и исканиях, дар, впервые сказавшийся, как мы видели, в «Дилетантизме в науке». Замечательна, например, характеристика человека, не способного принять истину во всей ее беспощадности. Люди такого типа — к ним принадлежит собеседник Герцена — «из-за боязни узнать истину... предпочитают страдание — разбору; страдание отвлекает, занимает, утешает... а главное, как всякое занятие, оно мешает человеку углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас. Как только чело-

век становится на свои ноги, он начинает кричать, чтоб не слыхать речей, раздающихся внутри; ему грустно — он бежит рассеяться; ему нечего делать — он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, наконец, женится на скорую руку. Тут гавань... Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается допьяна всем на свете — вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями, ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтоб не увидать вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастиях, усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепости и пустяков» (6; 20—21).

В этом отрывке, говоря словами Белинского, мысль действительно превращена в живое лицо. Используя психологические и бытовые черточки, которые в художественных произведениях обычно служат для характеристики индивидуальности того или иного персонажа, его внешнего, бытового облика, его переживаний, личной жизни и т. д., Герцен создает художественный образ определенного идейного склада. Мы не только узнаем выводы, к которым пришел человек этого типа, но и представляем себе психологический, жизненный путь, в тех или иных своих вариантах характерный для таких людей. И несомненно, что подобная художественная иллюстрация к герценовской критике идейного малодушия и непоследовательности укрепляет и обогащает эту критику и по противоположности указывает на характер подлинно передовой и отважной мысли.

Нередко в книге «С того берега» именно художественный образ, метафора вносят новые существеннейшие мотивы в публицистику, так как порой Герцен не решается на языке мысли выразить те неясные предчувствия и надежды, которые живут в нем.

В очерке «Vixerunt» Герцен в споре с «молодым человеком» убеждает последнего в том, что люди их поколения прежде всего «призваны казнить учреждения, разрушать верования, отнимать надежду на старое, ломать предрассудки, касаться до всех прежних святынь

без уступок, без пощады» (6, 85). Но Герцен — это подчеркивалось на протяжении всего анализа «С того берега» — пытается и здесь, хотя еще очень сбивчиво, наметить выход к будущему. И в этом на помощь Герцену-мыслителю, потерпевшему духовный крах, приходит Герцен-художник, обладающий даром на языке искусства высказать, по его собственному выражению, «не совсем пробужденное чувство, еще не мысль» (7, 364). Герцен следующим образом продолжает повествование: «Улыбка, привет одному возникающему, одной заре, и если мы не в силах подвинуть ее часа, то, по крайней мере, можем указывать ее близость тем, которые не видят».

«Молодой человек» возражает с горечью и иронией: «Как этот старик-нищий на Вандомской площади, который всякую ночь предлагает прохожим свой телескоп, чтоб посмотреть на дальние звезды?» Герцен отвечает: «Ваше сравнение очень хорошо, именно показывайте каждому идущему мимо, как все ближе и ближе подступают, как растут и поднимаются волны карающего потока. Указывайте с тем вместе и белый парус ковчега... там вдали на горизонте. Вот вам и дело. Когда все утонет, когда все ненужное растворится и погибнет в соленой воде, когда она начнет сбывать и уцелевший ковчег остановится, тогда будет людям другое дело, много дела. Теперь нет!» (6, 85). Эти художественные образы не столько поясняют и развивают мысль Герцена, сколько выступают самостоятельно, как бы возникнув под давлением стремлений и чаяний, еще не выкристаллизовавшихся в ясную мысль.

Другой пример. Любовь к родине находит в «С того берега» (если иметь в виду первое издание этой книги) не только публицистическое обоснование в письмах к Гервегу и Мацини, но и художественное воплощение в «Consolatio». Вводная часть этой главы содержит описание одного из пригородов Парижа, Монморанси, где в свое время в домике на опушке жил Жан-Жак Руссо. «Природа в Монморанси,— пишет Герцен, — чрезвычайно проста, она похожа на те женские лица, которые не останавливают, не поражают, но привлекают каким-то милым и доверчивым выражением, и привлекают тем сильнее, что это делается совершенно незаметно для нас. В такой природе и в таких лицах есть обыкновенно

что-то трогательное, успокаивающее, и именно за этот покой, за эту каплю воды Лазарю всего больше благодарит душа современного человека, беспрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я несколько раз находил отдых в Монморанси и за это благодарен ему. Там есть большая роща, местоположение довольно высокое, и тишина, которой под Парижем нигде нет. Не знаю отчего, но эта роща напоминает мне всегда наш русский лес... идешь и думаешь... вот сейчас пахнет дымком от овинов, вот сейчас откроется село... с другой стороны, должно быть, господская усадьба, дорога туда пошире и идет просеком, и верите ли? мне становилось грустно, что через несколько минут выходишь на открытое место и видишь вместо Звенигорода — Париж; вместо окошечка земского или попа — окошечко, в которое так долго и так печально смотрел Жан-Жак» (6; 86—87).

Монморанси, вызвав в памяти Герцена русскую природу, повеяло на его душу той тишиной, тем покоем и доверием к жизни, которыми «сторона родная», ее «врачующий простор» исцеляли горе и печаль Некрасова. И это чувство Герцен передал как подлинный художник.

Важно при этом уяснить себе, что в данном случае и вообще в книге «С того берега» художественные образы играют более значительную роль, чем та, которая присуща художественным и очерковым зарисовкам, служащим введением к проблемному фельетону. Отправной факт играет для фельетониста роль средства, помогающего совершить переход к обобщениям, которые и являются основной целью его произведения. Художественные же элементы в герценовском повествовании играют самостоятельную роль. Художественные и публицистические элементы «С того берега» отражают единый процесс: искания Герцена, переданные во всем интеллектуальном и эмоциональном своеобразии его личности.

В главе «Перед грозой» Герцен испытывает еще, в сущности, лишь «первую мысль сомнения». Здесь чувствуется еще сдержанность тона, духовная драма Герцена не вступила в самую острую и скорбную фазу, еще не прогремела «гроза», спор собеседников носит несколько отвлеченный и теоретический характер, кровь еще не кипит и негодование еще не клокочет, не затронуты «святейшие достояния души».

Тем резче переход к следующей, по значению, центральной главе «С того берега» — «После грозы». Если «Перед грозой» представляет собою беседу, словесную дуэль, то «После грозы» сам Герцен назвал «первым плачем, вырвавшимся из души моей» после июньских дней.

Теперь Герцен дает «волю речи, слезам, мысли, желчи» (6, 40). Различие в тоне и эмоциональном колорите этих двух глав подчеркивают, как много Герцен пережил в «грозу», какой неизгладимый отпечаток наложили июньские дни на его духовный мир.

В «Посвящении», которое Герцен предпослал «После грозы» [1], Герцен создает замечательный художественный образ, который является как бы предвестием его «плача». Это образ французской актрисы Рашель, исполнявшей после февраля 1848 года «Марсельезу» на подмостках французского театра. Гениальная создательница трагических ролей, Рашель отошла от традиционного ясного, радостного, светлого исполнения революционного гимна и вложила в него напряженные и скорбные предчувствия. В ее устах «Марсельеза» звучала как «упрек, грозное предвещание, стон отчаяния середь надежды. «Марсельеза» Рашели звала на пир крови, мести... там, где сыпали цветы, она бросала можжевельник... такая песнь могла сложиться в груди артиста только перед преступлением июньских дней, только после обмана 24 февраля» (6, 40).

В «Посвящении» Герцен называет «После грозы» «моей «Марсельезой», «первым плачем, вырвавшимся из души моей» после июньских дней, и это сразу кидает трагический свет на главу, которая и начинается с продолжения того же мотива: «В замену слез я хочу писать».

В живых образах передает здесь Герцен и скорбь, и боль, и отвагу передового сознания, его разрыв с догмами старого, буржуазного мира, его непобедимое стремление к овладению истиной. Напомним некоторые образы. Это и беспощадный «суд неподкупного разума», «революционный трибунал и гильотина», существующие в душе человека и неумолимо казнящие устарелые, не

---

[1] «Посвящение» это не было включено Герценом в прижизненные издания.

выдержавшие испытаний жизни убеждения и верования. Это «страшное опустошение», подобное зловещему рассвету после ночной битвы, наступившее в сознании после катастрофы июньских дней. Образ дерева, обожженного грозой и не удержавшего «последние слабые листья», говорит о человеке, который, пережив грозу июньских дней, «мужественно и скрепя сердце отдает последние упования» (6, 44).

В сущности, фактической истории июньских событий Герцен в «С того берега», и в частности в главе «После грозы», не дает. Перед читателем проходят лишь моментальные, скупые, но поражающие своими резкими и сильными красками, зарисовки Парижа в июньские дни: сначала Парижа торжественного, готовящегося к восстанию, овеянного звуками набата, потом Парижа зловещего, окровавленного, носящего на себе следы недавней жестокой борьбы.

В мемуарной литературе той эпохи июньские дни получили некоторое, хотя и не очень богатое отражение. Но нет другого художественного или публицистического произведения, в котором события июня 1848 года, зарисованные по личным впечатлениям, отразились бы столь страстно, ярко и эмоционально, как в «С того берега». Рассказ Герцена предельно искренен, проникнут трагической болью и негодованием, полон душевного трепета и страстного стремления к истинному познанию действительности. Герцен имел право сказать о себе в «Былом и думах»: «Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы его спохмелье, мы его боли родов» (10, 122). Эти слова полностью могут быть отнесены и к «С того берега».

В книге «С того берега» особого внимания заслуживают диалоги, которые Герцен назвал «Моими разговорами» (V, 289). Хотя в некоторых из них (как, например, в диалоге «Перед грозой») сравнительно легко различить, на чьей стороне находятся симпатии самого Герцена, тем не менее содержательна и поучительна точка зрения и другого собеседника. В этой связи небезынтересно вспомнить рассказ Герцена в «Былом и думах» о его беседе с Белинским по поводу обзора

последнего «Русская литература в 1841 году»[1], написанного в виде диалога: «В 1841 Белинский поместил в «Отечественных записках» длинный разговор о литературе. «Как тебе нравится моя последняя статья?» — спросил он меня, обедая en petit comité (в тесной компании) у Дюссо. «Очень,— отвечал я,— все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» — «И в самом деле так,— сказал, помирая со смеху, Белинский,— ну, брат, заре-зал! ведь совершенный дурак!» (8, 289).

В юмористической форме Герцен выразил здесь то основное требование, которое должно быть предъявлено к каждому диалогу, выражающему идейные взаимоотношения двух собеседников: позиция каждого из них должна обладать внутренней значимостью, в его словах должна отражаться резко выраженная точка зрения, действительно вызывающая на спор и требующая опровержения. Если автор в той или иной степени поручает одному из собеседников свои собственные высказывания и мысли, то и другой участник спора должен заслуживать того, чтобы автор и лицо, являющееся его рупором, вступили с ним в бой.

Одним из крайне немногочисленных известных нам документов, позволяющих восстановить процесс работы Герцена над своими произведениями, является ранний список «После грозы». Следует сказать, что Герцен обыкновенно писал набело, внося в рукопись в дальнейшем поправки, главным образом смыслового характера.

В данном случае было иначе. Окончательная редакция «После грозы» более насыщена художественными зарисовками, чем первоначальная. В раннем варианте главы вовсе отсутствовало то описание Парижа накануне июньских дней, которое в последней редакции воспринимается как торжественное прощание с городом революционных побед и традиций. Это зарисовка полного настороженности затишья перед бурей, перед новой наступающей эпохой еще невиданных по ожесточенности социальных боев.

---

[1] Герцен ошибочно указал, что статья эта была напечатана в 1841 году. В действительности она появилась в январском номере «Отечественных записок» за 1842 год.

Вместе с тем в этой последней редакции некоторые публицистические определения и формулы становятся более четкими и чеканными. Приведем один пример.

Говоря о том, что после потрясений, подобных июньским событиям, человек или «держится с отчаянным упорством» за свои старые верования, или же, наоборот, «мужественно и скрепя сердце отдает последние упования», Герцен в ранней редакции писал:

«...Что лучше?

Одно ведет к блаженству безумия.

Другое — к самоотвержению знания.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что оно отнимает все. Другое ничем не обеспечено, потому что оно многое дает».

В окончательной же редакции найдены более точные формулировки. «Блаженству безумия» противопоставляется не «самоотвержение знания», а «несчастие знания». Тем самым противопоставление стало трагичным и резким. В последней процитированной строке Герцен заменил «потому» на «зато» («другое ничем не обеспечено, зато оно многое дает»), вводя тем самым оттенок, подчеркивающий преимущество «несчастия знания» перед «блаженством безумия» (6; 44, 342).

3. Проблема личности и общества в книге «С того берега»

В предыдущих разделах, посвященных «С того берега», мы, естественно, сосредоточили свое внимание на идейно-политическом значении этого произведения в связи с жизненным и духовным путем Герцена.

Однако ограничиться этим означало бы недооценивать философски-этическую сторону этой замечательной книги, ибо в ней получила глубокую разработку и яркое освещение проблема личности в ее взаимосвязях с обществом.

Необходимо признать, что в этом отношении именно Герцен — среди великих революционных демократов — высказал целый ряд особенно глубоких и ценных мыслей, еще, к сожалению, в недостаточной степени вошедших в обиход нашей культуры и науки.

Конечно, философски-этическую сторону «С того бе-

рега» нельзя механически отделять от идейно-политического и биографического содержания книги. Как мы уже отмечали не раз, «общее» и «частное», история и биография, соединялись для Герцена неразрывными нитями. Собственный жизненный и духовный опыт служил Герцену исходной точкой и для размышлений на темы этики. Но последние приобрели в книге «С того берега» и большое самостоятельное значение.

Будучи человеком необычайно ярких, высоких и разносторонних интеллектуальных и моральных качеств, притом, что очень важно, человеком откровенно и полно раскрывавшим себя в общественной жизни, Герцен тем острее ощущал и осмыслял проблему личности, чем более трудно и мучительно складывались обстоятельства и события, по которым он, по его словам, стремился воспитать себя.

Но какой бы мрачной ни становилась историческая и жизненная обстановка после поражения революции 1848 года, после незабываемо трагических июньских дней, именно в области вопросов, связанных с историческими судьбами человеческой личности, Герцен, несмотря на очевидные иллюзии и ошибки, в основном и главном остается на материалистических позициях.

Хотя, как мы видели выше, Герцен в книге «С того берега» и раздумывал над тем, чтобы «отойти с двумятремя в сторону, бежать...», тем не менее он никогда не мог забыть о «большой семье», о «мире», к которым принадлежал, как каждый человек, как все.

Продолжая размышления, начатые еще в статьях, вошедших впоследствии в цикл «Капризы и раздумье», Герцен писал в главе «Omnia mea mecum porto»: «Разумеется, люди эгоисты, потому что они *лица;* как же быть самим собою, не имея резкого сознания своей личности? Лишить человека этого сознания значит распустить его, сделать существом пресным, стертым, бесхарактерным. Мы эгоисты и потому добиваемся независимости, благосостояния, признания наших прав, потому жаждем любви, ищем деятельности... и не можем отказывать без явного противуречия в тех же правах другим.

Проповедь индивидуализма разбудила, век тому назад, людей от тяжелого сна, в который они были погружены под влиянием католического мака. Она вела к свободе так, как смирение ведет к покорности. Писания

эгоиста Вольтера больше сделали для освобождения, нежели писания любящего Руссо — для братства.

Моралисты говорят об эгоизме как о дурной привычке, не спрашивая, может ли человек быть человеком, утратив живое чувство личности, и не говоря, что за замена ему будет в «братстве» и в «любви к человечеству», не объясняя даже, почему следует брататься со всеми и что за долг любить всех на свете» (6, 129).

Вот это-то столь естественное человеческое и гордое «живое чувство личности», свойственное Герцену и совсем не равнозначное буржуазному индивидуализму (упреки такого рода высказывались в работах, посвященных Искандеру, в том числе и пишущим эти строки), а стремящееся к полному расцвету и практическому приложению всех талантов и способностей человека,— это чувство вновь и вновь, несмотря на настроения, влекущие к скептическому уединению, толкало Герцена искать духовные и практические связи с миром.

В той же главе «С того берега» Герцен, провозглашая «протест во имя независимости и самобытности лица», так объяснял историческое своеобразие его возникновения: протест этот «недаром вырывается из груди человека, ему предшествуют или долгие личные испытания и несчастия, или те тяжелые эпохи, когда человек тем больше расходится с миром, чем глубже его понимает, когда все узы, связующие его с внешним, превращаются в цепи, когда он чувствует себя правым в противуположность событиям и массам, когда он сознает себя соперником, чужим, а не членом большой семьи, к которой принадлежит» (6, 119).

Правда — и в этом сказывается влияние пережитого им духовного краха,— Герцен вновь и вновь возвращается к поискам «гавани» — «в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая себя таким образом, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитие свободной жизни в обществе,— если оно вообще возможно для людей» (6, 119).

Объективные корни этих поисков Герцена, как и его духовной драмы в целом, коренились, как то явствует из предыдущего изложения, в том, что он объективно оказался между буржуазной и мелкобуржуазной демократией, чья революционность умирала, и пролетариа-

том, чья революционность еще не созрела, хотя искренне и глубоко сочувствовал автор «С того берега» именно последнему, кровно переживая его беды. В итоге Герцен и допускает мысль, что «свободный человек» может оказаться «вовсе ненужным».

И тем не менее, как бы ни тешился Герцен иллюзорными надеждами на «самодержавную независимость», якобы дарующую «беспредельную свободу», он вновь и вновь возвращался к вопросу о связях и соотношениях между личностью и обществом.

В книге «С того берега» он пишет: «Эгоизм и общественность — не добродетели и не пороки; это основные стихии жизни человеческой, без которых не было бы ни истории, ни развития, а была бы или рассыпчатая жизнь диких зверей, или стада ручных троглодитов. Уничтожьте в человеке общественность, и вы получите свирепого орангутанга; уничтожьте в нем эгоизм, и из него выйдет смирное жоко. Всего меньше эгоизма у рабов. Самое слово «эгоизм» не имеет в себе полного содержания. Есть эгоизм узкий, животный, грязный, так, как есть любовь грязная, животная, узкая. Действительный интерес совсем не в том, чтоб убивать на словах эгоизм и подхваливать братство, — оно его не пресилит,— а в том, чтоб сочетать гармонически свободно эти два неотъемлемые начала жизни человеческой» (6, 130).

Поиски *гармонического* сочетания этих «двух неотъемлемых начал жизни человеческой» занимали Искандера всю жизнь, и он никогда не удовлетворялся тем или иным односторонним решением этой проблемы.

Следует при этом отметить — мы коснемся этого вопроса еще в заключении книги,— что Герцен никогда не склонялся к субъективистскому решению этого вопроса, характерному для позднейшей народнической социологии, противопоставлявшей историческую необходимость и интересы личности. Он видел историческую изменяемость той гармонии, которую искал: «Гармония между лицом и обществом не делается раз навсегда, она *становится* каждым периодом, почти каждой страной и изменяется с обстоятельствами, как все живое. Общей нормы, общего решения тут не может быть. Мы видели, как в иные эпохи человеку легко отдаваться среде и как во другие только и можно *сохранить* связь разлукой, отходя, *унося все свое с собою*. Не в нашей воле

изменять историческое отношение лица к обществу, да, по несчастию, и не в воле самого общества; но от нас зависит быть современными, сообразными нашему развитию, словом, *творить* наше поведение в ответ обстоятельствам.

Действительно, свободный человек *создает* свою нравственность. Это-то стоики и хотели сказать, говоря, что «для мудрого нет закона». Превосходное поведение вчера может быть прескверно сегодня. Незыблемой, вечной нравственности так же нет, как вечных наград и наказаний» (6; 130—131).

Правда, и здесь чувствуется стремление обосновать свою «независимость». Но Герцен обладал слишком живым чувством истории и исторической активности для того, чтобы остановиться на этом.

В «С того берега» Герцен дал следующую очень глубокую характеристику «личности» и «среды»: «Зависимость человека от среды, от эпохи не подлежит никакому сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиною сознания; тут есть связь физиологическая, против которой редко могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы приносим с рождением так, как черты лица, и который составляет круговую поруку последнего поколения с рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физиологический, воспитание, прививающее человеку историю и современность, наконец элемент сознательный. Среда, в которой человек родился, эпоха, в которой он живет, его тянет участвовать в том, что делается вокруг него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться к тому, что его окружает, он не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды» (6, 120).

И Герцен-диалектик видит в этих взаимоотношениях среды и личности, в противоречиях между ними, в разрешении которых нельзя недооценивать и активную роль личности, отражение общих исторических изменений и поворотов. «Противудействие, возбуждаемое в человеке окружающим,— ответ его личности на влияние среды. Ответ этот может быть полон сочувствия, так, как полон противуречия. Нравственная независимость человека — такая же непреложная истина и действительность, как его зависимость от среды, с тою разницей, что она с ней в обратном отношении: чем больше

сознания, тем больше самобытности; чем меньше сознания, тем связь с средою теснее, тем больше среда поглощает лицо» (6, 120),— Герцен, конечно, имеет в виду среду старого общества.

Горький имел полное право сказать, что Герцен принадлежал к тем, кто оставили нам «прекрасно разработанное учение о ценности личности». Мы читаем в каприйском курсе лекций о русской литературе следующую характеристику этих мыслей «С того берега»: «здесь постановка вопроса не индивидуалистическая — личность с ее законными правами на свободу не противопоставляется обществу, общество не приносится в жертву индивидууму, но и человек не должен быть жертвой» [1].

Современники Герцена также живо чувствовали эту сторону книги. Н. И. Сазонов в статье, напечатанной в 1860 году за границей, отмечал характерное для «С того берега» «прославление человеческой личности, рассматриваемой как последний уцелевший обломок рушащегося нравственного мира, как единственная ценность, достойная спасения во время всемирного катаклизма» [2].

И Герцен никак не отвечает за то, что впоследствии и особенно в наше время замечательные мысли о ценности личности получили со стороны представителей реакции грубо искажающее тенденциозное истолкование, как аристократического индивидуализма.

На самом же деле трагизм Герцена заключался в том, что тогда он не был в состоянии найти то общество, ту среду, тот коллектив, которые благоприятствовали бы полному и всестороннему развитию заключенных в человеческой личности духовных богатств.

4. «С того берега» и современники Герцена

В кругах европейской буржуазной демократии книга Герцена произвела очень большое впечатление и вызвала оживленные и острые споры.

Непосредственное восторженное чувство, навеянное книгой Герцена, получило отражение в мемуарах М. Мейзенбуг, ставшей позднее другом семьи Герцена и воспитательницей его детей.

---

[1] М. Горький, История русской литературы, стр. 208.
[2] «Литературное наследство», т. 41—42, стр. 200.

О том, что книга «С того берега» вызвала «отзывы больше нежели лестные» таких виднейших в то время представителей немецкой демократической эмиграции в Швейцарии, как Фребель (он впоследствии популяризовал «С того берега» в Америке, где выступал с лекциями) и Якоби, засвидетельствовал сам Герцен в предисловии к книге. В письме московским друзьям из Швейцарии от 4 августа 1849 года Герцен в шутливо зашифрованной форме, имея в виду немецкий перевод «С того берега», писал об успехе этого произведения: «Да кстати, мои маленькие музыкальные пиэски сделали чрезвычайный успех, разыгранные одним приятелем Рейхеля, немецким скрипачом. Я сам не ждал этого»[1]. Особенно много дошло до нас откликов, принадлежащих немецким демократам,— ведь «С того берега» появилось прежде всего в немецком переводе. Ряд участников движения 1848 года высоко ценил яркий и страстный эмоциональный колорит книги, блеск и остроту сарказмов. Но многими не была понята сущность поставленных Герценом проблем. В своем большинстве они оказались не в состоянии уяснить себе значение беспощадной критики передовым русским мыслителем буржуазно-демократических иллюзий.

В книге Герцена они видели прежде всего поражающее силой и красочностью выражение настроений разочарования, которые были близки им самим и не замечали того, в чем он был несравненно выше их.

В некоторых печатных органах немецкой мелкобуржуазной демократии появились критические статьи о немецком издании книги Герцена и о таких несколько позднее опубликованных очерках, как «Эпилог 1849» и «Omnia mea mecum porto». Однако Герцен ничему не мог научиться у таких своих критиков, как Зольгер или Моисей Гесс.

В статьях и частных письмах к Герцену они критиковали скептицизм его книги. Зольгер, которого Герцен назвал своим «самым остроумным противником» (6, 9), противопоставлял идеям «Omnia mea mecum porto» призыв «идти к народу» и называл воззвания автора «С того берега» аристократическими[2]. Но он был бесси-

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 71.

[2] «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», 1850, т. X—XII, стр. 329—330.

лен ответить на мучивший Герцена вопрос, сумеет ли передовая мысль овладеть народом. Зольгер не понимал исторической роли рабочего класса, не уяснил себе значения правильной революционной теории. Гесс же, упрекая Герцена в созерцательности, противопоставлял его деятельности — деятельность политических вождей — «апостолов», настолько «охваченных историческим движением», что они «целиком растворяются в нем» [1], то есть, по сути, по-прежнему держался буржуазной идеи о стихийности и бессознательности народного революционного движения.

Герцен столь последовательно выразил свое разочарование в идеях буржуазной демократии и верованиях утопического социализма, что опровергнуть его пессимизм и скептицизм можно было лишь с позиций исторического материализма.

В противоположность Герцену, авторы «Манифеста Коммунистической партии» в испытаниях июньских дней нашли подтверждение своему историческому оптимизму. Маркс писал: «За исключением лишь немногих глав, каждый более или менее значительный раздел летописи революции с 1848 по 1849 г. носит заглавие: *поражение революции!* Но в этих поражениях погибала не революция. Погибали пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не заострившихся еще до степени резких классовых противоположностей, погибали лица, иллюзии, представления, проекты, от которых революционная партия не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не *февральская победа,* а только целый ряд *поражений*» [2].

В то время как Герцен писал очерки, входящие в «С того берега», Маркс и Энгельс стояли во главе «Новой Рейнской газеты», «...высоко державшей знамя разгромленного пролетариата в момент, когда буржуазия и мещанство всех стран обливали побежденных грязью своей клеветы» [3].

---

[1] «Литературное наследство», т. 7—8, стр. 78.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 7, стр. 7.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. первое, т. VI, стр. 9.

Маркс и Энгельс на практике доказывали истинность своего тезиса: «Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как *революционная практика*»[1].

Герцен же должен был сознаться: «Кто чувствует, что он так близок с народом, так освободился от среды искусственной цивилизации и так переработал и победил ее, кто до того окончил с собою, что ему остается одно действие...— тому принадлежит речь, тот пусть говорит народу, да он и будет непременно говорить — мы склонимся перед ним. Ощущаете ли вы что-нибудь подобное в груди? Сомневаюсь. Мы вместе труп и убийцы, болезнь и прозекторы старого мира: вот наше призвание» (5, 209).

В 40-х и 50-х годах Герцен совершенно не отдавал себе отчета во всемирно-историческом значении теоретической и практической деятельности Маркса и Энгельса, произведенного ими коренного революционного переворота в науке, в философии, вооружившего пролетариат революционной теорией.

В дни баррикадных боев в Париже Герцен увидел воочию и беззаветную революционность пролетариата, и ее тогдашнюю незрелость. Ленин говорит: «Расстрел рабочих республиканской буржуазией в июньские дни 1848 года в Париже окончательно определяет социалистическую природу *одного* пролетариата»[2]. Герцен чувствовал, что среди социальных сил, борющихся на Западе, он может быть только на стороне пролетариата, но понять историческую обусловленность великого будущего рабочего класса Герцен был тогда не в состоянии. Поэтому ему мало помогали и некоторые собственные его замечательные догадки относительно причин июньского поражения и условий, благоприятных для возникновения «революции народных масс». По словам Герцена, «в груди крестьянина собирается тяжелая буря. Он... слушает работника... Когда он его дослушает» и вступит на революционный путь, тогда, по мнению Герцена, и произойдет «настоящая революция народных

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 3, стр. 2.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 545.

масс» (5, 209). Но и здесь Герцен делает ударение на психологических предпосылках будущей революции.

Бесповоротно разочаровавшись в мировоззрении утопического социализма и буржуазной демократии, Герцен сознавал свое одиночество среди западноевропейской буржуазно-демократической интеллигенции. Правда, порой ему казалось, что тот или иной из его друзей и знакомых является его единомышленником, но идейная близость эта оказывалась призрачной. Обнаруживалось, что убеждения, выстраданные Герценом, были для этих людей лишь модной фразой.

Как будто довольно прочные личные, деловые и идейные взаимоотношения сложились в эти годы у Герцена с таким политическим деятелем, как Прудон. Взаимоотношения эти требуют специального освещения, так как имели место попытки изобразить Прудона и Герцена, хотя бы на отдельных отрезках их идейного пути, единомышленниками и на этом основании приписать Герцену взгляды анархического характера.

Еще живя в России, Герцен восхищался знаменитой работой Прудона «Что такое собственность?», относительно прогрессивное значение которой для своего времени признавал Маркс, подвергая ее вместе с тем критике. Но любопытно, что тогда же Герцен отмечал в работах Прудона «часто фразистые сюперфлю» (III, 463). После приезда в Париж Герцен встречался с Прудоном у Бакунина. Большое впечатление произвело на Герцена поведение Прудона в Национальном собрании после июньских дней. Маркс писал, что выступление Прудона «в Национальном собрании, хотя оно и обнаружило, как мало понимал он все происходящее, заслуживает всяческой похвалы. *После* июньского восстания это было актом высокого мужества... В сравнении с г-ном *Тьером Прудон* и в самом деле вырастал до размеров допотопного колосса»[1]. Прудон резко выступил против торжествовавшей свою победу буржуазии и ее вождя Тьера и с презрительной иронией отнесся к политической позиции мелкобуржуазной демократии во главе с Ледрю-Ролленом.

Для Герцена Прудон был представителем народа,

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 16, стр. 29.

плебеем-социалистом. В силу слабых сторон собственного мировоззрения Герцен не мог понять мелкобуржуазной сущности мировоззрения Прудона, разоблаченной Марксом в «Нищете философии». В письме к московским друзьям от 27 сентября 1849 года Герцен, отвечая на вопрос, который мог бы быть поставлен ими,— «кто же с вами на одном берегу?» — называет прежде всего «одно имя, стоящее сотни,— имя Прудона» и характеризует его как «действительную главу революционного принципа во Франции» (V, 288—289).

Когда Прудон через посредников обратился к Герцену за финансовой помощью, нужной для возобновления издания его газеты, многократно, так же как ее редактор, подвергавшейся преследованиям, Герцен охотно пошел ему навстречу.

Герцен считался редактором иностранного отдела прудоновского «Голоса народа»; в газете были помещены некоторые его статьи, но так как в это время Герцен жил по преимуществу в Швейцарии, то фактическое его сотрудничество не могло стать очень активным.

Газета просуществовала с октября 1849 по май 1850 года. Деньги Герцена, послужившие для внесения залога, требовавшегося согласно французскому законодательству о печати, были потеряны. Несомненно, что Герцен предвидел этот материальный ущерб, но пошел на него, ибо правильно рассматривал свое участие в газете Прудона как одно из средств, направленных к достижению главной цели: информировать Западную Европу о русском народе и укрепить авторитет и вес вольного слова русского передового человека за границей.

Первостепенное значение представляет вопрос о том, в какой мере в этот период Герцен идейно сходился с Прудоном. Самый факт недолгого и не очень продуктивного сотрудничества не может быть признан решающим. Впоследствии, как мы увидим, Герцен осознал наличие принципиальных и коренных расхождений с Прудоном. В «Голосе народа» Герцен выступал как союзник Прудона, притом вовсе не вмешивавшийся в вопросы внутренней французской политики, которые были для этой газеты основными. Герцен сочувствовал политической деятельности Прудона. Но как относился Герцен к охарактеризованным Марксом попыткам Прудона «a priori

изобрести формулу для «решения социального вопроса», вместо того, чтобы источником науки делать критическое познание исторического движения...»?[1] Ведь Прудон во имя выдуманных им всеспасительных экономических рецептов, вроде, например, национального или народного банка, выступил на защиту буржуазного общества, против революционной борьбы рабочего класса. И здесь с несомненностью обнаруживаются принципиальные разногласия между Прудоном и Герценом.

Прудон никогда не знал герценовской последовательности в борьбе с буржуазным обществом и его идеологией.

Об этом свидетельствует их переписка. Герцен заявил в письме к Прудону от 27 августа 1849 года следующее: «Больше всего хотелось бы мне придать иностранной части журнала характер, отражающий глубокую и безграничную ненависть к старому миру, к агонизирующей цивилизации... Наш долг поднять голос и возвестить, что этот старый мир, которому мы принадлежим лишь отчасти,— умирает»[2].

Прудон же опасался именно того беспощадного отрицания политических порядков, установлений и культуры буржуазного общества, которое проповедовал Герцен, его *«варварского* задора». Громкие фразы в письме Прудона от 15 сентября 1849 года не в состоянии скрыть реформистского характера его программы. «Я, так же как и вы, думаю, что революция не допускает больше методического, мирного движения с осторожными формами переходов, как того хотела бы чистая экономическая теория и философия истории. Нам надобно будет делать страшные скачки, гигантские шаги. Но я думаю, что в качестве публицистов, возвещая грядущие социальные катастрофы, нам не должно представлять их необходимыми и справедливыми. Мы должны неизменно изыскивать для каждого момента наиболее умеренные и благоразумные решения»[3].

Следовательно, и на рубеже 40-х и 50-х годов некоторые стороны воззрений Прудона уже вызывали у Герце-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 16, стр. 27.

[2] «Литературное наследство», т. 62, стр. 495.

[3] Там же, стр. 499, 500.

на резкие возражения, хотя он и не выступал с последними в печати. В письме к А. А. Чумикову Герцен, рекомендуя своему корреспонденту книги Прудона, советовал простить последнему «ругательный тон против Руссо и революции 93 года» (VI, 431).

Герцен, в отличие от Прудона, никогда не надеялся избежать политической борьбы. Он упрощенно не противопоставлял «политическую республику» «социальной республике». По его словам, «политическая республика не оканчивается в социальной, а переходит в нее; социальная республика есть исполнение, осуществление политической. Социализм предполагает республику, как необходимо уже пройденный путь». Правда, у Герцена в те годы, особенно в ранней редакции статей 1848—1850 годов (из «С того берега» и «Писем из Франции и Италии»), заметны сомнения в целесообразности применения революционного насилия, недооценка роли, которую способно сыграть государство, являющееся орудием передовых революционных сил общества. Но побеждает у Герцена противоположная тенденция[1]. В отличие от многих западноевропейских утопических социалистов, Герцен видел политические задачи будущего социалистического переустройства «в суде, в правительстве, во всем общественном устройстве» (5, 179).

Как бы ни велико было разочарование автора «С того берега» в том буржуазном обществе, которое явилось результатом Великой французской революции, Герцен, враг самодержавия и крепостничества в России, живо чувствовал народный характер Великой французской революции и противопоставлял ее лучшим деятелям, этим «гигантам войны и гигантам цивизма», велеречивых вождей февральской революции, эти «стертые, бледные, половинчатые осторожные личности».

В одном из писем, входящих в цикл «Опять в Париже», Герцен говорит об «анархии» — «самоуправлении» как характере будущего социального устройства, но пути к ней он видит в республике, которая «должна была начаться диктатурой, как того требовал народ... диктатурой революционной, опертой на возбужденное

---

[1] Ср. комментарии Н. Е. Застенкер к пятому тому Собр. соч. Герцена изд. АН СССР, стр. 475—476.

общественное мнение, на незыблемую веру в республику» (5; 364—366). «Социалисту,— говорил Герцен,— в наше время нельзя не быть революционером» (5, 178).

Принципиальные разногласия между Герценом и Прудоном значительно углубились со временем. Анархистом Герцен никогда не был. Это ясно доказала вся его позднейшая политическая деятельность. К концу же своей жизни он прямо выступил против анархических воззрений Бакунина.

Большую роль книги Герцена сыграли в идейной жизни России.

Герцен пропагандировал то же критическое отношение к разного рода утопическим надеждам, иллюзиям и рецептам, которое играет очень важную роль в пропаганде Белинского, в выступлениях Петрашевского конца 40-х годов. Когда Белинский противопоставлял «историческую истину» «несвойственному русской действительности романтизму»[1], когда Петрашевский провозглашал лозунг «за знание действительности»[2], то их призывы шли в том же направлении, что и идейные искания автора «С того берега».

Сочинение это содействовало формированию и воспитанию русской революционно-демократической мысли. Утверждая веру в русский народ, книга Герцена учила бороться со всеми препятствиями, стоявшими на пути к великому будущему России. Произведение это на опыте французской политической жизни учило не доверять буржуазному либерализму, его декларациям и фразам, скрывающим за собою измены и предательство. Рисуя отвратительное зрелище политического господства буржуазии, ее кровавого торжества над пролетариатом, книга Герцена воспитывала ненависть к буржуазному строю, учила русских передовых людей осмыслять политический, социальный опыт западноевропейских стран и осознавать себя в борьбе, происходившей за рубежом, на стороне пролетариата.

Герцен называл «С того берега» «протестом независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи...» (6, 7). Такой протест приобретал в

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 376.
[2] «Дело петрашевцев», т. I, изд. АН СССР, стр. 516.

обстановке самодержавно-крепостнической России большое политическое значение.

До нас, к сожалению, дошло очень мало отзывов русских читателей, современников Герцена, о книге «С того берега». Объясняется это тем, что в момент ее опубликования, в самом начале 50-х годов, книга могла проникнуть в николаевскую Россию лишь в порядке редчайшего исключения, и то, вероятно, через тех немногих знакомых Герцена, которые встречались с ним за границей. Когда же в конце 50-х и начале 60-х годов издания Герцена стали широко распространяться в России, внимание читателей от «С того берега» было отвлечено, с одной стороны, «Былым и думами», а с другой — статьями из «Колокола».

В конце 40-х годов списки глав «С того берега» ходили в России по рукам. В письме к С. Ф. Дурову петрашевец А. Н. Плещеев в 1849 году отмечал: «Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом *Белинского к Гоголю, пьеской Искандера* «Перед грозой»...» [1]

В кругах русской демократической интеллигенции книга «С того берега» была воспринята прежде всего как отражение событий всемирно-исторического значения, полное истинного драматизма и проникнутое скорбной, пессимистической, но выстраданной мыслью русского передового человека. В письме к Тургеневу 12 сентября 1847 года Некрасов говорил: «Я плакал, читая «После грозы» — это чертовски хватает за душу» [2].

Более сложное впечатление произвела книга «С того берега» на Грановского. Несомненно, именно это произведение имел он в виду, когда писал Герцену весной 1851 года: «Книги твои дошли до нас. Я читал их с радостью и с горьким чувством. Какой огромный талант у тебя и какая страшная потеря для России, что ты должен был оторваться от нас и говорить чужим языком. Но, с другой стороны, я не могу помириться с твоим воззрением на историю и на человека... Для такого че-

---

[1] «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», Госполитиздат, 1953, стр. 723.

[2] Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X, Гослитиздат, М. 1952, стр. 116.

ловечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей. Все, что ты писал до сих пор, бесконечно умно, но оно обличает какую-то усталость, отрешение от живого движения событий. Ты стоишь одиноко... Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею» [1].

Грановский до известной степени противоречит себе в этом письме, ибо последняя фраза косвенно указывает на признание того, что для читателя, способного понять «С того берега» и «не оскорбиться» пессимизмом этой книги, она представляет большую ценность, а не только проповедь безнадежности. Такой характер «С того берега» отметил в своей статье Сазонов. Он писал об этой «странной, красноречивой, страстной, пылкой книге», что «в напряженности мысли и даже в неровностях стиля здесь чувствуется нечто болезненное, свидетельствующее о кризисе, но кризисе в могучем организме, где неизбежно должно победить здоровое начало» [2].

Вообще для верной оценки впечатления, которое «С того берега» и другие произведения Герцена должны были производить в России в конце 40-х и начале 50-х годов, следует иметь в виду, что имя Искандера, автора «Писем об изучении природы» и «Кто виноват?», оставалось памятным и дорогим русскому читателю. Весть об эмиграции Герцена еще более укрепила его популярность, окружив имя писателя ореолом политического борца. Один современник вспоминал: «В России имя Искандера, повторяемое шепотом, тем не менее не было забыто, и поколение, которое шло за людьми конца сороковых годов, все так же любило запрещенного автора. Трудно было достать полных нумеров «Отечественных записок» 1842—1846 годов. Статьи с надписью И—р вырезались, покупались на вес золота, переплетались в драгоценный переплет, читались с чувством чуть не религиозным, переписывались друзьями счастливых обладателей этого «священного предания», цитировались при случае и без особенного повода, до самого появления «Полярной звезды» и «Колокола» [3]. Гранов-

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 447.
[2] «Литературное наследство», т. 41—42, стр. 199—200.
[3] Там же, стр. 167.

ский писал Герцену в 1851 году: «О тебе осталось исполненное любви воспоминание не у одних нас, близких тебе. Я должен был раздать все бывшие у меня портреты твои (кроме одного парижского) разным юношам»[1].

В июне 1850 года Чернышевский сказал одной своей знакомой о Герцене: «Я его так уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него»[2]. Среди усердных распространителей произведений Герцена находился в 50-х годах Добролюбов[3], как это явствует из одного его письма.

И Герцен глубоко чувствовал эти невидимые, но несомненные и крепкие духовные связи с родиной. Это чувство неизменно заставляло его искать тот путь борьбы, который мог бы помочь родному народу сбросить с себя оковы самодержавия и крепостничества. Именно духовная связь с Россией была для Герцена единственной поддержкой в столь трудное для него время общественных и личных разочарований, отразившихся в «С того берега». В статье «Россия» Герцен заявил: «Да, я люблю Россию. Вообще, я считаю невозможным или бесполезным писать о предмете, к которому не испытываешь ни любви, ни ненависти. Но моя любовь — не животное чувство привычки; это не тот природный инстинкт, который превратили в добродетель патриотизма; я люблю Россию потому, что я ее знаю сознательно, разумно. Есть также многое в России, что я безмерно ненавижу, всей силой первой ненависти» (6, 221).

В письме друзьям на родину от 19 июня 1851 года Герцен говорит: «Зачем вы жалеете об том, что я остался здесь? В сторону самолюбие и скромность, когда был для России такой орган в Европе. Вся моя сила, все мои помышления обернуты к вам,— и голос мой получил вес... Что я сделал бы в России с железным намордником? Посмотрите, как в здешнем revue (журнале.— *Я. Э.*) «Liberté de penser» подробно излагают все сказанное мною о России. С этой стороны я не могу упрекнуть себя, что был недеятелен, и не могу думать, чтоб там сделал больше»[4].

---

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 447.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, стр. 381.

[3] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М. 1890, стр. 316.

[4] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 74.

VII. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ГЕРЦЕНА КОНЦА 40-х ГОДОВ

Все то, что Герцену пришлось пережить в период революции 1848 года, естественно должно было отложить свой отпечаток и на его эстетические воззрения. «Горные вершины» искусства всегда были для Герцена воплощением высших стремлений и побед человечества. Поэтому перспективы художественного развития он рассматривал в теснейшей связи с ходом общественной революционной борьбы народов.

Заграничные впечатления и наблюдения щедро обогатили эстетический кругозор Герцена, предоставили новый простор его оценкам и прогнозам. С особенной живостью почувствовал он в Париже, а затем в Италии плодотворное значение, которое для каждого народа имеет глубокое знакомство с художественной культурой других наций, взаимный обмен эстетическими ценностями. Вместе с тем впервые перед ним непосредственно встал вопрос о положении искусства в буржуазном обществе.

Описывая свои впечатления от посещения парижских театров, их репертуара и артистического исполнения, Герцен проводит резкую грань между искусством, верным неумирающим классическим традициям Франции, и тем искусством, которое служит буржуазии и удовлетворяет ее вкусы. «Предание прежней славы французской трагедии», «серьезное величавое исполнение истинного служения искусству»[1] Герцен нашел в знаменитом парижском театре «Французская комедия».

Герцен посвящает замечательные страницы творчеству Расина, которое он определяет как особый художественный мир, имеющий «свои пределы, свою ограниченность, но имеющий и свою силу, свою энергию и высокое изящество» (5, 51). Силу и обаяние образов Расина Герцен связывает с ясным, проникнутым изяществом, величавым пафосом французской культуры XVII—XVIII веков.

Герцен немногими штрихами создает яркий образ великой трагической актрисы Рашель, чей «удивительный голос... умеет приголубить ребенка, шептать слова любви и душить врага; голос, который походит на

[1] «Литературное наследство», т. 61, стр. 210.

воркованье горлицы и на крик уязвленной львицы» (5; 52—53).

И совсем другие краски находит Герцен для образной характеристики известной драматической актрисы Юдифь, видя в ней воплощение «французской красоты», французского обаяния: эта красота «состоит в необыкновенно грациозном сочетании выразительности, легкости, ума, чувства, жизни, раскрытости, которое для меня увлекательнее одной пластической красоты, всепоглощающего изящества породы, античных форм итальянок и вообще красавиц» (5, 53).

Герцен хорошо отдавал себе отчет в том, что буржуазная тина бессильна затянуть подлинное искусство, художника, верного лучшим национальным традициям, не изменяющего жизненной правде, умеющего воплотить передовые стремления своего времени. Но и перед таким художником буржуазный порядок ставит огромные трудности на пути поисков и воплощения им своего эстетического идеала.

Только искусство, в той или иной форме выражающее протест против удушающей атмосферы существования буржуазного общества, способно, по мысли Герцена, создать поэтические образы, противостоящие прозе мещанства с его молчалинской «умеренностью и аккуратностью».

«Письма из Франции и Италии» содержат своего рода рецензию на представление в 1847 году в Париже пьесы Феликса Пиа «Парижский ветошник». Пьеса эта имела огромный успех у демократического зрителя в период назревания февральского революционного взрыва. Герцен, подробно излагая содержание пьесы, воспроизводит перед нашими глазами этот спектакль, глубоко характеризуя его социальную направленность, психологию действующих лиц.

Ф. Пиа, рисуя с подлинной симпатией быт парижской бедноты, «мир голода и нищеты», показал нравственное превосходство последнего над миром лживого и преступного буржуазного благополучия. Своим критическим острием пьеса была направлена против хозяев Июльской монархии, против представителей финансовой олигархии.

Но Ф. Пиа — мелкобуржуазный революционер и социалист — не сумел последовательно воплотить непри-

миримость обрисованного им острого социального конфликта. Он придал пьесе мелодраматическую развязку, «примиряющий, услаждающий финал в буржуазном духе». На это ему указывал Герцен и при личной встрече.

Остроумной, злой, резкой критике подвергал Герцен искусство, прислуживающееся к буржуазии. В театрах столицы Июльской монархии Герцен увидел господство буржуазной пошлости, наиболее типическим выражением которой явилась драматургия Скриба: «Скриб — гений, писатель буржуазии, он ее любит, он любим ею, он подладился к ее понятиям и ее вкусам так, что сам потерял все другие; Скриб — царедворец, ласкатель, проповедник, гаер, учитель, шут и поэт буржуазии» (5, 34).

Герцен очень тонко подметил при этом, что «нравственность», проповедуемая присяжным драматургом буржуазии, на деле противоречит тем самым принципам и основам, которые она торжественно признает «священными». Скриб «... к земле приклонил голову бедного и отдал его во власть хозяина, которого воспел за то, что он любил, чтоб работник повеселился в воскресный день. Он даже вора умел поднять за то, что он, разбогатевши, дает кусок хлеба сыну того, которого ограбил,— и так это ловко представил, что хочется пожурить сына за то, что его отец был неосторожен и плохо деньги берег. Казалось бы, воровство — страшнейшее из всех преступлений в глазах буржуазии... но Скриб и тут знал, с кем имеет дело: вор уже негоциант, уменье нажиться и хорошо вести свой дом смывает все пятна» (5, 36).

Позднее в письме к Огареву от 17 октября 1848 года Герцен так подводил итог своим наблюдениям над художественной жизнью и цивилизацией буржуазной Франции: «Все мелко в ней: литература и художества, политика и образ жизни, *все неизящно,*— это признак смерти,— все смутно и жалко» [1].

Путешествие в Италию в 1847 году дало Герцену возможность впервые непосредственно узнать художественные сокровища Возрождения.

Но его внимание и наблюдательность не распылились среди открывшихся перед ним необозримых бо-

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 63.

гатств. В этом отношении очень любопытны некоторые содержащиеся в итальянских письмах замечания по поводу посещения картинных галерей:

«...У меня нет настолько... поместительности в мозгу, чтоб раза в два осмотреть сот пять картин, я обыкновенно часа через полтора дурею и перестаю понимать...— шутливо говорит Герцен.— Мне кажется, самая лучшая метода — ходить к двум, трем картинам, к двум, трем статуям, а с прочими встречаться, как с незнакомыми на улице, — может, они и хорошие люди, может, дойдет черед и до них, но ненадобно натягивать знакомства» (5, 263).

Может быть, именно потому, что сам Герцен и тогда и позднее следовал этой «методе», он в своих произведениях и письмах упоминает не так уж много имен художников и их творений, но обычно возвращается к ним не раз. Чувствуется, что каждое произведение искусства было глубоко пережито и осмыслено Герценом. Он как бы воссоздает перед нами увиденные им образы искусства, передавая их силу и обаяние, всю живость вызываемого ими эстетического наслаждения. Герцен в высшей степени умел отдаваться наслаждению великими созданиями искусства. С его точки зрения эстетическое наслаждение становилось подлинно высоким только тогда, когда оно пронизывалось глубоким пониманием творения художника. Герцен ведет нас и к ясному, проницательному осознанию духовной сути непреходящих художественных ценностей, заключенного в них эстетического богатства, их корней в народной жизни и национальной культуре.

Герценовский ум — живой, тонкий, творческий, полный силы и энергии, чуткий ко всем краскам, чертам и изгибам жизненных процессов,— не желал быть «подавленным», «порабощенным» теми эмоциями и впечатлениями, которые вызывали произведения искусства. «Чем больше приглядываешься к великому произведению,— писал Герцен,— тем меньше удивляешься ему; это-то и необходимо, удивление мешает наслаждаться. Пока картина или статуя поражает, вы не свободны, ваше чувство не легко, вы не нашлись, не возвысились до нее, не сладили с нею, она вас подавляет, а быть подавленному величием — не высокое эстетическое чувство... Великие картины... часто сначала притесняют, иногда

являются порывы взбунтоваться против них; но когда вы однажды ознакомились с таким произведением, тогда только вы оцените разницу того наслаждения, которое вы приобрели от Карло Долчи или Грёза и, с другой стороны, от Бонарроти, Лаокоона...» (5, 87).

Какая непосредственность восприятия и вместе с тем какая глубокая мысль отразилась в неизменно волнующих, хватающих за душу и заставляющих вновь и вновь задуматься герценовских строках, посвященных одной из «великих сторон Рима» — «той гениальной оконченности, той вечной красоте, перед которой человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел, и примиренный со многим — так, как это было со всеми *людьми в самом деле,* приходившими со всех концов мира на поклонение изящному в Ватикане, в Капитолии... и так, как это будет со всеми людьми грядущих веков до тех пор, пока время пощадит эти великие залоги человеческой мощи. Когда мучительное сомнение в жизни точит сердце, когда перестаешь верить, чтоб люди могли быть годны на что-нибудь путное, когда самому становится противно и совестно жить — я советую идти в Ватикан. Там человек успокоится и снова что-нибудь благословит в жизни» (5, 86).

Художественные шедевры Ватикана укрепляли в Герцене доверие к жизни. В творениях Микеланджело, Рафаэля, Ван-Дейка Герцен видел отражение мощи жизненного потока в его самодвижении и свидетельство творческой силы человека, создавшего эти образы красоты.

Но вскоре испытания июньских дней поколебали и эту веру Герцена, придали пессимистический характер и ряду его эстетических высказываний.

Подобно тому как после поражения революции 1848 года буржуазный порядок казался порой Герцену историческим этапом, на котором человечество (а в особенности западноевропейские народы) если не остановится навсегда, то застрянет надолго, подобно этому он во многом пессимистически судил и о перспективах художественного развития человечества.

Тем самым Герцен в известной степени отклонялся от одного из основных положений выработанной на основе антропологического материализма эстетики, к которой он пришел в начале 40-х годов. Тогда, как от-

мечалось выше, Герцен был убежден, что природа и жизнь в своем развитии являются источником прекрасного. Он полагал, что перед развитием искусства открыты неограниченные перспективы, что деяниям народов присущи «художническая оконченность и жизненная полнота» («Дилетантизм в науке»). Но, отдавая в те годы дань буржуазным иллюзиям в социализме, Герцен не уяснял себе трудностей, которые стоят на пути к тому, чтобы жизнь народа насытилась красотой. Он полагал, что для достижения этой высокой цели достаточно усилий немногочисленного передового меньшинства.

В книге же «С того берега», в главе «LVII год республики, единой и нераздельной» Герцен с горечью говорит о том, что хотя высшие достижения культуры возможны лишь благодаря труду миллионов, они не стали их достоянием. «...Поэтическое, богатое развитие» проявляется в «аристократических индивидуальностях». Герцен видит в этом закономерность общественного развития, которую он объясняет с позиций антропологического материализма: «Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна...» (6, 56).

Герцен имеет в виду тот исторический процесс, о котором Маркс писал в книге «Теории прибавочной стоимости»: «...высшее развитие индивидуальности покупается только историческим процессом, в котором индивидуумы приносятся в жертву»[1]. Но для Маркса было несомненным, что социализм принесет с собою уничтожение этого антагонизма. Герцен же в эту пору глубоко сомневался в том, станут ли передовая культура, высшие достижения искусства достоянием народа.

Он доходил даже до глубоко пессимистического предположения, что западноевропейский пролетарий превратится в мещанина, в мелкого буржуа, что «все силы, таящиеся теперь в многострадальной, но мощной груди пролетария, иссякнут...» (6, 60). Это вело Герцена к мрачному заключению, что западноевропейский пролетариат может оказаться неспособным сохранить ве-

---

[1] К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. I, Партиздат ЦК ВКП(б), 1935, стр. 206.

ликие культурные и художественные ценности, созданные человечеством, не будет в состоянии развивать их дальше, а поэтому если и создаст новое творческое искусство, то лишь в отдаленном будущем. Но Герцен никогда не останавливался окончательно на этом пессимистическом выводе.

В книге «С того берега», в главе «Consolatio», один из участников воспроизведенного в ней диалога защищает безысходно скептическую точку зрения: «Развитое меньшинство... дает блестящее свидетельство, до чего может развиться человеческая натура, какое страшное богатство сил могут вызвать исключительные обстоятельства, но все это не относится к массам, ко всем. Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколениями, нисколько не дает право ждать от лошадей вообще тех же статей» (6, 96). Этому скептику представляется крайне сомнительным, что жизнь народа станет прекрасной, что прекрасное в жизни и искусстве станет достоянием всех.

Однако устами другого участника диалога Герцен высказывает мнение о том, что это противопоставление меньшинства и народных масс является спорным. Герцен никогда окончательно не терял веру в то, что наступит такой момент общественного развития, когда не станет «толпы», то есть обезличенной, лишенной богатой духовной жизни массы, когда яркая и прекрасная жизнь станет достоянием каждого простого человека.

С пессимистической окрашенностью эстетических взглядов Герцена этого периода связано и его увлечение творчеством итальянского поэта Джакомо Леопарди, чей пессимизм отражал настроения, вызванные поражением итальянской революции 20-х годов XIX века. По словам Герцена, у Леопарди «много убито рефлекцией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь» (10, 79).

Можно провести параллель между некоторыми мотивами и образами «С того берега», с одной стороны, и такого стихотворения Леопарди, как «Графу Карло Пеполи» — с другой. По словам итальянского поэта,

Мы все, в тревожных поисках забвенья,
Стремясь уйти от ложной грезы счастья,
Хватаемся за тысячи лекарств
От вечной скуки...

Для Леопарди существует лишь одно решение: «К суровой правде буду я идти...», как бы тяжка и даже безнадежна она ни была. Эти мысли и настроения кровно близки Герцену.

Пессимистическим тенденциям герценовской эстетики противостояло его убеждение в историческом развитии искусства и идеала красоты. Представление о великих возможностях бесконечного творческого развития искусства лежало в основе эстетических воззрений Герцена. В книге «С того берега» Герцен писал о цивилизации: «...она бесконечна, как мысль, как искусство» (6, 31).

Очень существенно, что эстетика Герцена уже подготовляла то понимание развития искусства как постоянного роста и обновления прекрасного, которое Чернышевский в обобщенной форме обосновал в своей диссертации. По словам Герцена, «у человека есть инстинктивная любовь к сохранению всего, что ему нравится; родился — так хочет жить во всю вечность; влюбился — так хочет любить и быть любимым во всю жизнь, как в первую минуту признания... Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни,—...она всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, наделяя людей способностью наслаждения насколько можно, не страхует ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение. В этом беспрерывном движении всего живого, в этих повсюдных переменах природа обновляется, живет, ими она вечно молода. Оттого каждый исторический миг полон, замкнут по-своему, как всякий год с весной и летом, с зимой и осенью, с бурями и хорошей погодой» (6; 32—33).

Чернышевский, как бы развивая эти мысли Герцена, писал: «...красота каждого поколения существует и должна существовать для этого самого поколения; и нисколько не нарушает гармонии, нисколько не противно эстетическим потребностям этого поколения, если красота его увядает вместе с ним,— у последующих будет своя, новая красота, и жаловаться тут некому и не на что... фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает,— оно исчезает, исполнив свое дело, доставив ныне столько эстетического наслаждения, сколько мог вместить нынешний день; завтра будет новый день, с но-

выми потребностями, и только новое прекрасное может удовлетворить их»[1].

Герцен, несмотря на свои колебания и сомнения, был убежден в том, что художественное развитие человечества носит сложный, противоречивый, но в целом поступательный характер, что эстетическая сокровищница мировой культуры чем дальше, тем больше пополняется и обогащается.

VIII. СЕМЕЙНАЯ ДРАМА ГЕРЦЕНА

Корни личной семейной драмы, пережитой Герценом, уходят в ту же почву, которая вызвала в эти годы его духовный крах. Наталья Александровна Герцен жила одними духовными интересами с мужем и так же, как и он, глубочайшим образом была потрясена поражением революции 1848 года. Переживания Натальи Александровны той поры отразились в письмах к ее «Консуэле» — Наталье Алексеевне Тучковой, и в них легко отыскать непосредственные отзвуки и вариации мыслей Герцена из книги «С того берега».

Семнадцатого октября 1848 года Наталья Александровна пишет: «Старое здание все приближается более и более к разрушению, искусственные подпорки недолго поддержат его... Не только жить, даже участвовать в создании нового нам не удается, ну хоть помогать разрушению старого...»[2] В феврале 1849 года Наталья Александровна признается, что ей «сил недостает смотреть на предсмертные судороги этого старца (то есть старого, буржуазного мира.— *Я. Э.*), мною овладел эгоизм, оттого что самоотвержением ничего не сделаешь, разве только доказать пословицу «на людях и смерть красна»,— но довольно умирать, хотелось бы пожить — я б бежала в Америку»[3].

Но, охваченная теми же мрачными и тоскливыми мыслями, что и Герцен, Наталья Александровна находилась в существенно ином и в известном смысле более труд-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. II, стр. 41—42.

[2] «Русские пропилеи», т. I, стр. 251.

[3] Там же, стр. 262.

ном положении, чем он. Творчество приносило ему глубокое удовлетворение. У Натальи Александровны такой возможности не было.

Герцен общался в то время с многочисленными представителями западноевропейской интеллигенции, внутренне ему чуждыми. Он уставал от этих людей, порой они остро раздражали его, но для такого глубокого наблюдателя общественной жизни, публициста и художника, каким был Герцен, представляли интерес споры с ними, даже их, пусть неосновательные, возражения. А Наталью Александровну лишь утомляла вечная смена лиц в ее парижском доме.

В декабре 1848 года она пишет Тучковой: «Мне надоели китайские тени, я не знаю, зачем и кого я вижу, знаю только, что слишком много вижу людей... как открываются глаза — забота о Саше, о Наташе — и весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, *рассеянна* так, что мне становится иногда страшно больно; приходит вечер, дети укладываются, ну, кажется, отдохну... нет, пошли бродить хорошие люди, и от этого пуще тяжело, что хорошие люди, тогда б я была совсем одна, а тут и не одна, и присутствия их *не чувствую*... это незаконное, неправое, нелепое поглощение существования ужасно отвратительно. Ведь я немного хочу — несколько часов в день себе, себе — т. е. чтоб я могла и другому их отдать, как я хочу...» [1]

Незаметно для себя Герцен и Наталья Александровна отдалялись друг от друга. По-прежнему они делились своими мыслями, порой читали вместе, но каждый все больше уходил в себя — слишком мучительны и тоскливы были думы, чтобы все могло быть высказано до конца.

При таких обстоятельствах с Герценом и его женой сблизился Георг Гервег, внесший в их жизнь непоправимые несчастья.

В 40-х годах Гервег завоевал шумную популярность своими «Стихами живого». Гейне назвал Гервега «железным жаворонком», но указал при этом:

Вспорхнув, льешь трели в облаках
И землю из виду теряешь...
Ах, лишь в одних твоих стихах
Есть та весна, что нам ты воспеваешь.

[1] «Русские пропилеи», т. I, стр. 254—255.

Характеристика, содержащаяся в этих поэтических строках, метка и тонка. Неоспорим революционный протестующий пафос ряда стихотворений Гервега, зовущих к ненависти, к борьбе. Но вместе с тем в поэзии Гервега много риторики, туманной мечтательности, громких, но малосодержательных фраз; революционная весна, которая должна принести обновление, кажется ему уже наступившей. Встречаются в этих стихах и националистические ноты, апелляция к справедливости монарха, сентиментальные настроения в духе немецкого мещанства и тому подобное.

Книга Гервега, действительно сыгравшая в свое время, несмотря на все ее недостатки, значительную роль, явилась для него источником громадного, однако преходящего, успеха.

В определении характера Гервега сходятся в сущности все знавшие его — как друзья, так и враги. Это был человек слабовольный, упрямый, эгоистичный. Поднявшись на гребне предреволюционного подъема Германии, он бесконечно переоценил собственную роль в нем.

Успех «Стихов живого» (немецкие историки литературы сопоставляли резонанс, который имела эта книга, с впечатлением, произведенным первыми выступлениями Гёте и Шиллера) вскружил Гервегу голову. Страстно искал он новых триумфов,— этим объясняются и некоторые его обреченные на провал политические выступления. В 1842 году происходит — до сих пор неясно, по чьей инициативе,— прием Гервега прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV. В этой двусмысленной истории Гервег взял на себя сомнительную роль, которую Гейне назвал «ролью маркиза Позы».

В 1848 году Гервег возглавил беспощадно осужденное Марксом[1] авантюристическое вторжение немецкого повстанческого отряда с французской на германскую территорию. «Легион» Гервега был разбит правительственными войсками через два дня после перехода границы, и поэту пришлось искать спасения в бегстве. Впрочем, надо сказать, что широко распространенная в то время версия о позорно трусливом поведении Гервега, якобы бросившего вверившихся ему людей еще

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе т. 5, стр. 478.

до решающего сражения, по-видимому лишена основания.

Вернувшись в Париж, Гервег с июня 1848 года становится постоянным посетителем, а затем близким человеком в доме Герцена, который писал в Москву друзьям: «Я в истинно дружеских отношениях только с Гервегом и больше ни с кем», с ним «мы совершенно одного мнения» (V, 292, 288).

Одновременно сближается Гервег и с Натальей Александровной. В письмах Натальи Александровны к Тучковой начинают встречаться отзывы, подобные мнениям Герцена. Она пишет о Гервеге, что он «широкая натура, с ним мне даже хорошо молчать, мысль не задевает за него, не спотыкается» [1].

В то время как Герцен, в чем он сам впоследствии сознался, мало занимался «больной душой» жены, Гервег уделял Наталье Александровне много внимания и времени. Наталья Александровна все более отдаляется от мужа, рождается увлечение Гервегом, оказавшееся столь роковым для нее самой, для всей семьи.

Бесплодной была бы попытка передать здесь горький, страстный, поражающий откровенностью рассказ Герцена о своей семейной драме в «Былом и думах», написанный, по словам Тургенева, слезами и кровью.

Напомним только, что с середины 1848 до начала 1851 года Герцены и Гервег многие месяцы проводили вместе в Париже, Женеве и Ницце. Уже к концу 1849 года у Герцена появляются первые подозрения; чем дальше, тем больше жизнь омрачалась ревностью, недоверием, пересудами и сплетнями посторонних. Все это мучительно бередило живые раны.

Позднее, в «Былом и думах», Герцен, бичуя себя, признался, что он, «со всем развитием, со всей гуманностью... в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину, мог представлять какого-то Рауля Синюю Бороду» (10, 262). Одновременно Наталью Александровну мучил Гервег, сначала сентиментально апеллируя к правам возвышенной дружбы и любви, пытаясь поколебать ее рассказом о своих страданиях, а затем и угрозами самоубийства.

Для Герцена случившееся было страшным ударом.

---

[1] «Русские пропилеи», т. I, стр. 258.

До того он сам и его близкие казались ему каким-то неуязвимым островком среди бушующих социальных бурь, духовных катастроф, страстей и несчастий. Ему представлялось, что он и Наталья Александровна в качестве избранных личностей живут «на особых правах» (XIX, 143), как он выразился спустя много лет, не без горькой иронии оглядываясь в прошлое.

Любопытно, что сам Гервег в своих письмах Герцену протестовал против назревавшего разрыва во имя «гармонии и красоты в наших отношениях, которая могла бы послужить образцовым примером для людей», во имя «осуществления наших возвышенных планов и образования... особенного мира» (XIV, 42 и 45).

В начале 1851 года происходит окончательный разрыв между Герценом и Гервегом, но прошло более полугода, прежде чем в семье снова наладились отношения, полные взаимной любви и доверия. Это было «наше второе венчание» (10, 273),— говорил Герцен. «Я никогда не была так счастлива, как теперь» [1],— писала Наталья Александровна.

Но, физически всегда слабая и хрупкая, жена Герцена не выдержала испытаний, выпавших на ее долю. А ей предстояло пережить еще более страшные потрясения. В ноябре 1851 года погибли при кораблекрушении мать Герцена и сын Коля, гостившие у знакомых в Париже (Герцены жили в то время в Ницце).

Личные несчастья усугублялись общественными бедствиями. 2 декабря 1851 года произошел переворот Луи Бонапарта, захватившего всю полноту власти во Франции. Это событие Герцен воспринял как свидетельство падения революционной Франции и новое доказательство того, что демократы и социалисты бессильны противостоять реакции. «Парижское *второе декабря* лежало плитой на груди. Общее, частное — все неслось куда-то в пропасть...» (10, 283).

Наталья Александровна окончательно сломилась. К тому же ей, тяжело больной воспалением легких, острую боль доставлял Гервег своими письмами. Впрочем, и он сам был глубоко потрясен всем случившимся [2].

---

[1] «Русские пропилеи», т. I, стр. 273.

[2] См. письмо Гервега Колачеку от 30 января 1851 г., опубликованное Г. Цигенгейстом, см. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, № 2, стр. 214—215.

2 мая 1852 года Наталья Александровна после долгих страданий скончалась.

Пораженный горем, Герцен искал средств мести. Он отказался принять вызов Гервега, справедливо указывая, что «худшая сторона дуэли в том, что она оправдывает всякого мерзавца — или его почетной смертью, или тем, что делает из него почетного убийцу». Герцен требовал общественного суда над Гервегом, противопоставляя гласность — дуэли, где «все шито и крыто». К участию в нем он хотел привлечь виднейших представителей международной демократической эмиграции во главе с вождем республиканского национально-освободительного движения Италии Маццини.

Но это обращение вытекало из неправомерного преувеличения Герценом общественного значения случившегося.

Происшедший разрыв личных отношений с Гервегом отбрасывал Гервега, по убеждению Герцена, в идейно враждебный лагерь. На деле это было не так. Герцен был прав, клеймя Гервега как человека, обманувшего его доверие и дружеские чувства. Но Гервег не изменил своим революционным демократическим воззрениям. Как поэт и агитатор, он до конца своей жизни (умер он в 1875 году) остался верен революционной демократии. Но теоретические философские искания Герцена никогда не были ему кровно близки. Гервег не был мыслителем. Герцен же судил о нем в высшей степени субъективно и тогда, когда считал его своим ближайшим единомышленником, и тогда, когда возненавидел его, как человека, якобы изменившего своим убеждениям.

Герцен вскоре вынужден был признать, что общественный суд над Гервегом — всего лишь мечта.

IX. ПЕРВЫЕ СТАТЬИ О РОССИИ ДЛЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ЧИТАТЕЛЯ. — ЗАРОЖДЕНИЕ НАРОДНИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ. — ГЕРЦЕН И СЛАВЯНСТВО

Утратами, скорбью, сомнениями наполнена жизнь Герцена в 1849—1852 годах. «Кружением сердца» назвал он свои переживания тех лет. Самому себе он казался потерявшим тот широкий и свободный путь в жизни, которым смело и гордо шел до сих пор. Но как бы разоча-

рован Герцен ни был в прежних своих верованиях, как бы ни мучили его ревность, оскорбленная гордость, а потом и непоправимое горе, он не оставлял напряженного труда.

В V части «Былого и дум», в рассказе о событиях своей семейной драмы 1849—1852 годов, Герцен может показаться читателю, неясно представляющему себе хронологию и объем его литературной работы, человеком, целиком ушедшим в свою личную боль. Но это совсем не так. И эти годы были для Герцена временем большого напряжения творческих сил.

С осени 1849 года по 1851 год он, помимо нескольких статей, впоследствии дополнивших собою книгу «С того берега», выступает как автор «России», письма к Маццини, статьи «Русский народ и социализм» и своей классической книжки «О развитии революционных идей в России». В этот же период Герцен работает над двумя беллетристическими произведениями: «Долг прежде всего» и «Поврежденный». Уж одно это перечисление говорит о размахе и многосторонности литературного труда Герцена тех лет.

Наконец, именно тогда Герцен вступил в открытое единоборство с царизмом.

В сентябре 1850 года решение Герцена остаться в эмиграции привело его к прямому отказу подчиниться требованию царских властей о немедленном возвращении в Россию. В октябре Герцен пытался создать в Штутгарте вольную русскую типографию[1]. В том же самом месяце Николай I приказал «поступить с сим дерзким преступником по всей строгости существующих законов», и царский суд заочно приговорил Герцена к лишению всех прав состояния и признал его «вечным изгнанником из пределов Российского государства»[2]. Почти одновременно Герцен, благодаря связям с некоторыми швейцарскими радикалами, становится гражданином Фрейбургского кантона, то есть приобретает швейцарское гражданство, следуя в этом отношении примеру многих эмигрантов различных национальностей.

---

[1] См. материалы, опубликованные Г. Цигенгейстом в журнале «Zeitschrift für Slawistik», 1963, № 5.

[2] Цит. по комментарию М. К. Лемке к Полн. собр. соч. А. И. Герцена, т. VI, стр. 147.

Для Герцена это была неизбежная формальность, облегчавшая его деятельность на благо России. Вместе с тем Герцен, русский революционер, тем самым переставал быть подданным Николая I.

Имение, принадлежавшее Герцену, было конфисковано царским правительством.

Что же касается унаследованного от отца капитала, достигавшего очень значительной по тому времени суммы в несколько сот тысяч рублей, то Герцен сумел своевременно перевести его за границу. Он спас тем самым из лап царизма средства, которые в дальнейшем помогли ему развернуть революционную деятельность.

Став эмигрантом, прямо заявив о своем неподчинении царскому правительству, Герцен перестал воздерживаться от открытых, проникнутых революционным духом литературных выступлений. Если первое издание «С того берега», так же как изданные в том же 1850 году в немецком переводе «Письма из Франции и Италии», вышло еще без имени автора, то в 1851 году французское издание «О развитии революционных идей в России» Герцен выпускает уже под своим широко известным в России псевдонимом — Искандер.

Однако раньше чем перейти к этой книге, необходимо охарактеризовать две статьи Герцена о России (письма к Гервегу и Маццини), которые были включены им, как мы уже указывали, в первое издание «С того берега».

Статья «Россия» (письмо к Гервегу) является первым обращением Герцена к западноевропейскому читателю с целью рассказать правду о русском народе.

В то время в глазах большинства представителей западноевропейской демократии царизм совершенно заслонял собою русский народ. Западная Европа не имела сколько-нибудь отчетливого представления о русском революционном движении, о русской передовой мысли, о литературе.

Герцен указывает в статье: «Никто... не знает, что же собой представляют эти русские, эти варвары, эти казаки, что собой представляет этот народ, мужественную юность которого Европа имела возможность оценить в бою, из коего он вышел победителем... (Герцен имеет в виду Отечественную войну 1812 года.— *Я. Э.*) Цезарь знал галлов лучше, чем Европа знает русских... В книгах о России недостатка нет; большую часть из них, од-

нако, составляют политические памфлеты; они писались не с намерением лучше ознакомить с предметом, они служили лишь делу либеральной пропаганды то в России, то в Европе. Картиной русского деспотизма старались напугать и просветить последнюю» (6; 191, 192).

Такому взгляду Герцен противопоставляет отношение к России представителей демократической части польской эмиграции, с которыми Герцен установил связи еще в 1847 году в Париже. «Слава молодым полякам! Они, оскорбленные, ограбленные, они, лишенные русским правительством отечества и имущества,— они первые протянули руку русскому народу; они отделили дело народа от дела его правительства» (6, 195).

Русский народ, русских передовых людей Герцен рассматривает как юных наследников многовекового исторического, идейного опыта Западной Европы. Воспользовавшись этим опытом, русские, возможно, сумеют найти путь к «социальной революции», долженствующей, в свою очередь, благотворно отозваться на судьбах всей Европы. Герцен пишет: «Множество народов сошло с исторической сцены, не изведав всей полноты жизни, но у них не было таких колоссальных притязаний на будущее, как у России. Вы знаете это. В истории нельзя сказать «опоздавшим — одни лишь кости», наоборот, им-то предназначены лучшие плоды, если только они способны ими питаться» (6, 221).

Герцен — правда, еще очень кратко — рассказывает в своей статье о восстании декабристов, о роли Пушкина, об идейном развитии русского общества после 14 декабря.

Но Герцен не удовлетворился тем, что высказал свое убеждение в великом всемирно-историческом будущем русского народа. Придя к глубочайшему разочарованию во всякого рода утопических учениях, он искал конкретно-исторического обоснования своей веры. В этой связи его заинтересовала вышедшая в 1847 году книга путешествовавшего по России прусского юнкера и чиновника Гакстгаузена. С Гакстгаузеном Герцен имел случай беседовать в Москве в 1843 году, но тогда наблюдения Гакстгаузена над русской общиной не произвели на него впечатления. В то время Герцену еще казалось, что социалистическая пропаганда сама по себе способна принести миру и человечеству «обновление».

Глубокий интерес к сельской общине, народнические идеи зародились у Герцена, по-видимому, еще в 1847 году (6, 319), хотя впервые об этих своих упованиях он заявил в ранней редакции «Прощайте!», датированной 1 марта 1849 года (6; 12—18).

Народнические идеи носились в это время в воздухе. Община, как то показал Ш. М. Левин, уже привлекала к себе внимание петрашевцев[1]. В 1849 году М. А. Бакунин в своей вышедшей за границей на немецком языке брошюре «Русские порядки» связывал надежды на социальную революцию в России с общинным укладом крестьянства, причем, в отличие от Герцена, он питал иллюзорные надежды относительно близости падения самодержавия[2].

Однако первым пропагандистом народнических идей, их провозвестником был Герцен. Именно он в статье «Русский народ и социализм» выразил убеждение, ставшее девизом народничества: «Человек будущего в России — *мужик*» (7, 326).

Залог будущего торжества социалистических идеалов Герцен пытался найти, если использовать его позднейшие выражения, в элементах «преемственного быта» (13, 94), то есть в исторически сложившихся особенностях русской жизни. Русская сельская община, описанная Гакстгаузеном, явилась в представлении Герцена таким элементом — «животворящим принципом русского народа». Герцен увидал в общине «общественную единицу» — «земля принадлежит общине, а не отдельным ее членам» (6, 199—200). Он считал невероятным социальное расслоение внутри общины — а «вследствие этого сельский пролетариат в России невозможен» (6, 201).

Ошибочность и утопичность этих взглядов Герцена заключались, по определению Маркса в письме 1877 года в редакцию «Отечественных записок», в том, что «...он (Герцен.— *Я. Э.*) открыл русскую общину не в России, а в книге прусского регирунгсрата Гакстгаузена и что в его руках русская община служит лишь аргументом для доказательства того, что старая, прогнившая Европа должна быть возрождена путем победы панславизма»[3].

---

[1] См. «Исторические записки», сб. 26, стр. 221.

[2] М. А. Бакунин, Собр. соч. и писем, т. III, М. 1935, стр. 402, 418, 426.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 19, стр. 116.

Маркс имеет в виду характерное для Герцена после 1848 года неверие в перспективы революционного движения в Западной Европе, непонимание им исторических закономерностей развития буржуазного строя и революционной роли пролетариата (следует иметь в виду, что нет данных, указывающих на знакомство Маркса и Энгельса с письмами «К старому товарищу»). В разбираемых статьях Герцен утверждал, что «наш естественный, полудикий образ жизни более соответствует идеалу, о котором мечтала Европа (то есть социалистическому идеалу.— *Я. Э.*), чем жизненный уклад цивилизованного германо-романского мира» (6, 204). Он приходит к этому выводу несмотря на то, что замечает «постоянное несовершеннолетие», в котором община держала русского крестьянина, и «поглощение личности» в ней, ее отрицательные реакционные стороны. С пессимистическим воззрением Герцена на революционное будущее Западной Европы полемизировал и Чернышевский.

В 1881 году Маркс, говоря об общине как точке опоры социального возрождения России, указывал: «Но для того, чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития» [1].

Маркс вовсе не осуждал самую постановку русскими людьми вопроса о том, «...должна ли Россия, как того хотят ее либеральные экономисты, начать с разрушения сельской общины, чтобы перейти к капиталистическому строю, или же, наоборот, она может, не испытав мук этого строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собственные исторические данные» [2]. Но для решения этого вопроса Маркс требовал конкретно-исторического изучения экономической жизни России и противопоставлял в этом отношении Герцену «великого русского ученого и критика» Чернышевского. Как указывал Ленин в своей работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», Маркс в письме в редакцию «Отечественных записок» «...уклоняется от от-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. первое, т. XXVII, стр. 118.

[2] К. Маркс и Ф Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 19, стр. 119.

вета по существу, от разбора русских данных, которые одни только и могут решить вопрос...»[1]

Герцен же брался за решение указанного вопроса без глубокого и детального анализа конкретных данных и фактов русской экономической жизни, в чем и заключалась его исходная ошибка.

Правда, Герцен не давал категорического ответа, но во всяком случае считал, что Россия с ее общинным устройством имеет больше шансов перейти к социализму, чем Западная Европа с ее пролетариатом.

Скептически расценивающий перспективы общественного развития Западной Европы, Герцен — в этом его решительное отличие от Белинского, обладавшего неискоренимым историческим оптимизмом,— мечтал о том, чтобы Россия, в особенности русская патриархальная деревня, по пути к социализму миновала буржуазный период развития. Поэтому он искал спасения в сельской общине, хотя знал, что у других народов в ходе исторического развития община подверглась разложению. Наблюдения Гакстгаузена для него были находкой, за которую он ухватился, ибо они давали ему возможность «объективными» фактами обосновать свою веру в социалистическое будущее русского народа.

Следует, однако, отметить, что Герцен отнюдь не закрывал глаза на реакционность социально-политических воззрений Гакстгаузена, видевшего в общине опору самодержавия и помещичьей власти.

Но бесспорная слабость народнических теорий Герцена не должна скрыть от нас и некоторых очень существенных идейных преимуществ его по сравнению с позднейшими народническими теоретиками.

Эти народнические публицисты усердно занимались изучением экономических отношений России. При этом они, если использовать ленинское выражение, «отговаривались» от неприятных для них, хотя совершенно очевидных фактов буржуазного развития, замалчивали их. Выход они искали в утопических проектах поддержки общины царизмом, в союзе крестьянской общины и помещика, в распространении артельного труда, и все это в обстановке страшного политического гнета самодержавия и крепостнических пережитков в деревне.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 248.

Герцен же просто не имел тогда данных о росте буржуазных отношений в русской деревне. Достаточно сказать, что в 1869 году, через двадцать лет после опубликования «России», в «Отечественных записках», редактировавшихся Некрасовым и Щедриным, появилась рецензия на новую книгу Гакстгаузена. В рецензии приводились факты разложения общины, выхода состоятельных крестьян из нее, причем явления эти приурочивались уже к периоду после крестьянской реформы, и о них говорилось, как о новых, только лишь теперь обнаружившихся чертах экономической жизни [1].

Герцен оставался также чужд тому субъективизму и романтизму, который характерен для позднейших теоретиков народничества. Он не идеализировал общину в целом. Хотя в «России» Герцен изобразил общинный быт в явно идиллических тонах, тем не менее он не закрывал глаза и на некоторые отрицательные стороны общинного уклада. В мировоззрении Герцена и в эти годы утопически социалистические элементы сочетались с просветительскими. Он, в отличие от народнических теоретиков, верил в поступательный ход общественного развития России. Существенно и то, что Герцен никогда подробно не разрабатывал экономической стороны народнической утопии. Мы увидим, что в «Колоколе» этим занимался Огарев, а не он. Вера Герцена в великое будущее своего народа основывалась не только на народнической утопии. Для него, как и для Белинского, решающим было ощущение потенциальной мощи русского народа, его духовного роста, накопления в нем революционного недовольства. Поэтому, высказав свои мысли о возможном значении русской сельской общины, Герцен пишет: «Мне кажется, что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами, и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и под западной розгой капрала; я говорю о той внутренней силе, при помощи которой русский крестьянин сохранил, несмотря на унизительную дисциплину рабства, открытое

[1] См. «Отечественные записки», 1869, № 11, отд. II, стр. 41.

и красивое лицо и живой ум и который на императорский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддерживала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели?.. Это-то нам и покажет время» (6; 199—200).

Ленин писал о народнических взглядах Герцена: «...В этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве — вплоть до полинявшего народничества теперешних «социалистов-революционеров» — нет *ни грана* социализма. Это — такая же прекраснодушная фраза, такое же доброе мечтание, облекающее *революционность* буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы «социализма 48-го года» на Западе»[1]. При этом различие между народническими взглядами Герцена и «социализмом 48-го года» заключалось в том, что, в то время как революционность западноевропейской буржуазной демократии тогда, по словам Ленина, уже умирала, революционность русской крестьянской демократии была накануне подъема.

С позиций демократа Герцен бичует русское дворянство как «плантатора» и царскую бюрократию, грабящую и угнетающую крестьянство.

Опровергает Герцен и легенду об особой преданности русского крестьянина царизму и отмечает при этом, что в 1812 году русский крестьянин, «умирая на поле битвы «за белого царя и пресвятую богородицу», как он говорил, он умирал на самом деле за неприкосновенность русской земли» (6, 213).

При всем этом Герцен, однако, считает, и в этом сказывается ограниченность его как дворянского революционера, что «зародышем и умственным центром грядущей революции» в России является «слой среднего дворянства...» и прежде всего его «образованное меньшинство», то есть передовая интеллигенция. «В этом сословии... кипит множество страстей и сил, которые, именно вследствие отсутствия выхода... вырываются на свет в виде какой-либо блестящей, эксцентричной личности.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 11.

Из этого именно сословия исходит все литературное движение» (6, 216).

В одной из первых программных работ, развивающих основные тезисы народнической теории, в статье «Россия и социализм» (1851), написанной в форме письма к Мишле, Герцен касается также вопроса об исторических путях и будущем славянства, вопроса, столь неразрывно связанного для него с думами о будущем России. Мы видели, что еще в 1844 году размышления о славянском мире, возбужденные чтением лекций Мицкевича, взволновали Герцена. Чувство братской близости к борцам за свободу Польши было дорого ему еще со времен пермской ссылки и тогдашних встреч с поляками-изгнанниками. В «Былом и думах» Герцен рассказал о том, как ему пришлось встретиться с Мицкевичем в начале 1849 года на ужине, устроенном в связи с началом издания журнала, который возглавлялся Мицкевичем и в котором должен был принять участие и Герцен.

В 1844 году Герцен критиковал Мицкевича за религиозно-мистические элементы его взглядов, хотя с глубоким уважением относился к нему. Облик великого поэта, отражавший «пережитое несчастие, знакомство с внутренней болью, экзальтацию горести», был для Герцена «пластическим образом *судеб Польши*». Герцен всегда искал взаимопонимания с представителями борющейся за свою свободу Польши. Но в 1849 году он остро почувствовал, что преградой между ним и Мицкевичем стоят мистицизм и католицизм последнего и в еще большей мере упования поэта на наполеоновскую династию, его надежды на будущего императора Наполеона III, воплощавшего собою для Герцена буржуазную реакцию. Герцен разделял идеи Мицкевича о «братственном союзе всех славянских народов» (10, 38), но ясно отдавал себе отчет в том, что ставка некоторой части польской эмиграции на Луи Бонапарта является глубоко вредной как для самой Польши, так и вообще для славянских народов. Будущее показало, что, рядясь в костюм защитника Польши, Наполеон III видел в такой тактике лишь средство дипломатического давления на Россию. На деле он готов был идти на любую сделку с царизмом, способную укрепить его монархию.

Герцен видел совсем иной путь к братскому союзу славянских народов, к свободе Польши. Он твердо ве-

рил, что создание «славянской федерации, *демократической* и *социальной*» (6, 238) возможно лишь вокруг России, которая с победой революции станет мощным, свободным демократическим государством.

Впоследствии Герцен писал, что, по его мнению, «те только достигают великого, которые имеют в виду еще большее и инстинктивно верят в возможность его» (14; 50—51). Герцен смело высказывал свою мечту о будущей великой демократической и социалистической России, связанной «братским союзом» с другими славянскими народами. С этими мыслями Герцена мы не раз будем встречаться и в дальнейшем, причем чем дальше, тем больше его мечта конкретизируется, укрепляясь на основе новых фактов исторического развития и прежде всего подъема русского революционного движения.

Уже в 1849 году Герцен понимал, каким могучим центром братского союза славянских народов может стать Россия, когда она превратится в сильное, свободное демократическое государство. Он считал «Россию зерном кристаллизации, тем центром, к которому тяготеет стремящийся к единству славянский мир». Герцен был убежден в том, что «вне России нет будущности для славянского мира; без России он не разовьется... он сделается австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнению, его судьба, его назначение» (7; 314, 316).

Интересно сопоставление этих взглядов Герцена с относящимися к тем же 1848—1849 годам публицистическими выступлениями Бакунина.

Бакунин, с его анархическим бунтарством, с его неспособностью трезво расценивать реальные факторы политической общественной жизни, призывал к распаду русского государства, к созданию славянской федерации, как к реально осуществимой в данных исторических условиях задаче, к отделению Украины от Великороссии [1], к немедленному революционному союзу всех народов мира.

Выступления Бакунина вызвали резкий отпор со стороны Маркса и Энгельса, опубликовавших две статьи под заглавием «Демократический панславизм». Первая статья начинается с указания на то, что «...сладкие меч-

[1] См. М. А. Бакунин, Соч., т. III, стр. 340.

ты, возникшие после февральской и мартовской революций, например мечтания о всеобщем братстве народов, о федеративной республике Европы и вечном мире, по существу прикрывали только безграничную растерянность и бездеятельность тогдашних идейных вожаков». Выступления Бакунина Маркс и Энгельс справедливо расценивали как «высокопарные фразы» и «мечтательное воодушевление первых месяцев революции» [1], указывая: «Горький опыт привел к убеждению, что «братский союз европейских народов» может быть осуществлен не при помощи пустых фраз и благих пожеланий, а лишь при помощи радикальных революций и кровавой борьбы...» [2].

Маркс и Энгельс вскрывали при этом подлинную политическую роль «австрийских демократических панславистов» в 1848 году, которые «предали демократию и революцию австрийской монархии» [3].

Они рассматривали «демократический панславизм» Бакунина как направление, тормозящее международное революционное движение, а потенциально — и как прямо враждебное ему.

Впоследствии и Герцен осуждал панславистские взгляды Бакунина. В 1869 году он писал Огареву: «Бакун<ин> был отчаянным панславистом, националистом» (XXI, 488).

Но в конце 40 — в начале 50-х годов и сам Герцен нередко допускал в своих публицистических выступлениях небрежные, неточные, двусмысленные формулировки, которые давали основания подозревать его самого в панславистских тенденциях. Герцен мечтал о «свободной федерации» (6, 235) славянского мира, объединенного вокруг будущей свободной России, он чувствовал себя в этом отношении продолжателем «революционных планов Пестеля и Муравьева» (7, 313). Но, говоря о России как о «славянском государстве» (6, 235), он порой недостаточно четко проводил грань между Россией Николая I и будущей демократической Россией, а однажды прямо заявил о будущей «гегемонии» России среди славянства (6, 235), что уже явно противоречило самой

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 6, стр. 289, 290.

[2] Там же, стр. 290.

[3] Там же, стр. 302.

сущности его взглядов. Кроме того, Герцен многократно противопоставлял будущее славянства будущему Западной Европы.

Поэтому Маркс и Энгельс распространяли свою критику панславизма и на Герцена, который был известен как друг и единомышленник Бакунина. В этом причина взаимного недоверия и отчуждения, которое установилось между Марксом и Энгельсом, с одной стороны, и Герценом — с другой. Недоверие и отчуждение это еще усиливалось той антипатией Герцена почти ко всей немецкой эмиграции, которая у него приняла крайние формы после истории с Гервегом.

Герцен не видел коренного различия между представителями немецкой мелкой буржуазии и такими гениальными вождями рабочего класса, как Маркс и Энгельс. Немецкой эмиграции Герцен бросал огульное обвинение в национализме. В этой связи следует отметить, что в цитированной нами статье Маркс и Энгельс выступали и против немецкого национализма, указывая, что «...панславизм отличается не менее ребяческим и реакционным характером, чем пангерманизм» [1].

Сейчас очевидно принципиальное отличие Герцена от Бакунина в воззрениях на роль славянских народов. Герцен не строил никаких фантастических планов быстрого создания славянской федерации, ибо справедливо считал непременной предпосылкой ее осуществления превращение России в демократическое государство. В резкое отличие от Бакунина, Герцен менее всего склонен был рассматривать как основу такой федерации государство западных славян, ибо с полным основанием не верил в его жизнеспособность и прогрессивность без поддержки революционной России и теснейшего союза с ней.

У Герцена легко найти сочувственные оценки деятельности Бакунина, в частности его роли на славянском конгрессе 1848 года, но строки эти в значительной мере объясняются тем, что, стремясь пропагандировать будущее революционное значение России, Герцен не мог не видеть в Бакунине сильного союзника; играли также большую роль, как всегда у Герцена, отношения личной дружбы и симпатии, никогда не позволявшие ему пуб-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 6, стр. 304.

лично критиковать Бакунина. Для правильного понимания обстоятельств, при которых имело место выступление Маркса и Энгельса против Бакунина, следует иметь в виду и то, что в цитированной статье Бакунин был охарактеризован как «наш друг», брошюра которого требует критики[1]. Тем более нельзя было ожидать тогда от Герцена подчеркивания своих разногласий с Бакуниным. Но объективно эти разногласия существовали, и в них уже скрывались зародыши будущих принципиальных расхождений между мыслителем, ищущим пути к научному социализму, с одной стороны, и анархистом — с другой.

Нужно также отметить, что Герцен всегда резко и прямо выступал против «императорского панславизма, восхваляемого от времени до времени людьми купленными или заблуждающимися», заявляя, что такой панславизм «не имеет ничего общего с союзом, основанным на началах свободы» (7, 316). Впоследствии, в период польского восстания 1863 года, Герцен на деле доказал, что, пропагандируя создание славянской федерации, он преследовал подлинно передовые, революционно-демократические цели.

X. «О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ»

В 1851 году одновременно на французском и немецком языках вышло классическое сочинение Герцена «О развитии революционных идей в России». В этой книге Герцен дает краткий очерк истории России и русской культуры с точки зрения зарождения и развития в русском обществе революционных идей. Центральную часть книги составляют главы, в которых Герцен прослеживает рост и развитие русской общественной мысли и литературы от эпохи Пушкина и декабристов до 40-х годов.

Исторический анализ переплетается здесь с непосредственными, глубокими и красочными наблюдениями активного участника русского общественного движения 30—40-х годов.

---

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 6, стр. 290.

Иностранному читателю книга Герцена впервые открывала вовсе неизвестный ему мир освободительной борьбы русского народа.

Две основные цели преследовал Герцен в этой работе: во-первых, показать, что исторические судьбы русского народа ведут к превращению его в могучую силу в борьбе за демократию и социализм, что Россия чревата революцией, и, во-вторых, раскрыть, что передовая русская интеллигенция, глубоко самостоятельно, творчески воспринимая идейный опыт человечества, выражает в своей политической, философской и литературной деятельности потребности родного народа, им самим еще не осознанные, но все более назревающие.

Книга носила не только информационный характер. Она насыщена раздумьями Герцена над самыми острыми наболевшими в то время вопросами русской жизни. Перед автором прежде всего стоит проблема, каким путем соединятся стихийные стремления народа с революционными идеями, выработанными передовыми людьми.

В прошлом Герцен видел проявления исторической активности народных масс только в пугачевщине и в событиях Отечественной войны 1812 года. Но вера в русский народ, в русскую передовую мысль вдохновляли Герцена на поиски путей роста этой активности, превращения ее в постоянный и могучий фактор исторического развития. Этот революционный и патриотический дух герценовской книги объясняет, почему многие страницы ее, особенно последние главы, посвященные 20—40-м годам XIX века, по сию пору сохранили живой интерес для нас. Для своего же времени работа Герцена имела остро злободневное значение. Впервые передовой русский человек во всеуслышание объявлял себя и своих единомышленников врагами царизма и вскрывал политическую роль идейных и литературных течений эпохи. Это была первая книга о русском революционном движении.

Герцен решительно опровергал распространенное тогда на Западе представление о России как о стране, в которой революционного движения нет вовсе, а революционные настроения интеллигенции наносны, случайны и лишены корней в народе.

Герцен утверждал, что самоотверженная работа пере-

довых русских людей и назревающее движение в народных массах России приобретают мировое значение. Правда, при этом Герцен в значительной степени исходил и из своих народнических иллюзий, из убеждения в том, что русскому крестьянству присуще «природное тяготение к социалистическим установлениям» (7, 255). Но самые эти иллюзии отражали веру Герцена в неизбежный подъем освободительного движения в России.

В своей книге Герцен отмечает характерные черты русского освободительного движения: последовательность и трезвость русской передовой мысли, все растущее, настойчивое и энергичное стремление русских передовых людей сблизиться с народными массами. Герцен подчеркивает революционизирующее значение и национальную самобытность русской передовой литературы, ее теснейшую связь с освободительным движением. При этом он дает ряд замечательных по глубине и тонкости характеристик русских писателей и их творчества.

Герцен рассматривает русскую историю с точки зрения формирования революционного движения и пробуждения исторической активности народных масс. Расценивая образование Московского государства и петровские реформы как исторически прогрессивные явления, Герцен, демократ и революционер, вместе с тем резкими чертами обрисовывает угнетение, которому при этом подвергались народные массы, указывает на разрыв между их жизнью и культурой передового дворянства.

Герцен не знал большого числа известных нам явлений и фактов, характеризующих развитие русской культуры и свидетельствующих об органической внутренней связи литературы Петровской эпохи и XVIII века с древнерусской литературой. Но Герцен был прав в своей резкой критике чуждой народу дворянской цивилизации послепетровской эпохи.

Саркастическими чертами характеризует Герцен этих бар-космополитов, щеголявших скептической вольтерьянской фразой, а по сути своей остававшихся крепостниками-угнетателями. Герцен пишет, что вольтерьянская философия вооружала русского барина «всеми орудиями диалектики и иронии, способными оправдать в его глазах собственную рабскую зависимость от государя и рабскую зависимость крепостных от него самого. Неофиты цивилизации с жадностью набросились на чувственные

удовольствия. Они отлично поняли призыв к эпикуреизму, но до их души не доходили торжественные звуки набата, призывавшего людей к великому возрождению» (7, 183).

Совсем иначе расценивает Герцен роль и сущность передовой сатирической литературы XVIII века. По словам Герцена, Фонвизин «горько смеялся над этим полуварварским обществом, над его потугами на цивилизованность. В произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией» (7, 189).

Следует при этом иметь в виду, что в то время Герцен еще, по-видимому, не знал произведений Радищева — его имя не упомянуто в этой книге,— лишь в 1858 году Герцен опубликовал «Путешествие из Петербурга в Москву». В предисловии к этому изданию Герцен подчеркнул, что Радищев «не ограничивает первыми тремя классами свой мир... *он едет по большой дороге,* он сочувствует страданиям масс, он говорит с ямщиками, дворовыми, с рекрутами». У Радищева, говорит Герцен, «что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном нашем сердце» (7, 183).

Прослеживая дальнейшее развитие русской мысли и литературы, Герцен показывает, какими сложными и трудными путями шло их формирование. Горячий и сознательный протест передовых русских людей питался тем глухим, но все нараставшим недовольством, которое назревало в глубинах народных масс. Отзвуки этого недовольства слышались Герцену в народных песнях. Их глубокая грусть и их безудержная удаль, говорит Герцен, выражали «ту же жалобу, то же разочарование: в ней глухо звучал голос, вещавший, что природным силам негде развернуться, что им не по себе в этой жизни, которую теснит общественный строй» (7, 186).

Герцен показывает, как все более укрепляется стремление передовых русских людей пробудить и поднять народные массы на переустройство своей жизни, как в самом народе все более растет и усиливается брожение и стихийный протест.

Подобно Белинскому, Герцен отводит огромную роль в развитии русского общественного самосознания «национальной войне» 1812 года, сопровождавшейся «безмолвным единением всех классов». Герцен даже заявляет, что «подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год» (7, 153). Но победоносный исход войны ни в чем не улучшил положения народных масс. «Нищий крестьянин»,— по словам Герцена,— «возвратился в свою общину, к своей сохе, к своему рабству. Ничто для него не изменилось...» (7, 194). Характеризуя далее возникновение и развитие революционного движения, Герцен показывает, как остро перед русскими революционерами встал вопрос о пробуждении сознательности и революционной активности народных масс.

Он так определяет огромное значение восстания декабристов: «14 (26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания... Безмолвию, немому бездействию был положен конец; с высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз» (7; 200, 201). «Пестель первый задумал привлечь народ к участию в революции. Он соглашался с друзьями, что восстание не может иметь успеха без поддержки армии. После всех событий мы можем сказать, что Пестель заблуждался: ни друзья его не могли подготовить социальную революцию, ни народ — участвовать в общем деле с дворянством; но только великим людям дано ошибаться подобным образом, предвосхищая развитие народных масс. Он ошибался практически, в сроке, теоретически же это было откровением. Он был пророком...»

Замечательной особенностью исторической роли Пестеля Герцен считал постановку им аграрного вопроса, решимость посягнуть на земельную собственность, дать землю крестьянам.

Мысль Герцена, пронизывающая собою книгу «О развитии революционных идей в России» и безусловно совпадающая с мыслью Белинского в его знаменитом письме к Гоголю, заключается в том, что в глубинах самих народных масс России растет протест против гнета царизма и крепостничества. Когда этот протест сольется с революционной теорией, зреющей в среде «образованного меньшинства», тогда русский народ сбросит гнет царизма и пойдет вперед к светлому будущему.

Указывая, что и в царствование Николая I «революционные идеи... в народ не проникали», Герцен вместе с тем подчеркивает, что в эти годы для народа «несправедливость крепостничества и грабеж чиновников становятся... все невыносимей». И Герцен, имея в виду крестьянские волнения и бунты, говорит о том, что в русском крестьянском море «слышится смутный гул, предвещающий ужасные бури» (7; 211, 212).

Важнейшей задачей, поставленной перед Россией ее историей [1], Герцен считает освобождение крестьян с землей. Это тот великий вопрос, который главенствует над всеми остальными и волнует все слои нации.

Раскрепощение личности Герцен подчиняет задаче освобождения крестьянина,— это, по его убеждению, должно было повести страну к социализму. Свою уверенность в возможности и необходимости освобождения крестьян с землей Герцен обосновывал тем, что Россия, в отличие от Западной Европы, якобы не знала феодальных отношений, что земля всегда принадлежала крестьянину.

Но из этой несостоятельной с научной точки зрения исторической концепции Герцен делал выводы, обладавшие несомненным революционным значением.

Он ясно видел, что николаевское правительство ничего не сделает для освобождения крестьян, что дворянство не решится на какой-либо шаг в этом направлении и что, «быть может, что-нибудь да сделает» сам народ (7, 175).

Лишь пробуждение исторической активности самих народных масс, как следствие освободительных усилий передовых людей, способно, по мнению Герцена, решить основной вопрос русской жизни и тем самым создать предпосылки для строительства демократической и социалистической России.

Именно здесь проходила принципиальная грань, отделявшая демократа и народника Герцена от буржуазно-дворянского либерала Н. И. Тургенева, занимавшего по отношению к самодержавию оппозиционные позиции, но

---

[1] Характеристику «О развитии революционных идей в России» с точки зрения содержащихся в этой книге исторических воззрений Герцена см. в комментарии В. Е. Иллерицкого в седьмом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

возлагавшего свои надежды на реформы, которые должны были осуществляться государственным аппаратом царизма[1].

В литературе Герцен находил своеобразное отражение глубинных процессов жизни народа. Именно потому, что народные силы росли, русская литература сумела выразить и воплотить в создаваемых ею образах не только ненависть к господствующему строю, но и веру в будущее.

Герцен указывает на особую роль, которую литература играет в общественной жизни России. «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Поэтому в России «влияние литературы... приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы» (7, 198).

Герцен раскрывает связь передовой русской литературы с народной жизнью. Так, характеризуя душную атмосферу общественной жизни после 14 декабря, он пишет: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полонила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности и упадка, не слагают таких песен — они нисколько не подходят к похоронам.

Вдохновение Пушкина его не обмануло. Кровь, прихлынувшая к сердцу, пораженному ужасом, не могла там остановиться...» (7; 214—215). Для Герцена творчество Пушкина — голос русского народа, поэтическое выражение передовых идей. Принадлежа к поколению дворянских революционеров, Герцен более конкретно и отчетливо, нежели Белинский, видел теснейшую органическую связь этого поколения с величайшим русским поэтом, да к тому же смог сказать об этом полным голосом.

Книга Герцена — замечательный пример глубокой и тонкой разработки эстетической проблемы народности. Ничего не упрощая, он показывает, как сложно и свое-

---

[1] См. комментарий Ю. Г. Оксмана в седьмом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

образно те или иные потребности народной жизни, черты и стороны национального характера и исторических судеб народа получают свое отражение в литературе.

Черпая из одного и того же неиссякаемого источника народной жизни, творчество каждого выдающегося писателя приобретает величайшую оригинальность.

Образным словом своим Герцен умел создать представление о тех чувствах, эстетических представлениях и мыслях, которые писатель вносит в духовную жизнь своего времени,— вспомним выше цитированную характеристику Пушкина. Благодаря этому дару Герцена в книге его особенно наглядно выступала активная роль литературы.

Герцен сумел с верным и проницательным чувством исторической справедливости определить роль крупнейших писателей 30—40-х годов. Важно при этом подчеркнуть, что некоторые герценовские оценки шли наперекор предрассудкам, которые в это время стали укореняться в значительной части молодого революционно настроенного поколения. В особенности это касается недооценки Пушкина, славу которого для многих рядовых представителей того поколения затмил Гоголь[1].

Герцен прививал подраставшему поколению гордость родной литературой. Он учил достойно ценить великие богатства и традиции ее. С этой точки зрения большой интерес представляет сопоставление Пушкина и Байрона, сделанное Герценом. Герцен исторически конкретно характеризует особенности творчества каждого из этих поэтических гигантов, решительно отметая вместе с тем вульгарные представления западнически-либерального толка об авторе «Евгения Онегина» как подражателе автора «Чайльд-Гарольда». Герцен рассматривает Байрона как поэта, отразившего в своем творчестве, в эпоху реакции после Великой французской буржуазной революции, безысходное разочарование передовой западноевропейской интеллигенции в будущем Европы. Пушкину же, по словам Герцена, «были ведомы все страдания цивилизованного человека, но он обладал верой в будущее, которой человек Запада уже лишился. Пушкин... обладает инстинктивной верой в будущность

[1] См., например, письмо А. А. Чумикова («Литературное наследство», т. 62, стр. 720).

России» (7, 203) [1]. Герцен подчеркивает свойственное всему пушкинскому творчеству ощущение могучих сил родного народа, ощущение быстрого развития русской жизни и русской культуры, столь близкое самому Герцену и многократно получавшее обоснование в его последующих работах.

Расценивая каждое идейное и литературное явление в связи со всем ходом развития русской жизни, Герцен следующим образом определяет содержание «поэзии Гоголя» — поэзии «Мертвых душ»: «Это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения» (7, 229).

Выясняя историческую роль письма Чаадаева, как и ряда других явлений русской общественной жизни, которых он уже касался в статье «Россия», Герцен подчеркивает, что значение этого письма состояло не в выводах, а в проникающем его «лиризме сурового негодования». «Минуты отчаяния», охватывавшего в ту пору передовую русскую интеллигенцию и отразившегося в письме Чаадаева, «были нашим правом, нашим протестом, они нас спасли... письмо Чаадаева прозвучало подобно призывной трубе; сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса; на арену вышли молодые бойцы...» Что же касается «решения Чаадаева», то оно — «не решение» (7; 222, 223, 230).

Переходя к Кольцову, Герцен отметил, что поэт «показал, что в душе русского народа кроется много поэзии, что после долгого и глубокого сна в его груди осталось что-то живое» (7; 226—227).

В книге «О развитии революционных идей в России» Герцен дал глубокую характеристику Белинского: «Он образовал эстетический вкус публики, он придал силу мысли», «его слог часто бывал угловат, но всегда полон энергии. Он сообщал свою мысль с тою же страстью, с

---

[1] Д. Д. Благой показал, как эта герценовская характеристика помогает понять новаторский характер пушкинского образа Фауста (Д. Д. Благой, Творческий путь Пушкина, изд. АН СССР, 1950; стр. 388).

какою зачинал ее». «Этот человек являлся одним из самых свободных людей, ибо не был связан ни с верованиями, ни с традициями», «этот человек трепетал от негодования и дрожал от бешенства при вечном зрелище русского самодержавия» (7; 220, 237, 238). В личности и творчестве Белинского Герцен подметил «склад русского ума», с его ясностью, трезвостью и последовательностью. Но в эти годы Герцен еще не воспринимал Белинского как представителя нового революционного поколения разночинцев. Слабые стороны мировоззрения дворянского революционера мешали Герцену в это время правильно оценить те черты общественной жизни России, которые предвещали или свидетельствовали о том, что прогрессивная роль передового дворянства идет к концу. Только в статьях 60-х годов — «Новая фаза русской литературы», «VII лет» и др.— Герцен взглянет на эти явления по-новому. Так, если в книге «О развитии революционных идей» он подчеркнул, что Ломоносов, став ученым, «перестал быть простолюдином» (7, 227), то в статье «VII лет» Герцен называет Ломоносова ранним предшественником *«Новой России»,* России разночинной, теснее связанной с народом, которая «становится во весь рост только в Белинском» (18; 243, 244). То, в чем Герцен раньше замечал лишь случайное исключение, он расценит позднее как проявление больших исторических закономерностей. В книге «О развитии революционных идей в России» Герцен не ставит также достаточно сильного ударения на тех чертах сосредоточенно волевой, направленной к будущему, мужественной поэзии Лермонтова, которые помогали Белинскому идейно воспитывать молодое разночинное поколение.

Герцен боролся за высокоидейную литературу, служащую интересам народа. С этой позиции он критиковал Сенковского как человека «совершенно беспринципного», бичевал Полевого за отступничество. «В России ренегату не прощают» (7; 219, 220),— писал Герцен.

Так же как впоследствии Чернышевский, Герцен отстаивал самостоятельность и самобытность русской литературы. «Гоголь,— пишет Герцен,— полностью свободен от иностранного влияния» (7, 227). Мы уже ссылались на герценовское противопоставление Пушкина и Байрона. Герцен подчеркивает самостоятельный творче-

ский характер восприятия русскими мыслителями и писателями тех или иных западноевропейских идейных и литературных влияний.

Поступательное развитие русской литературы Герцен, так же как и Белинский, рассматривал как отражение роста русского человека и народа, как все более богатое и многостороннее раскрытие русского национального характера. Герцен, так же как и Белинский, говорил о трезвости и ясности русского народного ума, о требовательности и суровом критицизме русской передовой мысли.

Прогресс нации Герцен рассматривал как рост народных масс, овладевающих передовой культурой. Он мог бы повторить слова Белинского: прогресс «совершается национально. Иначе нет прогресса»[1].

В мощном развитии всех возможностей, заложенных в характере и культуре русского народа, Герцен и видел путь к тому, чтобы Россия стала, если опять-таки употребить слова Белинского, «идеалом человечества». Герцен верил в творческие силы русского революционного движения, в возможность создания мощного русского демократического государства. В этом смысл следующего заявления Герцена: «Времена Петра, великого царя, прошли; Петра, великого человека, уже нет в Зимнем дворце, *он в нас*» (7, 248), то есть в русских передовых людях.

Восстание декабристов Герцен поставил в органическую связь со всем предшествующим и последующим развитием. О себе и своих сверстниках Герцен говорит здесь как о людях, которых разбудило 14 декабря. Вскоре после опубликования «О развитии революционных идей в России» Герцен в статье «Русский народ и социализм» мог уже сказать и о своих преемниках и продолжателях — о петрашевцах: «История Петрашевского, приговоренного к вечной каторге, и его друзей, сосланных в 1849 году за то, что они в двух шагах от Зимнего дворца образовали несколько политических обществ, не доказывает ли достаточно, по безумной неосторожности, по очевидной невозможности успеха,— писал Герцен, — что время размышления прошло, что волнения в душе не сдержишь, что верная гибель стала казаться легче, чем немая страдательная покорность петербург-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 29.

ckому порядку?» Дело Петрашевского служило доказательством того, что «никто из тех русских, которые были призваны к умственной деятельности, не мог, не захотел покориться застою» (7, 338).

Положение эмигранта дало возможность Герцену открыто рассказать о том, о чем Белинский и Чернышевский могли говорить лишь намеками. Автор «О развитии революционных идей в России» раскрывает политический смысл рассматриваемых им литературных явлений. Он прямо говорит о борьбе между царизмом и передовой русской литературой, идейным авангардом своего народа. «История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги» (7, 208), — пишет Герцен и называет имена русских писателей, загубленных самодержавием. Впервые Герценом было показано значение скрытого, но острого оружия, которым русская литература вынуждена была пользоваться под гнетом царизма и его цензуры, — значение эзоповского языка: «Читатель, знающий, насколько писатель должен быть насторожен, читает его внимательно; между ним и автором устанавливается тайная связь: один скрывает то, что он пишет, а другой — то, что понимает. Цензура — та же паутина: маленьких мух она ловит, а большие ее прорывают. Намеки на личности, нападки умирают под *красными чернилами:* но живые мысли, подлинная поэзия с презрением проходят через эту переднюю, позволив, самое большое, немного себя почистить» (7; 216—217).

В этой связи интересно и позднейшее проницательное замечание Герцена об «оппозиционном значении» басен Крылова (13, 172).

Специальную главу книги Герцен посвятил передовым людям 40-х годов и славянофилам. Он подводит здесь политические итоги идейной борьбе, в которой он принимал активное участие в России. По характеристике Герцена, «славянофильство, видевшее спасение России лишь в восстановлении византийско-московского режима, не освобождало, а связывало, не двигало вперед, а только назад. *Европейцы* (курсив Герцена, заменяющий кавычки, указывает на условность такого обозначения представителей освободительного движения 40-х годов, обозначения, демагогически использовавшегося славянофилами. — *Я. Э.*), как называли их славянофилы, не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-

славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников» (7, 234).

Герцен показывает, куда вела славянофилов проповедь религиозного смирения и политической покорности. «Полные возмущения против деспотизма, они приходили к политическому и духовному рабству...», «...добрые отношения с правительством были для них скорее несчастьем, чем фактом желательным». Но такое «несчастие» славянофильства не было в представлении Герцена случайностью, в нем он видел проявление «логики реакции» (7; 231, 232, 239).

Славянофилы «проповедовали покорность — ... эту основу московского царизма», — писал Герцен и противопоставлял этой проповеди стремление передовых людей «призвать русский народ к сознанию его гибельного положения». Герцен гневно и саркастически отводит обвинения в «недостатке патриотизма», который славянофилы столь охотно предъявляли своим противникам: «Казалось бы... что партия, которая ставит себя под угрозу виселицы, каторги, конфискации имущества, эмиграции, не была лишена ни патриотизма, ни убеждений» (7; 243, 244, 247).

Однако споры 40-х годов в известной степени уже отошли для Герцена за истекшие четыре года в прошлое. Многие вопросы, тогда вызывавшие столь острые дискуссии, вставали теперь перед ним в ином освещении.

В мировоззрении славянофилов существенными казались теперь Герцену такие стороны, на которых раньше не задерживалось его внимание. Он указывает, что славянофилы «нам постоянно показывали ужасную картину европейского разложения, глубокой апатии народов, бессилия революций, приближения мрачного, рокового кризиса». Но Герцен при этом отмечает: «Все это было верно, но они забыли назвать тех, от кого узнали эти истины... Европа не дожидалась ни поэзии Хомякова, ни прозы редакторов «Москвитянина», чтобы понять, что она накануне катаклизма... Сознание упадка современного общества — это социализм... Сен-симонизм был известен в России лет за десять до того, как заговорили о славянофилах» (7; 241, 242).

Но Герцен не мог до конца последовательно вскрыть «логику реакции», логику реакционной славянофильской утопии. Опираясь на черты внешнего сходства между

критикой буржуазного общества у славянофилов и у социалистов-утопистов, он делает вывод, что социалистический идеал близок славянофилам. Правда, Герцен критикует славянофильское учение о сельской общине, указывает, что «община не спасла крестьянина от закрепощения; далекие от мысли отрицать значение общины, мы дрожим за нее, ибо, по сути дела, нет ничего устойчивого без свободы личности» (7, 242). Этим самым Герцен как бы устанавливал реальную грань, отделявшую реакционную помещичью утопию славянофилов от народнической демократической утопии, представителем которой он выступал сам в воззрениях на сельскую общину. Но Герцен не видел тех классовых позиций, которые определяли собою эту грань, и потому считал возможным найти в славянофилах союзников себе. Заканчивая книгу, он называл свои споры со славянофилами «семейной ссорой» и ставил многозначительный вопрос: «Социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря, — разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку» (7, 248).

Такое ошибочное допущение, игравшее в книге лишь частную роль, существенно, как мы увидим, для понимания дальнейших отношений Герцена и славянофилов.

Книжка Герцена произвела чрезвычайно большое впечатление в Западной Европе, впервые дав ясное представление о русском освободительном движении. Крайне существенно, что Ф. Энгельс, относясь резко отрицательно к некоторым тенденциям герценовской работы, которые могли быть поняты в духе «демократического панславизма», вместе с тем, по-видимому, именно на основе «О развитии революционных идей в России», сделал в письме к И. Вейдемейеру от 12 апреля 1853 года вывод о возможности «дворянско-буржуазной революции в Петербурге с последующей гражданской войной внутри страны» [1].

О степени влияния этого произведения Герцена на западноевропейского читателя можно судить по тому, что французский мелкобуржуазный историк Мишле под влиянием герценовской книги коренным образом изме-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. первое, т. XXV, стр. 184.

Нил свой взгляд на роль и значение русских передовых людей в жизни их родины [1]. Он должен был признать национальный народный характер их деятельности.

«О развитии революционных идей в России» Мишле назвал «героической книгой великого русского патриота» [2].

Он ставил также очень высоко французский стиль Герцена, что нашло свое подтверждение и в других отзывах французской печати [3]. Таким образом, и содержанием и формой своих выступлений на французском языке Герцен способствовал международному идейному сотрудничеству.

В Англии книгу «О развитии революционных идей в России» пропагандировал чартистский публицист и поэт В. Линтон, трудившийся над ее переводом и использовавший содержавшийся в ней материал (а также, вероятно, и сведения, полученные от автора лично) для статей о декабристах [4].

Весьма значительным было влияние герценовской книги на демократию Германии. К тому же немецкие журнальные публикации ее содержат ряд существенных вариантов, отличных от авторизованного текста (они впервые были исследованы Г. Цигенгейстом) [5], хотя и невозможно установить, в какой мере эти варианты были одобрены Герценом.

Герцен имел все основания гордиться успехом своей книжки на Западе. Но радостное сознание это было омрачено. С горечью должен был он сказать, что она «принесла ему упреки только из России» (VII, 205). Действительно, Герцену пришлось услышать обидные и тяжкие обвинения со стороны москвичей, и в том числе, что ему было особенно больно, от Грановского. Сохра-

---

[1] См. J. Michelet, Legendes démocratiques du Nord, 1854, стр. 109, 123, 230.

[2] Подробнее об отношении Мишле к книге Герцена см. комментарии Л. Я. Гинзбург к седьмому тому Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

[3] См. заметку Л. Р. Ланского в «Литературной газете», 1955, № 114.

[4] См. заметку Ю. В. Ковалева «Статья о декабристах в чартистском журнале» («Вопросы истории», 1954, № 12, стр. 119—125) и его комментарии к седьмому тому Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

[5] См. «Vorträge auf der Berliner Slawistentagung», Berlin, 1956.

нившееся письмо последнего характеризует возникшую в московском дружеском кругу оппозицию, направленную против исторического начинания Герцена рассказать миру о передовой России.

Но прежде всего следует сказать, что книга «О развитии революционных идей в России» в 1851 году, по-видимому, не дошла до московской интеллигенции. Грановский и другие судили о ней по слухам, по рассказам людей, читавших ее, а такими людьми могли быть, по выражению Грановского, лишь «5 или 6 аристократов», которые имели возможность читать все, что выходило из печати за границей.

В частности, Грановскому о книге Герцена рассказал такой лицемерный царедворец, как Блудов, во времена Александра I щеголявший своим либерализмом, а затем составитель обвинительного акта против декабристов. Царские чиновники, и Блудов в том числе, уже чувствовали опасность, которую для самодержавия представляли произведения Герцена. Недаром книжки «Отечественных записок» 40-х годов с его статьями скупались тогда и сжигались по распоряжению правительства. Та информация, которую Блудов сообщил Грановскому, была, разумеется, клеветнической. Блудов, как это можно понять из письма Грановского, воспользовался книгой Герцена для того, чтобы доказывать бесплодность русской эмиграции и в особенности ее литературной деятельности. Более того, Блудов, очевидно, намекал на опасные последствия, которые могло иметь для друзей Герцена продолжение такой деятельности. Прикидываясь их покровителем, Блудов исподтишка провоцировал их на разрыв с Герценом.

В письме к Герцену Грановский называет его книгу «собственным признанием обвиняемых» и сетует, что она лишь вызвала «новые строгие меры и новые стеснения». Грановский приводит затем следующую оценку книги, имеющую, по его мнению, веские основания и принадлежащую человеку, который, по его словам, имеет право на уважение: «Он (то есть Герцен. — *Я. Э.*) ушел в теплый угол и для удовлетворения маленького авторского самолюбия доносит на все, что в России есть образованного и благородного» [1].

---

[1] «Звенья», т. VI, стр. 357.

Как объяснить такое чудовищное непонимание Герцена Грановским? Последним руководил не страх. Страху поддался Боткин, который шипел по углам московских гостиных о «доносике» Герцена [1]. Он и ему подобные смертельно боялись, что Герцен скомпрометирует их в глазах правительства. Либералу Анненкову утверждение Герцена, что Белинский является представителем русского революционного движения, тоже казалось опасным. Письмо же Грановского проникнуто искренней болью за друга. Но Грановский не обладал герценовской верой в великое будущее русского революционного движения, и потому он прислушивался к клевете Боткина и даже повторял ее. Он так заключил свое письмо: «Не могу более писать. Сердце сжато и голова горит при мысли, что *ты*, а не другой, сделал это... Никто столько не повредил нам, как ты. Да! Не благие плоды принесла до сих пор русская эмиграция... А знаешь ли, как любила тебя русская молодежь, как уважала тебя за то, что написано тобою по-русски. И все это должно погибнуть под влиянием жалкой брошюры» [2]. Грановский не понимал, какие замечательные перспективы открывает эмиграция перед русским революционером. Ему казалось, что, выпуская свою книгу на иностранных языках, Герцен тем самым отказывался от литературной деятельности на родном языке, совершал моральное самоубийство. По-видимому, Грановский совершенно не мог себе представить, что за границей возможно выпускать печатные издания на русском языке. Эту ошибку разделял с ним и Чаадаев. В письме к Герцену он советовал ему: «Хорошо бы было, если б вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его так, чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце... Тяжело, однако ж, будет вам расстаться с родным словом, на котором вы так жизненно выражались» [3].

Но, как мы знаем, Герцен и не думал расставаться с родным словом. Наоборот, он искал средств к тому, чтобы поставить его на службу революционному делу.

---

[1] «Былое», 1922, № 18, стр. 14. Из воспоминаний П. В. Анненкова.

[2] «Звенья», т. VI, стр. 358.

[3] «Полярная звезда», книжка пятая, стр. 221.

Легко представить себе, какое скорбное чувство должно было вызвать у Герцена письмо Грановского. Ведь Герцен наедине со своей совестью тщательно взвесил вопрос, следует ли ему за границей писать о русских передовых людях, даже прямо не называя их (по имени названы были лишь умершие, в первую очередь Белинский). Но он решился на это, придя к выводу, что то, о чем не смеешь говорить, «существует лишь наполовину» (7, 214). Теперь он видел, что столь близкий ему по сердцу и духу человек не понимает его, внимает гнусным нашептываниям врагов. Но он был непоколебим.

Однако отношение Грановского и тем более бывших московских приятелей Герцена к его новой книге ни в коем случае не позволяет сделать вывода о том, что она не оказала влияния на современников. Она не могла не вызвать к себе напряженного внимания. Впервые во всеуслышание было рассказано о тех идейных исканиях и интересах, которыми в России можно было делиться лишь в тесном дружеском кругу. Некоторых книжка Герцена задела, другие увидели в ней признание своей деятельности.

Остро переживал обвинение в политическом отступничестве Гоголь, тем более что он хотя и не был знаком с Герценом, но, судя по доходившим до него отзывам, считал его человеком выдающимся и высокого благородства. Чаадаев же почувствовал, что для него страницы книги «О развитии революционных идей» — путь в историю русской мысли.

Грановский позднее понял тяжесть ошибки, допущенной им в отношении человека, которого он так любил и так высоко ставил. В августе 1853 года он писал Герцену: «Если письмо, написанное мною по поводу книги твоей, тебя оскорбило, прости меня. Оно вылилось в минуту очень горькую под влиянием толков и сплетней о книге, которой в то время я еще не читал. С другой стороны, ты многое забыл о России и, естественным образом, должен смотреть на многое не теми глазами, какими смотрим мы и смотрел бы ты сам, если бы остался с нами. Даль значительно изменяет предметы. Во всяком случае, письмо мое было написано не с целью оскорбить тебя, — такая мысль мне никогда не приходила в голову. Я просто хотел заставить тебя подумать об осторожности. Она у нас очень нужна».

Из этого документа нельзя не сделать того вывода, что Грановский, прочитав «О развитии революционных идей в России», существенным образом изменил свое мнение о книге, хотя и сохранил некоторые возражения против нее. Но он касается в этом письме и гораздо более важного вопроса. Грановский признает, что Герцен в своей жизни и деятельности нашел свой путь, что он идет вперед: «Много горя пережил ты в эти годы. Оно не сломило тебя. Легче было бы нести его с друзьями, но у тебя достаточно сил, чтобы справиться с жизнью одному»[1].

Действительно, годы, протекшие со времени опубликования книги Герцена, доказали это неопровержимо. Письмо Грановского застало Герцена уже за практической работой по организации Вольной русской типографии.

В дальнейшем книга Герцена получила распространение и известность среди революционно настроенной интеллигенции. Ее распространял в 1857 году среди людей, идейно ему близких, Добролюбов. В 1861 году студенческий революционный кружок П. Э. Аргиропуло — П. Г. Заичневского выпустил в Москве ее литографированное издание.

XI. «ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

Раньше чем перейти к периоду расцвета революционной и литературной деятельности Герцена, следует остановиться еще на двух его беллетристических произведениях, органически связанных с эпохой революции 1848 года, — повестях «Долг прежде всего» и «Поврежденный».

Впоследствии, уже в Лондоне, Герцен издал эти повести, вместе с небольшим наброском «Мимоездом», в виде сборника, дав последнему заглавие «Прерванные рассказы».

Повесть «Долг прежде всего» своим построением напоминает «Кто виноват?». Она открывается рядом биографий, рисующих галерею типов помещичьей дворянской России. Здесь и екатерининский барин-самодур

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 100.

Лев Степанович Столыгин, на широкую ногу живший и хозяйничавший в своем имении; и его брат Степан, избравший, по словам Герцена, путь «буколико-эротического помещика» (6, 268), и сын последнего Михаил Степанович Столыгин, у которого европейским лоском и едкостью ума покрыты жестокость, бездушие, повадки хищного приобретателя. Немногими чертами Герцен обрисовал и жену Михаила Степановича, которую любовь к сыну и стремление защитить его от произвола мужа превратили из робкой и запуганной девушки в женщину сильного и решительного характера. На этом, как указывал Герцен, и заканчивалась первая часть повести, которая в начале 1848 года была послана в Петербург, но осталась ненапечатанной.

В совокупности образы эти создавали резко очерченную картину крепостнического быта, показывая, что в обстановке последнего помещики, даже не отличавшиеся какой-либо особой жестокостью, губили зависящих от них людей, уродовали их жизнь как бы мимоходом, случайно и все же непоправимо. Повесть проникнута ненавистью ко всему крепостническому укладу, замаскированной, цензуры ради, легким иронически-шутливым тоном рассказчика.

Закончив первую часть повести, Герцен лишь подошел к основной ее теме и главному герою — Анатолию Михайловичу Столыгину. Герцен пишет: «Не находя силы продолжать повесть, я расскажу вам ее план» (6, 297). Изложение неосуществленного плана относится к 1851 году. Эта заключительная часть повести лишена художественной ценности, но охарактеризованный в ней замысел представляет значительный интерес, так как освещает некоторые существенные проблемы, волновавшие тогда Герцена. С другой стороны, такая своеобразная замена самой повести изложением ее сюжета характерна для отмеченного нами в связи с «Кто виноват?» взгляда Герцена на повесть как на «раму» для биографий, наблюдений и размышлений. Использовав таким образом эту «раму», Герцен затем терял к ней интерес. Беллетристические сюжеты как таковые никогда не привлекали его.

Анатоль Столыгин должен был стать разновидностью типа «лишних людей». В нем Герцен хотел представить человека, «полного сил, энергии, способно-

стей» (6, 297), но не умеющего найти им приложения, не умеющего управлять ими, пугающегося собственных стремлений и вступающего с ними в борьбу, для того чтобы подчинить их «долгу» (отсюда и название повести). Свой долг Столыгин видит сначала в повиновении ненавистному отцу, затем в браке, который приносит несчастье ему и жене. Чем дальше, тем все более страстными становятся его вспышки протеста против той жизни, которой он живет. Но именно поэтому сам он все более жестоко подавляет в себе этот протест, накладывая на себя суровые и морально непосильные вериги долга.

Будучи офицером, Столыгин оказывается в Польше, в период жестокого усмирения польского восстания 1831 года, и здесь чувствует решительную невозможность продолжать служить палачам польского народа. Вслед за тем Герцен сталкивает Анатоля за границей с одним из польских беглецов, участников восстания, и здесь между ними происходит объяснение, заставляющее поляка сказать: «Наконец-то начинается казнь наших врагов, стан их распадается, и если русский офицер так говорит, как вы, еще не все погибло!» (6, 308). В такой коллизии отразилась становившаяся все более дорогой Герцену идея братского союза русской и польской передовой интеллигенции. Вместе с тем Герцен касается тех черт польской интеллигенции, которые объясняют, «почему ультрамонтизм, мессианизм, панславизм, бонапартизм» (6, 425) оказывали на значительные слои ее существенное влияние.

Дальнейшую судьбу Столыгина Герцен представлял себе следующим образом. Столыгин поддается влиянию религиозных воззрений своего польского друга и пытается найти жизненную опору в католицизме, но, как указывает Герцен, Анатоль пошел в католицизм с отчаяния, он пытался в монастыре иезуитов найти то удовлетворение исполненным долгом, которое избавило бы его от всех сомнений и метаний. Религия, однако, не спасла Столыгина. «Скептицизм снова проснулся» (6, 310), и Столыгин приходит к сознанию «страшной ошибки». Но сознание пришло слишком поздно, ибо он уже приблизился к концу своего жизненного пути.

Такое представление Герцена о будущем Столыгина, несомненно, было навеяно судьбой московского профес-

сора В. С. Печерина. Отчаявшись в том, что «грубо-животная жизнь» крепостнической России сумеет измениться к лучшему, разуверившись в учениях утопических социалистов и в перспективах революционного движения в Западной Европе, Печерин, покинув родину, вступает в один католический орден и становится выдающимся религиозным проповедником. Герцен, разумеется, знал о судьбе Печерина, а в 1853 году встретился с ним и лично.

Дальнейший путь Печерина показал, что Герцен еще в 1851 году прозорливо предвидел логику духовного развития русского интеллигента той поры, с отчаяния ушедшего в религию. В конце концов Печерин разочаровался в религии, но не сумел найти нового пути.

В повести «Долг прежде всего» Герцен выступает против служения «долгу», понимая под последним насильственное, уродующее личность самоподчинение ложно понятым обязанностям. Он мечтает о цельном человеке, для которого сознание долга и глубокие, страстные стремления его натуры нераздельны. Для такого человека долг — не губительная тяжесть, а радостное и полное ясного сознания исполнение того, к чему влечет его сердце и разум. Для него, как писал Герцен в «Новых вариациях на старые темы», исполнение долга «не жертва, не самоотвержение, а... естественный образ действия» (2, 94). Им владеет «высокий эгоизм», и самопожертвование во имя передовых общественных интересов является для него истинным счастьем.

Как мы видели, самого Герцена в России мучительно беспокоило опасение оказаться «лишним человеком». Сила и напряженность таких опасений как раз и подчеркивает величие и размах целей, поставленных себе Герценом, присущую ему решительную неудовлетворенность тем, что ему удалось сделать до отъезда за границу. В повести «Долг прежде всего» Герцен говорит еще о «поколении Онегиных, Чацких и нас всех» (6, 309). Но чем уверенней он находит практические пути к осуществлению поставленных себе общественно-политических целей, тем все дальше уходит он от этого поколения и выступает как революционер и продолжатель дела декабристов.

За границей Столыгин нашел лишь религию и новое разочарование. Герцен же нашел дорогу революционной борьбы. У него неразрывно слились осознанный «долг» и глубочайшие влечения сердца. Теперь его мысль все более приобретает ту силу и неотразимость, которыми, по словам Щедрина, способна обладать лишь «мысль, сделавшаяся страстною, мысль, доведенная до энтузиазма». Она-то и есть «та вулканическая сила, которая из сокровенных недр толпы выбрасывает исторических деятелей... Да, только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях!..»[1]

XII. «ПОВРЕЖДЕННЫЙ»

Повесть «Поврежденный» (1851), с другой стороны, освещает жизненный и духовный опыт Герцена. Столыгин «поврежден» русской жизнью, в нем сказались пороки дворянской интеллигенции, далекой от народа. Страдания Евгения Николаевича — «поврежденного» — связаны, как мы увидим, с теми же корнями, но в них отразились и уроки событий западноевропейской жизни, которые самого Герцена привели к духовному краху.

Вновь, вслед за «Доктором Круповым» и «С того берега», Герцен выводит столь привлекавший его образ скептика и таким путем оценивает собственные разочарования и сомнения.

Повесть представляет собою рассказ Герцена о встрече в Ницце с двумя путешественниками — нервнобольным Евгением Николаевичем и сопутствующим ему веселым, беззаботным и поверхностным в своих суждениях о жизни и людях московским лекарем, старым знакомцем рассказчика.

Таким образом, Герцен на этот раз изображает врача не скептиком, а представителем неглубокого, бездумного оптимизма. Это был человек, усердно занимавшийся наукой, «никогда не ломая себе головы ни над одним вопросом, который не был разрешен другими, но отлично знавший все разрешенные вопросы... Он... при-

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. III, Гослитиздат, 1934, стр. 50, 55.

надлежал к числу тех светлых, практических умов — умов подкожных, так сказать, которые дальше рассудочных категорий и общепринятых мнений не только не идут, но и не могут идти» (7; 367, 373).

В лице этого бывшего московского прозектора Герцен иронически характеризует ограниченный эмпиризм с его банальными, ходячими мнениями, с его неспособностью даже задуматься над вопросами, поставленными перед человечеством все более усложняющимся общественным развитием. В этом образе отразилась и та критика, которой Герцен подвергал, как мы видели, ограниченность «медицинского», то есть естественнонаучного, вульгарного материализма.

Евгений Николаевич выше своего спутника именно тем, что для него «нерешенные вопросы», то есть прежде всего вопросы, поставленные историческим развитием, вопросы о будущности человечества, являются наиболее острыми. Он привлекает Герцена «независимою отвагой своего больного ума» (7, 371).

В книге «С того берега» Герцен сам гордился тем, что не пожертвовал «отвагой знания» ради дешевых иллюзий и самоутешений. Но в «Поврежденном» этой отвагой владеет больной, надломленный ум. По мнению «поврежденного», «земной шар — или неудавшаяся планета, или больная». «История сгубит человека», — утверждает он. «Полно строить и перестроивать вавилонскую башню общественного устройства». Политическая, социальная борьба за светлое будущее человечества кажется ему бессмысленной. Он призывает к жизни, лишенной стремлений и порывов, дарующей человеку бездумное существование в объятиях природы: «К природе... к природе, на покой» (7; 376—377).

Этот конечный вывод «поврежденного», надломленного лишнего человека был органически чужд Герцену, как и русским передовым людям вообще. Условия жизни в России приучали лучших людей страны к неустанной, трудной и героической работе, к убеждению в том, что только такая деятельность способна принести лучшее будущее родному народу.

Герцен показывает в повести, что отчаяние «поврежденного» связано и с личной драмой. Драма эта имела социальные корни. Здесь сказалась пропасть, отделявшая барина, дворянского интеллигента, от люби-

мой им малоразвитой крепостной женщины. Ульяна искренне любила Евгения Николаевича, но не могла себе представить, что для него, барина, она, крепостная раба, «в самом деле что-нибудь значит» (7, 384), и потому обманывала его не задумываясь. Очень глубоко и тонко показывает Герцен, как губительно отзывается на людях и их отношениях отравленная постоянным унижением человеческого достоинства атмосфера крепостного права.

Герцен писал «Поврежденного» в самом конце 1851 года, пережив острейший момент своей семейной драмы. Он выразил в этой повести сознание величайшей опасности, перед которой оказывается человек, поставивший всю ставку своей жизни на личные отношения, на веру в одного человека.

В образе «поврежденного», как и в докторе из «Consolatio», Герцен воплотил в нарочито заостренной, почти гротескной форме лишь некоторые стороны своих взглядов и настроений. Герцен, по его словам, мог иной раз «артистически наслаждаться» разговорами Евгения Николаевича (7, 373), но в целом этот образ мыслей вызывал с его стороны критику и опровержение. Глубокая печаль самого Герцена, проникнутая сосредоточенной и крепнущей мыслью, резко отличалась от бесплодного и озлобленного отчаяния Евгения Николаевича.

Впоследствии, в седьмом письме «Концов и начал» (1862), Герцен еще более резко подчеркнул свое критическое отношение к Евгению Николаевичу и к его пессимизму. Он рассказывает здесь о новой своей встрече с «поврежденным» и его спутником. Отчаяние Евгения Николаевича еще более прогрессировало за эти десять лет. Он пришел к выводу, что люди слишком медленно «вылечиваются от истории», то есть недостаточно быстро идут к «покою», который он проповедовал. Он считает бессмысленным новый подъем итальянского национально-освободительного движения, свидетелем которого он стал, и хочет бежать в Америку, в Техас. По его словам, «люди... несутся в болото», он считает безнадежными и потерпевшими окончательное фиаско «лучшие мечты» — «святейшие стремления» передовой мысли (16; 189, 191), и смеется над «кротовой работой» человечества. Герцен же, кончая это письмо «Концов и начал», говорит, что «надобно набрать... свежие силы

на кротовую работу — лапы чешутся» (16, 192), на постоянную, неутомимую, но пока еще подземную, «кротовую» работу русского революционера, не уверенного в том, что он увидит плоды своего труда.

Любопытно, что еще в 1853 году, за девять лет до написания «Концов и начал», когда Вольная русская типография в Лондоне только начинала свою деятельность, Герцен в частном письме говорит о своей «кротовой работе» (VII, 405) по печатанию и распространению русских изданий. Тем самым особенно очевидной становится противоположность точек зрения «поврежденного» и самого Герцена.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЕРЦЕН В ЛОНДОНЕ.— СОЗДАНИЕ ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ПЕЧАТИ

(1852—1860)

I. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛОНДОНЕ.— ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ТИПОГРАФИИ.— ЗАМЫСЕЛ «БЫЛОГО И ДУМ»

(1852—1853)

В августе 1852 года Герцен приехал в Лондон. Он предполагал прожить здесь недолго. Цель его поездки состояла в том, чтобы организовать общественный суд международной демократии над Гервегом. Именно Лондон был тогда центром международной эмиграции. Но постепенно Герцен стал убеждаться в неосуществимости поставленной себе цели. Недавнее прошлое предстало в более спокойном, а вместе с тем и более критическом свете. Стали зарождаться новые творческие замыслы. И Герцен приходит к выводу, что раз пути на родину отрезаны, то Лондон представляет собою наиболее благоприятное место для практического претворения в жизнь задуманного.

Лондон того времени производил огромное впечатление на каждого глубокого наблюдателя. В ощущении исторической значительности этого города сходились столь различные люди, как Энгельс, Герцен, Достоевский, Гейне. Если Париж до конца 40-х годов был центром политической борьбы в Западной Европе, то Лондон 50-х годов выступил как воплощение экономической мощи и жгучих социальных противоречий буржуазного мира.

Как писал Энгельс в том же 1852 году, в котором Герцен впервые увидел Лондон, «только в Англии про-

мышленность достигла таких размеров, что в ней концентрируются интересы всей нации, все условия жизни всех классов»[1]. Англия переживала тогда экономический подъем.

После Парижа, который для Герцена из города великих революционных традиций превратился в возбуждающее презрение и ненависть воплощение буржуазного лицемерия, жестокости и ограниченности, после прекрасной, но бездеятельной Ниццы, после тихой Швейцарии Лондон предстал перед Герценом как город безостановочного движения, упорного труда, практического дела. По сравнению с Парижем и Францией, Лондон и Англия 50-х годов отличались отсутствием полицейских стеснений, свободой митингов, правом убежища, предоставляемого политическим эмигрантам. Здесь обнаженно выступали все противоречия буржуазного развития с его прогрессивными и отрицательными сторонами: научный и технический прогресс и социальное неравенство, богатство немногих, нищета большинства.

И не случайно «суета дел» Лондона, его напряженная жизнь, в обстановке которой надо работать «безостановочно, как локомотив, правильно, как машина», охарактеризована в «Былом и думах» как фон той громадной деятельности, которую Герцен развил здесь, создавая вольную русскую печать.

В лондонском уединении Герцен приступил к созданию своего великого автобиографического произведения.

Первым побуждением к созданию «Былого и дум» было стремление Герцена рассказать о своей борьбе против Гервега, в котором «точно сосредоточилась вся испорченность старого мира». Задачей Герцена было доказать глубокую и принципиальную правоту свою и своей жены как представителей «нового общества». «Я реабилитирую эту женщину»,— писал Герцен в сентябре 1852 года Прудону (VII, 136, 138).

Но этот личный импульс вызвал к жизни гораздо более могучий замысел именно потому, что «частное» и «общее», автобиография и «биография человечества» были для Герцена неразрывны.

В памяти Герцена давно копились и росли картины

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 8, стр. 220.

и образы. Нужен был лишь внешний толчок, для того чтобы этот мир, осмысленный творческим воображением, приобрел «эстетическую реальность». Когда Герцен, мысленно обосновывая свое выступление против Гервега, перебирал прошлое, эти образы увлекли его в сторону от первоначальной узкой цели и внезапно открыли перед ним широкие дали воспоминаний и художественного творчества. В письме от 5 ноября 1852 года к Марии Каспаровне Рейхель, верному и постоянному другу Герцена и его семьи, он признавался: «У меня явилось френетическое желание написать мемуар: я начал его по-русски... но меня увлекло в такую даль, что я боюсь; с одной стороны, жаль упустить эти воскреснувшие образы с такой подробностью, что другой раз их не поймать. Иван Алексеевич (отец.— *Я. Э.*), княгиня (Хованская, у которой воспитывалась Н. А. Захарьина.— *Я. Э.*)... Васильевское и я ребенком в этом странном мире, патриархальном и вольтеровском. Но как писать: Dichtung und Wahrheit или мемуар о своем деле? Я целый день сижу и думаю. Не лучше ли начать с отъезда из Москвы в чужие края? Я и это пробовал. Положение русского революционера относительно басурман европейских стоит тоже отделать,— об этом никто еще не думал» (VII, 157).

По сути дела Герцен должен был выбирать между задачей написать «мемуар о своем деле», то есть обращение к общественному суду международной демократии, используя, естественно, автобиографический материал, но неизбежно подчиняя изложение узкой практической цели, и стремлением создать большое художественное автобиографическое произведение.

Победило последнее. Теперь для Герцена не существовало более преград, которые ранее тормозили осуществление его автобиографического замысла. Когда Герцен в 1852—1853 годах в Лондоне работал над первыми частями «Былого и дум» («Детская и университет» и «Тюрьма и ссылка»), он мог уже рассказать о себе как о «русском революционере», враге самодержавия и крепостничества, о человеке, глубоко пережившем за границей «страшную историю последних лет» (8, 397), страшную и в общественной и в личной жизни. Сам автор становился своеобразным «положительным героем» «Былого и дум».

Тем самым «Былое и думы» должны были стать и действительно стали одним из важнейших средств идейной борьбы Герцена.

Но именно поэтому Герцен чрезвычайно осторожно и осмотрительно подходил к публикации «Былого и дум».

Сознательно подчиняя все свои силы и действия задачам революционной борьбы против самодержавия и крепостничества, Герцен вновь и вновь критически взвешивал возможный результат опубликования столь драгоценной ему и вместе с тем столь «личной» книги. Еще не потеряв из виду первоначально узкой цели своего «мемуара», Герцен считал вероятным, что его автобиографическая книга представит интерес лишь для небольшого дружеского круга и, во всяком случае, едва ли обратит на себя внимание иностранного читателя. По поводу «Былого и дум» Герцен писал московским друзьям: «Исповедь моя нужна мне, вам она нужна, она нужна памяти, святой для меня, близкой для вас, она нужна моим детям» (8, 397). В 1852 году Герцен еще не решался назвать свою автобиографию «отражением истории в человеке», как он это сделает в 1866 году.

И Герцен откладывает печатание первых, написанных в 1852—1853 годах, частей «Былого и дум». Он это делает не потому только, что в его распоряжении еще не было русского типографского станка. Объявление об открытии в Лондоне Вольной русской типографии было разослано в феврале 1853 года, а предисловие к первому русскому изданию «Тюрьмы и ссылки», ставшей первой опубликованной частью «Былого и дум», датировано 1 мая 1854 года. По-видимому, книга эта появилась из печати во второй половине 1854 года. Важно при этом отметить, что даже в 1854 году, обращаясь притом лишь к русскому читателю, Герцен счел невозможным начать публикацию «Былого и дум» с первой части — «Детской и университета», все еще опасаясь ее слишком личного, интимного характера. «Тюрьма и ссылка» же с ее картинами нравов московской полиции и провинциальной бюрократии должна была, по мысли Герцена, восприниматься прежде всего как острый политический памфлет, с наибольшей силой подчеркивающий революционное прошлое автора, его

столкновение с произволом царизма. Вместе с тем эта часть «Былого и дум» рассказывала о русских передовых людях, о деятелях русской культуры, подвергающихся гонению со стороны самодержавия. В частности, Герцен выполнил свое давнее обещание рассказать Европе о своем вятском друге Витберге.

В ближайшие годы после издания этой книги лишь небольшое количество экземпляров ее смогло проникнуть в Россию, но она сразу завоевала признание на Западе.

«Чопорнейший», по выражению Герцена, французский журнал «Revue de deux Mondes» дал полкниги в переводе, английский журнал «Атеней» поместил отрывки. В течение года вышли немецкий и английский переводы, позднее — датский и французский.

В 1855 году в иностранной, особенно английской, печати появился целый ряд критических статей и заметок об этой книге. «Таймс» назвал Герцена «главою общества изгнанников, известным на своей родине как философ и публицист». «Атеней» охарактеризовал «Тюрьму и ссылку» как «самое интересное из всех существующих сочинений о России» (XIV, 804).

Консервативная лондонская газета «Morning Post» на основании «Тюрьмы и ссылки» упрекала Герцена в недостатке... патриотизма! Это было, разумеется, лицемерием. Газета тем самым защищала не Россию, а Николая I и английскую буржуазную олигархию. Герцен выступал против правительства Николая I, а не против своей родины.

Успех книги убедил Герцена, что столь дорогое ему произведение, в точном смысле слова являющееся куском его жизни, правильно воспринято читателем. «Тюрьма и ссылка» явилась средством русской революционной пропаганды; впервые в этой книге перед европейским читателем вставал живой и обаятельный образ русского передового человека, проникнутого горячей любовью к родному народу и жгучей ненавистью к господствовавшему в России самодержавно-крепостническому строю.

В связи с той ролью, которую Герцен в 50-х годах стал играть в духовном общении России и прогрессивных сил западноевропейских народов, показательна та характеристика, которую Искандеру в одной из своих

статей дала Тереза Пульская, видная деятельница венгерской эмиграции. Она писала о Герцене как «о выдающемся русском эмигранте, стремящемся сочетать немецкую философию, французскую политическую теорию и английский практический здравый смысл со своеобразием своей русской натуры» [1].

Любопытно, что эти слова были воспроизведены в предисловии издателей, предпосланном английскому переводу второй и четвертой частей «Былого и дум» [2].

Успех «Тюрьмы и ссылки», писал впоследствии Герцен, «увлек меня, и мне стало труднее не печатать, нежели печатать». Успех явился стимулом для продолжения работы над «Былым и думами» и для публикации уже написанных частей.

В 1856 году, уже развив свою издательскую деятельность, Герцен печатает и первую часть своей автобиографии. История создания и публикации «Былого и дум» неразрывно связана, таким образом, с деятельностью Герцена как организатора вольной русской печати.

Сначала Герцен возлагал надежду на постоянную связь с московскими друзьями. Если не прямо, то через посредство жившей в Париже и поддерживавшей отношения с москвичами М. К. Рейхель он надеялся получить от Грановского, Кетчера и других материалы, необходимые для пропаганды «эмансипации мужиков» (уничтожения крепостного права), а также запрещенные цензурой стихи Пушкина, Рылеева, Полежаева и других русских поэтов.

Герцену первое время казалось совершенно невозможным и нереальным работать без помощи московских друзей.

Но вскоре он убедился, что москвичи остерегаются каких-либо письменных сношений с ним. Это было время, когда, по словам Герцена, «Россия была одним обширным острогом, к обмерзшим дверям которого был привален Николай» (16, 8). Однако Герцен не оправдывал томившихся в этом остроге узников, ничем не пытавшихся содействовать своему освобождению. О мос-

---

[1] Цит. по комментарию к восьмому тому Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР, стр. 463.

[2] См. комментарии Л. Я. Гинзбург к восьмому тому Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР, стр. 462.

ковских друзьях он отзывался в письме от 5 февраля 1853 года: «Их трусость заставляет меня краснеть перед поляками здесь» (VII, 178). «Неужели вы верите, что москвичи что-нибудь делают? — писал он Рейхель 3 марта 1853 года.— Что делают К<етче>р и все, кроме Гр<ановского>? — Пребывают в благородном негодовании. Это мало» (VII, 192). Даже небольшая денежная помощь делу типографии была бы для Герцена доказательством того, что голос его услышан, что он не одинок. Но прежде всего, разумеется, он ждал статей и материалов.

В письме Герцена обращает на себя внимание то, что он исключает Грановского из круга обвиняемых им за бездействие друзей. Герцен всегда чрезвычайно высоко ставил идейную, политическую значимость научной пропаганды Грановского. Не мог также Герцен обвинить Огарева, жившего не в Москве, а в своих имениях. Его жизнь складывалась в то время сложно и трудно. Из друга и наставника Натальи Алексеевны Тучковой он стал в 1849 году ее мужем. Не получая развода от своей находившейся за границей первой жены, Огарев не имел возможности оформить этот брак. Грановский и Кетчер резко критиковали Огарева за сближение с Тучковой, повлекшее за собою крупные неприятности для ряда близких ему людей. По доносу отца его первой жены Огарев и А. А. Тучков были арестованы — им было предъявлено вздорное обвинение в организации коммунистической секты,— и хотя они вскоре были освобождены, тем не менее оставались под надзором, причем Огарев получил специальное предупреждение не поддерживать отношений со своим другом-эмигрантом. Герцен глубоко сочувствовал своему другу и защищал его от нападок москвичей.

Несмотря на молчание друзей, Герцен вступает на путь печатной связи с Россией. «Что я не имею никаких сношений, это — стыд, а вот, чтоб доказать возможность сношений, я решился печатать по-русски, и книги будут в южной России» (VII, 182),— заявляет Герцен 8 февраля в письме к М. К. Рейхель.

Двадцать первым февраля 1853 года датировано литографированное объявление Герцена об организации вольного русского книгопечатания в Лондоне, составленное в форме обращения к «братьям на Руси». Гер-

цен начинает с указания на то, что «время печатать по-русски вне России, кажется нам, пришло,— ...дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться инде...» (12, 62).

Герцен был полностью прав. Его начинание выражало национальную, народную потребность.

Герцен рассматривал свободное, «открытое слово» как «переход к действию». Он заявлял: «Я первый снимаю с себя вериги чужого языка и снова принимаюсь за родную речь» (12, 62),— и прямо отвечал при этом на самый трудный вопрос: «Но для кого печатать по-русски за границею, как могут расходиться в России запрещенные книги?» Подлинный революционер, Герцен видит в революционной активности единственный путь к преодолению препон и преград, поставленных царизмом. «Если мы все будем сидеть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием, если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти, тогда долго не придут еще для России светлые дни. Ничего не делается само собою, без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека — страшно велика». Герцен ссылается на пример польской эмиграции, постоянно рассылающей свои издания, прокламации, письма по польским губерниям царской России, «минуя цепи жандармов и сети доносчиков». Он обращался ко «всем свободно мыслящим русским», обещая, что «все писанное в духе свободы будет напечатано». «Быть вашим органом, вашей свободной, бесцензурной речью — вся моя цель» (12; 62, 63, 64).

В своем обращении он сообщает, что с 1 мая 1853 года типография будет открыта.

Герцен был твердо убежден в том, что «основание *русской типографии* в Лондоне является делом наиболее практически революционным, какое русский может сегодня предпринять в ожидании исполнения иных, лучших дел» (12, 79).

В обращении «Русскому воинству в Польше» он говорит, что «слово по той мере только и важно, по какой оно ведет к делу» (12, 204). Он стремился к «торжественному ликованию победы» революции в России (12,

204). Путь к этой победе он видел в революционной пропаганде, постепенно приобретавшей все большее практическое революционно-организующее значение.

Герцен предугадал, что распространение вольной печати должно привести к созданию конспиративных связей, к вербовке новых революционных сил: «Вся задача состоит в том, чтоб увлечь людей в постоянные сношения» (VII, 205). Он с энтузиазмом окунулся в практическую организацию этого большого дела, идею которого он так долго вынашивал. Столь быстрое практическое осуществление замысла стало возможным благодаря сношениям Герцена с деятелями польской демократической эмиграции. Еще раньше он сделал пожертвование на организацию польской вольной типографии в Лондоне. В беседе с поляками выяснилось, что у владельца одной словолитни в Париже имеется русский типографский шрифт, отлитый по заказу из России и невостребованный. Шрифт этот был выписан, и тем самым основное затруднение было преодолено. Разумеется, дело потребовало значительных средств, на затрату которых Герцен пошел с радостью. Через М. К. Рейхель он пытался побудить и некоторых находившихся тогда в Париже русских помочь материально его начинанию. Герцен указывал, что «влияние этой помощи было бы чрезвычайно важно (не денежно, а морально)» (VII, 190). Однако эта попытка, по-видимому, не удалась Герцену.

Свой проект создания русской типографии Герцен характеризовал как «последний запрос России; он может не удастся... а мне придется тогда отвернуться и от последней страны. Создать элементы, которых нет, никто не может» (VII, 192).

Если в самом начале 1853 года, остро переживая свое одиночество и тщетно ожидая помощи из России, Герцен порой впадал в отчаяние и опасался, что ему придется отказаться от своего предприятия, даже поговаривал об отъезде в Америку или в Австралию, то уже весной 1853 года такие настроения исчезают вовсе. 6 апреля этого года Герцен пишет Рейхель: «Ни в Америку, ни в Австралию я не поеду. Когда вся жизнь сойдет до самосохранения и на обдуманность, т. е. на нравственную буржуазию, тогда прощай поэзия, прощай удвоенное биение сердца и все прекрасное и энер-

ническое... поймите, что типография есть действие, это событие и событие так оцененное людьми, менее русских привычными к праздной осторожности» (VII, 205).

Я. И. Линков прав, подчеркивая значение того, что уже в 1854 году Вольная русская типография выпустила революционные прокламации, обращенные к солдатам и народу (имеется в виду цитированное обращение к «русскому воинству» в Польше), и прокламации, написанные В. Энгельсоном (см. статью в «Исторических записках», в. 66, изд. АН СССР, 1960, стр. 299 и сл.).

Но Я. И. Линков явно ошибается, видя в этих документах ставку Герцена на крестьянскую революцию (см. статью «Идея крестьянской революции в документах «Земли и воли» 60-х годов» в сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», стр. 266). Это значит утверждать, что после 1854 года Герцен в своем идейном развитии длительное время шел не вперед, а назад. На самом деле Герцен лишь постепенно шел к ставке на революционную активность народа. Что же касается революционной агитации, то, бесспорно, «Колокол» был органом ее с самого своего основания. Но к созданию газеты, способной проводить такую агитацию, Герцен пришел сложным и трудным путем.

В ответ на опасения М. К. Рейхель и одной ее приятельницы, тревожившихся за судьбу друзей, находившихся в России, если они вступят в сношения с ним, Герцен пишет, сравнивая себя с офицером на боевом посту: «Бойтесь, но не давайте же побеждать себя этому чувству. Страх — страшно консервативный принцип... на этом основано все здание реакции. Если б вы обе были женами офицеров, матерями военных, что же, вы и им советовали бы уходить за вагенбург (то есть в обоз.— *Я. Э.*)? Мы чисто военные» (VII, 206).

«Борьба — моя поэзия»,— сказал Герцен несколько позднее, и эти слова не были в его устах фразой. Чем дальше, тем все более целеустремленно Герцен чувствовал себя представителем и продолжателем той «истинной рев<олюционной> традиции русской, той, которая шла от Пест<еля> и Мурав<ьева>, той, что блеснула в петрашевцах» (VII, 225).

В мае 1853 года Вольная русская типография была организована. Наборщиками в ней работали поляки,

плохо знавшие русский язык, чем, кстати сказать, и объясняется большое количество опечаток в герценовских изданиях. Управляющим типографии стал польский эмигрант Людвиг Чернецкий, в дальнейшем постоянный и верный сотрудник Герцена.

Пятнадцатого мая 1853 года в органе польской демократической эмиграции была помещена заметка, посвященная открытию Вольной русской типографии. В заметке этой, в частности, говорилось: «Герцен открывает поле деятельности, самой святой и высокой, своей родине, России, и всей порабощенной Европе... Герцен понял долг русского народа; честь ему! Мы же делаем свое дело. Пришло время показать, что с правительством Николая — никогда, создать братский союз с русским народом против его дьявольского правительства — всегда!» (VII, 188—189).

Одиннадцатого июня лондонская чартистская газета «The Leader» поместила следующую заметку: «С каждым днем Лондон все больше и больше становится мировым центром умственного движения... Знаменитый русский эмигрант г. Герцен (известный на родине больше под псевдонимом «Искандер») только что основал на свой собственный счет русскую типографию» (VII, 242).

В июле 1853 года вышла напечатанная в Вольной русской типографии прокламация, озаглавленная: «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству».

Герцен в этом обращении призывает русское дворянство начать освобождение крестьян от крепостной неволи; с нового Юрьева дня «начнется новая жизнь России, с Юрьева дня начнется наше освобождение».

Герцен указывает, что политическая, социальная необходимость освобождения крестьян назрела: «В деревнях становится неловко. Крестьяне посматривают угрюмо. Дворовые меньше слушаются... Крепостное состояние явным образом надоело мужикам, они только не умеют приняться сообща за дело». Но, бичуя крепостников и заявляя: «Мы рабы,— потому что мы господа... нельзя... говорить о правах человеческих, будучи владельцем человеческих душ» (12; 81, 82),— Герцен обращается именно к дворянству, ибо, будучи дворянским революционером, он продолжает рассматривать среднее дворянство как тот общественный слой, кото-

рый выделяет из себя передовую интеллигенцию: «В вашей среде развилась потребность независимости, стремление к свободе и вся умственная деятельность последнего века. Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которым искупается Россия в глазах других народов и в собственных своих. Из ваших рядов вышли Муравьев и Пестель, Рылеев и Бестужев. Из ваших рядов вышли Пушкин и Лермонтов. Наконец, и мы, оставившие родину для того, чтоб хоть вчуже раздавалась свободная русская речь, вышли из ваших рядов» (12, 80).

Герцен еще не видел, что в России уже формировалось поколение революционеров-разночинцев. Он не сумел с этой точки зрения взглянуть на движение петрашевцев и уяснить себе переходный характер этих кружков и потому писал в обращении: «Если б не юношеская, полная отваги и безрассудства история Петрашевского и его друзей, можно бы было подумать, что вы поладили с Николаем Павловичем и живете с ним душа в душу» (12, 82).

Но уже в этой прокламации Герцен прямо говорит о том, что, если его надежды на дворянство не оправдаются, он обратится к народу, к крестьянским массам непосредственно. «Мы еще верим в вас... вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим для того, чтоб сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им вашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтобы сказать им: «Ну, братцы, к топорам теперь. Не век нам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе; постоимте за святую волю, довольно натешились над нами господа, довольно осквернили дочерей наших, довольно обломали палок об ребра стариков... Ну-тка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз!» (12, 85).

Еще в 1850 году, в письме к Маццини, Герцен писал: «Я не верю ни в какую революцию в России, кроме крестьянской войны» (VI, 144). Однако будущее крестьянское восстание представлялось ему тогда то ли в виде религиозной войны крестьян-раскольников, то ли в виде новой пугачевщины.

Обращаясь к русскому дворянству и призывая его

приступить к упразднению крепостного права, Герцен предупреждал: «Нам кажется умнее, *расчетливее* уступить, нежели ждать взрыва» (12, 83).

Герцен обращается к дворянству, чтобы избавить, как он думает, страну от разрушительных и кровавых потрясений. «Крещение кровью — великое дело, но мы не разделяем свирепой веры, что всякое освобождение, всякий успех должен непременно пройти через него». Но если мирный путь освобождения не осуществится, тогда Герцен приемлет и стихийное народное восстание: «Страшна... пугачевщина, но, скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено. Страшные преступления влекут за собой страшные последствия» (12, 84).

В дальнейшем нам не раз придется отмечать либеральные колебания Герцена, его попытки найти мирный выход из все более обострявшихся противоречий классовой борьбы. Вместе с тем мы увидим, что чем дальше, тем больше, преодолевая эти колебания и сомнения, крепнет и мужает революционный демократизм Герцена, его вера в силы народа, в революционное творчество народных масс, в крестьянскую революцию.

Несколько позднее, в конце июля 1853 года, Герцен печатает и выпускает прокламацию под названием «Поляки прощают нас!», посвященную пропаганде союза и сотрудничества русской и польской демократий. Герцен говорит о «том великом славянском единстве, которое должно покрыть частную вражду Польши и России». При этом Герцен противопоставляет «Польшу демократическую, народную, современную» — «той Польше, которая ненавидела Россию, о которой мечтали ее олигархи и ее полководцы» (12, 90). Именно демократическая Польша «в лице своих демократических вожатаев протягивает вам (то есть русским передовым людям.— *Я. Э.*) свою руку» (12, 91). «Соединитесь с поляками в общую борьбу *«за нашу и их вольность»*,— кончает Герцен свой призыв (12, 93). При этом он вновь подчеркивает огромную роль, которую в будущем славянском единстве может сыграть русское государство, если оно станет демократическим. «Русь,— говорит Герцен,— сильная единоплеменностью, народным чувством своей целости, своего братства, срослась в огромное государство» (VII, 257). Но для Герцена это государство

остается «печальным» до тех пор, пока оно находится под «мертвящей властью» царя.

В августе 1853 года Герцен публикует свою брошюру «Крещеная собственность», направленную против крепостного права. Резкими штрихами рисует Герцен порядки и нравы русского крепостнического общества, произвол царизма и помещиков. В брошюре немалую роль играет народническая идеализация сельской общины как воплощения «неразвитого коммунизма», но иллюзии эти являются формой демократической сущности взглядов Герцена, его веры в великое будущее русского народа. Образ русского крестьянина встает перед читателем на фоне лирической картины русской деревни: «С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных, бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться, слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали... С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из лесу веет смолистой хвоей, и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремит по мосту порожняя телега, подгоняемая молодецким окриком...» Заключая эту картину, Герцен восклицает: «И какой славный народ живет в этих селах! Мне не случалось еще встречать таких крестьян, как наши великорусы и украинцы» (12, 97).

Крестьянскую Россию Герцен противопоставляет России помещичьей.

«Две России,— указывает Герцен,— с начала XVIII столетия стали враждебно друг против друга. С одной стороны была Россия правительственная, императорская, дворянская, богатая деньгами, вооруженная не только штыками, но всеми приказными и полицейскими уловками... С другой — Русь черного народа, бедная, хлебопашенная, общинная, демократическая, безоружная, взятая врасплох, побежденная, собственно, без боя» (12; 114—115).

Герцен предвидит, что враждебность эта приведет к прямому столкновению, к открытой борьбе. Помещик, по его словам, пока он «не уморил с голоду или не убил физически своего крепостного человека... прав перед законом и ограничен только одним топором мужика. Им,

вероятно, и разрубится запутанный узел помещичьей власти» (12, 104).

Но, становясь на сторону народа, Герцен вместе с тем не оставляет надежды найти мирный путь, способный предупредить будущую кровавую борьбу. Он считает, что правительство должно было бы провести освобождение крестьян с землей. В этом случае «весь народ, очевидно, был бы за правительство, и не один народ, а вся образованная часть дворянства» (12, 105).

Основная задача брошюры Герцена заключалась в том, чтобы дать такую общую характеристику русского народа и крепостнических порядков, которая возбуждала бы ненависть к самодержавию и крепостничеству, звала бы к переустройству русской жизни, к решению центрального политического и социального вопроса — освобождению крестьян и укреплению веры в Россию, как в молодую и мощную страну, обладающую великим будущим.

Брошюра Герцена являлась также решительной и саркастической полемикой против мнения Гакстгаузена, «поддерживаемого плантаторами из московских панславистов» (то есть некоторой частью славянофилов), о том, что «патриархальной главой общины» является помещик. Это мнение Герцен называет «совершенно ложным». Он показывает, что отношения между помещиком и крестьянами чужды какой-либо патриархальности: «Крестьянин перешел в разработываемую собственность. Развитие промышленности, фабрик и самое распространение политической экономии, *переложенной на российские нравы,* дали тысячу новых средств употреблять крестьян на пользу. Помещик, «патриархальная глава общины», сделался мало-помалу из вельможи фабрикантом, плантатором, торговцем белых негров» (12; 113—114).

Почему же, однако, Герцен, уже видя, что помещик становится фабрикантом, ничего не говорит о русском пролетарии?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо конкретно представить себе, каков был рабочий тех русских, в частности московских, мануфактур и фабрик, которые мог наблюдать Герцен.

Эти рабочие были и оставались крепостными крестьянами, тесно связанными с родной деревней,

На московских предприятиях было занято много оброчных крестьян, для которых работа на мануфактуре была источником уплаты своему помещику денежного оброка. Однако не следует себе представлять, что все крестьяне, работавшие на фабриках, были вольнонаемными, выбиравшими себе место работы по своему усмотрению и лишь обязанными внести своему помещику определенную сумму в год. Так, например, жандармский отчет за 1844 год сообщал, что «на бумагопрядильной фабрике московского купца Лепешкина обнаружили неповиновение рабочие, крестьяне помещика Калужской губернии Дубровина, которые жаловались на дурное обращение с ними владельца их»[1]. Этот факт, сообщенный официальным источником, особенно любопытен, потому что говорит о возмущении рабочих, направленном не против владельца фабрики, на которой они работали, а против помещика, которому они, как крепостные рабы, принадлежали. Последний, по словам отчета, «притесняет своих людей из видов корысти». Это были, как говорит М. Туган-Барановский, «кабальные рабочие», крепостные, которых помещики «отдавали на посторонние фабрики... за определенную плату в свою собственную пользу»[2]. Герцен знал о возмущении дубровинских крестьян — этот факт отразился в его дневнике (2, 380).

Пример этот показывает ясно, как много оснований было тогда у современников воспринимать рабочего русской мануфактуры 40-х годов прежде всего как крепостного крестьянина, а не как пролетария.

По наблюдениям Герцена, «большинство городских работников принадлежит к бедным сельским общинам, особенно к тем, у которых мало земли; но они не утрачивают своих прав в общине... Зачастую эти работники прибывают в города лишь на зиму, другие же остаются там годами» (6, 202).

Эксплуатацию крестьянина на фабрике Герцен рассматривает как одно из проявлений крепостнического гнета.

---

[1] Центрархив, Крестьянское движение 1827—1869 гг. Соцэкгиз, вып. I, стр. 59.

[2] Туган-Барановский, Русская фабрика в прошлом и настоящем, т. I, 3-е изд. (СПб. 1907, стр. 92).

В России Герцен еще не мог заметить тех явлений дифференциации крестьян, которые он уже видел на Западе.

«Крестьянин на Западе,— пишет он,— вообще однодворец,— если он богатеет, то он делается полевым мещанином... Деревенские мещане-собственники составляют на Западе слой народонаселения, который тяжело налег на сельский пролетариат и душит его, по мелочи и на чистом воздухе, так, как фабриканты душат работников гуртом в чаду и смраде своих рабочих домов. Сословие сельских собственников почти везде отличается изуверством, несообщительностью и скупостью» (12, 98). Герцен подметил здесь некоторые из тех черт западноевропейского крестьянства, сущность которых В. И. Ленин в 1902 году объяснил и обобщил следующим образом: «Крестьянин-собственник на Западе сыграл уже свою роль в демократическом движении и отстаивает свое привилегированное положение по сравнению с пролетариатом» [1].

Народнические воззрения соединялись у Герцена с революционно-просветительскими взглядами.

Как показывает одна черновая рукопись, относящаяся к 1854—1855 годам, Герцен, несмотря на свой скептицизм и пессимизм, отдавал себе отчет в относительной исторической прогрессивности буржуазного развития: «С точки зрения общей экономики,— писал он,— переход феодального общества в общество буржуазное является неоспоримым прогрессом. Борьба и развитие перенесены на реальную почву, на землю; мир фантазеров и мечтателей начинает просыпаться; часть человечества отрезвляется, все упрощается...» (12, 472).

Деятельность Герцена вызвала быстрый и широкий отклик в международном общественном мнении. В этом отношении показательна запись, сделанная в дневнике таким наблюдателем европейской жизни, как немецкий критик Варнгаген фон Энзе. Ознакомившись с первыми изданиями Герцена, он пишет: «Это предприятие может иметь громадное значение. Разумеется, русский император примет все меры к тому, чтобы не допустить в пределы империи подобные издания, будет жестоко наказывать их распространителей... но всей его мощи не

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 115.

хватит на уничтожение силы этой печати... Какую пользу принесли французской литературе XVII и XVIII веков заграничные типографии в Женеве, Гааге и т. д.!» [1].

Дождался Герцен своеобразного «признания» и со стороны правительства. Всем органам жандармерии и полиции были разосланы распоряжения, предлагавшие принять меры к тому, чтобы не пропускать в Россию лондонские издания Герцена. Были сделаны также неудачные попытки повлиять на английское правительство с целью побудить его поставить те или иные препоны распространению герценовских изданий. При этом царские жандармы и сам Николай I стали внимательными читателями Герцена — было сделано распоряжение о том, чтобы экземпляр каждого издания доставлялся в III Отделение. Впрочем, Герцен сам помогал информировать царское правительство о расширении своей деятельности, с явным вызовом и насмешкой рассылая свои прокламации царским сановникам по почте. Забавно, что когда в 1853 году дочери Николая I, Ольга Николаевна и Мария Николаевна, приехали в Лондон, русский посол барон Бруннов преподнес им по экземпляру «Крещеной собственности», рассматривая эту брошюру, очевидно, как хотя и неприятную, но скандально модную новинку.

Начало издательской деятельности Герцена заставило и его московских друзей занять более определенную позицию. В августе 1853 года в Париж приехал Михаил Семенович Щепкин. Из Парижа, через Рейхель, он прислал в Лондон письма москвичей. К сожалению, письма эти до нас не дошли. Что-либо достоверное мы знаем только о письме Грановского. Но Кетчер и некоторые другие приятели не решились даже написать старому другу. Герцен правильно расценил их поведение как трусость. 25 августа 1853 года он писал М. К. Рейхель: «Будто один Гр<ановский> знал об отъезде Мих<аила>Сем<еновича>, а Кетчер, а другие... Аминь, аминь, глаголю вам, если маленькая кучка людей близких нам не захочет, не сумеет устроить постоянных сношений со мной, она завянет и пройдет» (VII, 306).

---

[1] Цит. по комментарию М. К. Лемке к седьмому тому Полн. собр. соч. А. И. Герцена, стр. 261.

Что же касается письма Грановского, то о нем Герцен сообщал Рейхель: «Письмо Гран<овского> грустно; он пишет: «...если б ты мог видеть, что мы стали» (VII, 306). Даже эта коротенькая цитата из письма Грановского вновь оттеняет своеобразие его идейной позиции и духовной жизни той поры по сравнению с позицией Боткина и ему подобных.

В самом конце августа Герцен узнал, что Щепкин навестит его в Лондоне. Герцен был глубоко взволнован. Он чувствовал себя накануне встречи со старыми друзьями, с самыми близкими ему людьми, от которых его отделили годы разлуки. Это было ожидание большего, чем встречи с одним Щепкиным. Предстояло как бы духовное свидание со всем дружеским кругом. Поэтому накануне приезда Щепкина, 2 сентября, Герцен берется за письмо друзьям, начинающееся строками: «При мысли, что я завтра увижу одного из наших друзей, что есть случай писать к вам, мне становится страшно и тяжело. Отвычка ли это или мои страшные потери? Да, вы меня отучили от речи с вами, вашей речи не раздалось и тогда, когда меня пытали, рвали на части...» [1]

В «Былом и думах» Герцен вспоминает о встрече с Щепкиным, о часах взволнованных расспросов и рассказов. Впервые Герцен встретил человека, которому он мог сказать обо всем, что ему пришлось пережить и испытать в столь тяжкие для него 1848—1852 годы. Под непосредственным впечатлением первых бесед с Щепкиным Герцен пишет москвичам: «Ну, спасибо... спасибо вам. Это первый теплый, светлый луч после долгой, тяжелой ночи с кошмарами. За эти дни благодарю вас, целую вас, за них плачу от внутреннего удовольствия... Вот как вы мне нужны... Правда, сердился я за редкость вестей, за апатию... Но сердиться и быть холодным не одно... Благословляю вас...» [2]

Но вскоре настроение Герцена резко изменилось. Щепкин посоветовал ему бросить типографию, перестать писать, уехать в Америку. Щепкин выражал при этом не только свое личное мнение, но и мнение всего московского дружеского круга. Поэтому в письме к

---

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 77.
[2] Там же, стр. 79—80.

друзьям, датированном 5 сентября 1853 года, у Герцена звучат новые ноты. «Мне сначала было очень хорошо от его (Щепкина.— *Я. Э.*) приезда, а теперь заволокло опять. Да, мы если не расходимся, то разводимся обстоятельствами дальше и дальше... Одно обвинение было мне не то что обидно, а прискорбно,— обвинение в том, что я оттого храбрюсь, что ушел далеко... Я на вашем месте радовался бы, что хоть кому-нибудь удалось бы вырваться с языком...» [1] В своих письмах к Рейхель Герцен выражался еще решительнее: «Мы разошлись или развелись обстоятельствами так, что друг друга не достанешь, и голос становится непонятен... Наши друзья представляют несчастное, застрадавшееся, затомившееся благородное поколение, но не свежую силу, не надежду, не детский звонкий привет будущему» (VII, 322, 325).

Было бы, однако, неверно, как это часто делается, ставить знак равенства между отношением к Герцену и к его деятельности Щепкина, с одной стороны, Боткина и Кетчера — с другой. Щепкин был слишком крупным и своеобразным человеком, для того чтобы выступать лишь в качестве послушного посланника московского кружка. Прежде всего следует отметить, что в то время как Боткин и Кетчер не решились даже написать Герцену, 65-летний Щепкин не устрашился поездки в Англию. Но, разумеется, не только в этом дело. Своеобразие оценки герценовской публицистики Щепкиным отражается в прощальном письме, которое великий художник написал Герцену из Парижа не позднее 10 октября.

Щепкин, бесспорно, находился под влиянием круга Кетчера и Боткина, но он не был либеральным барином. Щепкин сам побывал в положении «крещеной собственности», на своем горбу узнал все прелести крепостничества. Щепкин был демократом, но демократом стихийным, не прошедшим какой-либо политической школы. Отсюда и его сила и его слабость.

Для либералов «Юрьев день» был неприемлемым, поскольку в этой прокламации указывалось на возможность обращения к крестьянству с призывом подняться с топорами против царизма и помещиков.

---

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 80.

Щепкин критикует «Юрьев день» с иной стороны: «Ты знаешь Россию, все ее политическое устройство, и вдруг взываешь к тому классу на святое дело, который не хочет этого и не может, потому что это связано с его жизненными интересами, и в жару красноречия говоришь, что это — шаг к освобождению их от рабства, то есть ты взываешь к тем, которые не хотят и не могут уничтожить крепостного состояния» (VII, 333).

Стихийный демократ, бывший крепостной, Щепкин не питал никаких иллюзий в отношении дворянства и в этом был прозорливее дворянского революционера Герцена. В то же время Щепкин в крестьянстве видел только черты косности и покорности. Он писал Герцену: «Ты сам знаешь по опыту, что рабы еще не хотят быть свободными. С чего напала на тебя человеческая гордость делать их свободными против их воли, быть, так сказать, творцом их счастья, другими словами, быть двигателем истории? Истории не подвинешь, она идет по своим неведомым человеку законам» (VII, 334). Щепкин не понимал, какую огромную роль способна играть в разрешении судеб народа и его революционизировании передовая мысль. Публицистика Герцена не импонировала Щепкину. Он прямо сказал об этом своему другу, ибо любил его горячо, искренне, с отеческой нежностью. «Все брошюрки ваши, исполненные ума, остроты и блестящим набором слов, не произвели во мне ничего, и я в них ничего не нашел другого, как только слова и слова» (VII, 333). Щепкин не допускал и мысли, что слово Герцена способно стать исторически плодотворным делом.

Герцен не обижался, он крепко любил «светлого старика», как он назвал Щепкина в очерке, ему посвященном, и хорошо понимал его. Герцен знал, что в письме Щепкина действительно «нет строки, которая бы не была облита горькими слезами» (VII, 336). Прочитав письмо Щепкина, Герцен написал М. К. Рейхель, что «это благородная, теплая, но надломленная рабством натура. Для него еще и речь свободная кажется дерзостью» (VII, 332).

Несколько раньше, в середине сентября, Герцен писал Рейхель, получив от нее грустное письмо: «Вы настолько вжились в больную, но возбужденную среду нашу, что облако удушающей русской жизни, захвачен-

ное с собою Мих<аилом> Сем<еновичем>, задавило в вас на миг все светлое... Сам Мих<аил> Сем<енович> — лучшее доказательство, что это не в самом деле так,— нет, это атмосфера не России, а московских доктринеров, наших состарившихся друзей» (VII, 325).

Для Герцена «удушающее облако» настроений круга «состарившихся друзей» лишь закрывает подлинную суть русской жизни, а отнюдь не выражает ее. «Облако» это отражает удушающую духовную атмосферу, которая господствует в кругу Кетчера, Боткина и им подобных. Но самого Щепкина, как и Грановского, Герцен не отождествлял с этим кругом, несмотря даже на то, что старик выступил от его имени. Впоследствии Герцен писал, что Щепкин и Мочалов были для него «теми *намеками* на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России» (17; 268—269). Великий артист Щепкин, не имевший себе, по словам Герцена, соперников в Европе, в глубокой правдивости и простоте своего искусства воплощал, с точки зрения Герцена, характерные черты передовой русской культуры, своими корнями уходящей в народную жизнь. Сам Щепкин понимал мировое значение русского театрального искусства. Он был убежден в том, что «русскому народу судьба предоставила довести это искусство до возможного совершенства».

Трусливое же воззрение «московских доктринеров», боявшихся народа, выражало эгоистические интересы либеральных буржуазно-помещичьих кругов. Впоследствии Герцен должен был признать, что в отрицании Кетчером, Боткиным и примыкавшими к ним москвичами его лондонской деятельности содержались зачатки того откровенно реакционного направления, той прямой поддержки царизма, на путь которой они вступили в 60-х годах.

Герцен не пал духом, убедившись в том, что от московских друзей помощи ждать нечего. Наоборот, он все более ясно осознавал, что его пропаганда обращается к гораздо более широкой аудитории, чем этот узкий, отставший от жизни кружок. Герцен писал Рейхель 8 сентября 1853 года: «Почему вы думаете, что вещи, писанные мною, относятся решительно и исключительно к

нашим друзьям? Они всего более относятся к молодым людям» (VII, 323).

Герцен вошел в полосу широкой, напряженной, энергичной деятельности. Он все более убеждался, что «теперь самое время русской речи», искал помощников среди русских людей, но не мог их еще найти. Находившийся в Лондоне Головин был авантюристом. Дворянский фрондер, а не революционер, он своим вздорным и скандальным поведением лишь компрометировал русскую эмиграцию, не помогал, а мешал Герцену. От него пришлось отмежеваться. Петрашевец Энгельсон, неуравновешенный, болезненно мнительный, был не способен на постоянный и усидчивый труд и позднее рассорился с Герценом по чисто личным мотивам.

С переездом детей из Парижа, где они жили у Рейхель, с приходом в герценовскую семью немецкой эмигрантки Мальвиды Мейзенбуг, взявшей на себя их воспитание и упорядочившей домашний быт, еще более упрочился распорядок герценовского дня, который сам собою установился в первые месяцы лондонского одиночества. С краткими перерывами Герцен работал с раннего утра до второй половины дня и лишь затем проводил время с детьми, выходил из дому для прогулок и встреч, принимал у себя.

Чем шире становилась деятельность Герцена, тем больше он мечтал о приезде Огарева. Герцен получил какие-то сведения о том, что Огаревы, а в крайнем случае одна Н. А. Огарева-Тучкова, собираются в Лондон. Однако Герцену пришлось еще более трех лет ждать приезда своего друга, который действительно, так же как и он сам, навсегда остался верен отроческой клятве, данной на Воробьевых горах.

Во второй половине 1853 года Герцен с полным правом мог сказать о себе: «Я никогда не был деятельнее... На нескладном, но сильном концерте [1] я представляю собою русскую мысль. Бурями, волей и неволей, меня прибило к самому средоточию, к самой вершине» [2].

---

[1] Слово «концерт», которое обычно употреблялось в газетном языке для характеристики переговоров и совместных выступлений великих европейских держав, Герцен в данном случае относит к деятельности международной демократии в Лондоне.

[2] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 77.

Двадцать девятого ноября 1853 года Герцен выступил в Лондоне на международном митинге, собравшемся по случаю 23-й годовщины польской революции 1830 года. Это была первая публичная речь Герцена. Вместе с ним в митинге участвовали такие виднейшие представители международной демократической эмиграции, как Ледрю-Роллен, Станислав Ворцель и другие. В своей речи Герцен подчеркнул прежде всего значение присутствия русского на польском революционном митинге. Указывая, что является «случайным представителем будущей России», Герцен сказал: «Когда поляки подают нам свою руку, покрытую рубцами, на примирение, можно ли сомневаться в существовании революционных начал в России?» (12, 127). Герцен опроверг ходячее представление о России, распространенное тогда на Западе. В России видели лишь «царя, кнут, Сибирь, полудикий народ, стоящий на коленях перед далай-ламой в ботфортах». Герцен охарактеризовал Россию как «страну величайших противуречий, самых крайних антиномий». Он особенно подчеркнул, что русская жизнь вырабатывает революционеров исключительной последовательности и неустрашимости. «У нас не останавливаются на полдороге, у нас или остаются неподвижными, или идут до конца... Русские круто отрешаются от всех связей разом, от религий, от преданий, от авторитета...» (12; 127, 128).

Герцен говорил о неизбежном и скором конце самодержавно-крепостнического строя Николая I, о том, что эта власть «выродилась и не годна больше» (12, 129), что столь распространенное тогда в Европе представление об огромной мощи царизма в корне ложно. При этом Герцен указывал, что в назревающем вооруженном столкновении царизма и западноевропейских держав «монархическая Европа во всех своих оттенках... не может начать серьезной войны с царем» (12, 131), ибо реакционные правительства Европы боятся революции и видят в русском самодержавии своего союзника. В такой оценке позиции западноевропейской буржуазной реакции по отношению к самодержавной России Герцен был близок к Марксу и Энгельсу.

II. ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА И ПОРАЖЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ГЕРЦЕНА — ПАТРИОТА И РЕВОЛЮЦИОНЕРА

В марте 1854 года Англия и Франция объявили войну России.

Герцен хорошо отдавал себе отчет в том, что ряд успехов царской армии в XVIII и начале XIX века имел прогрессивное значение не только для укрепления русского централизованного государства, но и с точки зрения того, что успехи эти косвенно ускоряли развитие русской общественной жизни, способствовали росту самосознания русского народа, расширяли его политический кругозор, заставляли думать о собственном освобождении. Поэтому, говоря в статье о Щербатове и Радищеве (1858), что в России конца XVIII века «народ по-прежнему оттерт, смят, ограблен», Герцен отмечает: «И в то же время Суворов на Альпах, под Требией и Нови, завязывает ту борьбу, которая привела всю континентальную Европу в Кремль, а нашу армию в Париж» (13, 276). Для Герцена, как мы знаем, дороги и священны были славные традиции «национальной войны» 1812 года. В данной же конкретной политической обстановке Герцен делал ставку — и был в этом отношении совершенно прав — на быстро приближавшийся демократический освободительный подъем в России. Войну 1854 года он расценивал как войну, которую вел не русский народ, а самодержавие, угнетавшее русские народные массы. При этом Герцен был чужд каких-либо иллюзий относительно роли и целей правящих кругов Англии, а тем более Франции, в начавшейся войне. Английскую аристократию, симпатизировавшую Николаю I, он называл «кретинизированной, невежественной, надменной и считающей себя в XVI веке» (VIII, 133). Еще до начала войны Герцен, и во многом правильно, полагал, что «никакой Бонапарт, никакой наследственный, ни благоприобретенный деспот не нанесет в самом деле удара своему петербургскому товарищу — им всем он слишком нужен» (12; 131—132). А позднее Герцен саркастически писал о «турецко-крестовом походе» за «просвещение и свободу», которому «ни один человек не поверил» (12, 308) и за которым скрывались хищные вожделения господствующих классов Англии.

В воззвании к русским солдатам в Польше, датированном 25 марта 1854 года, Герцен писал: «Мы, изгнанники русские и польские, на чужбине плачем, читая о рекрутских наборах, о тяге народной, о ненужной гибели тысяч наших воинов... Гибнуть за дело следует; на то в душе человеческой храбрость, отвага, преданность и любовь; но горько гибнуть без пользы для своих, из-за царского упрямства... Неужели мы пропустим случай, какого долго-долго не представится? Неужели не сумеем воспользоваться бурей...» (12; 201—202).

Герцен упорно продолжал свое издательское дело, несмотря на то что в России оно еще не находило явного отклика и издания его оставались нераспроданными. Он рассчитывал, что военная буря должна вызвать в России общественный подъем.

Двадцать седьмого февраля 1855 года в Лондоне состоялся митинг международной демократии «в память великого революционного движения 1848 года», организованный по инициативе вождя чартистского рабочего движения Джонса.

В качестве представителя революционной России к участию в организации митинга был приглашен Герцен, который, естественно, воспользовался такой драгоценной возможностью.

В чартизме — «спокойном, пасмурном, молчаливом, но упрямом, настойчивом» (VIII, 133) — Герцен справедливо видел силу, противостоящую консервативной аристократической Англии.

Выступление Герцена прошло с большим успехом. Он гневно и резко клеймил казенную Россию, «живой курган... притеснителей, обманщиков, взяточников, связанных между собою дележом грабительства, завершаемых царем и опирающихся на семьсот тысяч живых машин со штыками. Императорство... всегда останется опасностью для Европы, несчастием для славян. Оно, по естеству своему, заносчиво, хищно, ненасытно... воевать ему необходимо, это его ремесло, его спасение» (12, 256).

Вместе с тем Герцен подчеркивал, что, «кроме России Зимнего дворца — есть Русь крепостная, Русь рудников. Во имя этой-то Руси должен здесь был услышан русский голос... Полномочие мое говорить во имя России — вся моя жизнь, моя привязанность к русскому

народу, моя ненависть к царю» (12; 253—254). Передовую народную Россию Герцен рассматривал как друга и союзника английской демократии, чартистского движения. Герцен верит в великое будущее России и славянства: он говорит, что в глубинах русской жизни «дремлют бури-силы, могущие взволновать народные стихии» (12, 259). Он был восхищен героизмом русских солдат, проявленным в дни обороны Севастополя. В поражении царизма, в том мужестве, с которым русский народ перенес испытания войны, Герцен видел залог будущего обновления русской жизни, будущего торжества демократической России. Несколько позднее своего выступления на митинге, уже после смерти Николая I, Герцен писал: «Севастопольский солдат, израненный и твердый, как гранит, испытавший свою силу, так же подставит свою спину палке, как и прежде? Ополченный крестьянин воротится на барщину так же покойно, как кочевой всадник с берегов каспийских, сторожащий теперь балтийскую границу, пропадет в своих степях? И Петербург видел понапрасну английский флот? — Не может быть. Все в движении, все потрясено, натянуто... и чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?» (12, 269). Позиция Герцена в период Крымской войны полностью соответствовала интересам русского освободительного движения, интересам народных масс.

Следует подчеркнуть, что Герцен считал при этом принципиально недопустимым какое-либо использование неприятельского содействия для революционной пропаганды в России или тем более какую-либо помощь Англии и Франции со стороны русских эмигрантов. Он решительно отверг авантюристическое и фантастическое предложение Энгельсона запускать на русскую территорию с помощью английских или французских властей воздушные шары с горючими веществами и воззваниями. Поэтому, безусловно, прав Ш. М. Левин, доказавший полную неправдоподобность того, что так называемая «Беседа с русскими в Плимуте», введенная М. К. Лемке в собрание сочинений А. И. Герцена, могла бы принадлежать его перу [1].

---

[1] Ш. М. Левин, Герцен и Крымская война, «Исторические записки», изд. АН СССР, 1948, № 29, стр. 190—191.

В этой «Беседе» предлагалось включить русских военнопленных в состав английских или французских войск.

Как и Герцен, пораженцем в 1854—1855 годах был также Чернышевский. По мере развертывания событий в той или иной степени и форме пораженческим настроениям стали отдавать дань сравнительно широкие общественные круги России, о чем Герцен еще не мог знать. Достаточно сказать, что такой крупнейший русский историк, как С. М. Соловьев, человек, сторонившийся политики, чрезвычайно умеренный по своим взглядам и, при всей своей враждебности к крепостничеству, неизменно опасавшийся всякого рода революционных, народных движений, даже такой человек склонялся к выводу, что «только бедствие, и именно несчастная война могла произвести спасительный переворот» [1].

Начиная с 1854—1855 годов в известных отношениях и на некоторое время сближаются позиции Герцена и людей, которые никогда не разделяли его воззрений, а впоследствии стали его ожесточенными политическими врагами.

Убежденный сторонник сильной, «просвещенной» монархической власти, будущий враг революционно-демократических и социалистических тенденций герценовского «Колокола», Чичерин вспоминал в своих «Записках» об этих военных годах: «Положение русских людей, которые ясно видели внутреннее состояние отечества, было в то время трагическое... Русское сердце не могло не биться при рассказах о подвигах севастопольских героев. А между тем нельзя было не видеть, что победа могла только вести... к торжеству того бездушного деспотизма, который беспощадно давил всякую мысль и всякое просвещение» [2].

Тогда можно было наблюдать, с одной стороны, героизм русских солдат и моряков, оборонявших Севастополь и отдававших жизнь за родину, а с другой, по выражению Щедрина, «неслыханнейшую оргию» хищничества и казнокрадства, охватившую царскую бюрократию и помещиков-крепостников, стремившихся на-

---

[1] С. М. Соловьев, Мои записки, изд. «Прометей», стр. 150.
[2] Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, изд. М. и С. Сабашниковых, 1929, стр. 149—150.

житься на войне, на поставках, на организации ополчения. «Отечество продавалось всюду и за всякую цену» [1].

Патриотическую боль, усугубленную ощущением своего бессилия поправить положение, выразил Грановский в письме к Герцену (1854 год): «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет» [2].

Военные события вызвали такую тревожную реакцию в кругах дворянско-помещичьего общества, что даже славянофилы, которые сначала с этой войной связывали надежды панславистского характера и поэтому приветствовали ее [3], позднее отдали дань оппозиционным настроениям по отношению к режиму, бессилие и гнилость которого с очевидностью обнаружились. Хомяков, вождь славянофилов, выступил со стихотворением, сатирически бичевавшим порядки самодержавной крепостнической России:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

Правда, в заключение Хомяков призывал Русь к религиозному покаянию и исповеди, могущим даровать чудесное исцеление. Но, разумеется, в обстановке того времени на первый план выступали критические, сатирические, а не религиозные мотивы этого нашумевшего тогда и ставшего с тех пор знаменитым стихотворения, хотя сам Хомяков почти тут же пожалел о резкости цитированных строк. Лживо-демагогическую позицию славянофилов с беспощадной, напоминавшей Белинского, резкостью осудил Грановский, заявив, что их

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XI, Гослитиздат, 1934, стр. 471.

[2] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 448.

[3] Ш. М. Левин, Герцен и Крымская война, «Исторические записки», изд. АН СССР, 1948, № 29, стр. 165—167.

лозунгом является «православная патриархальность, не совместимая ни с каким движением вперед». Аксаковы, Самарины «противны мне, как гробы» [1].

В обстановке широкого недовольства Чичерин, а также близкий ему по взглядам Кавелин, оба — ученики Грановского, даже стали подумывать об оппозиционной литературной деятельности. Они решили приступить к распространению в узком кругу знакомых рукописной литературы, содержащей либеральную критику правительственной политики. Впоследствии этот материал был послан Герцену и напечатан в его изданиях.

Общественный подъем в России был ускорен смертью Николая I 18 февраля 1855 года. Эта смерть была воспринята как символ поражения самодержавно-крепостнического строя.

Особенно ликовала революционно настроенная разночинная интеллигенция. Известный публицист 60—80-х годов Н. В. Шелгунов вспоминал о впечатлении, произведенном этим событием на молодежь: «Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей», точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать» [2].

Можно себе представить, с какой радостью встретил известие о смерти Николая I Герцен. Весть эта была для него «великой новостью», которую он сообщил домашним и детям «со слезами истинной радости на глазах». Герцена поздравляли эмигранты разных национальностей, радовались вместе с ним.

С ходом войны у Герцена росло убеждение, что Россия находится накануне перелома. Смерть Николая I укрепила эту надежду. Допуская возможность рождения новой, демократической России в муках войны, Герцен в данном случае — и это крайне важно — был готов решительным, принципиальным образом пересмотреть свою позицию пораженца, ибо по отношению к будущей, демократической России он чувствовал себя самым горячим ее защитником от внешних врагов. В этом смысл его заявления в передовой статье второй книжки «Полярной звезды», написанной после заключе-

---

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 456, 457.

[2] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, стр. 26.

ния парижского мира: «Воздух 1612 и 1812 годов повеял в России при вести о неприятельском нашествии, и ни один человек не поверил турецко-крестовому походу за «просвещение и свободу». «Мы не знаем,— заключал Герцен,— чем бы кончилась война, если б она действительно перешла в народное восстание» (12, 308).

Что же касается более ранних (в первой книжке «Полярной звезды») высказываний Герцена о возможности превращения данной войны в народную, даже если страной будет править Александр II, то в таком допущении, очевидно, сказались либеральные колебания Герцена. Вместе с тем несомненно, что подобную возможность Герцен связывал с надеждами на серьезное изменение внутренней жизни России, на ее демократизацию.

Выпуская с 1853 года русские издания, Герцен не находил им сбыта. Напечатанные брошюры лежали в подвалах издателя. В 1853—1854 годах продажа даже *одного* экземпляра того или иного издания радовала Герцена.

Много тяжкого пришлось ему пережить в те годы в лондонском одиночестве, ибо укрепление связей с представителями других эмиграций, в особенности польской и итальянской, не могло заглушить сознание своей оторванности от далекой родины, откуда вести почти не доходили. Жестокие сомнения обуревали в 1852—1855 годах мысль и волю Герцена.

Но вместе с тем работа Вольной русской типографии доставляла огромное удовлетворение; она согревала сердце, неопровержимо доказывала, что русское революционное дело существует.

Впоследствии Герцен так вспоминал о том времени, когда русский типографский станок только начинал работать, о своих мыслях и переживаниях тех лет: «Невольная сила влекла меня домой... Передо мной носились знакомые образы и виды: луга, леса, черные избы на белом снегу, черты лиц, звуки песен, и... и я верил в близкую будущность России, верил, *когда все сомневались,* когда не было никакого оправдания вере... Русским станком я возвращался домой, около него должна была образоваться русская атмосфера...» (17, 75).

Герцен продолжал ковать революционное оружие, хотя его еще нельзя было пустить в ход. Это была его

«служба русскому народу» (13, 198), которую он нес преданно и неизменно. Он продолжал работу русской типографии, глубоко уверенный в том, что в русской жизни скоро должны произойти такие перемены, которые откроют его изданиям путь на родину.

Теперь, после смерти Николая I, Герцен почувствовал, что этот момент наступил.

Раньше чем перейти к новому периоду жизни и деятельности Герцена, мы должны возвратиться к некоторым обстоятельствам, связанным с митингом, организованным по инициативе чартистов 27 февраля 1855 года. Дело в том, что именно в связи с этим митингом резко обнаружились неприязненные, даже прямо враждебные отношения между Герценом и Марксом. На афише митинга имя Герцена стояло рядом с именами виднейших представителей международной эмиграции, в том числе и Маркса. Однако Маркс, участвовавший в предварительных переговорах по организации митинга, затем отказался выступить на нем. Одной из причин отказа было нежелание Маркса выступать вместе с Герценом. Это обстоятельство требует пояснений.

Как сказано было выше, Маркс и Энгельс еще в самом начале 50-х годов имели основания относить Герцена к представителям «демократического панславизма». В последующие годы Герцен дал новые поводы к этому.

В статьях «Старый мир и Россия» (1854) Герцен вновь высказал явно фантастическую и ошибочную мысль, встречающуюся у него еще в «Письме к Мацини» (1849), что взятие Константинополя Николаем I привело бы к последствиям, прямо противоположным тем, которых от этого события мог ожидать царизм. Взятие Константинополя, по мнению Герцена, явилось бы поворотным пунктом в истории славянства, привело бы к объединению славянских народов, показало бы полную неспособность царизма справиться с великими историческими задачами, стоящими перед славянством, и ускорило бы падение русского самодержавно-крепостнического строя. Взятие Константинополя, ставшего «столицей объединенных славян» (12, 199), было бы «началом новой России, началом славянской федерации, *демократической и социальной*» (V, 378).

Герцен исходил из предположения, что «монархиче-

ская, но не слишком воинственная Европа не хочет и не может всерьез воевать с царем» (12, 198). Вместе с тем у Герцена не было никакой надежды на революционный подъем в Западной Европе. Поэтому-то он и делал ставку на будущую демократическую Россию и федерацию свободных славянских народов, которые, как ему казалось, должны родиться независимо от того, потерпит ли Николай I поражение или одержит победу в войне.

Эти ошибочные и вредные высказывания не могли не вызвать настороженного внимания со стороны Маркса и Энгельса, великих, трезвых и дальновидных политиков, бдительно стоявших на страже интересов международного пролетариата. В самом деле, по Герцену, взятие Константинополя Николаем I могло бы оказаться если не само по себе, то по своим дальнейшим последствиям, исторически прогрессивным событием.

В противоположность этому, рассматривая самодержавие Николая I — этого «международного жандарма» — как подлинную политическую реальность, Маркс и Энгельс должны были концентрировать свое внимание и свою критику именно на этих слабейших сторонах герценовской публицистики, ибо в той международной обстановке эти стороны приобретали особенно острое значение.

Следует также иметь в виду, что Маркс и Энгельс не имели возможности столь всесторонне судить о деятельности Герцена, как то предоставлено нам. Они вовсе не знали такого кардинального для мировоззрения Герцена, при его жизни не переиздававшегося за границей и уже ставшего тогда в России библиографической редкостью произведения, как «Письма об изучении природы», которое в большей степени приближалось к диалектическому материализму, чем любое другое философское сочинение той эпохи. Маркс и Энгельс не могли знать, как глубоко и органически Герцен был связан с развитием русской передовой мысли, какое громадное влияние он оказывал на пробуждение революционной активности новых слоев русской интеллигенции, в какой мере его убеждение в предстоящем скором подъеме русского освободительного движения было обосновано. Маркс и Энгельс в 40-х и начале 50-х годов не могли еще ощущать тот глухой, подспуд-

ный, но все более нараставший в крестьянских массах России протест против самодержавия и крепостничества, тот протест, который так живо чувствовали Герцен и Белинский. Для этого обязательно было непосредственное знакомство с русской жизнью.

Мешало правильной оценке революционности Герцена и то, что он долгое время был тесно связан с русскими либерально-дворянскими кругами. Тому же способствовали многочисленные идейные колебания Герцена. Вспомним, что русские либералы, откровенно ненавидевшие Чернышевского, всегда лицемерно пытались изобразить Герцена как своего, близкого им человека, лишь склонного к революционным увлечениям. Необходимо было глубочайшее и беспримерное знание русской жизни, присущее Ленину, чтобы правильно определить место Герцена в русском революционном движении.

К принципиальным расхождениям между Марксом и Герценом прибавился целый ряд других обстоятельств, обострявших взаимное недоверие. Особенно способствовало этому появление в английской прессе заметок о том, что Бакунин, находившийся в то время в заточении в России, является агентом правительства Николая I. Герцен выступил в защиту своего друга, в защиту доброго имени русского революционера. При этом Герцен, без каких-либо оснований, приписывал авторство направленных против Бакунина заметок Марксу и в дальнейшем поддерживал это утверждение, несмотря на то что Маркс доказал свою непричастность [1].

Подозрительность Герцена питалась его общим отрицательным отношением к немецкой эмиграции. Вплоть до последних лет жизни Герцен не уяснил себе, какое совершенно особое место в ней занимал Маркс. Герцен, например, ошибочно полагал, что полемика Маркса и Энгельса против «демократического панславизма» питается настроениями немецкого шовинизма и национализма, не понимая того, что именно Маркс и Энгельс, по выражению последнего, постоянно вели жестокую борьбу с «мелкобуржуазным мещанско-филистерским

[1] См. комментарии С. Б. Кана в одиннадцатом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

духом» немецкой общественной жизни, с этой «немецкой наследственной болезнью» [1]. Показательно, однако, что сам Герцен не включил в состав «Былого и дум» и не напечатал очерк «Немцы в эмиграции», который содержит совершенно неосновательную, лишенную какого-либо познавательного и художественного значения, характеристику Маркса,— точнее, ряд искажающих факты выпадов против него, а также попытку связать Маркса с совершенно ему чуждыми представителями немецкой мелкобуржуазной эмиграции. Причиной неопубликования этого очерка не могли служить мотивы, по которым Герцен, например, не напечатал при жизни дружескую по тону, но ироническую по характеру главу «Былого и дум», посвященную Бакунину. По-видимому, Герцен понимал тенденциозность своего очерка, посвященного Марксу, и потому отказался от публикации. Следует отметить, что вообще резкая антипатия Герцена к немецкой обывательщине, его враждебность к российским бюрократам из немцев, а тем более к прусской военщине, всегда сочетались у него с подлинным уважением к высшим достижениям немецкой литературы и философии. В «Былом и думах» Герцен говорит о «всей глубине немецкого мышления» (9, 19).

Неприязненные отношения между Марксом и Герценом в начале 50-х годов зашли так далеко, что сделали навсегда невозможным их сближение.

Между тем несомненно, что те стороны мировоззрения, деятельности и творчества Герцена, которые мешали его сближению с Марксом, были, с точки зрения идейного развития Герцена в целом, гораздо менее существенны, чем те, которые, как гениально показал Ленин, вели Герцена к научному социализму. Позднее Герцен сам осознал ошибочность многих положений, высказанных им в статье «Старый мир и Россия».

В предисловии 1858 года к переизданию этой статьи Герцен писал: «Ошибок в этих письмах много... Но в чем я не ошибся и что составляет сущность этих писем — это в моем предсказании, что Россия должна вступить в новую эру развития, что узкий деспотизм

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 364.

Николая становился тесен для ее роста» (12, 453). Из контекста предисловия ясно, что признание ошибок в этой статье распространяется Герценом и на те положения, которые вызвали резкий отпор Маркса.

И прав был Плеханов, когда в статье «Герцен-эмигрант» писал, касаясь знакомства Герцена с корифеями международной демократии: «Только с Марксом и его кружком (с «марксидами», по его выражению) у него, как нарочно, были дурные отношения. Это произошло вследствие целого ряда печальнейших недоразумений, точно какая-то злая судьба препятствовала сближению с основателем научного социализма того русского публициста, который сам всеми своими силами стремился поставить социализм на научную основу» [1].

III. «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

Окрыленный известием о смерти Николая I, Герцен решает издавать русский журнал под названием «Полярная звезда». «Это было заглавием одного альманаха, редактировавшегося Рылеевым и уничтоженного Николаем... Тучи проходят, звезды остаются» (VIII, 165),— объяснял Герцен Мишле. Название альманаха и профили пяти казненных декабристов на обложке были выражением преемственности русской революционной традиции. О том же говорил эпиграф из «Вакхической песни» Пушкина на титуле: «Да здравствует разум!»

Уже в конце марта 1855 года Герцен печатает объявление о выходе «Полярной звезды». Вновь обращается Герцен с призывом присылать рукописи из России. У него все еще были сомнения в том, достаточен ли будет приток русского материала; в крайнем случае он был готов даже отказаться от издания «Полярной звезды» на русском языке и приступить к изданию ее на французском (12, 295).

Первая книжка «Полярной звезды» вышла в начале августа 1855 года. Она имела подзаголовок «Третное обозрение освобождающейся Руси». Необычное в рус-

[1] Г. В. Плеханов, Соч., т. XXIII, стр. 443.

ской печати обозначение «третное» было образовано Герценом по принципу, заимствованному от принятых в английской журналистике определений периодичности (например, quaterly review, то есть журнал, выходящий поквартально), и указывало на то, что журнал будет выходить три раза в год. Первая книжка содержала статьи программного характера, главы из «Былого и дум», знаменитое письмо Белинского к Гоголю, письма Мишле, Маццини, Гюго и Прудона и ряд менее значительных материалов. Была помещена также большая теоретическая статья В. Энгельсона «Что такое государство?», носившая отпечаток влияний прудонизма.

Непосредственно вслед за вводной редакционной статьей в «Полярной звезде» было напечатано «Письмо к императору Александру II», предвещавшее те, по выражению В. И. Ленина, «...бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения» [1]. В форме обращения к императору письмо формулировало минимальные политические требования издателя «Полярной звезды»: 1) «дайте свободу русскому слову», 2) «дайте землю крестьянам... смойте с России позорное пятно крепостного состояния» (12, 274).

Герцен, в сущности, уговаривал здесь Александра II вступить на путь широких реформ и выражал иллюзорные надежды на мирное, бескровное осуществление в России социальных перемен. При этом Герцен оговаривал, что, «разумеется, моя хоругвь — не ваша, я неисправимый социалист, вы самодержавный император...», но заявлял: «...я готов ждать, стереться, говорить о другом, лишь бы у меня была живая надежда, что вы что-нибудь сделаете для России» (12, 273).

Еще до опубликования письма в «Полярной звезде» Герцену пришлось слышать голоса, критиковавшие слева его обращение к царю. В конце альманаха он поместил «Примечание», в котором признавал, что письмо это, «писанное сгоряча, после вести о смерти Николая I,— устарело» (12, 455). Почему же Герцен все-таки его напечатал?

В «Примечании» Герцен писал: «Нас упрекают в любви к кровавым средствам, в революционном дале-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.

тантизме...» В самом деле, в той же первой книжке «Полярной звезды» было помещено «Анонимное письмо» некоего крепостника, пожелавшего остаться неизвестным, который упрекал автора «Крещеной собственности» в том, что, бичуя крепостное право, он указывает на будущую «развязку этого явления топором». Крепостник восхвалял в своем письме Николая I и считал решение крестьянского вопроса делом помещиков, призванных помочь царизму «последовательно, мирно, без развязок, подобных западным, достигнуть переворота» (VIII, 219—220).

Герцен гневно отвечал крепостнику: «В вашем письме все проникнуто духом полнейшего гражданского и духовного рабства, рабства,— сознательного, обдуманного, и, следственно, неизлечимого... Вы не принадлежите к народу, вы принадлежите к тому, что гнетет народ» (12; 292—293). Герцен подчеркивал лживость и деланную наивность, с которой его оппонент пытался представить крепостное право «единственной болячкой» России. «А телесные наказания...— спрашивал Герцен,— а всеобщее воровство в суде, а самовластье, дошедшее до безумия, а невозможность сказать слова, это не болячки?» (12, 292).

И все-таки, констатируя существование в России «самовластия, дошедшего до безумия», Герцен апеллировал к царизму. Он даже заявлял, что «с своей стороны готов бы был умолкнуть, если б Александр II *освободил крестьян с землею* и дал бы *свободу книгопечатания*» (12, 455).

Дворянский революционер Герцен все еще продолжал надеяться на среднее культурное дворянство, как на прогрессивную силу, и опасался оттолкнуть его от освободительного движения. Разуверившись в плодотворности западноевропейских революционных переворотов, имевших своим результатом утверждение власти буржуазии, Герцен мечтал для России о мирных демократических и социальных реформах. По этим причинам он и напечатал свое письмо.

Мы подробно остановились на первом обращении Герцена к Александру II, для того чтобы подчеркнуть, что такие апелляции к царю были, по определению В. И. Ленина, «отступлениями от демократизма к либе-

рализму»[1], а не выражением основной, доминирующей политической линии Герцена.

Апелляции Герцена к царю были обусловлены самим положением его как дворянского революционера, «страшно», по выражению Ленина[2], далекого от народных масс, одинокого, склонного поддаваться увлечениям, порывам, мечтаниям и не обладавшего той уверенной в себе спокойной решительностью, твердостью и последовательностью в борьбе, которыми отличались лучшие представители вступавшего тогда в общественную жизнь поколения революционеров-разночинцев. Но для пробуждения политической активности этого поколения именно Герцен сделал чрезвычайно много.

Со страниц «Полярной звезды» зазвучало смелое, свободное русское слово о самых острых и важных вопросах, которые действительно представляли тогда для каждого русского животрепещущий интерес. В России приближалось, по выражению Шелгунова, «удивительное время... когда всякий захотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России»[3].

В альманахе Герцена русские читатели впервые находили прямую постановку острых политических проблем эпохи, прежде всего упразднения крепостного права, отмены телесных наказаний и введения свободы слова и печати. Там же были обнародованы такие произведения русской потаенной литературы, как письмо Белинского к Гоголю, как «Вольность» и «Деревня» Пушкина, стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина, стихи Рылеева.

Книжки «Полярной звезды» и другие издания Вольной русской типографии стали проникать в Россию. Вокруг деятельности Герцена уже складывались легенды. Так, один из зубров крепостнической реакции, ми-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.
[2] См. там же, стр. 14.
[3] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, стр. 82.

нистр юстиции гр. В. Н. Панин (вскоре он благодаря «Колоколу» стал всеобщим посмешищем), считал совершенно несомненным, что в одном Петербурге герценовских изданий «распространено тысяч до ста» (VI, 537), хотя тираж «Полярной звезды» исчислялся сотнями экземпляров. Но, как говорится, у страха глаза велики!

Осенью 1856 года в Лондоне был И. С. Тургенев. По словам Герцена, «рассказал много очень интересных вещей и, между прочим, что горячая петербургская молодежь питает ко мне настоящую страсть» (VIII, 330). Герцен начинал видеть воочию плоды своего труда.

1. «Полярная звезда» и Чернышевский и Добролюбов

Особенно велико было значение опубликованных в «Полярной звезде» глав из «Былого и дум». Страницы «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского (1855—1856), рассказывающие об идейной жизни 40-х годов, о борьбе вокруг истолкования философии Гегеля, о том, как крепла и зрела русская материалистическая мысль, не могли бы быть написаны в том виде, в каком мы их знаем, если бы Чернышевский не имел в своем распоряжении первой книжки «Полярной звезды» с главами «Былого и дум».

На основании этих глав, так же как и «Писем об изучении природы», Чернышевский сумел проследить развитие русской философской мысли в 40-х годах и дать высокую оценку самостоятельности, достигнутой ею в лице Герцена и Белинского. Чернышевский сказал, что «тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы» [1].

Сам Герцен с большим интересом отнесся к этим главам «Очерков» Чернышевского, с естественной радостью видя, что труды Белинского и его самого стали достоянием нового поколения передовых людей.

История развития русской мысли 40-х годов, изложенная в «Былом и думах», помогла формированию мировоззрения нового революционного поколения. При-

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 224.

том это не было только рассказом о прошлом. О своем духовном росте и своих исканиях рассказывал человек, полный сил, развивающий кипучую деятельность, нужную России. И молодой читатель, сам ищущий и растущий, видел, как революционная теория, «алгебра революции», отвага мысли, помогала «сделать» жизнь революционера.

«Былое и думы» влияли не только на развитие русской философской мысли. Мемуары Герцена учили преданности народу, ненависти к самодержавию и крепостничеству. Великий революционер Чернышевский, умевший, как сказал Ленин, «...и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров*»[1], именно так смотрел на возможность использовать «Былое и думы» в целях революционно-демократической пропаганды.

После того как во второй книжке «Полярной звезды» были помещены главы, рассказывающие о детстве Герцена, о его дружбе с Огаревым, об их клятве на Воробьевых горах, Чернышевский в форме рецензии на только что вышедший сборник стихотворений Огарева отметил высокую воспитательную ценность этой части герценовских воспоминаний. Вторая книжка «Полярной звезды» вышла из печати 25 мая 1856 года, а 9 апреля того же года Огарев прибыл в Лондон. В 1856 году Огарев еще был, с точки зрения царских властей, «легальным» человеком, окончательно не скомпрометировавшим себя сотрудничеством с Герценом. Поэтому в тексте фамилия его не была обозначена, имя Ник было всюду заменено инициалом «Н». Вместе с тем цитировался «Старый дом» Огарева, вошедший в его собрание стихотворений. Думается, что Герцен, по договоренности с Огаревым, решил лишь чисто формальным образом соблюсти «инкогнито» последнего, дабы прямым упоминанием не дать в руки царской полиции доказательство того, что он является не только другом детства, но и соратником Герцена в настоящее время. Следует иметь в виду, что в то время Герцен вообще не упоминал еще в «Былом и думах» о друзьях и единомышленниках, находившихся в живых, поскольку они могли подвергнуться преследованиям царизма.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26.

С другой стороны, та тайна полишинеля, которую представляла собою дружба Герцена и Огарева, и легальное положение последнего позволили Чернышевскому в сентябре 1856 года так говорить об огаревских стихах, что читателю становился совершенно очевидным эзоповский смысл рецензии: она имела в виду не только Огарева, но и Герцена.

Чернышевский заявлял, что «господин Огарев никогда не пользовался шумной популярностью», и вместе с тем подчеркивал, что он сам не может и не хочет удовлетвориться «этой полуизвестностью» творчества Огарева; «этим одобрением без горячего чувства, этим почетом без лаврового венка». Это не означает, с точки зрения Чернышевского, что обычные критические оценки несправедливы. Но они упускают из виду далеко выходящее за литературные рамки историческое значение поэзии Огарева. Чернышевский цитирует «Старый дом», где Огарев вспоминает о своих дружеских встречах и беседах с Герценом, и продолжает: «Старый дом» принадлежит истории, как принадлежит ей вообще жизнь и произведения г. Огарева: счастье или, вернее сказать, достоинство, которое достается на долю немногим избранным». Поэтому, говорит Чернышевский, «через тридцать — через двадцать лет,— быть может, и ближе», когда «вовсе не будут вспоминать о многих из поэтов, кажущихся нам теперь достойными панегириков... с любовью будет произноситься... имя г. Огарева».

Далее Чернышевский дает замечательную характеристику «восторженной дружбы», то есть верной дружбы, скрепленной единством передовых идеалов и стремлений, дружбы революционеров. Тем самым Чернышевский вскрывает основное поэтическое и этическое содержание первой части «Былого и дум», напечатанной во второй книжке «Полярной звезды». Чернышевский говорит: «Знали ли вы когда-нибудь восторженную дружбу? Если не владело вами это чувство хотя в поре молодости, вы, быть может, улыбнетесь. Но нет, не спешите смеяться: смеяться и мы любим, но не над тем, что было необходимо и оказалось благотворно в историческом развитии. Патрокл не Дафнис, созданный праздностью: он необходимое лицо в «Илиаде». Сколько известно, никто не доказывал противного. Да и Троя если не им взята, то без него не была бы взята.

Быть может, теперь наше развитие имеет довольно твердые опоры и без восторженных чувств (а быть может, по недостатку их и замедлилось оно). Но то несомненно, что двадцать лет тому назад энтузиазм этот был очень сильным деятелем в нравственном развитии нашего общества, или, чтобы выразиться точнее, лучших его представителей; и преимущественно его энергическому стремлению обязана своею силою деятельность людей, которым, в свою очередь, мы обязаны тем, что в настоящее время имеем хотя какую-нибудь литературу, хотя какие-нибудь убеждения, хотя какую-нибудь потребность мыслить» [1].

Читатель той поры без труда раскрывал содержащиеся здесь намеки. Если Огарев в той «восторженной дружбе», о которой идет речь, играет роль Патрокла, верного друга и помощника гомеровского героя Ахилла, штурмующего стены Трои, то очевидно, что не названным здесь Ахиллом является Герцен. Ахилл и Патрокл, Герцен и Огарев ставят себе одну цель — взять приступом Трою самодержавия и крепостничества. Но Чернышевский лучше, чем кто-либо, понимал, что наступил момент выступления на политическую арену нового, революционного, теснее связанного с народом поколения разночинцев. Охарактеризовав содержание «Монологов» Огарева и указав на проникающее их «мученье внутренней борьбы», Чернышевский говорит о том, что настало время для «человека, который становится во главе исторического движения с свежими силами». «Мы ждем еще этого преемника, который, привыкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нее; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышалась бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями» [2]. Чернышевский настойчиво подчеркивает, что те, кто готовы пойти за таким человеком, «знают, что если они могут теперь сделать шаг вперед, то благодаря

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 562—564.

[2] Там же, стр. 567—568.

тому только, что дорога проложена и очищена для них борьбою их предшественников, и больше, нежели кто-нибудь, почтут деятельность своих учителей».

Чернышевский гениально определил в этих строках то новое, что революционное поколение, представляемое им, вносило в идейную жизнь России.

Еще так узок был круг революционной интеллигенции, что рассказ Герцена о самом себе и своем друге, об их пути к революции, овеянный поэзией «восторженной дружбы», приобретал громадное воспитательное значение. Молодежи нужен был пример, живой образ их предшественников, поэтическое воплощение революционной традиции. Но Чернышевский ясно видел при этом и те черты духовного склада Герцена, которые принадлежали уже пройденному этапу развития русского освободительного движения.

Герцен, как мы отмечали, пришел к материалистическим основам своего мировоззрения путем длительной и трудной теоретической работы, не раз предаваясь колебаниям, сомнениям. Для самого Чернышевского, а также для шедших за ним лучших представителей молодого революционного поколения разночинцев эти материалистические выводы уже воспринимались — и в значительной мере именно благодаря Герцену — как бесспорные исходные положения, как истина, к которой они привыкли «с детства».

Сам Герцен превосходно понимал, что во второй половине 50-х годов пропаганда материализма должна вестись совсем иными методами, чем в начале 40-х. Теперь уже стало возможно обращение к широкому читателю. Герцен и создает замечательные образцы русской научно-популярной прозы. Таковы «Опыт беседы с молодыми людьми» (1858) и «Разговор с детьми» (1859), напечатанные в четвертой и пятой книжках «Полярной звезды». В этих статьях Герцен с необычайной простотой излагает основы материалистического познания природы.

В первой статье Герцен дает материалистическое объяснение «возникновения всего на свете». «Объяснить образование плесени,— говорит Герцен,— не легче, чем объяснить образование земного шара. Плесень нас не удивляет только потому, что она неказиста, невелика. А ведь было время, что и земной шар был меньше тех

животных, которые тысячами вертятся в одной капле воды. Сделаться большим не так трудно, как *начать расти*... в определенных явлениях все зависит от первого шага, т. е. от начальной встречи необходимых условий; где они соберутся, там и делается *первый шаг,* и, если ничего не помешает, развитие пойдет длинным рядом изменений, смотря по обстоятельствам — в комету, в цветок, в плесень... Миры возникают беспрерывно, так, как плесень и инфузории; они не сделаны, не готовы, а *делаются,*— одни существуют теперь, другие едва образуются, третьи кончают свою жизнь в этой форме. Мы имеем один факт, не подлежащий, так сказать, нашему суду,— факт, втесняющий нам себя, обязывающий нас себя признать; это факт существования чего-то непроницаемого в пространстве — вещества» (13, 53).

Мы привели столь обширную цитату для того, чтобы наглядно представить своеобразие метода изложения и языка Герцена. Герцен указывал в «Опыте беседы с молодыми людьми»: «Вероятно, каждому молодому человеку, сколько-нибудь привычному к размышлению, приходило в голову: отчего в природе все так весело, ярко, живо, а в книге то же самое скучно, трудно, бледно и мертво? Неужели это свойство речи человеческой? Я не думаю. Мне кажется, что это вина неясного понимания и дурного изложения» (13, 50). Язык самого Герцена и способ изложения им материалистической теории «возникновения всего на свете» противоположен той научной прозе, которую он здесь критикует.

Один из важнейших принципов герценовского научно-популярного изложения заключался в том, что, стремясь «сберечь чистоту... воображения» молодых читателей, он «не употреблял, как ни было... это трудно, таких слов, как *притяжение, тяготение, центробежная и центростремительная сила*... я боялся их употреблять и предпочел передавать факты, не означая их именем, потому что незнакомые названия с условным собирательным смыслом заменяют очень часто объяснение, останавливают вопросы; произнося слово, нам кажется, что мы знаем его смысл, что мы определяем самую причину, в то время как мы *только ее называем*» (13, 61—62).

Любопытно, что по своему складу и стилю, по методу изложения эти статьи Герцена очень близки к таким научно-популярным очеркам К. Ф. Рулье, как

«Кротовик, или Растение-диво» (1855), «Мыльный пузырь» (1856), и др. И Герцен и Рулье правильно понимали назревшие потребности и задачи естественнонаучной материалистической пропаганды.

Они стремились привить молодежи научную любознательность, пытливость, последовательность, глубокий материалистический интерес к явлениям природы во всем их богатстве и красочности; они предостерегали против внешних, формальных ответов на трудные вопросы.

Как писал Герцен, «безнравственно на вопрос о причине какого-нибудь явления отвечать вздором только для того, чтоб отделаться. А это-то мы и видим сплошь да рядом.

Отчего, спрашиваете вы, зверь глупее человека? — Оттого, говорят вам, что у зверя *инстинкт,* а у человека *ум.* Неужели этот ответ дельнее того, который бы кто-нибудь сделал на вопрос:— отчего близорукий видит хуже других? — оттого, что он миоп. Или, еще лучше, слабые глаза — назвал бы одним именем, а сильные глаза другим и дал бы вам это за объяснение» (13, 52).

Этот же пример был использован Рулье: «Спросят нас, например: отчего то или другое животное делает то или другое? Мы, не мешкая, не имея никаких исследований и данных по предмету вопрошающего, говорим: это по инстинкту. Спросите вы: отчего такое-то животное не делает того-то, а другое того-то? — и мы опять, не обинуясь, говорим, не приискивая данных, которые можем иметь: это по инстинкту, как будто не замечаем, что в нашем объяснении нет ни содержания, ни объяснения и что мы на вопрос бросили звук, звучащий пустотою и потому громко звучащий. Да, мы убеждены, что инстинкт в большей части случаев — злоупотребляемое словцо, что за ним кроется вопрос, на который наука не нашла еще нужного объяснения; часто также инстинкт — пустое словцо, которое мы легко бы могли заменить удовлетворительным объяснением, основываясь на том, что добыла уже наука» [1].

Такой метод изложения, бесспорно, сыграл свою роль в формировании русского философского языка, который одновременно получал творческое развитие в

---

[1] К. Ф. Рулье, Избранные биологические произведения, изд. АН СССР, 1954, стр. 440—441.

работах Чернышевского, а несколько позднее в сочинениях Писарева. Этот язык передавал высшее для своего времени научное содержание в форме, доступной массовому читателю. С замечательной конкретностью и наглядностью Герцен заимствует примеры и сравнения из повседневного быта и просторечия.

В этом отношении чрезвычайно показателен пример, используемый Герценом в «Разговоре с детьми» для подтверждения материалистического ответа на вопрос о том, «может ли душа существовать без тела?». «Что сказали бы вы человеку, который бы вас спросил: «Может ли черная кошка выйти из комнаты, а черный цвет остаться?» Вы его сочли бы за сумасшедшего — а оба вопроса совершенно одинакие» (14, 212). Научно-популярные статьи Герцена действительно помогали молодому революционному поколению «с детства» воспринимать материалистический и диалектический взгляд на мир.

Но лучшие представители этого поколения уже начали опережать Герцена. Чернышевский требовал от вождя передовой интеллигенции такой «бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи», которою не всегда обладал Герцен. Непоколебимая вера в растущую историческую активность народных масс позволяла Чернышевскому гораздо более уверенно, чем Герцен, смотреть на взаимоотношения жизни и передовой теории, народа и передовых людей. Впоследствии сам Герцен должен был признать, что сила и твердость духа и мысли нового революционного поколения представляют собою нечто, дотоле невиданное в русской общественной жизни. Но в середине 50-х годов те слабые стороны духовного склада Герцена, которые впоследствии вызвали резкую критику со стороны молодой революционной демократии и серьезные расхождения между нею и редактором «Колокола», были заметны лишь такому гениально прозорливому революционному вождю, каким был Чернышевский. Среди молодежи тогда царило восторженное отношение к Герцену.

Во второй книжке «Полярной звезды» было помещено письмо из России, в котором мы читаем: «Ваша «Полярная звезда» показалась на петербургском горизонте, и мы приветствуем ее, как некогда вифлеемские пастыри приветствовали ту светлую звезду, которая

загорелась над колыбелью рождающейся свободы. Если бы вы видели, с каким энтузиазмом читают ее, переписывают статьи, пересказывают их содержание, повторяют самые выражения ваши, это доставило бы вам не одну сладкую минуту в печальном изгнании. Все благородные сердца молодого поколения... вам сочувствуют». Автор письма, правильно расценивая изменившуюся атмосферу русской общественной жизни, предсказывал: «Можете быть спокойны, у вас не будет недостатка в сотрудниках»,— и посылал Герцену рукописную копию статьи последнего «Москва и Петербург», в подтверждение того, «как свято сберегаются у нас ваши рукописи» [1].

Автор этого письма неизвестен. Но дневник Добролюбова подтверждает, что эти уверения не были преувеличением. Добролюбов так же благоговейно относился к произведениям Герцена и занимался их популяризацией, давая читать, например, «Кто виноват?» знакомым. В январском дневнике 1857 года Добролюбов рассказывает о том, как увлекла его вторая книжка «Полярной звезды»: «С 10 часов (вечера.— *Я. Э.*) начал я чтение и не прерывал его до пяти утра... Закрывши книгу, не скоро еще заснул я... Много тяжелых, грустных, но гордых мыслей бродило в голове...» А наутро Добролюбов принялся за очередные дела лишь «полюбовавшись еще раз на портрет Искандера» [2].

Слово Герцена дошло не только до его преемников, но и до его предшественников — декабристов. И. Д. Якушкин, один из наиболее замечательных и последовательных представителей поколения дворянских революционеров, материалист и атеист по своим убеждениям, писал из Сибири (письмо это, вероятно, не было получено Герценом): «Полярная звезда» читается даже в Сибири, и ее читают с великим чувством; если бы вы знали, как бы этому радовались. Я уже не говорю о людях, [которые] сочувствуют вашим убеждениям и ценят вполне прекрасное ваше направление и благородный труд ваш, но даже и те, которые не имеют никаких убеждений, никакого направления, читая вашу

---

[1] «Полярная звезда», книжка вторая, стр. 252, 254.

[2] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. VI, Гослитиздат, М. 1939, стр. 451.

книжку, и они находятся под каким-то обаянием, невольно грудь их расширяется, и они чувствуют, что дышат свободнее... Вы... говорите как свободный русский человек, и свободная ваша речь для всякого русского человека как будто летящий от родины глас» [1].

В отличие от либеральных московских приятелей Герцена 40-х годов и даже просветителя Грановского, узник царизма, революционер-декабрист Якушкин правильно понял огромное значение создания вольной русской печати и глубоко сочувствовал делу Герцена.

«Полярную звезду» читали в далекой Сибири и иных местах ссылки и другие декабристы. Следует отметить в этой связи, что в «Полярной звезде» был в дальнейшем помещен целый ряд материалов, принадлежащих перу декабристов: их воспоминания, письма и т. п.

Вообще издания Герцена начали получать все более широкое распространение.

Что же касается московских приятелей Герцена, то их отклик на «Полярную звезду» показал, что единства в этом кругу уже не было.

2. «Полярная звезда» и Грановский

Еще в письме 1854 года Грановский признал, в сущности, плодотворность начатого Герценом дела издания русских книг за границей. Грановский писал тогда Герцену: «Из сочинений твоих некоторые дошли и к нам. Друзья твои прочли их с жадностью, любовью и грустью. От них веет нашею прошлой, общей молодостью и нашими несбывшимися надеждами». Грановский прочитал «Тюрьму и ссылку» и писал по поводу ее Герцену: «Если ты хочешь действовать на мнение у нас, не печатай таких вещей, как песня Соколовского. Она оскорбила многих, которые иначе остались бы довольны книгой и согласились бы с нею» [2]. По-видимому, Грановский считал, что помещенная в «Тюрьме и ссылке» песня Соколовского, в которой верующие люди склонны были усмотреть не только издевку над

[1] «Былое», 1906, № 4, стр. 188—189.
[2] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 447—448.

Николаем I, но и богохульство, могла отпугнуть от Герцена и его книги широкие круги оппозиционной по отношению к самодержавию интеллигенции. Однако общая оценка Грановским «Тюрьмы и ссылки», данная здесь, несомненно положительна.

Обыкновенно в доказательство отрицательного отношения Грановского к издательской деятельности Герцена, и в частности к «Полярной звезде», приводят его письмо от 2 октября 1855 года к Кавелину, написанное под впечатлением рассказов московского врача Пикулина, гостившего у Герцена осенью того же года. Грановский говорит в этом письме о Герцене: «Утешительного и хорошего мало. Личность осталась та же, нестареющая, горячая, благородная, остроумная, но деятельность ничтожная и понимание вещей самое детское. Для издания таких мелочей не стоило заводить типографию. Сотрудники у него настоящие ослы, не знающие ни России, ни русского языка... Его собственные статьи напоминают его остроумными выходками и сближениями, но лишены всякого серьезного значения. И что за охота человеку разыгрывать перед Европой роль московского славянофила, клеветать на Петра Великого и уверять французских эмигрантов в существовании сильной либеральной партии в России. У меня чешутся руки отвечать ему печатно в его же издании (которое называется «Полярной звездой»)... В первой книжке П. З. напечатана переписка Гоголя с Белинским. Представь себе, что при всем том Александр Иванович мечтает о возврате в Россию и даже хотел в следующем году прислать сына в Московский университет. Каков практический муж!»[1]

Либерал и монархист Б. Н. Чичерин ссылался на это письмо, как на доказательство полного согласия, существовавшего между ним и Кавелиным, с одной стороны, и Грановским, с другой, в их отношении к Герцену. Ссылка эта была тем более удобна, что письмо было написано за два дня до смерти Грановского и, таким образом, могло быть рассматриваемо как политическое завещание последнего, верными исполнителями которого Чичерин и Кавелин якобы и явились.

На самом деле позиция Грановского и в данном

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 455—456.

случае сохраняет своеобразие и отнюдь не может быть отождествлена с позицией либералов того времени.

Как явствует из письма, Грановский признает целесообразность организации Вольной русской типографии в Лондоне, но пытается критиковать Герцена за якобы неправильное использование ее. Однако у самого Грановского, в противоположность Герцену, явно заметно неверие в назревающий демократический подъем в России.

Грановский был в московском кружке самым последовательным просветителем. Отсюда его непримиримая и с годами все более крепнувшая, полная презрения враждебность по отношению к славянофилам, отсюда его резкая критика славянофильских, с его точки зрения, уклонов в герценовской пропаганде.

В вышеуказанном письме Герцену, относящемуся к 1854 году, Грановский писал: «Зачем ты бросил камень в Петра, вовсе не заслужившего твоих обвинений, потому что ты привел неверные факты. Чем более живем мы, тем колоссальнее растет перед нами образ Петра. Тебе, оторванному от России, отвыкшему от нее, он не может быть так близок и так понятен; глядя на пороки Запада, ты клонишься к славянам (то есть к славянофилам. — *Я. Э.*) и готов им подать руку. Пожил бы ты здесь, и ты сказал бы другое»[1].

Решительный враг крепостничества, но не социалист, Грановский считал отсталость тогдашней России, азиатчину ее быта несравненно более опасными, чем буржуазные «пороки Запада», на которые он, однако, не закрывал глаза, как это было, например, свойственно Боткину.

Поэтому он выступал даже против критики Герценом бюрократических и варварских методов деятельности Петра I, хотя Герцен рассматривал эту деятельность в целом как «политику прогресса» (12, 355).

Позднее, в феврале 1857 года, в статье «Еще вариация на старую тему», напечатанной в третьей книжке «Полярной звезды», Герцен ответил на упреки Грановского, подобные которым он слышал и от Тургенева.

Статья эта проводит грань между позициями демократа Герцена, с одной стороны, и таких просветите-

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 448.

лей, как Грановский и Тургенев [1], колебавшихся между либерализмом и демократизмом, — с другой.

Прежде всего Герцен вновь и вновь обосновывает свое право на критику западноевропейского буржуазного общественного порядка и его культуры. При этом он противопоставляет «теперешнюю жизнь в Европе» ее выработанным веками передовым революционным идеям, величайшую плодотворность которых для русского развития он как революционный просветитель безусловно признает: «Вы любите европейские идеи — люблю и я их, — это идеи всей истории... Россия *с ними и только с ними* может быть введена во владение той большой доли наследства, которая ей достается» (12, 425).

Герцен верно нащупал самое слабое место склоняющегося к либерализму просветительства, когда, говоря о «страшной болезни, под которой ломится Европа», заявлял: «Отворачиваться от ее ран и проповедовать поклонение *не только идеям*, которые она выработала и с которыми не может сладить в ее современной жизни... невозможно» (12; 424—425).

Герцен последовательно выступал против всякого прикрашивания буржуазного общественного строя. Вместе с тем в его оценках революционных перспектив Западной Европы начинали уже появляться оптимистические ноты, особенно заметные в сопоставлении с его воззрениями периода написания «С того берега».

В черновом наброске одной статьи, относящейся к 1854 или 1855 году, Герцен, имея в виду Европу, даже высказал надежду: «Я еще верю в старушку» (12, 503), но затем вычеркнул эти слова.

В рассматриваемой статье Герцен опять повторяет пессимистическое предположение свое: «Может быть, что вся творческая способность западных народов истратилась» (12, 425), но, говоря об этом лишь как о возможности, допускает вместе с тем два противоположных выхода: «Вырвут ли забитые массы из рук монополистов силы, развитые наукой, всю эту совокупность технических улучшений быта человеческого, и сделают ли из них общее достояние; или собственники,

---

[1] Я вовсе не касаюсь здесь индивидуальных отличий их взглядов. — *Я. Э.*

опираясь на правительственную силу и на народное невежество, подавят массы?» (12, 426).

Сомневаясь еще в близости социалистического переворота на Западе, Герцен твердо верил в будущую демократическую и социалистическую Россию. В этом заключалась его сила по сравнению с Грановским и Тургеневым. В 1854 году Герцен повторил слова, сказанные им еще в статье «Русский народ и социализм» в 1851 году: Россия «не восстанет только для того, чтоб отделаться от царя Николая и получить в награду представителей царей (под «представителями» здесь разумеются буржуазные парламентарии. — *Я. Э.*), судей-императоров, полицию-деспотов» (5, 223).

Ответил Герцен также на попреки в том, что «мое воззрение на Россию сближает меня с славянофилами» (12, 423).

Однако ответ Герцена по этому вопросу очень противоречив. С одной стороны, он заявляет, что от славянофильских журналов «веет застенком, рваными ноздрями, эпитимьей, покаяньем, Соловецким монастырем. Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс III Отделение. И будто я сблизился с этими дикими по сочувствию, по выбору, по языку?» (12, 424). Но, с другой стороны, Герцен как народник пытается найти себе союзников если не в славянофилах, то в «некоторых из их мыслей». Герцен вновь, как и в книге «О развитии революционных идей в России», принимал за чистую монету разглагольствования славянофилов о народе, об их вере в народные силы. Поэтому он приходил к парадоксальному выводу: «Вот отчего, любезный друг, вы нашли созвучную струну в моем направлении и в направлении — более нежели ложном, вредном и опасном — московских литературных старообрядцев, этих православных иезуитов, наводящих уныние на всякого живого человека» (12, 436).

Грановский и Тургенев более последовательно, нежели Герцен, оценивали в то время идейные позиции славянофилов, однако и в этой плоскости Герцен обладал одним преимуществом. Проницательный политик, он гораздо лучше Грановского и Тургенева понимал, что споры 40-х годов на теоретические и литературные темы отошли в прошлое, что назрело время для постановки острых политических вопросов: «Вопро-

сы один другого важнее, один другого неотлагаемее возникают со всех сторон; прибитые к земле надежды оживают, — хочется знать, что думают у нас об освобождении крестьян, об уничтожении духовных и телесных побоев (цензуры и палки), об обуздании чиновничьего грабежа, полицейского самоуправства, — и вместо того читаешь схоластические прения о местничестве народов, о национальности истины» (12, 424).

Как показали ближайшие годы, именно в конкретных и жгучих вопросах политического «сегодня» либералы-западники и славянофилы легко договаривались между собою...

У Грановского в 50-х годах не было ни герценовской демократической веры в будущее, ни либеральной готовности довольствоваться жалкими подачками царизма. Ни в правительстве, ни в либералах, ни в народе он не видел залога осуществления своих стремлений. В этом были корни его пессимизма, не имевшего ничего общего с дешевым либеральным благодушием той поры.

Бесполезно гадать о том, какова была бы позиция Грановского в конце 50-х и начале 60-х годов, в период резкого подъема русского революционно-демократического движения. Но бесспорно, что Грановский и в 50-х годах не только оставался верен передовым идеалам 40-х, но даже освободился от того романтического идеализма, который привел его в 1846 году к теоретическим расхождениям с Герценом и Огаревым.

Еще в январе 1848 года Огарев писал Герцену: «Грановский отделался от предрассудков, и теоретической дальности между нами не существует»[1].

Известие о смерти Грановского, последовавшей на сорок втором году жизни, в октябре 1855 года, произвело на Герцена потрясающее впечатление. Он писал Рейхель: «Ваше письмо пришибло меня так, как с 52 года я не был пришиблен... сначала не вымерил все страшное, — так сделалось темно... А теперь сижу и плачу, плачу...» (VIII, 238—239). В «Былом и думах», в очерке, напечатанном в четвертой книжке «Полярной звезды» (1858), Герцен запечатлел дорогие ему черты, создав великолепный портрет друга и показав, что Гра-

[1] «Литературное наследство», т. 61, стр. 772.

новский «сумел в мрачную годину гонений от 1848 года до смерти Николая сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и... примиряющая стихия» (9, 122).

Грановский называл в 1853 году своей «лучшей, отраднейшей мечтой» увидеть Герцена (XIII, 118). А когда между ним и Огаревым легли тени, брошенные сплетнями московских приятелей, столь возмущавшими Герцена, Грановский писал Огареву: «...мысль о разрыве с тобою так страшна, как мысль о смерти» [1].

Герцен, Огарев, Грановский, каждый по-своему, не на словах, а на деле оставались верны передовым идеалам и стремлениям, которые они разделяли в 40-х годах. В этом было объединявшее их резкое отличие от московского кружка Кетчера, Боткина и других. Как к этому кружку, и в частности к Кетчеру, относился незадолго до своей смерти Грановский, показывает его письмо 1854 года к Е. Ф. Коршу. Напоминая Коршу об атмосфере дружеского круга 40-х годов, Грановский пишет: «Тогда мы были молоды, и скольких нет более между нами. Сколько жизни и ума и сердца было в наших сходках, а теперь? Сказать ли тебе правду? Я люблю по-прежнему Кетчера, но говорить с ним мне едва ли приходится раз или два в год. Не о чем. Он застыл на известных понятиях и во многом пошел назад» [2]. А Герцен писал в 1856 году Рейхель, основываясь на рассказах московских знакомых о Кетчере, что последний «все так же неподвижно восседает, все так же бранится, капризничает и с летами стал еще притеснительнее» (VIII, 280). Именно духовную неподвижность, «отсутствие внутренней работы» подчеркивает Герцен, рисуя позднее портрет Кетчера в «Былом и думах».

Чичерин же в своих воспоминаниях попытался бранчливость Кетчера, ожесточенное отстаивание им своих мнений изобразить как проявление не косности, а прямоты, приведшей его, мол, к преклонению перед

---

[1] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 450.
[2] Там же, стр. 470.

реформами Александра II. Чичерин извращал истину, когда утверждал, что «с Грановским... Кетчер, при всей разности мнений, никогда не расходился»[1]. Чичерин и Кавелин пытались изобразить Грановского типичным либералом и врагом «крайностей». Они затушевывали идейное постоянство и твердость Грановского, для которого кафедра была единственно возможной тогда в России трибуной. Грановский, писал Чернышевский, «был русский и сознательно действовал в духе своего положения, сообразно потребностям своей родины»[2].

3. «Полярная звезда» и Чичерин и Кавелин

Иначе, чем Грановский, отнеслись к «Полярной звезде» и литературным выступлениям Герцена Чичерин и Кавелин. Оба эти представителя одного и того же политического течения — дворянского либерализма — были людьми разных личных качеств и характеров, что сказывалось на *оттенках* их общественных позиций, в частности на их отношении к Герцену.

Человек рассудочный, холодный, педантически последовательный в отстаивании своих либерально-монархических воззрений, Чичерин в враждебности к демократии и социализму был столь откровенен, что нередко даже шокировал собратьев-либералов. Герцен справедливо охарактеризовал Чичерина как ученого-доктринера, лишенного настоящего, живого понимания действительности. Л. Н. Толстой, одно время находившийся в дружеских отношениях с Чичериным, затем осознавший свою решительную внутреннюю враждебность ему, в неотправленном письме 1861 года писал Чичерину: «Мы... взаимно презираем склад ума и убежденья друг друга. Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убеждения, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды...»[3]

Интересно, что Герцен после первой же встречи

---

[1] Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, стр. 192.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 632.

[3] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 60, Гослитиздат, М. 1949, стр. 380.

ощутил себя органически чуждым Чичерину; с другой стороны, Герцен и Толстой, несмотря на глубокое различие их мировоззрений, очень быстро сошлись и почувствовали взаимную симпатию. Герцен и Толстой были именно теми людьми, убеждения которых приобретались «страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды».

Самонадеянный и самодовольный, высокомерный и черствый, кичившийся своей ученостью и считавший себя несравненно выше Чернышевского и Щедрина, небрежно поучавший Толстого в области эстетических вопросов, враг русских народных масс, помещик и монархист, Чичерин должен был стать врагом Герцена.

Иным человеком, нежели Чичерин, был по своим личным качествам Кавелин. К кружку Грановского — Герцена 40-х годов и лично к Искандеру он стоял гораздо ближе Чичерина. Это был человек экспансивный, восторженный на словах, склонный к громким фразам. В дружеском кругу Кавелина часто и не без иронии называли «вечным юношей». Впоследствии Чернышевский в «Прологе», в образе Рязанцева, оставил довольно точный портрет Кавелина, обнажив при этом его подлинную сущность. В изображении Чернышевского Рязанцев «создан был очаровывать невинных; грациозный и важный, живой и солидный, он всегда сиял добродушием и умом, любезностью и чувством своего значения в движении русского прогресса. Он... осыпал длинными, мудреными словами, звучавшими как-то невинно и приятно, и оставлял каждого в восхищении от того, что такой ученый человек предположил его понимающим все эти прекрасные слова». Но за «прекрасными словами», за восторженными фразами, за внешней горячностью скрывалось у Кавелина, так же как и у Чичерина, расчетливое, лицемерно-подлое и холопское нутро либерального помещика. Особенно наглядно двуличие Кавелина выступает в его письмах Герцену, который долго не замечал, как существенно разнятся слова и дела его корреспондента.

Письма Кавелина к Герцену полны страстных и громогласных уверений в преданности и любви, уверений, которые доходят до самоуничижения. Так, Кавелин пишет в 1857 году: «Для тебя я был эпизодом в твоей жизни, более или менее приятным. Ты же был для

меня пищей и школой; мне кажется, я и теперь могу проследить и ощупать жилы и нервы, образовавшиеся в моем характере под твоим влиянием, в которых ты живешь во мне». В другой раз Кавелин пишет: «К любви прибавилось благоговение... Я вижу в тебе... первого человека в целой Европе. Ты с Белинским и Грановским играли самую большую роль в моей жизни»[1].

Но, заявляя о своем преклонении перед Герценом, о том, что он столь многим обязан его духовному влиянию, Кавелин на деле предательски боролся с идеями Герцена, отстаивал взгляды и позиции, решительно последнему враждебные, хотя тут же вилял и лицемерил. Когда началось отмежевание либералов от Герцена, Кавелин, например, был менее прям, нежели Чичерин. В письмах к Герцену он не прочь был даже третировать Чичерина, называя его «четырехугольной башкой»[2]. Но в конечном счете Кавелин с некоторым опозданием занимал каждый раз ту же самую политическую позицию, которую несколько ранее его отстаивал Чичерин.

Чичерин и Кавелин, несмотря на свое принципиальное несогласие со взглядами Герцена в обстановке общественного подъема середины 50-х годов, сочли целесообразным использовать возможности, которые открывала герценовская Вольная типография. Они послали Герцену ряд рукописей, сопровождая их, однако, резкой критикой позиций Герцена[3]. Как сказал впоследствии Чичерин, «направление Герцена, выраженное им в «Полярной звезде» и в разных речах и брошюрах, было до такой степени противно нашим целям и убеждениям, что мы нашли вместе с тем нужным послать ему письмо с заявлением несогласия с его взглядами»[4].

Присланные Чичериным и Кавелиным статьи были скорее похожи на тяжеловесные либерально-бюрократические «записки», обращенные к царскому правительству, нежели на горячую и острую публицистику. Характер этих статей исключал возможность их опуб-

---

[1] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Женева, 1892, стр. 3, 4, 9, 11.

[2] Там же, стр. 58.

[3] См. статью В. Н. Розенталь «Первое открытое выступление русских либералов в 1855—1856 гг.» («История СССР», 1958, № 2).

[4] Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, 1929, стр. 172.

ликования в «Полярной звезде». В письме к Рейхель Герцен отзывается о них так: «Статьи русские печатаю, а плохи (то есть часть их очень подло написана) с нашими-то выражениями, напоминающими переднюю и Епифанова» (VIII, 325). (Герцен имел здесь в виду упоминаемого в «Былом и думах» Епифанова, старосту в одном из отцовских имений, писавшего барину подобострастно-неуклюжие отчеты.)

Присылка такого рода статей, не удовлетворявших Герцена по своему существу, имела, тем не менее, положительное политическое значение как признак роста оппозиционных настроений в России. Поэтому Герцен решил печатать эти материалы в особом издании «Голоса из России», по отношению к которому он ограничивался ролью издателя, а не редактора.

В 1859 году в одной из своих статей Герцен счел необходимым особо оговорить, что «никогда не брал на себя нравственной ответственности за «Голоса», и отметил, что помещенные в этом издании статьи «писаны в умеренно либеральном духе» (14, 17).

Девять выпусков «Голосов из России» появились в 1856—1860 годах.

Письмо Кавелина и Чичерина, напечатанное за подписью «Русский либерал», открывало собою первый выпуск «Голосов из России». В нем Чичерин и Кавелин прямо указывали, что они являются противниками революционных и социалистических взглядов Герцена. «К нам,— писали они, имея в виду Россию и русский народ, — революционные теории не только не приложимы: они противны всем нашим убеждениям и возмущают в нас нравственное чувство. Ваши революционные теории никогда не найдут у нас отзыва, и ваше кровавое знамя, развевающееся над ораторскою трибуной, возбуждает в нас лишь негодование и отвращение... Но вы, социалисты, кажется, всего этого не сознаете».

Из всего напечатанного в «Полярной звезде» и вообще опубликованного Герценом в Лондоне «единственной статьей, написанной с должным благоразумием», Чичерин и Кавелин считали выше охарактеризованное письмо к Александру II, осуждая вместе с тем примечание к нему, содержавшее оговорки и признание того, что оно написано «сгоряча» (VIII; 323, 324).

Впрочем, нельзя сказать, что Кавелину и Чичерину в «Полярной звезде» понравилась только эта статья. Позднее, в письме к Герцену от 1857 года, Кавелин признавался: «Живое единогласное искреннее сочувствие вызывают собственно твои воспоминания из прошлой твоей жизни, где так мастерски рисуются твои Erlebnisse (пережитое. — *Я. Э.*) в России; да еще сильное участие возбуждают «Голоса из России». Остальное более отчуждает от твоих изданий, чем привлекает к ним, и вредит тебе во мнении всех»[1]. Чичерин, самым резким образом критикуя в своих воспоминаниях политическую линию «Колокола», заявлял вместе с тем: «Былое и думы» я всегда перечитываю с истинным наслаждением, так тепло, умно и изящно изображено в нем прошлое»[2].

Действительно, «Былое и думы» содержат «теплое и изящное» изображение прошлого — жизни русских передовых людей 30—40-х годов. Но подлинными наследниками этого прошлого были не либералы Чичерин и Кавелин, а новое поколение русских революционеров. Это подчеркивал, как мы видели, Чернышевский, понимавший огромное революционно-воспитывающее значение «Былого и дум». Герцен оглядывается назад, нежно и гордо вспоминает о прошлом, но именно потому, что видит в нем замечательные примеры глубочайшей преданности русских людей передовым идеалам, видит полную отваги и последовательности борьбу русской передовой мысли тех лет. В первой же книжке «Полярной звезды» содержался, например, лучший в нашей литературе, далеко превосходящий соответствующие зарисовки Тургенева и Гончарова, портрет Белинского — «этой мощной гладиаторской натуры», «сильного бойца»[3].

«Отшельники мысли, схимники науки, фанатики убеждений, у которых седеют волосы, а стремленья вечно юны...» (9, 45) — так Герцен гордо характеризовал участников кружков 40-х годов. Подлинный пафос «Былого и дум» — это пафос неутомимых, неустанных

---

[1] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 7.

[2] Б. Н. Чичерин, Путешествие за границу, М. 1932, стр. 37.

[3] «Полярная звезда», книжка первая, стр. 99.

исканий русского передового человека, не раз терпящего тяжкие поражения, порой впадающего в мучительнейший скептицизм и пессимизм, но наперекор своим сомнениям и колебаниям идущего вперед, к «правильной революционной теории», по выражению Ленина [1].

Этот пафос исканий Герцена был коренным образом чужд Чичерину и Кавелину. Им в прошлом дороги были не образы «схимников науки» и «фанатиков убеждений», не боевое мужество Белинского, не постоянство Грановского, не богатство и глубина духовной жизни самого Герцена — словом, не то, что в прошлом принадлежало будущему, а самые отсталые, исторически обреченные черты прошлого. В кружках 40-х годов Кавелин и Чичерин ценили именно те их особенности, в которых отразилась исторически обусловленная ограниченность: узость этих кружков *дворянской* интеллигенции, отдаленность их от народа, мечтательность и неопределенность стремлений некоторых участников. Кавелину и Чичерину был чужд герценовский взгляд на эти кружки. По словам Герцена, в 30-х годах «Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками... а в них было наследие 14 декабря — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси». «Самое появление кружков... было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни» (9; 35, 38). В 40-х годах эти кружки действительно сыграли крупную историческую роль.

Кавелин и Чичерин боялись «России будущего», Герцен же свое патриотическое чувство называл пророчеством. Рассказ Герцена о русской жизни 30—40-х годов, с одной стороны, и с другой — его страстная публицистика, передающая пережитые им искания и сомнения после поражения революции 1848 года, казались Кавелину и Чичерину почти не связанными между собою, легко отделимыми, даже чуждыми друг другу. На самом деле, между воспоминаниями и публицистикой Герцена существовала теснейшая внутренняя связь.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.

Так, во второй книжке «Полярной звезды» (1856) Герцен, как мы уже упоминали, впервые опубликовал главы, рисующие его детство и отрочество. Герцен доводит здесь рассказ о дружеском круге 30-х годов до кануна ареста и тюрьмы. Он говорит: «Этим оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но, прежде нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас».[1]. И далее следует последняя глава[2] части — «Детская и университет», как бы подводящая идейный итог юности и указывающая, что социализм и реализм были теми «пробными камнями», брошенными «на путях революции и науки», которые определяют собою политический и философский водораздел между «двумя вечными партиями» — между партией революционной и социалистической, с одной стороны, и партией либеральной — с другой.

Затем Герцен под общим заголовком «Западные арабески» публикует ряд глав и отрывков из «Былого и дум», посвященных эпохе революции 1848 года. Вспомним, что «Тюрьма и ссылка» вышла отдельным изданием еще в 1854 году, а часть, получившую впоследствии название «Владимир на Клязьме», героиней которой является Наталья Александровна, Герцен еще не решался печатать; главы же, рисующие кружки 40-х годов, в первом своем варианте появились в первой книжке «Полярной звезды», вышедшей в 1855 году. Тем не менее, переход от «Детской и университета» к «Западным арабескам» не получился искусственным, и эта журнальная публикация «Былого и дум» оказалась внутренне целостной и единой.

В «Западных арабесках», в том их виде, в каком они появились во второй книжке «Полярной звезды», перед читателем проходит «изящное сновидение», навеянное итальянским национально-освободительным движением, поэтическими образами Рима тех дней («Сон»); дальше следуют зарисовки кровавых июньских дней 1848 года («В грозу»), их сменяют главы, полные зло-

---

[1] «Полярная звезда», книжка вторая, стр. 168.

[2] Следует оговориться, что мы здесь цитируем журнальный текст «Былого и дум», композиция которых в дальнейшем подвергалась коренным изменениям и существенным дополнениям.

вещих предчувствий, предвещающие страдания, несчастия, утраты («Приметы», «Тифоидная горячка»). Заключаются «Западные арабески» одним из самых пламенных и глубоко лирических публицистических монологов Герцена «Il Pianto» («Плач»).

В страстных и горьких строках этого «Плача» отражается сознание Герцена «бессилия идеи, отсутствия обязательной силы истины над действительным миром»[1]. Под «идеей» и «истиной» он понимает утопическую идею и отвлеченную истину.

Революция, вдохновленная такой истиной и такой идеей, «должна была быть побежденной»[2]. Герцен переживал, по выражению Ленина, «крах *буржуазных иллюзий* в социализме»[3]. Разочарование Герцена было разочарованием не в революции вообще, а в революциях буржуазных, которые были, по его выражению, «сбиты с дороги мещанством»[4].

В постскриптуме к «Плачу» Герцен, констатируя противоположность классовых интересов внутри западноевропейских государств, «спаянных из двух народов, которых особенности поддерживаются совершенно разными воспитаниями», вместе с тем склонен характеризовать рабочих как «неимущих мещан, которые хотят вырвать из их (мещан-собственников. — *Я. Э.*) рук достояние»[5]. Таким образом, Герцен как бы допускает, что будущая борьба пролетариата не будет в состоянии свергнуть устои буржуазного порядка.

Так вновь и вновь сказывается то, что Герцен, как говорил Ленин, остановился перед историческим материализмом. Непонимание Герценом исторической роли пролетариата, обусловленной материальными условиями развития общества, мешает ему уяснить себе подлинные исторические закономерности, заставляет его придавать чрезмерное значение «случайному, глупому, неудавшемуся, спутанному» в природе и истории.

Тем не менее разочарование Герцена не было бесплодным, оно поставило его перед необходимостью

---

[1] «Полярная звезда», книжка вторая, стр. 203.
[2] Там же, стр. 199.
[3] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
[4] «Полярная звезда», книжка вторая, стр. VII.
[5] Там же, стр. 213.

найти и изучить «истину историческую», противопоставляемую «истине логической»[1].

Научную, историческую истину Герцен ищет неустанно. Он пишет проникновенные строки, в которых перед нами встает как бы образ сознания, стремящегося к научно обоснованному социализму, не достигшего его и понимающего это, но вместе с тем справедливо видящего в самом стремлении своем исторически плодотворный вклад в духовное развитие человечества: «Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы его спохмелье, мы его боли родов»[2].

Герцен чрезвычайно высоко ценил «Западные арабески». Он писал о них Рейхель 31 марта 1856 года: «...я ужасно за них стою и думаю, что это — самое художественное из моих писаний и самое злое...» (VIII, 266).

«Плач» и «Западные арабески» в целом говорили об идейном пути человека, детство, отрочество и университетские годы которого были обрисованы в первой части «Былого и дум». «Западные арабески» были обрамлены обращениями к московским друзьям, но эти нежные и трогательные строки говорили не столько о верности близким, сколько о верности родине, верности передовым революционным и социалистическим стремлениям, приведшим Герцена к непримиримому конфликту с буржуазным обществом.

При непосредственной близости полных скорби и горечи «Западных арабесок» к столь светлой первой части «Былого и дум» особенно наглядным становилось не только то, как много Герцену пришлось выстрадать, но и то, как он закалялся в этих испытаниях и неустрашимо шел к познанию той правды, от которой пытались отговориться Чичерин и Кавелин.

Герцен всегда верил в будущую свободную демократическую и социалистическую Россию. Русь с ее «не-

---

[1] «Полярная звезда», книжка вторая, стр. 201.
[2] Там же, стр. 206.

исчерпаемой, здоровой мощью», так ярко проявившейся в «богатырской защите Севастополя», Герцен звал: «Вперед! Вперед!» (так озаглавлена передовая статья второй книжки «Полярной звезды»).

Позднее он так характеризовал исторический период, наступивший после войны 1854—1856 годов: «Крымская война имела целью повредить России, но только ей и принесла пользу. Веревки, которыми мы были связаны по рукам и ногам, ослабли, перетерлись во время войны, испуганный тюремщик сам помер. Осадой Севастополя началось освобождение крестьян, призыв к оружию был призывом к мысли; и Россия с тех пор идет мощно вперед по широкой дороге...» (14, 99).

Герцен не опасался резких, крутых переломов в русской жизни и оптимистически смотрел в будущее, в то время как Кавелин и Чичерин боялись именно этого будущего. В письме к Герцену, относящемуся к августу 1857 года, Кавелин говорит: «Невольно овладевает умом раздумье и ужас... Все валится, все разрушается, ничего пока не создается... Какое-то тревожное ожидание тяготит над всеми, но ожидание бессильное; словом, все признаки указывают в будущем, по-видимому недалеком, на страшный катаклизм...»[1] Кавелин трепетал перед революционно-демократическим переворотом в русской жизни. Буржуазный порядок Западной Европы был для него святыней.

Враждебность Кавелина и Чичерина, полное молчание Кетчера, Боткина и некоторых других бывших московских приятелей ясно показали Герцену, как далеко вперед ушел он от былого московского дружеского круга, как, в сущности, чужд стал ему этот последний.

В сентябре 1856 года Герцен писал Рейхель: «Москва для меня утратила половину своего значения с тех пор, как Огарев здесь, а Грановск<ий> в могиле... с Кетчером мы были бы опять на ножах через день; с другими я далеко расхожусь во всем. Посмотрите статью Кавел<ина>» (VIII, 338).

---

[1] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 4, 5.

IV. «КОЛОКОЛ» В 1857—1860 ГОДАХ

1. Организация «Колокола», его распространение и общий характер издания.—Революционная агитация Герцена

К 1857 году распространение вольной русской печати — листков, брошюр и книг — расширилось очень значительно. Тиражи росли и расходились полностью; типографские расходы стали окупаться, в чем Герцен справедливо видел убедительное доказательство большого успеха и зрелости начатого им дела. Но жизнь ставила все новые и новые задачи, требовала других форм печатной агитации и пропаганды. С точки зрения задач, выдвигавшихся политическим «сегодня», «Полярная звезда» не удовлетворяла. Уже во второй книжке «Полярной звезды», вышедшей в мае 1856 года, то есть с запозданием почти на пять месяцев против обещания, данного в первой книжке, Герцен вынужден был заявить: «При тех условиях, при которых издается наше обозрение, правильной периодичности быть не может... «Полярная звезда» может только быть сборником, являющимся раза два в год без определенного времени» (12, 457).

Форма альманаха, каждая книжка которого должна была быть довольно объемистой, оказалась в данной обстановке неудобной как по соображениям политическим (невозможность быстрого отклика на политические события), так и техническим (затруднение с нелегальной доставкой в Россию сравнительно больших по размеру книжек). Позже, в листе 1 «Колокола», Герцен писал: «Полярная звезда» выходит слишком редко, — мы не имеем средств издавать ее чаще. Между тем события в России несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас» (12, 357). Ощущалась нужда в издании газетного типа[1]. «В начале 1857 года, — вспоминал впоследствии Герцен, — Огарев предложил издавать «Колокол» (17, 81). 13 апреля 1857 года было выпущено объявление о предстоящем

[1] Иногда «Колокол» называли не газетой, а журналом. Но за последнее время вполне установилось правильное обозначение — газета. Ср. факсимильное издание «Колокола» (общее руководство изданием М. В. Нечкиной), вып. I, изд. АН СССР, М. 1960.

издании «Колокола»; 1 июля того же года датирован первый номер газеты.

«Колокол», с основания и до 1861 года включительно, имел подзаголовок «Прибавочные листы к «Полярной звезде» (только начиная с листа 118 от 1 января 1862 года этот подзаголовок исчезает). Однако с первых же номеров «Колокол» стал вполне самостоятельным и своеобразным периодическим органом. С июля 1857 по 1 января 1858 года «Колокол» выходит раз в месяц; каждый номер содержал 8 страниц большого альбомного формата, напечатанных на тонкой бумаге. С 1 февраля 1858 года «Колокол» выходит два раза в месяц в том же размере, с 15 сентября 1858 года (л. 23—24) в те же сроки, хотя и нерегулярно, выходит в удвоенном размере, а с 22 июня 1859 года (л. 46) иногда выпускается каждую неделю.

В 1862 году количество выпущенных номеров достигло максимума — 35, содержащих 288 страниц. Начиная со следующего 1863 года количество номеров и соответственно годовой объем издания стали падать. В 1859—1862 годах «Колокол» имел приложение «Под суд!», где главным образом освещались отдельные уголовные и гражданские процессы, связанные с особенно грубыми злоупотреблениями и произволом царских властей и помещиков.

«Колокол» впервые дал возможность широко и ярко проявиться новой стороне дарования Герцена — таланту публициста, умеющего немедленно и по-боевому откликаться на все злободневные события.

Герцен имел все основания сказать в «Колоколе»: «Мы крик русского народа, битого полицией, засекаемого помещиком» (13, 80).

Герцен в «Колоколе» говорил от лица народа. «Колокол» отвечал потребности русского народа, тому «*кипению вперед*» (14, 14), которое Герцен чувствовал в русской жизни с конца 50-х годов. «Колокол» был наполнен острым и злободневным для русского читателя материалом. Впервые русская печать систематически стала разоблачать злодеяния царской бюрократии и крепостников-помещиков, полицейский произвол, безнаказанные убийства и насилия помещиков над своими крепостными, хищения сановников. Герцен создал в «Колоколе» своеобразный публицистический

жанр — сжатые, меткие, бьющие в цель, острые и гневные заметки-памфлеты. В «Смеси» «Колокола» краткое изложение того или иного вопиющего факта правительственного или помещичьего террора и грабежа или публикация соответствующих документов и материалов, присланных из России, сопровождались гневными, саркастическими обличениями публициста-трибуна.

Постоянными, так сказать редакционными, сотрудниками «Колокола» были лишь Герцен и Огарев. Весь материал доставлялся корреспондентами из России, выступавшими под псевдонимами или анонимно, а по большей части лишь сообщавшими факты, которые затем использовались главным образом в заметках Герцена.

Герцен был философом, политическим трибуном и памфлетистом «Колокола», Огарев — по преимуществу его экономистом. Публицистика Герцена доминировала в «Колоколе», окрашивая его в очень личный, «герценовский» тон [1]. Именно эта публицистика представляла собою как бы идейный и литературный стержень «Колокола», являясь живым, страстным, острым, полным гнева и иронии комментарием к событиям русской жизни. Ленин писал, что «...постоянное дело публицистов — писать историю современности...» [2]. Такой «историей современности» были статьи Герцена в «Колоколе».

---

[1] Следует иметь в виду, что публицистическое наследие Герцена до настоящего времени не может считаться полностью выявленным. В «Колоколе» заметки из «Смеси» и некоторые другие принадлежащие перу Герцена материалы появлялись без его подписи. Тем более это относится к вводным заметкам, примечаниям, сопровождавшим публикуемые статьи, корреспонденции и т. п. В распоряжении исследователей во многих случаях нет бесспорных данных для установления авторства Герцена. Сейчас не известен ни один экземпляр «Колокола», размеченный самим Искандером. М. К. Лемке приписывал Герцену целый ряд статей и заметок лишь предположительно, печатая их мелким шрифтом. Между тем стилистическое своеобразие герценовской публицистики и другие данные позволяют установить авторство Герцена и в отношении многих статей и заметок, вовсе не включенных Лемке в собрание сочинений. Тридцатитомное собрание сочинений, заканчиваемое Институтом мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, существенно исправляет и в этом отношении издание М. К. Лемке.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 84.

Сквозь строки герценовского публицистического комментария перед читателем вставал мужественный и благородный образ русского революционера, создателя вольной русской печати, от лица народных масс России бросившего вызов и вступившего в единоборство с самодержавием и крепостничеством.

Герценовская публицистика в «Колоколе» вновь подчеркнула глубокое внутреннее единство всех сторон деятельности писателя-революционера.

В первых номерах «Колокола» не было еще материалов, присланных из России. Но уже в 5-м листе редакция могла писать: «Мы получили за прошлый месяц ворох писем; сердце обливается кровью и кипит бессильным негодованием, читая, что у нас делается *под спудом*» (13, 80). Примерно с этого времени «Колокол» настойчиво и систематически разоблачает конкретных представителей самодержавно-крепостнического режима и их злодеяния, которые без «Колокола» остались бы «под спудом». Помещаются, например, материалы, направленные против московского генерал-губернатора Закревского и его ставленника обер-полицмейстера Беринга, под заглавием «Полицейский разбой в Москве». В них сообщается о диком избиении полицией группы студентов. Далее печатается заметка о том, как молодая женщина, под влиянием нужды поступившая в публичный дом, а потом пытавшаяся оттуда уйти, была замучена в смирительном доме, куда ее посадила московская полиция, подкупленная содержателями домов разврата. Приводится ряд сообщений под заглавием «Убийства, засекания, ужасы помещичьей власти». Из номера в номер «Колокол» публикует громадное количество аналогичных фактов, свидетельствующих о насилиях и издевательствах помещиков над крестьянами.

«Колокол» клеймит действия рязанского губернатора Новосильцева, обдуманно и организованно подготовившего массовую порку крестьян; безнаказанные убийства херсонской помещицей Клопотовской своих крепостных, в том числе и детей; порку крестьян-католиков за отказ принять православие. «Колокол» рассказывает о матросе, засеченном по распоряжению своего командира; об увольнении чиновника за то, что он сел в театре в том же ряду, что и его начальник; о пятнадцатилет-

нем мальчике, гибнущем на каторге. «Колокол» описывает жестокую эксплуатацию крепостных монахами Киево-Печерской лавры, сообщает о страшных хищениях в министерстве государственных имуществ, о злоупотреблениях министра юстиции графа Панина, занявшегося, по выражению Герцена, «домокрадством», о незаконных налогах и поборах, взимаемых финансовыми органами с крестьян. Преследование и разоблачение царской бюрократии и помещиков-крепостников Герцен вел всегда с величайшей последовательностью революционного трибуна.

Изобличение же русской буржуазии и ее хищничества еще не могло стать одним из основных мотивов «Колокола». Герцену приходилось печатать и такие разоблачительные документы, которые наглядно показывали, что произвол царских сатрапов обрушивался и на представителей купечества. Так, один полицмейстер высек купца, осмелившегося ухаживать за актрисой, пользовавшейся благосклонностью стража порядка. Русское буржуазное хищничество в полный рост впервые в русской литературе появится на страницах щедринских сатир начала 70-х годов.

Тем не менее можно указать на одну заметку Герцена в «Колоколе», направленную против известного в то время либеральничавшего откупщика-миллионера Кокорева. На строительстве Волжской железной дороги, в котором принимал участие Кокорев, администрация при помощи полиции силой удерживала жестоко эксплуатируемых и разбегавшихся рабочих. Для того чтобы заставить рабочих остаться, была вызвана воинская команда и двое рабочих застрелены. Саркастически заканчивал Герцен эту свою заметку: «Г-н Кокорев, любитель гласности и поклонник русского народа, правда ли это?» (15, 253).

Здесь Герцен перекликается с известным сатирическим очерком Добролюбова в «Свистке» «Опыт отучения людей от пищи», также обличавшим Кокорева.

«Колокол» производил в России ошеломляющее впечатление. Напечатанные на тонкой бумаге листы его легко перевозились через границу и получали в стране широкое, до двух тысяч пятисот экземпляров (как сообщает Герцен в «Былом и думах»; 11, 374), распространение.

Ленин в своей работе «Гонители земства и Анибалы либерализма» указывает на «распространение по всей России «Колокола»[1] как на одну из характерных черт политической обстановки 60-х годов.

В воспоминаниях современников, в документах эпохи содержится много ярких фактов, подтверждающих широкую популярность «Колокола». Н. И. Пирогов отмечал в «Дневнике старого врача», что «Колокол», «запрещенный до того, что цензура не пропускала даже его имени... читался всеми, не исключая и учеников гимназий, нарасхват»[2]. Издания Герцена, как доносил московский обер-полицмейстер, «открыто продавались на рынках и давались на прочтение за небольшую плату»[3], «Колокол» проникал и в деревню[4].

Обличения «Колокола» доходили до тех, чьи интересы защищала газета. Приведем следующее свидетельство. В № 22 «Колокола» (1 сентября 1858 г.) было помещено письмо, рассказывавшее о злодеяниях помещицы Клопотовской. А в № 39 (1 апреля 1859 г.) сообщается об эффекте, произведенном этой публикацией «Колокола». О письме этом «говорили не только в городах, говорили громко в местечках, где бывают воскресные ярмарки; редкий мужик в Тираспольском уезде не знает о том, что «про Клопотовскую» напечатано где-то за границей. В первый раз для здешнего края *Колокол* перестал быть только сборником интересных новостей, он представился здешним господам во всем своем грозном значении».

Правда, власти не приняли почти никаких мер против Клопотовской, которая продолжала преследовать крестьян, но гораздо важнее то, что такие материалы «Колокола» подымали самосознание крестьянства, укрепляли чувство собственного достоинства, будили дух протеста.

И недаром корреспонденция в № 39 «Колокола»

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26.

[2] Н. И. Пирогов, Севастопольские письма и воспоминания, изд. АН СССР, 1950, стр. 977.

[3] Цит. по статье Н. М. Дружинина «Москва накануне реформы 1861 года», «Вестник Московского университета», 1947, № 9, стр. 42.

[4] См. И. С. Смолин, Царизм в борьбе с вольной печатью Герцена, «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 61, стр. 57—58.

кончалась следующими многозначительными строками: «Вы не можете себе представить, какое впечатление дела Клопотовской производят на крестьян. Они самые близкие свидетели всего этого цинизма бесправия и не видят ни малейшего исхода из подобного положения. Не мудрено, если господа доведут их после всего этого к мысли самим приняться *за хождение* по своим делам!», то есть к мысли о восстании [1].

Для успеха «Колокола» показательно, что впоследствии известный датский критик Георг Брандес в своих статьях о русской литературе и общественной жизни поместил легендарные сведения о том, что на нижегородской ярмарке полиция в 1859 году конфисковала сотни тысяч экземпляров «Колокола».

Царское правительство пыталось использовать реакционные правительства Западной Европы для борьбы с «Колоколом» путем запрещения или ограничения продажи изданий Герцена. Даже папа римский помогал в этом деле царизму, «благословляя» запрещение. Но «Колокол» преодолевал все преграды. Он отвечал назревшей и непреодолимой потребности. Виктор Гюго писал о «красноречивой и победоносной пропаганде» Герцена [2].

Кровавые, темные и грязные дела царских министров, чиновников, помещиков-крепостников, ранее лишь в самых редких случаях вызывавшие несоразмерно легкие и накладываемые в келейном порядке взыскания, предстали в «Колоколе» на гласный суд общественного мнения. Герцен имел все основания сказать: «С нынешней гласностью шила в мешке не утаишь».

Разоблачения «Колокола» не раз приводили к практическим результатам. Известен случай с Щепкиным, столь отрицательно отнесшимся в свое время к органи-

---

[1] Новые интересные данные о широком проникновении «Колокола» в Россию приведены в работе Б. С. Гинзбурга «Распространение изданий Вольной русской типографии в конце 1850 — начале 1860-х годов» (сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.»). III Отделение пришло к выводу, имея в виду Петербург, что «не проходило ни одного дня, чтобы в здешних обществах и домашних кругах (особливо в сих последних) не касались Герцена и его сочинений». Вместе с тем царская тайная полиция должна была констатировать, что сочинения Герцена доходили и до крестьян ряда губерний.

[2] «Литературное наследство», т. 31—32, стр. 834.

зации Герценом Вольной русской типографии. Угроза Щепкина обратиться к помощи «Колокола» немедленно заставила директора императорских театров выплатить артистам незаконно удерживаемые деньги. Царские чиновники, скомпрометированные разоблачениями «Колокола», помещики-крепостники, отличавшиеся жестокостью и пригвожденные Герценом к позорному столбу, опасались если не общественного осуждения, то уголовного суда. Но не в этих отдельных и сравнительно мелких результатах была подлинная сила «Колокола». Бичующие сарказмы и острые выпады Герцена били дальше.

«Колокол» ставил перед собою гораздо более серьезные и принципиальные цели, чем разоблачение отдельных, хотя бы самых вопиющих злоупотреблений, чем бичевание отдельных злодеяний царизма. Если бы «Колокол» ограничивался такой критикой, с ним могли бы примириться либералы, хотя, впрочем, Кавелин, со свойственной ему трусливостью, предпочитал, чтобы периодический орган, повседневно вскрывающий язвы русской жизни, издавался на французском языке, то есть не был бы доступен широким кругам русских читателей. Кавелин, как говорит В. И. Ленин, «...напал на революционную агитацию...» [1], проводившуюся «Колоколом».

Вообще либералы, вкупе и влюбе с некоторыми правительственными кругами, всячески пытались повлиять на Герцена, с тем чтобы «Колокол» изменил бы свое направление и избрал путь, соответствовавший их собственным интересам. Так, например, барон Фиркс, более известный под псевдонимом Шедо-Ферроти, лицемерно делая вид, что является даже более последовательным критиком администрации, нежели сам Герцен, уговаривал последнего преследовать в своей газете не отдельных лиц, а только учреждения.

На самом деле этот правительственный агент пытался тем самым отвести грозную критику «Колокола» от высшей царской бюрократии и, в частности, от своего покровителя великого князя Константина Николаевича, главы клики либеральничавших сановников, которого

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 13.

«Колокол» обвинял в «краже у государства в пользу Романовых» [1].

Критика «Колокола» была сильна именно тем, что она, «невзирая на лица», карала всех представителей власти, перерастая тем самым в политическое обличение *всего* господствовавшего строя.

Ленин писал в «Что делать?» о задачах политической агитации:

«Спрашивается, в чем же должно состоять политическое воспитание? Можно ли ограничиться пропагандой идеи о враждебности рабочего класса самодержавию? Конечно, нет. Недостаточно *объяснять* политическое угнетение рабочих... Необходимо агитировать по поводу каждого конкретного проявления этого угнетения... А так как *это* угнетение падает на самые различные классы общества, так как оно проявляется в самых различных областях жизни и деятельности, и профессиональной, и общегражданской, и личной, и семейной, и религиозной, и научной, и проч. и проч., то не очевидно ли, что *мы не исполним своей задачи* развивать политическое сознание рабочих, если мы не *возьмем на себя* организацию *всестороннего политического обличения* самодержавия?» [2]

«Колокол» Герцена впервые в русской печати организовал «*всестороннее политическое обличение* самодержавия», впервые показал блестящий пример страстной и острой революционной агитации «по поводу каждого конкретного проявления» угнетения самодержавием крестьянства, демократических слоев населения, передовой интеллигенции.

В «Предисловии», помещенном в первом номере «Колокола», Герцен заявлял, что «Колокол» «будет *звонить,* чем бы ни был затронут — нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное — все идет под «Колокол» (12, 358).

Герцен выполнил это свое обещание. Правда, «Колоколу», как указывал Ленин, были присущи «*либеральные* тенденции» [3], притуплявшие революционную

[1] См. «Литературное наследство», т. 61, стр. 261 и след.
[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 371.
[3] Там же, т. 18, стр. 13.

целеустремленность его обличений. Однако публикуемый «Колоколом» фактический материал настолько беспощадно клеймил самодержавие и крепостников, а памфлетно-публицистический комментарий Герцена к этим фактам дышал таким страстным возмущением и мощным гневом, что эти его политические обличения своей силой и конкретностью бесспорно перевешивали либеральные фразы и оговорки Герцена, его нестерпимо слащавые апелляции к царю. Именно эти обличения определяли собою самую суть «Колокола», его направленность.

Ленин неоднократно подчеркивал огромную роль, сыгранную революционной политической агитацией «Колокола». По словам Ленина, «Герцен развернул революционную агитацию» [1].

В статье «Из прошлого рабочей печати в России» Ленин писал, имея в виду дворянский период русского освободительного движения: «Предшественницей рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати была тогда общедемократическая бесцензурная печать с «Колоколом» Герцена во главе ее» [2].

Герцен стремился к решительному обновлению русской жизни в духе демократизма. Его сарказм и ирония были направлены против основ политических и социальных порядков крепостнической России.

В 1858 году он так формулировал программу «Колокола»: «Мы говорили... что освобождение крестьян само по себе недостаточно, что рядом с помещиком стоит второй бич русского народа — чиновник, т. е. полиция и суд. Мы говорили, что пока не падет японская табель о рангах, пока суд будет инквизиционный с запертыми дверями, с канцелярской тайной, — пока полиция будет увещевать розгами, допрашивать кулаками, наказывать палками *без суда,* — до тех пор освобождение крестьян не принесет настоящей пользы» (13, 297). По сути Герцен, несмотря на либеральные оговорки, сопутствующие этому заявлению, требовал уничтожения государственного аппарата царизма.

Критика «Колокола» была проникнута горячим

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.
[2] Там же, т. 20, стр. 223.

патриотизмом: «Одна горячая любовь к России, одно глубокое убеждение, что наш обличительный голос полезен, заставляет нас касаться страшных ран нашего жалкого общественного быта» (13, 80).

По словам Герцена, «одним из свойств русского духа... является способность время от времени сосредоточиться в самом себе, отречься от своего прошлого, посмотреть на него с глубокой, искренней, неумолимой иронией, имея мужество сказать об этом открыто...» (13, 172). Этот самокритический дар русской передовой мысли вдохновлял издателя «Колокола», указывая пути борьбы за новую, будущую Россию.

Герцен писал: «В отношении к России мы хотим страстно, со всею горячностью любви, со всей силой последнего верования, — чтоб с нее спали наконец ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее». Герцен чувствовал себя представителем той «России... будущего», которая «ненавидит преступления своего правительства» (13; 8, 11).

Общественный подъем второй половины 50-х годов, все чаще прорывавшиеся возмущения крестьянства против крепостнических порядков давали Герцену основание говорить в 1859 году: «Россия... идет мощно вперед по широкой дороге» (14, 99).

Теперь для Герцена русский народ — это просыпающийся богатырь, поднимающийся исполин. Ему Герцен и расчищает путь.

2. Борьба против самодержавно-крепостнического строя и либеральные колебания Герцена-демократа.— Крестьянский вопрос.— Герцен и революционная демократия.— Критика буржуазного порядка

Как мы видели, еще в «Полярной звезде» Герцен провел грань между своими заветными убеждениями, которые он называет социалистическими, и той программой-минимумом, на которой он надеялся объединить живые силы русского общества.

В листе 1 «Колокола» герценовская программа-минимум, этот «первый необходимый, неотлагаемый шаг», определена так: «Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков! Освобождение податного состояния от побоев!» (13, 8).

Надеясь на мирное осуществление этих требований, Герцен в «Колоколе» не раз апеллировал к Александру II, высказывая надежду, что царь даст крестьянам свободу и землю. Эти апелляции позволяли либералам полагать, что Герцен окажется, раньше или позже, в их лагере.

Но еще до того как Герцен изжил свои либеральные колебания, он уже выступал в «Колоколе» и с такими обличительными заметками, в которых указывал на истинную роль царя, с благословения и по повелению которого чиновники грабили и угнетали народ. Такова, например, заметка «Августейшая благодарность за государственный разбой» (1860), гневно бичующая и высмеивающая Александра II, объявившего благодарность тем финансовым органам, которые сумели взять с крестьян «излишние, беззаконные подати» (14, 416). Саркастически, с уничтожающим презрением высказывает Искандер различные предположения о мотивах, которыми руководился царь в этих своих действиях, в заключение сравнивая его с аферистом и шулером Утешительным из «Игроков» Гоголя.

Чем выше поднималось крестьянское движение, чем яснее обозначался союз правительства с помещиками-крепостниками, чем все более откровенно и все более подло либералы пресмыкались перед царизмом, тем решительнее Герцен вставал на сторону народа против блока правительства, крепостников и либералов, на сторону молодого революционного поколения, возглавленного Чернышевским. Герцен все чаще стал выступать с революционным призывом, обращенным непосредственно к народу. Как писал В. И. Ленин, «...демократ все же брал в нем верх»[1].

Герцен еще в 1859 году писал о себе: «...самое слово «либерал» как-то мало идет ко мне — особенно с тех пор, как... бюрократы, цензоры и генерал-адъютанты хвастаются своим либерализмом» (14, 37).

Герцен был совершенно прав. Вспомним, например, Кавелина. Его либерализм всегда был ограничен строжайшим «благоразумием», при всех условиях, вне зависимости от линии правительства, революция была для него абсолютно неприемлема, он стремился лишь к уме-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.

ренным либеральным реформам, проводимым самим правительством. Герцен же «боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции»[1].

Наиболее полно позиция Герцена по крестьянскому вопросу определена в статье, помещенной в 27-м листе «Колокола» (1 ноября 1858 г.). «Освобождение крестьян с землею — один из главных и существенных вопросов для России и для нас. Будет ли это освобождение «сверху или снизу» — мы будем за него! Освободят ли их крестьянские комитеты, составленные из заклятых врагов освобождения, — мы благословим их искренно и от души. Освободят ли крестьяне себя от комитетов во-первых, а потом от всех избирателей в комитеты (то есть от помещиков и дворян. — *Я. Э.*), — мы первые поздравим их братски и также от души... так как главное дело в том, чтоб крестьяне были освобождены с землею, то из-за средств спора мы не поднимем» (13, 363). Таким образом, Герцен уже тогда приемлет и революционный исход крестьянского вопроса.

В публицистической деятельности Герцена нет момента, который можно было охарактеризовать как проведение либеральной *линии,* для Герцена характерны именно *колебания* от демократической линии к либерализму.

В листе 5 «Колокола», публикуя страшные факты полицейского произвола в России, Герцен восклицает: «А Закревский-то!.. И этого человека поддерживают Адлерберги! И такие дела скрывает Долгорукий!.. Несчастный Александр II» (13, 85).

Таким образом, с «несчастного» царя как бы снималась ответственность за злодейства, которые совершал назначенный им московский генерал-губернатор и которые скрывали царские фавориты. А в следующем номере Герцен, сообщая, что разоблаченный им московский обер-полицмейстер Беринг остается на своей должности, восклицает саркастически: «Вот вам и либеральный император!..» (13, 89).

Но рескрипт 20 ноября 1857 года генерал-губернатору западных губерний Назимову о необходимости начать подготовку к реформам и последующие дейст-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.

вия правительства вызывают у Герцена слащавую фразу: «Ты победил, Галилеянин!..» (13, 195).

Однако примерно через полгода, в июле 1858 года, «Колокол» несколько меняет тон. «Александр II не оправдал надежд, которые Россия имела при его воцарении», — заявляет Герцен, но продолжает «извинять» царя: «Государь хотел бы изменить, но бродит впотьмах, не знает, с чего начать... все его обманывают» (13; 293, 297).

Изменение позиции «Колокола» диктовалось обострением классовой борьбы в России. Разбор императорских рескриптов, связанных с готовившейся крестьянской реформой, показывал, что «освобождение это есть все-таки освобождение без земли, освобождение в голод и бесприютность» («Колокол», л. 13). Злодейства помещиков-крепостников по-прежнему пользуются безнаказанностью. Арестовывают и ссылают людей, привозящих с собой из-за границы «Колокол». В России происходят кровавые усмирения крестьянских бунтов, и Герцен восклицает: «Нельзя разом освобождать крестьян и сечь их!»

Усиливается политическое размежевание. Силы революционной демократии собираются вокруг «Современника», вокруг Чернышевского и Добролюбова. Либералы, по обыкновению, виляют, порой еще заигрывают с демократией, но уже, напуганные подъемом освободительного движения, стремятся поскорее договориться с правительством и крепостниками.

Это размежевание получает свое отражение в «Колоколе» и влияет на его деятельность и направление.

Либералы, при Николае I страха ради иудейска открещивавшиеся от Герцена и называвшие начатое им дело безумием, теперь кадят Искандеру фимиам. Они делают ставку на то, чтобы его либеральные уклонения от демократизма превратились во враждебную демократии либеральную политическую линию. Лестью они надеются усыпить демократическую бдительность и чуткость Герцена, уверить его в том, что царь и его правительство идут по пути прогресса.

Именно в этом смысл письма Кавелина к Герцену от начала 1858 года: «...роль твоя, друг, велика и благотворна. Влияние твое *безмерно*... Все думающее, пишущее, желающее добра — твои друзья и более или

менее твои почитатели. Молодежь на тебя молится, добывает твои портреты, — даже не бранит того и тех, кого ты, очевидно с умыслом, не бранишь. Словом, в твоих руках огромная власть, и заметно, как ты зреешь не по дням, а по часам.

...Послушай же, что я говорю тебе от имени всех друзей, всех почитателей, всех благомыслящих людей в России: делай то, что ты теперь делаешь, только в еще сильнейшей степени — печатай все гнусности, глупости и злодейства, казни их беспощадно, с лицами, именами и проч., но обходись *еще* осторожнее с императорской фамилией, тем более что теперь она, положа руку на сердце, далеко не самое гнусное, что есть в России. Щади их, не печатай об них статей, вроде тех, как ты напечатал о старухе (имеется в виду памфлет «Августейшие путешественники. Вдовствующая императрица». — *Я. Э.*), и поверь, ты еще сильнее будешь действовать. Вы скоро можете, не краснея, подать друг другу руку с Александром II и считать друг друга союзниками на благо и счастие России»[1].

Либералам явно хотелось, чтобы Герцен научил молодое поколение русской интеллигенции «не бранить» царизм, то есть содействовал бы не революционизированию молодежи, а внедрению в ее среду «идеалов» умеренности и аккуратности, беспринципной терпимости и покорности. Но такого рода надежды свидетельствовали лишь о том, что Кавелин и его присные плохо знали и Герцена и русскую молодежь.

Со своей стороны революционные демократы использовали страницы «Колокола» для борьбы *за* Герцена[2]. Они предостерегали его от либеральных колебаний, непоследовательности, примиренчества и слабости. Не скрывая своего искреннего восхищения, своей любви к Герцену-революционеру, они вместе с тем прямо и резко, в лицо, говорили о его либеральных ошибках и иллюзиях.

В письме, опубликованном 15 сентября 1858 года, позиция редакции «Колокол» противопоставлялась

---

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 385—386.

[2] На эту сторону взаимоотношений русской революционной демократии и Герцена в 50-х годах впервые было обращено внимание в работах М. В. Нечкиной.

«посылаемым вам из России статьям о нашей всеобщей, бесконечной мерзости». Автор письма, стоявший на последовательных демократических позициях, говорит Герцену: «Не облагораживайте произвольными вашими толкованиями действия нашего правительства»[1].

И Герцен вынужден сознаться: «Мы каемся перед Россией в нашей ошибке. Это то же николаевское время, но разварное, с патокой» (13, 342).

Демократическая линия «Колокола» ясно проявилась в требованиях, которые Герцен и Огарев выдвигали в области крестьянской реформы в период ее подготовки.

Герцен и Огарев настойчиво требовали «не выкупа усадебной земли, а выкупа всей земли, какую имеют в пользовании помещичьи крестьяне» («Колокол», л. 35), и решительно восставали против предоставления помещику власти «начальника общины» («Колокол», л. 42—43), против установления для крестьян переходного, «срочно-обязанного» периода («Колокол», л. 51), против отрезков земли в пользу помещика («Колокол», л. 62).

Недостаточно последовательны были Герцен и Огарев в вопросе о том, на каких условиях крестьяне должны получить землю. Их требования во многом «определялись тем максимумом уступок, на которые, полагали они, смогут добровольно согласиться помещики»[2].

Заявляя о своем «внутреннем сочувствии»[3] безвозмездному наделению крестьян землей, но считая его практически неосуществимым, Огарев допускал выкуп за сумму (70 р. с души[4]) гораздо более низкую, нежели та хищнически преувеличенная цена на землю, которую отстаивали не только крепостники, но и либералы.

Конечно, позиции Герцена и Огарева в этом вопросе не отличались революционно-демократической последовательностью Чернышевского, вынужденного в условиях легальной печати обсуждать цифру выкупа, но сумевшего в своих статьях провести мысль о необосно-

---

[1] «Колокол», № 23—24, стр. 188—189.

[2] П. А. Зайончковский, Отмена крепостного права в России, Госполитиздат, 1954, стр. 95.

[3] «Колокол», № 38.

[4] Там же, № 14.

ванности и несправедливости какого бы то ни было вознаграждения помещиков.

Вместе с тем легко увидеть грань, отделявшую в этом отношении демократов Герцена и Огарева от либералов. Суть их расхождений не определялась только цифрой выкупа. Огарев и Герцен рассматривали выкуп лишь под углом зрения тактики, считая его наиболее легким средством мирного разрешения крестьянского вопроса. Либеральному же помещику Кавелину безвозмездное отчуждение земли представлялось потрясением основ, нарушением «гражданского порядка и общежития в самых основаниях»[1]. Кавелин стоял как раз за «постепенное упразднение» крепостного права, он предлагал, чтобы крестьяне, в наказание за невыполнение взятых на себя обязательств, могли быть «немедленно возвращаемы снова в крепостное состояние», он видел в общине «самый могущественный орган правительства»[2].

Даже когда Герцен высказывал надежды на мирный исход назревавшего в России революционного кризиса, то и тогда самый характер его аргументации и особенно постановка вопроса о *коренном* изменении общественного порядка в России вступали в противоречие с его собственными либеральными иллюзиями.

В середине 1857 года Герцен публикует в № 2 «Колокола» статью «Революция в России». Герцен предсказывает здесь неминуемый мощный подъем активности народных масс России — «шаг народных масс, когда они принимаются двигаться, необычайно велик» (13, 24).

Эта вера в силу народных масс, в их политический и духовный рост тем более знаменательна, что для обоснования своей мысли Герцен привлекает *революционный* опыт Франции.

Говоря о культурной и духовной отсталости французского крестьянства перед революцией 1789 года, Герцен отмечает: «...при всем этом ни энциклопедисты с Вольтером, ни то общество молодых адвокатов и литераторов, которое впоследствии явилось членами грозного Конвента... никто не отчаивался...» Для Герцена

---

[1] К. Д. Кавелин, Соч., т. II, стр. 92.
[2] Там же, стр. 87.

особенно существенно то, что история революционных лет подтвердила этот оптимизм энциклопедистов и деятелей Конвента: «В сорок лет самого судорожного развития, несмотря на грозные войны революции, на преступную трату целых поколений Наполеоном, на вторжение неприятельских войск, на конскрипции и контрибуции, народ французский перешел от состояния, в котором был при министерстве Тюрго и Неккера, до того состояния, в котором, например, застал его Людовик-Филипп» (13; 27, 28).

Трезво и творчески учитывая опыт политической борьбы во Франции, столь поучительной для России, Герцен в этой статье выступает прежде всего как революционный просветитель. И если он одновременно возлагает свои надежды на русскую общину, то в этом проявляется то сочетание революционно-просветительских и народнических идей, которое в тех или иных соотношениях было характерно для ряда революционеров 60-х годов.

В борьбе с крепостничеством Герцен опирался на опыт антифеодальной борьбы в Западной Европе, пытаясь одновременно по-народнически обосновать возможность того, что Россия сумеет «обойти» буржуазный этап исторического развития. Однако на деле, как показал Ленин, народническая утопия Герцена выражала «революционные стремления к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения»[1].

Сочетание революционно-просветительских и народнических идей, глубокий демократизм Герцена обнаруживают ту пропасть, которая, при всех его колебаниях, уже тогда лежала между ним и либералами.

И хотя «Революция в России» содержит ссылки и на примеры общественных преобразований, не принимавших революционные формы (например, в Англии), тем не менее вывод Герцена о необходимости «перейти от военного деспотизма и немецкой бюрократии к более простым и народным началам государственного строения» (13, 29) не столько подтверждает, сколько опро-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.

вергает его же предположение о том, что такой переход мог бы произойти в России мирным образом.

Даже надеясь на то, что закипавшая борьба разрешится в пользу народа мирным путем, Герцен ради интересов последнего, как и раньше, считал правомерным, исторически оправданным и путь топора, крестьянской войны, пугачевщины. В № 8 «Колокола» (1 февраля 1858 г.) была помещена заметка Герцена, в которой он, клеймя тамбовских крепостников, противившихся даже правительственным намерениям в области подготовки реформы, заявлял: «Что бы ни обрушилось на *тамбовское дворянство* — гнев государя или топор народный — все будет справедливо...» (13, 194).

Усиление революционно-демократических тенденций в публицистике Герцена и Огарева, несомненно, связано с тем, что, как указал Ленин в своей статье «Крах II Интернационала», в России к 1859 году начала складываться революционная ситуация [1].

Происходил «кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов» [2].

Царское правительство и помещики вынуждены были поставить крестьянскую реформу на очередь дня. Одновременно становилось очевидным «...обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов» [3].

Все больше обнаруживалось случаев жестокого обращения помещиков с крестьянами, оголтелые крепостники пытались напоследок выместить свою злобу на крестьянах, многие помещики стремились теми или иными мошенническими путями, в частности путем переселений, лишить крестьян земли и закабалить их на будущее время. Все это вызывало «значительное повышение... активности масс» [4], небывалый еще подъем крестьянского движения, которое становится все более решительным и все более массовым и революционным. За один только 1860 год насчитывается около ста крестьянских волнений, причем в ряде случаев число участников превышает тысячу человек и правительство для усмирения посылает воинские части. Происходят в

[1] См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 190.
[2] Там же, стр. 189.
[3] Там же, стр. 189—190.
[4] Там же, стр. 190.

широких масштабах побеги крестьян, рабочих, мастеровых. Народное море бурлит.

«Колокол» начинает менять социальную ориентацию. Герцен перестает видеть в среднем интеллигентном дворянстве опору и двигатель будущих коренных изменений в русской жизни.

В той же статье от 1 июля 1858 года, в которой Герцен определяет новое отношение «Колокола» к царю, он заявляет, что аудитория «Колокола» — это «рассеянные по всей России люди мысли, люди добра всех сословий, мужчины и женщины, студенты и офицеры» (13, 298).

В декабре 1858 года Огарев прямо указывает, что «наше образованное меньшинство не принадлежит исключительно дворянству, оно состоит из тех немногих — из какого бы сословия они ни происходили, — которые, учившись, приняли науку, и нераздельно с ней понятие справедливости, к сердцу» («Колокол», лл. 30—31).

Таким образом, намечается тенденция «Колокола» к более последовательной ориентации на силы демократии, но эта тенденция еще очень долго ослабляется колебаниями, выражающимися в либеральных апелляциях к царю, в попытках опереться на дворянский либерализм, в непонимании противоположности либерализма и крестьянской демократии.

Эти противоречия «Колокола» особенно остро проявились в самом конце 1858 года в дискуссии, возникшей в связи с открытым письмом Б. Н. Чичерина Герцену.

«Колокол» был приемлем для Чичерина только в роли либерального помощника правительства. Чичерин «охотно» признает за Герценом «существенную заслугу» — раскрытие злоупотреблений. Важнейшей задачей «Колокола» Чичерин считает призыв к «разумному самообладанию... а вы к чему... приучаете? К раздражительности, к нетерпению, к неуступчивым требованиям, к неразборчивости средств». Чичерин упрекает Герцена в том, что для последнего приемлем революционный выход — «свирепый разгул разъяренной толпы» [1].

---

[1] «Колокол», № 29, стр. 237—239.

Чичерин писал Герцену: «Вы сила, вы власть в русском государстве», — и пытался использовать эту «силу» в своих интересах. Чичерину и его сторонникам «Колокол» был нужен как средство, при помощи которого сделка между крепостниками и дворянским либерализмом могла бы быть заключена на наиболее выгодных для последнего условиях. Чичерин пишет: «Перед обличениями Герцена трепетали самые высокопоставленные лица. С подобным орудием в руках можно было достигнуть того, что было совершенно недоступно под цензурой. Можно было действовать на недоумевающее правительство, сдерживать его и направлять на правильную стезю. Но именно в этом отношении «Колокол» был более чем слаб»[1]. Политический смысл выступления Чичерина не был тогда до конца осознан Герценом. Герцен не понял, что происходит процесс политического размежевания, что Чичерина и его сторонников следует беспощадно разоблачать. Не сразу понял значение чичеринского письма и Кавелин.

Кавелин в письме, к которому присоединили свои подписи Тургенев, Анненков и ряд других лиц, упрекал Чичерина в том, что последний искусственно раздувает революционность Герцена и вообще преувеличивает наличие революционных настроений в России: «Думаете ли вы серьезно, положа руку на сердце, что... в России есть революционная партия?» (IX, 422). Кавелин значительно хуже Чичерина понимал сущность политического положения, создавшегося в России.

Между тем непоследовательность и противоречия в политической позиции «Колокола», колебания Герцена в сторону либерализма привели к острому конфликту, возникшему между Герценом и новым поколением революционеров-разночинцев. В листе 44 «Колокола» (1 июня 1859 г.) Герцен помещает известную статью «Very dangerous!!!», в которой, не называя имен, но явно метя в «Современник», крайне резко полемизировал по ряду вопросов с революционно-демократической публицистикой и сатирой «Свистка», с его критикой мелкообличительной литературы 50-х годов. Герцен не

---

[1] Б. Н. Чичерин, Путешествие за границу, М. 1932, стр. 49, 50.

мог также примириться с той критикой, которой эта публицистика, и в первую очередь Добролюбов, например, в «Литературных мелочах прошлого года», подвергла тип «лишних людей». Герцен полемизирует, вероятно, и со статьей Добролюбова «Что такое обломовщина?», в которой великий критик указал на черты обломовщины, свойственные всем «лишним людям» как представителям барской интеллигенции [1]. Герцен же противопоставляет Онегиных и Печориных — Обломовым, соглашаясь вместе с тем, что теперь, во второй половине 50-х годов, «Онегины и Печорины делаются Обломовыми». Добролюбов ясно видел отличия, свойственные каждому из «лишних людей», но задачей его было подчеркнуть их «общую черту» — «бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего...» [2]. В выступлении Герцена, несомненно, сказалось чувство обиды за то поколение дворянской интеллигенции, к которому он принадлежал сам, хотя Добролюбов имел в виду вовсе не Герцена и Огарева — дворянских революционеров, а именно «лишних людей».

Герцен настолько болезненно пережил долгие годы под гнетом николаевского режима, настолько сочувствовал метаниям «лишних людей», что многое прощал дворянской интеллигенции «по воспоминаниям». Он не был еще в состоянии понять, что «лишние люди» 40-х годов, никогда не представлявшие собой прогрессивную силу, к 60-м уже выродились в либералов-монархистов, что новая революционная сила поднимается в России. Что же касается революционно-демократической критики Онегиных и Печориных, то она вытекала из осознания демократией своей растущей силы, своей связи с народом.

По своему содержанию статья Герцена, как хорошо

---

[1] См. работу Т. И. Усакиной «Статья Герцена «Very dangerous!!!» и полемика вокруг «обличительной литературы» в журналистике 1857—1859 гг.» в сборнике «Революционная ситуация в России 1859—1861 гг.», изд. АН СССР, 1960, и статью Е. Н. Дрыжаковой «Полемика «Колокола» и «Современника» в 1859—1860 гг.», «Ученые записки Ленинградского педагогического института», 1956, т. XVIII, вып. 5.

[2] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. 2, Гослитиздат, 1935, стр. 24.

показал Б. П. Козьмин[1], касалась очень существенных сторон политической линии «Современника». Чернышевский и Добролюбов прививали демократии недоверие к либерализму, предостерегали от либеральных иллюзий и компромиссов (таков, в частности, был смысл того обозрения на международные темы Чернышевского, которое также было задето в статье Герцена) и содействовали тем самым углублению и убыстрению политической и идейной дифференциации. Против этих тенденций и направлены полемические стрелы статьи «Very dangerous!!!», причем Герцен не отдавал себе отчета в объективном политическом значении своего выступления. Ему казалось, что он, хранитель и продолжатель русской революционной традиции, оспаривает лишь какие-то поверхностные, несерьезные, опрометчивые, ультралевые выпады против прогрессивных общественных сил.

Этим и объясняется чрезвычайная резкость обвинений, содержащихся в статье и поражающих своей беспочвенностью и даже оскорбительностью.

Герцен называет критику «Современника» «пустым балагурством» и даже пророчит, что, «истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*» (14, 121).

Статья Герцена, естественно, была воспринята с восторгом либералами и с недоумением и болью демократическими кругами. Добролюбов, сотрудничавший в «Колоколе», теперь ясно увидел слабые стороны любимого своего писателя. Он тут же в июньском номере «Современника», в рецензии на сборник «Весна»[2], выступил с кратким и поневоле замаскированным ответом на статью Герцена, противопоставляя «цельный и основательный образ действий» революционной демократии — либеральной «философии о постепенном подвига-

---

[1] См. Б. П. Козьмин, Выступление Герцена против «Современника» в 1859 году, «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1952, т. XI, вып. 4, стр. 367 и след.

[2] См. Б. П. Козьмин, Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 г. и его переговоры с А. И. Герценом, «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1953, т. XII, вып. 2, стр. 139.

нии вперед»[1]. Вместе с тем редакция «Современника» во главе с Чернышевским ясно поняла необходимость и целесообразность разъяснения Герцену истинного положения дел. Она сочла нужным указать ему на допущенную ошибку, добиться того, чтобы такая наносящая вред делу демократии полемика между «Колоколом» и «Современником» более не имела бы места.

Это дело взял на себя Чернышевский, специально с этой целью отправившийся в Лондон. Здесь вождь русской революционной демократии в конце июня 1859 года встречался с Герценом и беседовал с ним.

Это знаменательное событие русской идейной и политической жизни не раз за последнее десятилетие привлекало к себе пристальное внимание исследователей, причем в ходе возникшей в этой связи между М. В. Нечкиной и Б. П. Козьминым полемики были выдвинуты во многом резко отличающиеся друг от друга истолкования как этой встречи, так и вообще взаимоотношений Герцена и Чернышевского в конце 50-х годов.

Б. П. Козьмин, скрупулезно собравший и сопоставивший все связанные с этим эпизодом факты и документы, сделал очень много для точного конкретно-исторического исследования такого важного исторического эпизода. Но с конечными выводами его согласиться невозможно. Отмечая, что задача Чернышевского «заключалась в том, чтобы убедить Герцена в ошибочности его точки зрения», Б. П. Козьмин полагает, что «наличие у Герцена в 1859 году еще не изжитых либеральных иллюзий привело к тому, что между ним и Чернышевским не могло установиться полного взаимопонимания, а следовательно, не могло быть и речи о совместной, согласованной работе»[2]. У Б. П. Козьмина получается даже так, что для сохранения монолитности лагеря революционной демократии Чернышевский должен был держать Герцена в стороне от него[3].

Эти утверждения вызывают ряд возражений. Прež-

---

[1] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. 2, стр. 484.

[2] «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1953, т. XII, вып. 2, стр. 156.

[3] См. Б. П. Козьмин, К вопросу о целях и результатах поездки Н. Г. Чернышевского к А. И. Герцену в 1859 году, «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1955, т. XIV, вып. 2, стр. 175.

де всего неверно слишком *узко* истолковывать задачу, стоявшую перед Чернышевским в Лондоне, хотя он в одном частном письме сам сказал о том, что ездил в Лондон для того, чтобы «дать... выговор за нападение на Добролюбова»[1].

Но едва ли позволительно те или иные, особенно не предназначенные для печати формулировки Чернышевского истолковывать буквально. Свойственная ему скрытая ирония отнюдь не дает возможности рассматривать каждое его высказывание как *исчерпывающую* характеристику отразившегося в ней факта.

В самом деле, неужели же Чернышевский мог поехать в Лондон *только* для того, чтобы объявить Герцену «выговор»? Разве их беседы, поводом к которым послужило появление «Very dangerous!!!», не должны были естественно коснуться политической линии «Колокола» и «Современника» и сосредоточиться именно на этом, разумеется, центральном для таких больших политических деятелей, какими были Чернышевский и Герцен, вопросе?

И разве (о чем речь еще впереди) в дальнейшем не произошло укрепления и углубления политического сотрудничества между ними, так же как и между руководимыми ими органами русской демократии?

Ведь Герцен после встречи с Чернышевским не только в той или иной форме отмежевался от обвинений, воздвигнутых им в своей пресловутой статье против «Современника» (см. об этом ниже), но и изменил свою общую оценку и понимание политической и исторической роли поколения революционеров-разночинцев, так же как и дворянской интеллигенции 50-х годов.

Сам Чернышевский засвидетельствовал, что он «ломал»[2] Герцена, то есть заставил его изменить свои взгляды, и «не понапрасну» ездил в Лондон. Правда, он — в письме к Добролюбову — назвал Герцена, так же как и Огарева, «Кавелиным в квадрате» и заявил, что в Лондоне во время переговоров ему было «*скучно*»[3].

Но эти брошенные в частном письме саркастические замечания, относящиеся прежде всего к *личности* Герцена, замечания, которым к тому же присущ оттенок

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 790.
[2] Там же, т. XV, стр. 790.
[3] Там же, т. XIV, стр. 379.

сатирической гиперболы, никак нельзя воспринимать как точное определение Чернышевским своего понимания *политической* роли Герцена.

Чернышевский был человеком, не знавшим колебаний в своих симпатиях и антипатиях. Историческую роль Искандера он — как мы уже видели — понимал великолепно. Он знал и ценил все лучшее, что Герцен создал в философии, публицистике и художественном творчестве. Но, впервые столкнувшись с ним лично, Чернышевский убедился в том, как много в Герцене типических черт дворянского интеллигента, барина,— черт, которые великий революционер-разночинец не терпел вовсе.

Герцен, как о том свидетельствуют воспоминания Антоновича, записавшего рассказ Чернышевского, принял «поучительный тон»[1] превосходства, который, разумеется, у великого революционера мог вызвать лишь иронию. При этом самые сильные и обаятельные черты личности Герцена, естественно, потускнели под влиянием этой позы, которая, вероятно, маскировала внутреннее сознание сделанной ошибки. В ней автору «Very dangerous!!!» пришлось вскоре сознаться публично. К тому же он, как о том свидетельствуют мемуарные источники, не почувствовал себя с Чернышевским свободно, открыто, и он сам, очевидно, держал себя натянуто. Вот почему Чернышевскому с Герценом стало скучно, неинтересно, вот почему он назвал его и Огарева «Кавелиным в квадрате», подчеркивая тем самым слабые их качества как представителей поколения, во многом уже принадлежащего прошлому, но не имея в виду точного определения их политической роли.

Однако, великий политик, Чернышевский никогда не смешивал личные отношения и впечатления с политическим делом...

Утверждать же, что великий революционный демократ отказался от идейно-политического сотрудничества с Герценом, означает, во-первых, недооценивать революционно-демократические элементы и тенденции во взглядах и деятельности Герцена конца 50-х годов, а во-вторых, приписывать вождю русской революционной демократии 60-х годов совершенно чуждые его облику

[1] «Шестидесятые годы», сб. изд. «Academia», стр. 91.

черты сектантской узости и политической ограниченности.

Как же мог Чернышевский отказаться от использования в интересах революционной демократии вольной русской печати и ее связей? Разве, несмотря на колебания и ошибки Герцена, в основном и главном «Колокол» и в 50-х годах не служил делу русской демократии?

Герцена надо было критиковать, «ломать», но отталкивать его от демократии было бы верхом политического неразумия. В момент острой идейной дифференциации и складывавшейся революционной ситуации это означало бы отдать Герцена либералам, ибо третьего выхода не могло быть. О лучшей услуге Кавелин не мог бы и мечтать...

Политические результаты лондонского свидания определяются не теми или иными впечатлениями Герцена и Чернышевского, а последовавшим вслед за этим свиданием углублением революционно-демократических тенденций «Колокола», отмежеванием Герцена от позиций, занятых в статье «Very dangerous!!!», сближением политических линий газеты Герцена — Огарева и журнала Чернышевского — Добролюбова как органов русской демократии.

М. В. Нечкина предложила совсем иное, нежели Б. П. Козьмин, понимание характера и результатов лондонских переговоров. Она полагает, что в Лондоне Герцен, Огарев и Чернышевский «говорили не только о важном, но все же частном вопросе — характере обличительной деятельности революционной печати. Они говорили непосредственно о создании тайной организации, о темах ее политической программы...» [1] Таким образом, рассматривая лондонскую встречу, М. В. Нечкина считает в ней второстепенным то, что на самом деле было главным.

В настоящее время может считаться уже установленным, что фактов, доказывающих существование в 1859 году руководимой Чернышевским всероссийской подпольной революционной организации, не имеется [2].

---

[1] «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1954, т. XIII, вып. I, стр. 59.

[2] См. передовую «Вопросы истории», 1955, № 9.

Таким образом, подрывается самая вероятность такого рода переговоров между Чернышевским и Герценом.

Но в данной связи особенно существенна другая сторона вопроса. Точка зрения М. В. Нечкиной теснейшим образом связана с представлением о том, что издание вольной русской печати, ее распространение и вообще революционная пропаганда сами по себе революционной практикой, практической революционной борьбой не являются и революционно-организующего значения не имеют. Поэтому-то М. В. Нечкина и считает, что вопрос о политической линии «Колокола» мог при лондонском свидании играть лишь «частную» роль.

Между тем именно деятельность Герцена и Вольной русской типографии эту точку зрения опровергает.

Уже отмечалось, что сам Герцен создание вольной русской печати считал «делом... практически революционным» (12, 79). Дальнейшее развитие деятельности Вольной русской типографии особенно ясно показало правильность этого заявления.

«Колокол» может служить яркой иллюстрацией к знаменитому ленинскому тезису: «Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» [1].

«Колокол» своей агитацией и пропагандой сыграл громадную роль в собирании и организации революционных сил. Создание корреспондентской сети в России уже само по себе было важным шагом в этом направлении.

«Как декабристы разбудили Герцена,— говорит Ленин,— так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению *разночинцев,* образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству» [2].

Вполне прав А. Г. Дементьев, отмечая, что М. В. Нечкина склонна «недооценивать значение «Современника» и «Колокола». Работу Чернышевского в «Современнике» и Герцена в «Колоколе» она именует «кабинетно-авторской или редакционной» [3].

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 10.
[2] Там же, т. 20, стр. 223.
[3] «Литературная газета», 1954, № 40.

В какой мере такая недооценка грешит антиисторизмом, лучше всего показывает то обстоятельство, что даже в 1899 году, в совсем иной исторической обстановке, без революционной газеты, как писал Ленин, была «невозможна *никакая* широкая организация всего рабочего движения» [1]. Ведь слово и дело слиты в революционном движении неразрывно. «Вульгарный революционаризм не понимает того, что слово тоже есть дело; это положение бесспорное для приложения к истории *вообще* или к тем эпохам истории, когда открытого политического выступления масс нет...» [2]

Распространение изданий Вольной русской типографии, «Колокола», сочинений Герцена способствовало созданию кружков революционно настроенной молодежи или содействовало расширению деятельности последних.

Так, например, по сведениям московской полиции, весной 1858 года семнадцать студентов отправились за границу с целью привезти сочинения Герцена [3]. В конце 50-х годов революционные кружки, существовавшие в Харькове и Киеве, усиленно занимались распространением сочинений и изданий Герцена [4]. Революционно-организующая роль «Колокола» приобрела, как мы увидим, особенно большое значение в 60-х годах в связи с тем, что в новой политической обстановке распространение изданий Вольной русской типографии потребовало гораздо более крепких, чем ранее, подпольных связей.

М. В. Нечкина изображает дело так, что Герцен и Огарев пытались из Лондона руководить революционным движением в России.

На самом деле Герцен, как настоящий проницательный и трезвый революционер, ясно видел специфические задачи, стоявшие перед возглавляемым им лондонским революционным центром, которым стала редакция «Колокола». Допуская и возможность того, что в России вспыхнет крестьянское восстание, Герцен вме-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 199—200.

[2] Там же, т. 9, стр. 53.

[3] «История Москвы», изд. АН СССР, т. IV, стр. 17.

[4] См. А. З. Барабой, Харьковско-Киевское революционное тайное общество 1856—1860 гг., «Исторические записки», № 52, 1955, стр. 242, 244.

сте с тем подчеркивал, что «и тогда не *из Лондона* звать к топорам» (14, 243).

М. В. Нечкина сосредоточила внимание на таком важном историческом факте, который до нее, в сущности, только подразумевался, но прямо назван не был (в частности, в первых изданиях настоящей книги), как существование лондонского революционного центра. Но нельзя согласиться с тем, что она обходит специфический характер этого центра и изображает дело так, что Герцен и Огарев стремились из Лондона организационно руководить революционным движением в России. Между тем один из важнейших документов, опубликованных самой же М. В. Нечкиной, открывается следующим заявлением Н. П. Огарева, несомненно имеющим большое принципиальное значение: «Заграничные общества могут только давать общее направление печатной пропаганды и служить складочными связями для обществ, реально действующих в России»[1].

Таким образом, и трезвый революционер Герцен и Огарев, порой строивший в этом отношении дальше идущие и менее реальные планы, нежели его друг, строго ограничивали практические возможности лондонского революционного центра.

Наконец, своим истолкованием лондонской встречи М. В. Нечкина превращает Герцена 50-х годов в революционного демократа, хотя на деле его либеральные колебания в это время были еще очень заметны, и чрезмерно сближает его с Чернышевским, игнорируя многое из того, что их в это время разделяло.

Дореволюционные либеральные историки литературы пытались истолковать статью «Very dangerous!!!» как явление, знаменовавшее окончательное расхождение между Герценом и молодой революционной демократией. На деле этот инцидент не имел того значения, которое приобрела полемика вокруг письма Чичерина. Последняя свидетельствовала о размежевании либерализма и демократии, «Very dangerous!!!» — о расхождениях *внутри* демократического лагеря. Статья эта отражала либеральные колебания, затруднявшие путь Герцена-демократа. И после этой статьи Чернышевский по-прежнему высоко ставил Герцена, называя его «од-

[1] «Литературное наследство», т. 61, стр. 502.

ним из знаменитейших и действительно лучших деятелей русской литературы»[1]. Нужно иметь в виду и то, что статья Герцена, как показал Б. П. Козьмин[2], метила и в таких эстетов, сторонников «чистого искусства», выступавших против критической направленности русской литературы, как Дружинин. Герцену явно ошибочно представлялось, что в своем отношении к обличительной литературе Добролюбов и Дружинин в чем-то сходятся, он не понимал еще того, что критиковали они эту литературу с диаметрально противоположных позиций.

Результаты лондонских бесед дали себя знать довольно быстро. В листе 49 «Колокола» Герцен до известной степени уже отмежевывается от резких выводов «Very dangerous!!!», хотя и придает этому отмежеванию форму лишь само собою разумеющегося разъяснения. «Нам бы чрезвычайно было больно, если бы ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек»,— говорит теперь Герцен, именуя тех, о ком он писал в «Very dangerous!!!», «нашими русскими собратьями» (14, 138), то есть подчеркивая тем самым свою близость к ним и вступая в противоречие с враждебно-презрительным тоном первой статьи.

В листе 64 «Колокола» (1 марта 1860 г.) было напечатано «Письмо из провинции», подписанное «Русский Человек» и представляющее собой изложение позиций русской революционной демократии. Письмо это приписывалось Чернышевскому, но, как доказал Б. П. Козьмин[3], такое утверждение более чем спорно.

---

[1] См. Вл. Путинцев, Чернышевский о Герцене, «Огонек», 1950, № 6, стр. 24.

[2] См. Б. П. Козьмин, К вопросу о борьбе Герцена и Огарева против сторонников «чистого искусства», «Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка, 1950, т. IX, вып. 2.

[3] Сообщение Б. П. Козьмина в т. 25—26 «Литературного наследства», стр. 576.

Позднее М. В. Нечкина (см. «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации», «Исторические записки», т. 10, стр. 28 и след.) высказала предположение, что автором этого письма является Добролюбов. Косвенные доказательства в пользу этого мнения привел Е. А. Бушканец («Доклады и сообщения филологического института Ленинградского государственного университета», вып. 3, 1951, стр. 186 и след.). С. А. Рейсер же развил по этому вопросу соображения, во многом аргументы М. В. Нечкиной опровергающие («Вопросы истории», 1955, № 7, стр. 128 и след.).

Однако, независимо от вопроса об авторстве, письмо представляет крупнейший общественный интерес.

Автор письма упрекал Герцена: «Вместо грозных обличений неправды, с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге... о России настоящей вы имеете ложное понятие, помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства... Нет, наше положение ужасно, невыносимо, только топор может нас избавить, и ничто кроме топора не поможет!.. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш Колокол благовестит не к молебну, а звонит набат!» В приписке значилось: «Один из друзей ваших»[1]. В редакционной заметке Герцен также причисляет письмо к «статьям наших друзей, с которыми мы расходимся», и продолжает: «Мы расходимся с вами *не в идее,* а в средствах; *не в началах,* а в образе действования. Вы представляете *одно из крайних* выражений *нашего* направления... Но *к топору*... мы звать не будем *до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора*... Июньская кровь взошла у меня в мозг и нервы, я с тех пор воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности».

Герцен еще называет «великим несчастием» возможность того, что «народ, увидя, что его надувают освобождением, сам бросится к топору». Но он дает недвусмысленно понять, что и в этом случае он будет на стороне народа: «Тогда рассуждать нельзя, тут каждый должен поступать, как его совесть велит, как его *любовь* велит...» (14; 239, 243).

А в порыве возмущения Герцен сам (притом в том же номере «Колокола»!)[2] призывал крестьянский топор на «преступные головы» царских сановников, наме-

---

[1] «Колокол», № 64, стр. 533—535. Ср. также обсуждение вопроса о возможной встрече Герцена и Добролюбова за границей в статьях Л. Ф. Хинкулова («Советская Украина», 1960, № 2) и С. А. Рейсер («Вопросы литературы», 1961, № 2) и в дискуссии, материалы которой помещены в сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», изд. АН СССР, 1962.

[2] На это указала З. П. Базилева. См. «Колокол» Герцена, Госполитиздат, 1949, стр. 131.

ревавшихся сохранить за помещиком право телесного наказания крестьян! (14, 245).

Герцен, как показывает его письмо к сыну, почувствовал силу того «боевого крика» (X, 232), который раздался в «Письме из провинции». И Герцен должен был хотя бы косвенно признать свою неправоту.

В статье «Лишние люди и желчевики» («Колокол», л. 83, 15 октября 1860 г.) Герцен отступает от суждений, высказанных в «Very dangerous!!!».

Правда, Герцен берет в качестве эпиграфа к новой статье цитату из «Very dangerous!!!», правда, он частично повторяет мысли, высказанные там, но тон и акцент в статье другие. В «Very dangerous!!!» упрощенно и резко противопоставлялись «лишние люди» и разночинцы — «невские мокрицы», с явной насмешкой над последними. Теперь Герцен по-иному пишет о «желчевиках»: «Это не *лишние,* не праздные люди, это люди *озлобленные,* больные душой и телом... Они представляют явный шаг вперед, но все же болезненный шаг». Он пишет: «Лишние люди были тогда (то есть при Николае I.— *Я. Э.*) столько же *необходимы, как необходимо* теперь, чтоб их не было». Герцен иронизирует над теперешними «вольноопределяющимися в лишние люди», считает «почетными и *действительно* лишними людьми только *николаевских*» (то есть «несчастное поколение», выросшее при Николае I.— *Я. Э.*). Далее Герцен говорит о приближающейся, по его мнению, новой смене: «Мы уже видим, как из дальних университетов, из здоровой Украины, с здорового северо-востока являются совсем иные люди, с непочатыми силами и крепкими мышцами» (14; 317, 318, 322). Новое поколение революционеров-демократов пугало Герцена беспощадностью своей критики, «злой радостью их отрицанья». Но все же Герцен начинает понимать их силу, признает их «шагом вперед» и присоединяется к «здоровому реалистическому взгляду», высказываемому в «одном из лучших русских обозрений» (явно имеется в виду «Современник».— *Я. Э.*). Взгляд этот он характеризует следующим образом: «Люди, говорящие, что не на взяточников и казнокрадов следует обрушивать громы и стрелы, а на среду, делающую взятки зоологическим признаком целого племени, например, *безбородых русских* (то есть чиновников.— *Я. Э.*), совершенно

правы» (14, 318). Тем-то и определялась в данном вопросе грань, отделявшая либералов от революционных демократов, что последние выступали против всего политического и социального порядка царской России, в то время как либералы свою задачу ограничивали разоблачением именно и только взяточников и казнокрадов, осуждали злоупотребления, но отстаивали основы строя. Ведь и такой славянофил, как Иван Аксаков, анонимно напечатал в «Полярной звезде» «Судебные сцены», ярко рисующие произвол и дикость провинциального чиновничества, но он сознательно ограничивался бытовой картиной, остерегаясь каких-либо обобщающих и политически острых выводов.

Для идейных взаимоотношений Герцена и русской революционной демократии в 50-е годы большое значение имела социалистическая, антибуржуазная пропаганда «Колокола».

Герцен в 50-х и начале 60-х годов не раз указывал на то, что «Колокол» *«социальных* (то есть социалистических.— *Я. Э.*) *теорий»* [1] не проповедовал. Однако указание это означает лишь то, что в газете социалистическая пропаганда не занимала первого места и тем более не связывалась с непосредственными задачами политических преобразований в России. В 50-е годы «главным камнем на дороге лежало чудовищное *крепостное право»* (19, 190), и против него прежде всего боролся «Колокол».

Но в статьях Герцена громко звучала такая критика буржуазного строя, такая высокая демократическая и социалистическая требовательность, которая в самой основе своей была неприемлема для либерализма во всех его оттенках.

Так, например, в ряде номеров «Колокола» в конце 1859 года печатался цикл статей «Русские немцы и немецкие русские», направленных не только против российских «правительствующих немцев», но и против «русских западников», которые, как «раки, вообще пятятся назад, думая идти вперед!» (14, 167). Здесь Герцен решительно выступает против враждебной социализму «старой цивилизации» и утверждает, что «два

---

[1] «Литературное наследство», т. 61, стр. 264.

полюса всех ее ненавистей... *Россия и Социализм* являются в одном вопросе» (14, 167).

По-прежнему Герцен убежден в том, что «государственные формы европейские несовместны с идеалом общественности, который выработался цивилизацией» (13, 94). Характеристику буржуазной демократии Герцен дает в напечатанном в «Колоколе» очерке, посвященном Джону Стюарту Миллю и его книге «О свободе» (впоследствии этот очерк был включен в «Былое и думы»). Книга Милля явилась в 50-х годах ярким свидетельством политического и морального падения буржуазного общества, деградации и обнищания человека в нем. Оставаясь на почве буржуазной идеологии и предлагая крохоборческие реформы, Дж.-Ст. Милль вместе с тем дает острую и жалящую критику современной ему Англии. Говоря о влиянии реформации, просвещения и немецкой классической философии, Милль пишет: «Движение, сообщенное жизни умственной деятельностью этих эпох, истощило уже свои силы и близко к совершенному замиранию, а нового возрождения умственной жизни нельзя ожидать, пока не будем иметь умственной свободы... Широкие энергические характеры теперь стали уже преданием. У нас, в Англии, едва ли для энергии открыто теперь какое-нибудь другое поприще, кроме приобретения»[1]. Книгу Милля Герцен воспринял как подтверждение своего критического отношения к буржуазному порядку. Герцен спрашивает: «Посмотрите кругом — что в состоянии одушевить лица, поднять народы, поколебать массы... арифметический ли пантеизм всеобщей подачи голосов или идолопоклонство монархии? Суеверие ли в республику или суеверие в парламентские реформы?.. Нет и нет; все это бледнеет, стареет и укладывается, как некогда боги Олимпа укладывались, когда они съезжали с неба, вытесняемые новыми соперниками, подымавшимися с Голгофы» (11; 70—71). Герцен указывает на положительные стороны политического строя Англии по сравнению с порядками Второй империи. Но буржуазный парламентаризм для него «самое колоссальное беличье колесо в мире» (10, 127). Он отмечает ограниченность бур-

[1] Джон Стюарт Милль, Утилитаризм. О свободе, СПб. 1900, стр. 258, 329.

жуазно-демократического общественного мнения, связь его с реакцией и мучительное положение передовой науки в буржуазном обществе, виднейшие представители которой вынуждены скрывать свои материалистические взгляды: «Общественное мнение... без всякой терпимости требует решительного лицемерия, и Агасси или Либиг, в Филадельфии или Мюнихе, все равно — принуждены слабодушно отрекаться от истин, науки и искажать их для того, чтоб не распугать толпу и иметь полную аудиторию; а так называемые политические революционеры, республиканцы, демократы — проповедуют риторический деизм, идеализм в политике, все предрассудки военно-теократического государства» (13, 95).

Герцен ясно видел преимущества политического строя Северной Америки как буржуазной демократии по сравнению с монархическими режимами, но вновь и вновь задумывался над перспективой общественного развития этого молодого государства и, в частности, над тем, «каково будет отношение Соединенных Штатов к социалистическим тенденциям» (12, 351).

Герцену порой казалось, что в Соединенных Штатах осуществится «великая идея индивидуальной независимости». Соединенные Штаты привлекали его как молодая, способная к бурному развитию страна, и он не раз сопоставлял ее исторические судьбы с судьбами России, например в статье «Америка и Сибирь». Но еще в 40-х годах он приходит к выводу, который затем не раз повторяется в его трудах: американская республика «дойти до «истинного равенства, до свободы», как говорит Брейсбен (американский последователь Фурье.— *Я. Э.*), не может» (5, 184) — она чужда интересам «работников» — пролетариата. В статье «Россия и Польша» Герцен характеризует Соединенные Штаты как типическое буржуазное государство: «В Северо-Американских Штатах перехватывают письма и журналы, секут граждан на площадях и продают с аукциона *вольных* негров... Мир, основанный на римском праве собственности и на германском праве личности, может бросить голодному хлеба, но признать его *право на хлеб* не может» (14, 44).

Вопрос о путях развития человечества к социализму неустанно занимал Герцена. Он понимал, что победа

социализма может явиться лишь результатом борьбы народных масс. Что же касается перспектив такой борьбы, то в этом отношении в очерке, посвященном Миллю и его книге, заметно дальнейшее укрепление оптимистических настроений. Не ограничиваясь сочувственным комментарием к критике Миллем буржуазного общества, Герцен говорит здесь: «Вопрос действительно важный, до которого С. Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подседы и здоровые ростки, чтоб прорасти измельчавшуюся траву? А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии, на безвыходную, черную работу, на невежество и проголодь, позволяя взамен, как в лотерейной игре, одному на десять тысяч, в пример, ободрение и усмирение прочим, разбогатеть и сделаться из снедаемого обедающим?

Вопрос этот разрешат события,— теоретически его не разрешишь... Если народ сломит, неминуем *социальный переворот!*» (11, 76).

Очень существенно и то, что Герцен теперь не делает никаких оговорок о стихийно-разрушительной силе будущего переворота. Он надеется на английского работника, но оговаривает, что не знает, как тот «поставит свой социальный вопрос» (11, 77).

Герцен искал научного обоснования своих социалистических чаяний и не ограничивался народническими упованиями. В 50-х годах в его сознании уже начинает развиваться мысль, давшая, как мы увидим, богатые плоды в 60-х, мысль о решающем значении, которое в общественных отношениях имеет «экономическое устройство». «Экономический вопрос» Герцен считает «главнейшим... существеннейшим». Правда, он упрощенно противопоставляет его — «кровавым, политическим» (14, 33) вопросам, то есть мечтает здесь о переходе к социализму без революционной борьбы. И тем не менее, усиление внимания к вопросам экономических отношений помогло Герцену в дальнейшем.

Во всей его публицистике, несмотря на его оговорки и колебания, чувствуется такое мощное стремление к коренным изменениям общественного устройства человечества, которое воспитывало молодое революционное

поколение в духе демократии и социализма. Герцен чувствовал себя борцом «мира *восходящего, утреннего*», противопоставляя его «миру *садящемуся, вечернему*» (14, 107). Он писал сыну в 1860 году: «В России идет борьба, и эта борьба отталкивает слабых, а сильных именно потому и влечет она, что это — борьба на смерть» (X, 232). Таким сильным человеком, не слабеющим, а закаляющимся в борьбе, и был Герцен.

Итак, линия «Колокола» все больше приближалась к политической линии русской революционной демократии, хотя еще не раз справедливо вызывала полемические замечания со стороны Чернышевского и других революционных демократов, критиковавших Герцена за непоследовательность, за слишком оптимистический взгляд на характер реформ, за либеральные уклоны и апелляции к верхам.

3. Славянский вопрос в «Колоколе»

Герцен писал в «Колоколе»: «Наши занятия... все в России, в русских делах и книгах, а не в западных людях и интересах» (13, 92). В этих словах сказалась целеустремленность Герцена, его непоколебимое убеждение в том, что его деятельность нужна прежде всего родному народу.

Как уже отмечалось выше, с думами о будущем России у Герцена тесно сплетались размышления о судьбах других славянских народов, всего «славянского мира».

Но всякие «притязания... на всемирно-историческое первенство», всякий «исключительный национализм», хотя бы и «окруженный космополитическими фразами» (13, 97), всякое пренебрежение к другим народам и расам были совершенно чужды Герцену. Его пессимистические взгляды на перспективы революционного движения в Западной Европе были обусловлены временными и преходящими обстоятельствами, но отнюдь не националистическими предрассудками.

Как говорил Герцен, «мы не верим ни призванию народов, ни их предопределению, мы думаем, что судьбы народов и государств могут по дороге меняться, как судьба всякого человека, но мы вправе, основываясь на

настоящих элементах, по теории вероятностей делать заключения о будущем» (14, 46).

С точки зрения Герцена, для того чтобы человечество могло уверенно вступить на «столбовой путь» своего развития, который приведет его к социализму, необходимы были усилия всех народов и рас, широчайшее международное сотрудничество. По словам Герцена, «история не так просто и легко двигается, чтоб ездить в одиночку; она скорей похожа на тяжелый дилижанс, которого тащат в гору разные клячонки — одна посильнее, другая послабее, одна моложе, другая старше, но каждая тащит постромку. В числе лошадей, употребляемых на историческую гоньбу, есть добрые кони, но ни одного, который бы не имел своих пороков, ни одного, который бы в одиночку стащил старый рыдван» (13, 99). С этих позиций Герцен резко критиковал «немецких космопатриотов», проповедующих «великое призвание» Германии и отказывающих «народу русскому во всех политических способностях» (13; 97, 99), а также представителей «исключительного национализма» других народов. Герцен гневно бичевал австрийскую «королевско-имперскую цивилизацию», которая, по его словам, состоит «в постоянном гнете всего народного и в *онемечивании»* австрийских славян (14, 101). Герцен следующими штрихами обрисовывал положение чешского народа:

«Как Австрия специально образовывала — мы знаем по Богемии. Она употребила два столетия на систематическое забивание всего независимого и национального в этом народе; она совершала там злодейства, перед которыми бледнеют дела протестантской Англии в Ирландии: казни, конфискации, гонения продолжались поколения, под руководством иезуитов и бюрократов, в распоряжении которых состояла развратная, наемная, скотски-свирепая солдатеска, хранившая в памяти предание валленштейновских времен и тридцатилетнего разбоя. Вешали, секли, морили в тюрьме, жгли людей, жгли книги, грабили, выселяли и дошли до того, что аристократическая помесь и часть мещан сделались немцами, а народ остался чешским; и в первую минуту, как потерявшийся палач приподнял свою руку и дал жертве немного вздохнуть, в начале нашего века, явилась целая чешская литература» (14, 102).

Славянство было для Герцена *«грядущей* частью человечества, вступающей в историю» (14, 105); его полемика была направлена против всех и всяких попыток отрицать способность славянских народов и, в частности, русского народа к великому историческому развитию и творчеству.

От имени передовой России Герцен обращался к сербам и черногорцам и говорил им, что эта Россия «приветствует вас своими братьями, протягивает вам руку», и предлагал воспользоваться страницами «нашего вольного заграничного органа, чтоб перекликнуться с Россией». Но Герцен предостерегал славянские народы от опаснейшей ошибки, которой явилась бы с их стороны попытка сближения не с передовой, революционной Россией, а с Россией царской и ее представителями, с этими «квартальными пропагандистами, агитаторами с Анной на шее, действительными статскими пилигримами» (14, 334). Поэтому впоследствии Герцен иронически расценивал «славянскую агитацию» московских славянофилов, в частности их попытку при благословении царского правительства инсценировать в 1867 году нечто вроде «всеславянского собора», с участием чехов и других славян. Комментируя сообщения об этих событиях, Герцен напоминал о кровавой судьбе Польши и злодеяниях царизма по отношению к ней.

Как мы видели, в конце 40-х и начале 50-х годов, в период, когда гнет николаевского самодержавия и крепостничества действительно превратил Россию в тюрьму народов, откуда наружу доносились лишь глухие стоны, Герцен мог только мечтать о великом революционном будущем своей родины и «славянского мира». Но к концу 50-х годов положение коренным образом изменилось. В этой связи следует отметить, что во второй половине 50-х годов Маркс и Энгельс иным образом, чем в начале десятилетия, расценивали возможности развития революционного движения в России. Маркс в статье «Об освобождении крестьян в России», опубликованной в американской печати в январе 1859 года, считал вероятным массовое восстание обманутых в своих надеждах крестьян и писал: «Если это произойдет, то настанет русский 1793 год». Марксу представлялось, что

эти события могут создать «поворотный пункт в истории России»[1].

В конце 50-х годов надежды Герцена на громадную историческую роль, которую сможет сыграть для всего славянства будущее великое русское демократическое государство, естественно значительно окрепли, он считал, что коренной перелом русской жизни не за горами. Именно поэтому Герцен так высоко ценил «нашу привычку... «от самых пеленок» вовсе не думать о политической независимости, о государственной самобытности; мы не доказываем нашу народность, мы не боимся за нее... она такой незыблемый, неопровергаемый, очевидный факт, что мы забываем ее, как дыхание, как биение сердца». Герцен ценил это «чувство государственного единства и независимости», эту «чрезвычайную пластическую силу» (14; 51, 53), доказывающую способность русского народа образовать сильное, централизованное государство, но подчеркивал, что «*Россия не дошла еще* до такого гражданского русла, которое бы ей соответствовало, в котором было бы достаточно простору для обнаруживания всех или большего числа внутренних сил своих» (14, 45).

Это будущее «гражданское русло» Герцен и видел в сильной демократической государственности. Стремясь к тому, чтобы демократическая Россия сыграла свою роль в будущей «славянской федерализации», Герцен был совершенно чужд каким-либо панславистским, великодержавным стремлениям. «Я,— заявляет Герцен,— только для *нерусского* славянского мира от всей души желал братский союз с Россией, для того чтоб когда гроза, которую никакая мощь в мире не остановит, грянет, они не были бы взяты врасплох!» (14, 42). Герцен имеет в виду и считает неизбежным в будущем столкновение демократической, социалистической России с европейской буржуазной реакцией, причем указывает, что такая Россия «перекликнется с пролетарием-работником и с пролетарием-батраком на Западе, и они поймут, что собственно у них дело одно». И Герцен продолжает: «Кто может предвидеть все столкновения и все борьбы, которые вызовутся в те дни. Но что они будут страшны — в этом нет сомнения. Перед борьбой нам

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 12, стр. 701.

хотелось, чтоб славяне подали друг другу руку на братский союз,— не для помощи России, уж она-то сама за себя постоит,— не для составления с ней чудовищной империи...— а для того, чтоб они не остались по ту сторону, по сторону *прошедшего,* или не сделались бы кровавым театром страшной борьбы» (14; 58—59).

Герцен стремится к тому, чтобы в будущей борьбе демократической России, так или иначе поддерживаемой западноевропейским пролетариатом, против «судорожной реакции, господствующей теперь в Европе», все славянские народы были бы в лагере прогресса.

Революционно-демократические взгляды Герцена на будущий братский союз славянских народов получают свое наиболее отчетливое и ясное выражение именно в конце 50-х годов, когда назревание революционного кризиса в России с особенной ясностью указывало на великое будущее русского народа.

Герцен наряду с Чернышевским принадлежит к тем передовым русским людям, которые явились первыми пропагандистами идей братского союза славянских народов, союза равноправных славянских государств, основанных на демократических началах.

К сожалению, вопрос о связях Герцена с передовой литературой западных и южных славян еще не получил сколько-нибудь широкой научной разработки. Поэтому сейчас возможно привести лишь отдельные факты, иллюстрирующие эти идейно-политические связи[1].

Очень интересные данные собраны в работе Ш. М. Богатырева «Чешские связи Герцена» («Литературное наследство», т. 64). Чешским ученым К. Косик и Р. Гребеничковой, основываясь на исследовании рукописного наследия чешского демократа и участника революции 1848 года И. В. Фрича, посетившего Герцена в 1859 году, удалось показать, что Фрич ориентировался на сближение с революционной Россией, видя в этом путь к победе чешского национально-освободительного движения, к созданию самостоятельного чешского государства[2].

Великий болгарский революционер Христо Ботев

[1] О взаимоотношениях Герцена и польской демократии см. главу настоящей книги «Герцен и Польша».

[2] См. также статьи Ю. Доланского в «Иностранной литературе» (1962, № 3) и в сб. «Проблемы изучения Герцена».

напечатал в 1871 году в своей газете «Слово болгарских эмигрантов» перевод статьи Герцена «Разговор с детьми» [1], помещенной в 1860 году в «Полярной звезде».

Известный болгарский писатель-демократ Любен Каравелов, учившийся в Московском университете и тесно связанный с русской культурой и литературой, опубликовал в 1868 году повесть «Виновата ли судьба?», на которую оказали влияние идеи герценовского романа [2].

О популярности имени Искандера в Сербии свидетельствует то, что в 1864 году Общество сербской словесности в Белграде избрало Герцена и Чернышевского своими почетными членами [3].

Сочинения Герцена рано начали пользоваться известностью в славянских странах, и имя его наряду с именем Чернышевского приобрело широкую популярность.

В будущем великом демократическом государстве, центром которого должна была стать Великороссия, Герцен громадную роль отводил Украине.

В 1859 году Герцен, отвечая одному польскому публицисту, указывал, что Украина, с точки зрения русской демократии, имеет право на государственную независимость. «Украину следует... признать свободной и независимой страной». Но Герцен подчеркивал при этом, что «желание развинтить круто скрученные вожжи казарменного деспотизма нисколько не совпадает с желанием полного отчуждения своих судеб от судеб России. Для того чтоб сказать, *можно ли идти* с Россией или нет, *надобно* посмотреть, что выйдет из общего движения, в которое Россия ринута...». Герцен верил в будущую свободную Россию и именно поэтому высказывал такое предположение: «Если Россия... действительно взойдет в... новую фазу жизни... я не думаю, чтоб Ук-

---

[1] См. Л. Ерихонов, Русские революционные демократы и общественная мысль южных славян в 60—70-х годах XIX века, Госполитиздат, 1950, стр. 115. Л. Ерихонов, однако, ошибочно счел эту статью оригинальной работой Христо Ботева. В действительности она имеет подзаголовок «Из И-ра».

[2] См. статью Л. Воробьева в «Московском университете», 1955, № 38.

[3] См. Л. Ерихонов, Русские революционные демократы и общественная мысль южных славян в 60—70-х годах XIX века, Госполитиздат, 1950, стр. 45.

райна захотела отделиться от нее» (14; 21, 22, 23). Будущая связь между Великороссией и Украиной представлялась ему в виде «братского союза», в виде федерации. Он заявлял: «Федеральные части связаны общим делом, и никто никому не *принадлежит*... Вот почему я так высоко ценю федерализм» (14, 22).

К этим взглядам Герцена может быть отнесено определение Лениным позиции русской революционной демократии в украинском вопросе, данное им в июне 1917 года: «Ни один демократ не может... отрицать *права* Украины на свободное отделение от России: именно безоговорочное признание этого права одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз украинцев и великороссов, за *добровольное* соединение в одно государство двух народов» [1]. Именно за вольный союз, за добровольное соединение украинцев и великороссов, за укрепление дружбы русского и украинского народов и боролся Герцен.

Но следует, разумеется, помнить, что исторические условия не позволяли Герцену увидеть решающую роль, которую в формировании этого союза предстояло сыграть революционному пролетариату.

Герцен не раз указывал на глубокие духовные связи, существующие между русской и украинской культурой, и в особенности между литературами обоих народов, и сам содействовал укреплению этих связей.

Характеризуя общественные настроения эпохи Николая I и упоминая «Философическое письмо» Чаадаева, Герцен писал: «Еще в людских ушах раздавался звук погребальной проповеди Чаадаева, которая, шевеля многое в груди, не давала ничего, кроме утешений *на том свете,* какого-то далекого будущего, а уже светлые звуки малороссийского напева неслись издали вместе с жартами и смехом, если и не добродушным, то смехом здоровой груди...» (17; 102—103). Герцен имел в виду издание «Кобзаря» Шевченко и наглядно показывал тем самым, какое большое значение творчество великого украинского поэта имело для духовной жизни всей России. Он любил и ценил творчество Марко Вовчка и дружески сблизился с замечательной украинской писательницей.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 25, стр. 73.

V. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГЕРЦЕНА 50-х ГОДОВ

В эстетике Герцена, так же как в его общественно-политических взглядах и деятельности в 50-х годах, происходит рост революционно-демократических элементов и тенденций. Больше того: в эти годы именно в эстетических высказываниях Герцена, порой даже более непосредственно, чем в его политических выступлениях, проявлялись чувства революционного протеста и возмущения, стремления к смелой, коренной переделке действительности, ибо здесь эти чувства почти не осложнялись либеральными колебаниями и оговорками.

Герцен все выше ценит в художнике способность отразить переломные моменты истории, передать напряжение общественной борьбы. Он убежден в том, что опыт классиков и в этом отношении окажет мощную помощь современному русскому художнику.

В письме к М. П. Боткину от 5 марта 1859 года он говорит: «...поэтический элемент и, главное, драма — присущи всем эпохам, всем временам, и не есть ли задача художника-живописца схватить самый полный, страстный момент катастрофы? Поэтических и притом глубоко трагических элементов в современном брожении и распадении бездна. Нет ли у Рембрандта (этого художника, всего более подходящего к Шекспиру), нет ли у Мурильо приближения к этому глубокому воспроизведению всякого рода страстных катастроф? Если современный костюм, особенно на севере,— гадок, и круглая шляпа стоит фрака,— то не забудьте, что крестьянин в своей простой одежде и нищий в своем рубище — такие же вечные типы теперь, как и прежде... Чем кровнее, чем сильнее вживается художник в скорби и вопросы современности — тем сильнее они выразятся под его кистью» [1].

Герцен полагал, что задача подлинного искусства никак не может быть сведена к пассивному отражению явлений действительности. Долг художника уловить драматические черты современности в их «самом полном и страстном моменте», то есть в самом резком выражении. Тем самым художник углубляет переживание

[1] «Звенья», т. VI, стр. 321—322.

«скорбей и вопросов современности», обогащает духовную жизнь эпохи, активно вмешивается своим искусством в общественную борьбу.

Саркастически высмеивает Герцен либерально-дворянских сибаритов, сторонников «чистого искусства», вроде Дружинина, которых коробят обличения, раскрывающие уродства и язвы крепостничества. Едкой и язвительной иронией проникнуты следующие строки из статьи о дружининском журнале «Библиотека для чтения»: «Извольте видеть — слабые нервы петербургские не выносят таких ужастей, таких отвратительных картин... Да ведь и распятие, когда на него смотреть без веры и без любви,— возмутительная картина — и этот мясник Рубенс, и этот палач Рембрандт чему обрадовались, представляя всяких смердящих Лазарей да корячащихся в агонии разбойников на кресте?..» (14; 268—269). Под этим углом зрения Герцен и подходит к вопросу об изображении в литературе народной, крестьянской жизни. Для того чтобы совладать с этой труднейшей темой, писателю нужны и глубокая правдивость, и любовь к народу, вера в его будущее, истинное поэтическое чувство. В статье «О романе из народной жизни в России» Герцен называет «Записки охотника» Тургенева «поэтически написанным обвинительным актом против крепостничества» (13, 177).

Герцен убедился в том, что вера в народ, в его будущее дает писателю мужество поэтического и безбоязненно правдивого изображения жизни. Так, о столь «изящных в своей сельской свежести рассказах» Марко Вовчка Герцен писал: «В петербургских болотах, в московской пыли не растут такие дубравные цветы; тут все чисто и здорово, неистощенная земля, непочатое сердце,— тут веет полем после весеннего дождя, веет и проклятьем русского поля — господским домом; шум листьев, лепет, жужжанье не заглушают ни плач «девчонки», оторванной на веки веков грубым насильем у матери, ни вопль «псаря», стегаемого zu unästhetisch <слишком неэстетично>... Украинец-рассказчик не брезглив,— ведь и природа не брезглива,— он не прячет своего кровного родства с «девчонкой» и не стыдится, что слезы его льются на грязный посконный холст, а не на мягкое «пате» (непременно Гамбсовой работы)». Автор «Украинских народных рассказов» «в этих девчонках,

в этих псарях... почуял — именно сердцем, которое вытравляют столичные доктринеры (Герцен имеет в виду западников вроде Чичерина.— *Я. Э.*),— заморенную силу, близкую, понятную, кровную нам. Оттого-то и слезы его не наполняют душу одним безвыходным поедающим горем, а дрожат, как утренняя роса на сломанных и истоптанных цветах; *их* не воскресят они, но другим возвещают зорю!» (14; 270—271). Правда, в статье Герцена «О романе из народной жизни в России» заметен оттенок идеализации «земледельческой, невзыскательной, простой патриархальности» (13, 178), навеянной народническими чаяниями. Это и заставляет Герцена не видеть идиллических тенденций в изображении крестьянского быта, свойственных отчасти творчеству Григоровича. В 60-х годах требования Герцена, предъявляемые к подлинно народному искусству, станут более строгими, последовательными, его критика барски-филантропических представлений о народной жизни и соответствующей им эстетике более резкой.

Неизменно иронически относился Герцен к литературе, которая уводила от действительности, особенно если ей был присущ мистический оттенок.

В 1856 году в письме к Тургеневу Герцен прямо высказал свое отрицательное отношение к его «Фаусту», присоединившись к мнению Огарева, справедливо увидевшего в этой повести «неясные мнения о таинственном мире», в который сам автор не верит[1].

Герцен писал Тургеневу: «Куда нам заходить в романтическое Замоскворечье — мы люди земляные, жиленные да костяные» (VIII, 340).

Революционный и материалистический характер герценовской эстетики проявляется и в его убеждении, что муки, страдания, самая жертва красотой способны явиться источником рождения новой красоты, прекрасного на земле. Эта мысль нашла поэтическое выражение в XXIV главе «Былого и дум». Герцен говорит здесь: «Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гёте: он осмелился рядом с непорочными девами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять изменившуюся

[1] См. комментарий Л. В. Крестовой к шестому тому Собрания сочинений И. С. Тургенева, Гослитиздат, 1955, стр. 367—368.

форму *будущей* матери, сравнивая ее с гибкими членами будущей женщины.

Действительно, женщина, несущая вместе с памятью былого упоенья весь крест любви, все бремя ее, жертвующая красотой, временем, страданием, питающая своею грудью,— один из самых изящных и трогательных образов» (8; 381—382).

Очевидно, в какой мере этот взгляд враждебен всякого рода теориям «чистого искусства», идеалистическим представлениям об отрешенности красоты от жизненной борьбы, от ее противоречий и конфликтов. О том, какое огромное значение Герцен придавал жизненной правде в искусстве, свидетельствует его оценка русской прозы, данная им в работе «Русский народ и социализм» (1851). Указывая на трезвую обличительную силу русского романа, Герцен заявляет, что Россия будет спасена от отчаяния, порожденного гнетом николаевской реакции, «глубоким сознанием нашего положения, правдивостью...» (7, 331).

Правдивость искусства неразрывна с его идейным ростом и интеллектуальным обогащением. Называя Моцарта «первым человеком в музыке», Герцен утверждал в письме к М. К. Рейхель: «...Переворот так и перетряхнет вашу музыку, как все остальное» (VII, 239). Моцарта — Мирабо в музыке, говорит Герцен, сменят Дантоны, и развитие пойдет дальше.

Герцен выступал проповедником искусства, верного лучшим национальным традициям, глубоко чувствующего все своеобразие русской жизни, «русской натуры» и вместе с тем искусства интеллектуально насыщенного, вдохновленного передовыми идеями своего времени. Эта точка зрения Герцена соответствовала творческим устремлениям крупнейших русских художников, в частности Александра Иванова, чьи встречи и беседы с издателем «Колокола» свидетельствовали о том знаменательном влиянии, которое русская революционная мысль оказывала на русское искусство.

Герцен по собственному опыту понимал всю трудность и плодотворность идейных и художественных стремлений Александра Иванова: «Такое благочестие к искусству, религиозное служение ему, с недоверием к себе, со страхом и верою, мы только встречаем в рассказах о средневековых отшельниках, молившихся ки-

стью, для которых искусство было нравственным подвигом жизни, священнодействием, наукой» (13, 323). Вспомним, что русских передовых людей 40-х годов Герцен называл «отшельниками мысли», «схимниками науки»[1]. И очень существенно, что столь же высоко, как и Герцен, идейные и художественные искания Александра Иванова оценил Чернышевский.

Не случайно Герцен говорит о том, что искусство было для Иванова «наукой», то есть что его творчество было вдохновлено высокими идейными стремлениями и убеждениями.

Иванов, встречавшийся и споривший с Герценом еще в 1847—1848 годах в Италии, отойдя от своих прежних религиозных верований, обратился к нему в 1857 году как к авторитетному представителю русской передовой мысли: «Нигде столько не могу зачерпнуть разъяснения мыслей моих, как в разговоре с вами» (9, 45).

В своей замечательной статье 1858 года, посвященной Иванову, которую Стасов называл «бесконечно талантливой, увлекательной, страстной», Герцен говорит о полученном им письме художника: «Каждое слово его дышит иным веянием, сильной борьбой, запертая дверь студии не помешала, мысль века прошла сквозь замок, страдания побитых (Герцен имеет в виду жертвы поражения революции 1848 года.— *Я. Э.*) разбудили его...» (13, 326). Это сознавал сам Иванов, говоря, что он стремился «приспособить к живописному делу» «последние положения литературной учености»[2], то есть выводы передовой философии.

Герцен чрезвычайно высоко ставил духовные, эстетические искания Иванова, ибо правильно чувствовал в них попытку воплотить героический поэтический образ, соответствующий идейным стремлениям передовых русских людей.

Иванов в Лондоне в 1857 году «с отчаянием говорил о том, что ищет новый религиозный тип и нигде не находит его в окружающем мире» (16, 142). Под «новым религиозным типом», приходящим, по его представлению, на смену Христу, Иванов разумел передового

---

[1] «А. А. Иванов. Его жизнь и переписка», СПб. 1880, стр. 289.
[2] Там же, стр. 287.

человека, способного повести за собой народные массы к высоким целям. «Я мучусь о том,— говорил Иванов в Лондоне Герцену,— что не могу формулировать искусством, не могу воплотить мое новое воззрение, а до старого касаться я считаю преступным» (13, 327). По воспоминаниям Огарева в статье «Памяти художника» («Полярная звезда» на 1859 год), Иванов спрашивал, имея в виду буржуазный мир: «Какие же идеалы у нового мира, у современного мира? Его вера? Где его герои?.. Безобразен этот мир; он сам потерял чувство красоты; чего же в нем искать художнику». Восхищаясь страстностью и последовательностью духовных исканий Иванова, Герцен восклицал: «Хвала русскому художнику, бесконечная хвала... Не знаю, сыщете ли вы формы вашим идеалам, но вы подаете не только великий пример художникам, но даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской... за которую... мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее будущность!» (13; 327—328).

По убеждению Герцена, передовая идея, овладевшая сознанием художника, даже если она не сразу способна воплотиться в конкретные художественные образы, является глубоко плодотворной. Поэтому Герцен считал, что «высоко честное стремление» Иванова, его преданность передовым идеям являются важным вкладом в художественную жизнь.

Сам же Иванов писал брату за несколько месяцев до смерти: «Если бы, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий и новый путь, стремление к нему все-таки показало, что он существует впереди, и это уже много, и даже все, что может дать в настоящую минуту живописец»[1].

Наряду с драматическим и трагическим отражением действительности, Герцен отводил в литературе и жизни огромную роль сатире, смеху. С его точки зрения, чувство комического вызывается старым, отжившим или отживающим явлением общественной жизни, претендующим на силу, власть и признание. Против этого старого и отмирающего и направлена сатира, смех.

Как и другие великие революционные демократы, Герцен выступал против утверждений буржуазной эсте-

[1] «А. А. Иванов. Его жизнь и переписка», стр. 297.

тики, будто смех вызывается «безвредными» явлениями и потому не имеет большого общественного значения.

«Смех,— писал Герцен,— одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и еще держится, бог знает на чем, важной развалиной, мешая расти свежей жизни и пугая слабых... Смех вовсе дело не шуточное, и им мы не поступимся... Написать историю смеха было бы чрезвычайно интересно. В церкви, во дворце, во фронте, перед начальником департамента, перед частным приставом, перед немцем-управляющим никто не смеется. Крепостные слуги лишены права улыбки в присутствии помещиков. Одни ровные смеются между собой... Смех нивелирует, а этого-то и не хотят люди, боящиеся повиснуть на своем собственном удельном весе» (13, 190). Герцен убежден в том, что смех обладает «революционной, нивелирующей силой», он «страшно популярен» (14, 117), то есть становится мощным оружием передовых общественных сил, народных масс против всего реакционного и косного.

По словам Герцена, начиная с XVIII века передовые русские писатели, «не имея иного оружия кроме сатиры, противопоставили вопиющим противоречиям, произволу и пошлости оппозицию иронии, настоящее бичевание общества, исполненное горечи, ожесточенное, без сентиментальных уверток и не разбавленное розовой водичкой» (13, 172). «Ревизор» и «Мертвые души» явились вершиной русского сатирического искусства, оказали громадное влияние на общественную жизнь.

При этом, как верно подметил С. Машинский, Герцена постоянно занимает вопрос о положительном идеале в сатирическом творчестве Гоголя[1], о поэтическом выражении в нем той веры в свой народ, в его будущее, которое автор «С того берега» чувствовал и в искусстве самого народа, и в песне русского крестьянина.

Вместе с тем Герцен явно иронически относился к дешевому тенденциозничанью в искусстве. Он резко критиковал тщетно претендующие на художественность произведения, в которых выведены «носители идей», а не люди. В особенности отрицательно относился он к такого рода тенденциозничанью в драматургии.

---

[1] См. С. Машинский, Гоголь и революционные демократы, Гослитиздат, 1953, стр. 148—149.

«Пусть,— писал Герцен в одной театральной рецензии 1850 года,— поэт старается быть правдивым, а факты сами представят больше нравственных выводов, чем все сентенции и афоризмы. Надобно питать некоторое доверие к человеческой природе и к нашему уму» (6, 245).

Художник-мыслитель, страстно и самоотверженно, полно и цельно участвующий своим творчеством в общественной борьбе, правдиво изображающий самые крутые, трагические повороты жизни, истории и обогащающий духовную эстетическую жизнь своего времени, — таков, в понимании Герцена, представитель передового искусства.

VI. ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ ГЕРЦЕНА. — ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В одной своей статье Герцен называет «первый русский станок», станок Вольной русской типографии, «электрометром», который «показывает деятельность и напряжение сгнетенной силы»,— силы народных масс России, еще скованной гнетом царизма.

Таким «электрометром» чувствовал себя в годы расцвета своей деятельности и издания «Полярной звезды» и «Колокола» сам Герцен. Он достиг поставленной перед собой высокой цели. Он нашел практическое дело огромного революционного значения.

На родине Герцен приобрел невиданную еще в России для общественного, литературного деятеля популярность.

Имя великого русского эмигранта стало пользоваться мировой известностью. В Герцене западноевропейская демократия чтила признанного представителя революционной России, ее посла. Западная Европа, по словам Гарибальди, увидела в нем представителя *«юной* России, которая страдает и борется, как мы, и победит, как мы», представителя «нового народа, который, освободившись и одолев Россию царскую, очевидно призван играть великую роль в судьбах Европы» (18, 118).

Фейербах, которому Герцен был так много обязан в своем философском развитии 40-х годов, называл Гер-

цена «знаменитым писателем» и ценил его «одобрение и рекомендацию» «Сущности христианства»[1].

Интересно письмо, полученное Герценом в 1861 году от Н. Ханыкова, передающее впечатления от посещения последним Л. Фейербаха. «Вас он знает; ему знакомы все почти ваши сочинения по немецким и французским переводам. Он просил меня при случае заявить вам его глубокое уважение. Я ему подарил ваш портрет, чем он очень обрадован»[2]. Демократическая печать Германии дает высокую оценку деятельности Герцена[3]. В Англии и других странах выпускаются и распространяются бюсты и портреты Герцена[4].

Небольшого роста, плотный, широкоплечий, сильный, энергичный, Герцен обладал редким очарованием, производил впечатление огромной духовной силы, светившейся в его взгляде, звучавшей в его речи; от красивой головы, выразительных черт его лица, от высокого лба веяло сосредоточенной энергией, мощью ума. Сам Герцен, когда ему было уже под пятьдесят лет, не чувствовал, что стареет. Он был целиком поглощен своей работой, а вместе с тем оставался пристально внимателен и отзывчив к различным явлениям и краскам жизни. Сердце и мысль его, как и раньше, были горячими и пылкими, годы не охладили их, так же как не коснулись их равнодушие, безразличие, опустошающая усталость.

Льва Толстого Герцен поразил при первой встрече в 1861 году именно исходившим от него «внутренним электричеством», быстротой движений, глубиной и блеском мысли, фейерверком слова. Толстой говорил, что не встречал больше таких обаятельных людей, как Герцен.

Однако жизнь за границей была для Герцена, по его выражению, *«жертвой,* огромной жертвой, которую мы приносим нашему делу» (16, 100).

---

[1] См. «Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР», т. II, изд. АН СССР, 1956, стр. 883.

[2] «Литературное наследство», т. 62, стр. 706.

[3] Уже после того, как эта книга была набрана, вышла из печати в высшей степени ценная работа, впервые полно освещающая этот материал: E. Reissner, Alexander Herzen in Deutschland, Akademie Verlag, Berlin, 1963.

[4] Об откликах английской печати на деятельность и сочинения Герцена см. статьи М. Партридж в «Slavonic and East European Review», 1958, June и в «Вопросах литературы», 1959, № 4.

Не раз, особенно в письмах к М. К. Рейхель, он высказывал полусерьезно-полушутливо мечту о возвращении в Россию или хотя бы о посещении Москвы и уже совсем серьезно надеялся на то, что сын его получит возможность учиться в России. И в этих планах сказывалась вечно живая, подлинно патриотическая тоска Герцена по родине.

Но вместе с тем самое дело утоляло до какой-то степени эту тоску. Как говорил впоследствии Герцен, «русским станком я возвращался домой, около него должна была образоваться русская атмосфера» (17, 75). И она действительно образовалась. Если «Колокол» стал центром русской революционной пропаганды, то дом Герцена в Лондоне стал в конце 50-х годов важным общественным центром.

Русских посетителей и прием их в герценовском доме зарисовал в своей «Исповеди» В. И. Кельсиев: «В мае 1859 г., когда я приехал в Лондон, я застал Герцена во всем блеске его славы и авторитета... Я познакомился с ним по общему порядку, какой не то сам завелся, не то Герценом же был заведен в Лондоне. Каждый приезжий естественным образом прежде всего бежал к Трюбнеру (издателю и книготорговцу.— *Я. Э.*) купить «Колокол», «Полярную звезду» и прочие заграничные издания. Приезжий в Лондон обыкновенно изъявлял Трюбнеру желание удостоиться счастия познакомиться с Герценом. Трюбнер давал адрес и приглашал написать записку. В ответ на эту записку Герцен назначал свидание или у себя, или у приезжего, если последнему почему-нибудь не хотелось, чтобы его видели в доме Герцена. Такие случаи бывали очень часто. Лица очень высокопоставленные никогда не входили в дом Герцена... Трудно было помнить всех приезжавших на поклонение, так много их было. Они мелькали один за другим, входили с трепетом благоговения, слушали и врезывали себе в память каждое слово Герцена, сообщали ему сведения словесно или в заранее приготовленных записках, выражали ему свое собственное сочувствие и сочувствие своих знакомых, благодарили за пользу, приносимую обличениями России, и за страх, который «Колокол» навел на все нечестное и нечистое, затем раскланивались и исчезали. Кого только не перебывало при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы,

купцы, литераторы, дамы, старики и старухи, бывали студенты,— точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился, и это не считая тех, с которыми он видался с глазу на глаз. Много раз, стоя у камина в его кабинете... я хохотал в душе, смотря на какого-нибудь капитана в отставке, который нарочно поехал в Лондон из такой глуши, как Симбирск или Вологда, заявить свое сочувствие, объяснить, что он не ретроград, как и сосед его Степан Петрович и как кум его Петр Степаныч. «Это все, доложу вам, золотой наш Александр Иванович, люди благородные, свободомыслящие-с, да-с, этими людьми вся губерния наша может гордиться! И если б правительство умело выбирать людей, ценить бы-с умело благородство характера — давно бы-с они важные места занимали в государстве! Но у нас-с, как вы и сами изволили заметить, больше на низкопоклонстве можно выехать! Вот, например, наш исправник — уже вы его отделайте в «Колоколе», вам за это весь уезд благодарен будет, мне даже поручено просить вас об этом... Человек развратный, жену свою бьет, проиграл в карты прокурору четыре рубля и не платит!» Являлись дамы с дочерьми и с сыновьями, просили написать им в альбомы, являлись люди просить совета в своих семейных делах. Все это, разумеется, сильно надоедало Герцену...

Серьезные свидания составляли, как я сказал, тайну Герцена и Огарева. Свидания и приемы несерьезные делались раз в неделю (впоследствии два раза), в назначенный день, обыкновенно в воскресенье, с пяти часов вечера. Тут-то и была каторжная работа обоим издателям «Колокола» — занимать гостей, быть любезными со всеми, выслушивать всякий вздор и не показывать вида, что скучно»[1].

«Исповедь» ренегата Кельсиева была адресована царскому правительству, и поэтому Герцен и его окружение предстают здесь, при внешней и формальной объективности описания, в злорадно насмешливом и искажающем освещении. Чувствуется, что этот документ писал человек, оплевывающий свое прошлое и вместе с тем далеко не убежденный в правоте сегодняшней своей позиции. Но несомненно, что на основании «Испове-

[1] «Литературное наследство», т. 41—42, стр. 273, 274.

ди» Кельсиева все же возможно составить себе более или менее верное представление об одной стороне «русской атмосферы» лондонского дома Герцена, о характере его рядовых и, в сущности, случайных посетителей, для большинства которых Герцен был только громкой, но скоро преходящей «модой», от которой они вскоре отвернулись, подгоняемые веяниями реакции. Сам Герцен рассказал о таких людях в главе «Былого и дум» — «Апогей и перигей». Но несравненно важнее другая сторона русской атмосферы герценовского дома.

Дом Герцена в Лондоне посещали многие замечательные русские люди. У Герцена бывали Лев Толстой, Чернышевский, Тургенев, Островский, Шелгунов, М. И. Михайлов, братья Серно-Соловьевичи, Достоевский, Стасов, Н. Рубинштейн. Детям Герцена давал уроки В. О. Ковалевский, будущий выдающийся русский палеонтолог.

Вспоминая о Герцене, Н. В. Шелгунов писал: «Есть так называемые умные люди, которые говорят хорошо и логично, но еще красивее и лучше они спорят, умеют тонко подмечать сходства и различия и находить противоположения; но обыкновенно в вещах они видят только одну сторону. Герцен принадлежал не к этому сорту относительно умных людей. Он видел в каждой вещи все ее стороны и сразу находил отношение этой вещи ко всем другим вещам. В этой всеохватывающей способности понимания и заключалась сила ума Герцена. Это был ум глубокий, но не отвлеченный, а жизненный, реальный, схватывающий идеальную и практическую сущность каждого предмета и каждого понятия»[1].

Встречи с Герценом и Огаревым сыграли большую роль в жизни такого виднейшего представителя революционной России, как Николай Серно-Соловьевич. В мае 1860 года он писал: «Я отправился в Лондон и провел там две недели, вернулся освеженным, бодрым, полным энергии более, чем когда-либо»[2].

Жизнью, делами доказал свою искренность, верность

---

[1] «А. И. Герцен в воспоминаниях современников», сост. В. А. Путинцев, Гослитиздат, 1955, стр. 251.

[2] Цит. по кн. В. И. Романенко, Мировоззрение Н. А. Серно-Соловьевича, Госполитиздат, 1954, стр. 31.

передовым убеждениям и стремлениям полковник генерального штаба Турчанинов. Он отказался от карьеры гвардейского офицера, эмигрировал в Америку, где впоследствии стал видным участником гражданской войны, мужественно защищая на стороне северян в качестве командира полка иллинойсских волонтеров дело прогресса, свободы негров. В 1859 году в письме к Герцену он, делясь своими американскими впечатлениями, присоединяется к герценовской критике буржуазного общественного порядка. Он объясняет также Герцену, почему в свое время, в 1856 году, приезжал к нему в Лондон. Он хотел видеть Герцена «лично, чтобы в наружности вашей прочесть — то ли действительно вы, что мне мерещилось, когда я читал ваши сочинения»[1]. Свидание принесло Турчанинову глубокое удовлетворение. Слова эти — лучшее свидетельство могучего воздействия творений Искандера и его самого как человека, вступившего в борьбу с самодержавием и крепостничеством.

К Герцену приходили и такие «эксцентрические» русские люди, которые, не заняв выдающегося места в русской общественной и культурной жизни, вместе с тем самим социальным и психологическим обликом своим свидетельствовали о существенных явлениях русской народной жизни или русского революционного движения.

Таковы, например, охарактеризованные самим Герценом в «Былом и думах» и специальных очерках недавний крепостной П. А. Мартьянов с его жгучей ненавистью к крепостному праву и крепостникам и наивной верой в народного «земского царя» (18, 11), поплатившийся за нее каторгой и жизнью; политический и религиозный руководитель старообрядцев-казаков — «некрасовцев», живший в Турции,— О. С. Гончар; наконец, сам В. И. Кельсиев с его неустойчивыми революционными настроениями, с его мистическим «грубо-наивным социализмом в евангельской ризе» (11, 334) и попытками найти в раскольниках опору для русской революции.

Герцен был целиком поглощен своим делом. «Дело русской пропаганды для нас... дело нашей жизни, наша

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 599.

религия, кусок нашего сердца, наша служба русскому народу»,— заявлял он (13, 198). Это позволяло ему в те годы сравнительно легко переживать невзгоды и осложнения личной жизни, вызванные отношениями с Н. А. Огаревой-Тучковой.

Н. А. Огарева-Тучкова ехала с Огаревым в Лондон, счастливая тем, что ей удастся выполнить волю Натальи Александровны и священный для нее долг: «Уезжая из России, у меня была одна мысль, одна мечта, дети Натали — сберечь их, жить для них...» [1]

Наталья Алексеевна взялась за это со свойственной ей страстностью, но с полным отсутствием такта, сдержанности, да и элементарных педагогических способностей. С первых же дней она внесла в семью нервную, напряженную, болезненно-страстную атмосферу. Особенно пагубно повлияло в этом направлении быстро в ней пробудившееся чувство к Герцену. Перед Герценом она преклонялась всегда. Теперь на ее долю выпало счастье услышать из его уст рассказ о пережитой им семейной драме, явиться утешительницей, врачующей душевные раны. Несчастие Н. А. Огаревой-Тучковой заключалось в том, что она не столько внушала к себе любовь, сколько навязывала свою страсть, подавляла ею того, кого она любила. Поддался этой страсти и Герцен, которому дорого было тогда слово женского участия, притом слово женщины, для которой, так же как и для него самого, была священна память Натальи Александровны. Сначала ему казалось, что между ним и Натальей Алексеевной, женой его лучшего друга, устанавливается братская дружба, потом, заметив ее увлечение, он пытался отойти в сторону, предупреждал Огарева, обманывался сам,— но было уже поздно — страсть Натальи Алексеевны вскоре победила. В сторону отошел Огарев, проявив при этом свойственную ему мягкость, деликатность и неизменно верную и нежную дружбу к Герцену и к Наталье Алексеевне. Его дружеские отношения с Герценом не пострадали. Впрочем, впоследствии Огарев склонен был обвинять себя в том, что в таком его поведении, подсознательно быть может, сыграло свою роль и стремление к личной свободе.

---

[1] «Русские пропилеи», т. IV, стр. 236.

Наталья Алексеевна стала женой Герцена. Но эта победа была вместе с тем ее тяжелым жизненным поражением и прямым несчастием для Герцена. Заменить ему Наталью Александровну Тучкова не могла. По своему интеллектуальному развитию она стояла несравненно ниже ее. Наталья Алексеевна принесла с собою в семью Герцена не знающую границ ревнивую властность, неуравновешенность, доходившую до истеричности, восстановила против себя детей Герцена, а затем и его самого. Отношения с Натальей Алексеевной стали для Герцена источником внутренних угрызений, упреков и постоянного раздражения.

Наталья Алексеевна очень скоро должна была убедиться, что для Герцена, целиком ушедшего в свою политическую и литературную работу, любовь, личная жизнь вообще уже не могут играть большой роли. В своем дневнике за 1857 год Н. А. записывает: «Герцен... не любил меня... вообще для него любовь дело второстепенное, если не меньше...»[1] Любить со всепоглощающей страстностью, заставляющей забыть об «общем», Герцен вообще не умел, а именно такой любви искала Н. А. Тучкова.

Обстановка в доме Герцена становилась все более напряженной и нервной.

Герцен писал о себе в 1860 году в письме к сыну: «Мало радостей личных у меня осталось... Если бы не моя деятельность, не постоянное напряженное занятие, состарился бы я» (X, 328). Деятельность Герцена, сумевшего стать борцом за свободу своего народа, как он мечтал о том еще в юности, была такой богатой, яркой, плодотворной, что постоянно поддерживала и вновь возбуждала энергию его духа и мысли. Герцен действительно нашел практические пути осуществления того «призвания... на которое... себя обрекал с детских лет» (10, 131).

---

[1] «Русские пропилеи», т. IV, стр. 177.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЕРЦЕН В ЛОНДОНЕ И ЖЕНЕВЕ.—«КОЛОКОЛ».— «БЫЛОЕ И ДУМЫ».—ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

(1861—1870)

I. «КОЛОКОЛ» В 1861—1867 ГОДАХ

1. Революционно-демократические позиции Герцена.— Борьба против самодержавия и разоблачение либерализма

На рубеже 60-х годов Герцен должен был убедиться в крайнем обострении политической и классовой борьбы в России. Его представление о радостном и светлом воодушевлении, якобы охватившем в 50-х годах *всю* Россию, все слои общества, за исключением заядлых крепостников, оказалось совершенно ошибочным. Действительность заставляла Герцена признать, что его московские либеральные приятели становятся откровенными холопами самодержавия, что подлинным защитником народных интересов является лишь революционно-демократическая разночинная интеллигенция.

Герцен понял, что в 60-х годах в России наступило «трудное время» (так назвал свой известный роман В. А. Слепцов) суровой борьбы, беспощадного идейного размежевания, наступления жестокой реакции.

Об этом времени Ленин писал, что в обстановке, чреватой возможностью революционного взрыва и крестьянского восстания, «самодержавное правительство, которое свое высшее назначение видело в том, чтобы, с одной стороны, отстоять во что бы то ни стало всевластие и безответственность придворной камарильи и армии чиновных пиявок, а с другой стороны, в том, чтобы поддерживать худших представителей эксплуататорских классов,— подобное правительство *не могло поступать иначе,* как беспощадно истребляя отдельных лиц,

сознательных и непреклонных врагов тирании и эксплуатации (т. е. «коноводов» «революционной партии»), запугивать и подкупать небольшими уступками массу недовольных. Каторга — тому, кто предпочитал молчать, чем извергать тупоумные или лицемерные хвалы «великому освобождению»; реформы *(безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов реформы)* тем, кто захлебывался либерализмом правительства и восторгался эрой прогресса»[1].

Герцен, несмотря на свои либеральные колебания, как раз и принадлежал к «сознательным... врагам тирании и эксплуатации», он закалялся в испытаниях и становился все более непреклонным в борьбе.

После объявления законов об «освобождении» крестьян высоко поднимаются волны народного моря, отражая глубокое недовольство крестьянства манифестом о «воле». В 1861 году происходит более тысячи ста волнений; тысячи и десятки тысяч крестьян поднимаются против властей и помещиков, оказывают упорное сопротивление воинским частям, посланным на усмирение. Крестьяне отказываются работать на помещиков, сами избирают себе старшин и требуют опубликования скрытого, по их убеждению, подлинного манифеста об освобождении с землей. Самодержавие в массовом масштабе применяет расстрелы и розги. Во все губернии России правительство направляет генералов, офицеров — адъютантов царя. Их «увещевания» оказываются бессильными. Крестьяне, вооруженные кольями, бросаются на солдат и вырывают у них ружья. Но крестьянские волнения остаются стихийными, разрозненными.

Значительную роль в политической борьбе начинает играть в 1861 году и студенческое движение. В Петербурге и Москве происходят студенческие волнения, направленные против правительственной опеки над университетами, в защиту демократических прав учащейся молодежи. Университеты становятся бурлящими центрами революционных волнений. Правительство закрывает аудитории, арестовывает и ссылает студентов.

Ленин писал, что когда Герцен в 60-х годах увидел революционный народ в России, «...он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27—28.

либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем» [1].

Действительно, в 60-х годах позиция «Колокола» и самого Герцена по всем основным вопросам принимает революционно-демократический характер.

Конечно, было бы грубым упрощенчеством, если бы мы попытались указать какую-либо точную *дату,* якобы знаменующую собою переход Герцена к революционному демократизму.

Во второй половине 50-х годов Герцен должен был определить свое отношение к самодержавию, к либералам, к революционной демократии под углом зрения наступившего обострения классовой политической и идейной борьбы. В эти годы революционно-демократические элементы приобретали в мировоззрении Герцена все более значительный удельный вес, несмотря на то что рецидивы либеральных иллюзий еще иногда давали себя знать. Окончательный же перелом произошел после «крестьянской реформы» 1861 года [2].

В связи с этой реформой Герцен набросал проект речи. Он намеревался произнести ее на праздновании освобождения крестьян, которое хотел устроить в своем лондонском доме. Герцен предполагал провозгласить

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения т. 18, стр. 14.

[2] А. С. Долинин в полемике с В. А. Путинцевым попытался доказать, что революционным демократом Герцен был еще с 30-х годов. При этом А. С. Долинину кажется, что, отрицая революционный демократизм Герцена в 40—50-х годах, В. А. Путинцев тем самым отрицает демократизм издателя «Колокола» вообще. А. С. Долинин следующим образом истолковывает точку зрения В. А. Путинцева: «В 40-х и 50-х годах Герцен не видел революционного народа, значит не был тогда демократом» («Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института», т. IX, 1954, стр. 307). Но так как о демократизме Герцена в 40—50-х годах В. А. Путинцев в рассматриваемой А. С. Долининым книге говорит многократно (см. В. А. Путинцев, Герцен-писатель, изд. АН СССР, 1953, стр. 54, 90 и др.), называя, например, автора «Сороки-воровки» «убежденным реалистом и демократом», то приходится допустить, что А. С. Долинин склонен не замечать особенностей революционно-демократической идеологии по сравнению с идеологией демократической. Между тем они очевидны. Революционный демократ делает ставку на историческую активность народных масс, на их революционную борьбу. Он ясно сознает свою враждебность либерализму. Демократ же может ограничиться сочувствием народу, его чаяниям, мирной пропагандой.

здравицу в честь Александра II и его «великого подвига», пытаясь при этом противопоставить царю — «всех этих Муравьевых-вешателей, князей-подьячих, как Гагарин, и снятельных жандармов, как Долгорукий...» (15, 218). В действительности все они были верными слугами царя и исполнителями его предначертаний.

Эта речь не была произнесена, ибо было получено известие о расстрелах в Варшаве (см. раздел «Герцен и Польша»).

Когда же в дальнейшем Герцен получил возможность детально ознакомиться с законодательными актами царского правительства по крестьянскому вопросу, «Колокол» писал о «новом крепостном праве», о том, что «народ царем обманут» («Колокол», л. 101). Герцен клеймит теперь «всекаемое освобождение» (15, 129). «Колокол» выдвигает требование передачи крестьянам всей без исключения помещичьей земли (л. 134).

А после того как посланцы царя широко стали применять расстрелы крестьян, Герцен в своей статье «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ», напечатанной в № 105 «Колокола» от 15 августа 1861 года и представляющей собою прямое обращение к народным массам, стал учить народ революционной сознательности. Эту статью Герцена Ленин цитировал в «Памяти Герцена».

Здесь Герцен говорит крестьянину — «отцу убитого юноши в Бездне... сыну убитого отца в Пензе»: «Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и в архиерея... не верь им» (15, 135).

Герцен должен был сознаться в том, что теперь Россия представляет картину той беспощадной борьбы между царизмом, защищающим интересы помещиков, и народом, которую, как ему казалось еще так недавно, можно было избежать: «Мы не узнаем России... Кровь дымится, трупы валяются!» (15, 107).

Герцен саркастически отвергает либеральные попытки прикрасить, сгладить, смягчить истинную суть происходящего: «Маски, маски долой, лучше видеть звериные зубы и волчьи рылы, чем поддельную гуманность и цикорный либерализм» (15, 109).

«Мы с народом русским, мы с мужиками» (15, 140),— заявляет недвусмысленно издатель «Колокола».

В «Колоколе» с середины 1861 года начинают появляться передовые статьи, написанные простым языком, рассчитанные уже не на дворянского интеллигента, а на широкие массы крестьян и солдат. «Колокол» обращается к народу и говорит ему: «Народу нужна земля да воля» (л. 102). «Колокол» обращается к солдатам и на вопрос: «Что надо делать войску?» — отвечает: «Не ходить против народа» (л. 111). Передовая № 102 «Колокола» 1 июня 1861 года «Что нужно народу?» была составлена Огаревым совместно с участниками действовавшей в России революционной организации, по-видимому, вместе с Н. А. Серно-Соловьевичем, Н. Н. Обручевым, А. А. Слепцовым и М. Л. Налбандяном. Статья эта была выпущена и отдельно в виде воззвания и, как показывают официальные документы, в таком виде дошла до народа. Обращение это читалось в 60-х годах среди крестьян различных губерний [1].

С середины 1862 года Герцен и Огарев начинают выпуск листка «Общее вече», формально являвшегося приложением к «Колоколу», но имевшего самостоятельное значение в силу своей ориентации на массового читателя. Обращаясь ко «всем сословиям крестьян и разночинцев», «Общее вече» в особенности стремилось «служить выражением мнений, жалоб и общественных потребностей людей всех религиозных толков и согласий» [2]. Права З. П. Базилева, увидевшая в такой направленности «Общего вече» стремление поднять религиозного крестьянина, и в особенности раскольников, боровшихся за свободу вероисповедания, к политической борьбе [3]. Герцен придавал очень большое значение «Общему вечу», и в одном письме к Огареву 1863 года он указывал, что видит в этом издании единственный «новый успех» «Колокола» с 1861 года. Ленин высоко оценил такое обращение Герцена и «Колокола» «к массам с *вольным русским словом*» [4].

---

[1] Цит. соч. И. С. Смолина «Царизм в борьбе с вольной печатью Герцена» («Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 61, стр. 57—58).

[2] «Колокол», № 139, стр. 1156.

[3] З. П. Базилева, «Колокол» Герцена, Госполитиздат, 1949, стр. 192.

[4] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 15.

Герцену слышится «начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями» (15, 175). В 1862 году «Колокол» писал об «очнувшемся народе» (л. 134). В статье «VII лет» (1864) Герцен указывает на «снизу закипающий, свирепеющий океан народа» (18, 242). В «Былом и думах» Герцен рассказал о том, что верил в 60-х годах в «возможность военно-крестьянского восстания в России» (11, 368).

Если в листе 89 (1 января 1861 г.) Огарев еще возлагал свои надежды на «образованных офицеров, чтобы войско не было употреблено против крестьян», если в листе 94 вновь в статье Герцена говорится только об «упованин нашем на молодых офицеров» (15, 44), то в листах 98—99 «Колокола» (15 мая 1861 г.) он уже пишет: «Одна надежда на солдат и на молодых офицеров» (15, 90).

В 60-х годах Герцен и Огарев все отчетливее сознают, что освободительное движение возглавит революционно-демократическая разночинская интеллигенция. Герцен все лучше чувствует и понимает процессы демократизации русской жизни — рост новых общественных сил: «Везде на Руси закипает жизнь, везде обнаруживается деятельность, иногда нескладная, но здоровая, молодая и самобытная» (15, 18).

В листе 161 «Колокола» (15 апреля 1863 г.) Герцен дает характеристику «нового кряжа людей, восставшего внизу и вводившего исподволь свои новые элементы в умственную жизнь России»: «Отщепленцы всех сословий, эти *новые люди,* эти нравственные разночинцы, составляли не сословие, а *среду,* в которой на первом плане были учители и литераторы,— литераторы-работники, а не дилетанты, студенты, окончившие и не окончившие курс, чиновники из университетских и из семинаристов, мелкое дворянство, обер-офицерские дети, офицеры, выпущенные из корпусов и проч.» (17; 101—102). Идейную последовательность и нравственную силу этого поколения Герцен почувствовал и понял особенно ясно, лично познакомившись и сблизившись с выдающимся представителем русской революционной демократии. Герцен заявляет, что с разночинными «новыми фалангами будущей Руси, идущими нам на смену... мы себя чувствуем... как-то снова молодыми» (15, 24). Теперь Герцен о дворянской либеральной интеллигенции,

в которой ранее, по его словам, «преимущественно сосредоточивалось умственное и литературное развитие», пишет совсем не так, как в «Very dangerous!!!»: «Дворянски-помещичья Русь... была, помимо преследований, в фальшивом положении. Она не могла серьезно провести ни одной мысли, не переходя через ограду, оберегавшую ее сословные права» (17, 102). Герцен более не защищает Онегиных, отмечая их «колоссальную ненужность». Онегиным он противопоставляет декабристов и Чацкого — «декабриста в глубине души» (18, 183). Высшим воплощением «новой России» для Герцена теперь является Чернышевский. «Эту *новую* Россию — Россия *подлая* показывала народу, выставляя Чернышевского на позор» (18, 244),— писал в 1864 году Герцен в связи с расправой царизма над Чернышевским.

В 1866 году в одной из самых замечательных публицистических работ своих «Порядок торжествует» Герцен так определял историческую роль Чернышевского, его «сильной личности»: «Стоя один, выше всех головой, середь петербургского броженья вопросов и сил... Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, *что им делать*... Пропаганда Чернышевского... дала тон литературе и провела черту между *в самом деле* юной Россией и прикидывавшейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической» (19, 128).

В листе 189 «Колокола» (15 сентября 1864 г.) Огарев признает, что «силою, умственною силою в государстве становятся разночинцы», а Герцен в листе 197 приходит к выводу: «La roture (разночинцы. — *Я. Э.*) — единственная гавань, в которую можно спрыгнуть с тонущего дворянского судна» (18, 348).

Отношение Герцена к новому поколению русской революции, к подымающемуся народу чрезвычайно важно для понимания исторического места Искандера, как *дворянского революционера,* вставшего на сторону *революционной демократии*[1]. Иногда, говоря о Герцене

[1] Конечно, принадлежность к поколению дворянских революционеров означает известную общность воззрений, выражающуюся особенно в убеждении, что ведущая роль в освободительном движении принадлежит передовому революционному дворянству. Но ошибочно думать, что указание на связь того или иного деятеля

60-х годов, эту сторону вопроса обходят. Порою даже высказывается мнение, будто Герцен в эти годы уже к поколению дворянских революционеров не принадлежал. Но Герцен никогда не рвал с тем революционным поколением, под знаменем которого он вошел в освободительное движение. Принадлежность к этому поколению отзывалась в мировоззрении Герцена даже в 60-х годах, хотя, разумеется, в этот период не играла решающей и определяющей роли. С дворянством же как с классом он разорвал еще с первых шагов своей сознательной идейной жизни.

Герцен в ряду революционных демократов 60-х годов занимает совершенно особое место, определяющееся прежде всего тем, что его путь в освободительном движении был путем дворянского революционера.

Часто в этом видят только *слабую* сторону Герцена. Думается, что это односторонне. Конечно, Герцен и в 60-х годах далеко уступал в идейной последовательности Чернышевскому [1]. Он, безусловно, чувствовал особенно живую, так сказать «интимную», симпатию к дворянской революционности и порой бывал несправедлив к революционности разночинной. Щемящее воспоминание о годах, проведенных под гнетом николаевщины «с кляпом во рту», нередко заставляло Герцена и в 60-х годах с излишней снисходительностью относиться к людям, которые в 30—40-е годы страдали рядом с ним, но затем не выдержали искуса. Во имя прошлых связей и отношений Герцену трудно было порвать с людьми, ранее чем-то ему близкими, но затем занявшими позиции, враждебные его собственным. Это чувство он испытал, например, по отношению к К. Аксакову.

Герцену в высшей степени было присуще глубокое чувство преемственной связи поколений, действовавших

освободительного движения с поколением дворянских революционеров может являться исчерпывающим определением его идеологических позиций. Именно это поколение русской революции отличалось крайне существенными внутренними противоречиями и различиями. Игнорировать их значило бы не видеть существенного своеобразия воззрений каждого из таких представителей этого поколения, как, например, Николай Тургенев, Пестель и Герцен.

[1] Ср. статью Э. С. Велинской «Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен о роли народных масс в освободительной борьбе», «Вопросы философии», 1960, № 8.

в русской революции и культуре. Живо, непосредственно ощущал он связь, соединяющую традиции Пестеля и Якушкина, Пушкина и Рылеева, Брюллова и Глинки с деятельностью Белинского и Некрасова, Гоголя и Александра Иванова, Чернышевского и Добролюбова, Николая Серно-Соловьевича и Ивана Кельсиева. Герцен стоял на стыке двух поколений. Это придавало его духовной жизни и кругозору необычайную широту и многосторонность. Ведь Пушкин и декабристы были для Искандера его собственным «былым», а не только историей, и он сумел (в этом великая заслуга Герцена!) передать своим преемникам и потомству живое чувство любви и восхищения героикой дворянской революционности. Вместе с тем дворянский революционер Герцен, как мы уже видели, все лучше понимал то новое, что в революцию и культуру вносило поколение разночинцев, и чем дальше, тем все более плодотворно сам содействовал росту революционно-демократической культуры и мысли, возглавленной Чернышевским и Добролюбовым.

С окончательным переходом Герцена на сторону революционной демократии изменялось и его отношение к царизму и к либерализму.

В августе 1861 года Герцен в письме к Шедо-Ферроти выражает глубочайшее сомнение в прочности самодержавия и высказывает предположение, что «оно не простоит десяти лет, если пойдет путем флигель-адъютантских митральес, польских учреждений на монгольский манер». Говоря от своего собственного лица и от лица Огарева, Искандер следующим образом определяет свое отношение к Александру II: «Мы не верим в него больше» [1].

После каторжных приговоров русским революционерам и расстрелов польских, а также сочувствовавших последним русских офицеров, Герцен писал о «нероновском поступке, сделанном лицемерно, чужими руками» (17, 8).

В 1863 году, когда царизм кроваво усмирял Польшу, а руководителем буржуазно-помещичьего общественного мнения стал растленный карьерист Катков, Герцен писал, что теперь «перед нами, вместо одного Николая, трое врагов: правительство, журналистика и дворян-

[1] «Литературное наследство», т. 61, стр. 264.

ство — государь, Катков и Собакевич» (17, 251). Редактор «Колокола» вынужден констатировать, что для Александра II казни, совершаемые Муравьевым-вешателем и другими палачами,— «награждаемая доблесть».

Следует вместе с тем признать, что и позднее, в 1865—1866 годах, у Герцена встречались обращения к царю, попытки усовестить его, «остановить... на дороге», «напомнить» этому жестокому главарю реакции о том, что возле него совершается «страшная неправда» (19, 82).

Однако, в сущности, в этих последних обращениях и призывах Герцена к Александру II слышалось уже признание того, что царь идет по пути реакции и что все предупреждения бесполезны.

Поэтому такие — разумеется, ошибочные — выступления никак не определяли собою политическую линию «Колокола» и его издателей в 60-х годах. По убеждению Герцена, высказанному в 1866 году, царское правительство защищает «изуверство, крепостничество, глупость» (19, 198).

Указывая на вопрос «о различии *интересов* либеральной буржуазии и революционного крестьянства в русской *буржуазной* революции, иначе говоря, о либеральной и демократической, о «соглашательской» (монархической) и республиканской тенденции в этой революции», Ленин писал, что «...именно этот вопрос поставлен «Колоколом» Герцена, если смотреть на суть дела, а не на фразы,— если исследовать классовую борьбу, как основу «теорий» и учений, а не наоборот»[1]. «Колокол» выдвинул требование «Земского собора» — Учредительного собрания, которому царь должен подчиниться на конституционных основаниях, или же на очередь встанет вопрос о революции (л. 134).

В связи с общей эволюцией взглядов Герцена в 60-х годах (о чем речь еще впереди) он приходит в 1868 году к ясному пониманию того, что «общественное развитие возможно только при полной республиканской свободе, только при полном демократическом равенстве» (20, 88). Герцен имеет в виду демократическую республику, ведущую к социализму. Такой вывод предполагал понимание полной бесполезности апелляций к царю, к

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.

монархии, безусловной ошибочности прежних либеральных иллюзий.

Естественно, что в 60-х годах Герцен должен был разорвать с либерализмом. Он вынужден прийти к выводу, что «Кавелин совсем пошел в Чичерины» (XV, 194). Он пишет Кавелину 15 июня 1862 года по поводу брошюры последнего «Дворянство и освобождение крестьян», содержащей откровенную защиту помещичьих интересов: «В 93 году тебе за это отрубили бы голову... во время разгрома я не нашел бы это несправедливым» (XV, 211). Славословие либерализма грабительской крестьянской реформе, оправдание либералами правительственных репрессий против крестьянских восстаний и революционно-демократической интеллигенции, а затем, в 1863 году, поддержка либерализмом самодержавия в подавлении польского восстания — все это заставляет Герцена сказать о том, что «друзья Грановского» участвуют в гнусностях.

Теперь Герцен ясно видит, что «ученая Москва» (16, 80), его бывшие приятели, ученики Грановского изменили заветам своего учителя и стали откровенными прислужниками царизма и врагами демократии. 16 марта 1862 года в письме к М. К. Рейхель Герцен, ссылаясь на свою статью «Ученая Москва», говорит: «Между нами и бывшими близкими *людьми* в Москве все кончено... поведение Коршей, Кетчера... и всей сволочи таково, что мы поставили над ними крест...» (XV, 71).

В письме к Тургеневу Герцен в 1864 году следующим образом клеймит Боткина: «Какой-нибудь одряхлевший мастурбатор искусства, науки, политики, который смотрит на мир, как старики на похабные картинки, словом, какой-нибудь Боткин, ругавший при Николае русскую типографию и сделавшийся моим почитателем во время успеха, ругает нас снова...» (XVII, 126).

В. П. Боткин же писал в 1865 году о Герцене: «Ожесточение и раздражение... достигли в нем той степени, как видно из «Колокола», что сделало всякий разговор с ним тяжелым и несносным. В русской революционной партии сосредоточилось все, что есть гадкого, желчного и омерзительного в России... Когда эта партия выставляет во главе своей таких людей, как Чернышевский, Михайлов... нечего и рассуждать, на какую сторону становиться,— на стороне ли мирных реформ, или на сто-

роне смут и волнений, лжи, легкомыслия и варварства»[1].

Герцен понял, что был не прав, выступая против решительной революционно-демократической критики либерализма и связанной с последним мелкообличительной литературы. В статье «Молодая и старая Россия» он высмеивал тех «мужественных либералов, гранитных прогрессистов... неустрашимых обличителей становых приставов и квартальных надзирателей», которые, испугавшись революционного подъема, «побежали под крылышки той же полиции, того же правительства» (16, 203).

В 50-х годах Герцен до известной степени был обманут громкими фразами славянофилов, клявшихся в своей любви к народу, тогда он еще не различал пропасти, лежавшей между ним самим и либералами разных толков. В 60-х — он видит перед собою единый враждебный лагерь, в котором рука об руку выступали «полицейские с доктринерами, филозапады (то есть западники-космополиты.— *Я. Э.*) с славянофилами» (17, 244).

Герцен порывает с Кавелиным. Негодующе говорит он по поводу приговора над Чернышевским и холопского поведения Кавелиных, оправдывавших арест великого революционера: «А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами» (18, 221).

Герцен остро почувствовал теперь внутреннее классовое родство либерализма и крепостничества, он понял силу и опасность крепостнических остатков и пережитков в политике, сознании и быту российского помещичье-буржуазного общества. С иронией и презрением, предвосхищая Щедрина, говорит Герцен о *«культурном* обществе», скрывающем под внешним лоском повадки жестокого угнетателя,— помещика-рабовладельца.

Подводя политические итоги зловещему 1863 году, Герцен писал, что, «несмотря на освобождение дворян от крепостного состояния, в них осталась не только гнилая кровь крепостников, но сохранились с усовершенствованием все пороки дворни, не выкупленные ни од-

---

[1] «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», под редакцией Н. Л. Бродского, «Academia», 1930, стр. 222.

ним хорошим качеством крестьянина» (18, 43). В душе русского «культурного» помещика Герцен увидел явственные черты полицейского, палача.

2. Герцен и Польша

Революционно-демократическая последовательность, мужество и выдержка Герцена были проверены событиями 1863 года в Польше. Он с честью выдержал это труднейшее испытание.

С начала создания вольной русской печати связь Герцена с демократической частью польской эмиграции принимала все более тесный, а с некоторыми виднейшими ее представителями, в частности с Ворцелем, и дружеский характер.

Своими выступлениями в защиту Польши, ее поруганных прав, борясь за ее государственную независимость и свободу, Герцен завоевал такой авторитет в среде польской демократии, который никогда ранее не выпадал на долю русского публициста и революционера.

Какое огромное значение для сближения и взаимопонимания русского и польского народов имела деятельность Герцена, показывает следующее, относящееся к 1860 году и сохранившееся в его архиве письмо неизвестного польского корреспондента, написанное от лица «всех мыслящих поляков Ломжинского уезда»: «Не умею передать вам, какое впечатление производит каждое ваше слово. Старцы, поседелые в изгнании, в ссылке и в казематах, со слезами на глазах прислушиваются к свободной русской речи, жалея, что не могут уже научиться русскому языку... Ваши сочинения дали им истинное понятие о русском народе, в котором поляки узнали своих братьев, еще более несчастных. Вам одному будет принадлежать честь примирителя двух родственных наций. Не переставайте же быть им. Громадный ваш авторитет в целом славянском мире готовит ему славную будущность» [1].

Получив почти одновременно известия об «освобождении крестьян» и расстрелах в Варшаве, Герцен в своем доме, единодушно поддержанный присутствовав-

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 486—488.

шими русскими, провозгласил два тоста. Это были тосты «за освобожденного русского крестьянина», «за полную, безусловную независимость Польши, за ее освобождение от России и от Германии и за братское соединение русских с поляками!» (15; 66, 67).

Тяжесть исторической судьбы Польши, ее героическая борьба с самодержавием, страшное угнетение, которому она подвергалась со стороны царизма, казни, каторжные приговоры, которые обрушивались на польских патриотов, наконец ответственность за судьбу братского славянского народа, которую Герцен чувствовал на своих плечах как представитель русской демократии,— все это заставило его заявить: «Мы много раз говорили о будущем союзе всех славянских племен, мы и теперь верим в него, но теперь *на череду не этот вопрос:* ближайшее будущее, наступающее историческое дело славянского мира — *государственная самобытность Польши и соединение отрезанных частей ее*» (15, 47).

С 30-х годов скорбный и поэтический образ поляка-изгнанника, глубоко страдающего оттого, что родина его в цепях и неволе, но остающегося неизменно верным знамени борьбы за ее освобождение, не покидает Герцена. Польский вопрос для Герцена не только политическая и теоретическая проблема. Именно потому, что Герцен — политик и теоретик неотрывен от Герцена-художника, из его размышлений о судьбах Польши вырастают поэтические образы. Мы уже упоминали о фигурах польского ссыльного Цеховича в ранних автобиографических набросках и поляка-эмигранта в повести «Долг прежде всего», а также о характеристике Герценом Адама Мицкевича. Наибольшей поэтической силы эти образы достигают в той главе «Былого и дум», которую автор назвал «Польские выходцы» и которую, по его же словам, следовало бы назвать «Легендой о Ворцеле». Герцен был другом Станислава Ворцеля, польского аристократа, пожертвовавшего ради борьбы за освобождение родины семейными связями, своим положением и состоянием и ставшего виднейшим деятелем демократической части польской эмиграции. «В его житии,— писал Герцен,— так поэтично воплощается польский эмигрант, что его можно принять за высший тип. Это была натура цельная, чистая, фанатическая, святая, полная той *полной* преданности, той несокрушимой

страсти, той великой мономании, для которой нет больше жертв, счета службы, жизни вне своего дела. Ворцель принадлежал к великой семье мучеников и апостолов, пропагандистов и поборников своего дела, всегда являвшихся около всякого креста, около всякого освобождения...» (11; 124—125).

Герцен особенно ценил в Ворцеле то, что он «твердо и открыто поставил революционное знамя Польши против партии Чарторижских. Он был уверен, что аристократия погубила восстание (восстание 1831 года, в котором принимал участие Ворцель.— *Я. Э.*), он в старых панах видел врагов своему делу и собирал новую Польшу, чисто демократическую» (11, 133).

Ворцель умер в 1857 году. Среди несших его гроб было трое русских: Герцен, его сын и Огарев. Герцену было дорого в Ворцеле стремление тесно сблизиться с русской демократией, его деятельная помощь Вольной русской типографии.

Герцен смотрел на польскую демократическую интеллигенцию как на союзника в общей борьбе и именно поэтому не раз откровенно указывал на ее слабые стороны.

Герцен ясно понимал, что будущее принадлежит передовой, демократической Польше, он призывал польскую демократическую интеллигенцию опереться на крестьянство и поэтому критиковал свойственную многим ее представителям мистическую идеализацию отсталых сторон польской жизни. По словам Герцена, «поляки шли к восстановлению прошедшего, любимого ими и насильственно срезанного, они должны были начать *с возвращения* к нему, чтобы продолжать свой путь» (20, 295). Россия же была для Герцена страной, стремительно движущейся к великому будущему, способной разорвать со всем, что принадлежит обреченному прошлому. Русские революционеры не оглядывались назад, а отважно смотрели вперед.

По свидетельству Герцена, даже Ворцель, получивший блестящее естественнонаучное образование, «не имея никаких католических предрассудков... по странному складу польского ума, верил в какой-то духовный мир, неопределенный, ненужный, невозможный, но отдельный от мира материального» (11, 148).

Ворцель был утопическим социалистом, но от его

«утопических взглядов... веяло христианством и мессианизмом»[1].

Герцен критиковал религиозные, идеалистические, националистические стороны в мировоззрении ряда представителей польского освободительного движения, рассматривая эти стороны как опасное препятствие на пути борьбы польского народа за демократию.

Слабые стороны польского национально-освободительного движения того времени резко проявились в момент такого острого кризиса, каким стало польское восстание 1863 года.

В период подготовки восстания, осенью 1862 года, Герцен вел переговоры с представителями польских революционных организаций. Как обязательного условия для совместного выступления Герцен требовал решительной демократизации программы польского движения и в первую очередь признания права крестьян на землю и права каждого народа свободно решать вопрос своей политической судьбы и государственного существования. (Некоторая часть польской эмиграции тогда доказывала право Польши на присоединение к ней исконных украинских земель.)

В ходе переговоров Герцен помогал представителям польских революционных организаций преодолевать и изживать присущие их идеологии черты шляхетской ограниченности, выражавшейся в недооценке классовых противоречий, в недостаточной последовательности в национальном вопросе[2].

В 146-м листе «Колокола» было напечатано обращение Центрального народного польского комитета в Варшаве к издателям «Колокола». В следующем же листе было напечатано заявление издателей «Колокола», приветствовавших это письмо. Заявление кончалось следующим образом: «Да воздвигнется Польша, независимая, искушенная в несчастьях, окрепнувшая в бое; да воздвигнется она бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуг и аристократического щита, пусть она явится славянским поюневшим атлетом, подающим

---

[1] И. М. Белявская, А. И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов XIX века, изд. Московского университета, 1954, стр. 84.

[2] См. там же, стр. 84, 119 и след.

одну руку бедному хлопу, а другую равноправному соседу. *Во имя их* примите и нашу дружескую руку, слабую силами, но неизменную в убеждениях; мы ее подаем вам *как русские,* мы любим народ наш, мы веруем в него и его будущность, и именно потому подаем вам ее *на дело справедливости и свободы!»* (16; 249—250).

В переговорах Герцен предостерегал польских деятелей от преждевременного восстания, указывая на то, что следствием такого выступления будут лишь новые кровавые жертвы и что рикошетом эта неудача отразится на судьбах русского революционного движения. Герцен откровенно заявил полякам, что «Колокол» не поддерживается какой-либо сильной и готовой к немедленному выступлению революционной организацией в России, а является лишь идейной силой. В своей дальнозоркости и трезвости Герцен резко отличался от Бакунина, также участвовавшего в переговорах. Бакунин со свойственным ему фантазерством всегда склонен был считать себя представителем больших организованных революционных сил, в действительности не существовавших. О «революционном запое» Бакунина Герцен рассказал в главе «Былое и думы», носящей название «М. Бакунин и польское дело».

Переговоры привели к соглашению русских и польских революционеров, к их союзу, вызвавшему бешеные нападки как со стороны русских реакционеров, так и со стороны польских националистов, ориентировавшихся на наполеоновскую Францию и другие западные державы.

Взгляд Герцена в отношении перспектив польского восстания близок следующему высказыванию Огарева, относящемуся к весне 1863 года и опубликованному М. В. Нечкиной: «Я думаю, что польская революция действительно удастся только тогда, если восстание польское перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание. Для этого необходимо, чтобы и само польское восстание из характера только национального перешло в характер восстания крестьянского и таким образом послужило бы ферментом для целей России и Малороссии» [1].

---

[1] Статья М. В. Нечкиной «Н. П. Огарев в годы революционной ситуации» («Известия Академии наук СССР», Серия истории и философии, 1947, т. IV, № 2, стр. 120).

В январе 1863 года польское восстание разразилось. Несмотря на то что Герцен не был удовлетворен социальной программой восстания, несмотря на свой общий пессимистический взгляд на его перспективы, он оказал восстанию безоговорочную поддержку. В листе 155 «Колокола» (1 февраля 1863 г.) Герцен писал: «Да, полякибратья, погибнете ли вы в ваших дремучих мицкевичевских лесах, воротитесь ли свободными в свободную Варшаву — мир равно не может вам отказать в удивлении... вы велики...» (17, 26). Герцен не раз обращался с призывом к русским офицерам и солдатам «не подымать оружия против поляков», не поддерживать «силою оружия правительство, составляющее польское и наше несчастие» (16, 251).

Герцен ставил в пример поведение Андрея Афанасьевича Потебни, русского офицера и революционера, члена «Земли и воли», вступившего в ряды повстанцев и погибшего в бою: «Чище, самоотверженнее, преданнее жертвы очищения Россия не могла принести на пылающем алтаре польского освобождения» (17, 120).

Герцен выступил в защиту Польши в обстановке, когда революционные демократы, находившиеся в России, почти были лишены возможности это сделать в легальной печати. Вслед за событиями в Польше в русских реакционных и либеральных кругах поднялся неистовый шквал национализма и шовинизма. Началась дикая травля Герцена, возглавленная редактором «Московских ведомостей», вдохновителем злейшей реакции, Катковым. В этой травле участвовали и славянофилы и либералы западнического толка. Кетчер и ему подобные провозглашали в Москве тосты на обедах в честь Муравьева-вешателя, палача польского народа, и не замедлили обвинить Герцена в измене родине.

Либералы делали вид, что именно поддержка Герценом польского восстания вынудила их к разрыву с ним, хотя на самом деле они были противниками Герцена уже с конца 50-х годов из-за все более последовательной защиты «Колоколом» народных, крестьянских интересов.

Революционная русская демократия поддерживала позицию Герцена. Это очевидно из тех крайне осторожных намеков, которые только и могли себе позволить в своих выступлениях в 1863 году редакция «Современ-

ника» и ее постоянный обозреватель той поры М. Е. Салтыков-Щедрин. Это явствует также из таких документов, как, например, опубликованное в листе 170 «Колокола» письмо Л. Мечникова, выступавшего от группы русских, проживавших в Италии, и из других материалов, принадлежащих перу представителей молодой революционной эмиграции.

Ленин писал: «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии» [1].

Так понимал свою роль и сам Герцен. В письме к Тургеневу от 10 марта 1864 года, цитированном Лениным, он заявляет: «Придет время, не «отцы», так «дети» оценят и тех трезвых и тех честных русских, которые одни протестовали и будут протестовать против гнусного умиротворения (то есть подавления польского восстания.— *Я. Э.*)... память того, что не вся Россия стояла в разношерстном стаде Каткова, останется» (XVII, 126).

Защищая Польшу, Герцен отстаивал интересы передовой революционной России.

Он заявлял: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих» (17, 91).

Герцен был непоколебимо убежден в том, что «Польша и Россия могут рука об руку идти одной дорогой к новой, свободной социальной жизни».

Отношение к событиям в Польше подчеркнуло также принципиальное различие, существовавшее между взглядами революционного демократа Герцена и такого идеолога мелкой французской буржуазии, как Прудон. Именно в польском вопросе особенно резко обнаружилась мелкобуржуазная реакционность Прудона, признаки которой Герцен замечал и раньше. Уже в начале 50-х годов Герцен указывал на «темные стороны этого огромного таланта». В 1858 году Герцен резко отозвался о книге Прудона «О справедливости в революции и

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 13.

церкви», заявив, что Прудон написал «целый том... римско-католической клеветы против женщины» (IX, 252). В главе «Былого и дум», посвященной Прудону, Герцен с сарказмом отзывается о мелкособственнической, замкнутой, придавленной корыстью семье, которую отстаивает Прудон: «В этой семье брак будет нерасторгаем, но зато холодный, как лед; брак, собственно, победа над любовью: чем меньше любви между женой-кухаркой и мужем-работником, тем лучше... Чувство изгнано, все замерло, цвета исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный труд...»

Герцен не видел классовых корней идеологии Прудона, идеологии мелкого буржуа — этого «воплощенного противоречия», по словам Маркса[1], но он отмечал вопиющие противоречия его идей, указывал, что в книге Прудона прославляется «уже не *анархия,* не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела...» (10; 198, 200). И Герцен заключает, что Прудон «не выдержал, надломился», что он «не свободный человек» (IX, 252).

В польском вопросе Прудон проявил свойственное ему глубочайшее непонимание роли национально-освободительных движений. С высокомерием буржуазного догматика Прудон отказывал Польше во всяком политическом будущем. В письме от 21 апреля 1861 года в ответ на неизвестное нам письмо Герцена Прудон с реформистских и анархических позиций осуждает национально-освободительное движение в Польше, Италии и Венгрии и признает, что расходится со своим корреспондентом «во взгляде на современное положение вещей» (XI, 88). В июле 1861 года Прудон заявлял, что ему «глубочайшим образом антипатично» то, что делают Гарибальди и Герцен[2].

Больше того: Прудон начинает поддерживать открытых врагов Герцена и русской демократии, таких людей, как Шедо-Ферроти[3] и Юрий Самарин. В 1864 году в письме к последнему Прудон солидаризировался со взглядами этого прямого пособника царских палачей.

---

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 16, стр. 31.

[2] R. Labry, Herzen et Proudhon, Paris, 1928, стр. 206.

[3] См. там же, стр. 207 и след.

В отличие от Герцена, решительно критиковавшего реакционные стороны польского национально-освободительного движения и стремившегося повернуть его в сторону революционной демократии и социализма, Прудон подходил к этому движению с большим недоверием, видя в нем лишь проявление активности «ненавистной аристократии». Кроме того, Прудону, с его отрицательным отношением к политической борьбе, представлялось, что деятельность правительства Александра II имела социально-освободительное значение. Прудон писал Самарину: «Как глубоко сожалею я о том, что он (Герцен.— *Я. Э.*) поставил себя между русскими национальными чувствами, с одной стороны, и строптивой спесью поляков — с другой. Как желал я, чтобы с того дня, как вступил Александр II на широкий путь эмансипации, Герцен заставил смолкнуть свой «Колокол!» (XVII, 336).

Не удивительно, что эти заявления Прудона впоследствии были с одобрения царской бюрократии опубликованы в русской печати и использованы славянофилами.

Таким образом, в своей борьбе за братский союз славянских народов, в частности за братский союз России и Польши, Герцен был верен стремлениям и идеалам революционной демократии.

Деятельность Герцена получила широкое и всестороннее признание со стороны передовой польской общественности. К сожалению, соответствующие материалы на русском языке не опубликованы и поэтому мало у нас известны. В этом отношении большой интерес представляет обзор Р. Сливовского «Герцен глазами поляков»[1].

Р. Сливовский показал, какое большое внимание вызывали к себе в Польше в XIX—XX веках (и особенно в наше время в социалистической Польше) и революционная деятельность, и философская мысль, и литературное творчество Герцена.

Герцен был убежден в том, что вместе со свободной, великой, демократической Россией и другие славянские народы сумеют найти путь к демократии.

13 февраля 1863 года Маркс писал Энгельсу в связи с польским восстанием: «...теперь Герцену и К° пред-

[1] См. сб. «Проблемы изучения Герцена».

ставляется случай доказать свою революционную честность...»[1] Герцен, как мы видели, и доказал ее, он «спас честь русской демократии»[2].

3. Революционно-организующая роль вольной русской печати.— Герцен и «Земля и воля».— «Колокол» в Женеве.— Герцен и «молодая эмиграция».

Окончательный переход Герцена на сторону революционной демократии не только отразился очень существенным образом на политической линии «Колокола», но и привел к значительному укреплению революционно-организующей роли газеты.

Польские события и позиция Герцена по отношению к ним, несомненно, содействовали сплочению связей «Колокола» с революционными организациями в России, укрепили авторитет газеты в революционной среде.

Если ранее герценовская пропаганда уже так или иначе способствовала созданию некоторых революционных организаций, сформировавшихся и действовавших в конце 50 — начале 60-х годов в России[3], то теперь устанавливаются тесные связи между лондонским революционным центром и образовавшейся в России революционной организацией «Земля и воля»[4].

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIII, стр. 134.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 13.

[3] См. Я. И. Линков, «А. И. Герцен и революционные организации — предшественники «Земли и воли», «Вопросы истории», 1962, № 4.

[4] За последние годы наши историки выступили с работами, не только содержащими новые материалы, касающиеся этой организации, но и критически обобщающими и систематизирующими всю совокупность ранее опубликованных данных. Мы имеем в виду прежде всего статьи Я. И. Линкова («Вопросы истории», 1957, № 5; 1958, № 9; 1959, № 6) и М. В. Нечкиной («История СССР», 1957, № 1; сб. «Революционная ситуация в России», изд. АН СССР, 1960). Это и дает возможность теперь подробнее остановиться на данном вопросе. См. также Ш. М. Левин, «Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века», Соцэкгиз, 1958, стр. 206 и след. Вместе с тем и сейчас ряд очень важных сторон деятельности «Земли и воли», и прежде всего вопрос о процессах ее создания, о программе этой организации, о ее центральном и провинциальных комитетах, требует дальнейшего специального исследования, ибо все это выяснено лишь в самых общих чертах.

Что же касается взаимоотношений Герцена и «Земли и воли», то автор настоящей книги не претендует на какие-либо новые ис-

Сейчас можно считать вполне доказанным, что лишь примерно с середины 1861 до конца 1862 года протекал, как пишет Я. И. Линков, «процесс объединения обособленно существовавших кружков и тайных обществ во всероссийскую организацию, разрабатывались идейно-теоретические основы «Земли и воли», тактика революционной борьбы» [1]. Именно установление этих исторических фактов только и позволило правильно понять место, принадлежащее в них Герцену. Бесспорно, что важную роль (которую еще во многом предстоит подтвердить многими еще не открытыми данными) играла в этом процессе пропаганда Герцена. С другой стороны — что крайне важно,— самый процесс этот становился и могучим стимулом, способствовавшим росту и развитию этой пропаганды и революционно-демократическому обновлению и обогащению ее содержания.

В создании «Земли и воли» Герцен видел подтверждение своего убеждения в том, что борьба с царизмом охватывает все более широкие и все лучше организующиеся силы, что деятельность вольной русской печати принесла подлинно значительные, исторически весомые плоды. Формирование «Земли и воли» говорило о том, что в самой России начинается объединение революционных сил, обращающихся к народу и зовущих его на борьбу. Все это не могло не вдохновлять, не раскрывать новые перспективы.

Еще осенью 1861 года в примечании к статье «Ответ Великорусу» редакция «Колокола» писала: «...от души приветствуем этот живой призыв на живое дело. Мы давно думали о необходимости органического сосредоточия сил, но считали, что не от нас должна выйти инициатива, *не из заграницы, а из самой России*» («Колокол», л. 107).

Призыв к революционной интеллигенции, с большой

следовательские выводы. Ведь в соответствии с профилем настоящей работы речь должна была идти прежде всего об идейных взаимоотношениях Искандера с различными членами русского центра «Земли и воли», но именно для уяснения этого еще нет достаточной фактической основы, а уже известное освещено в вышеуказанных статьях. Только дальнейшая работа наших историков способна пополнить и углубить сведения о «Земле и воле», о взаимосвязях этой организации с редакцией «Колокола», восстановить «страницы, вырванные из жизни Герцена», по выражению М. В. Нечкиной.

[1] «Вопросы истории», 1958, № 9, стр. 35.

силой прозвучавший в статье «Исполин просыпается», призыв подымать народ на борьбу, на революцию становится чем дальше, тем больше одним из важнейших лейтмотивов публицистики Герцена и «Колокола» в целом, лейтмотивом, органически связанным с деятельностью «Земли и воли». *«В народ! к народу!»* (15, 175) — возглашает Герцен. Призыв этот в 70-х годах был подхвачен революционным народничеством.

Особенно большие результаты взаимосвязи лондонского центра, выступившего в качестве Совета общества, с революционной организацией в России дали в тот второй период развития «Земли и воли», о котором Я. И. Линков пишет следующим образом: «Второй этап: ноябрь 1862 — лето 1863 г., когда «Земля и воля», возглавляемая Центральным комитетом (именовавшимся Русским центральным народным комитетом), а затем и Советом общества, намечала на весну — лето 1863 г. всенародное вооруженное восстание и реализовывала мероприятия, направленные на его подготовку»[1].

С начала 1863 года Герцен и Огарев выступают как заграничные представители «Земли и воли». В листе 157 «Колокола» (1 марта 1863 г.) появляется передовая Герцена, торжественно сообщающая о создании «Земли и воли», идущей «общим путем» с издателями «Колокола».

М. В. Нечкина указывает на существование руководящего Центрального комитета организации в Петербурге и на лондонский центр в лице Герцена и Огарева, выступавших вместе с приезжавшими из России деятелями «Земли и воли», в первую очередь с членом ЦК А. А. Слепцовым, в виде Совета этого общества. Здесь же, при редакции «Колокола», находилась касса для приема пожертвований в пользу «Земли и воли»[2]. Очевидно, как важен вопрос о распределении функций между этими центрами.

Работа лондонского центра стала особенно напряженной в период польского восстания 1863 года и ожидавшегося тогда восстания в России, когда перед этим центром самый ход событий поставил, кроме его основных и специфических задач (распространение из-

---

[1] «Вопросы истории», 1958, № 9, стр. 35.

[2] См. История СССР», 1957, № 1, стр. 110—111, 120.

даний вольной русской печати в России и Польше, написание для этой цели прокламаций, чем был занят главным образом Огарев, сбор средств), также и задачу участия в таких мероприятиях, как отправка оружия в Польшу (в частности, неудачная экспедиция полковника Лапинского на пароходе «Ward Jackson», о которой Герцен рассказал в «Былом и думах»).

Легко понять, какой подъем у Герцена должны были вызвать деятельность «Земли и воли», сознание того, что он представляет за границей практически действующую в России революционную организацию, способную, как он надеялся, революционизировать народ.

М. В. Нечкина права, подчеркивая многозначительность такого как будто лишь колоритного бытового эпизода: маленькая Лиза Герцен хотела, чтобы ей из картонных квадратиков сложили слова «Земля и воля»[1]. Действительно, надежды, связанные с «Землей и волей», вошли важным элементом в духовную жизненную атмосферу, окружавшую Герцена, и волновали всю семью Герцена — старший сын его являлся одно время заграничным агентом «Земли и воли».

Однако, как показывает анализ писем Герцена к деятелям «Земли и воли», к польским революционерам и особенно к Огареву[2], уже с апреля 1863 года эти надежды омрачались все больше и больше. Но традиционное представление о том, что 1862—1863 годы ознаменовали собою падение влияния «Колокола» на *все* общественные слои и политические группировки в России, ошибочно. Действительно, от Герцена и «Колокола» отшатнулись либералы, в шовинистическом угаре подпевавшие Каткову.

В 50-х годах среди корреспондентов Герцена, сообщавших главным образом о злоупотреблениях царских чиновников и злодеяниях помещиков, были люди самых различных направлений[3]. В той или иной форме содействие «Колоколу» оказывали и видные либеральные бюрократы, и многочисленные либералы, в том числе даже

---

[1] «Страницы, вырванные из жизни Герцена», «Москва», 1957, № 9, стр. 215.

[2] См. комментарий С. Д. Лищинер в двадцать седьмом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

[3] См. статью М. Клевенского «Герцен-издатель и его сотрудники» в т. 41—42 «Литературного наследства».

Боткин, и, наконец, такие славянофилы, как Иван Аксаков и Юрий Самарин, позиция которых тогда по отношению к крестьянской реформе ничем существенным от политики монархистов западнического толка не отличалась. Однако по мере политической дифференциации и вследствие все более последовательно проводившейся «Колоколом» революционно-демократической линии все эти либералы-монархисты различных оттенков порывали с «Колоколом» и с Герценом. Иное дело революционная молодежь.

Отношения Герцена к «молодой эмиграции» развивались в течение 60-х годов сложным и противоречивым образом. Несмотря на возникавшие конфликты, их взаимоотношения характеризовались в конечном счете общностью революционных целей и стремлениями к взаимному сотрудничеству.

Русская революционная молодежь и в известной статье Писарева, и в прокламации П. С. Мошкалова выступает на защиту Герцена против наветов реакции и ее клеврета Шедо-Ферроти, пытавшихся унизить революционного трибуна в общественном мнении, оклеветать его.

Оказавшиеся за границей революционеры-разночинцы стремятся помочь распространению «Колокола», найти ему новую аудиторию в России.

Наглядным свидетельством тому являются относящиеся к началу 60-х годов письма молодых русских революционеров Герцену и Огареву [1].

Особенно интересны письма Ивана Кельсиева, замечательного русского революционера 60-х годов, несмотря на свою молодость (он умер в 1864 году, двадцати трех лет), поражающего стойкостью характера, неутомимой деятельностью, ясностью ума [2]. В сентябре 1863 года И. И. Кельсиев писал Герцену: «Позвольте мне сделать вам несколько замечаний по поводу ваших сетований о настроении умов в России... Я никогда не рассчитывал на ту массу, которая открыто высказывает теперь все свое нравственное безобразие. Эта масса и прежде была, как и теперь есть, нашим прямым врагом. С одной стороны, это масса служащего и эксплуати-

[1] Большой подбор их дан в т. 62 «Литературного наследства».

[2] Его не следует смешивать с его братом В. И. Кельсиевым, ставшим впоследствии ренегатом.

рующего народ дворянства, с другой — это купечество и вообще все книжники, не пристающие к тому, что вообще понимается под именем образованного меньшинства. Мы же социалисты и крайние сторонники народа, мы революционеры. Что же может быть общего между нами и теми, которых я назвал выше? Мы никогда не могли быть с ними, и если они были, по-видимому, на нашей стороне, если они либеральничали и не прочь были почитать «Колокол», то это только по непониманию дела и по какому-то суеверному преклонению перед вашим авторитетом... Итак, только на передовых людей должен рассчитывать «Колокол». Он должен быть их отголоском и руководителем, он должен направлять движение... Вы говорите, что «Колокол» мало расходится... Я вижу... средство распространять «Колокол» в том же количестве, в котором он шел до сих пор, если еще не в большем: тут не новый закал нужен, тут нужны просто контрабандные пути... место «Колокола» в семинариях, корпусах, институтах и университете. Там он у места, там он родит дело, а в дворянских гостиных все, что он может родить, так это разве один хор, да теперь он и хора не родит...» [1]

Это письмо, как и целый ряд других аналогичных документов, с неопровержимой ясностью свидетельствует о том, что в основном и главном сотрудничество между Герценом и Огаревым и русскими революционными организациями выражалось в согласовании политической линии печатной пропаганды и в конспиративном провозе и распространении в России вольной русской печати. Русские революционеры неустанно изыскивали в этих целях все новые и самые различные пути, которые вели через Финляндию, скандинавские страны, Польшу, Кавказ, Константинополь, организовывали перепечатку «Колокола» в России и т. д.

В самом деле, распространение «Колокола» требовало в обстановке реакции совершенно новых путей и средств. В конце 50-х годов распространение изданий вольной русской печати не вызывало серьезных затруднений. Тогда велико было число приезжавших в Лондон к Герцену, и многие, в том числе и принадлежавшие к привилегированным кругам и находившиеся вне каких-

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 229—230, 232.

либо серьезных подозрений полиции, готовы были эти издания, свободно продававшиеся и в ряде западноевропейских стран, взять с собою в Россию.

В 1862—1863 годах положение изменилось коренным образом. Провоз стал опасен и вызывал кары со стороны царизма. Распространение «Колокола» стало теперь конспиративным, требовало прочных связей и налаженной техники.

Для характеристики тех трудностей, которые встали в этом отношении перед русскими революционерами, можно сослаться на факт, вскрытый в результате обыска, произведенного в середине 1862 года на кораблях русской военно-морской эскадры, вернувшейся из заграничного плавания.

У гардемарина Дьяконова и юнкера Трувеллера, помимо других изданий Вольной русской типографии, были найдены комплекты «Колокола», а в посылке, отправленной последним из-за границы, тысячи экземпляров листка «Что делать войску?». В дуле одного из орудий также было найдено сто восемьдесят экземпляров прокламаций, а в ходе следствия выяснилось намерение Трувеллера организовать в России подпольную типографию. В 1864 году Трувеллер был приговорен к десяти годам каторжных работ, лишь позднее срок этот был сокращен до трех лет [1].

Вообще, распространение «Колокола» натолкнуло революционную молодежь на идею самостоятельной подпольной издательской деятельности.

Герцен с восторгом приветствовал появление в России подпольной печати и называл это «*вторым,* необходимым шагом»: «Везде так шло. Дома стесненная мысль ныряла и появлялась вдруг где-нибудь в чужой стране; на время это удовлетворяет. Но как только мысли, печатаемые за границей, начинают осуществляться, им нужна родная почва, близость, вдохновенье дня» (15, 132). «Заводите типографии! Заводите типографии!» — так назвал Герцен эту заметку в «Колоколе». Под влиянием «Колокола» появляются в провинции

---

[1] См. «Из истории революционного движения в русском военно-морском флоте (60-е годы XIX века)». Вводная статья В. В. Петраш, Д. Т. Субботина, «Исторический архив», 1955, № 5, стр. 110 и след.

рукописные издания, начинают издаваться подпольные студенческие журналы с эпиграфами из высказываний Герцена.

Таким образом очевидно, что распространение вольной русской печати играло все возраставшую революционно-организующую роль, являясь важным фактором революционной практики тех лет. В многочисленных письмах русских революционеров к Герцену и Огареву именно задача распространения вольной русской печати, неразрывно связанная с проблемой содержания революционной пропаганды и методов ее ведения, рассматривается как центральная.

Своеобразие заграничного революционного центра и заключалось в том, что перед ним прежде всего стояла задача революционной пропаганды и распространения вольной русской печати в России.

В апреле 1863 года Герцен в письме к Огареву предостерегал последнего против неоправдывающихся надежд на близкий революционный взрыв в России[1] и, имея в виду «элементы» будущего революционного подъема, указывал: «Возбудить ты, я их можем, но уже самая организация из Лондона — вещь мудреная... Я чувствую еще всю свою силу на проповедь, на суд и осуждение на анафему» (XVI, 232, 233), то есть на революционную агитацию и пропаганду, в частности на политические обличения.

В январском номере «Колокола» за 1865 год Герцен писал: «Пора сосредоточить мысль и силы, уяснить цели и сосчитать средства.

---

[1] Иногда встречаешься с утверждениями относительно того, что якобы Огарев в области практической революционной деятельности в той или иной степени опередил Герцена. Согласиться с этим невозможно. Действительно, Огарев в отличие от Герцена склонен был в этом отношении предаваться иллюзиям, что и объясняет его доверие к революционному прожектерству Бакунина, а впоследствии даже и Нечаева. Но все это никак, разумеется, выше Герцена его не ставит. Вместе с тем при жизни Герцена Огарев тоже, как мы уже видели, был убежден в том, что «заграничные общества могут давать только общее направление печатной пропаганды и служить складочными связями (то есть помогать распространению вольной русской печати. — *Я. Э.*) для обществ, реально действующих в России» («Литературное наследство», т. 61, стр. 502). Огарев раздумывал над планами русской революционной организации в России, но не собирался создавать ее в Лондоне или оттуда руководить ею.

Пропаганда явным образом распадается надвое. С одной стороны слово, совет, анализ, обличения, теория; с другой — образование кругов, устройство путей, внутренних и внешних сношений. На первое мы посвящаем всю нашу деятельность, всю нашу преданность. Второе не может делаться за границей. Это дело, которого мы ждем в *ближайшем* будущем» (18, 313).

В отличие от анархиста Бакунина, неизменно склонного к авантюристическим и бесплодным прожектам и хлестаковскому преувеличению возможностей русской эмиграции и своего собственного влияния на русское освободительное движение, Герцен считал совершенно невозможным руководить из-за границы возникавшими в России революционными организациями, «Землей и волей». С его точки зрения, такое руководство могло осуществляться лишь революционным центром в России, с которым он и Огарев поддерживали теснейшую связь.

Деятельностью лондонского революционного центра Герцен руководил с осторожностью и мастерством. Открытый и общительный в дружеской беседе, Герцен умел быть в революционной работе хорошим конспиратором. Тайна сотрудничества в «Колоколе», связи издателей с Россией хранились очень строго. Единственный серьезный провал, повлекший за собой тяжкие, ничем не восполнимые потери, послуживший поводом для ареста Н. Г. Чернышевского, Н. А. Серно-Соловьевича и других революционных деятелей, объяснялся стечением ряда случайных обстоятельств. Прежде всего надо отметить тот факт, что в доме Герцена во время его прощания с уезжавшим в Россию летом 1862 года П. А. Ветошниковым присутствовало большое число посетителей. Ветошников взял с собою конспиративные письма издателей «Колокола» и был выслежен агентом III Отделения. Не щадя себя, с тяжелым чувством рассказал об этом Герцен в главе «Апогей и перигей» «Былого и дум».

Герцен и Огарев завоевали своей деятельностью горячую любовь молодого революционного поколения, представители которого вместе с тем нередко искренне и резко критиковали ошибки издателей «Колокола».

Один из руководителей «Земли и воли» Николай Серно-Соловьевич писал им (вероятно, в 1864 году) из

Петропавловской крепости: «Я люблю вас, как любил; люблю все, что любил; ненавижу все, что ненавидел. Но вы довольно знали меня, чтоб знать все это. Молот изрядно колотит, но он бьет не стекло. Лишь бы физика вынесла, наши дни придут еще. Временами грудь чувствовала прелести пенсильванской системы, но теперь ничего; силы есть и будут... Вас обнимаю так крепко, как только умею, и возлагаю на вас крепкие надежды: больше всего на время, потом на вас. Помните и любите меня, как я вас»[1].

Но хотя Герцен встал на сторону революционной демократии и она оказывала «Колоколу» решительную и самоотверженную поддержку, газета в дальнейшем, после 1863 года, не сумела расширить свою аудиторию в России. То, к чему стремился Иван Кельсиев, не осуществилось.

Тому был ряд причин. После 1863 года ряды демократической интеллигенции в России поредели. Многие эмигрировали. Репрессии, разгул национализма испугали колеблющихся. Реакция растлевала общество. Участились случаи ренегатства, предательства.

С другой стороны, «Колокол» и вообще издания вольной русской печати чем дальше, тем все меньше стали удовлетворять молодую революционную эмиграцию. Круг вопросов, затрагиваемых «Колоколом», стал казаться многим эмигрантам слишком узким. В частности — в этом сказывалась та школа, которую революционная интеллигенция прошла под руководством Чернышевского, — не удовлетворяло почти полное отсутствие теоретической разработки экономических вопросов.

В архиве Герцена сохранился очень любопытный отрывок, относящийся к 1864—1865 годам и представляющий собой нечто вроде краткой программы преобразования «Колокола». Здесь указывается, в частности, что «самым существенным отделом должен бы быть... отдел экономический, который вместил бы в себя, кроме критики политико-экономических фикций, пользующихся научною репутацией, а также и прусских экономических воззрений (Шульц-Делич), представляющих вовсе ненужный и логически несостоятельный компромисс меж-

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 560—561.

ду теодицеею капитала и социализмом... кроме всего этого, говорим мы, этот отдел преобразованного «Колокола» должен бы вмещать в себя... статьи теоретические, написанные в положительном социальном направлении, устанавливающие и выясняющие истинно народные начала общественной экономии»[1].

Правда, «Колокол», особенно после 1863 года, стал менять свой облик. Уменьшается удельный вес небольших агитационных обличительных заметок. Все чаще Герцен выступает с большими статьями, с циклами очерков-писем. В них он в яркой, нередко художественной форме дает острые зарисовки современной общественной жизни, сопровождаемые порой и отступлениями в прошлое, в историю, характеризует обострение политической и социальной борьбы в России и Западной Европе, высказывает глубокие гипотезы-прогнозы, ищет новых путей для революционной теории, для русской пропаганды и революционной борьбы на Западе.

Герцен неустанно шел вперед, и все же его идейные поиски, несомненно подымавшие русскую общественную мысль на новую высоту, не встретили сколько-нибудь широкой поддержки среди молодой революционной интеллигенции.

Герцен не в состоянии был дать молодому поколению того руководства к действию, которое, особенно в период революционной ситуации, содержалось в статьях Чернышевского. С другой стороны, молодая революционная интеллигенция недооценивала совершившихся в общественной жизни изменений, необходимости поисков новых путей. Выступления Герцена нередко казались молодым революционерам слишком отвлеченными и далекими от практических и злободневных вопросов русского революционного движения. Теоретическое же значение и богатство «дальносрочных прогнозов» Герцена в области русской общественной жизни и культуры не оценивалось по достоинству.

Герцен понимал, что издание и ведение «Колокола» требует в новых условиях изменений организационного характера.

В своих поездках по Европе 1863—1864 годов Герцен устанавливает и укрепляет связи с эмигрантами,

[1] «Литературное наследство», т. 63, стр. 245—246.

представителями молодого революционного поколения. Его интерес и внимание к передовой молодежи подтверждается, в частности, воспоминаниями грузинского демократа Н. Я. Николадзе, жившего в 1864 году в Париже. По словам Николадзе, появление Герцена «в моей мансарде, в узкой и закопченной улице Латинского квартала, произвело огромную сенсацию. Хозяйка меблированных комнаток, еще утром третировавшая меня за неисправность во взносе квартирной платы, после посещения самолично поднялась ко мне с кипятком для чаю. За ту зиму и весной 1865 года Герцен навещал меня во время каждого своего проезда через Париж»[1].

Внимание Герцена все больше привлекает к себе Женева, где сосредоточиваются основные силы «молодой эмиграции». Женеву Герцен посещает в конце 1863 года и встречается здесь с русскими эмигрантами.

Со своей стороны, «молодая эмиграция» стремится установить связь и сотрудничество с Герценом. Один из ее представителей, Николай Утин, писал ему в конце 1864 года: «...в Женеву собрались общие друзья наши — из разных мест...

От вас, уважаемый Александр Иванович, зависит, сойтись или разойтись со всеми этими людьми — для посильной работы и совокупного в ней участия — во имя той же желанной цели, прямое и свободное заявление которой мы услышали в своей юности от вас же»[2].

В последних числах декабря 1864 года и в самом начале 1865 года в Женеве состоялась встреча Герцена с молодыми русскими эмигрантами, которую называют «женевским эмигрантским съездом»[3]. Совещание это не дало сколько-нибудь значительных результатов. Тем не менее, в 1865 году Герцен перенес издание «Колокола» в Женеву, где он выходил до 1 июля 1867 года.

Герцен стремился теперь придать «Колоколу» новый

---

[1] Цит. по предисловию Вано Шадури к сб. «Письма русских литературно-общественных деятелей к Н. Я. Николадзе», изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1949, стр. 19.

[2] «Литературное наследство», т. 62, стр. 674.

[3] Характеристику этого съезда и вообще взаимоотношений Герцена и «молодой эмиграции» см. в статье Б. П. Козьмина, «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция», «Литературное наследство», т. 41—42, стр. 1—45.

характер, больше внимания уделять проблемам, связанным с будущей демократической и социалистической Россией, усилить в «Колоколе» освещение теоретических вопросов, возродить «Полярную звезду». Герцен писал: «Хотелось бы и нам... оставаясь при прежней критике казенных построек и при прежнем обличении казенных строителей, выдвинуть на первый план начала возможного чиноположения. Это заставляет нас расширить план нашего издания.

Мы не будем больше исключать ни чисто теоретических статей, ни исторических монографий, лишь бы они имели прямое соотношение к нашему русскому социальному и гражданскому развитию. Будет таких статей много, будут они слишком велики для «Колокола», мы снова примемся за «Полярную звезду» (18, 388).

Но ожидания Герцена на оживление деятельности «Колокола» в Женеве не оправдались. С «молодой эмиграцией» крепкие и близкие отношения так и не сложились.

Для некоторых видных представителей «молодой эмиграции» Герцен не сумел стать подлинным авторитетом. Особенно обостренные сложились отношения между ним и Александром Серно-Соловьевичем. Человек большой идейной требовательности, непримиримо последовательный, а вместе с тем лично неуравновешенный, Александр Серно-Соловьевич самым резким образом реагировал на слабые стороны воззрений Герцена, придавая им преувеличенное значение.

Именно под таким углом зрения написана брошюра Александра Серно-Соловьевича «Наши домашние дела», изданная в Швейцарии в 1867 году. Серно-Соловьевич видит в Герцене человека, подходящего к тому недоразвившемуся типу людей, о которых Чернышевский говорит в своем «Что делать?». «Самообожание — вот ваше главное несчастие»,— пишет Серно-Соловьевич и обвиняет Герцена в том, что последний «говорит лишь слова, не подтвержденные жизнью»[1] (то есть жизнью самого Герцена.— *Я. Э.*). Серно-Соловьевич был прав, поскольку выступал против либеральных иллюзий и колебаний Герцена, против тех черт поколения дворянских революо-

---

[1] А. Серно-Соловьевич, Наши домашние дела, Vevey, 1867, стр. 17.

ционеров, которые революционным разночинцам, гораздо более тесно связанным с народом, представлялись отсталыми и принадлежащими прошлому.

Однако у Серно-Соловьевича не было того ясного понимания исторических заслуг поколения дворянских революционеров, которым всегда обладали Чернышевский и Добролюбов. Он с такой безудержностью давал волю своей антипатии, что последняя становилась серьезной помехой для совместной политической работы. Серно-Соловьевичу был чужд даже сам эмоциональный и интеллектуальный склад Герцена. Мы видели, что узость круга того революционного поколения, к которому принадлежал Герцен, давала ему право рассказывать о своей собственной жизни, рассматривая ее как пример революционного поведения и идейных исканий. Серно-Соловьевичу же такой рассказ представляется предосудительным, он видел в нем лишь следствие «самообожания», ибо сам принадлежал иному времени, иному поколению, когда судьба и переживания одного человека сами по себе уже не могли играть столь значительной роли, как это было в прошлом. Особенно резко Серно-Соловьевич выступал против утверждений Герцена, что он и Чернышевский взаимно дополняли друг друга в своей деятельности.

Серно-Соловьевич увидел в этом утверждении нечто вроде оскорбления памяти своего великого учителя. Он даже заявлял в своей брошюре, что Герцен и Чернышевский представляют собою «противоположные элементы», между которыми «нет, не было и не могло быть ничего общего».

По мнению же других представителей «молодой эмиграции», проповедь Герцена была тесно связана с пропагандой Чернышевского. «Вы проповедовали пятнадцать лет, мы учились у вас и в то же время, будучи в России, учились и у другого учителя — Чернышевского...»[1] — писал Герцену Николай Утин в 1864 году.

В анонимной брошюре «А. И. Герцен. Несколько слов от русского к русским», изданной за границей в 1870 году и, возможно, принадлежащей перу известного критика и публициста 60-х годов В. А. Зайцева, содержится признание исторического значения деятельности

[1] «Литературное наследство», т. 62, стр. 674.

Герцена. Автор брошюры писал о Герцене: «Мы и друзья и товарищи наши воспитаны на нем, мы обязаны ему в лучшие годы студенческой жизни лучшими часами, теми, которые проводили, читая его...

Им мы подготовлены к пониманию Чернышевского... Герцен и Чернышевский два величайшие мыслителя России и одни из первых нашего века...» [1]

Видный представитель русской революционной демократии 60-х годов Н. В. Шелгунов писал о Герцене в статье 1870 года: «Он в сороковых годах — человек сороковых годов, в шестидесятых — шестидесятых, и в наше время — человек нашего поколения... он всегда наш, всегда с молодыми, только умейте понимать его и не кивайте на Петра, когда вам следует заглянуть в себя» [2].

Ошибка, допущенная Серно-Соловьевичем, была тем более велика, что он выступил против одной из самых значительных публицистических и философских работ Герцена, против статьи «Порядок торжествует» (1866), проникнутой глубокой верой в то, что реакция в Западной Европе и России не имеет будущего, что почва колеблется под ногами господствующих классов. В статье чувствуется, как крепнет понимание Герценом исторической роли международного пролетариата, громадного значения подъема исторической активности народных масс. Статья пронизана стремлением найти путь революционной активности и убеждением в успешности таких поисков (см. об этой статье также в третьей главе настоящей части книги).

В пылу полемики Серно-Соловьевич забывал историческую обстановку, в которой протекала жизнь Герцена, совершенно обходил вопрос об огромной политической роли, которую для развития и роста русской революционно-демократической мысли играла теоретическая, философская пропаганда Герцена, и не хотел видеть того, что при всех колебаниях Герцен, несомненно, принадлежал к лагерю революционной демократии.

Однако, как показал Б. П. Козьмин в своем исследовании о взаимоотношениях Герцена и «молодой эмиграции» («Литературное наследство», т. 41—42), брошюра

---

[1] «А. И. Герцен в русской критике», стр. 195.

[2] Там же, стр. 213.

эта, вызвавшая у Герцена чувство безмерной обиды и порыв озлобления, не повлекла за собою окончательного и полного разрыва между ним и молодыми эмигрантами. Прежде всего брошюра Серно-Соловьевича не получила одобрения со стороны всей «молодой эмиграции». Имеются также заслуживающие доверия сведения о том, что позднее Герцен с некоторыми ее представителями, в том числе и с Серно-Соловьевичем, вел переговоры о совместном возобновлении «Колокола».

Во всяком случае, как свидетельствует одно письмо Серно-Соловьевича, относящееся к ноябрю 1867 года, уже тогда, то есть через полгода после выхода брошюры, между ним и Герценом и Огаревым существовали деловые взаимоотношения.

Вообще для правильной оценки тех раздоров, а порой и взаимного ожесточения, которые характеризуют отношения Герцена и «молодой эмиграции», следует иметь в виду и ту обстановку, в которой в середине 60-х годов оказались молодые эмигранты. Оторванность от России, отсутствие практического революционного дела, тяжелое материальное положение, разлад и склоки в собственной среде — все это способствовало созданию крайне нездоровой атмосферы.

При таких условиях естественно, что со стороны «молодой эмиграции» слышались те или иные нарекания. Были недовольны тем, что Герцен не предоставлял ее деятелям соответствующего места в редакции «Колокола». Они хотели также распоряжаться находившимися в ведении издателей «Колокола» денежными суммами, составившимися из пожертвований, хотя Герцен много и умно помогал нуждавшимся.

Играла роль и личная антипатия, которую Герцен чувствовал к некоторым из представителей «молодой эмиграции»; его коробила их претенциозность и самонадеянность. Все это приводило к прямому непониманию, раздражению, обидам самолюбия, пересудам, резким личным нападкам. Только учитывая противоречия между принципиальной политической линией Герцена и теми взаимоотношениями, которые в условиях эмигрантского быта сложились между ним и представителями нового революционного поколения, становится понятным характер и тон той главы «Былого и дум», в которой дана характеристика «молодой эмиграции».

С одной стороны, Герцен называет здесь революционеров-разночинцев «молодыми штурманами будущей бури» (11, 341). Эти слова Ленин цитирует в статье «Памяти Герцена». Герцен признает, что суровая последовательность, резкость этих людей только естественны. С другой стороны, он очень много внимания уделяет мелким эмигрантским дрязгам, горячится, раздражается, и под его пером молодые революционеры превращаются порой в «*Собакевичей* и *Ноздревых* нигилизма» и «внучат Скалозуба» (11; 350, 352).

Но, несмотря на все личные столкновения, обиды, недоразумения, взаимные обвинения и тому подобное, молодая революционная демократия 60-х годов понимала историческое значение и идейную силу Герцена, так же как он понимал то новое и ценное, что она внесла в русское революционное движение.

Таким образом, нельзя сказать, что в последние годы своей жизни Герцен отошел от молодой русской революционной демократии, выступившей в 60-х годах, что он в этом отношении стал более одиноким, чем был в предшествующий период своей деятельности. Наоборот, при всех личных столкновениях и недоразумениях у Герцена завязывались деловые переговоры с представителями «молодой эмиграции» о совместной деятельности, и вовсе не исключено предположение, что, если бы смерть не настигла Герцена, связи эти принесли бы свои положительные результаты.

4. Стиль герценовской публицистики.— Сатира и лиризм.— Памфлеты Герцена

В 60-х годах публицистика Герцена приобретает новый характер, отличающий ее от статей и заметок 50-х годов. Со страниц герценовской публицистики встает теперь образ бесстрашного и последовательного революционного демократа, освободившегося от прежних колебаний и ошибок. Герцен находит проникновенные и страстные слова, понятные простому человеку. В его статьях все громче и резче звучат «выстраданные... слова проклятья и негодования» (15, 90).

Но если «крик негодования», протест против господствующего порядка, обличение злодеяний самодержавия

и крепостников определили собою основной тон написанных Герценом передовых «Колокола», его памфлетов и кратких заметок в «Смеси», то вместе с тем в них слышался его полный иронии смех и страстный лиризм, насыщенный и болью за угнетаемых, и революционным призывом к ним.

Лиризм, проникающий собою его творчество, стал в эти годы особенно цельным и мощным. Мы чувствуем, как бурлит негодование Герцена. В статье «12 апреля 1861 года», посвященной событиям в Бездне, он говорит: «Мозг разлагается, кровь стынет в жилах, читая наивно-простодушный рассказ такого злодейства, какого не бывало с аракчеевских времен.

Где родились эти кровожадные флигель-адъютанты, где воспитались эти импровизированные палачи? Как их дрессировали в такие бездушные злодейства?» (15, 107).

Духовное и художественное богатство герценовской публицистики захватывало современников, затрагивало все струны их души.

Один из виднейших деятелей революционного движения 60-х годов Н. Н. Обручев, прочитав знаменитый памфлет Герцена «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ» (1861), писал 8 сентября 1861 года Огареву: «...два раза перечитывал я Тихона[1] и катался со смеху, хотя слеза готова была брызнуть совсем не от смеху. Семга, грузди, Погодин, Филарет и рядом мужик, приклонивший голову к новой раке, синие рубцы освобождения... Это черт знает что такое. Каждое слово вас бросает то в смех, то в слезы»[2].

Действительно, памфлет Герцена сочетает идейную целеустремленность с богатством и многообразием художественных красок и интонаций.

Герцен начинает свое произведение в насмешливых тонах, пародируя выспренний слог официальных документов; он иронизирует по поводу того, что «ископаемый епископ, «во благоухании святыни почивший», пожалован государем в святые, а тело его, за примерное

---

[1] Отправной точкой для памфлета Герцена послужило решение царского правительства признать останки воронежского епископа Тихона нетленными «мощами святыми».

[2] «Литературное наследство», т. 62, стр. 418.

нетление, произведено в мощи, с присвоением всех прав состояния, т. е. пользования серебряной ракой, лампадой, восковыми свечами и, главное, кружкой для сбора». Но постепенно памфлет становится все более драматичным, пронизывается гневом, скорбью и болью. Герцен рисует трагический образ обобранного и обманутого крестьянина, на которого и рассчитана жалкая и лицемерная комедия, разыгранная церковными иерархами и светскими сановниками: «Он слишком задавлен, слишком несчастен, чтоб не быть суеверным. Не зная, куда склонить голову в тяжелые минуты, в минуты человеческого стремления к покою, к надежде, окруженный стаей хищных врагов, он придет с горячей слезой к немой раке, к немому телу, и этим телом и этой ракой его обманут, его утешат, чтоб он не попал на иные утешения».

Бичуя православную церковь как верного слугу царизма, Герцен дает обобщающий сатирический образ высшего духовенства: «С невозмущаемым покоем ела она (церковь. — *Я. Э.*) свою семгу, грузди, визигу; она выказала каменное равнодушие к народному делу, то возмутительное, преступное бездушие, с которым она два века смотрела из-под клобуков своих, перебирая четки, на злодейства помещиков, на насилия, на прелюбодеяния их, на их убийства...» (15; 134, 136).

Обращаясь к народу, Герцен разъяснял ему, что духовенство — это бюрократия в рясе, такой же враг его, как и чиновник в мундире.

Но Герцен не только обличал православную церковь и царя, который «послал во все четыре стороны Руси флигель-адъютантов, пули и розги» (15, 135). Он обращается с революционным призывом к народу идти по стопам таких крестьянских вождей, как Антон Безднинский, павший за свой народ под пулями карательного отряда. В этом обращении памфлет Герцена достигает высшего напряжения, вершины своего пафоса.

Внося в свои статьи и памфлеты трагические и драматические мотивы, нередко немногими штрихами воссоздавая картину народной жизни, Герцен вместе с тем великолепно применял здесь оружие смеха, ценя его революционно-разрушительное действие и используя все краски комического — от блестящей шутки до жесткого сарказма.

Революционная страсть насыщала смех Герцена, на-

правленный против царского самодержавия и крепостничества, историческая обреченность которых была для него несомненна. Иронию, свойственную русской литературе и публицистике, начиная с писателей — просветителей XVIII века, Герцен называл «родной нашей иронией, иронией — утешительницей, мстительницей» (13, 272). Он подчеркивал тем самым, какое глубокое удовлетворение дает использование этого средства в борьбе со всем отсталым и реакционным. «Мы хотели быть не только местью, но и иронией русского человека»,— заявлял он.

Еще со времени литературных фельетонов 40-х годов и дневниковых записей тех же лет Герцен мечтал «возвести иронию в чин» направить ее против «будочника будочников» (будочниками тогда называли полицейских), то есть против Николая I. В «Колоколе» герценовская ирония стала особенно действенной и меткой.

В 1857 году в памфлете «Вдовствующая императрица» Герцен, пуская в ход жало иронии, рассказывал о заграничном путешествии вдовы Николая I Александры Федоровны, известной своим диким безудержным мотовством и неутомимостью во всякого рода развлечениях. Рисуя светское времяпрепровождение императрицы в Риме, Герцен иронически замечает: «Какую надобно иметь приятную пустоту душевную и атлетические силы телесные... чтоб так метаться на всякую всячину... чтоб находить удовольствие во всех этих приемах... представлениях, плошках, парадах, полковой музыке, церемонных обедах и обедах запросто на сорок человек...»

Герцен смеется над этой достойной представительницей царской семьи, как бы воплощающей собою весь паразитизм хозяев старой России. Но обличение его обладает и грозной силой. «Вдовствующая императрица, — говорит Герцен, — дала Европе зрелище истинно азиатского бросанья денег, истинно варварской роскоши. С гордостию могли видеть верноподданные, что каждый переезд августейшей больной и каждый отдых ее — равняется для России неурожаю, разливу рек и двум-трем пожарам».

Заканчивает свой памфлет Герцен одной краткой, но многозначительной фразой, подчеркивающей, какой дорогой ценой покупаются роскошь и сибаритство господствующей верхушки царской России — цена тому — пот

и кровь крестьянина: «А вы мужички, платите — вам не привыкать стать» (13; 17, 13, 18).

Герцен любил игру слов, каламбуры. Но он умел свое полное юмора воображение подчинить поставленной идейной задаче. В «Ответе Гарибальди», клеймя Муравьева-вешателя и рукоплескавшую ему «пьяную ватагу» крепостников и либералов, Герцен писал: «И нас хотят уверить и белым и аксаковским днем, что это любовь к отечеству! Лучше не иметь никакого отечества» (18, 40). Неожиданное каламбурное сближение «белого дня» и аксаковского «Дня» теряло тот чисто шутливый характер, которым оно обладало бы вне данного контекста, разоблачало склонного к лицемерию славянофильского публициста.

Герцен создал в «Колоколе» острые, резкие, полные юмора, иронии и сарказма памфлетные, сатирически очерченные зарисовки общественных типов; эти образы представителей правящих классов разоблачали не столько отдельных людей (Герцену всегда был чужд мелко обличительный, хотя и очень злой биографизм в духе памфлетов П. В. Долгорукова), сколько целые социальные группы как врагов русского народа. Герцен превращал их в посмешище всей страны, будил у читателя презрение и гнев.

Напомним только характеристику царского правительства, которое «ходило... кошкой, с разгоревшимися глазами, около виселицы», а потом «пошло месить кровь, вешать, давить, пытать» (18, 40), и образ презренного слуги этого режима Каткова, который был бы «самый забавный шут нашего времени», если бы не был «забрызган Муравьевым и кровью» (18, 269).

Именно в статьях и заметках 60-х годов сатирическое обличение самодержавия, дворянства, помещичье-буржуазного общества становится особенно заостренным и обобщающим. В публицистике 50-х годов герценовская ирония,— при всей политической остроте и резкости в оценке тех или иных фактов,— еще сравнительно редко поднималась до сатирических обобщений, приводящих к окончательным и беспощадным выводам. Каждая же из памфлетных характеристик 60-х годов проникнута ясной и непримиримой революционно-демократической мыслью и художественно-типизирующим обобщением.

Ряд сатирических памфлетных характеристик Герцена 50-х, и особенно 60-х годов, воспринимаются как предвестники сатирических образов, которые впоследствии создаст Щедрин. Когда мы в статье «Франция или Англия?» читаем о том, что «за... штыками маячила мрачная, застегнутая на все пуговицы и в огромных ботфортах, фигура Николая», с его «хищным взглядом» (13, 239), то невольно вспоминаем щедринский портрет Угрюм-Бурчеева [1].

Как и позднее Щедрин, Герцен переносит гоголевские сатирические образы Ноздрева, Собакевича и им подобных в политическую обстановку реакции 60-х годов [2].

С другой стороны, такая сатирическая классификация, как «тигры-ослы», «тигры-клопы», явно перекликается с вольтеровскими «тиграми-обезьянами».

В герценовской публицистике 60-х годов — и в этом также существенное своеобразие ее — значительную роль играют образы, в которых получала отражение народная жизнь, черты пробудившихся и протестующих представителей низов.

Исторические условия и обстановка деятельности Искандера в 50—60-х годах сложились таким образом, что он почти не имел возможности непосредственно и близко наблюдать простых людей, тех, кого выдвигала поднимающаяся народная Россия. Но тогда, когда это ему удавалось, он проникал в глубь психологии человека из народа в ее типической противоречивости, характерной для той эпохи.

В этом отношении очень большой интерес представляет очерк «П. А. Мартьянов и земский царь». Герцен рисует образ этого «человека, испытанного всеми горями и бедствиями русской жизни», страстно ненавидящего крепостничество и крепостников, но сочетающего черты «негодующего Спартака» с патриархальной крестьянской верой в несуществующего «идеального зем-

---

[1] На родственность этого герценовского образа сатире Щедрина указал В. Гицкий в диссертации об «Истории одного города» (Московский государственный педагогический институт имени Ленина, 1953).

[2] Характеристику этих герценовских типов см. в диссертации Л. И. Матюшенко «Творчество Герцена 60-х годов. Проблемы и типы русской жизни», МГУ, 1953.

ского царя» (18; 11—13), за которую Мартьянов и поплатился каторгой [1].

Свой публицистический стиль Герцен противопоставлял официальному «ливрейному» жаргону царской бюрократии, отличавшемуся «особой, изысканной невоздержностью в подобострастных выражениях». Такие «цветы подобострастия» (13; 409, 414) особенно пышно распускались в газетных сообщениях о путешествиях и времяпрепровождении царя и его семьи. Сообщения эти пестрели такими словами, как «августейший», «повелеть соизволили», «удостоил», «изволил прибыть», «высочайший» и т. п. Этот тяжелый и холопский жаргон напоминал Герцену поучения старого лакея Бакая, который учил дворовых мальчишек: «Ты ешь, а барин изволит кушать, ты спишь, щенок, а барин изволит почивать» (13, 413). Ту же «бакаевскую манеру» Герцен находит в «языке казнящего попа и проповедывающего палача» (18, 420), царских «холопов-риторов» (17, 66) во главе с Катковым и его прессой. В «Московских ведомостях» Каткова Герцен видит «тяжелый формализм, военную вытяжку... и гражданское подобострастие в словах».

Полемические стрелы Герцена были направлены и против «дерзко-гладкого тона» (9, 249) доктринера либерально-монархического лагеря Б. Н. Чичерина, и против ложнопатетического и искусственно-приподнятого слога, свойственного «пророку-издателю» и «редактору «Москвы» в Москве» (19, 227) — славянофилу И. С. Аксакову, постепенно все откровеннее становившемуся на позиции пропагандиста самодержавия и поповщины.

На примере статьи профессора Н. Крылова Герцен беспощадно разоблачает и «противную адвокатскую манеру» *«заговаривать,* употреблять тяжелые и ненужные сравнения, останавливаться на них, филологически разлагать и вывертывать слова, иногда приходить в горячность, иногда сменить гнев на милость» (13, 34). Герцен вскрыл сущность этой псевдонаучной, фразерской «стряпческой элоквенции», направленной к поддержанию «византийского иконостаса с ликом царя».

---

[1] Вполне права Л. И. Матюшенко, видящая в этом образе отражение «роста сознания и чувства личности в крестьянине» (см. вышеуказ. диссертацию).

С другой стороны, Герцен считал, что язык передовой русской публицистики должен быть свободен от «революционной декламации» (16, 204). «Напыщенная и дутая риторика» (11, 499) французской буржуазной прессы всегда вызывала у Герцена резкий отпор, ибо «злоупотребление громких слов... противно русскому характеру, чрезвычайно реальному и мало привыкшему к риторике» (IX, 454).

Характеризуя богатство и гибкость русского языка, Герцен указывал на ту «чрезвычайную легость, с которой все выражается на нем,— отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть» (9; 19—20).

Эту характеристику следует отнести и к стилю и языку самого Герцена. Его язык в статьях, заметках, памфлетах «Колокола» отличается энергией, лаконизмом, достоинством, целеустремленностью гнева и меткостью иронии. Герцен имел право сказать: «Речь наша полна жгучего и горького яда от долгих лет немого страдания; все мучившее нас с детских лет, все оскорблявшее, унижавшее нас взошло в наше слово... в нем остался и плач женщин, обесчещенных своими помещиками, и стон засеченных стариков, и звук цепей, в которых шли в Сибирь наши лучшие певцы, наши лучшие друзья» (12, 203). Стоном, плачем и гневом народа проникнута статья Герцена «Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ», цитированная Лениным в статье «Памяти Герцена». «О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской!» (15, 135), — восклицает здесь Герцен, обращаясь к народу.

Герцен писал Огареву, критикуя стиль его публицистики: «Надобно фразы круто резать, швырять и, главное, сжимать» (XX, 32). Именно так написаны многие статьи и заметки Герцена в «Колоколе». Напомним одну из заметок из «Смеси» Колокола» (1860), также цитированную Лениным. Искандер сообщает о том, что крепостной человек убил своего помещика, вступившись за честь своей невесты, и продолжает: «И превосходно сделал, прибавим мы. Таковы нравственные последствия преступного и, по счастию, издыхающего теперь крепостного права. Посмотрите на эту чудовищную альтер-

нативу: или вам приходится сказать, что священный долг жениха, брата, отца — почтительно молчать, когда насилуют его невесту, сестру, дочь, сказать, что этого молчания требует нравственность, религия и чистота семейной жизни, или сознаться, что в подобном случае *еще нравственнее* расколоть топором голову барину? Что касается до нас, мы предпочитаем последнее!.. Кстати, когда же нам напишут, что сделали с орловским помещиком Гутцейтом, насиловавшим детей, или его оставили тоже до первого жениха? Эх вы, законодатели, администраторы!» (14, 233).

Эта заметка передает энергию герценовского стиля, наглядно показывает его умение «круто резать», «сжимать» фразы и «швырять» их как метательный снаряд, разящий врага.

Остроумие и целеустремленность герценовского публицистического стиля находит свое наглядное выражение в заголовках его статей и заметок. Назовем некоторые из них: «Приложение крепостного права к журналистике», «Секущее православие», «Иванова борода и Гурьев лоб», «Постельная барщина продолжается», «Августейшая благодарность за государственный разбой», «Виселицы и журналы», «Сплетни, копоть, нагар и пр.». Заголовки эти построены на острых формулировках и резких противопоставлениях, на неожиданных и саркастических эпитетах и перечислениях.

Иногда Герцен, предваряя публикуемую корреспонденцию или документ остроумным заголовком, тем самым уже придавал этому материалу острое сатирическое звучание. Немалую роль играли также в «Колоколе» вводные замечания и примечания Герцена, усиливавшие обличительное значение сообщаемых фактов.

Своей публицистикой боролся Герцен за «сильный и простой язык», за «мужественную речь свободного человека» (13, 410), за тот русский публицистический стиль, в котором слышались бы «крик негодования» и «потрясающая страсть» народных масс.

Публицистика Герцена завоевала мировое признание. По мнению Чернышевского, «собственно по блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену» [1].

---

[1] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», т. 1, М. 1890, стр. 319.

Очень большое, хотя еще мало выясненное, воздействие публицистический стиль Герцена оказал на современную ему русскую журналистику.

Как показал И. Г. Ямпольский, «Колокол» не только своей обличительной направленностью, но и самым типом издания, методами подачи материала оказал влияние на «Искру» В. С. Курочкина [1]. В глазах современников «Колокол» и «Искра» имели много общего.

II. ГЕРЦЕН О ПУТЯХ РУССКОЙ ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЫ.— «КОНЦЫ И НАЧАЛА» (1862—1863). — ПОЛЕМИКА С ТУРГЕНЕВЫМ. — ОБРАЗЫ И СТИЛЬ

Борьба за русскую демократическую культуру является одной из существенных сторон революционной деятельности и важной темой публицистики издателя «Колокола».

Мы видели, как остро и резко Герцен ставил вопрос в книге «С того берега» о будущем европейской цивилизации, «цивилизации меньшинства». Он считал неизбежным крушение такого строя, при котором происходит «поглощение большинства на вырабатывание светлой, прекрасной жизни меньшинству». Он приветствовал обновление культуры, которое должны принести с собою народные массы в связи с ростом их исторической активности. Даже впадая в мучительнейший пессимизм, навеянный поражением революции 1848 года, Герцен не отказывался от убеждения, что в конечном счете «человечество не пойдет узким и грязным проселком; ему надобно широкую дорогу».

В революционном преобразовании русской жизни Герцен видел самый верный и самый близкий путь, ведущий к этой «широкой дороге». Вера в свой родной народ и его творческие силы получила у Герцена теоретически иллюзорное, народническое обоснование, но революционно-демократическая сущность этой веры несомненна.

Герцен ошибочно видел социализм в общинном зем-

---

[1] И. Г. Ямпольский, «Искра» Курочкина и Герцен, «Ученые записки ЛГУ», Серия филологических наук, вып. 13, Л. 1949.

левладении, в идее «права на землю». Но объективно эта идея была, по словам Ленина, «формулировкой революционных стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения» [1].

Существенно и другое. Герцен никогда не разрабатывал экономическую сторону народнической утопии. Это спасало его от необходимости вдаваться в мелочную идеализацию обреченного экономического уклада общины. В «Колоколе» в качестве народника-экономиста выступал Огарев. В его статьях гораздо нагляднее и откровеннее сказывались все противоречия народнической теории. Огарев нередко, пускаясь в рассуждения, изобретал проекты, предвещавшие позднейшие ухищрения оппортунистического, народнического прожектерства 80-х годов. Так, например, Огарев, предвидя превращение дворянства в «промышленников», считает, что процесс этот может мирно и гармонически сочетаться с развитием общинного порядка («Колокол», л. 14). Он выдвигает наивнейший проект создания банка поземельного кредита, который якобы станет выражением «экономического союза» народа и передового дворянства, основанного на «чрезвычайно нравственном начале, начале честного слова и круговой поруки» («Колокол», лл. 77—78).

Герцен таких предложений никогда не выдвигал, хотя, конечно, как редактор нес за них полную ответственность.

Отличие в этом вопросе между Герценом и Огаревым и в еще большей мере между Герценом и позднейшими народническими теоретиками заключалось в том, что Герцен не рассматривал существующую общину, в *данном* ее виде, как элемент социалистического устройства общества. Поэтому он и не опускался до реакционной мелкобуржуазной утопии позднейших народников из «Отечественных записок», вроде Воронцова (В. В.), который мечтал о том, чтобы некоторыми мелкими реформами, проводимыми царизмом и помещиками, укрепить общину в том ее виде, в каком она тогда существовала. Герцен считал, что только будущее общины смо-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12.

жет дать ответ на вопрос, способен ли из этого зародыша развиться социализм. Согласно его заявлению в «Колоколе», задача заключалась в том, чтобы «на основаниях науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плутая по неизвестным путям, развитие Запада» (14, 183).

Герцен заявил еще в 1849 году: «Человек будущего в России — мужик» (7, 326). Таким образом, к нему полностью относится следующее положение, приведенное В. И. Лениным: «Человек будущего в России — мужик, думали представители крестьянского социализма, народники в самом широком значении этого слова». Такая точка зрения неизбежно вызывала ограниченность воззрений Герцена. Он не видел и не мог видеть, что «человек будущего в России — рабочий...»[1] Поэтому и на будущее русской культуры он смотрел как на культуру крестьянскую. В 1860 году Герцен писал: «Революционная декламация нам ненавистна... Театральные постановки в серьезном деле не в нашем характере. Русская воля, если она разовьется когда-нибудь, то разовьется здоровой, простой крестьянкой, которой равно не нужно будет ни румян, ни белил, чтоб нравиться, ни римских тог и цивических причитываний, чтоб полюбить» (14, 330).

Революционно-демократическая сущность воззрений Герцена позволяла ему правильно подметить важнейшие черты русской демократической культуры, которые в середине XIX века особенно ярко проявляются в теоретических работах Белинского, Чернышевского, Добролюбова, в художественных созданиях Гоголя, Некрасова, Щедрина, Щепкина. Эта культура еще не могла быть известна Герцену во всем своем объеме и всеми своими сторонами, но он правильно видел ее принципиальное отличие от дряблой, опустошенной и оторванной от народа «старой цивилизации» буржуазной Европы. Ведь эта последняя «истощила свои средства, она становится все больше и больше *книжной;* способность прямо, без письменных документов, относиться к предмету — теряется...» (14, 162).

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 280.

Герцен упорно искал путей, ведущих к народной, проникнутой демократическими и социалистическими идеалами культуре. Он заявлял еще в 1859 году: «Разум не *один,* их *два.* Разум мира *садящегося, вечернего* не совпадает с разумом мира *восходящего, утреннего*» (14, 107). В передовой русской и западноевропейской культуре Герцен и видел отражение разума восходящего.

Герцен писал впоследствии (в 1867 году), характеризуя особенности русской передовой мысли: «Мысль, знание, убеждение, догмат никогда не остаются у нас в состоянии теории и абстракции, не стремятся заточить себя в академический монастырь или же спрятаться в шкафу ученого, среди ядов; напротив, не достигнув зрелости, они бросаются с чрезмерной стремительностью в практическую жизнь...» (20, 71). Говоря о русской передовой мысли 30 — 40-х годов, о Москве Белинского и Грановского, Герцен указал, что «Москве недоставало одного — простора, шири, накопившиеся мысли ныли по воле» (16, 106), то есть что передовой мысли не хватало свободы и народных просторов, где она могла бы найти практическое приложение. Герцен всегда видел перед собою «бездну... отделяющую науку от народа» (20, 513). Он постоянно задавался вопросом, как и где «перекинуть мост... между возмужалой и суровой наукой и погруженным в глубокий сон взрослым младенцем...» (20, 70). Над ускорением встречи народа и «науки» Герцен работал всю свою жизнь.

В своем воззрении на будущее соединение народа и передовой науки Герцен сходился с Чернышевским, писавшим, что «те передовые люди, деятельностью которых развивается наука, ведут ее к тому, чтобы проникла результатами ее жизнь всего народа». Чернышевский указывал, что в русской жизни «начинается проникновение высших результатов нашего умственного развития в массу, которой были недоступны менее высокие фазисы этого развития» [1].

Рассматривая будущую демократическую русскую культуру как результат соединения передовой науки, культуры с народом, Герцен всегда подчеркивал две сто-

[1] Н. Г. Чернышевский, Избранные философские сочинения, Соцэкгиз, 1938, стр. 202, 203.

роны этой культуры: ее передовое революционно-демократическое содержание и силу ее национальных традиций.

В передовой русской культуре он справедливо находил демократические и социалистические элементы. Так, Некрасова Герцен считал «поэтом очень замечательным — своею демократическою и социалистическою ненавистью» (VIII, 517).

Русские передовые люди, охваченные «страстью истины», были для Герцена выразителями подлинной народной потребности. Они, в глазах Герцена, представляли неустанно развивавшуюся «Россию Ломоносова», которую он противопоставлял России бар и иноземцев-бюрократов, «России Бирона и Остермана» (14, 219). Герцен писал, что решение вопросов «жизненных, художественных, нравственных», создание ценностей в области литературы и искусства всегда несет на себе «следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружающего строя» (9, 37). Презрительно упоминал Герцен о «стертых космополитах» (17, 294), о людях, лишенных отпечатка яркой национальной характерности своего народа. Поэтому так горько и сожалел Герцен, что его сын, выросший за границей, ушедший в отвлеченную науку, был оторван от передовой русской национальной традиции: «Твое действительное несчастье... это — твоя оторванность от всякой традиции: у тебя нет той природной силы, которая дает национальную физиономию, цвет и стремления» (X, 209).

Герцен был убежден, что именно наиболее полное и глубокое развитие всех лучших национальных черт и традиций приведет народ к овладению передовыми общечеловеческими идеалами, к осуществлению их в действительности, к тому, чтобы та или иная нация сыграла великую, подлинно плодотворную всемирно-историческую роль. Для Герцена — революционного демократа — такие исторические процессы могли явиться только итогом громадных сдвигов в народной жизни, духовного, идейного роста народа. Поэтому свой патриотизм революционного демократа Герцен противопоставлял и псевдопатриотизму реакционеров, идеализировавших косные, отсталые черты народной жизни, и псевдопатриотизму либералов-космополитов, представителей верхушечной цивилизации, не веривших в творческие силы

народных масс. Герцен указывал на самую сущность своего патриотического чувства, подчеркивая, что его любовь к родине «тесно соединена с нашими стремлениями и идеалами, она оправдана верой, разумом» (18, 276). Герцен высоко ценил «народную совесть» «гения русского», который «догнал теоретическую мысль Запада» (14, 58).

Глубоко веря в будущую демократическую Россию, в то, что русский народ один из первых осуществит в своей жизни идеалы передовой демократии, Герцен, естественно, непоколебимо был убежден в том, что русская демократическая культура призвана внести богатейший вклад в духовную сокровищницу всего человечества.

Позиция Герцена, занятая им в вопросах развития русской культуры, объясняет нам мотивы его полемики как против западников-либералов, с их рабским преклонением перед буржуазной цивилизацией, так и против славянофилов, боровшихся с русской революционно-демократической культурой, защищая откровенно реакционные воззрения.

Взгляды Герцена на развитие культуры были им выношены и выстраданы в неразрывной и органической связи с коренными философскими и политическими основами его мировоззрения. Такая тесная взаимосвязь придает постановке этих вопросов особую глубину.

Для правильного понимания точки зрения Герцена на характер русского общественного и культурного развития существенна его оценка деятельности Петра I. Для Герцена петровские реформы были исторически закономерны и оправданны [1].В своей статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859) он указывает, что в «сонном прозябении» допетровской Руси «нельзя было дольше оставаться не покрывшись плесенью, не расползаясь, не впадая в восточную летаргию» (14, 154). Но в цивилизаторской деятельности Петра I и его бюрократии Герцен отмечал и «вколачивание русских в немецкие формы», то есть в подражательно внешние формы западноевропейской культуры, воспринятые господствующими классами.

Всегда помня не только о прогрессивном характере,

---

[1] Ср. Н. Пирумова, Исторические взгляды А. И. Герцена, Госполитиздат, 1956, стр. 53.

но и об отрицательных чертах петровских реформ, Герцен наиболее беспощадно клеймил те общественные слои и группы, в деятельности и быту которых с особенной очевидностью выступало рабское преклонение перед иностранщиной, пренебрежение к национальной самостоятельности и своеобразию русской культуры.

В «Былом и думах» Герцен писал: «Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, — с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов» (8, 124). Разумеется, Герцен говорит здесь «мы» только для того, чтобы резче подчеркнуть всю опасность и ошибочность такого низкопоклонства и подобострастия, — но метит он прежде всего в чуждую и враждебную русскому народу верхушку помещичье-дворянского общества, в царскую бюрократию, во всех этих, по его выражению, употребленному в другой статье, «отечественных камер-лакеев прогресса» (17, 84). На характеристике этих «правительствующих немцев» (14, 148) Герцен специально остановился в статье «Русские немцы и немецкие русские». «Самым полным типом» «правительствующих немцев» Герцен считал Бирона, с другой стороны, он с негодованием говорил о «немецких русских» вроде Аракчеева.

Характеризуя отрицательные черты петровских реформ, Герцен вместе с тем проницательно указывал на диалектику исторического развития. Петровские реформы привели к отрыву культурного меньшинства от народных масс, но раньше или позже последствия этих реформ должны были сказаться на развитии народных масс, должны были содействовать их духовному росту.

«Петровский переворот замешал обоюдоострый элемент в жизни дворянской России. Петру нравилась материальная сторона цивилизации, прикладная наука; ее богатые средства удесятеряли власть; но он не знал, какие шипы кроются в этих западных розах, а, пожалуй, слишком презирал свой народ, чтоб думать о том, что он может усвоить и еще кое-что, кроме фортификации,

кораблестроения и канцелярского порядка. Наука стоит всякого червя: подтачивает день и ночь до тех пор, пока где-нибудь да выйдет на свет, пробьется до сознания; а иное сознание, точно угрызение совести, пойдет бродить до тех пор, пока поднимется вся опара» (16; 63—64), — писал Герцен в очерке «Император Александр I и В. Н. Каразин»[1].

Петровские реформы имели своим косвенным последствием распространение революционных идей, сначала проникавших лишь в узкую среду передовой интеллигенции.

И Герцен рисует образ Радищева как первого русского интеллигента и революционера, стремившегося обратиться к народу, мечтавшего о том, чтобы он поднялся на борьбу. В Радищеве, в его знаменитой книге Герцен видит «одну из начальных точек обратного течения», то «зачатие» нового, которое «всегда тихо», чей «след... обыкновенно сначала пропадает» (16, 64). Но хотя процесс сближения народа и передовых людей протекал с мучительной медленностью, хотя длинный ряд революционных начинаний и смелых мыслей остались «какими-то потерянными безгромными зарницами», тем не менее ростки нового не заглохли.

В дальнейшем, в эпоху «Пестеля и Муравьева, университетов и лицеев, Пушкина и 1812 года, эпоху гражданственного сознания и государственной мощи», «деятельное меньшинство», став революционным ферментом, сыграло огромную прогрессивную роль. Эта эпоха, говорит Герцен, «служит лучшим ответом слепым порицателям петровского разрыва, ею он оправдан и заключен». Движение декабристов и особенно последующий рост передовой мысли свидетельствовали о стремлении передового меньшинства соединиться с народом, соединить «науку» с народом и тем самым положить начало образованию новой, народной культуры. Поэтому восстание декабристов, «залп на Исаакиевской площади — был залпом на... похоронах» петровского разрыва (14, 157). Так, с точки зрения Герцена, Россия чем дальше, тем больше приближается к революционному кризису, последствием которого должно стать могучее развитие

[1] Об этом очерке см. статью И. Г. Птушкиной в сб. «Проблемы изучения Герцена».

новой культуры. Поэтому в 60-х годах Герцен видит строителей «новой России» и новой, демократической культуры в поколении революционеров-разночинцев, в среде, «закаленной в нужде, горе и унижении, тесно связанной жизнью с народом, образованием — с наукой». Этот слой, представителями которого являются Белинский, Гоголь, Чернышевский, занимает «промежуточное положение между растущей бесплодностью верхов и непросвещенной плодовитостью низов», он «призван спасти цивилизацию для народа», — писал Герцен в 1864 году в статье «Новая фаза в русской литературе» (18, 217). Белинского Герцен в 1863 году называет «настоящим представителем молодой России, действительным революционером в нашей литературе» (XVI, 185).

Герцен горячо приветствовал молодые революционные поколения разночинцев. «Подымается и растет на свет, — писал он, — *Новая Россия,* крепко подкованная на трудный путь... Ее не тяготит ни родовое имущество, ни родовое воспоминание, в ней мало капиталов и вовсе нет привязанности к существующему. Она стоит свободная от обязательств и исторических пут.

Предшественником ее был плебей Ломоносов, могучий объемом и всесторонностью мысли, но явившийся слишком рано... Она становится во весь рост только в Белинском и идет на наше русское крещение землею на каторгу в лице петрашевцев, Михайлова, Обручева, Мартьянова и пр. ...

Среда пестрая, хаотическая, среда брожения и личного выработывания, среда алчущая и неудовлетворенная, она состоит из всего на свете — из разночинцев и поповских детей, из дворян-пролетариев, из приходских и сельских священников, из кадет, студентов, учителей, художников; в нее рвутся пехотные офицеры и иной кантонист, писаря, молодые купцы, приказчики... Вступая при новом брожении в иные химические соединения, они всплывают из народа и распускаются в нем. Это почва зародышей, засеянное поле...

Удар за ударом бьет эту среду, она побита наголову, но *дело* не побито, оно меньше побито, чем 14 декабря, плуг пошел дальше и глубже. Зерна царского посева не пропадают на каторге, они прорастают толстые тюремные стены и снегом покрытые рудники» (18; 243—244).

В передовых людях 60-х годов Герцен видел представителей подлинно демократической русской культуры, творчески развивающей высшие духовные ценности, созданные человечеством на предшествующих этапах его истории. Им он противопоставлял «западных доктринеров», «лучших немцев из русских, умных, образованных, но не русских», западников-либералов, преклоняющихся перед буржуазной культурой Запада. Их отношение к буржуазной культуре Герцен иронически иллюстрировал следующим сравнением: «На берегах Средиземного моря есть раковины, в которых живут крустацеи; это вещь очень смешная: креветка маленькая, находя пустую раковину, помещается в ней, комнатка, отделанная перламутром, ей нравится, она растет себе в ней, выпуская клещи и ноги, и растет до того, что вылезть не может, и тогда креветка таскает на себе всю раковину, едва передвигая ноги, — наши русские западники ужасно похожи на этих креветок в маскарадном платье; они даже, как раки вообще, пятятся назад, думая идти вперед!» (14, 168).

Все стоявшие перед Герценом проблемы русского общественного и культурного развития, связанные с ними наблюдения, раздумья и прогнозы, внутренние сомнения и полемические возражения — все это получает поэтическое отражение в «Концах и началах» (1862—1863).

Характеризуя место «Концов и начал» в своем творчестве в сопоставлении с постоянной и повседневной публицистической работой, Герцен писал: «Я сделал себе из моей периодической («письма», составляющие этот цикл, печатались в ряде номеров «Колокола» и лишь затем вышли отдельным изданием. — *Я. Э.*) болтовни о «концах» и «началах» воскресную рекреацию и ухожу в нее от ежедневных диссонансов, газетных мерзостей и будничных споров... ухожу, как в какую-нибудь отдаленную келью, из окон которой не видать многих подробностей, не слыхать многих звуков, но ясно видны молчащие очерки близких и далеких гор, и внятно доходит морской гул» (16, 181).

Касаясь и текущих событий политического «сегодня», привлекая и автобиографические и мемуарные эпизоды, Герцен говорит в «Концах и началах» прежде всего об общих проблемах развития русской жизни и культуры и своем отношении к ним.

Перед нами встаёт лирический образ русского передового человека, неустанно ищущего «начала» будущего мира и с тревожным и радостным ожиданием всматривающегося в возвещающие его приближение «зарницы» и «пророчествующие радуги».

Герцену хочется подтолкнуть действительность вперед, к будущему. Поэтому в лирическое раздумье вплетаются революционно-романтические ноты, столь характерные для русского реализма и особенно революционно-демократической литературы середины века. Но, со страстным нетерпением пытаясь заглянуть в будущее России, застланное тучами и туманами, Герцен вместе с тем трезво, строго, со скептической пытливостью естествоиспытателя, подходит к исследованию явлений и процессов современной ему общественной жизни. Чувствуется, что революционно-романтические устремления зрелого Герцена стали органической частью его реализма. Предчувствие «великих образов» будущего обладало для него ценностью, только тогда оно опиралось на ростки этого будущего в настоящем. Герцен и показывает, что в русской жизни и культуре эти ростки существуют.

Уже с первых страниц своего произведения Герцен вызывает в представлении читателя картину «нашей весенней распутицы, грязи по колено, дикого разлива рек, голой земли, выступающей из-под снега». Это — кипение народной жизни. По убеждению Герцена, крестьянское движение с его «стихийной мощью и стихийной неразвитостью» должно в будущем соединиться с передовой русской культурой и мыслью.

В «весенней распутице» русской действительности Герцену слышится обещание «будущего урожая», богатого цветения народной жизни. Надо, однако, подчеркивает Герцен, обладать несокрушимой патриотической верой, любовью и «зазнобою» для того, чтобы «по доброй воле ринуться в этот водоворот, искупающий все неустройство свое пророчествующими радугами и великими образами, постоянно вырезывающимися из-за тумана, который постоянно не могут победить» (16; 131—133).

Ведь покуда подвижнический труд передового русского человека — это подспудная «кротовая» работа. Но влечет она к себе непреодолимо. Ей стоит отдать все

свои силы и самую жизнь, ибо русский революционер борется за демократическую и социалистическую Россию и презирает «чечевичную похлебку» буржуазно-эпикурейского комфорта и собственнического довольства, как бы хорошо она ни была приукрашена и сервирована.

«Великие образы» грядущей России неразрывно связаны с героической русской революционной традицией. В «Концах и началах» она нашла воплощение в скульптурных по красоте и величавости образах декабристов, этой «фаланги героев», этих «воинов-сподвижников, вышедших сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» (16, 171).

Лирическому «я» в «Концах и началах» противостоит собеседник автора и его оппонент, человек совсем иного склада. Его тянет к удобному покою, к «эпикурейскому комфорту». Российской распутице он предпочитает «быт европейских бельэтажей», который, мол, «один соответствует эстетическим потребностям развития человека» и «только и дает необходимые условия умственной и художественной жизни» (16, 134). Он не чувствует «чар в наших сновидениях под снежную вьюгу, под троечные бубенчики», он предпочитает спокойный сон.

Герцен не столько спорит со вкусами и наклонностями своего оппонента, сколько подчеркивает иллюзорность его надежд на безмятежную, полную эстетических наслаждений жизнь в «европейских бельэтажах». «...В самом ли деле вековые обители, упроченные и обросшие западным мохом, так покойны и удобны, а главное так прочны, как были?..» (16, 134).

Герцен в «Концах и началах» и показывает, что ни подлинной эстетической радости, ни уверенности в будущем буржуазный мир уже не в состоянии дать. Эстетически он беден и лишен творческой силы. Что же касается прочности, то он уже чувствует «под ногами возможную трещину» (16, 165) — там внизу «бездонная пропасть» народной жизни, с ее «циклопической, кротовой работой» (16, 176).

Правда, в «Концах и началах» чувствуется пессимистическое непонимание творческих сил западноевропейского пролетариата. Но значение этого произведения заключается в разоблачении упадочной буржуазной культуры, которую оппонент Герцена пытался защищать.

Герцен метко и глубоко схватывал явления и черты, характеризующие падение буржуазной культуры. Он подчеркивал духовную несостоятельность буржуазной цивилизации, указывая, в частности, на характерный для нее «союз науки с религией». Вследствие этого «разум (то есть разум буржуазных ученых.— *Я. Э.*), боясь скандала, скрывает свою истину» (16, 178), открещивается от трезвого познания природы и общественной жизни.

В «Концах и началах» в диалогах обоих собеседников Герцен использовал и художественно претворил свои споры и переписку с Тургеневым. Однако было бы упрощенством отождествлять идейные позиции Тургенева с воззрениями дюжинного буржуазного либерала, против которых, в конечном счете, направлены полемические выпады «Концов и начал». Поэтому необходимо подробнее остановиться на соотношении взглядов Тургенева и Герцена.

В жизни и мировоззрении Тургенева политические вопросы никогда не играли той роли, какая принадлежала им в мировоззрении и жизни Герцена.

Тургенев никогда не претендовал на ведущую и активную политическую роль, но он был очень чутким наблюдателем общественной жизни.

При этом он на всю жизнь остался верен просветительским идеалам 40-х годов. В отличие от Герцена, он мало пошел вперед. Уже в 40-е годы Тургенев был далек от революционно-демократических и социалистических стремлений Белинского и Герцена. На его идейной позиции сказывалась слабая размежеванность либерализма и демократизма в ту пору. Но Тургенев был убежденным врагом крепостничества. В отличие от Боткина, Корша, Кетчера, он глубоко сочувствовал заграничной деятельности Герцена и даже умел видеть некоторые сильные стороны молодого революционного поколения разночинцев. Но в то время как Герцен в 60-е годы все более последовательно становился на позиции революционной демократии, Тургенев отходит от нее. Все чаще проявляется у него либеральная беспринципность и трусливость. Искреннюю преданность Тургенева прогрессивным идеалам 40-х годов хорошо понимали и умели ценить и Герцен и Щедрин, не прощая ему, однако, этой беспринципности.

Уже после полемики с Герценом в письмах 1862 года,

получившей литературное отражение и развитие в «Концах и началах», Тургенев в своем покаянном обращении к Александру II, вызванном угрозой судебного преследования, заявил в 1863 году о своем идейном разрыве с Герценом, и Герцен клеймил его за это, назвав в «Колоколе» «седовласой Магдалиной (мужского рода)» (18, 35). После этого приятельские отношения и переписка между Герценом и Тургеневым прекратились и возобновились только через несколько лет по инициативе последнего. Таким образом, расхождение между Герценом и Тургеневым не привело к окончательному разрыву, как это произошло в отношениях Герцена с Кавелиным, Боткиным, Кетчером и другими.

Герцен никогда не рассматривал Тургенева как своего единомышленника, хотя в конце 50-х и начале 60-х годов автор «Рудина», с самого начала сочувствовавший идее создания вольной русской печати, был одним из наиболее ценных информаторов «Колокола». Однако Тургенев в ряде случаев пытался смягчить бичующие удары «Колокола» даже тогда, когда он считал их в принципе необходимыми. Тургенев имел все основания писать Герцену в 1867 году, предлагая возобновление приятельских отношений: «Хотя ты совершенно справедливо заметил в своем последнем письме ко мне, что мы никогда очень близки друг к другу не были, однако и особенного отчуждения между нами не произошло» [1].

Действительно, Герцен никогда не забывал исторической заслуги Тургенева-писателя, создавшего «поэтически написанный обвинительный акт крепостничеству».

Расходясь по принципиальным и важным вопросам, они не теряли интереса друг к другу и в ироническом тоне старых приятелей критиковали то, что одному из них казалось ошибочным в выступлениях другого.

Все это объясняет своеобразный характер их взаимоотношений и проливает свет на форму и сущность полемики по вопросам культуры и эстетики, которую Герцен вел в 1862—1863 года в «Концах и началах».

Своеобразие этой полемики состоит в том, что, рассматривая в данном случае Тургенева как человека, склоняющегося к неприемлемым для него либерально-

[1] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 190.

западническим взглядам, Герцен вместе с тем не забывал о сильных сторонах деятельности автора «Записок охотника», о том, что резко отличало его от либералов 60-х годов. Поэтому в «Концах и началах» Герцен имеет, в сущности, в виду не столько самого Тургенева во всем сложном своеобразии его взглядов, сколько либерала-западника, воззрения которого исчерпываются слабыми сторонами взглядов автора «Дворянского гнезда». Но личные отношения, их связывавшие, а также уважение к Тургеневу, как одному из виднейших писателей того времени, обусловливали снисходительно-мягкий, дружеский тон полемики, вызывали у Герцена желание переубедить своего собеседника.

Живо интересуясь развитием современной общественной жизни, Тургенев видел рост нового поколения, поколения разночинцев, и сумел в «Отцах и детях» воплотить в образе Базарова некоторые его типические черты. Но в отличие от Герцена, Тургенев не мог правильно понять исторически прогрессивной роли этого поколения. Герцен, несмотря на личное раздражение, которое в нем вызывала критика со стороны представителей молодого революционного поколения, глубоко чувствовал, насколько оно ближе стоит к народу, к практической революционной работе, чем его предшественники — люди 40-х годов. В письме он упрекал Тургенева за то, что тот недостаточно подчеркнул в образе Базарова сильные стороны молодого поколения. «Ты сильно сердился на Базарова, — писал Герцен, — с сердцов карикировал его, заставлял говорить нелепости, хотел его покончить «свинцом», — покончил тифусом, а он все-таки подавил собою и пустейшего человека с душистыми усами, и размазню отца, и бланманже Аркадия (то есть Павла, Николая и Аркадия Кирсановых.— *Я. Э.*)... Мне кажется, что ты... остановился на дерзкой, сломанной, желчевой наружности, на плебейско-мещанском обороте, и, приняв это за оскорбление, пошел далее. Но где же объяснение, каким образом сделалась его молодая душа черствой снаружи, угловатой, раздражительной?.. Вообще, мне кажется, что ты несправедлив к серьезному, реалистическому, опытному воззрению и смешиваешь с каким-то грубым, хвастливым материализмом» (XV, 109). Герцен чувствовал юную силу нового революционного поколения гораздо лучше Тургенева, изобразивше-

го Базарова, в противоречии с исторической правдой, человеком не первой молодости, соединяющим резкость и непримиримость мысли с какой-то душевной усталостью. На самом деле в Добролюбове, в Серно-Соловьевиче и других революционерах-разночинцах жила много страдавшая, но страстная «молодая душа», лишь прикрытая «угловатой... наружностью». Этому поколению принадлежало будущее, независимо от того, как складывалась индивидуальная судьба его представителей. Когда Герцен не поддавался порывам раздражения, он хорошо понимал это. Тургеневу же Базаров представлялся фигурой хотя большой и сильной, но «все-таки обреченной на гибель» [1].

Спор вокруг «Отцов и детей» можно считать исходным пунктом полемики, которая получила свое развитие в «Концах и началах». Взгляд Герцена на поколение революционеров-разночинцев теснейшим образом связан с общим его воззрением на развитие русской жизни. Поколение революционеров-плебеев представлялось ему предвестием будущего соединения народа с передовой революционной наукой и культурой.

Народ и передовая русская революционная теория— таковы две силы, на соединение которых возлагал свои надежды Герцен. Именно здесь обнаруживались наиболее серьезные разногласия между ним и Тургеневым.

Тургенев умел создавать поэтические образы ярких, своеобразных людей из народа, но он не обладал революционно-демократической верой в историческую активность народных масс. Поэтому он недооценивал силу, самостоятельность и новаторский характер строившейся русской демократической культуры, что впоследствии особенно резко сказалось в «Дыме», в образе Потугина. С другой стороны, к западноевропейской культуре он подходил как западник и просветитель 40-х годов, для которого даже падение и обмельчание этой культуры, при сравнении с вековой отсталостью крепостнической России, казалось не очень существенным. Следует при этом оговорить, что «западничество» Тургенева 60-х годов всегда существенно отличалось от космополитизма таких людей, как Боткин и Корш. Образом Паншина в

[1] И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 11, Библиотека «Огонька», изд. «Правда», 1949, стр. 215.

«Дворянском гнезде» Тургенев доказал, что умел иронически относиться к таким дилетантам-космополитам. Тургенев не раз упрекал Герцена в славянофильстве, но по сути, для Тургенева наиболее спорным в воззрениях Герцена была вера его во всемирно-историческую, революционную роль русской крестьянской демократии — эту веру Тургенев называл славянофильской. Тургенев писал Герцену: «Народ, перед которым вы преклоняетесь, прежде всего консерватор и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе... что далеко оставит за собою все метко-верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию... Эх, старый друг, поверь: единственная точка опоры для живой, революционной пропаганды... меньшинство образованного класса в России» [1]. Тургенев, в отличие от Герцена, видел расслоение крестьянства, но не в этом заключалась суть его возражений. Это расслоение видел ведь и Щедрин, однако он не терял веры в будущую историческую активность народных масс. Будущее развитие России представлялось Тургеневу не в виде революционного процесса, путь русской культуры рисовался ему не в виде соединения передовой мысли, революционной интеллигенции с народом, а в форме мирного культурнического проникновения знаний, науки, искусства в толщу народа. «Роль образованного класса в России, — писал Тургенев, — быть преподавателем цивилизации народу» [2].

В «Концах и началах» собеседник Герцена бросает ему обвинение: «Вы имеете самое пагубное влияние на нашу молодежь, которая учится у вас неуважению к Европе, к ее цивилизации, в силу чего не хочет серьезно заниматься, хватает вершки и довольствуется своей широкой натурой». Он называет проповедь Герцена «неперебродившей социально-славянофильской брагой» (16; 193, 194).

Нетрудно заметить по характеру обвинения, что оно исходит от либерала-западника с его раздражением против соотечественника-демократа, отстаивающего самостоятельность, самобытность русской культуры.

На самом деле обвинение это было голословным и

---

[1] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 161, 162.

[2] Там же, стр. 160.

несостоятельным. В основном и главном Герцен прививал молодому поколению революционно-демократическую трезвость, стремление глубоко понять и оценить происходящую социальную борьбу.

Об этом с особенной силой говорит созданный в «Концах и началах» образ «Дон-Кихота революции» [1]. Тип этот возник в творчестве Герцена еще в годы, непосредственно следовавшие за поражением революции 1848 года. Уже тогда называл Герцен этот образ «практически смешным и щемящим сердце».

Имея в виду мелкобуржуазные, республиканские и просветительские иллюзии таких деятелей революции 1848 года, как Ледрю-Роллен, Герцен писал в 1851 году: «Наши рыцари времен Конвента и старой Горы, вскормленные историей девяностых годов и тогдашним «Монитером», видят в настоящем одно временное отклонение от истинных начал, они стараются возвратить человечество к 9 термидору и к конституции Сен-Жюста... Они повторяют слова, потрясавшие некогда сердца, не замечая, что они уже давно задвинуты другими словами... Они дерутся ржавыми оружиями своих врагов на изнуренной почве; их бьют, разумеется, оттого, что противники лучше владеют *своим* оружием и что они дома. И в то же время в довершение бедствий они столько же теряют и на своем поле. Их средства устарели, их знамена истаскались, и не всегда в боях, а больше на банкетах и демонстрациях».

«Дон-Кихот революции» для Герцена — образ комический и даже сатирический, несмотря на присущие ему положительные и симпатичные стороны. Французский работник, говорит Герцен, улыбается и качает головой, слушая разглагольствования Дон-Кихотов, ссылающихся на республиканские свободы и права, в то время когда буржуазия творит кровавые беззакония.

В противовес фразерству и мечтательным надеждам Дон-Кихотов революции, автор «Писем из Франции и Италии» призывает «остановиться. и призадуматься, а пуще всего изучить поглубже современность и перестать с легкомысленной суетностью уверять себя и других в

---

[1] Подробный анализ этого образа впервые был дан в дипломной работе В. П. Тараканової «Образ Дон-Кихота революции в творчестве А. И. Герцена» (МГУ, 1955).

фактах, которых нет, — и отворачиваться от тех, которые есть, да нам не нравятся» (5; 206, 207).

В «Концах и началах» образ Дон-Кихота революции приобретает еще более глубокое и многогранное содержание. Теперь для Герцена «Дон-Кихотами революции», правда трагическими, являются и такие деятели, как Маццини и даже Гарибальди.

С вождями итальянского освободительного движения Маццини и Гарибальди Герцена связывали личные дружеские отношения. При этом Герцен сделал все от него зависящее, чтобы сблизить Маццини с его республиканской программой национального освобождения и Гарибальди с его тенденцией поддерживать савойскую королевскую династию, вокруг которой происходило объединение Италии, и помочь им найти общий язык.

Однако Герцен видел и исторически обусловленную слабость этих выдающихся деятелей [1].

В «Концах и началах» Герцен, характеризуя Маццини как «энтузиаста, фанатика» и притом «гонителя скептицизма, социализма, материализма», отмечал, что для последнего освобождение Италии было «новым откровением», «новым искуплением мира», которое способно пересоздать Европу. И Герцен подчеркивает иррациональность этой веры Маццини: «Тут, само собою разумеется, нет места ни разбору, ни критике». Но именно потому, что Маццини в своей вере не опирался на ход общественной жизни, он, указывает Герцен, «не предвидел одного — именно Кавура... Кавур был прозаическим переводом его (Маццини. — *Я. Э.*) поэмы, он выполнил одну будничную часть мацциниевской программы» (16, 145). Италия, говорит Герцен, «покинула своего фанатического любовника Маццини, изменила своему мужу-геркулесу — Гарибальди, лишь только гениальный мещанин Кавур, толстенький, в очках, предложил ей взять ее на содержание» (16, 138).

А в постскриптуме к четвертому письму «Концов и

---

[1] Следует отметить, что сам Герцен был особенно близок к таким наиболее левым деятелям итальянского национально-освободительного движения, как Пизакане. Итальянские историки общественной мысли отмечают влияние в духе социализма, которое Герцен оказывал и на некоторых других итальянских революционеров (см. комментарий З. М. Цыпкиной в десятом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР).

начал», датированном 7 сентября 1862 года и написанном после неудачи августовской экспедиции, возглавленной Гарибальди и имевшей своей целью освободить Рим, находившийся под властью папы (во время этого похода Гарибальди был ранен пулей солдата итальянской монархии), Герцен писал: «Два последних Дон-Кихота революции, они безумно бросили перчатку целой части света, с верой в правое дело. С кучкой друзей они пошли на бой против военных поселений, называемых Францией, против армии, называемой Австрией, против французского департамента, называемого Италией, — безумно протестуя, во имя *родины и человеческого достоинства,* против штыков и военной дисциплины» (16, 166).

Герцену было чрезвычайно горько признать, что Маццини и особенно Гарибальди также становятся «Дон-Кихотами революции». Видя их идейную ограниченность, хотя и не понимая ее исторически обусловленный характер, Герцен вместе с тем всегда отдавал должное их революционной самоотверженности и смелости. Он сумел выразить в художественных образах сильную сторону деятельности Маццини и особенно Гарибальди — их любовь к родине и преданность делу, которому они посвятили всю свою жизнь. Судьбы Италии, итальянского народа были кровно близки Герцену, никогда не забывавшему о полных восторга и радости днях, пережитых в Италии в 1847—1848 годах.

В знаменитом очерке «Былого и дум» «Camicia rossa» («Красная рубашка») Гарибальди выступает как воплощение мощной, стихийной силы своего народа.

Обращаясь к Гарибальди и Маццини, Герцен писал в «Концах и началах»: «Прощайте, великие безумцы; прощайте, святые Дон-Кихоты!.. Много мечтаний, дорогих человеку, в которые он верил, вопреки уму, садятся с вами за небосклон, вы много унесете с собой; беднее будет жизнь без вас... пошлее... пока прозябнут новые идеалы новой весны... Вас помянут тогда; будущий Данте стихом, будущий Буонарроти резцом изваяют раненого льва под деревом, народного вождя, пораженного единоплеменной пулей в горах дикой Калабрии (то есть Гарибальди. — *Я. Э.*), и худого старика, изгнанника (то есть Маццини. — *Я. Э.*), сходящего с Альп в обетованную родину, не зная, что все кончено» (16, 166).

Но для Герцена тип «Дон-Кихота революции» охватывает не только таких крупных деятелей, как Маццини и Гарибальди. Он относит к нему, например, рядовых представителей того поколения, которое участвовало в событиях Великой французской революции, переживших свое время. Эти люди по-прежнему наивно веруют во всеспасающую силу старых революционных идеалов, давно оставленных позади жизнью. Таков «гражданин Спартакюс-Брютюс-жюниор, детски верный своему преданью и гордо держащий лавочку рукой, которой держал пику с фригийской шапкой» (16, 152). Таким образом, тип «Дон-Кихота революции» в этом его виде приобретает в интерпретации Герцена комические черты, что существенно и для понимания трагической разновидности его.

Но какую бы симпатию ни испытывал Герцен к некоторым из «Дон-Кихотов революции», с какой печалью он ни провожал бы их в могилу, он никогда не поддавался их иллюзиям и всегда противопоставлял им бесстрашие и пытливость изучающей и исследующей мысли.

Герцен требовал революционной веры, проверенной фактами действительности. Тургенев же, упрекавший Герцена в том, что он толкает молодое поколение к беспочвенной, славянофильского толка, идеализации народа, на самом деле противопоставлял «веру», «энтузиазм» — «анализу», работе передовой мысли с ее ясностью и трезвостью.

В этом и заключается смысл его известной речи «Гамлет и Дон-Кихот» (1860).

Тургенев не только защищает, но и идеализирует тип Дон-Кихота в целом, в то время как у Герцена такой снисходительности к нему нет. Глубоко чувствуя трагизм таких людей, как Гарибальди, Герцен вместе с тем видел ясно и то, что связывало «Дон-Кихота революции», как представителя уходящих идеалов, с сервантесовским сатирическим героем.

Тургенев не может отрицать того, что Дон-Кихот «положительно смешон», но он противопоставляет при этом «комическую оболочку» этого образа сокрытому в нем смыслу [1].

---

[1] И. С. Тургенев, Соч., т. XII, Гослитиздат, 1933, стр. 201—202.

Для Тургенева Дон-Кихот выражает «веру прежде всего», Гамлет же представляет собою «анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье» [1].

Не может вызывать сомнений то, что в свое истолкование образов Дон-Кихота и Гамлета Тургенев вкладывал злободневное содержание. Речь его взволнованна и страстна, это выступление не историка литературы, а одного из виднейших деятелей умственного движения эпохи.

Что же имел в виду Тургенев?

Упрощенным представляется мне уже ставшее традиционным сближение того Гамлета, о котором здесь говорит Тургенев, — с лишним человеком, а Дон-Кихота через Инсарова — чуть ли не с революционерами 60-х годов [2].

Смысл речи совсем в ином.

Тургенев пытался повлиять на характер складывающегося революционного поколения. Он стремился привить последнему энтузиазм, веру, мягкость, мечтательность и предостеречь его от увлечений беспощадным анализом, идейной резкостью, ироническим складом ума. В Гамлете и проступают черты того сурового, резкого и аналитического ума, который оттолкнет Тургенева в Базарове.

Тургенев не увидел того, что революционное поколение 60-х годов в лучших своих представителях сочетало революционную веру с последовательностью мысли и анализа.

В своем истолковании Дон-Кихота Тургенев — просветитель, во многом остановившийся на том, к чему он пришел еще в 40-х годах, — резко отличается от революционного демократа Герцена.

В «Концах и началах» (в седьмом письме) Герцен выводит и своего старого знакомца Евгения Николаевича, героя повести «Поврежденный». Если склад мыслей, раздумий и стремлений Герцена противостоит тщетным надеждам и упованиям Дон-Кихотов революции, то, с другой стороны, он резко отличается также от ожесточенного и бесплодного скептицизма поврежденного.

Отчаяние Евгения Николаевича еще более прогресси-

---

[1] И. С. Тургенев, Соч., т. XII, Гослитиздат, 1933, стр. 199, 200.
[2] См. М. Клеман, И. С. Тургенев, Гослитиздат, 1936, стр. 113.

ровало за прошедшие десять лет. Он пришел к выводу, что люди слишком медленно «вылечиваются от истории», то есть недостаточно быстро идут к «покою», который он проповедовал. Он считает бессмысленным новый подъем итальянского национально-освободительного движения, свидетелем которого он стал, и хочет бежать в Америку, в Техас. По его словам, «люди... несутся в болото», он считает безнадежными и потерпевшими окончательное фиаско «лучшие мечты» — «святейшие стремления» передовой мысли (16; 189, 191), и смеется над «кротовой работой» человечества. Герцен же, кончая это письмо «Концов и начал», говорит, что «надобно набрать... свежие силы на кротовую работу — лапы чешутся» (16, 192), на постоянную, неутомимую, но пока еще подземную, «кротовую» работу русского революционера.

Внутренний драматизм «Концов и начал» и определяется сложной логикой идейных связей и отношений, симпатий и конфликтов, исканий «начал» и сопротивления защитников «концов».

Самая форма «Концов и начал» с ее отступлениями в сторону, мотивированными характером дружеских писем, помогла придать этому произведению предельную идейно-художественную насыщенность. Эта форма вмещала, по выражению Герцена в «Письмах к будущему другу», «всякую всячину» (18, 64).

В четвертом письме автор «Концов и начал» упоминает, что он «за отступления и за скобки» всего больше любит «форму писем — и именно писем к друзьям, — можно, не стесняясь, писать, что в голову придет» (16, 158).

Мы как бы погружаемся здесь в сложное течение мыслей лирического «я» Герцена во всем богатстве и силе его мировосприятия и интеллектуальной энергии.

Как мы видели, лиризм свойствен в той или иной степени всем жанрам прозы Герцена. Но в «Концах и началах» его роль глубоко своеобразна. Лиризм определяет собой *основной* характер этого произведения. Личность Герцена ощущается в «Концах и началах» значительно более многосторонне, нежели, например, в «Письмах из Франции и Италии» и «С того берега» [1].

---

[1] О лиризме «Концов и начал» по сравнению с «Былым и думами» см. в главе, посвященной последнему произведению.

Многогранен язык «Концов и начал». Говоря о том, что господство мещанства, буржуазии влечет за собой «понижение всего нравственного быта», «суживание ума, энергии», «постоянное мельчание жизни», Герцен следующим образом характеризует собственный жизненный и политический опыт: «Мне... место в анатомическом театре досталось славное и возле самой клиники; не стоило смотреть в атлас, ни ходить на лекции парламентской терапии и метафизической патологии; болезнь, смерть и разложение совершались перед глазами.

Агония Июльской монархии, тиф папства, преждевременное рождение республики и ее смерть, за февральскими *сумерками* Июньские *дни,* вся Европа в припадке лунатизма, сорвавшаяся с крыши Пантеона в полицейскую лужу! И потом десять лет в обширнейшем музее патологической анатомии — на лондонской выставке образцов всех прогрессивных партий в Европе, рядом с туземными образцами всех консерватизмов со времен иудейских первосвященников до шотландских пуритан. Десять лет!» (16, 148).

Герцен использует здесь естественнонаучную лексику для того, чтобы подчеркнуть то отвращение, которое у него вызывает падение буржуазной Европы. А та горячая эмоциональная окраска, которую здесь в устах Герцена эта лексика приобретает, подчеркивает отличие его умонастроений от того холодно-иронического скептицизма, который издавна вызывал у него отпор. Научная лексика прихотливыми переходами сплетается с лексикой, характерной для поэтического словаря, особенно когда Герцен выражает свои чаяния и мечты. «Я жду, надеюсь... бывает же иногда и исключение... будто что-то брезжит...» (16, 149) — пишет он тут же.

Герценовская лирическая проза была очень емкой. Она легко вмещала отклики на текущие события и факты политической жизни[1]. А вместе с тем течение последней не могло не оказывать своего влияния на замысел Герцена и его осуществление.

Герцен опубликовал этот цикл, письмо за письмом, в 1862 году (лишь последнее письмо датировано 15 января 1863 года), и еще не предвидя приближавшегося

---

[1] О герценовских эпистолярных циклах 60-х годов см. статью С. Д. Лищинер в сб. «Проблемы изучения Герцена».

торжества реакции. Когда же последняя в России наступила, когда «дым сожженных сел и городов» заволок горизонт Польши, тогда Герцену стало ясно, что сейчас в этой обстановке ему не удастся убедительно «означить начала» будущего. «Строй мыслей изменился: события не давали ни покоя, ни досуга — они принялись за свои комментарии и за свои выводы» (16, 129).

Но Герцен по-прежнему оставался непоколебимо убежденным в том, что реакция бессильна искоренить революционные традиции, остановить духовный рост народа. В предисловии к «Концам и началам», датированном 1 августа 1863 года, он заявлял: «Зерна, лежащего в земле, эта буря не вырвет и не затронет, а, пожалуй, еще укрепит его. Восходящей силе все помогает — преступления и добродетели; она одна может пройти по крови, не замаравшись, и сказать свирепым бойцам: «Я вас не знаю, — вы мне работали, но ведь вы работали *не для меня*» (16, 130).

III. ФИЛОСОФСКИЕ ПОЗИЦИИ ГЕРЦЕНА И ЭВОЛЮЦИЯ ЕГО ВЗГЛЯДОВ НА ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ *(1861—1867)*

«Немного есть на свете зрелищ, более печальных и душераздирающих, чем старческое упрямство, которое отворачивается от истины — вследствие умственной усталости, вследствие боязни изменить уже сложившееся мнение» (20, 51), — писал Герцен в «Пролегоменах». Ему самому до последних дней жизни ничто не было более чуждо, чем духовная усталость.

Для Герцена, как для писателя, характерно, что он никогда не издавал свое собрание сочинений, хотя, разумеется, имел к тому полную возможность. Он переиздавал только те свои произведения, которые в данной общественно-политической и идейной обстановке обладали актуальным идейным значением. Поэтому, например, после 1858 года Герцен не выпускал вновь «С того берега» и «Письма из Франции и Италии». Никогда не переиздавал Герцен и «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы». Он всегда так решительно шел вперед, что относился даже к лучшим своим старым

работам с чувством неудовлетворенности. Так, в письме к старшей дочери от 21 апреля 1867 года Герцен говорит: «Есть у вас мои «Письма об изучении природы» и «Дилетантизм в науке»? —могу прислать. Попробуй. Разумеется, я во многом тогда ошибался» [1].

За истекшие два десятилетия философская мысль Герцена значительно окрепла и возмужала. Его отношение к материализму и идеализму объективно определилось еще в «Письмах об изучении природы», но только теперь он прямо объявляет себя сторонником материализма. Не менее важно и то, что в статьях 60-х годов философские проблемы ставятся в неразрывной связи с политическими. В полемике на философские темы Герцен теперь ясно видит отражение политической борьбы. Свидетельство тому — «Письма к противнику» (1864), полемически направленные против славянофила Ю. Самарина.

Для понимания некоторых особенностей этих статей необходимо вновь коснуться взаимоотношений Герцена и славянофилов.

В начале 40-х годов Герцен ценил постановку славянофилами вопроса о своеобразии русской истории, о самостоятельности русской культуры, их интерес к русской народной жизни, их недовольство произволом царской бюрократии и крепостничеством. Однако, порой колеблясь, Герцен шел тогда к полному идейному и личному с ними разрыву как с пропагандистами смирения и покорности перед самодержавием и «поповщиной. В 50-х годах между славянофилами и Герценом намечается некоторое сближение. Оно объясняется тем, что Герцен, под влиянием пережитого духовного краха, начинает ценить и критику славянофилами западноевропейского буржуазного порядка и в особенности их убеждение в том, что Россия благодаря общинному порядку сумеет избежать зол буржуазного строя. Тогда Герцен был склонен забыть реакционную сущность славянофильской утопии.

С другой стороны, славянофилы, занявшие в середине 50-х годов по отношению к проведению крестьянской реформы позиции, очень близкие к тем, на которых находились либералы-западники, так же как эти послед-

[1] «Литературное наследство», т. 64, стр. 612.

ние, нуждались в «Колоколе» как средстве давления на правительство и крепостников.

В 1859 году, то есть в период, когда Иван Аксаков и Юрий Самарин были деятельными информаторами и сотрудниками изданий Герцена, последний следующим образом расценивал свои с ними разногласия в 40-х годах и происшедшие с тех пор изменения: «Мы смотрели на них с негодованием и были правы: мы искали *свободы совести;* они, исполненные раскольнической нетерпимости, проповедовали православное рабство. Мы не понимали (да и они сначала сознательно не понимали), что у них, как у староверов, под археологическими обрядами бился живой зародыш, что они, по-видимому защищая один вздор, в сущности отстаивали в уродливо церковной форме веру в *народную жизнь!*» (14; 158—159). Герцен ошибочно пытался убедить себя в демократическом и социалистическом характере взглядов славянофилов. Поэтому он и заявлял: «Мы... стали гораздо ближе к московским славянам (то есть славянофилам. — *Я. Э.*), чем к западным старообрядцам» (14, 160), понимая под последними западников-космополитов, таких, как Боткин, например, преклонявшийся перед социальным порядком и культурой буржуазной Европы.

Следует отметить, что в 1857 году и Чернышевский указывал на те же положительные стороны воззрений славянофилов. Он писал: «Когда мы подумаем о том, до какой степени у многих из так называемых западников темны еще понятия о том, что хорошо и что дурно в Европе, и как до сих пор очень многим кажется лучшим именно то самое, что есть худшего в Европе, то должны будем признаться, что критика европейского быта, которую славянофилы, прямо или через вторые руки, заимствуют из лучших современных мыслителей (то есть социалистов.— *Я. Э.*), далеко не бесполезна для очищения наших понятий о Европе»[1].

Чернышевский, критикуя реакционные стороны славянофильства, его «произвольные фантазии», указывал вместе с тем, что «есть в славянофильстве другая сторона, которая ставит славянофилов выше многих из самых серьезных западников».

Этой стороной Чернышевский считал взгляд славяно-

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 727.

филов на «общинное пользование крестьянами землею» как на средство «ограждения нашего национального благосостояния от этих испытаний», то есть испытаний капиталистического порядка.

Эти черты славянофильских воззрений Чернышевский противопоставляет взглядам тех западников, которые «воображают, что, например, Англия или Франция в настоящее время очень счастливые земли».

Все сказанное показывает, насколько Герцен и Чернышевский в 50-х годах были близки друг к другу в оценке славянофилов.

Но Чернышевский раньше Герцена стал разоблачать реакционную сущность славянофилов, их панславизм, а в 1861 году он уже резко полемизировал с ними как с идейными врагами, говоря о «славянофильских фальшах» [1].

Несколько позднее, в период открытых выступлений славянофилов на стороне правительства, Герцен также пришел к необходимости окончательного разрыва с ними и назвал полемику с Юрием Самариным «Письмами к противнику». Тем не менее, Герцен считал целесообразным встречи с ним, личные споры, беседы и переписку. И это в то время, когда Герцен порвал все и всяческие личные отношения с Кавелиным, Чичериным и другими. Странным может показаться и то, что и Самарин, опять-таки в отличие от Кавелина и Боткина, не уклонялся от встреч с Герценом, от дискуссий и переписки.

Здесь мы сталкиваемся с тем внешним противоречием в поведении некоторых славянофилов, сущность которого, со свойственной ему проницательностью и беспощадностью, вскрыл Щедрин в 1876 году в письме к Анненкову по поводу смерти Самарина: «Для меня всегда казалось загадочным, как это человек пишет антиправительственные брошюры, печатает их (то есть печатает за границей.— *Я. Э.)* и его оставляют фрондировать на покое. Не оттого ли это, что он на той же почве стоял, как и само правительство, и даже, пожалуй, похуже?» [2]

Славянофилы действительно рассматривались правительством Александра II как надежные помощники

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 338.
[2] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII, стр. 357.

самодержавия и православия. Поэтому-то царское правительство и терпело их фрондерские выходки. С другой стороны, такая своеобразная «свобода» поведения чрезвычайно устраивала славянофилов, давала простор для демагогии. Благодаря этому они казались кое-кому окруженными ореолом благородства и независимости и т. п. Естественно, что Самарин мог позволить себе встречаться с Герценом, вступать с ним в споры, не опасаясь каких-либо преследований со стороны царского правительства. А такое его поведение до известной степени вводило в заблуждение редактора «Колокола», внушало необоснованное уважение к «идейности» и «принципиальности» противника. К тому же Самарина, в отличие от Кавелина или Боткина, Герцен не имел оснований обвинять в измене прежним убеждениям. Сказывалась, по выражению Герцена, и та «неискореняемая память сердца» (19, 239), которая заставляла его помнить о близости, существовавшей между ним и Самариным в первой половине 40-х годов. Герцен еще и тогда излишне снисходительно относился к Самарину, ум которого он ценил. Белинский в «Ответе «Москвитянину» гораздо правильнее определил самую суть этого человека — лощеного барина, чуждого народу; холодный ум Самарина совершенно лишен был страстной, искренней убежденности. Самарин был лишь политиканом, кровно связанным с помещичьим лагерем.

Таковы были взаимоотношения Герцена и Самарина, уяснение которых необходимо для правильного понимания «Писем к противнику».

Самарин в письмах к Герцену, так же как и Тургенев, обвинял его в том, что он увлек молодое поколение на ложный путь. Но если Тургенев обвинял Герцена в распространении славянофильских взглядов и пренебрежительном отношении к западноевропейской культуре, то Самарин ставит ему в вину пропаганду материализма и революционно-демократических воззрений. Для Самарина материализм это — мировоззрение, иссушающее душу и мозг, влекущее к безусловному подчинению «гнету вещественной необходимости», убивающее свободу воли, всякую человеческую активность и духовное творчество. Разумеется, Самарин клевещет на материализм, всячески огрубляет его и тем самым пытается доказать его несостоятельность.

Герцен полемизирует с Самариным в чрезвычайно сдержанной форме, избегая резкостей, как бы сознательно умеряя свою иронию, он даже пытается «указать, в чем мы согласны», и видит это общее в любви к русскому народу, в *«желании деятельно участвовать в его судьбах»* (18; 275—276). Но чем дальше Герцен развивает свою аргументацию, тем очевиднее приближается он к выводу, что отношение славянофилов к русскому народу является идеалистическим, ложным, реакционным. В полемике с Тургеневым Герцен отстаивал свою веру в русские народные массы, в их творческие силы, в их способность по-революционному изменить русскую жизнь, ибо его оппонент, чувствовавший силу и красоту русской культуры, литературы, языка, считал хранителями, носителями этих великих ценностей по преимуществу лучших представителей дворянской интеллигенции и сомневался в созидательной мощи и революционных способностях народных масс. В полемике с Самариным Герцен отстаивает в первую очередь материалистический, революционный характер растущей русской демократической культуры, показывая, что передовым строителем этой культуры является молодая революционно-демократическая интеллигенция, кровно связанная с народом и стоящая к социальной практике гораздо ближе, чем ее предшественники.

Герцен заявляет, что именно Самарин, как «все идеалисты и теологи», создает себе ложное произвольное представление о России: «Вы строите мир a priori, вы знаете, какой он *должен быть* по откровению, — ему же хуже, если он не такой, какой должен быть!» (18, 280). «Для вас, — пишет Герцен, — русский народ преимущественно народ *православный,* т. е. наиболее христианский, наиближайший к *веси небесной»* (18, 276). Этим идеалистическим и поповским представлениям Герцен противопоставляет материалистический взгляд на природу и свое убеждение в том, что Россия вступила в эпоху, когда «все кругом колеблется, изменяется», когда неизбежен «социальный переворот — крутой или идущий исподволь, нарастающий из жизни народной или вносимый в нее теоретической мыслью» (18, 277).

Герцен с полным основанием утверждает, что эта его уверенность покоится на фактах русской жизни: «Не мы перенесли на народ русский свой идеал и потом, как

это бывает с увлекающимися людьми, сами же стали им восхищаться, как находкой. Мы просто встретились. События последних годов и вопросы, возбужденные крестьянским делом, открыли глаза и уши слепым и глухим. С тех пор как огромная северная лавина двинулась и пошла, что б ни делалось, даже самого противуположного в России, она идет от одного социального вопроса к другому» (18, 277).

Подлинной выразительницей тенденции русского народного развития Герцен считает молодую революционно-демократическую интеллигенцию 60-х годов с ее боевым характером и материалистическим мировоззрением. Самарин упрекал Герцена в том, что под его влиянием молодежь пошла вспять, отдалилась от народа, потеряла духовную силу и свежесть, растеряла культурные ценности. Герцен фактами опровергает эти пустые реакционные фразы. В свое время, в конце 40-х годов, в статье «Россия» Герцен, возлагая свои надежды на дворянскую интеллигенцию, подчеркивал, что только она имела время и досуг для усвоения культурного богатства прошлого и для творческой деятельности. Теперь Герцен ясно видит слабые стороны культурного развития 30—40-х годов: «Нам учиться был страшный досуг. Мы кроме книги, ни за что и не брались, мы удалялись от дела, оно было или так черно, или так невозможно, что не было выбора; люди, как Чаадаев, как Хомяков, исходили болтовней, ездили из гостиной в гостиную спорить о богословских предметах и славянских древностях. Мы все были отважны и смелы только в области мысли. В практических сферах, в столкновениях с властью являлась большею частию несостоятельность, шаткость, уступчивость. Хомякову было за сорок лет, когда ему Закревский велел обриться, и он обрился. Бывши под следствием в 1834 году, я скрывал свои мнения, мои товарищи тоже» (18, 284).

О новом же революционном поколении Герцен пишет, что оно «стало складываться с большим мужеством, с большей выдержкой и с большей готовностию на бой» (18, 285). Герцен особенно ценит в этом поколении его близость к жизни, его способность найти революционное *дело,* пути революционной практики. Возражая Самарину, он заявляет: «Нечего... бросать каменья в юношей, рвущихся на бой, за то, что они по-

шли слишком задорно и, главное, не дочитали своих учебников» (18, 283). Герцен сравнивает в этом отношении революционно-демократическую молодежь 60-х годов с поколением 1812 года, которое шло на войну и на подвиги, не окончив учения.

Герцен настойчиво подчеркивает материалистический характер мировоззрения нового поколения, его интерес к естественным наукам. «Изучение филологии, *классическое* образование составляли прежде все образование... теперь больше занимаются естественными науками» (18; 283—284). Герцен встречался с представителями этого поколения, сочетавшими глубокие знания в области избранной ими специальности, естественных наук, с боевыми, революционными убеждениями. Так, он ставил в пример своему сыну, все более замыкавшемуся в рамках своей специальности физиолога,— Борщова, будущего известного ботаника. Герцен писал сыну: «Знакомство с такими людьми, уже сверх всего остального, важно для тебя и опровержением того, что такое молодая Россия... Борщов с головы до ног натуралист, а сколько страсти к общественному делу» (X, 303). В этой новой культуре, все более проникавшейся революционно-демократическим и материалистическим духом, Герцен видел органическое продолжение лучших традиций русской революционной мысли.

И в «Письмах к противнику», и в других своих работах 60-х годов Герцен решительно встал на защиту того мировоззрения, которое исповедовала молодая революционно-демократическая разночинская интеллигенция. Отводя попытку реакции заклеймить взгляды молодых революционеров и материалистов кличкой «нигилизм», Герцен писал в «Новой фазе в русской литературе» (1864): «Можно говорить в известных пределах о трагическом нигилизме Шопенгауэра, этого философа смерти, или об эпикурейском нигилизме бессердечных созерцателей людских страданий... Но говорить о нигилизме молодых людей, пламенных и преданных, лишь прикидывающихся отчаявшимися скептиками, это — грубая ошибка» (18, 216).

Но когда термин «нигилизм» вошел в обиход, приобрел права гражданства и с вызовом был принят на свой счет молодым поколением, глубоко переосмыслившим его, Герцен так разъяснял истинный смысл этого

понятия: *«Нигилизм* в серьезном значении — *наука и сомнение, исследование вместо веры, пониманье вместо послушанья»* (19, 198). Это мировоззрение Герцен и защищает в «Письмах к противнику» от поверхностной и демагогической критики Самарина.

Еще в «Письмах об изучении природы», обосновывая материалистическое воззрение на природу, Герцен подчеркивал активную действенную роль сознания. Затем в самый острый момент пережитого им духовного краха он глубоко сомневался, сможет ли передовая мысль в обстановке социальных катастроф сыграть действенную роль. Но чем дальше, тем больше крепла уверенность Герцена в том, что передовое сознание способно именно на основе научного, материалистического изучения действительности и народной жизни ускорить развитие ее прогрессивных тенденций.

Самарин же, нарочито извращая сущность материалистических воззрений Герцена, пытаясь свести их к дешевому вульгарному материализму, утверждал, что, с точки зрения последнего, человеческая личность «расплывается в микрокосме. Вместо личности остается безразличная среда, в которой совершается игра стихийных сил, ей не подвластных», и где может господствовать лишь грубая сила. Впрочем, Самарин должен был сознаться, что материализм Герцена является мощным революционизирующим «тараном» [1].

В противовес Самарину Герцен показывал, что *именно и только* материалистическое мировоззрение в состоянии утвердить подлинную ценность человеческой личности в ее способности «дорожить *временной* жизнью своей и чужой».

Ссылается при этом Герцен и на французских «материалистов 93 года», и на русских материалистов и революционеров 60-х годов, к которым причисляет самого себя (мы... будучи «материалистами»), оговаривая, правда, при этом, что слово это «не выражает дела и очень школьно» (18, 281). Однако Герцен считает необходимым подчеркнуть именно материалистический характер своего мировоззрения для того, чтобы противопоставить его идеалистическим и религиозным взглядам своего противника.

[1] Цит. по Собр. соч. А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, т. XVII, стр. 320, 322.

Конечный политический вывод «Писем к противнику» заключался в том, что самодержавие преследует молодое поколение и его материализм «каторгой, казнями», а славянофилы — «диатрибами», литературными средствами. Письма вскрывают неразрывную связь, существующую между политическими и философскими позициями славянофилов: их особенно сердит «то *учение,* которое легло в основу нового направления...», то есть материализм. «Не гоните ли вы, — иронически спрашивает далее Герцен, — в молодом поколении *материализм* так, как гоните в поляках *католицизм?»* (18, 288).

Герцен недвусмысленно намекает здесь на то, что славянофилы готовы травить все и всех, если только видят в этом силы, враждебные самодержавию.

Он указывал Самарину, что славянофилы оправдывают разгул реакции, происходивший тогда в России,— «казни в Польше... террор в России», что они защищают «дикую расправу правительства» (18, 275).

Укрепление в 60-х годах материалистических взглядов Герцена сказалось, естественно, и на понимании им закономерностей и перспектив исторического развития. Более оптимистически, чем раньше, Герцен начинает расценивать теперь влияние передовых общественных сил, передовой мысли на народные массы, на переделку действительности.

На Герцена не могло не произвести впечатление то «оживление демократического движения в Европе»[1], которое Ленин считал одним из характерных признаков революционного подъема начала 60-х годов. Уже война Италии и Франции с Австрией заставила Герцена в 1859 году высказать уверенность в том, что «Европа не возвратится на ту *мель,* с которой война ее стащит и на которой она застряла с 1849 года» (14, 100). Однако и теперь будущее представлялось Герцену крайне неясно. Его воззрения эволюционировали постепенно.

О новом этапе идейной эволюции Герцена свидетельствует очерк «Роберт Оуэн», написанный в самом начале 1861 года и являющийся одной из глав «Былого и дум». Он заявляет здесь, что «стремление людей к более гармоническому быту (то есть к социализму. — *Я. Э.*) совершенно естественно, его нельзя ничем остановить,

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26.

так, как нельзя остановить ни голода, ни жажды» (11, 250).

Герцен никогда не сомневался в глубоком влиянии русских передовых людей на судьбы своего народа, в целесообразности своей практической деятельности на пользу России. Но, пессимистически расценивая будущее Западной Европы, Герцен долго не решался дать обобщающую формулу, определяющую активную роль передовых людей в историческом развитии. Такое обобщающее решение этого вопроса Герцен впервые после июньских дней намечает в «Роберте Оуэне».

Герцен не может еще указать в Западной Европе какие-либо массовые социальные силы, которые бы могли явиться опорой для революционного сознания, он не намечает каких-либо конкретных путей революционной деятельности. Но теперь для него революционная активность передового человека обязательна, как принцип общественного поведения. Герцен пишет: «Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам; она, продолжая свое дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения — тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: «Общее благосостояние или смерть!», чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыть себе бесконечные фарватеры» (11, 247). А концовкой, особо выделенной Герценом, служат слова: «Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

— *Как от кого?.. да от НАС с ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!*» (11, 253).

Любопытно, что эта концовка с ее призывом к революционной активности послужила эпиграфом для революционной прокламации «Молодая Россия», несмотря на то что самый текст прокламации содержал резкую критику либеральных колебаний Герцена, его «отвращения... от насильственных переворотов».

Укрепление веры Герцена в революционную активность передовых людей, народного авангарда, ярко от-

ражается также в статье «Great Western» (1863). Вдохновленный героизмом польских повстанцев, Герцен заявляет: «Много может воля человека, его сила страшна, ей почти нет предела, стоит ей быть чистой, беззаветно отдающейся делу и чувствовать внутри себя океанные течения... Всякий имеет право звать с собой ближних и дальних. Не пойдут за тем, кто ошибся *в деле,* не пойдут за тем, кто ошибся *в себе.* Но силен будет голос того, у кого в сердце глубоко и громко звучат те ноты, которые непреодолимо волнуют его окружающие массы... Кто не боится схватиться за руль, тот и поведет корабль. В этой-то отваге та сила поляков, перед которой русская императорская власть осунулась, армия сделалась разбойничьей шайкой, великий князь малым князем, прусский король квартальным надзирателем...» (17; 83—85).

Позднее в 1866 году Герцен писал: «События столько же создаются людьми, сколько люди событиями; тут не фатализм, а взаимодействие элементов продолжающегося процесса, бессознательную сторону которого может изменять сознание... Если десять человек понимают ясно, чего тысячи темно хотят, тысячи пойдут за ними» (19, 174). Правда, Герцен допускает здесь, что эти «десять» могут повести и не «к добру». Тем не менее постепенное, хотя и медленное возрастание оптимизма, веры Герцена в то, что передовая мысль способна возглавить народные массы, несомненна.

В этой связи примечательно, что в «Письмах к путешественнику» Герцен указывает на необходимость превратить политическую экономию «из эмпирического свода рассуждений и наблюдений, не смеющего касаться до святых твердынь существующего, в экономическую науку, посягающую на все» (18, 363), то есть в теорию социалистического преобразования общества. Вообще Герцен все лучше начинает уяснять себе, что критерием правильности революционной теории является общественная практика. В статье «1831—1863» Герцен указывает, что «никакая общественная теория не доходит до полноты сознания прежде начала осуществления. В приложении она узнает свои односторонности, выполняет их, отрекается от них» (17, 108).

Постепенно изменяются и взгляды Герцена на перспективы буржуазного развития в различных странах

Западной Европы. Его прогнозы приобретают более конкретно-исторический характер, чем в пору духовного краха, отразившегося в книге «С того берега», когда буржуазный порядок представлялся ему какой-то длительной остановкой в развитии человечества. Такие пессимистические предположения, правда, возникали у Герцена и в 60-х годах, но теперь, даже высказав такого рода гипотезу, Герцен уже не настаивал на ней, не пытался ее подробно аргументировать, видя в ней лишь одну из ряда возможностей.

Вместе с тем критика Герценом буржуазного строя отнюдь не теряла своей непримиримости.

В статье «Порядок торжествует» Герцен отмечает, что в буржуазном государстве «теоретически освобожденная личность... стала лицом к лицу перед правительственной силой, опертой на государстве и церкви». Для Герцена при буржуазном порядке «права лица и мысли остаются приобретением мифическим». Между этими правами и их осуществлением на практике лежит «непереходимая пропасть, *бедность и невежество*».

Герцен все яснее видел буржуазный характер северо-американского государства. В статье «Mortuos plango» Герцен указывает: «До Северо- и Юго-Американских Штатов было рабство и крепостное состояние, неправая война и неправое стяжание, но этот цинизм, эта наглость, эта преступная простота, это бесстыдное обнажение — это ново и принадлежит Америке» (16, 9).

В «Роберте Оуэне» Герцен вновь возвращается к характеристике общественного быта Соединенных Штатов: «Преследования и гонения в Южных штатах, поставивших на своем знамени слово *Рабство,* так, как некогда Николай ставил на своем слово *Самодержавие,* за образ мыслей и слова не уступают в гнусности тому, что делали неаполитанский король и венский император. В Северных штатах «рабство» не возведено в догмат религии; но каков уровень образования и свободы совести в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтобы заниматься вертящимися столами, постукивающими духами,— в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квекеров!» (11, 227).

Отрицание буржуазного строя вело Герцена к настойчивым раздумьям о путях строительства нового общественного порядка. Естественно, что при этом Герцен

сталкивался с вопросом, какую роль в этом строительстве должны играть государственные элементы и методы. Со свойственным ему реализмом мышления Герцен не мог подойти к этому вопросу с нигилистической, анархической упрощенностью Бакунина, проповедовавшего упразднение государства.

В «Роберте Оуэне» Герцен говорил о возможности «разумного и свободного развития государственного», которая, казалось, была предоставлена Северной Америке. Он горячо сочувствовал борьбе Северных штатов против рабовладельческого Юга. Но Герцен понимал, что гражданская война «показала не только мощь Америки, но и ее слабые стороны» (18, 349).

Герцен еще не мог — так, как он это сделает позднее в письмах «К старому товарищу»,— осознать коренное различие между государством господствующих классов и государством, в котором власть будет принадлежать народу, пролетариату. Тем не менее, проблема использования государства для революционного переустройства общества стоит перед ним неотступно. Он уже выдвигает социалистическое по своему духу требование *«обеспечения и воспитания»* личности (19, 185), противопоставляемое ее формальным правам в буржуазно-демократическом обществе.

В «Концах и началах» Герцен заявляет: «Знаем ли мы, как выйти из мещанского государства в государство народное, или нет — все же мы имеем право считать мещанское государство односторонним развитием, уродством» (16, 147). Пессимизм мешал еще Герцену связать вопрос создания «народного государства» с революцией народных масс, с ролью пролетариата.

Герцен понимал, что «пессимизм — большое несчастие», но побороть свои собственные пессимистические воззрения ему было чрезвычайно трудно. Поэтому-то в «Концах и началах» Герцен высказывает, как допущение и возможность, что «работник всех стран — *будущий* мещанин» (16, 138), то есть что развитие человечества на длительное время остановится на буржуазном этапе.

Аналогичную мысль Герцен развивает и в рассказе-фельетоне «Трагедия за стаканом грога», опубликованном в 1864 году. Он рисует здесь образ опустившегося слуги, который из «напыщенного лакея» аристократи-

ческого отеля превратился в «скромного полового» пригородного трактира. В этом человеке нет ни малейшей попытки протестовать против буржуазного порядка, одной из жертв которого он является. Он лишь стыдится своего падения. И Герцен спрашивает: «Знаете ли вы, что значит везде, и особенно в Англии, слово нищий beggar, произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи... всякой защиты, лишение всех прав... даже права просить помощи у ближнего». Эксплуатируемые буржуазией, гибнущие люди из народа предстают здесь перед Герценом в образе травы, которая «грядой падает, подрезанная косой» (17, 266).

Обрисованный им нищий не способен выйти за пределы лживой морали губящего его буржуазного общества. Он вызывает в памяти Герцена *«великих нищих»* (17, 266) — деятелей буржуазной демократии, эмигрантов, оказавшихся нищими идейно, морально и, так же как этот нищий, бессильных.

За пессимизм, за отсутствие веры в творческие силы простого народа Запада, за сомнения в росте исторической активности многомиллионных народных масс Герцена критиковал Чернышевский.

В статье «О причинах падения Рима» (1861) Чернышевский писал, обращаясь к Герцену: «Нынешнее состояние массы в самых передовых странах достаточно ручается, что она до сих пор почти вовсе еще не жила исторической жизнью, а продолжала искони веков дремать младенческим сном, каким дремали ваши любимые молодые страны... лишь самая ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны могла истощить свои силы, а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще... Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить» [1].

Чернышевский, как то показывает «Пролог», связывал возможность революции в России с будущим революционным подъемом в Западной Европе.

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 665, 666.

Скептицизм ограничивал кругозор Герцена, мешал правильно оценивать явления жизни, и он долгое время не видел, что «...рабочий класс *стихийно* влечется к социализму»[1].

Однако Герцен уже считается с возможностью того, что в будущем появятся «иные силы, иные элементы, которых мы не знаем и которые перевернут... судьбы человечества» (11, 232). Он характеризует буржуазный строй как «огромный успех», по сравнению с феодальным, и заявляет, что нет гарантий того, что русские и другие «народы самые поэтические» «не свернут на буржуазную дорогу» (11; 251, 252). Он считает теперь, что на мещанстве «застрянут» лишь «некоторые части» человечества.

В последнем письме «Концов и начал» (15 января 1862 г.) Герцен высказывает предположение, что, быть может, «Россия... *пройдет* мещанской полосой», что, быть может, и «народы европейские сами перейдут к другой жизни», то есть к социализму (16, 196).

Этот вывод чрезвычайно многозначителен. Чем дальше, тем чаще Герцен вынужден был отмечать в русском социальном развитии такие черты, которые роднили последнее со столь ненавистным автору «С того берега» буржуазным порядком Западной Европы.

Как мы отмечали, еще в 1853 году Герцен указывал, что «развитие промышленности фабрик и самое распространение политической экономии, *переложенной на российские нравы,* дали тысячу новых средств употреблять крестьян на пользу. Помещик, «патриархальная глава общины», сделался мало-помалу из вельможи фабрикантом, плантатором, торговцем белых негров» (12, 114).

Так писал Герцен во времена Николая I, до крестьянской реформы. В освобождении крестьян с землей он видел тогда средство, при помощи которого Россия могла бы избежать господства буржуазии, а также развития пролетариата. Ему пришлось, однако, убедиться не только в том, что правительственные реформы представляют собою «новое крепостное право», но и в том, что это «новое крепостное право» связано с развитием буржуазного уклада.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 357.

В «Письмах к путешественнику» (1865) Герцен вынужден был признаться, что, когда царское правительство «по наговору помещичьих журналистов подталкивает всякими распоряжениями и искушениями крестьян на замену общинного пользования землей наследственным разделом ее в собственность, тогда действительно мороз дерет по коже. Мало ли что можно напортить, имея в своих руках такую бесконтрольную власть, такой приманчивой вещью, как буржуазная собственность, покупаемая с льготами... *Буржуазная оспа* теперь на череду в России» (18; 370—371).

Опасения, что Россия вступит на буржуазный путь развития, уже здесь принимали у Герцена весьма острые формы. Тем не менее он и в этих письмах по-прежнему возлагает свои надежды на русское общинное устройство, ошибочно видя в общинном владении и «праве на землю» социализм.

Оторванный от России, Герцен имел в своем распоряжении еще очень мало фактов, характеризующих рост буржуазного уклада в русской жизни, а между тем горькие сомнения, касающиеся будущего русской общины, уже возникли у него, когда он знакомился с политическим и социальным опытом некоторых других наций тех «молодых стран», о которых упоминал Чернышевский, стран, которые, как казалось Герцену, также могли бы избежать «буржуазной оспы».

Прежде всего эти сомнения возникали у Герцена под влиянием того, как складывались исторические судьбы Италии. Италию он считал одной из немногих «поэтических» стран мира, способных не подпасть под власть «мещанства» — буржуазии.

Но в 60-х годах в связи с изменением положения в Италии Герцен иначе смотрит на ее будущее.

В «Письме из Неаполя», напечатанном в листе 173 «Колокола» (15 ноября 1863 г.), Герцен, рисуя яркую картину неаполитанских нравов, изображая люмпен-пролетариат, не раз выступавший в неаполитанской политической жизни в качестве контрреволюционной силы на стороне королевской власти, вынужден был поставить перед собой вопрос, имеют ли исторические преимущества для перехода к социализму экономически отсталые народы и страны. И он приходит к совершенно новому для себя выводу. Отмечая внутренние про-

тиворечия буржуазного развития, он начинает допускать, что «народ... только и поднимается через буржуазию к более развитой жизни» (17, 286). Герцен считает вероятным, что эпоха господства буржуазии лишь этап в прогрессивном развитии человечества, хотя все еще «оставляет открытым» вопрос о том, не является ли буржуазия «пределом» исторического развития данного этапа жизни человечества, не текут ли «все реки истории (по крайней мере все западные)... в мареммы[1] мещанства» (17, 286).

В «Письмах к путешественнику» Герцен приходит уже к более ясному выводу: «Чем прочнее и больше выработаны политические формы, законодательство, администрация, чем дороже они достались, тем больше препятствий встречает экономический переворот. Во Франции и Англии ему представляется больше препятствий, чем в России, чем в Молдовалахии. Тут нет ни гордости, ни унижения, это факт, бросающийся в глаза. Само собой разумеется, что одна неразвитость гражданских форм не обусловливает еще социального развития, иначе Турция была бы ближе всех стран к нему. В России есть почва в быте народном, в народном характере,— почва невозделанная, но готовая принять первое семя... Признание за народом права на землю — величайшая победа, сделанная народным смыслом *и социальной идеей.* Консервативная партия в экономическом смысле у нас только что слагается, ее росту надобно помешать. Императорская власть чисто внешняя, у ней сила, а не смысл» (18, 381). Таким образом, Герцен уже не проводит решительной грани между Западной Европой и Россией с точки зрения осуществления «экономического», то есть социалистического, переворота. Решение этого вопроса он пытается поставить в зависимость от конкретно-исторической обстановки, от соотношения и борьбы социально-политических сил в стране. Правда, Герцен еще не видит решающего значения экономической основы этой борьбы, а, указывая на существование «консервативной партии в экономическом смысле у нас», то есть на существование русской буржуазии, считает возможным и необходимым «помешать» ее росту.

---

[1] Болота.

Следует еще раз отметить, что эти суждения Герцена относятся к 1865 году. А ведь значительно позднее, в 70-х и даже 80-х годах, народнические публицисты, непосредственно наблюдавшие русскую жизнь, отрицали серьезный рост удельного веса буржуазии в экономическом развитии России. Вот почему в этих высказываниях Герцена важно не только то, что он по-народнически пытается «помешать» росту буржуазии, но и то, что он проницательно видит этот рост.

Вместе с тем Герцен не отказывается от мысли о вероятности социалистического переворота в стране со слабо развитой буржуазией, в стране, находящейся накануне коренных демократических перемен, к которым стремятся ее народные массы.

Герцену было чуждо догматическое мышление. Он всегда внимательно всматривался в жизнь и ее развитие и не боялся изменять свои выводы, когда замечал, что они противоречат фактам действительности. Герцен указывал в одной из своих статей, что «безусловной науки нет (как вообще нет ничего безусловного). Наука в действительности всегда обусловлена; отражаемый мир явлений — в *человеческом* сознании,— она делит его судьбы, с ним движется, растет и отступает, постоянно находясь в взаимодействии с историей. Оттого в развитии ее тот же поглощающий, страстный интерес, та же поэзия и драма, те же страдания и увлечения, как в истории» (14, 163).

Герцен отчетливо сознавал историческую прогрессивность национально-освободительных движений, «стремлений одноплеменных народов к политическому единству» (14, 37). Он отмечал «очевидный прогресс» даже «прусского казарменно-доктринерского единства» (14, 38). «Разобранные по народностям, государства соединятся поплеменно, это шаг вперед против искусственных военно-дипломатических соединений и насильственных раздроблений; шаг вперед к снятию политических и всяких внешних границ» (14, 37).

Но Герцен все решительнее склонялся к выводу о буржуазной ограниченности этих движений. Ему было очевидно, что на смену задачам, какие преследовали эти движения, уже пришли «иные вопросы, другая жизнь», вопросы социализма. И он перестает возлагать надежды только на «молодые страны».

Чем больше сомнений вызывало у Герцена предположение, что Россия, благодаря общинному устройству, минует капиталистический период развития и непосредственно перейдет к социализму, тем более внимательно и напряженно всматривался он в передовые, обращенные к будущему, тенденции развития Западной Европы. Теперь точка зрения Герцена такова, что русская община указывает человечеству лишь *один* из возможных путей к социализму, который никак не исключает других возможностей.

Идейная эволюция Герцена середины 60-х годов особенно ярко отражается в таком, проникнутом верой в приближение революционных сдвигов произведении, как «Порядок торжествует!» (1866). Заголовок этот иронич-ен, он пародийно воспроизводит знаменитую своим лицемерием фразу министра иностранных дел Франции, Себастиани, сказанную им в 1831 году: «Порядок господствует в Варшаве». Идея этого замечательного публицистического произведения Герцена как раз и заключается в том, что реакция и в Западной Европе и в России не сумела достигнуть устойчивости, прочности. Особенно примечательно то, что теперь Герцен свой оптимизм революционера обосновывает фактами как русской, так и западноевропейской общественной жизни. Он видит в Европе «разложение *старого* мира» — «иной раз кажется, будто Европа успокоилась, но это только кажется» (19; 166, 167).

Герцен передает громадное впечатление, которое произвела на него беседа со знаменитым французским революционером Бланки, десятки лет проведшим в тюрьмах буржуазной Франции и незадолго до этой встречи бежавшего из заключения. Бланки сказал Герцену: «Вы не знаете, что бродит и зреет в парижских массах... парижский работник выручит Францию, Республику... всю Европу». И какая-то юная улыбка показалась на губах его. Он встал, худой, седой — одни кости да кожа, прошелся по комнате и молча остановился, глядя вдаль, потом покачал головой и сказал: «Если я не очень скоро умру, я еще увижу это, а вы и подавно»... Да, это та вера, которая двигает горы, которая больному говорит: «Возьми одр твой и иди за мной» — и больной идет!» (19, 179).

Статья свидетельствует о том, насколько крепнет

понимание Герценом исторической роли международного, в частности английского, пролетариата,— она пронизана убеждением, что и в обстановке реакции возможно и необходимо найти путь революционной активности.

Теперь для Герцена английский пролетариат — «туго понимающий, но понимающий работник» (19, 172). Герцен видит, что Западная Европа вступила в такой новый период классовой борьбы, когда пролетариат уже не тот, что был в июньские дни 1848 года.

Как мы видим, Герцен отмечает теперь и способность передовых людей повести за собою массы: «Если десять человек понимают ясно, чего тысячи темно хотят, тысячи пойдут за ними» (19, 174),— в то время как в период, следовавший за поражением революции 1848 года, грань между массами и авангардом передовых людей представлялась ему во многом непреходимой.

В июле 1866 года Герцен записывает в свой дневник: «Я думаю, что есть силы у Запада, пробуждающиеся к свету, которые могут оплодотвориться разумом и спасти организм, но им-то и помешает война, религия и даже революция.

Силы эти, оставленные на свою злобу, уже подняли голову; это уже не Гарибальди и не 93 год, и не июньские дни — работничьи лиги (то есть международное рабочее движение, которое в эти годы, благодаря деятельности I Интернационала, приобретало небывалую организованность.— *Я. Э.*) и фенианизм» (20, 608) (то есть ирландские революционеры, потрясшие своими террористическими выступлениями политическую жизнь Англии).

Нетрудно заметить, что и здесь еще Герцена тревожат сомнения в том, сумеют ли эти новые революционные силы обновить мир, не помешают ли этому военные конфликты, религиозные предрассудки, разрушения, неизбежные в момент революции.

И тем не менее рост оптимизма у Герцена несомненен. В письме к Мейзенбуг, написанном в ноябре 1866 года и полном тяжелых, вызванных семейными осложнениями настроений, Герцен говорит: «А вокруг буря, все растущая буря,— вот это утешает. Мы кое-что еще снова увидим...» (XIX, 103).

И столь же решительно отвергается в статье «Порядок торжествует!» предположение о прочности реакции в России: «Мы проходим темною четвертью месяца, в ненастной ночи совершаются ужасы, говорятся мерзости — вот и все; но где же характер прочности, необходимости, живучести этого явления? Где наткнулись мы на предел, на родовую ограниченность, на племенную неспособность? Какие элементы *общей надежды* разрушились, оказались ложными? Исследовали ли мы *силу,* нас победившую, и причину, почему она так легко нас победила?» (19, 180).

А там, говорил Герцен, «где есть движение, нечего бояться и приходить в отчаяние» (17, 108). Он отмечал расширение русского революционного движения, видя в этом одну из великих заслуг Чернышевского и других деятелей русской революционной демократии 60-х годов. Он писал в статье «Порядок торжествует!»: «Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унизительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их» (19, 194).

Очень существенно и то, что, по словам Герцена, в России начинается «органическое сочетание» двух «оттенков» социализма (19, 199) — «русского» и «чисто западного», доказательством чего служит «мысль пропаганды между фабричными работниками-крестьянами», обнаружившаяся в ходе следствия по делу Каракозова [1]. Характерно и то, что и свои надежды на общину, высказываемые в этой статье, Герцен связывает с развитием «полной свободы лица» (19, 186) при общинном владении, то есть отнюдь не канонизирует современные ему формы крестьянского экономического быта. Правда, Герцен здесь вновь выражает надежду на возможность мирного разрешения общественной борьбы в России, сам же, однако, иронизирует по поводу иллюзий, связанных с царским правительством и Александром II: «Нельзя же было ждать, чтоб Александр Ни-

[1] Ср. В. П. Волгин, Социализм Герцена, в сб. «Проблемы изучения Герцена».

колаевич, заснув за чтением «Что делать?» или «Колокола», проснулся бы с рьяным желанием отдать землю народу и начать в Зимнем дворце женские и мужские мастерские» (19; 181—182).

Герцен неизменно верил в великое будущее родного народа: «Народ русский для нас *больше, чем родина.* Мы в нем видим ту почву, на которой разовьется новый государственный строй,— почву, не только не заглохшую, не истощенную, но носящую в себе все зерна всхода, все условия развития» (17; 294—295).

IV. «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

1. Идейное содержание

Выше неоднократно отмечалось, как органически создание «Былого и дум» было связано с революционной публицистической деятельностью Герцена.

Положение русского революционера-эмигранта, создателя зарубежной вольной русской печати, во имя народных интересов вступившего в единоборство с царизмом и крепостничеством и свято хранящего заветы своих предшественников, высокий уровень философской мысли, верность демократии и социализму и ненависть к буржуазному порядку, богатый опыт русской и мировой политической и идейной борьбы и исканий революционной теории,— все это наложило отпечаток на автобиографический труд Герцена.

Воспоминания о прошлом выступают в «Былом и думах» в неразрывной связи с опытом настоящего. Даже о своем детстве Герцен рассказывает, как о детстве будущего революционера. Так, например, передавая свои беседы с нянюшкой Верой Артамоновной, он пишет: «Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: «Дайте срок,— вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна: *таким, как другие,* по крайней мере, *я* не сделался» (8, 47).

И читатель «Былого и дум», зная Герцена как эмигранта-революционера, ощущал в этом эпизоде зарождение ранних инстинктивных настроений протеста про-

тив крепостничества, настроений, ставших впоследствии сознательной мыслью, страстью и борьбой.

Характеризуя революционные стремления студенческой молодежи 30-х годов, Герцен пишет: «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней» (8, 17). В 50-х годах эта юная, самонадеянная вера была в глазах читателя «Былого и дум» проверена и подтверждена судьбой зрелого человека — автора и героя этого произведения.

В авторе «Былого и дум» проявилась та присущая каждому настоящему художнику особенность, которую Лев Толстой определил в словах: «Важно так полюбить какую-нибудь сторону жизни, так увлечься ею, чтобы ничего не видеть, кроме нее, а от этого увидать в ней то, чего никто не видел, и потом все силы души положить на то, чтобы как возможно лучше выразить то, что видишь» [1].

Герцен с юношеских лет полюбил «боренье дум» русских передовых людей, его неудержимо влекло к изображению их духовных и жизненных исканий, он справедливо чувствовал себя человеком, в личности и переживаниях которого исторические процессы и события получили богатое и яркое отражение.

«Былое и думы» могут быть названы энциклопедией русской идейной жизни 30—60-х годов XIX века. Здесь содержится и ценнейший материал для понимания идейной жизни Западной Европы эпохи революции 1848 года.

Перед нами раскрывается широкая и многокрасочная панорама идейного развития. Она тянется от начала XIX века, от русских бар, выросших еще в прошлом столетии, знакомых с идеями французских просветителей, но оставшихся крепостниками и представлявших собою, в лучшем случае, «какую-то умную ненужность» (8, 87). Мы видим, какое огромное влияние на русскую идейную жизнь оказали Отечественная война 1812 года и особенно восстание декабристов. Панорама эта простирается до второй половины века, когда на историческую сцену выступают уже «молодые штурма-

[1] «Летопись Государственного литературного музея», Л. Н. Толстой, т. II, М. 1938, стр. 135.

ны будущей бури» (11, 341) — молодые революционеры, воспитанные Чернышевским. В «Былом и думах» в живых образах отражаются процессы развития русской передовой мысли, поисков ею правильной революционной теории, роста освободительного движения. Мы видим при этом отнюдь не только верхние этажи духовной жизни страны. Герцен, рассказывая о «девичьей и передней» и рисуя, например, крепостного повара Алексея, дает почувствовать, какая «сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека» (8, 45). Герцен упоминает, что уже в годы его молодости «фанатики рабства» (8, 39), то есть рабы, настолько исковерканные крепостным гнетом и холопством, что они с искренним самоотвержением служили господам, насчитывались единицами.

Герцен ведет нас вместе с тем к пониманию того, как мучительно трудно было тогда человеку из народа подняться до передовой мысли, до сознательной революционной ненависти против господствовавшего самодержавно-крепостнического порядка.

В «Былом и думах» перед нами встают образы ярких, даровитых людей из народных низов, способных духовно расти, подниматься все выше, но сброшенных вниз уродливым общественным порядком.

Вот Саша Вырлина, крепостная подруга невесты Герцена. «Развита была она необыкновенно. Это была одна из тех неповинных жертв, которые гибнут незаметно и чаще, чем мы думаем, в людских, раздавленные крепостным состоянием. Они гибнут не только без всякого вознаграждения, сострадания, без светлого дня, без радостного воспоминания, но не зная, не подозревая сами, что́ в них гибнет и сколько в них умирает» (8; 324—325). Саша погибла жертвой произвола и притеснений помещицы-крепостницы.

А слуга Герцена Матвей и жена Кетчера Серафима, также зарисованные в «Былом и думах», даже будучи поставлены в относительно благоприятные условия, не сумели все же равноправно войти в круг передовой интеллигенции. Помешало и мучительное, унижающее сознание общественного неравенства, и крайняя трудность систематического учения и самообразования в одиночку, и разрыв, существовавший между народом и передовыми людьми.

Но в XXXII главе (четвертой части) «Былого и дум» в многозначительной, хотя и беглой, характеристике молодого семинариста, жадно воспринимавшего материалистический дух «Писем об изучении природы» и решившегося отказаться от карьеры священника, Герцен отразил обнаружившиеся в 40-х годах процессы демократизации интеллигенции, стремление овладеть передовой наукой, все яснее сказывавшиеся в среде подраставшего поколения разночинцев. Характеризуя в дальнейшем петрашевцев (в очерке об Энгельсоне) и революционную молодежь 60-х годов (в последней части «Былого и дум»), Герцен подчеркивает дальнейшее распространение этих процессов.

Однако на первом плане «Былого и дум» автор, естественно, должен был изобразить тот, еще очень узкий круг русской интеллигенции 30—40-х годов (Белинский, Грановский, Огарев, Сазонов и др.), в котором он идейно вырос и сложился сам, а также сохранившихся представителей поколения декабристов (Орлов, Чаадаев). Проницательно и тонко показывает Герцен, что своей деятельностью лучшие, передовые русские люди тех лет выражали народные потребности и стремления, не осознанные еще самим народом.

Говоря о кружках 30-х годов, о первых после разгрома декабристов проявлениях революционных настроений, Герцен пишет: «Этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя» (9, 38). А характеризуя свои разногласия со славянофилами, Герцен подчеркивает, что, «подрастая», русские передовые люди 40-х годов поняли, что они дети «загнанной крестьянки», то есть дети народа, выражающие его думы и желания; о родстве с народной Россией «мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: всё почернелые лица из-за серебряных окладов, всё попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину». Но Герцен и его соратники «знали... что ее счастье впереди» (9, 170).

Первые части «Былого и дум» являются замечательной иллюстрацией к ленинской характеристике русского освободительного движения в крепостную эпоху, когда

среди деятелей этого движения имело место «полное преобладание дворянства»:

«Это — эпоха от декабристов до Герцена. Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ» [1].

В русской и мировой литературе XIX века нет другого художественного произведения, в котором бы с такой исторической конкретностью, идейной глубиной и поэтическим очарованием, как в «Былом и думах», были бы воплощены образы передовых людей своего времени и их мировоззрение. Передовые русские люди 40-х годов выступают в «Былом и думах» как носители лучших, сильнейших черт и особенностей русского национального характера, свидетельствующих о неустанном и все убыстряющемся духовном росте родного народа, как представители вырастающей в упорной идейной борьбе демократической культуры.

Таков в изображении Герцена Белинский, воплотивший в себе «русский склад ума» (9, 254), склад русской передовой мысли, духовную стойкость русского человека; таков Щепкин, великий артистический дар которого является отражением даровитости русского народа.

Портрет Белинского — лучшее в русской литературе изображение великого революционного демократа. В отличие от Тургенева и Гончарова, Герцен со всей силой подчеркнул боевую политическую целеустремленность деятельности великого критика и публициста, неустанно стремившегося вперед, к свободной «России будущего». Мы воочию видим великого мыслителя, «сильного, страстного бойца» (10, 323), народного трибуна, неукротимого и беспощадного разоблачителя всего реакционного — «гладиаторскую натуру» (9, 31).

Герцен глубоко любил, чувствовал, понимал и поэтому сумел изобразить «натуру бойца» (9, 22), «святую энергию» и «святое негодование» (10, 323), «грозное вдохновение» (9, 33) своего великого друга и соратника.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 294—295.

В небольших, но чрезвычайно существенных эпизодах показывает Герцен, насколько чужд — классово чужд, скажем мы сегодня,— был Белинский окружавшему его барскому, дворянскому обществу, с которым поневоле должен был соприкасаться. Белинский-разночинец был человеком другой среды, кровным сыном народа, на защиту которого он выступал грудью. Вспомним те, полные гнева и презрения, слова, которые Белинский бросает в лицо одному барину-литератору, соблюдавшему религиозные обычаи только для того, чтобы служить поучительным примером своим «людям», то есть крепостным рабам, держать их при помощи религиозной узды в покорности и смирении: «Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты; всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами!» (9, 32).

Как характерно для великого революционного демократа это жгучее стремление непосредственно обратиться с революционной проповедью к угнетенному и обманутому народу!

Герцен глубоко чувствовал народную силу той революционной энергии и страсти, которая владела Белинским, и, в отличие от позднейших либеральных клеветников, отнюдь не изображал Белинского человеком быстро сменяющихся увлечений и порывов. Герцен подчеркивал материалистическую и революционную сущность его мировоззрения, самостоятельный и творческий характер его мышления. В Белинском Герцен видел одного из виднейших участников тех исканий русской передовой мысли, в процессе которых «русский дух переработал Гегелево учение» (9, 18). «Примирение» Белинского с действительностью Герцен справедливо расценивал как «переходную болезнь» (9, 27).

Портрет, созданный автором «Былого и дум», в высшей степени помогает нам уяснить себе самую сущность деятельности великого революционного демократа — этой *«диалектически-страстной* натуры бойца» (9, 22) (курсив мой.— *Я. Э.*). Какое большое содержание вложено Искандером в эту сжатую формулу-характеристику! Страстная революционная энергия Бе-

линского была устремлена и на поиски правильной революционной теории, неразрывной с революционным, материалистическим пониманием диалектики, и на последовательную борьбу с самодержавием, крепостничеством и их идеологической агентурой. Ленин писал во «Внутреннем обозрении» 1901 года о том, что долг революционных социал-демократов — воспринять «...в свое движение не только непреклонно революционную теорию, выработанную вековым развитием европейской мысли, но и революционную энергию и революционный опыт, завещанные нам нашими западно-европейскими и русскими предшественниками...» [1]. К таким предшественникам, несомненно, принадлежал и Белинский, которого Ленин в одном ряду с Герценом называл среди «предшественников русской социал-демократии» [2]. Герцен видел в произведениях Белинского «ту новую мощную критику... то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России» (9, 43).

Указывая на научный теоретический фундамент революционных убеждений Белинского, Герцен считает характерной чертой мировоззрения последнего «живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными» (9, 28).

Картины русской идейной жизни, образы передовых русских людей неотрывны в «Былом и думах» от рассказа Герцена о собственных идейных исканиях. Здесь громко звучит страстный, искренний, изумляющий богатством мыслей и чувств лиризм, поэзия идейной борьбы. Этот герценовский лиризм передает душевные движения, вызванные рождением, становлением, развитием мысли, мы ощущаем живой трепет человеческого существа, напряжение всех его сил, стремлений, внутреннюю борьбу, сомнения, колебания, неустанные поиски истины, правильной революционной теории, всепобеждающий порыв вперед.

Герцен глубоко чувствовал тот «трагический элемент», который, по его словам, «не определяется ни болью, ни синими пятнами, ни кулачной борьбой, а теми внутренними столкновениями, независимыми от

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 265.
[2] Там же, стр. 342.

воли, противуречащими уму, с которыми человек борется, а одолеть их не может,— напротив, почти всегда уступает им, измочалившись о гранитные берега неразрешимых, по-видимому, антиномий» (16, 41).

Однако «Былое и думы» отражают не только такую борьбу, но и преодоление мучительнейших противоречий, тот выход из тяжкой духовной драмы, который никогда легко не дается, требует жертв, оставляет горький осадок, болезненный след и является вместе с тем свидетельством подлинной силы.

Чрезвычайно ярко выразил свое впечатление от творчества Герцена В. В. Стасов в одном письме к И. Е. Репину, восхищенно восклицая: «Что значит эта сила мысли, эта красота духа, эта сила правды и убеждения, этот могучий жест «вперед»!!» [1]

Рассказывая о своем духовном развитии и интересах, о философской и политической борьбе и связанных с нею конфликтах и столкновениях, в которых он участвовал и нередко играл очень крупную роль, Герцен в «Былом и думах» в художественно наглядной форме создает представление о том, как богата, многосторонне и безгранично увлекательна может быть идейная жизнь человека.

Это духовная жизнь человека, в плоть и кровь которого вошли идеи, принципы и убеждения, толкающие его к отважным поискам путей практического осуществления своих идеалов. Это идейная жизнь человека, черпающая высшие духовные ценности из сокровищниц, сотворенных всеми народами, и творчески приумножающего их.

Сказав, что Герцен «представляет собою целую область, страну изумительно богатую мыслями» [2], Горький удивительно ясно выразил то ощущение идейного изобилия и интеллектуальной насыщенности, которое оставляют после себя сочинения Герцена и в особенности «Былое и думы».

Читая это произведение, как бы совершаешь увлекательнейшее путешествие в страну мысли, где веет, если использовать слова великого Пушкина, «дум высокое

---

[1] «И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка», т. III, «Искусство», 1950, стр. 98.

[2] «А. И. Герцен в русской критике», стр. 253.

стремленье», где «ожесточенное страдание», вызванное разочарованиями и сомнениями, не в силах затемнить «светлых мыслей красоту», их глубины, благородства, блеска и остроумия.

Читая «Былое и думы», как бы слышишь «знакомых мертвецов живые разговоры»; благодаря Герцену для нас по-новому звучат «живые разговоры» Пушкина и Чаадаева, Белинского и Щепкина, Вольтера и Руссо, Гёте и Шиллера, Шекспира и Оуэна. Автор «Былого и дум» обладал замечательным даром передать ощущение того могучего влияния, которое на человека оказывает знакомство с творениями великих деятелей культуры. Герцен помогает глубже почувствовать и лучше понять и жизнеутверждающую силу Пушкина, и идейную последовательность Белинского, и объективность Гёте, и смех Вольтера, и убежденность Оуэна.

Герцен выразил обаяние и силу не только поэтического слова и философской мысли. У него «говорят» картины Микеланджело, музыка Моцарта, архитектура Витберга. В «Былом и думах» воплощены единство и многосторонность мировой культуры.

Герцена не раз обвиняли в том, что он поддавался националистическим предрассудкам по отношению к немецкому народу. Обвинение это несправедливо. Герцена можно упрекнуть лишь в том, что он, презирая немецкое филистерство, слишком широко пользовался этим понятием и обозначал им и такие общественные и идейные группы, которые никак того не заслуживали. Но Герцен неизменно и глубоко чувствовал величие передовой немецкой культуры.

В международном духовном сотрудничестве, которое Герцен считал столь естественным и совершенно необходимым, он почетную роль отводил германскому народу.

В «Былом и думах» Герцен писал о «глубине немецкого мышления» и осуждал «национальное высокомерие», которое по отношению к «немцу» было свойственно И. П. Галахову (9; 19, 117).

А в редакционном примечании «Колокола» Герцен, клеймя «казарменный и бюрократический склад Пруссии», противопоставлял ему прогрессивных германских деятелей и их «великие заслуги». К таким деятелям Герцен, в частности, причислял «Штейна и его сверст-

ников»[1]. Вместе с тем, как сказал Н. Сазонов в своей статье о Герцене, в «Былом и думах», этом «лучшем произведении знаменитого писателя», автор «всегда остается верен своей национальности, когда говорит о Западной Европе. В этом великая ценность его книги, его стиля и, скажем даже, его личности; это-то и делает его в истории умственного развития России выразителем существенного перелома, зачинателем новой эпохи»[2].

Слова Герцена о том, что в литературе нельзя не отразить «следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя», полностью должны быть отнесены к «Былому и думам». Все это живо чувствуется нами, и когда Герцен говорит о кружках 30-х годов или рассказывает об организации в Лондоне вольной русской печати и когда он вызывает детские воспоминания о красоте и изяществе Васильевского или упоминает о том, как старинный английский парк того дома, в котором он впервые увидел Роберта Оуэна, напомнил ему старый русский сад отцовского поместья.

Сазонов подчеркнул значение Герцена как одного из пионеров, открывшего перед Россией дорогу к «самобытности мысли»[3].

Герцен выступает в «Былом и думах» во всеоружии высших достижений мировой культуры, всегда оставаясь патриотом, передовым деятелем русской культуры.

Герцен писал о настроениях русских передовых людей 40-х годов, изнывающих под гнетом николаевского режима: «Когда в минуты бесконечной боли они проклинали неблагодарный, суровый родительский дом, то ведь это одни крепкие на ум не слыхали в их проклятиях — *благословения!*» (14, 158).

Герцен мог с полным основанием сказать, что в «Былом и думах» «при ненависти к деспотизму сквозь каждую строку видна любовь к народу...» (VIII, 392). Эта любовь заставляет Герцена вновь и вновь оценивать судьбы русского народа и человечества, пути, которыми они идут к будущему.

---

[1] «Колокол», № 70, стр. 588.
[2] «Литературное наследство», т. 41—42, стр. 200.
[3] Там же, стр. 197.

Именно потому, что Герцен в своих воспоминаниях выступал как патриот и революционер, большое место в них отведено изобличению врагов русского народа и русской передовой мысли.

Если в «Колоколе» Герцен, несмотря на свои колебания к либерализму, гневно бичевал злодеяния царской бюрократии и крепостников, мастерски используя для этой цели оружие памфлета, то в «Былом и думах» он достигает той же цели при помощи публицистически и лирически комментируемых художественных зарисовок, то бытовых, то резко сатирических, порой при помощи иронически заостренных анекдотов или саркастических эпиграмм в прозе.

Еще в 40-х годах Герцен, скованный цензурой, мечтал «иронию возвести в чин» (2, 343), то есть направить ее против самих хозяев царской России. Это ему и удалось в «Колоколе» и в «Былом и думах».

Рисуя провинциальное чиновничество в Вятке и Новгороде, Герцен изображает его «сосущим кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых» (8, 252). Герцен мрачными эпизодами помещичьего быта иллюстрирует свою мысль о том, что «в передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств» (9, 86).

Мы видим царских холопов — высших сановников империи; руководителей всего бюрократически-полицейского аппарата, угнетающего народ, равнодушно-безжалостного Бенкендорфа и хитрого и хищного Дубельта, видим всевластных и диких в своем произволе провинциальных сатрапов вроде вятского губернатора Тюфяева и столичного держиморду растленного взяточника Кокошкина.

Не раз появляется на страницах «Былого и дум» зловещий образ российского самодержца — Николая I.

А с другой стороны, так же как в книге «С того берега», Герцен и в «Былом и думах» создает собирательный образ западноевропейской буржуазии, с ее тупостью, ограниченностью, кровожадностью. Образ этот складывается из множества метко и остроумно подмеченных политических, бытовых и психологических черт и черточек, например из зарисовок национальных гвардейцев, этих рассвирепевших лавочников, расправлявшихся с рабочими в июньские дни 1848 года, из харак-

теристики французских полицейских чиновников, наглых и грубых, благоговеющих перед силой денег, и английских святош-квакеров, травивших Оуэна.

А как обнаженно в маленьком эпизоде встречи Герцена с Токвилем в июньские дни выступает подлость идеологического лакея буржуазной реакции, члена Национального собрания, санкционировавшего кровавую расправу с июньскими повстанцами. Герцена и его спутников задержал на улице кордон Национальной гвардии как «подозрительных людей», им угрожала тюрьма, быть может расстрел. Токвиль, известный историк и член Национального собрания и будущий министр Наполеона III, отказался даже выслушать Герцена, отделавшись адвокатски-казуистической фразой: «Законодательная власть не имеет никакого права вступать в распоряжения исполнительной» (10, 30).

Такие зарисовки ведут в «Былом и думах» к уничтожающим выводам и обобщениям.

Герцен дает следующую характеристику морали и бытового уклада буржуазного общества: «Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий — хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвью нового общества. Человек de facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег... Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни».

Герцен показывает падение культуры в буржуазном обществе: «В этом мире все до такой степени декорация, что самое грубое невежество получило вид образования... Образования теоретического, серьезного быть не может: оно требует слишком много времени, слишком отвлекает от *дела*. Так как всё, лежащее вне торговых оборотов и «эксплуатации» своего общественного положения, не *существенно* в мещанском обществе, то их образование и должно быть ограничено» (10, 128). Герцен подчеркивает нравственное ничтожество, духовную посредственность буржуазного порядка, «постоянное понижение личности» в нем.

Он проницательно указывает на логику чаяний буржуазной реакции. Герцен говорит, что социалистическая «идея, которая может спасти народ и устремить Европу

к новым судьбам, *невыгодна* господствующему классу... ему, если б он был последователен и смел, *выгодно* только государство с американским невольничеством!» (11, 77).

Живя в Лондоне, Герцен пристально наблюдал английское буржуазное общество. Результаты этих наблюдений и даны в «Былом и думах». Не раз на ряде примеров показывает Герцен, в какой мере буржуазное общественное мнение Англии находилось в плену у консервативной традиции, у крепко вкоренившихся предрассудков. Поэтому он и пишет о «нравственной несвободе» Англии (11, 218). Герцен чрезвычайно высоко ставил великих классических представителей английской культуры. В свое время в «Письмах об изучении природы» Герцен писал, что «поэтическое созерцание жизни, глубина пониманья ее, действительно беспредельна у Шекспира» (IV, 177), что «в сочинениях Бэкона поражает необычайная сметливость, дельность, практическая резкость и удивительная многосторонность» (3, 253).

Но вместе с тем Герцен в «Былом и думах», так же как и в других своих работах, указывает на односторонность, свойственную английской философской мысли, в особенности на то, что она чуждается «отвлеченного обобщения».

Передовых людей, изображенных в «Былом и думах», в первую очередь самого автора, мы видим также в конфликтах, столкновениях и прямой борьбе с их политическими и идейными противниками.

Следует, однако, иметь в виду, что некоторые из этих конфликтов предстают в «Былом и думах» в смягченной, несколько завуалированной форме. Герцен както сказал в «Былом и думах», что «сердце отстает, потому что любит, и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощает» (10, 232). Герцену не раз в жизни приходилось рвать с людьми, с которыми его связывали личные дружеские отношения, которым симпатизировало его «сердце». Он не обладал последовательностью Белинского, а тем более Чернышевского. Он был снисходителен к дворянской интеллигенции и особенно к тому кругу людей 40-х годов, с которыми он, несмотря на существеннейшие идейные разногласия, поддерживал в Москве приятельские отношения. Поэтому так сдер-

жан по своей форме рассказ о «теоретическом разрыве» 1846 года между Герценом, Белинским, Огаревым, с одной стороны, и Грановским, Коршем, Боткиным и другими либеральными западниками — с другой. Тон Герцена очень мягок, несмотря на то что разрыв произошел по самым основным вопросам мировоззрения и отразил пропасть, лежащую между материализмом Герцена и Белинского, с одной стороны, и идеализмом их противников — с другой. До известной степени тон Герцена объясняется и тем, что в 1846 году во главе западников стоял Грановский, признавший впоследствии правоту своего друга и уже умерший к тому времени, когда эта глава публиковалась. Имело значение и то обстоятельство, что глава эта была напечатана в «Полярной звезде» 1858 года, до полного разрыва Герцена с либералами.

Но ведь Герцен пишет и о таком человеке, как Е. Корш. Это был один из самых откровенных западников-космополитов 40-х годов, которых Герцен впоследствии назвал «западниками-доктринерами», «немцами из русских» (X, 106). К тому же Корш и в 50-х годах не помогал Герцену, хотя в это время ряд либералов доставлял ему те или иные обличительные материалы для помещения в «Колоколе». В этот период Корш один из первых среди московских «друзей» занял по отношению к Герцену резко враждебную позицию.

И о Корше Герцен говорит чрезвычайно осторожно и мягко. Но если вдуматься в *существо* немногих строк, передающих разговор с Коршем, то перед нами встанут два резко противоположных типа деятелей: с одной стороны, уклончивый, трусливый либерал, который мило шутит над серьезными идейными разногласиями, пытается доказать, что «идеального тождества между людьми и мнениями» вообще нет и не может быть, что «мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов», — словом, с либеральной увертливостью и оппортунизмом затушевывает самую суть «разрыва» да к тому же намекает на то, что принципиальность Герцена является предосудительной. С другой стороны, мы видим дворянского революционера, правда подверженного либеральным колебаниям, но умеющего их побеждать и идти вперед, к все более последовательному революционно-демократическому и материалисти-

ческому мировоззрению. Герцен был убежден в том, что между идейными соратниками необходимо «тождество в главных теоретических убеждениях», тем более что в 40-х годах «вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... Какие же могли быть уступки на этом поле?» (9; 211—212). И Герцен повторяет строки стихотворения, написанного тогда Огаревым и выражавшего решимость идти своим выстраданным идейным путем:

Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо...

Понимание идейной ограниченности, мягкое по форме, но строгое по существу, слышится и тогда, когда Герцен говорит о таких «чудаках», таких «оригинальных личностях», которые, даже соприкасаясь с кругом передовых людей, не сумели выйти на столбовую дорогу жизни и удовольствовались проселочными путями. Развитие таких людей шло не мощно и прямо, а «капризно», порой уродливо. По выражению Герцена, «русская печь», то есть стихийное течение русской жизни, со всей ее отсталостью и косностью, выпекла из них «своеобычные печенья». Они, в отличие от «сильных деятелей», в которых «больше русского склада ума, чем печи», не сумели стать выразителями передовых направлений русской общественной жизни.

Таких людей, к которым относится, в частности, Кетчер, Герцен называет «волостными проводниками исторических течений», то есть видит в них сравнительно мелкое отражение больших общественных движений. В свое время, в 30-х и начале 40-х годов, Кетчер, пусть в сравнительно небольшой степени, внес свой вклад в духовные искания, которыми жил герценовский кружок. Но, как указывает Герцен, люди, подобные Кетчеру, «разбудили других на совсем иной труд» (9, 254), сами же остановились, оказались неспособными идти дальше, даже стали врагами своих прежних друзей.

Мягкость и снисходительность сказываются также в главе «Былого и дум», посвященной славянофилам, ибо она написана до того, как в 1863—1864 годах произошел окончательный разрыв Герцена с оставшимися в живых представителями этого лагеря И. Аксаковым и Ю. Самариным, сотрудничавшими одно время в изда-

ниях Герцена. И тем не менее, автор «Былого и дум» должен был признать, что видел в их взглядах 40-х годов «новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви» (9, 133).

В обстановке лондонской эмиграции Герцен имел основание рассматривать ряд деятелей международной мелкобуржуазной демократии, в той или иной мере, как своих политических союзников, расходясь вместе с тем с ними по принципиальным идейным вопросам, видя в них противников социализма и материализма, защитников религии, людей, не сумевших разорвать с *«буржуазными иллюзиями* в социализме». Эта позиция Герцена отражается в созданных им портретах деятелей эмиграции. Так, например, характеристика Луи Блана в «Былом и думах», несомненно, смягчена симпатией и сочувствием, но тем не менее вывод о «внутреннем, невозмутимом покое» этого деятеля, о присущей ему «мозговой религиозности» и неподвижности, о его идейной ограниченности звучит резким приговором. Герценовские характеристики буржуазных демократов и мелкобуржуазных социалистов подлинно метки и остроумны, в них лаконично и мастерски сконцентрировано большое историческое содержание.

Во второй главе шестой части «Былого и дум» Герцен задает риторический вопрос: «Та революционная эра, к которой стремились мы, освещенные догорающим заревом девяностых годов, к которой стремилась либеральная Франция, юная Италия, Маццини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему? Эти люди не делаются ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая жизнь?» (11; 48, 30). И Герцен в ряде ярких сопоставлений показал, что революционная роль «этих людей» исчерпана падением абсолютизма и феодализма, что они бессильны против буржуазного порядка.

Эта характеристика обосновывается целым рядом более или менее иронических портретов виднейших представителей лондонской эмиграции. Одним из наиболее иронических и комических эпизодов является встреча с Ледрю-Ролленом, который, как говорит Герцен, «усевшись покойно на кушетке... начал меня *«гарангировать»* (то есть ораторствовать). Ледрю-Роллен

в изображении Герцена — политический деятель, довольствующийся пустыми и наивными иллюзиями и громкими, обветшалыми фразами. Ледрю-Роллен говорит Герцену: «Будь теперь, сейчас в моем распоряжении *сто тысяч* франков — да, мизерабельных сто тысяч франков,— и послезавтра, через три дня революция в Париже» (11, 22) [1].

Как каждая, ставшая классической, художественная автобиография, «Былое и думы» не ограничиваются воспоминаниями о прошлом. Создателем такого произведения руководит более высокое и сложное стремление, чем автором мемуаров обычного типа. Предпосылкой создания классической автобиографии является непоколебимое и соответствующее исторической правде убеждение ее автора, большого художника и большого человека, в том, что рассказ о собственной жизни, о личных переживаниях, мыслях и наблюдениях обладает глубокой значительностью для народа родной страны, для человечества.

В этом — обоснование классического автобиографического рассказа, в котором по большей части беспощадная откровенность, исповедь, строгость к самому себе сочетаются с гордым сознанием своей силы, своей исторической весомости.

Классические автобиографии, подводя итоги выдающейся жизни, говоря о прошлом, звучат вместе с тем как предвестие будущего. Не случайно классические автобиографии возникают по большей части в переломные, кризисные эпохи развития человечества. В этих условиях особенно остро ставится вопрос о новом, передовом человеке. Такая историческая обстановка особенно благоприятствует тому, что у великого художника, передового человека своего времени, возникает потребность рассмотреть и изобразить свою жизнь, свои переживания как отражение исторического этапа. В автобиографии такого рода ее автор и герой выражают передовые тенденции развития своего народа, своей страны. Изображая события, свидетелем которых он был, создавая портреты встреченных им людей, автор

---

[1] Об отношении Герцена к французской эмиграции см. комментарии И. И. Зильберфарба в одиннадцатом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

классической автобиографии ищет и черты, тенденции, не нашедшие еще в окружающей действительности своего массового, типического выражения, но ведущие к светлому будущему, к «новому человеку».

Герцен ясно видел своеобразие «Былого и дум». «С того берега» он назвал своей «логической исповедью»; это была исповедь его мысли, здесь он говорил о своем «логическом романе». «Былое и думы» были историей личности и жизни Герцена, своеобразным лирико-философским автобиографическим романом.

Люди, плохо знавшие и плохо понимавшие Герцена или же прямо ему враждебные, обвиняли его на основании «Былого и дум» в самовлюбленности. Действительно, Герцен рассказывал читателю о себе, о своем детстве, о своих личных переживаниях, о своих друзьях. Но в этом рассказе не было ни ложного самолюбования и непростительного кокетства собою и своими поступками, ни бестактного интимничания с читателем. Это была исповедь, полная сознания своей ответственности перед народом. В 1857 году Герцен писал М. К. Рейхель о своих «Записках»: «Весь вопрос состоял: «исповедуешься ли ты перед своей совестью, что ты чувствуешь в себе силу и твердость сказать всю истину?» Из этого не следует, что все в моих записках — само по себе *истина,* но истина для меня, я мог *ошибиться,* но уже не мог не говорить правды» (IX, 81).

Герцен хорошо знал, как мало автобиографий завоевало в мировой литературе действительно всеобщее признание. В сущности, он мог вспомнить лишь книги Челлини, Руссо, Гёте. Не вполне доверяя собственному чувству и суждению, Герцен опасался, что темы и образы, столь драгоценные и близкие лично ему, столь понятные связанному с ним дружескому кругу, могут показаться назойливыми и ненужными чужим, посторонним людям. Даже в 1861 году, уже после того, как ему довелось услышать восторженные отзывы друзей и прочитать единодушно положительные рецензии в международной печати, Герцен в предисловии к первому изданию «Былого и дум», объединившему отдельно опубликованные части, допускал возможность того, что он «далеко переоценил» этот свой труд: «Очень может быть, что... в этих едва обозначенных очерках схоронено так много *только для меня одного;* может, я гораздо

больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи...» (8, 11).

Дар полно, непосредственно, импульсивно отдаваться жизни, чувствовать ее краски, ярко и богато «во все стороны» жить сочетался у Герцена со способностью строго анализировать действительность и самого себя, не впадая при этом в бесплодное самокопание. Захваченный творческой страстью, увлеченный осуществлением своего давнего автобиографического замысла, Герцен оставался строг и взыскателен к самому себе и к своему произведению.

Поэтому Герцен и считал необходимым в предисловиях к изданиям отдельных частей «Былого и дум» останавливаться на мотивах, побудивших его писать и печатать свои воспоминания. В предисловии к отдельному английскому изданию второй части «Былого и дум» он иронически говорил о «праве» писать воспоминания, о «праве на те или иные слова» и указывал: «Чтобы написать собственные воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком или необыкновенным злодеем, знаменитым артистом или государственным человеком, достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет рассказать это... Каждая жизнь интересна — если не в отношении к личности, то к эпохе, к стране, в которой она живет». В сущности, Герцен отрицает здесь лишь внешний, формальный критерий, дающий право писать воспоминания о себе. Он иронически говорит о званиях, патентах и дипломах, которые могли бы служить доказательством такого права. Но тем выше требовательность Герцена к содержанию, к художественной правде такого произведения. «Мемуары, конечно, могут быть скучными,— продолжает Герцен,— и жизнь, в них рассказанная,— бедной, незначительной. Тогда не читайте их — и это будет самым страшным приговором для книги» (8, 405). Тем самым Герцен требует от автобиографии внутренней содержательности, художественной силы, увлекательности повествования.

В 1866 году, публикуя новую часть «Былого и дум», Герцен охарактеризовал это произведение как «отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее до-

роге» (10, 9). Эта замечательная формула, определяющая самую сущность «Былого и дум», говорит не только о богатстве их исторического содержания, но и указывает на внутреннюю значительность жизни, о которой это произведение рассказывает.

Создание «Былого и дум» шло *параллельно* политической и публицистической деятельности Герцена. Ведь «Былое и думы» были, как мы уже показывали на конкретных примерах, не мемуарами человека, отошедшего от активной деятельности, а сильным оружием политического бойца и художника. Повествование о «былом» было для Герцена неотделимо от вызванных этим рассказом размышлений и дум, от философских заключений и публицистического комментария.

Текущие публицистические отклики на злобу дня принимали форму статей, памфлетов, заметок для «Колокола», но основные программные положения, выдвинутые Искандером в своей политической публицистике, звучали и в «Былом и думах», выступая здесь в виде сжатых выводов из множества картин и зарисовок.

Как отмечает комментатор «Былого и дум», в первых главах этого произведения сатирические характеристики царской бюрократии, полицейского произвола, военной муштры и т. д. «даются Герценом под углом зрения тех политических задач, которые перед ним встали в середине 50-х годов. Так, в требовании гласности, «совершенно другой организации всей машины», введения «народных начал третейского суда» и др. (глава XV) содержатся элементы будущей политической программы «Колокола» [1].

Любопытно, что первоначально такая публицистическая брошюра, как «Крещеная собственность», мыслилась автору в виде части «Былого и дум» [2].

Публицистическая деятельность Герцена в «Колоколе» оттеняла своеобразие «Былого и дум». Это рассказ о «былом», о человеке, жизнь которого явилась «отражением истории», о событиях и людях его времени, это «думы» по преимуществу о путях развития Рос-

[1] Цит. комментарий Н. П. Ждановского в восьмом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР, стр. 465.

[2] См. статью Вл. Путинцева «Из творческой истории «Былого и дум», в герценовском сборнике Гос. лит. музея, М. 1946, стр. 123—124.

сии, человечества. Характерно, что французское издание «Былого и дум» носило заглавие: «Русский мир и революция. Мемуары Герцена».

Иностранному читателю «Былое и думы» с художественной наглядностью и убедительностью открывали целый ранее неизвестный мир русской жизни. Автобиография Герцена звучала для этого читателя как политическая программа русской революции, освобождения России. В парижской газете «La Presse» в 1856 году появился отзыв, в котором говорилось: «У г. Герцена встречаются потрясающие страницы о крепостных, и книга его является красноречивым ходатайством в пользу освобождения крестьян, которое не может уже долго заставлять себя ждать».

По словам рецензента, «одна лишь страничка Герцена дает большее представление или, вернее, гораздо больше обнаруживает внутреннюю жизнь страны, национальную душу народа, сущность вещей, чем длинные кропотливые писания других. Со всей прелестью неожиданности правда сверкает в его умных воспоминаниях... в воспоминаниях Герцена особенно определенно бросается в глаза, что в России под кажущейся неподвижностью царит глубокая, интенсивная интеллектуальная жизнь, богатая и разносторонняя работа мысли. Выясняется, что ни одна идея, которая волнует век, не остается чуждой России; все научные и философские системы нашли в ней своих компетентных и убежденных сторонников».

А в 1860 году в рецензии, помещенной в лондонской газете «The Leader», отмечалось, что в Герцене «Гёте мог бы усмотреть яркое подтверждение теории грядущей универсальной литературы. Из Лондона этот один человек оказывает такое влияние на Россию, примера которому публицистическая литература еще никогда не давала; и все, что он делает и создает для России, в то же время становится достоянием остальной Европы. Ему удалось стать в Англии творцом свободной прессы для России, прогрессу которой он мощно содействует, и вся Европа с большим интересом и сочувствием смотрит на все возрастающую энергию его деятельности» [1].

[1] Отзывы иностранной печати приведены по обзору Л. Р. Ланского (см. одиннадцатый том Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР).

Герцен создавал «Былое и думы» в течение примерно шестнадцати лет (1852—1868). В процессе создания, в сложной зависимости от перемен, происходивших в жизни, мировоззрении, деятельности Герцена, видоизменялся весь склад великого произведения.

Обратившись к прошлому и начав с рассказа о детстве и юности, Герцен постепенно приблизился к первым годам своей зарубежной жизни. В посвященной этому периоду пятой части «Былого и дум» характер повествования во многом изменился. В предисловии к этой части сам Герцен отмечал присущую ей «отрывочность рассказов, картин» — «внешнего единства в них меньше, чем в первых частях» (10, 9).

Герцен не желал повторять в «Былом и думах» рассказ о событиях 1848 года, о своих первых заграничных впечатлениях, содержавшихся в «Письмах из Франции и Италии» и «С того берега», переиздававшихся в середине 50-х годов, то есть тогда же, когда он работал над «Былым и думами». В пятой части «Былого и дум» Герцен сосредоточивает свое внимание на изображении отдельных наиболее ярких эпизодов и встреч, отдавая много места лирико-философскому раздумью над уроками эпохи революции 1848 года и перспективами будущего.

Начиная с пятой части отдельные главы «Былого и дум» приобретают все более самостоятельное значение; увеличивается удельный вес публицистических и философских отступлений, все более превращающихся в политически и идейно актуальные отклики на проблемы, поставленные современностью. Этому способствует также и то, что рассказ о личных переживаниях отделяется от изображения общественной драмы, сосредоточиваясь в тех наиболее интимных главах «Былого и дум», которые при жизни автора так и остались неопубликованными.

В шестой и седьмой частях произведения, охватывающих годы пребывания Герцена в Лондоне, резко уменьшается роль автобиографических эпизодов. Центральной здесь становится тема политических и идейных взаимоотношений Герцена с представителями международной эмиграции, с одной стороны, и различных общественных сил России — с другой. Одновременно, в

значительной своей части, эти же вопросы освещаются Герценом в передовых и памфлетах «Колокола».

Последняя, восьмая, часть «Былого и дум», композиционная особенность которой подчеркнута самим Герценом в названии первой главы — «Без связи», представляет собою главным образом записи путевых впечатлений Герцена, который во второй половине 60-х годов много странствовал по Италии, Франции, Швейцарии. Но эти как будто разрозненные впечатления ведут к большим и важным обобщениям. При этом внимание Герцена сосредоточено теперь не на «эксцентрических», по его собственному определению, людях, то есть наиболее ярких представителях тех или иных общественных течений, сколько на типических чертах целых поколений, от представителей исторически обреченных господствующих классов, принадлежащих уже «тому свету», до молодых революционеров России и Франции и пролетариев Италии. Своеобразие этой части тесно связано с тем, что вторая половина 60-х годов была для Герцена периодом переоценки ценностей; его внимание, пусть еще не до конца последовательно, было обращено к тому новому, что зарождалось в общественной жизни.

Но почему личная жизнь Герцена не находит отражения в последних частях «Былого и дум»? Дело в том, что после смерти Натальи Александровны, или, точнее говоря, после краха попытки организовать суд международной демократии над Гервегом, удельный вес «частного», личного в жизни Герцена резко падает. Об этом свидетельствует письмо Герцена к сыну 1860 года: «Личная жизнь моя окончилась бурями и ударами 1852 года... Для меня остались в мире две задачи: моя русская деятельность и ваше развитие» (X, 332—333).

Герцен чувствовал, что имеет право рассказывать в «Былом и думах» о своей личной жизни 30—40-х годов, ибо рассказ этот помогал характеризовать передовых людей 40-х годов и их духовные искания. Но о своей личной жизни 60-х годов, как бы она ни сложилась, Герцен все равно не рассказал бы в «Былом и думах», ибо понимал, что на фоне роста нового революционного поколения, того поколения, которое Чернышевский изобразил в «Что делать?», эта «частная» сторона

его жизни уже не обладала исторической значительностью.

Поэтому постепенное уменьшение удельного веса биографических фактов в последних частях автобиографии отнюдь не колеблет определяющей ее особенности: каждая страница этого произведения действительно отражает историю, события, социальные сдвиги, борьбу идей, игравших большую роль в жизни человечества, и отражает их сквозь призму личности, мыслей и чувств передового русского человека, революционера, мыслителя и писателя.

Для понимания образа Герцена, каким он встает в «Былом и думах», очень важна история публикации этого произведения, отдельных частей и глав. В 1861 году, то есть в момент полного расцвета своей публицистической и политической деятельности, Герцен собрал воедино части, выходившие ранее отдельно, и главы, печатавшиеся в «Полярной звезде», и издал два тома, заканчивая повествование отъездом за границу. Третий том включал в себя «Записки одного молодого человека» и некоторые другие произведения 30—40-х годов. Том этот Герцен называл «небольшой кладовой для старого добра», собрав в нем «только те статьи, которые имеют какое-нибудь отношение к двум вышедшим томам «Былого и дум», «к личным опытам и событиям, имевшим сильное влияние на меня, на нас» (9, 267). Зато «общих статей», философских работ 40-х годов Герцен в этот том не включил.

В 1866 году вышел четвертый том, продолжающий автобиографический рассказ до момента приезда в Лондон.

Отдельное издание «Былого и дум» было более полным, нежели публикации частей и глав этого произведения в «Полярной звезде». Однако и в этом издании «по разным общим и личным причинам» остались ненапечатанными «выпущенные страницы и главы» и «целый том, самый дорогой для меня» (10, 9) — история семейной драмы. Несколько позднее Герцен наметил издание следующих частей «Былого и дум», рисующих жизнь в Лондоне, организацию и издание «Колокола» и содержащих портреты деятелей международной и русской эмиграции. При жизни Герцена издание этих частей не осуществилось, и до настоящего

времени авторская воля в отношении расположения глав в них и самого их состава не может считаться бесспорно установленной [1].

Вовсе не предполагал Герцен публиковать при жизни наиболее интимную часть «Былого и дум» — рассказ о своей семейной драме,— она увидела свет лишь в издании Лемке, через полвека после смерти Герцена.

Герцен писал в 1860 году в предисловии к отдельному изданию «Былого и дум»: «Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений,— мне бы не хотелось стереть его.

Это не столько *записки, сколько исповедь*, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из *Былого,* там-сям остановленные мысли из *Дум.* Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей *единство есть,* по крайней мере мне так кажется» (8, 9). В предисловии 1866 года к пятой части произведения Герцен подчеркнул ту же мысль: «Начиная печатать еще часть «Былого и дум», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, *подстрочных* к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение — *тогдашняя* истина пропадет» (10, 9). Об этой «тогдашней истине» должен помнить читатель «Былого и дум».

Ведь различные части «Былого и дум», их главы, а в целом ряде случаев и отдельные части последних так далеки друг от друга по времени их написания и напечатания, что мы видим в них изменения и развитие взглядов и оценок автора, отражение различных моментов его жизненного и идейного пути.

Сложное наслоение мыслей и настроений в «Былом и думах» наиболее ярко отражается в образе самого автора этой «исповеди».

Резкое отличие между образом Герцена в первых частях «Былого и дум», этих «светлых сенях» его записок, и в пятой части, рисующей его полные горечи и

---

[1] См. текстологический комментарий С. С. Борщевского к восьмому тому Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР.

боли переживания в период поражения революции 1848 года, очевидно. Отличаются друг от друга и образы Герцена в пятой и шестой частях «Былого и дум».

В пятой части «Былого и дум» мы видим Герцена в 1848—1852 годах, со всеми его мучительными сомнениями, раздумьями и исканиями, мы видим тяжкие поражения, выпавшие на его долю, и вместе с тем ощущаем неустанное борение его мысли, закаляющейся в этих поражениях. Герцен смело и страстно рассказывает о своих ошибках и иллюзиях и именно поэтому все лучше учится вскрывать их. Правда, Герцен порой теряется в хаосе тех противоречий и случайностей, в которых предстает перед ним окружающий мир, он порой вовсе не видит закономерностей исторического развития, но его глубокий пессимизм отражает прежде всего разрыв со старыми утопическими верованиями.

Герцен писал пятую часть «Былого и дум» в Лондоне в 1853—1860 годах, но он сумел себя изобразить таким, каким он был в 1848—1852 годах. Образ же Герцена лондонского периода встает перед нами в шестой и седьмой частях «Былого и дум». Герцен говорит, что, перебирая в лондонском одиночестве свои воспоминания, он переживал не только тяжелые, но и «другие, не радостные, но мужественные» минуты. «Не радостным, но мужественным» можно было бы назвать образ Герцена и в лондонской части «Былого и дум», которая сочетает воспоминания о недавних встречах с рассказом о настоящем. «Положительный герой» этого произведения отказался теперь от многих прежних притязаний. Радостную, юную поэзию, светлую красоту своей жизни Герцен оставил в прошлом, о котором он рассказал в первых частях «Былого и дум». Мы видим теперь Герцена постаревшего, много испытавшего, отрекшегося от многих иллюзий, мечтаний и надежд, отошедшего от настроений тех лет, когда он в порыве страстной скорби переживал крушение своих идеалов. Теперь в образе Герцена чувствуется сдержанность и внутренняя уверенность человека, нашедшего огромное поле практической деятельности, бурная скорбь уступила место печали, сарказмы отчаяния — иронии.

В шестой части «Былого и дум» меняется не только образ самого Герцена, но и его представление о мире. Достаточно сравнить «Западные арабески» пятой части

с главами о книге Дж.-Ст. Милля и о Роберте Оуэне шестой части, для того чтобы понять тенденции развития герценовской мысли в «Былом и думах». В окружающей действительности Герцен видит теперь не только хаос противоречий и случайностей, но упорно ищет «всходы новой силы»; еще не избавившись от пессимизма, он уже призывает в «Роберте Оуэне» изучать исторические закономерности, для того чтобы на этой основе найти путь к революционной активности.

Прав был Шелгунов, когда писал о творчестве Герцена: «Это связная нить событий внутреннего мира человека; это роман и исповедь человеческой души... И автор всегда весь налицо; умейте только понимать его, умейте понимать, что он предлагает вам анализ своей собственной души, свой критический процесс. Пред вами совершается интеллектуальный рост человека... пред вами вслух думающий человек, анализирующий сам себя и свои ощущения. Это... живой процесс, совершаемый человеком над самим собою» [1].

Герцен в полемике с Чичериным писал, между прочим: «Доктринеры — больше всего историки, а мы вместе с толпой — ваш субстрат... мы — история... Вы нам объясняете, чем мы больны, но больны — мы. Вы нас хороните, после смерти награждаете или наказываете, вы — доктора и попы наши, но больные и умирающие — мы» [2].

Герцен был полностью прав, указывая, что, несмотря на «оттенок своего времени и разных настроений», лежащий на каждой части «Былого и дум», этому произведению в целом присуще внутреннее единство. Это единство большой и плодотворной жизни передового человека, неустанно, до самой своей смерти шедшего вперед.

Очень метко замечание В. Путинцева, указавшего, что «Былое и думы», «прерванные случайно, на полуслове... выглядят законченным произведением» [3]. Как писал сам Герцен, «труд этот может на всем остано-

---

[1] Н. В. Шелгунов, Соч., т. II, СПб. 1895, стр. 419—420.

[2] Цит. по собр. соч. А. И. Герцена, под ред. М. К. Лемке, т. XIII, стр. 220, в соответствии с рукописью (Отдел рукоп. ЛБ, Г.—О., 1, 2).

[3] Цит. статья Вл. Путинцева «Из творческой истории «Былого и дум», стр. 150.

виться, как наша жизнь: везде будет довольно и везде можно его продолжать...» (12, 451).

Однако сосредоточивая внимание исключительно на многообразии конкретно-исторического, идейного и политического содержания «Былого и дум» и даже видя в этом произведении автобиографический роман (эта точка зрения наиболее детализированно была развита Л. Гинзбург) [1] или «роман о положительном герое», о себе (как в свое время, в своих первых работах о Герцене, предлагал автор этих строк), мы все же рискуем допустить известную недооценку духовного богатства, содержащегося в великом герценовском творении.

Именно потому, что «Былое и думы» — классическое *художественное* произведение, в нем изображение действительности неотрывно от воплощения идеала, от стремления к той полноте человеческого духовного развития, которая вырабатывается на путях к будущему.

Герцен отнюдь не ограничивает себя позицией и ролью историка и даже мыслителя-политика. Он властно вмешивается не только в современную ему идейную жизнь, но и строит духовный художественный мир, который захватывает и будет захватывать своей красотой и обаянием наше и будущие поколения.

Именно поэтому так глубоко определение, данное этому роману Ольгой Берггольц: «гениальный роман о человеческом духе» [2].

И в жизни и в своем творчестве Герцен стремился к «образованию характера свободного человека» (10, 208), к обновлению человека. Было время, когда он новых свободных людей пытался видеть именно и только в самом себе и в узком кругу близких. Такое воззрение и отразилось в известной мере в книге «С того берега». Но в «Былом и думах», исходя из множества собранных здесь и реалистически воспроизведенных характеров, конфликтов и черт, из всей столь многообразной картины духовной жизни, Герцен ищет «свободного человека» как исто-

---

[1] См. монографию Л. Гинзбург «Былое и думы» Герцена», Гослитиздат, 1957; здесь подробно рассматриваются такие вопросы, как автобиографический образ и проблема личности, эволюция героя и т. д. Ср. также статью Лидии Чуковской «Былое и думы» («Дружба народов», 1962, № 4).

[2] Ольга Берггольц, Дневные звезды, изд. «Советский писатель», 1960, стр. 47.

рически формирующийся характер, отражающий движение человечества к будущему, к социализму.

В полноте человеческого развития, за которую Герцен неизменно боролся, он видел не разгул неосознанных влечений и инстинктов, а соединение глубины чувств и мощной страсти с ясной передовой мыслью. Он не мирился с тем, что «абсолютная непреложность страстей» ведет к тому, что стирается «всякий разумный контроль, всякая ответственность, всякое самообуздание».

По словам Герцена, «...покорение человека неотразимым и неподчиненным ему силам — дело совершенно противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся разными путями все социальные учения» (10, 208).

Именно потому что Герцен глубоко и широко смотрел на человека, ему, как художнику, давалось всестороннее изображение духовной жизни людей, человечества.

Герцен обладал исключительным даром прослеживать движение идейной жизни в ее исторической конкретности, на различных ступенях развития и в наследственных национальных наслоениях ее.

Мудро и веско звучат следующие слова из главы «Былого и дум», посвященной Роберту Оуэну: «Каждый человек опирается на страшное генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая; за нами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана — всемирной истории; мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу, и нет ее, «разве него», а с нею мы можем быть властью» (11; 252—253). Здесь замечательно метко схвачена именно сложнейшая преемственная связь человеческого мышления, которую Герцен умел воплощать в образах своих современников.

И с другой стороны, автор «Былого и дум» умел выразить и «закрепить», если использовать выражение А. Твардовского, всю непосредственность и свежесть детских впечатлений и чувств, сохраненных и лелеемых памятью взрослого. Вспомним вечер в Васильевском, эти минуты «благочестия, тишины и поэзии» (8, 74).

И все неисчерпаемое многообразие чувств, мыслей и исканий, переполняющих «Былое и думы», от глубокого философского и аналитического проникновения в сложнейшие противоречия действительности до бездумно-

непосредственного душевного движения, все это охвачено стремлением к полноте ума и сердца, к «новой жизни».

Герцен умел воплощать те черты духовной жизни прошлого и настоящего, которые свидетельствовали о еще только потенциальных возможностях «человечески-сильного и человечески-прекрасного развития» (10, 212). Поэтому автор «Былого и дум» выступает перед нами в «Былом и думах» не только как глубокий и блестящий критик всяческой духовной ограниченности, посредственности и бедности, но и как светлый художник, зовущий к коренному обновлению духовной жизни человечества.

Автор «Былого и дум» учит жить, думать, чувствовать полно, прекрасно и ярко. Как бы тяжел и драматичен, даже трагичен ни был душевный опыт самого Герцена, он, как писатель, обладает даром врачевать душевные раны. Герцен учит ценить счастье, лучшие минуты жизни, не отвлекаясь ради внешнего и поверхностного от главного, самого ценного в ней.

Герцен пишет, рассказывает о своей семейной жизни: «...Как человеческая грудь богата на ощущение счастья, на радость, лишь бы люди умели им отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость — весь этот сор, который к полудню жизни наносит суета и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их и невесть сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрошеная, с обычной щедростью своей,— и пить, и пить, пока чаша не перешла в другие руки: природа долго потчевать и предлагать не любит» (8, 380).

Герцен умел ценить одиночество, необходимое для напряженного труда, и счастливое одиночество любящих. Но он не замыкался в нем. Говоря о жизни во Владимире, он пишет: «...В этом одиночестве грудь наша не была замкнута счастием, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви» (8, 378).

Герцен всей своей жизнью доказал свою способность мощно, творчески трудиться. Он искал в труде высокого

наслаждения, но видел вокруг себя тот труд, который порабощает человека: «В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается...» (11; 232, 233).

По словам Герцена, «развитие, собственно, и состоит из стремления к *лучшему* от обычного. Вся история состоит из этой борьбы, и если большая часть человечества не имеет истории, то это потому, что жизнь их совершенно подчинена обычаю» (11, 71).

Всей своей жизнью, всем своим творчеством Герцен и воплотил это стремление к лучшему, к новому человеку.

2. Образы и стиль

Трудно даже в чисто количественном отношении обозреть ту удивительную по своему разнообразию галерею типических характеров, которая создана Герценом в «Былом и думах». Представители различных революционных поколений и столпы реакции; пропагандисты передовых идей и идеологи либерализма; русские дворянские революционеры и французские буржуазные демократы; духовные вожди своего времени и рядовые интеллигенты; виднейшие деятели мировой культуры и простые люди; русские разночинцы и пролетарии Западной Европы; духовно растущий человек из народа и холопы — «фанатики рабства»; помещики-крепостники и их рабы; царь, его вельможи и сатрапы и правители буржуазной республики; теоретики революции и практики-революционеры; революционные вожди и «хористы революции»; рабочие-революционеры и крестьяне-повстанцы; естествоиспытатели и артисты; поэты и историки; финансовый король и мелкие буржуа; православный архиерей и католический священник; люди героической целеустремленности и люди неудавшиеся, «лишние»; дальновидные мыслители и дилетанты; дешевые оптимисты и пошлые скептики, и т. д.— такова лишь небольшая часть тех людей, которые проходят перед читателем в «Былом и думах».

Стержнем идейных исканий Герцена после 1848 года был вопрос о закономерностях исторического развития, о том, каково историческое обоснование наступления светлого будущего, наступления социализма. Для Гер-

цена-художника наиболее интересны были поэтому люди, идеи, факты, дающие ему материал для решения этого вопроса.

Герцен хорошо сознавал своеобразие своего подхода к изображению людей. В «Письмах к будущему другу» он говорит: «Каждая эксцентрическая жизнь, к которой мы близко подходили, может дать больше отгадок и больше вопросов, чем любой герой романа, если он несуществующее лицо под чужим именем. Герои романов похожи на анатомические препараты из воска. Восковой слепок может быть выразительнее, нормальнее, *типичнее;* в нем может быть изваяно все, что знал анатом, но нет *того, чего* он *не знал,* нет дремлющих в естественном равнодушии, но готовых проснуться ответов,— ответов на такие вопросы, которые равно не приходили в голову ни прозектору, ни ваятелю. У слепка, как у статуи, все снаружи, ничего за душой, а в препарате засохла, остановилась, оцепенела сама жизнь, со всеми случайностями и тайнами... Кстати, вторые лица, едва набросанные, стоящие на дальнем плане, нравятся нам обыкновенно больше героев просто оттого, что автор не дает себе труда их изобретать. Это все соседи, приятели, слуги, путешествующие incognito» (18, 87). Герцен и считал своей задачей «снимать маски и портреты» с «эксцентрических» людей.

А в статье «Еще раз Базаров» Герцен писал: «Типы легко схватывают различия, для резкости в них увеличивают углы и выпуклости, обводят густой краской пределы, обрывают связи — переливы теряются... К тому же мы грузим на плечи типов больше, чем они могут вынести» (20, 341).

В первую очередь Герцена привлекали не столько законченные, резко выраженные массовые типы людей, являющихся наиболее полным выражением *существующих* и устоявшихся общественных отношений, сколько люди, своими думами, сомнениями, колебаниями, «переливами» отражающие переходный характер эпохи. Он упорно искал в действительности ростки нового, сам не зная, какими они окажутся, и поэтому он особенно жадно присматривался к «эксцентрическим» людям, надеясь у них найти «готовые проснуться ответы» все на те же, так волновавшие его вопросы. Ведь Герцен ясно видел массовое в жизни, например рядовых буржуа, «оптовых»

идеологов буржуазии. «Люди нынче выделываются гуртовые, оригиналов в Европе нет» (12, 332),— писал он в «Оба лучше», деля всех этих «гуртовых» людей на два разряда: «Барнумов (Барнум — знаменитый в то время делец-антрепренер, опубликовавший свои воспоминания), олицетворяющих практику, «прозу буржуазного века», и Орасов (Орас — герой одноименного романа Жорж Санд), представляющих идеологию, риторику, фразеологию и «поэзию» буржуазии. Герцен хорошо понимал, что «главный балласт всех эмиграций, особенно французской, принадлежит буржуазии». Однако детальное изображение одного или нескольких из этих «гуртовых» людей его мало привлекало, им он по большей части дает яркую, но сжатую характеристику и переходит затем к людям «эксцентричным», «сорвавшимся с своей торной гуртовой дороги».

Сатирически рисуя врагов передовой мысли и русского народа, Герцен по большей части давал лишь их внешний облик, подчеркивая холод, жестокость, отсутствие какого-либо живого душевного движения и работы мысли в этих всевластных и ничтожных людях. Таковы, например, многочисленные характеристики Николая I.

Вместе с тем в определенных случаях Герцен считал необходимым давать и более детальную зарисовку таких людей. Таков, например, портрет И. Г. Головина, в лице которого Герцен рисует характер человека, *претендующего* на роль в революционном движении, а на деле крепкими корнями связанного со старой барской Россией. В нем «соединилось все ненавистное нам в русском офицере, в русском помещике с бездною мелких западных недостатков, и это без всякого примирения, смягчения, без выкупа, без какой-нибудь эксцентричности, каких-нибудь талантов или комизмов» (11, 405).

В выдающихся, передовых, «эксцентрических» людях Герцен видел яркое отражение определенных типических черт национального характера, тех или иных существенных сторон идейной жизни данной эпохи или назревающих тенденций общественного развития. В этих людях воплощается сила и красота духа и мысли.

Когда Герцен говорит, что в Белинском, «этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская натура», то этот образ является не только *оценкой* деятельности великого публициста, но приобре-

тает подлинную *художественную реальность*. Мы видим, как преображается Белинский в споре, в борьбе, в столкновении с врагами: «Он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль» (9, 31). Здесь воплощен человек, смело и решительно стремящийся вперед, беззаветно отдающийся борьбе за светлое будущее своей родины.

Вдохновленный передовыми идеями, растущий, борющийся и неустанно идущий вперед человек — таков идеал красоты в понимании Герцена. В одном письме к сыну Герцен говорит: «Высокое значение всей истории — страстная борьба... Чем смелее, чем безумнее человек чертит свое будущее, тем шире становится он» (XI, 209). Словом «безумнее» Герцен подчеркивает, что свойством подлинно передового человека должен быть дар далеко провидеть потребности, выдвигаемые общественной борьбой, ставить себе великие цели в этой борьбе и тем самым смело чертить свое будущее.

Красота борьбы, роста, рождения нового всегда имела могучую силу над Герценом.

Следует при этом, однако, иметь в виду, что в силу особенностей эпохи и своего мировоззрения Герцен не мог до конца оптимистически изобразить силу и красоту духовного роста простого человека, а также создать на первом плане «Былого и дум» широкие картины народной жизни, хотя последняя и ощущается здесь как та почва, с которой связаны передовые люди. За безобразием буржуазного общества Герцен долго не различал пробивающиеся ростки нового, возникающие на основе рабочего движения и деятельности его вождей.

Рост и подъем рабочего движения отразились лишь в заключительной части «Былого и дум», притом бегло и вскользь, знаменуя вместе с тем очень важный этап в эволюции мировоззрения и эстетики Герцена.

Портретная галерея «Былого и дум» привлекает разнообразием, богатством тем и красок: величавые образы Гарибальди и Оуэна, нежный силуэт любимой, иронические зарисовки деятелей 1848 года сменяют друг друга.

Многообразны использованные здесь художественные средства. Перед нами глубоко индивидуализированные характеры, и собирательные характеристики, поэти-

ческие образы, и сатирические определения, а порою лишь беглые, но чрезвычайно выразительные упоминания. Герцен владел поистине неисчерпаемыми возможностями определения самой сущности характера, в нескольких словах очерчивая образ, схватывая самое основное и определяющее в облике человека.

Герцен был мастером литературного портрета. Тургенев писал об этой способности Герцена: «В характеристике людей, с которыми он сталкивался, у него нет соперников» [1]. По большей части Герцен-портретист очень лаконичен: житейский облик и интеллектуальная характеристика того или иного «эксцентрического» современника, несколько ярких эпизодов, порой анекдотов и диалогов, переданных со всей живостью разговорных интонаций,— таковы обычно элементы герценовского портрета.

Но это немногое дано с таким глубоким и блестящим остроумием, с такой концентрированной выразительностью, с такими содержательными и эффектными сопоставлениями, что созданный Герценом рисунок, в котором существенна каждая черточка, пронизывается *пафосом истории* и становится отправной точкой для *больших и глубоких обобщений, для характеристики целых эпох и поколений.*

Так, например, герценовский портрет Гарибальди как бы иллюстрирует слова Энгельса о том, что Италия «...произвела величественные характеры недосягаемо-классического совершенства, от Данте до Гарибальди» [2].

Из житейского облика Бакунина вырастает обобщающая характеристика демагога-заговорщика, который «тяготился долгим изучением» действительности и ничему не научился после 1848 года. Неповторимо индивидуальное сочеталось здесь с обобщенно типическим.

Герцен обладал удивительно емкой и точной *художественной памятью.* Свои детские, отроческие и юношеские годы он сумел спустя 20—30 лет описать в «Былом и думах» с поражающей конкретностью. Художественная память Герцена была органическим элементом его твор-

[1] Цит. по сб. «Русские писатели о литературе», изд. «Советский писатель», 1939, стр. 367.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Об искусстве, изд. «Искусство», М.—Л. 1937, стр. 244.

ческой фантазии. Герцен, вспоминая о прошлом, рисуя встреченных им людей, творчески воссоздал в «Былом и думах» целый мир, отражающий явления подлинной действительности.

Напомним один из самых замечательных портретов, созданных Герценом, портрет Т. Н. Грановского:

«В 1840 году, бывши проездом в Москве, я в первый раз встретился с Грановским... Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы — все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и не увлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему... Грановский был одарен удивительным *тактом* сердца... В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтиться... Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание; мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово... Грановский сумел в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили... Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду» (9; 121—124).

Эти строки Герцена, конечно, самое подлинное и высокое искусство; в них человек мысли и его искания стали предметом гениального художественного изображения. Своеобразие мировоззрения Грановского встает перед нами и во внешнем его облике, и в «такте сердца», сочетающемся с нравственной твердостью. Герценовский рисунок отличается необыкновенным умением найти художественно-конкретные, внешне зримые средства воплощения духовного склада Грановского. Под пером Герцена «заговорило» и молчание Грановского. «Мысль его (Грановского.— *Я. Э.)*,— писал Герцен,— не имея права высказаться, проступала... ярко в чертах его лица...»

Художественная конкретность в этом интеллектуальном портрете соединяется с исторической *точностью,* с умением связать облик Грановского с идейной жизнью его времени, дать представление о нем как о типе деятеля и мыслителя той эпохи. Мы узнаем и о своеобразной, связующей роли Грановского среди участников русских кружков 40-х годов; Герцен объясняет нам, почему Грановский, ни в чем себе не изменяя, сумел сохранить кафедру в самые страшные годы николаевской реакции.

Отдельные, яркие, но еще беглые черты характеристики Чаадаева, встречающиеся в сочинениях Герцена, предшествовавших «Былому и думам», перерастают здесь в цельный, рельефный, как бы выгравированный на меди портрет. «Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет,— все равно, надобно было проснуться. Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай... Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала—но еще ни до чего не доходила. Говорить было

опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать... lasciate ogni speranza...[1] Долго оторванная от народа часть России пострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было *что-то* на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал *что*. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?.. Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской high life[2]. Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его; он одевался очень тщательно; бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе; тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным *veto,* живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой» (9; 139—142).

В этих строках достигнуто органическое слияние портрета Чаадаева с характеристикой его знаменитого «Письма». Сущность этого выступления и идейной позиции Чаадаева отражается во всем его облике, в выражении, в чертах его лица, гениально схваченных Герценом-художником. Соответствие это передано изумительно тонко, изящно, без малейшего нажима и надуманности и вместе с тем точно, конкретно, ясно. Самое «Письмо» и

---

[1] Оставьте всякую надежду.
[2] Высшего общества.

произведенное им впечатление охарактеризованы рядом ярких, проникнутых сильным чувством образов — «выстрел, раздавшийся в темную ночь»; «безжалостный крик боли и упрека»; «сигнал, зов на помощь» и т. д. Мысль Чаадаева стала здесь предметом художественного изображения, она неразрывно сплетена со всем обликом и характером ее носителя.

Отличительной чертой написанных Герценом портретов передовых русских людей является глубокое и тонкое соответствие между их обликом, личностью, переживаниями и характером их идей. Герцен характеризует социальные истоки и корни тех или иных мыслей, он связывает их с бытом, с социальными отношениями, группами и сословиями того времени.

В изображаемых им людях Герцен умел схватить наиболее общественно значимое, самое существенное с точки зрения отражения в этом человеке тех или иных сторон русского идейного развития и русской народной жизни. Говоря в одном письме о своей работе над воссозданием образа Н. А. Захарьиной, Герцен писал: «Мое восстановление верно, и только отпало то, что должно отпасть: случайное, ненужное, несущественное» (VIII, 379). Для характеристики творческого художественного заострения фактов действительности Герценом можно привести следующее сопоставление.

В одном письме 1857 года к Мейзенбуг читаем: «Русская эмиграция продолжается; один гвардейский капитан явился по-военному,— говорит: будучи в Лондоне, счел своим долгом представиться.— Я тотчас принял тон генерала» (IX, 21—22).

Этот эпизод послужил для иллюстрации «эпохи... цветения и преуспеяния» «Колокола» («Апогей и перигей»). Но в «Былом и думах» гвардейский капитан превратился в полковника, в «колонель рюс».

И, разумеется, такое превращение гвардейского капитана в армейского «колонель рюс» не было произвольным, в образе полковника было заложено более широкое сатирическое обобщение.

Гвардейский капитан, конечно, умел говорить по-французски и был, вероятно, вполне светским человеком.

Полковник же — неотесанный крепостник; даже реформа представляется ему «преждевременной», но он считает необходимым явиться к «модному» тогда редак-

тору «Колокола», который в глазах «колонель рюс» приобретает как бы права некоего начальства.

И так создается следующий исключительный по юмористическому блеску диалог (перевод французских слов дается в скобках):

«...Часов в десять утра я слышу снизу густой и недовольный голос:

— *Ме дит комса — колонель рюс вё вуар.* (Скажите просто: русский полковник желает видеть.)

— Monsieur ne reçoit jamais le matin et... (Барин никогда не принимает по утрам и...)

— *Же пар демен.* (Я завтра уезжаю.)

— Et votre nom, monsieur... (Ваше имя, сударь?)

— Mais *ву дире колонель рюс* (Да вы скажите: русский полковник),— и полковник прибавил голосу.

Жюль был в великом затруднении. Я спросил сверху, подошедши к лестнице:

— Qu'est ce qu'il y a? (В чем дело?)

— *Се ву?* (Это вы?) — спросил полковник.

— Oui, c'est moi. (Да, это я.)

— Велите, батюшка, пустить. Ваш слуга не пускает.

— Сделайте одолжение, взойдите.

Несколько рассерженный вид полковника прояснился, и он, вступая вместе со мной в кабинет, вдруг как-то приосанился и сказал: «Полковник такой-то; находясь проездом в Лондоне, поставил за обязанность явиться».

Я тотчас почувствовал себя генералом и, указывая на стул, прибавил: «Садитесь» (11; 295—296).

Таким образом, Герцен, реализуя свое шутливое замечание: «я принял тон генерала», усиливает эффект, создавая гротескную фигуру неуклюжего армейского полковника, «по-нижегородски» коверкающего французский язык, а по-русски неизменно впадающего в тон казарменной субординации.

Герцен был великим мастером в использовании анекдотических [1] эпизодов для больших обобщений. Он подверг изменению действительный факт именно потому,

---

[1] Слова «анекдот», «анекдотический» употребляются здесь в том смысле, в котором их применяли Герцен и его современники, то есть как рассказ о забавном, интересном и подлинном случае из жизни или истории.

что «колонель рюс» вырастал в обобщение, показательное для *характера* определенных сторон успеха «Колокола» в те годы: «Кого и кого мы не видали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтобы стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит...» Ведь тогда Герцена пытались использовать в своих целях не только либералы, но и такие люди, как этот полковник, надеявшийся своими советами повлиять на направление «Колокола».

В творчестве Герцена счастливо сочетались идейная целеустремленность и смелое художественное воображение.

Белинский в одной из последних своих статей дал глубокое определение того художественного значения, каким могут обладать воспоминания, отличающиеся «верной и точной передачей... действительных событий». По его словам, «...мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собою. Что же общего между вымыслами фантазии и строго историческим изображением того, что было на самом деле? Как что? — Художественность изложения! Недаром же историков называют художниками. Кажется, что бы делать искусству (в смысле художества) там, где писатель связан источниками, фактами и должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как можно вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фантазия. Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более, как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание» [1].

В «Былом и думах» ярко сказался дар Герцена от «частного» переходить к общему, обобщать описываемые им «частные», конкретные явления, очерченные им факты, показать изображенных им людей в глубокой перспективе общественной жизни.

Свою собственную жизнь и жизнь встреченных им и в том или ином отношении замечательных и характерных для эпохи людей Герцен рассматривал как явления, принадлежащие истории и поэтому подлежащие широкому литературному, публичному обсуждению.

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 316.

В этом отношении очень показательно одно письмо Герцена к В. С. Печерину 1862 года, в котором автор «Былого и дум» упоминает о своем очерке, посвященном судьбе этого русского интеллигента, сломленного гнетом николаевского царствования, решившегося спастись бегством из царской России, но загнанного отчаянием в католический монастырь. Герцен пишет Печерину: «Если вы будете строго судить, что я в моих записках приложил ваши письма, я смиренно приму замечание ваше и скажу только, что я тоже в своих записках напечатал письма Гюго, Карлейля, Мишле... Между людьми, открыто действующими на своих путях, не может быть чисто (личных) приватных отношений...» [1]

В «Былом и думах» портреты изображенных Герценом людей неотделимы от вызванных ими философских и публицистических раздумий.

Так, характеристика Прудона, в частности ограниченности и реакционности его воззрений на положение женщины в семье и обществе, ведет к философскому и публицистическому «Раздумью по поводу затронутых вопросов», а эта страстная речь, отстаивающая освобождение женщины от унизительных уз феодальной и буржуазной семьи, предваряет историю «одной борьбы и одной победы» — историю борьбы и победы Натальи Александровны в связи с пережитой ею и Герценом семейной драмой.

Портреты деятелей международной демократической эмиграции глубоко и тонко связываются с характеристикой уже отходящих в прошлое идейных традиций и особенностей той или иной национальной культуры.

В «Былом и думах» огромную роль играет лирика мысли, лирика идейных исканий.

Приведем лишь один пример из множества возможных. В «Роберте Оуэне» Герцен призывает к глубокому изучению исторических процессов и предостерегает от наивного оптимизма, от утопических представлений о том, что история должна выполнить задачи, навязываемые ей человеческой мыслью. При этом с замечательной художественной убедительностью он показывает, как много дает безбоязненное изучение исторической действительности, какой переворот вызывает это во всем миро-

[1] «Литературная газета», 1955, № 5.

ощущении людей. «За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения — по крайней мере разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас... Это страшно много! Детский хлам, который мы утрачиваем, не занимает больше, он нам дорог только по привычке. Чего тут жалеть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотом веке сзади или о бесконечном прогрессе впереди, чудотворную склянку св. Януария или метеорологическую молитву о дожде, тайный умысел химических заговорщиков или natura sic voluit (природа так хотела.— *Я. Э.*)? Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокруг все колеблется, несется; стой или ступай, куда хочешь, ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Вероятно, и море пугало сначала беспорядком, но как только человек понял его бесцельную суету, он взял дорогу с собой и в какой-то скорлупе переплыл океаны» (11; 245—246).

Как писала Л. Гинзбург, в «Былом и думах» «ощутимым становится самый процесс протекания мысли»[1].

Герценовская лирика, поэзия мысли передает все душевные процессы, вызванные рождением, становлением, развитием мысли. Мы ощущаем живой трепет человеческого существа, напряжение всех его сил, стремлений, внутреннюю борьбу, сомнения, колебания и всепобеждающее движение вперед.

В «Былом и думах» органически соединились все характерные для творчества Герцена элементы: воспоминания о прошлом и думы о будущем, художественные зарисовки и публицистические экскурсы, шутливые анекдоты и скорбные раздумья, эпиграммы в прозе и философские обобщения.

И. С. Тургенев, вскоре после первого знакомства с отрывками из «Былого и дум», написал Герцену: «Решительно оказывается, что собственно твое призвание — писать такого рода хроники.— Это в своем роде стоит Аксакова»[2]. Герцен не мог с ним согласиться, так как видел в «Былом и думах» не только воспоминания, но и

---

[1] Л. Гинзбург, Герцен — создатель «Былого и дум», «Звезда», 1945, № 2, стр. 134.

[2] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 94.

злободневное, действенное произведение. Он ответил: «Я не думаю, чтобы ты был прав, что мое призвание писать такие хроники, а просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы, не стесняясь, en abusant de la parenthèse (злоупотребляя вводными, вставными предложениями.— *Я. Э.*)... Это — просто ближайшее писание к разговору: тут и факты, и слезы, и хохот, и теория, и я... делаю из беспорядка порядок единством двух-трех вожжей, очень длинных...» (VIII, 379). Наиболее ярко художественный талант Герцена проявился в автобиографическом повествовании. Так сложился новый жанр, особенно благоприятствующий тому живому воплощению личности и идей Герцена, которое, как мы видели, еще Белинский считал определяющей чертой его художественного таланта. Жанр этот легко вмещал самые разнообразные эпизоды, истории, анекдоты. Недаром Герцен рассказ об Энгельсонах назвал в рукописи «вставочным романом» [1]. «Былое и думы» явились высшей, представляющей собой новое качество, но подготовленной всем предыдущим развитием, ступенью литературного пути Герцена.

В сопоставлении с прозой Толстого, Достоевского и даже Тургенева проза Герцена в «Былом и думах» производит впечатление необычайной нарядности. Она насквозь лирична, проникнута чувствами и настроениями самого автора, высказываемыми с откровенностью, присущей только большой духовной силе, все равно, то ли в гордом ликовании или непринужденной веселости, то ли в страстном негодовании или горьком познании собственных ошибок. Герцен заявлял: «Досадно, что я не пишу стихов. Речи об этом крае (средиземноморское побережье.— *Я. Э.*) необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами вовеки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... едва очерченная и замеченная форма, чуть слыш-

---

[1] См. варианты этой главы «Былого и дум» в десятом томе Собрания сочинений Герцена изд. АН СССР. Некоторые «вставочные» эпизоды вошли в окончательный текст «Былого и дум» в значительно измененном виде. Ср., в частности, варианты в одиннадцатом томе того же издания (подготовка текста С. С. Борщевского, А. М. Долотовой и М. А. Соколовой).

ный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии...» (8, 346). Но проза Герцена порою так гибка, так богата оттенками и теми «высокими» образами, которые обычно кажутся лишь достоянием поэзии, что убеждаешься в способности прозаика передать и «лепет сердца», и «шепот фантазии».

В «Былом и думах» стиль и язык Герцена наиболее богаты, многоцветны, красочны. Герцен указывал: «Умственное совершеннолетие начинается для человека только тогда, когда его слог установливается и принимает свой последний склад» (17, 364). Сущность этого «последнего склада» у себя Герцен и видел в «ближайшем писании к разговору». Синтаксис Герцена в «Былом и думах» нередко отличается неожиданным и как бы небрежным соединением неполных предложений, но этим самым и передается непринужденный «писание-разговор». Так, например, рисуя вымогательства царской полиции и чиновничества, Герцен пишет в «Былом и думах»: «Складчину... или начнется следствие о мертвом теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замерзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут последнюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; советнику надобно жить, да и детей воспитать: советник — примерный отец...» (8; 252—253).

Герцен писал: «Слова, как гуртовые платья, впору до «известной степени» *всем* людям одинакого роста и плохо одевают каждого *отдельно*» (10, 275). Сам он всегда умел находить точные слова, которые действительно могли «одеть» данного человека и выразить то или иное психологическое состояние. Характеризуя свои отношения с женой после ее разрыва с Гервегом, Герцен говорит о «святом времени примиренья» и тут же замечает: «Нет, не *примиренья,* это слово не идет». И далее, как бы беседуя с читателем, он ищет слово, которое действительно подходило бы к данному положению. «Нам нельзя было мириться: мы никогда не ссорились — мы страдали друг о друге, но не расходились... Мы походили скорее на людей, оправляющихся после тяжкой горячки, чем на помирившихся...» (10, 275).

Живость, непринужденность, конкретность, блеск и

метафорическое богатство, которыми отличается «разговорный» стиль Герцена, тесно связаны с характерным для этого стиля разнообразием лексических слоев.

Мы видим, как у Герцена поэтическая лексика переплетается с философскими и публицистическими формулами, просторечие с научной терминологией, архаизмы с галлицизмами.

Для его прозы характерно, например, соединение элементов поэтического словаря и терминов точных наук.

Так, создавая в «Былом и думах» портрет венгерского демократа Кошута, Герцен говорит сначала об «особенном романически задумчивом характере» его лица, о его «печально-кротком взгляде», в котором «сквозил не только сильный ум, но глубоко чувствующее сердце», о «задумчивой улыбке и несколько восторженной речи». Далее Герцен характеризует «верность взгляда», присущую Кошуту: «Он очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон; что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным» (11, 24—25).

Остроумно и убедительно использует Герцен математические термины, создавая поэтический образ юности. «Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет, а тут любовь, найдено *неизвестное,* все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво; постороннее и тут не бьет: они *даны* друг другу — кругом хоть трава не расти!» (9, 9).

Образы народных поверий, слова просторечья Герцен свободно включал в свою речь, в «разговор» передового человека. Делясь своими впечатлениями от новой книги Пьера Леру, Герцен пишет: «Домовой душил... Действительно, словно кто-то душит, сон не ясен, но очень страшен, дыхание трудно, а дышать надобно вдвое, пульс поднят, сердце ударяет тяжело и скоро... За вами гнались, гонятся по пятам не то люди, не то привидения, перед вами мелькают забытые образы, напоминающие другие годы и возрасты...» Затем Герцен говорит, что «книга эта — бред поэта-лунатика, у которого... *разум* не сохранился или если и уцелел, то для того, чтобы идти

вспять... переходя из мыслей в фантазии, из истин в мистерии, из выводов в мифы, из знания в откровение» (11; 496—497).

У Герцена встречается шутливое применение ботанической классификации к делению полицейских на «тайнобрачных» и «явнобрачных», то есть принадлежащих к тайной и наружной полиции (16; 233—234).

Стиль Герцена изобилует каламбурами, пародийными выпадами, шутками. Но хотя все эти стилистические элементы, так же как и бесчисленные сравнения и метафоры Герцена, воспринимаются как украшения его стиля, тем не менее они пронизаны идейной целеустремленностью. Вспомним для примера каламбур Герцена, направленный против холопствующего перед царизмом «благородного российского дворянства»: «Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями» (8, 36).

Очень правильно сказал Тургенев о Герцене, что «остроумнее и умнее (две вещи разные, не всегда совместимые) у нас писателя не было»[1].

Как подлинный новатор в литературе и языке, Герцен, создавая сложную многоцветную словесную ткань своих произведений, обогащал русский язык новыми словами, необычными словообразованиями и словосочетаниями, вносил новый смысл и новые оттенки в традиционное словоупотребление. Но он всегда оставался верен духу родного языка, который он так великолепно понимал и чувствовал. Именно это качество языка Герцена пытались оспаривать его идейные враги. С. П. Шевырев, представитель самого реакционного крыла славянофильства, поместил в 1848 году в «Москвитянине» два списка «искандеризмов», то есть характерных для Герцена неологизмов, словоупотреблений, словосочетаний, из «Кто виноват?» и «Писем из Avenue Marigny». Шевырев обвинял Искандера в том, что он «грубо... обращается» (IV, 464) с русским языком, по сути же дела Шевырев выступал против демократической свободы и смелости герценовского языка. Среди «искандеризмов» были и малоценные, объясняемые скорее задором новатора, чем чуткостью к строю и потребностям развития

[1] Сб. «И. С. Тургенев», Центрархив, Гиз, 1927, стр. 36.

русского литературного языка. Но несомненно, что в целом новаторство Герцена было плодотворно и помогало этому развитию.

Герцен прилагал бытовые образы к отвлеченным понятиям и формировал обобщающие понятия из слов бытового обихода. Шевырева шокировали, например, такие выражения: «жизнь задавила в нем не одну возможность», «резкие черты его лица» (IV, 462). Возмущало Шевырева употребление Герценом слова «раскрытость» наряду с «выразительностью, легкостью, умом, чувством». Осуждал Шевырев, как галлицизм, выражение «рассказывать направо и налево» (IV, 465), слово «бессистемно» (IV, 466), словоупотребление «попадья была *непроходимо* глупа» (IV, 464) и другие обороты, которые затем прочно вошли в речевой обиход.

Впоследствии в «Былом и думах» Герцен славно отплатил Шевыреву, следующим образом охарактеризовав его слог: «...дутый, губчатый, вроде неокрепнувшего бланманже и в которое забыли положить горького миндалю, хотя под его патокой и заморена бездна желчной, самолюбивой раздражительности» (9, 165). Герцен применил здесь как раз те языковые средства и приемы, которые так возмущали Шевырева, показав блестящий образец характеристики «высокого» слова Шевырева с помощью просторечия и бытового словаря.

Язык Герцена, особенно в «Былом и думах», получил высокую оценку великих русских писателей.

Тургенев так передавал свое впечатление от языка Герцена: «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело»[1]. Он писал Герцену: «Язык твой легок, быстр, светел»[2].

Лев Толстой, говоривший об «удивительном языке» Пушкина, который «он так смело и свободно поворачивает, куда ему угодно, и всегда попадает в самую точку», заметил, сопоставляя язык Пушкина и Герцена: «Герцен не уступит Пушкину... Где хотите откройте, везде превосходно»[3].

---

[1] «Русские писатели о литературе», т. 1, стр. 367.

[2] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», стр. 105.

[3] Цит. по статье Н. Н. Гусева «Толстой и Пушкин», «Октябрь», № 1, 1937, стр. 242, 248.

Горький писал, что язык Герцена «исключителен по красоте и блеску» [1].

Герцен стремился писать «Былое и думы» так, чтобы «провести черту по сердцу читающих». Он достиг этого. Этот труд, такой кровный и такой страстный, действительно «пахнет живым мясом». Сам Герцен признавался, что каждое слово главы, рисующей размолвку с Грановским, «просочилось сквозь кровь и слезы» (IX, 81).

Язык Герцена в «Былом и думах» — непреходящий образец русской прозы. По «Былому и думам» Маркс учился русскому языку. 22 января 1870 года Маркс писал Энгельсу: «Итак, Герцен умер. Как раз в то время, когда я окончил главу *«Тюрьма»* и т. д.» [2]. Слово «Тюрьма» Маркс написал в этом письме по-русски.

Герцен был в своей прозе в большей степени лириком, нежели кто-либо из великих реалистов, его современников. Необходимо, однако, отметить отличие «Былого и дум» от герценовской лирической прозы, знакомой нам по «Концам и началам». В автобиографии лиризм вошел органическим и чрезвычайно важным элементом в произведение *эпического* склада.

В центре «Былого и дум», в отличие от «Концов и начал», широкая панорама жизни и длинная галерея портретов.

Но эпичность «Былого и дум» глубоко своеобразна.

Здесь не возникает ощущения того, что перед нами, как, например, в «Войне и мире», течет сама жизнь и что картина эта воссоздана как бы без помощи писателя, о личности которого читатель даже склонен забывать. С другой стороны, эпичность реалистического изображения действительности отличает «Былое и думы» от гейневской романтической и лирической прозы.

«Былое и думы» проникнуты подлинным и глубоким историзмом, объективная достоверность изображенного несомненна. Но вместе с тем мы всегда чувствуем и видим автора, активного участника описываемых событий, глубокого наблюдателя и аналитика, проникновенного художника и историка.

В герценовском лиризме звучат мотивы, близкие лирике Пушкина. Особенно тесно связывает Герцена с

---

[1] М. Горький, История русской литературы, стр. 206.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 281.

Пушкиным поэзия революционной дружбы, основанной на единстве идей, мечтаний и стремлений. Эпистолярная проза и незавершенная пушкинская автобиография также вызывает параллели с «Былым и думами»[1].

В сатирических мотивах «Былого и дум» ощущается продолжение и эпиграмматической и каламбурной традиции пушкинской сатиры, а также традиций русской и западноевропейской памфлетной литературы. Но здесь же, особенно в тех частях, которые посвящены изображению русской жизни, в бытовых эпизодах и связанных с ними диалогах порой обнаруживаются и отдельные черты, родственные Гоголю и предвосхищающие Щедрина (вспомним, например, образ Тюфяева, похожего на бульдога), хотя, разумеется, юмор, ирония и стиль Герцена сохраняют все свое своеобразие.

Создавая «Былое и думы», Герцен стремился к «новому направлению» (12, 316) в литературе, противопоставляя свои стилевые устремления *«сознательно*-гоголевскому направлению» (12, 316), то есть изображению бытовых отношений, как центральной задаче. Он искал и находил стиль, дающий свободу лиризму, историко-философским обобщениям, языку.

В этих отношениях художественные пути «Былого и дум» перекликаются со стилевыми исканиями Льва Толстого. Проза Герцена имеет точки соприкосновения и с той мягкой и тонкой литературной живописью, блестящие образцы которой создал Тургенев.

Герцен является также одним из тех писателей, которые оказали наибольшее влияние на формирование стиля той идейно целеустремленной, интеллектуально насыщенной прозы, которая характерна для революционно-демократической литературы.

Герцен в «Былом и думах» выступает как представитель критического реализма середины века, в творчестве которого изображение «несовершенств» действительности особенно тесно сочетается со светлым «пушкинским» воплощением всего лучшего и яркого, что связано с деятельностью первого поколения русских революционеров, с духовной жизнью передовой интеллигенции.

---

[1] См. И. Фейнберг, Незавершенные работы Пушкина, изд. «Советский писатель», 1955, стр. 337.

Творчество Герцена имеет много общего и с творчеством Гейне. Несмотря на существенные различия прозы, в центре внимания и Герцена и Гейне как художников стояла лирическая «исповедь» передового человека в период революции 1848 года, отражение истории в его судьбах.

«Былое и думы» — важный шаг в развитии реалистической литературы XIX века, каждый из великих представителей которой, проникая в глубь действительности, открывал новые стороны ее и по-новому освещал их.

«Былое и думы» отражают новый подъем идейности русской и мировой литературы. Герцен в одном письме к старшей дочери писал в 1867 году, что «Шиллер был великий пропагандист и делал пропаганду из всего». Здесь же Герцен отмечает особое место исторических драм в творчестве Шиллера и богатство исторического содержания драматургии Шекспира[1]. Сам Герцен давно стремился к тому, чтобы в его творчестве историзм и пропаганда сочетались воедино.

«Былое и думы» как раз и показали воочию, что глубочайший, полный неисчерпаемого познавательного богатства историзм в изображении духовной жизни людей во всех оттенках их индивидуального своеобразия, «эксцентричности» и в их тонко прослеженных связях с предшествующими поколениями может сочетаться с ясной и боевой пропагандистской политической целеустремленностью. В этом одна из важнейших особенностей, определяющих место «Былого и дум» в развитии мировой литературы.

«Былое и думы» сыграли немалую роль в подготовке того нового этапа развития реализма в России, каким явилось творчество Горького, где впервые конкретно-историческое изображение ярких, оригинальных, «эксцентрических» людей из народа во всей сложности их духовного облика[2] выступило на первый план литературы.

«Былое и думы» занимают исключительное место как в русской, так и в мировой литературе. В мировой литературе нет другого художественного произведения, в котором столь ярко была бы обрисована идейная жизнь Рос-

[1] «Литературное наследство», т. 64, стр. 612.

[2] На такое значение традиций Герцена для творчества Горького указал Б. А. Бялик (Доклад, прочитанный в Институте мировой литературы имени А. М. Горького, 1955).

сии 30—60-х годов и Западной Европы эпохи революции 1848 года [1].

«Былое и думы» — единственное великое реалистическое произведение XIX века, героем которого является глубоко и остро чувствующий и мыслящий человек эпохи революции 1848 года, освобождающийся от буржуазных иллюзий в социализме и ищущий путей к научному социализму.

Духовное влияние «Былого и дум» определялось тем, что гениальное произведение это воспитывало преданность революции и социализму, глубокое патриотическое и нравственное чувство, звало к поискам революционной теории, к овладению высотами мировой культуры. «Былое и думы» помогают и сегодня воспитывать «людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых» (9, 112), как Герцен характеризовал лучших русских людей 40-х годов, помогает воспитывать всесторонне и гармонически развивающегося нового человека.

V. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГЕРЦЕНА 60-х ГОДОВ

Переход Герцена на сторону революционной демократии не мог не сказаться и на его эстетических воззрениях.

Пройдя мучительный искус глубокого пессимизма и скептицизма, Герцен в 60-х годах приближается к новому решению того эстетического вопроса, который он перед собою многократно ставил: ознаменует ли будущая революция народных масс расцвет культуры и искусства, рост индивидуального творчества, удовлетворение эстетических потребностей личности? Взгляд на прекрасное как на ценность, доступную лишь немногим передовым людям и лишь ими творимую, стал вызывать теперь у Герцена серьезные сомнения и возражения.

Правда, в произведениях Герцена и этого периода еще прорываются пессимистические ноты в этом вопросе. В «Концах и началах» он пишет: «Красота, талант во-

---

[1] О месте Герцена-писателя в русской и мировой литературе см. мою статью «Герцен-художник и его место в русской и мировой литературе», «Литературное наследство», т. 39—40.

все не нормальны; это исключение, роскошь природы, высший предел или результат больших усилий целых поколений... В самой природе, можно сказать, бездна мещанского; она очень часто останавливается на середке наполовину — видно, дальше идти духу не хватает. Кто тебе сказал, что у Европы хватит?» (16; 138—139).

К ясному и обобщающему, полному глубокого оптимизма выводу о том, что именно массовое народное движение, возглавленное революционным пролетариатом, явится почвой для создания «искусства творческого, живого» и поможет сохранить великие ценности культуры прошлого,— к этому знаменательному выводу Герцен приходит лишь в 1869 году в письмах «К старому товарищу» (см. след. раздел наст. книги).

Но и в 1861—1868 годах, то есть еще до того, как философские, общественно-политические и эстетические воззрения Герцена совершили новый и крутой подъем, он выступает с такими оценками некоторых жизненных явлений и произведений литературы и искусства, которые отражают существенную эволюцию его эстетических взглядов.

Уже в 1863 году Герцен формулирует положение, противоречащее его былым пессимистическим заключениям: «Люди гораздо больше поэты и художники, чем думают» (17, 105). А в «Былом и думах» он высказывает убеждение, что «стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить» (10, 212). Здесь же он упоминает о «человечески прекрасном развитии» (11, 250).

Особенно важно то, что теперь убеждение Герцена в поступательном развитии искусства не связывается лишь с верой в передовую интеллигенцию.

Как известно, долгое время Герцен придавал слишком большое значение «исключительному развитию», расцвету личности немногих передовых людей.

Постепенно же для Герцена стало ясно, что «македонской фалангой» человечества является не узкий круг передовой интеллигенции, как то ему представлялось в «Дилетантизме в науке», а революционный пролетариат, который он в письмах «К старому товарищу» назовет «македонской фалангой работников».

На собственном тяжком и мучительном опыте, на собственных ошибках Герцен убедился в том, что «частной

жизнью не много сделаешь, ее нельзя выдавать за норму». Только в революции «отрицание (то есть отрицание старых жизненных, этических и эстетических норм и утверждение новых.— *Я. Э.*) — не личное, не исключительное... а открытое противудействие старому и водворение нового... Все это невозможно для отдельного лица... и всего невозможнее, когда оно идет от эстетических целей» (20, 603).

Герцен имеет в виду попытки, типичные для узкого круга дворянской интеллигенции, утвердить «частную жизнь» как идеал красоты, не считаясь с общественными условиями, в которых живет народ, исходя лишь из субъективных «эстетических целей».

Только активность народных масс сумеет коренным образом изменить жизнь, сделать ее прекрасной и светлой для всех, создать новое искусство и превратить его в мощный фактор общественного развития — к таким выводам приближается Герцен.

Чрезвычайно интересны те оценки архитектуры Миланского собора, которые содержатся в письмах Герцена Тургеневу и Мейзенбуг от декабря 1867 года. Он писал Тургеневу: «Я смотрю на эту мраморную беловежскую чащу здешнего собора. Такого великого, изящного вздора больше не построят люди» (XX, 117). В письме к Мейзенбуг Герцен говорит, что ему «еще ни разу не довелось видеть такую каменную глупость, как этот огромный мраморный собор, такой безумно-прекрасный, бесцельно-возвышенный, сталактито-сумасшедший» (XX, 116).

Видя в искусстве воплощение творческих сил человека, Герцен полагал, что поступательное художественное развитие человечества явится одновременно и развитием идейным, интеллектуальным. Поэтому-то Герцен и считал, что «великий изящный вздор», «безумно-прекрасный, бесцельно-возвышенный» окажется чуждым эстетическим устремлениям людей и духу будущего искусства.

Углубление эстетических воззрений Герцена отражалось в его революционно-демократическом учении о народности и о национальном характере передового искусства.

Для Герцена, так же как для Белинского и других великих революционных демократов, искусство отражает и раскрывает в своем развитии лучшие черты националь-

ного, народного характера. Подлинное искусство всегда носит яркий национальный отпечаток, в этом сказывается его мощь, темперамент, патриотизм.

Важнейшим, определяющим качеством передового, подлинно творческого искусства Герцен считал правдивое отражение им назревающих потребностей народной жизни. «Поэт и художник,— писал Герцен,— в истинных своих произведениях всегда народен. Что б он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера... Поэты в самом деле, по римскому выражению,— «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, *что неизвестно, что есть* в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем».

Герцен не раз иллюстрировал эту свою мысль примерами из различных областей литературы и искусства. Так, он писал здесь же о Шекспире: «Все, что искони существовало в душе народов англосаксонских, перехвачено, как кольцом, одной личностью,— и каждое волокно, каждый намек, каждое посягательство, бродившее из поколенья в поколенье, не отдавая себе *отчета,* получило форму и язык» (9, 37).

В национальном своеобразии искусства Герцен умел увидеть отражение конкретно-исторических особенностей развития идейной, духовной жизни нации.

Поступательному развитию эстетических воззрений Герцена способствовала его вера в родное русское искусство, его окрепшее в 60-х годах убеждение в том, что будущее принадлежит искусству, проникнутому народным демократическим духом.

«Пора,— говорит Герцен в статье «Император Александр I и В. Н. Каразин» (1862),— дворянству, искусственно поднятому немецкими машинами над общим уровнем в своем водоеме, слиться с окружающим морем (то есть с народным морем.— *Я. Э.*). К фонтанам приглядились, и Самсон не удивляет своим стержнем воды из львиной челюсти рядом с бесконечностью морской зыби.

Петергофский праздник кончен, куртажная пиеса в костюмах сыграна, лампы тухнут и чадят, водометы едва сочатся — пойдемте домой!» (16, 75).

Герцен по-прежнему свято чтит традиции дворянской

революционности, они воплощены для него в образах, овеянных истинной красотой, непреходящим эстетическим значением. В этой же статье он писал: «Сказание о декабристах становится больше и больше торжественным прологом, от которого все мы считаем нашу жизнь, нашу героическую генеалогию. Что за титаны, что за гиганты и что за поэтические, что за сочувственные личности! Их нельзя было ничем ни умалить, ни исказить: ни виселицей, ни каторгой, ни блудовским донесением, ни корфовским поминаньем...

Да, это были люди!..

Как утомленный Фауст обращался за отдыхом и миром к вечно изящным типам матерей, так наше молодое поколение обращается за родной силой и крепительным примером к этим отцам» (16; 72—73).

Но для Герцена бесспорно, что теперь перед молодым поколением 60-х годов стоят новые задачи, что наступило время, когда передовая культура и искусство должны нести на себе печать исторической активности народных масс. При этом Герцен — и это чрезвычайно знаменательно — решительно отвергает либерально-просветительские представления о том, что народ следует «поднять» до уровня барской дворянской культуры. Он замечает саркастически: «Народу слишком много, чтоб его в самом деле можно было поднимать в 14 класс, и вообще каждый народ имеет сильно определенный физиологический характер, который и самые завоевания редко изменяют. До тех пор, пока мы будем принимать народ за глину, а себя за ваятелей и с нашего *прекрасного высока* лепить из него статую à l'antique[1], на французский лад, на манер английский или на немецкую колодку, мы в народе ничего не встретим, кроме упорного безучастия или обидно страдательного повиновения» (16; 75—76).

Герцен отнюдь не объявляет себя сторонником послушного следования за стихийным потоком народной жизни. Он отмечает, что «само собою разумеется, мы многое можем указать народу» (16, 76), но, как революционный демократ, он осознал ясно, что самодеятельность народных масс должна прийти на смену той культуре и искусству, которые были созданы передовым дворянством.

---

[1] Во вкусе древних.

В русском искусстве Герцен и видел отражение «пророчествующих радуг» нового мира.

Так, говоря о «Грозе» Островского, Герцен утверждает, что мир, изображенный здесь,— «социальный слой, лежащий ниже образованного общества» (18, 219), таит в себе обещание иной жизни. Таково то чувство, которое сумел вызвать драматург. А в статье, вызванной известием о смерти Щепкина, Герцен писал: «Щепкин и Мочалов... принадлежат к тем *намекам* на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России» (17; 268—269).

В «Иване Сусанине» Глинки Герцен также видел отражение мощной силы русских крестьянских масс. «Кто не помнит оперу Глинки? — писал он.— С одной стороны великорусское село, мир в сборе — мужички толкуют о земском деле, о земской беде... поются унылые песни хором, тишина, бедность, грусть и в то же время готовность постоять за свою землю. С другой — польская ставка, все несется в мазурке, шпоры гремят, сабли гремят, притоптывают каблуки... а за ставкой опять поля, поля, избушки на косогоре, дымящиеся овины, тихий хоровод под бесконечную песню... и мужичок, оттачивающий топор на супостата» (18; 304—305).

Герцен писал в 1860 году в «Колоколе» об организованных при его содействии в Лондоне концертах русской музыки дирижера князя Ю. Н. Голицына: «Концерты кн. Ю. Н. Голицына имеют решительный, огромный успех,— со второго концерта обширная зала... была полна. Англичане были удивлены, увлечены и провожали треском и громом все пьесы. Эстетическое нашествие русских звуков идет от победы к победе. Концерты кн. Голицына чисто *русские,* и в этом-то их серьезное значение. Богатая натура наша высказывается тут с своей мощной стороны. Наша музыка не является скромно просить внимания своей оригинальности и какого-нибудь гражданства — она врывается разом, вооруженная *Бортнянским и Глинкой,* заявляет себя энергически и самоуверенно под партизанским начальством искусного вождя» (14, 291).

В русском искусстве Герцен видел воплощение «Руси нарождающейся, Руси вольной, юной, живой».

Говоря о передовой роли русского искусства, Герцен

отнюдь не ограничивается ссылкой на мощные силы русского народа, «русской натуры». Он указывает на глубокую правдивость, идейность, высоту стремлений, демократическую целеустремленность русского искусства.

Герцен неоднократно подчеркивал мировое значение русского искусства XIX века. Своей преданностью передовым идеям, активным воздействием на общественную жизнь, верностью народу и глубоким реализмом оно, по неизменному убеждению Герцена, играло огромную роль в мировом художественном развитии.

Остро ставит Герцен вопрос о классических традициях и новаторстве современного искусства. «Ты... находишь,— пишет он,— что исторически выработанный быт европейских бельэтажей один соответствует эстетическим потребностям развития человека... что искусство на Западе родилось, выросло, ему принадлежит и что, наконец, другого искусства нет совсем»[1]. Герцен при этом и не думает отрицать непреходящего значения великих классических художественных произведений, созданных западноевропейскими народами в прошлом. Этими творениями наслаждается человек; искусство способно доставить удовлетворение, подобное личному счастью,— «в искусстве мы наслаждаемся, в нем цель достигнута, это тоже *концы*» (16; 134, 135).

Но, с точки зрения Герцена, человек, удовлетворяющийся только «концами» культуры и искусства, то есть наследием прошлого, далек от подлинной живой современности своего народа. Эпоха, страна, неспособные развивать «начала» новой, будущей культуры, мертвенны, застойны. «Вызывать постоянно усопших, повторять Бетховена, играть «Федру» и «Аталию» очень хорошо, но ничего не говорит в пользу творчества. В скучнейшие времена Византии на литературных вечерах читали Гомера, декламировали Софокла; в Риме берегли статуи Фидиаса и собирали лучшие изваяния накануне Генсерихов... Где же новое искусство, где художественная инициатива?» (16, 135).

Для Герцена передовой художник и писатель не толь-

[1] По-видимому, в этих строках из «Концов и начал» Герцен полемизировал с некоторыми высказываниями Тургенева, склонного, например, недооценивать творчество Александра Иванова. (См. И. С. Зильберштейн, Репин и Тургенев, изд. АН СССР, 1945, стр. 53—135.)

ко наблюдатель и исследователь, а вместе с тем и участник общественной жизни. Подлинно новое творческое искусство играет, по убеждению Герцена, огромную активную роль в действительности. Оно помогает народу осознать свои стремления, пути своего развития, оно формирует человеческую душу и сказывается на всем характере жизни, внося в нее художественный элемент. Такое искусство, достигая трагической мощи, очищает и возвышает человека.

Иронически писал Герцен о буржуазных «беллетристах, живших в риторике, художниках, живших в искусстве для искусства и для денег» (16; 132—133), о сторонниках «чистого искусства» — этих «ларпурларчиках» (от французского l'art pour l'art), как он их шутливо и презрительно называл (XI, 81). Такое падение искусства Герцен связывал с сущностью буржуазного общества.

В «Концах и началах» Герцен писал, что «искусство не брезгливо, оно все может изобразить, ставя на всем неизгладимую печать дара духа изящного и бескорыстно поднимая в уровень мадонн и полубогов всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму: сонную лужу под деревом, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопое, нищего мальчика, обожженного солнцем. От дикой, грозной фантазии ада и страшного суда до фламандской таверны с своим отвернувшимся мужиком, от Фауста до Фобласа, от Requiem'а до «Камаринской» — все подлежит искусству... Но и искусство имеет свой предел. Есть камень преткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец». Этим «камнем преткновения» Герцен считал «мещанство», буржуазию, жизнь и быт которой не могут быть изображены поэтически. По его словам, «весь характер мещанства, с своим добром и злом, противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре, и только всему человеческому присущие страсти могут, изредка врываясь в мещанскую жизнь или, лучше, вырываясь из ее чинной среды, поднять ее до художественного значения» (16; 135—136).

Правда, В. В. Стасов в статье, посвященной Всемирной выставке 1862 года, выступает (как то впервые отметила в еще не опубликованной работе С. Д. Лищинер) с критикой тех, кто «боится за будущность искусства», явно имея в виду Герцена (которого он называет «одним

из гениальнейших писателей нашего времени») и цитируя при этом (без ссылки на источник) «Концы и начала»[1]. Разногласия эти отразились также в письме Герцена Стасову от 5 сентября 1862 года (XV, 467).

Полемика эта требует специального анализа, тем не менее уже сейчас можно сказать, что Стасов, пытавшийся отрицать опасность, которую для искусства представляет буржуазный уклад, был менее прав, нежели Герцен, подчеркивавший эту угрозу и ставивший вместе с тем перед будущим искусством подлинно титанические задачи, не мирясь с тем, чтобы искусство ограничивалось изображением повседневности буржуазного общества.

Герцен не закрывал глаза на то, что некоторые талантливые художники в поисках выхода стремились отойти от действительности, от злободневных вопросов современности. Это были представители того искусства, которое «с отчаяния отворачивается от людей и рисует звериные драмы и портреты скота, как Ландсир и Роза Бонер». Но по отношению к их творчеству Герцен не испытывал симпатии или серьезного интереса, он видел в них людей духовно сломленных, не нашедших пути вперед.

Герцен продолжал в своем творчестве лучшие традиции революционного романтизма и прежде всего присущую последнему устремленность вперед, к будущему, но некоторые стороны этого направления вызывали у него критическое отношение. Ведь это направление (у различных своих представителей, в разной форме и степени) всегда характеризовалось — по сравнению с реализмом — стремлением подняться над действительностью, той или иной долей субъективизма.

Революционные романтики склонны были идеализировать тех своих героев, которые являлись рупорами их собственных идей, симпатий и настроений.

Высоко ценил Герцен роман Гюго «Отверженные» за его демократический и гуманистический пафос, критикуя его вместе с тем с позиций реализма[2].

В «Концах и началах» Герцен на примере «Отвер-

---

[1] В. В. Стасов, Избранное, т. II, изд. «Искусство», 1951, стр. 262 и след.

[2] О взаимоотношениях Герцена и Гюго см. исследование М. П. Алексеева «Виктор Гюго и его русские знакомства», в т. 31—32 «Литературного наследства», стр. 777 и след.

женных» указывает на субъективизм творческого метода «великого ритора и поэта» Гюго. Герцен говорит о «мучительных, но ненужных и чисто субъективных страданиях» Жана Вальжана, этого «идеала каторжника» с его «лирической, личной сосредоточенностью» и «натянутым существованием».

Герцен отнюдь не отрицает того, что в этом образе правдиво воплощена неподдельная боль угнетенного человека, что в лице Жана Вальжана изображена «внешняя борьба доброго, несчастного зверя, травимого целым гончим обществом», но, в основном и главном, внутренне и идейно, с точки зрения Искандера, герой Гюго «в сущности, чрезвычайно слабый человек» (16, 154).

В целом эстетические воззрения Герцена 60-х годов показывают, что он все более упорно искал пути к такому искусству, которое стало бы достоянием народа и было им творимо. Он все более последовательно связывал грядущий рост такого искусства с перспективами развития массового революционного движения.

VI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

(1867—1870)

Личная жизнь.— Судьба «Колокола».—Эволюция мировоззрения.— Последняя часть «Былого и дум».— Беллетристика 1868—1869 годов.— Письма «К старому товарищу»

Много мучительно тяжкого пришлось пережить Герцену в эти последние годы своей жизни. В его письмах и записях в дневнике конца 60-х годов легко найти самообвинения, глубоко и даже безысходно пессимистические оценки своих отношений с Н. А. Огаревой-Тучковой, с детьми, всего создавшегося в семье положения, резко обострившегося в середине 60-х годов. Герцен не достиг в воспитании своих детей тех высоких целей, которые он ставил перед собой. Он хотел видеть в них преемников своего революционного дела. Но сын Герцена все больше погружался в свои естественнонаучные занятия и отдалялся от русской революционной деятельности. Младшая дочь Ольга, воспитанная Мейзенбуг, превращалась в иностранку. Герцен мечтал, что его старшая дочь станет «представителем нашей русской деятельно-

сти» (XXI, 413), что в жизни его детей «амур проклятый», всепоглощающие личные страсти не будут играть «первой роли». И все эти мечты не осуществились. Старшая дочь пережила тяжелую личную драму, она, по собственному выражению, нашла «своего Гервега» (XXI, 515). Идейно-политическими наследниками Герцена его дети не стали. С горечью писал сыну Герцен в 1869 году: «Я в вашем иностранном круге — иностранец», то есть русский патриот (XXI, 410).

Новые осложнения в семье вызвала дочь Герцена и Натальи Алексеевны — Лиза, родившаяся в 1858 году. Отец страстно любил эту девочку, унаследовавшую от него обаяние и живость, но непомерно своенравную и увлекающуюся; горячо привязан был к ней и Огарев. Мать же относилась к Лизе с чувством ревнивой собственницы, пыталась отдалить ее от отца, как бы мстя ему за отсутствие любви к ней самой. В сущности, семья Герцена распалась; между старшими детьми Герцена и Натальей Алексеевной легла труднопроходимая грань. Последняя же мучилась сама, каялась и все-таки мучила близких, доходя, по-видимому, даже до ревности к памяти Натальи Александровны, оскорбляя тем самым благоговейное чувство Герцена и его старших детей.

Тяжкими противоречиями семейной жизни объясняются многие горькие и печальные строки в письмах и дневниках Герцена конца 60-х годов. Герцен обвиняет себя в распущенности (XIX, 409), в том, что брак с Натальей Алексеевной привел его и Огарева к «темному окончанию» (20, 609).

На основе такого рода высказываний делались попытки (в этом повинен в ранних своих работах и пишущий эти строки) изображать Герцена человеком, потерявшим твердую почву под ногами, горько переживавшим безысходное одиночество и как бы фатально шедшим навстречу смерти. Это совершенно неверно. Именно эти годы, действительно столь трудные для Герцена не только в личной, но и в общественной жизни, показывают еще раз, до какой степени неистощимой была его энергия и неутомимой его мысль, как упорно и постоянно Герцен шел вперед.

Сурово расценивая свою личную жизнь 60-х годов, справедливо видя в своих несчастиях не только результат случайного стечения обстоятельств, но и отражение

«среды и времени нашего развития» (20, 609), Герцен тем самым отнюдь не подводил мрачный итог всей своей жизни. Он хорошо понимал, что пробудил к деятельности гораздо более широкое революционное поколение, чем то, к которому принадлежал сам. Герцен прошел многие трудные и мучительные испытания, получил при этом тяжкие раны, но остался верен тем стремлениям и идеалам, которые воспринял с юношеских лет.

За несколько лет до своей смерти Герцен по-прежнему производил на людей, встречавшихся с ним, впечатление необычайной живости, энергии, силы, блеска. Известный художник Н. Ге в следующих словах рисует нам Герцена в 1867 году: «Небольшого роста... с прекрасной головою, с красивыми руками; высокий лоб, волосы с проседью, закинутые назад без пробора; живые умные глаза энергично выглядывали из-за сдавленных век, нос широкий, русский, как он сам назвал, с двумя резкими чертами по бокам; рот, скрытый усами и короткой бородой; голос русский, энергичный... Герцен мало-помалу овладел всем нашим обществом... он доминировал над всеми. Речь его была блестяща и увлекательна»[1].

Герцен, остро и болезненно переживавший личные невзгоды, никогда вместе с тем не замыкался в этих несчастьях и превосходно чувствовал биение пульса общественной жизни. В одном из проникнутых скорбью писем к Мейзенбуг, в котором он писал о тяжелом положении в семье, Герцен восклицает: «А вокруг буря, все растущая буря,— вот это утешает. Мы кое-что еще снова увидим» (XIX, 103).

В эти годы Герцену не только в личной, но и общественной жизни пришлось пройти через тяжелые испытания. Герцен должен был отдать себе отчет в том, как велики препятствия, вставшие перед вольной русской печатью в конце 60-х годов.

«Колокол» выходил в Женеве до 1 июля 1867 года, когда исполнилось его десятилетие. Тогда же Герцен и Огарев объявили о приостановке издания на полгода, до 1 января 1868 года. А в ноябре Герцен и Огарев опубликовали сообщение о том, что «Колокол» будет выходить с 1 января по-французски, ориентируясь не только

---

[1] Цит. по книге «Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка», сост. В. В. Стасов, М. 1904, стр. 160.

на русского, но и на иностранного читателя. (Следует заметить, что еще в 1862 году в Брюсселе на французском языке периодически стала издаваться «La cloche» («Колокол»), содержавшая переводы статей и материалов из герценовского «Колокола». С этим изданием сам Герцен не был связан вовсе.) В первом номере французского «Колокола» («La Kolokol») Герцен прямо признал уменьшение своего влияния в России и столь же правильно увидел в этом отражение того, что «Колокол» выполнил свою историческую миссию. Герцен писал: «Что касается до нашей русской речи, мы сказали почти все, что имели сказать, и слова наши не прошли бесплодно. Мы умеем узнавать их эхо и отражение, как бы звуки и черты ни были искажены. Одна из наших великих наград состоит именно в том, *что мы меньше нужны*» (20, 9).

В 1868 году вышло 15 номеров «Колокола» на французском языке. В последнем номере от 1 декабря, в форме письма Герцена к Огареву, редакция объясняла свое решение прекратить издание этого органа. Придя к этому решению, Герцен по-прежнему остался верен своему убеждению в силе и росте русского революционного движения, русской передовой мысли. «Существование его («Колокола».— *Я. Э.*) становится натянутым, искусственным... Без постоянных корреспонденций с родины газета, издающаяся за границей, невозможна... Молодое поколение движется своим путем, оно не нуждается в нашем слове, оно достигло совершеннолетия — и знает это. Другим же нам сказать нечего». И Герцен подчеркивает: «Есть молодежь, столь глубоко, бесповоротно преданная социализму, столь преисполненная бесстрашной логики, столь сильная реализмом в науке и отрицанием во всех областях клерикального и правительственного фетишизма, что можно не бояться — *идея не погибнет.*

Мы принадлежим, и ты и я, к числу старых пионеров, «утренних сеятелей», вышедших лет сорок тому назад, чтобы вспахать почву, по которой промчалась дикая николаевская охота на людей, уничтожая всё — плоды и зародыши. Семена, унаследованные небольшой кучкой наших друзей и нами самими от наших великих предшественников по труду, мы бросили в новые борозды, *и ничто не погибло*» (20; 399—400).

Герцен имел полное право и основание заявить: «Спо-

койно покинем мы наше журналистское поприще, никем не побежденные, никем не опереженные» (20, 401).

«Колокол» и за последний год своего существования был, так же как и другие герценовские издания этого периода, полон идейно богатым, значительным содержанием.

Выступления Герцена в последних номерах «Колокола» по-прежнему были проникнуты боевым духом. Об этом в особенности свидетельствует большая статья «Пролегомена», написанная в конце 1867 года и напечатанная в № 1 французского «Колокола». Статья эта содержит острую критику буржуазного общества и государства. Для Герцена буржуазное государство является врагом прогресса, передовой культуры, освобождения личности. Лозунги «свободы, равенства, братства» неосуществимы при господстве буржуазии, это — иллюзии буржуазной демократии. «Неприкосновенность личности вступала в столкновение с безоговорочным покровительством, которое государство оказывало собственности... Не существует *равенства* при неравенстве развития, между верхами, залитыми светом, и массами, погруженными во мрак. Нет *братства* между хозяином, который пользуется и злоупотребляет своим правом имущего, и работником, который используется и подвергается злоупотреблениям потому, что он неимущий» (20, 59). Герцен разоблачает лицемерные фразы буржуазии и ее идеологов о морали и религии. «Нравственность, семья. Какая нравственность? Нравственность порядка, *существующего* порядка, нравственность почитания властей и собственности: все остальное — фиоритуры, орнаменты, декорации, сентиментализм и реторика».

Религия, с точки зрения Герцена, орудие в руках господствующих классов. Это «крепкая узда для масс, самое страшное пугало для простаков». Религия мешает «народу ясно видеть то, что происходит *на земле,* заставляя его возводить взор к небесам» (20, 60).

Религия и мораль буржуазного общества помогают лишь охранять собственность его хозяев. Буржуазным революциям, не давшим народу свободы и счастья, Герцен противопоставляет будущую *«подлинно радикальную революцию»* (20, 58).

В этой связи Герцен по-прежнему развивает народ-

нические взгляды, возлагая свои надежды прежде всего на русскую общину, которая, освободившись, сумеет дать простор и личной независимости крестьянина. Он опасается кровавой борьбы и мечтает о «великом соборе», «без различия классов» (20, 78), как будто реакция в России готова добровольно уступить свою власть.

Но Герцен признает, что «русский социализм», основанный на крестьянской общине, является лишь «одним из решений» социального вопроса (20, 65).

В отличие от позднейших народнических теоретиков 70—80-х годов, идеализировавших крестьянскую патриархальность, Герцен уже понимал, что разрыв крестьянина в пореформенное время с узостью прежнего своего существования является исторически прогрессивным.

Герцен приветствовал проявления того «подъема чувства личности, чувства собственного достоинства», который, как указывал Ленин, принесла с собою «именно пореформенная Россия»[1]. В статье «Пролегомена» говорится: «Сельская община и личность сельского жителя чрезвычайно далеко шагнули вперед в России с 1861 года. Находившийся в зачаточном состоянии принцип *самоуправления,* раздавленный полицией и помещиком, начинает все более и более избавляться от всех пеленок и свивальников; избирательное начало укореняется, мертвая буква становится реальностью. Староста, общинные судьи, сельская полиция — все избирается, и права крестьянина простираются уже далеко за пределы общины. Он является ее представителем на общегубернских собраниях, в суде присяжных, и надобно читать газеты, чтобы знать, как он там действует» (20; 66—67). Но Герцен не отдавал себе отчета в том, что пробуждение народных масс России было связано с капиталистическим развитием, разрушавшим крепостнические устои и разлагавшим общину.

Глубоко сожалея о том, что жизнь за рубежом не дает ему возможности непосредственно увидеть, понять и оценить все новые черты русской жизни, Герцен чрезвычайно живо воспринимал все доходившие до него и существенные в этом смысле факты. Он начинает, в частности, все внимательнее присматриваться к явле-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 394.

ниям, предвещающим развитие русского рабочего движения.

Проницательно и чутко подмечает и приветствует Герцен в 1866 году идею молодых революционеров о пропаганде между «фабричными работниками-крестьянами» (19, 199). (Эти замыслы обнаружились при производстве следствия среди московской молодежи по делу покушения Каракозова на Александра II.)

В «Пролегомена» Герцен упоминает об организации молодой русской интеллигенцией *«воскресных школ и ассоциаций работников и работниц»* и видит в этом мост «соединения города с деревней» (20; 75, 76), соединения двух течений социалистического движения.

Герцен хорошо отдавал себе отчет в том, как резко изменилась в 60-х годах идейная жизнь России. «Масса идей, идеалов, вопросов, сомнений, фактов, ринутых в оборот, в общее брожение... изумительна», — писал он в 1867 году (20, 11).

Он был убежден в том, что «русское *движение* не приостановлено» (20, 53). Большой сдвиг, как уже отмечалось выше, Герцен видел в сближении, намечающемся между народом и передовой интеллигенцией. Об этом Герцен говорит в «Пролегомена». Прошло то время, когда в русском революционном движении, как то было в 30—40-х годах, большую роль играла интеллигенция, не знавшая народа. Тогда «у нас при нашем бессилии имелось лишь одно оружие — ученье, лишь одно утешение — ирония» (20, 73). Становится очевидным рост народа, его движение вперед — «огромная человеческая масса пробуждается, исполненная силы, здоровья» (20, 67). Теперь революционное «реалистическое меньшинство встречается с народом на почве социальных и аграрных вопросов» (20, 71).

В своей родине Герцен видел страну, в которой «при всех мелочах и темных сторонах будущность закипает в колоссальных размерах» (XXI, 410).

В нем до последних лет жила надежда вернуться на родину. В 1866 году он говорит в письме к Огареву: «А пожалуй, мы еще и будем в России... Лишь бы без ран на спине и не частным проходом, а общей дверью» (XIX, 78), то есть благодаря революции, которая откроет двери эмигрантам-революционерам. Но и за границей Герцен чувствовал и знал, что «всеми фибрами

своей души принадлежит русскому народу; я тружусь для него, он трудится во мне» (20, 19).

Если в конце 60-х годов публицистическая деятельность Герцена оказывается поставленной в более узкие рамки, чем прежде, то именно в эти годы его мысль приходит к выводам, знаменующим новый высший этап его идейного развития: в политике, в философии и в эстетике он переоценивает движущие силы действительности.

Герцен всегда был убежден в том, что «в науке нет откровения, нет постоянных догматов; все в ней, напротив того, движется и совершенствуется. Наука вызывает и созидает своих вождей, подчиняется их влиянию и проходит мимо, не давая им патента на изобретение, не создавая им майоратов из своих всем открытых областей» (XXI, 292). Герцен не походил на вождя в отставке, которого обогнали события и молодое поколение и который плетется в хвосте истории. Он сказал как-то, что считает «самым смертным грехом» быть несвоевременным.

Герцен чувствовал себя борцом и мыслителем, воплощающим преемственность русской революционной и материалистической традиции, передающим великие заветы будущему.

В статье «Еще раз Базаров» (1868) Герцен заявлял: «Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству, уважение к Западу и революции, веру в возможность переворота в России, страстное желание участвовать в нем, юность и непочатость сил.

Все это переработалось, стало иным, но основы целы.

Что же наше поколение завещало новому?

Нигилизм...

Нигилизм... это наука без догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не превращает *что-нибудь* в ничего, а раскрывает, что *ничего,* принимаемое за *что-нибудь,* — оптический обман и что всякая истина, как бы она ни перечила фантастическим представлениям,— здоровее их и, во всяком случае, обязательна» (20; 346, 349).

«Нигилизм» для Герцена — материалистическое, научное мировоззрение, сила которого отнюдь не только в отрицании: «нигилизм, — говорит Герцен, — стремится всеми своими побуждениями к созиданию» (XXI, 290).

В своих философских воззрениях Герцен все больше освобождался от ограниченности антропологического материализма. Об этом свидетельствует философское письмо к сыну 1868 года. Здесь Герцен пишет: «...ты слишком упрощенно решаешь вопрос, который выходит за пределы физиологии. Физиология мужественно выполнила свою задачу, разложив человека на бесконечные действия и противодействия и сведя его к скрещению, вихрю рефлективных актов. Пусть она позволит теперь социологии восстановить его цельность. Социология вырвет человека из анатомического театра и возвратит его истории... Задача физиологии состоит в том, чтобы проследить жизнь от клеточки до мозговой деятельности. Она оканчивается началом сознания, она останавливается у порога истории» (XXI; 5, 6).

Менялись взгляды Герцена и на движущие силы действительности, на роль передового сознания. В этом отношении крайне существенны некоторые высказывания Герцена в том же философском письме к сыну.

«Ход развития истории, — пишет Герцен, — есть не что иное, как постоянная эмансипация человеческой личности от одного рабства вслед за другим, от одной власти вслед за другой, вплоть до наибольшего соответствия между разумом и деятельностью, — соответствия, в котором человек и чувствует себя свободным». Совершенно очевидно, что для Герцена, «казнившего» в себе, по его собственному выражению, всякого рода просветительские верования, это «наибольшее соответствие между разумом и деятельностью» является плодом объективного хода развития действительности по направлению к социализму и связанного с этим процессом роста передового сознания. Личность, в своей общественной роли, является по отношению к действительности *«клеточкой социальной ткани»* (XXI, 7), причем как раз материалистическое познание природы и истории дает личности глубокое и трезвое сознание своей активной общественной роли.

Герцен решительно подчеркивает огромное значение революционной теории, способной глубоко изучить дей-

ствительность и ход исторического развития. В этом смысл его критики в письмах «К старому товарищу» упрощенного противопоставления революционного слова и революционного дела: «Как будто *слово* не есть *дело?*.. Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической *попутности*» (20; 587, 588).

Соответственно эволюции философских воззрений углублялся в эти годы и материалистический характер эстетических взглядов Герцена. В философском письме к сыну Герцен указывает, что развитие искусства может быть объяснено лишь его конкретно-историческими, социальными корнями, а не с позиций естественнонаучного материализма. Герцен пишет: «Социальный человек ускользает от физиологии... Все явления исторического мира... основываются на физиологии, но идут дальше ее. Возьмем, например, эстетику. Прекрасное, разумеется, не составляет исключения из законов природы: невозможно воспроизвести его без вещества, невозможно почувствовать его без органов. Но ни физиология, ни акустика не могут дать теории художественного творчества» (XXI; 6—7).

Естественно, что Герцен приходил к все более последовательным выводам и в вопросе о громадной воспитательной, формирующей человеческую психологию, роли искусства. В этом отношении очень интересна статья «Еще раз Базаров», где Герцен следующим образом говорит об исторической роли «Что делать?» Чернышевского. «Странная вещь — это взаимодействие людей на книгу и книги на людей. Книга берет весь склад из того общества, в котором возникает, обобщает его, делает более наглядным и резким, и вслед за тем бывает обойдена реальностью. Оригиналы делают шаржу своих резко оттененных портретов, и действительные лица вживаются в свои литературные тени... Русские молодые люди, приезжавшие после 1862, почти все были из «Что делать?» с прибавлением нескольких базаровских черт» (20, 337).

В этой статье содержится и целый ряд других сопоставлений русской действительности XIX века и литературных типов, созданных в этот период. Герцен предостерегает от наивных представлений о том, что литературные типы *исчерпывают все* тенденции и стороны действительности.

Как всегда у Герцена, так и в этой статье, эстетический анализ тесно переплетается с политическим. Он ищет преемственные «красные нитки», связующие между собой литературные типы, передовых людей различных поколений, ибо они слишком часто рассматриваются лишь с точки зрения того, что их друг от друга отделяет. Так проявляется здесь стремление Герцена сблизиться с молодой революционной интеллигенцией.

Новый взгляд Герцена на движущие силы действительности, на перспективы и характер исторического развития, естественно отразился и в его художественных произведениях последних лет. Остановимся прежде всего на последней части «Былого и дум», отрывки из которой Герцен напечатал в 1867—1869 годах.

Быстрая смена впечатлений и картин, характерная для этой части «Былого и дум», заставляет вспомнить маршрут странствований Герцена в последние годы его жизни. Женева — Ницца — Флоренция — Венеция — Виши — Цюрих — Брюссель — Париж — таковы важнейшие пункты герценовского пути в 1867—1870 годах.

С первого взгляда кажется, что в этой части «Былого и дум» Герцен останавливается лишь на эпизодах небольшого значения. На самом же деле он дает здесь ответ на все важнейшие вопросы, которые волновали его и раньше и волнуют в это время.

Герцен еще очень осторожно и робко, но делает *оптимистические* выводы из опыта 1848—1867 годов, он понимает, насколько сам пошел вперед в познании движущих сил действительности.

«Странное дело: с 1848 года мы всё пятились да отступали, все бросали за борт да ежились, а кой-что сделалось, и все исподволь изменилось. Мы ближе к земле, мы ниже стоим, то есть тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее — может, оттого, что это — в самом деле работа» (11, 444).

Сопоставляя идейную, литературную жизнь 40-х годов, «Молодую Германию» и даже Гейне с современностью, Герцен отмечает, что ныне передовая мысль стала гораздо ближе к «низменным полям», к «стону современных человеческих трясин» (11, 445).

В главе «Даниилы» Герцен создает многозначительный диалог французского буржуазного демократа с немцем, бывшим эмигрантом, по-видимому находящим-

ся под влиянием идей Маркса. В отличие от «битых фраз» и «слезливой сентиментальности» француза, немец проповедует «разбор дела, внимание, пониманье» (11, 508) действительности и необходимость иметь ясную цель перед собою.

Гораздо более оптимистически, чем раньше, Герцен стал смотреть на будущее. Буржуазный, парламентарный, «представительный» порядок для него теперь лишь этап развития, через который суждено пройти в России.

«Представительная система в ее континентальном развитии, действительно, всего лучше идет, когда нет ничего ясного в голове или ничего возможного на деле. Это — великое *покамест,* которое перетирает углы и крайности обеих сторон в муку и выигрывает время. Этим жерновом часть Европы прошла, другая пройдет, и мы, грешные, в том числе. Чего Египет — и тот въехал на верблюдах в представительную мельницу, подгоняемый арапником» (11, 447).

Много иронических и резких штрихов находит вместе с тем Герцен для характеристики западноевропейской буржуазии. Герцен обнажает ее духовную пустоту, неуверенность в будущем, неспособность и нежелание создать общественный порядок, при котором техника и наука служили бы большинству.

Герцен подчеркивает полный крах всех буржуазно-демократических и утопически-социалистических верований и иллюзий, особенно пышно расцветших во Франции, их падение перед лицом надвинувшихся на Европу во второй половине 60-х годов грозных событий политической жизни. Герцен ощущает все яснее приближающееся «безумие, бешенство крови», он предвидит военное столкновение между Францией Наполеона III и «прусским деспотизмом». «Как только немцы убедились, что французский берег понизился, что страшные революционные идеи ее поветшали, что бояться ее нечего,— из-за крепостных стен прирейнских показалась прусская каска». Но Герцен твердо заявляет, имея в виду прусский милитаризм: «Я не верю, чтоб судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно исторической эстетике» (11, 482).

Герцен все крепче верит в грядущую победу новых, социалистических сил человечества.

Он пристально присматривается к «резкому, как альпийский воздух, виду... работничьего населения» Турина (11, 444). О положении во Франции при Наполеоне III Герцен пишет: «Беззубая оппозиция подняла свою лысую голову и затянула старую фразеологию сороковых годов: работники не верили им, молчали и слабо пробовали ассоциации, кооперации» (11; 495—496).

А в главе «Цветы Минервы» Герцен поэтически и безоговорочно приветствует молодое русское революционное поколение в лице «девушки-студента, барышни-бурша» 60-х годов: «Эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет...» (11, 464).

В первых частях «Былого и дум» светлым поэтическим ореолом озарен по преимуществу очень узкий круг русских передовых людей 40-х годов. С другой стороны, здесь содержатся мрачные и горькие слова о «толпе» — Герцен понимает под ней массу, чуждую сознательной мысли, послушную косным и отсталым инстинктам. Герцен говорит о «редких минутах, когда человек смотрит на толпу с любовью» (11, 118).

В заключительной же части «Былого и дум» наиболее поэтическими оказываются характеристики молодого русского революционного поколения и рабочих Италии и Швейцарии. Теперь для Герцена поэзия и красота являются уделом не узкого круга передовых людей, а озаряют собою борьбу гораздо более многочисленной русской революционно-демократической интеллигенции 60-х годов и западноевропейского пролетариата как авангарда народа.

Новые выводы и оценки, к которым Герцен пришел в последние годы своей жизни, выражены и в его беллетристических произведениях тех лет. При этом одно из них, «Скуки ради», связано с последней частью «Былого и дум». Важное по своей идейной тенденции заключение этого рассказа-очерка Герцен под названием «Альпийские виды» предполагал включить и в «Былое и думы».

Рассказ «Скуки ради», относящийся к 1868—1869 годам и построенный в виде цепи рассуждений, диалогов, сценок, маленьких эпизодов и очерковых зарисовок, содержит прежде всего резкое и жгучее разоблачение ограниченности и скудоумия, «театрального него-

дования и грошовой нравственности» французской буржуазии, нашедшей в Наполеоне III осуществление своего идеала «сильной власти». Отправляющееся от мелких, с первого взгляда, бытовых черт и встреч, это разоблачение перерастает в единый, во многих лицах, портрет безобразного, жирного авантюристического и глупого буржуа, стоящего уже накануне разгрома 1870—1871 годов. Его бьют в лицо жалящие, саркастические парадоксы некоего скептического доктора. Остроумный доктор не верит в методы «социальной медицины», он пытается (правда, ему это не удается) смотреть на людей, как на животных, ничем не возмущаясь, над всем посмеиваясь. Но сам Герцен не присоединяется к выводам доктора. Он указывает на социальную силу, которой принадлежит будущее,— на рабочих.

Иронически характеризуя консервативный буржуазный уклад Швейцарии и подчеркивая ограниченность женевских радикалов, Герцен рисует политическую борьбу в Женеве: «Возле огороженного поля для травли ходили безучастные работники... Новый бой не имел для них смысла — они не верили ни тем, ни другим. Оставленные противники вцепились друг другу в волосы...» (20, 484).

Герцен отчетливо понимает, что перед рабочим встала новая борьба, новые заботы, задачи, что пролетариат осознал свой особый путь в отличие от «беззубой оппозиции», от «радикальной партии».

В этой же связи любопытно, что к 1869 году относится своеобразный пародийный, шутливый и вместе с тем саркастический комментарий к «Доктору Крупову» — «Афоризмы» его ученика Тита Левиафанского. Здесь Герцен, со свойственным ему блеском диалектика и мастерством стилиста, показывает, как старые круповские мысли стали орудием наивно циничного и по-семинарски неуклюжего российского «ученого», провозглашающего незыблемым принципом общественной жизни безумие социальной несправедливости и ложь религии и мистики. Крупов разоблачал безумие реакционного социального устройства, Левиафанский его приветствует. Но откровенный цинизм последнего, по воле Герцена, также служит сатирическому разоблачению господствующего строя.

Наиболее значительное беллетристическое произведение последних лет жизни Герцена — «Доктор, умирающий и мертвые» (1869). Повесть эта дает глубокое противопоставление, с одной стороны, революционного героизма 90-х годов XVIII века в образе непримиримого якобинца, дожившего до 1848 года, а с другой — контрреволюционной и клерикальной буржуазии 40-х годов; окружающие старика отравляют ему последние дни и лицемерно пытаются инсценировать примирение его с религией. Прототипом для создания фигуры старика Ральера Герцену послужил член Конвента, якобинец Сержан, умерший в Ницце в 1847 году,— он упоминается в первом из «Писем с Via del Corso». Но Герцен придал образу Ральера обобщающее значение. Он принадлежит к «печальным Дон-Кихотам», но он, умирающий, стоит несравненно выше «мертвых», всей окружающей его буржуазной посредственности.

Сюжетные эпизоды повести обрамлены философски-политическими рассуждениями все того же излюбленного Герценом нарицательного персонажа — скептического доктора, беседующего с автором. Это произведение чрезвычайно знаменательно прямо высказанным критическим отношением Герцена к пессимизму доктора, порожденному июньскими днями и наполеоновским режимом и ведущему к разочарованию в социализме, в революционных перспективах Франции. Доктор сочувствует Ральеру, он потрясен июньскими днями, однако не видит пути вперед. Доктор для Герцена, несмотря на его умный и сильный скептицизм,— человек прошлого.

Заканчивается повесть следующими многозначительными строками: «Я прерываю философствование моего доктора... или, лучше, не продолжаю его, потому что и тут, как почти во всем — обстоятельства нагнали нас и опередили... Рассказ доктора... я писал в начале марта 1869. Через несколько месяцев гроза, давно собиравшаяся, разразилась без ударов и потрясений. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франции изменилась. Равновесие, устроившееся от начала реакции после 1848, нарушилось окончательно. Явились новые силы и люди» (20, 555). Герцен имеет здесь в виду парламентские выборы 1869 года, принесшие поражение правительству Наполеона III.

Важнейшим и заключительным свидетельством идейной эволюции Герцена являются письма «К старому товарищу»[1] (1869).

Значение этого предсмертного произведения Герцена, обращенного к Бакунину, исчерпывающе охарактеризовано следующими словами Ленина: «У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство: «Письма к старому товарищу», Бакунину, написанные за год до смерти Герцена, в 1869-м году. Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину». Но все же-таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу,* к тому Интернационалу, которым руководил Маркс, — к тому Интернационалу, который начал *«собирать полки»* пролетариата, объединять *«мир рабочий»,* «покидающий мир пользующихся без работы»!»[2].

Письма «К старому товарищу» свидетельствуют о резком переломе в воззрениях Герцена. Герцен к концу жизни понял историческую правоту Маркса. В одном из писем к Огареву 1869 года он высказывает сожаление по поводу враждебных отношений, установившихся между ним и Марксом: «Вся вражда моя с марксидами из-за Бакунина», — писал Герцен (XXI, 490).

В письмах «К старому товарищу» Герцен говорит о громадном значении изменения материальных условий

[1] Это произведение Герцена не было напечатано при его жизни и впервые появилось в «Сборнике посмертных статей» (Женева, 1870), где оно было воспроизведено крайне небрежно. В т. 61 «Литературного наследства» на основании рукописи опубликована тщательно выверенная последняя редакция писем «К старому товарищу» и варианты к ней. Здесь же В. А. Путинцев и Я. З. Черняк впервые вскрыли сложную творческую историю этого цикла и осветили связанную с ним дружескую полемику Герцена и Огарева.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 11.

жизни общества для его социалистического преобразования. «Экономический переворот имеет необъятное преимущество перед всеми религиозными и политическими революциями — в трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его — таково обращение с данным. По мере того как он вырастает из состояния неопределенного страданья и недовольства, он невольно становится на *реальную почву*. Тогда как все другие перевороты постоянно оставались одной ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и неоправданных предрассудках патриотических, юридических и пр. Экономические вопросы подлежат математическим законам» (20, 578).

Герцен приближается здесь к пониманию того, что исторические закономерности могут быть объяснены лишь на основе изучения экономики общества. В рассуждении Герцена о том, что экономические вопросы подлежат «математическим законам», сказывается стремление найти объективную основу для изучения общественных отношений. Ведь, как сказал В. И. Ленин, «...материализм дал вполне объективный критерий, выделив «производственные отношения», как структуру общества...»[1]. Стремление Герцена объяснить исторические закономерности не успело найти практического осуществления в его научной и публицистической практике, но уже одно то, что его мысль приняла такое направление, было чрезвычайно существенным и плодотворным. Герцен в этом отношении противостоит народникам-субъективистам 70-х годов. Для оценки этих взглядов Герцена показательны также критические замечания Огарева, вызванные статьей Герцена «Между старичками», представляющей собою, как показали В. А. Путинцев и Я. З. Черняк, раннюю редакцию первых писем «К старому товарищу».

С точки зрения Огарева, «старое политическое построение», то есть буржуазное общество, основано «на сословности (то есть на *экономическом промахе*)»[2]. Это была точка зрения идеалиста и утопического социалиста, которую когда-то разделял и Герцен. Теперь он возражает Огареву: «Нет, сословность не промах, а

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 122.
[2] «Литературное наследство», т. 61, стр. 195—196.

возраст. Первые зубы — не промах, а выпасть должны...» [1] А в первоначальной редакции третьего из писем «К старому товарищу» Герцен, возражая на эту же мысль Огарева, указывал: «Назвать продукт истории — хотя бы он и устарел — политическим промахом — то же, что считать лягушку — зоологическим промахом... Ты полагаешь, что современный государственный быт был политическим — без экономических оснований. Это противно... самой действительности» (20, 662) [2].

Рост массового рабочего движения убедил теперь Герцена в том, что передовая мысль, революционный авангард способен повести за собой стихийное движение народных масс. «Народное сознание так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, *сырое* произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных инстинктов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным, — изучая его, овладевая им и направляя его же средства — сообразно нашей цели» (20, 579).

Слова эти являются доказательством того, какой большой шаг вперед сделал Герцен и по сравнению с мыслями, высказанными по этому вопросу в 1861 году в «Роберте Оуэне». В письмах «К старому товарищу» он конкретизирует и углубляет положения, содержащиеся в философском письме к сыну 1868 года. В письмах «К старому товарищу» Герцен дает и следующую обобщающую формулировку: «Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие». Поэтому пути общественного развития «вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией» (20, 588).

Герцен не сомневается теперь в стремлении народа во главе с рабочим классом овладеть передовой мыслью, осуществить в своей жизни передовые идеалы: «Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с

---

[1] «Литературное наследство», т. 61, стр. 196.

[2] См. правильную характеристику позиций Герцена и Огарева в этом споре в статье В. Дорофеева «Литературное наследство» («Новый мир», 1953, № 10).

своей македонской фалангой работников, ищут слова и понимания — и с недоверием смотрят на людей, проповедующих аристократию науки» (20, 589). Герцену была чужда теория «героев» и «толпы», пропагандировавшаяся позднейшими народническими теоретиками.

Вспоминая об июньских днях, как о «примере кровавого восстания... спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени», Герцен высказывает твердую уверенность, что если теперь «новые люди снова должны идти с боем против препятствий, они пойдут, *зная, куда идут, зная, что ломают и что сеют*» (20, 662).

Прошло то время, когда для Герцена, как он о том сказал в «Дилетантизме в науке», «македонской фалангой» человечества был лишь узкий круг передовой интеллигенции.

Герцен уверенно смотрит в будущее, видя в пролетариате, в «македонской фаланге работников», могучую историческую силу, способную сохранить и развить великие культурные ценности, созданные прошлыми поколениями человечества.

Герцен все лучше чувствует и сознает силу Интернационала. Еще в 1868 году, давая отповедь «нашим врагам» — реакционерам во главе с Катковым, пытавшимся утешить себя тем, что якобы «времена социализма прошли», Герцен указывал на брюссельский конгресс Интернационала, на «немецкое рабочее движение» (20, 422) и другие признаки революционного подъема.

В письмах «К старому товарищу» Герцен отмечает «серьезный характер» и «организующий склад» «международных работничьих съездов» (20; 581, 582) [1].

«Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной», — замечает Герцен. Он убежден теперь в том, что будущий социалистический строй сохранит все прекрасное, все то, что «достойно спасения», тот «капитал» культу-

---

[1] Материал об отношении Герцена к I Интернационалу собран Б. П. Козьминым в статье «К вопросу об отношении А. И. Герцена к I Интернационалу» («Исторические записки», вып. 54).

Б. П. Козьмин приводит здесь, в частности, текст некролога, напечатанного в связи со смертью Герцена в газете женевских секций Интернационала, в том числе русской. В этом некрологе упоминается о том, что Герцен жертвовал книги в библиотеку женевских секций.

ры, в котором «оседала личность и творчество разных времен» и «скристаллизовалась история» на гибнущем корабле старой цивилизации (20; 581, 593).

Тем самым Герцен приближался к выводу, подготовленному упорными исканиями и тяжким опытом собственных ошибок, что освобождение и расцвет личности будет последствием победы народа, пролетариата.

Мировоззрение Герцена развивалось в направлении к научному социализму. В 60-х годах он увидел революционный народ в России. В итоге Герцен занимал все более правильную позицию и в вопросе о путях и условиях освобождения личности.

Эволюция Герцена отчетливо сказалась и в его воззрениях на роль государства после победы народа.

В третьем из писем «К старому товарищу» Герцен пишет: «Гегель в самом рабстве находил (и очень верно) шаг к свободе. То же — явным образом — должно сказать о государстве: и оно, как рабство, идет к самоуничтожению... и его нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста. Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям... Сословность — огромный шаг вперед, как расчленение и выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение сословности — шаг еще больший... Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции, тому, с чьей стороны сила; это — сочетание колес около общей оси, их удобно направлять туда или сюда — потому что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному центру... Из того, что государство — форма *преходящая,* не следует, что это форма уже *прешедшая...»* (20; 590—591).

Герцен рассматривает здесь государство вне материалистического понимания его, он еще не видит в нем «продукта и проявления *непримиримости* классовых противоречий»[1]. Он даже склонен сначала, как идеалист-просветитель, видеть в государстве результат неразвития, «непонимания масс». Но, применяя в данном

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 25, стр. 358.

случае диалектику к истории общественного развития, Герцен идет гораздо дальше только что высказанных им самим утверждений. Именно потому, что мировоззрение Герцена развивалось по направлению к историческому материализму, он мог прийти к выводам о государстве как об орудии того, «с чьей стороны сила», к выводам об иллюзорности и вредности для дела революции анархистской проповеди о «распущении государства».

Выводы, сформулированные в письмах «К старому товарищу», были подготовлены давними раздумьями Герцена. Еще в 1862 году в «Концах и началах» он, как мы видели, ставил вопрос о переходе от «мещанского государства» к «государству народному». А Бакунин в своей книге «Государственность и анархия», вышедшей в 1873 году, уже после смерти Герцена, высказывал свое «глубокое отвращение» к теории, рекомендующей пролетариату «основание народного государства», к теории, которую он связывал с именами Маркса и Лассаля. В своем конспекте книги Бакунина Маркс выписал это полемическое замечание последнего и исчерпывающе опроверг его. Маркс указал на то, что, придя к власти, пролетариат, «покуда существуют другие классы, в особенности класс капиталистический, покуда пролетариат с ним борется... он должен применять меры *насилия,* стало быть, правительственные меры...»[1]. Герцен и в письмах «К старому товарищу» не пришел к ясному научному, марксистскому пониманию исторической роли диктатуры пролетариата. Его представление о характере «народного государства» еще очень расплывчато, и, тем не менее, несомненно, что мысль его работала в направлении, приближавшем его к гениальным выводам Маркса. Герцен страдал известной недооценкой значения насилия в условиях массового революционного движения, но в основном письма «К старому товарищу» направлены против бунтарски-заговорщических методов, свойственных анархистам.

Герцен спрашивает анархиста Бакунина, каким образом страна, в которой произошел социалистический переворот, сумеет снять с себя «государственную опе-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 18, стр. 611.

ку», раз она окружена народами, «страстно держащимися за государство» (20, 591).

Герцен был свидетелем того, как реакционное пруссачество стало предписывать Европе законы «штыком и исполнять картечью». Он хорошо понимал, какой опасности могло бы подвергнуться «народное государство» в соседстве со страной, руководимой реакционной военщиной.

Ленин гениально увидел в письмах «К старому товарищу», в идейном разрыве Герцена с Бакуниным «пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа»[1], но сам Герцен не в состоянии был познать истинный характер этого разрыва.

Быть может, особенно отчетливо эта пропасть отражается в последнем, четвертом письме. Здесь Герцен резко выступает против «диких призывов к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения» (20, 592). Такие призывы Бакунина и других анархистов действительно отражают миросозерцание «отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа».

Этому отчаянию Герцен противопоставляет спокойную и твердую уверенность в том, что достижения культуры и науки смогут быть использованы против господствующих ныне классов: «Если наука в руках правительства и капитала — так, как в их руках войска, суд, управление», то «это не ее вина» (20, 592).

Таковы выводы, к которым Герцен пришел незадолго до своей смерти.

Последние месяцы своей жизни Герцен провел главным образом в Париже. Теперь он ждал нового подъема революционного движения в той самой Франции, которая еще недавно казалась ему безнадежно придавленной бонапартистским режимом.

Герцен говорит в одном письме: «Всюду опять начинается период борьбы. Сотрясаются последние спайки, последние столбы» (XXI, 384). Рождается предчувствие надвигающихся революционных событий в Париже. Герцен сознается: «До этой поездки у меня был излишний пессимизм, особенно к Парижу» (XXI, 494).

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 11.

Он сообщает Огареву: «Мы бродим на вулкане... всех впечатлений не передать — эта страница парижской жизни стоит томов» (XXI, 505).

А за неделю до смерти он пишет Огареву же из Парижа: «Что будет, не знаю, я — не пророк, но что история совершает свой *акт* здесь... это ясно до очевидности» (XXI, 553).

До какой степени перелом в воззрениях Герцена, укрепление его веры в революционный пролетариат Западной Европы бросались в глаза даже поверхностному наблюдателю, показывают воспоминания П. Боборыкина, встречавшегося с Герценом в 1869 году в Париже. «Чувствовалась ли в нем огорченность человека, который не нашел себе все-таки же постоянного местопребывания и сознавал, что он уже не будет значить для своих соотечественников того, что он представлял собою несколько лет перед тем? У него прорывались грустные ноты, но никак нельзя сказать, чтобы тот пессимизм, какой овладел им после июньских дней 1848 года, сделался еще сильнее или подавлял его душевные настроения. Мне кажется, что, напротив, он... стал менее мрачно смотреть на европейскую реакцию, на тогдашний бонапартизм, возлагал больше надежд на французскую молодежь... и, не превращаясь в формального социал-демократа, последователя теории Маркса, все-таки же, несмотря на долгое нерасположение к автору «Капитала»... признает Маркса великим инициатором в борьбе пролетариев с капиталистическим строем... Он ставил в великую заслугу Марксу создание «Международного союза рабочих». На... съезде этого союза, бывшем как раз в это время в Брюсселе, я был единственный русский корреспондент, сообщавший в «Голос» подробные отчеты о заседаниях этого съезда. И Герцен заинтересовался и этими отчетами...

Тогдашний Париж уже сбрасывал с себя иго Бонапартова режима, оппозиция в палате подымала голову, происходили и уличные демонстрации по поводу убийства одного молодого радикала членом императорской фамилии. Все это волновало Герцена, точно молодого политического бойца. Он ходил всюду, где проявлялось брожение, посещая публичные лекции и сходки...»[1]

[1] «Герцен в воспоминаниях современников», стр. 314—316, 443.

Но и в последние месяцы своей жизни Герцен, как всегда, был полон русскими интересами. В письмах к Огареву, находившемуся в Женеве, он обсуждает дальнейшие практические пути развития вольной русской печати; внимательно следит по журналам за русской художественной литературой — резко критикует, например, натурализм Потехина и восхищается «Повестью о том, как один мужик двух генералов прокормил» Щедрина: «Это — прелесть!» (XXI, 321). Вообще Герцен, так же как и Огарев, очень интересовался «Отечественными записками», перешедшими с 1868 года под редакцию Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

Тревожили и волновали Герцена в 1869 году известия о голоде в России. При этом в октябре в письме к Огареву он сообщает своему другу новые для себя факты, свидетельствующие о расслоении русской деревни: пользуясь голодом, «богатые крестьяне... скупают землю бедняков» (XXI, 503).

В Париже Герцен беседовал с знаменитым русским врачом и ученым Сергеем Петровичем Боткиным. Герцен восхищался С. П. Боткиным, видя в нем яркого представителя русской передовой науки. Герцен считал его «доктором гениальным» — «такого доктора я никогда не видал» (XXI; 90, 91).

Зато много спорил Герцен в Париже с Вырубовым, русским публицистом, позитивистом и доктринером, который с равнодушием космополита и ученого-«буддиста» относился к политической борьбе. Герцен учил его, что «бездна, отделяющая теоретическую мысль от практической жизни, отделяющая науку от народа, вызывает головокружение», что только социалистическое отрицание буржуазного порядка, только революция могут помочь «гордому локомотиву» теории «не на карте, а *в действительности*» (20; 513, 514), практически осуществить свои стремления и идеалы.

Но Вырубов «доктринерством съел свое сердце» (XXI, 509), он слепо преклонялся перед Контом и Литтре. Ему был чужд революционный пафос деятельности Герцена. По словам последнего, Вырубов «ненавидит все русское и унижает в глазах французов» (XXI, 432). Вырубов считал неправильным то, что Герцен в своих сношениях с международной демократией «требовал не терпимости, не снисхождения, а признания полного ра-

венства России с другими европейскими странами»[1]. Сам Вырубов лебезил перед буржуазными демократами Западной Европы. Это различие между Герценом и Вырубовым сказалось еще в 1867 году на их отношении к конгрессу так называемой «Лиги мира и свободы», в котором Герцен отказался участвовать, видя бессилие и фразерство организовавших его представителей буржуазной демократии и непонимание и недооценку ими русского революционного движения[2].

Ограниченность Вырубова глубоко возмущала Герцена. Герцен должен был сознаться, что «минутами он (Вырубов. — *Я. Э.*) мне ненавистен» (XXI, 509).

Париж бурлил в эти месяцы. В январе 1870 года Герцен видел двухсоттысячную демонстрацию, которой рабочий Париж ответил на убийство принцем Пьером Бонапартом журналиста-демократа Виктора Нуара. Ширилось народное недовольство бонапартистским режимом.

Но Герцену не суждено было стать свидетелем событий Парижской коммуны. В Париже 15 января 1870 года он заболел воспалением легких и умер 21 января. Герцен похоронен в Ницце рядом с Натальей Александровной.

---

[1] «Герцен в воспоминаниях современников», стр. 293.

[2] См. статью Н. П. Анциферова «Герцен и Женевский конгресс Лиги мира и свободы», «Вестник АН СССР», 1945, № 1—2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Ленин о Герцене

В августе 1905 года В. И. Ленин писал в статье «Черные сотни и организация восстания»: «Борьба идет не на жизнь, а на смерть, — борьба между старой Россией рабства, крепостничества, самодержавия и новой, молодой, народной Россией, Россией трудящихся масс, которые рвутся к свету и свободе, чтобы затем начать еще и еще борьбу за полное освобождение человечества от всякого гнета и всякой эксплуатации»[1].

Эту «новую, молодую, народную Россию», поднявшуюся на революционную борьбу, Герцену не довелось увидеть воочию. Такая Россия была для него еще только «нарождающейся» (12, 203). Образы этой будущей России представлялись ему еще только «пророчествующими радугами», прорезывающимися сквозь туманы настоящего.

Жизнь и деятельность Герцена, вплоть до 60-х годов, протекала в эпоху господства в России феодальной монархии[2]. В 30—40-х годах Герцен знал еще только «оседлого, забитого, приросшего к своей деревне, верившего попам, боявшегося «начальства» крепостного крестьянина»[3], только в 60-х годах он увидел революционный народ в самой России.

И тем не менее, Герцен еще с 40-х годов глубочайшим образом был уверен, что будущее принадлежит «Руси вольной, юной, живой» (12, 203).

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 9, стр. 181.
[2] См. там же, т. 17, стр. 88.
[3] Там же, стр. 66.

Он был убежден, что революционная борьба русских передовых людей приобретает всемирно-историческое значение, и в русской жизни искал «начал» грядущего.

Эти убеждения стали для Герцена программой революционной деятельности. Герцен, по словам Ленина, «...поднял знамя революции». Он «...развернул революционную агитацию»[1]. Поэтому, как ни далека та Россия, в обстановке которой действовал Герцен, от России эпохи революции 1905 года, как ни далеко то поколение дворянских революционеров, к которому он принадлежал, от русского революционного пролетариата, для Ленина несомненно было историческое место Герцена как «...писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции»[2]. Таково определение, данное Лениным в его знаменитой статье 1912 года «Памяти Герцена».

В. И. Ленин впервые вскрыл самую суть идейного развития Герцена в связи с ролью «разных классов в русской и международной революции»[3]. Статья Ленина освещает все без исключения основные и принципиальные вопросы деятельности и идейного пути Герцена, а также ту классовую, политическую и идейную обстановку, в которой он жил и боролся.

В своей работе Ленин показал несостоятельность тех истолкований исторической роли Герцена, которые давались в реакционной, либеральной и народнической прессе. Реакционная печать уверяла, что великий писатель «отрекся под конец жизни от революции. А в заграничных, либеральных и народнических речах о Герцене царит фраза и фраза»[4]. Либералы клеветали на Герцена, «возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая о сильных»[5]. Ленин опроверг, в частности, развитую П. Струве веховскую легенду о Герцене — постепеновце, противнике революции, основывавшуюся на грубо тенденциозной и лживой интерпретации писем «К старому товарищу»[6]. Что же касается народников,

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 14.
[2] Там же, стр. 9.
[3] Там же, стр. 15.
[4] Там же, стр. 9.
[5] Там же, стр. 14.
[6] См. работу М. Зельдович «К истории статьи В. И. Ленина «Памяти Герцена», «Вопросы литературы», 1957, № 3.

то они своим истолкованием принижали Герцена до собственного теоретического уровня, замалчивая его развитие по направлению к научному социализму, к пролетариату [1].

Ленин впервые дал цельное, научное понимание Герцена в его идейном развитии и росте в связи с классовой борьбой эпохи.

Выступая против всякого рода извращений подлинной исторической роли Герцена, против юбилейного «обывательского славословия» [2], точно характеризуя все слабые стороны его мировоззрения и деятельности, Ленин вместе с тем впервые установил и проследил основную, ведущую, побеждающую поступательную тенденцию его идейного и политического пути. Впервые благодаря Ленину до конца и полностью уяснился подлинный Герцен, Герцен-революционер.

Ленин показал, что если в 40-х годах Герцен «не мог видеть революционного народа в самой России», то, увидав его в 60-х годах, «он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции» [3]. Характеризуя позицию Герцена по отношению к классовым битвам в Западной Европе, Ленин указывает, что идейное развитие Герцена вело его по направлению «к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» [4].

Впервые благодаря Ленину стало ясным, что̀ нового Герцен внес в идейную жизнь России, в чем суть герценовского вклада в подготовку русской революции, в чем заключался тот шаг вперед, который Герцен сделал по сравнению со своими предшественниками. Ленин показал, чему пролетариат учится на примере Герцена.

На основе этих ленинских указаний и следует рас-

---

[1] Ср. работы А. И. Володина «Юбилей Герцена 1912 года и статья В. И. Ленина «Памяти Герцена» в «Исторических записках», т. 67, изд. АН СССР, 1960, и С. А. Рейсера «Против кого направлена статья В. И. Ленина «Памяти Герцена» («Русская литература», 1962, № 2).

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 9.

[3] Там же, стр. 14.

[4] Там же, стр. 11.

сматривать вопрос о лучших традициях и элементах публицистического, философского и художественного наследия Герцена, наиболее ценных и дорогих сейчас для нас, советских людей.

Принадлежа к поколению дворянских революционеров, Герцен стал революционным демократом, соратником революционеров-разночинцев. В Герцене, при всем индивидуальном своеобразии и несмотря на его либеральные колебания и ошибки, ярко сказались те черты, которые характеризуют великих русских революционных демократов 60-х годов как исторических деятелей особого типа.

Великие революционные демократы были деятелями той поры русского общественного развития, когда «...демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое...» [1].

Революционная борьба против самодержавно-крепостнического строя сочеталась в деятельности великих русских демократов с социалистическим протестом против эксплуатации трудящихся буржуазией, с критикой буржуазного порядка Западной Европы и Америки, с разоблачением «...измен либерализма» [2].

Наши революционные демократы были великими мыслителями и учеными, и всю свою теоретическую работу они целиком подчинили задачам революции. В материализме, в диалектике они находили теоретическое обоснование революционной борьбы за демократическую Россию, находили основу своему глубокому историческому оптимизму.

Ими владел подлинный боевой патриотизм революционеров, «настоящая любовь к родине, любовь, тоскующая вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения» [3]. Они стремились пробудить народ, направить назревавшее стихийное крестьянское движение, сделать его сознательным.

Взгляд всех великих революционных демократов 60-х годов был обращен к будущему России. Они были одиноки, круг их последователей был еще очень ограничен. Тем не менее, эти великие люди ясно отдавали себе отчет в том, что именно они представляют собою

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 253.
[2] Там же, т. 20, стр. 224.
[3] Там же, т. 21, стр. 85.

«Россию будущего», если использовать выражение Герцена. Чернышевский и его соратники провидели «зарю грядущего дня» родной страны. Они глубоко и чутко ощущали еще скованные гнетом самодержавия и крепостничества, потенциальные «сокровенные силы и возможности» русского народа, его талантливость и даровитость, они были выразителями передовых стремлений народных масс.

Они были новаторами во всех областях знания. Они создавали русскую демократическую культуру. Они применяли все возможные и находили все новые и новые виды идейного вооружения, необходимого для борьбы с самодержавием, крепостничеством и либерализмом. Так Герцен на службу революции поставил и философские исследования, и научно-популярные философские статьи, и беллетристику, и художественную автобиографию, очерки и фельетоны, памфлеты, публицистические заметки и обращения к народу.

Люди сильной, страстной, все более закалявшейся мысли, последовательные, принципиальные, мужественные, революционные демократы высоко ценили и страстно любили и склад родного русского народного ума с его ясностью и здравым смыслом, и характер русской революционной мысли с ее беспощадностью и требовательностью, с ее преданностью народу. Они действительно героически отдавали свою жизнь за дело народа. Своей деятельностью, своим словом революционные демократы воспитывали целые поколения русской демократической интеллигенции. Своими работами и указаниями они направляли развитие русской материалистической философии и русской реалистической литературы и искусства.

В них жила народная страсть, народный гнев, целенаправленные ясными и последовательными убеждениями.

Они отлично и глубоко знали русскую жизнь и стремились практически претворить в ней свои передовые идеалы.

Их наследие вечно живо, каждый новый поворот исторических судеб, каждый новый период духовной жизни советского общества помогает нам открыть в их деятельности и трудах мысли и чувства удивительной прозорливости и глубины, силы и красоты.

В своем докладе о Программе Коммунистической партии Советского Союза на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев вновь напомнил о том великом значении, которое идеи великих революционеров-демократов 40—60-х годов имеет для нас: «Представители утопического социализма дали острую критику эксплуататорского строя и его пороков. Они рисовали картины будущего общества. Но утописты были ближе к истине, когда говорили о том, чего не будет в таком обществе, чем тогда, когда намечали пути осуществления социализма. Тем не менее, под фантастическим покровом этих картин идеального строя мы и сейчас находим зародыши гениальных идей. Мы с признательностью вспоминаем имена великих социалистов-утопистов — Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Кампанеллы, Мора, имена наших российских революционеров-демократов — Чернышевского, Герцена, Белинского, Добролюбова, которые ближе других подошли к научному социализму» [1].

Типические черты, свойственные великим деятелям русской революционной демократии, получили живое воплощение в жизни и деятельности Герцена. Им владела «беззаветная преданность революции» [2], которая уже сказалась в отроческой клятве на Воробьевых горах, а затем прошла самые жестокие испытания, выдержав и преследования царизма, и грозу поражения революции 1848 года, и удары русской крепостнической и либерально-монархической реакции 60-х годов.

Вся сознательная жизнь Герцена была отдана революционной борьбе с самодержавием, с крепостничеством.

Жизнь и деятельность Герцена с 40-х годов — это неутомимые и упорные поиски такой революционной теории, которая научно обосновала бы закономерность демократического и социалистического преобразования общества и указала бы путь революционной активности. Заключая свою статью о Герцене, В. И. Ленин писал: «Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории...» [3]

Поиски Герценом революционной теории были од-

---

[1] «Материалы XXII съезда КПСС», Госполитиздат, М. 1961, стр. 137.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 15.

[3] Там же.

ним из существеннейших слагаемых того идейного исторического процесса, о котором Ленин писал в своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории...»[1]

В этих поисках Герцен обнаружил, если использовать его собственное выражение, подлинное «геройство последовательности».

Но выработать правильную революционную теорию Герцен не смог. Он, как сказал Ленин, «...вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом»[2]. Однако несмотря на эту остановку, искания Герцена были исторически чрезвычайно плодотворны. Критика немецкой идеалистической философии, вульгарного материализма, социалистов-утопистов, буржуазно-демократических иллюзий, содержащаяся в сочинениях Герцена, явилась важной идейной школой для русской передовой мысли, ибо критика эта была проникнута революционно-демократическим и материалистическим духом и стояла по своему идейному уровню выше всех предшествовавших марксизму философских и социалистических течений. Большую роль в воспитании революционеров-демократов сыграл и самый образ русского передового человека, образ мыслителя и борца, встающего со страниц «Былого и дум».

Пример Герцена воочию показывает нам «великое значение революционной теории». На примере Герцена мы видим, какое удовлетворение, какую прозорливость, какой размах давали жизни и деятельности человека самые поиски революционной теории, если они шли в правильном направлении. Пример Герцена внушает нам гордость последовательностью и героизмом русской передовой мысли, неутомимо и творчески искавшей правильную, научную теорию, способную указать средства революционного преобразования действительности.

Реакционеры и либералы пытались использовать вырванные из контекста пессимистические высказывания

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 9.
[2] Там же, т. 18, стр. 10.

Герцена, для того чтобы подкрепить свою клевету на народные массы, оправдать свое неверие в прогресс человечества, затушевать свою контрреволюционность. На деле пессимизм и скептицизм Герцена не имеют ничего общего со взглядами реакционной буржуазно-идеалистической социологии. Самые горькие сомнения Герцена в историческом творчестве народных масс проникнуты болью за поражение народа в революционной борьбе 1848 года, разочарованием в буржуазных революциях, ненавистью и презрением к буржуазному порядку как в Западной Европе, так и в Америке.

В книге Герцена «С того берега» явственно слышится отзвук «горького плача пролетария», понесшего после надежд, порожденных февральской революцией, кровавое июньское поражение 1848 года. Описывая провозглашение в ноябре того же года конституции французской буржуазной республики, Герцен замечает: «Народ не пришел даже взглянуть на эту пародию. Он грустными толпами гулял около общего гроба всех падших за него братий, около Июльской колонны» (6, 63). На примере революции 1848 года Герцен убедился в непримиримости противоречий между буржуа и пролетариатом. Он писал в августе 1848 года московским приятелям, критикуя их либерально-буржуазные воззрения: «Все защитники буржуазии, как вы, хлопнулись в грязь. Теперь нет транзакции, нет перемирия... Ненависть между работником и мещанином страшная...» [1]

Очерки Герцена, рисующие Францию 1848 года, проникнуты восхищением перед смелостью и героизмом восставшего в июньские дни французского пролетариата и дышат ненавистью и презрением к буржуазии. Герцен говорит, что французские «защитники порядка» протянули руку врагам Франции. Он видел иллюзорность буржуазных свобод: «Уважение к личности, гражданское обеспечение, свобода мысли — все это не существует и не существовало во Франции или существовало на словах...» [2] В буржуазном обществе, по словам Герцена, «человек... сделался принадлежностью собственности» (10, 123), личность мельчает и уродуется. В буржуазной культуре «все мелко... литература и художе-

[1] «А. И. Герцен, Новые материалы», стр. 46 и 54.
[2] Там же, стр. 57.

ства, политика и образ жизни, *все неизящно,* — это признак смерти, — все смутно и жалко»[1].

Отрицание буржуазного порядка и критика его Герценом воспитывали в передовых русских людях, в русской революционной молодежи верность демократическим и социалистическим идеалам.

Герценовская критика буржуазного строя и его цивилизации, а также всякого рода либерально-буржуазного низкопоклонства перед ними, стала одной из существеннейших традиций русской передовой мысли XIX века, сочетавшей революционно-демократическую борьбу против крепостничества, самодержавия и монархического либерализма с социалистическим отрицанием западноевропейского буржуазного порядка и стремлением найти пути, ведущие от «мещанского государства» к «государству народному» (16, 147).

Все творчество Герцена проникнуто стремлением к свободному расцвету человеческой личности и культуры. Герцен указывал на то «отсутствие совести и правды наверху», на господствующих вершинах буржуазного общества, которое способствует возникновению войны. Саркастически писал он о лицемерной дипломатической маскировке, используемой агрессором и несущей неисчислимые бедствия человечеству, обо всех этих «дипломатических фальшивых нотах, искренних уверениях и задушевных ультиматумах» (19; 105, 107).

Герцен клеймил реакцию и военщину с ее жаждой «безумия, бешенства крови» (11, 512). С гневом и презрением упоминал Герцен о «журналистах и писателях, зовущих войну, толкающих в нее народы», говоря, что эти подлые и трусливые «кабинетные любители баталий» (19, 108) ему особенно противны. Не раз Герцен резко выступал против культа Наполеона I, против «бонапартизма, действующего лишь при помощи смерти» — «его слава — вся из крови, вся из трупов» (13; 240—241).

При этом Герцен вовсе был чужд бессильному, фразерскому пацифизму. Он умел принимать *«войну за факт»* (14, 98); в 1867 году он предвидел агрессию прусской военщины против Франции. Но Герцен считал, что «надо искать причины бедствий и стараться их устранить» (19, 105).

---

[1] «А. И. Герцен. Новые материалы», стр. 63.

Пессимизм, охвативший Герцена после 1848 года, никогда не мог подавить в нем напряженнейшее, страстное стремление к тому, чтобы передовые социалистические идеи овладели рабочим классом, народными массами, соединились с их «страстными порывами» — революционными инстинктами, хотя осуществимость этого стремления для своего времени Герцен нередко подвергал глубочайшим сомнениям. Исторические корни этих сомнений ясны: ведь это была, по словам Ленина, эпоха, когда «...революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела» [1].

Герцен лишь к концу жизни обратил свой взор к Интернационалу, руководимому Марксом, он был лишь на пути к мировоззрению научного социализма. И тем не менее, искания Герцена внесли свою долю в тот процесс, который Ленин характеризовал в следующих словах: «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы» [2].

В эту борьбу, в эти страдания внес свой вклад и Герцен. Он призывал «дострадаться» до науки, до истины. Опыт идейных исканий Герцена, о которых он с такой искренностью, живостью и художественной силой рассказал в своих произведениях, оказал большое влияние на последующие русские революционные поколения, он полон значения и для советского человека. Ведь недаром указывал Ленин, говоря о марксизме, что «...правильность этой — и только этой — революционной теории доказал не только всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в России» [3]. Ленин тем самым подчеркивает особое значение русского идейного опыта для возникновения большевизма «...на самой прочной базе теории марксизма». Ленинизм, творчески развивая марксизм, воспользовался всем опытом, всей практикой как международного, так и русского револю-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 10.
[2] Там же, т. 31, стр. 9.
[3] Там же.

ционного движения и русской революционной мысли, в том числе, разумеется, и идейным, политическим опытом Герцена. Герцен был, как сказал Ленин, одним из «предшественников русской социал-демократии» [1].

Народнические теоретики пошли назад от того уровня развития философско-политической мысли, который был достигнут в произведениях Герцена. В нем им оказывалась близка только одна из наиболее слабых сторон его мировоззрения — его народническое учение, в котором, по словам В. И. Ленина, «нет *ни грана* социализма» [2].

Герцен искал правильную революционную теорию и хотя он не смог найти и создать ее, тем не менее элементы ее он, несомненно, выработал. Но такими элементами являлась не народническая теория, а творческое усвоение гегелевской диалектики, движение к историческому и диалектическому материализму, революционно-демократическое разоблачение самодержавия и либерализма, исторический оптимизм просветителя, сложно и противоречиво сочетавшийся у Герцена с народническими взглядами, а к концу его жизни — приближение к пониманию исторической роли революционного пролетариата.

Не удивительно, что народнические теоретики 70-х годов плохо понимали Герцена. Остановимся для примера на некоторых положениях довольно большой, хотя и незаконченной работы П. Л. Лаврова о Герцене, напечатанной в ряде номеров газеты «Вперед» за 1875 год [3]. Эти положения показывают ясно, как плохо Лавров, в котором даже сейчас порой хотят видеть предшественника марксизма, понимал содержание и значение философского наследия Герцена.

Лавров писал здесь, что плодом теоретической работы Герцена в 40-х годах «...были некоторые из замечательнейших философских очерков, появлявшихся когда-либо по-русски: это были статьи о «Дилетантизме и буддизме в науке» и «Письма об изучении природы».

---

[1] В. И. Ленин, т. 5, стр. 342.

[2] Там же, т. 18, стр. 11.

[3] См. библиографию в «Избранных сочинениях П. Л. Лаврова на социально-политические темы», т. IV, изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1935, стр. 423—424. Работа Лаврова о Герцене занимает в этом томе стр. 116—133.

Под ними стояло опять имя Искандер. — Герцен глубоким и систематическим философом никогда не был и быть им не мог. Но эти статьи заключали самостоятельно продуманный взгляд, проникнувший сквозь туман идеалистических формул и оживленный тем реализмом, который составлял силу всех одновременных с ним философских явлений Европы: антропологизма Фейербаха, позитивизма Конта, логики Милля, общественной критики Прудона»[1].

Строки эти показывают, до какой степени Лавров, даже отдавая дань общественной роли и силе мысли Герцена, совершенно не был в состоянии не только сколько-нибудь верно *понять* истинную суть его философских исканий, но хотя бы в самых общих чертах правильно оценить роль его как мыслителя.

Примечательно, что Лавров даже не считал Герцена «глубоким и систематическим философом», уже не говоря о том, что историческая роль гегелевской диалектики, гегелевского метода была для него совершенно непостижима, ибо сводилась в его представлении всего лишь к «туману идеалистических формул». Достаточно вспомнить, как Чернышевский оценивал Герцена-философа и Гегеля, для того, чтобы сделать вывод о том, что в области философии Лавров шел в направлении, принципиально отличавшемся от пути Герцена и Чернышевского. Не видя принципиальных качественных отличий между Фейербахом, с одной стороны, Контом и Прудоном, с другой, автор «Исторических писем» тем более не мог отдать себе отчет в философском превосходстве Герцена по отношению к этим мыслителям.

По словам Ленина, народническое учение Герцена — это «прекраснодушная фраза», «доброе мечтание, облекающее *революционность* буржуазной крестьянской демократии в России»[2]. Это революционное содержание *противоречило* той теоретической форме, в которую оно у Герцена было заключено.

Что же касается революционных народников 70-х годов, тех, кто подхватил и героически осуществил призыв Герцена идти в народ, то они, пойдя вперед в об-

[1] «Избранные сочинения П. Л. Лаврова на социально-политические темы», т. IV, изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1935, стр. 131.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 11.

ласти революционной практики, не обладали вместе с тем той высотой теоретического и философского мышления, которой достиг Герцен.

Впервые историческое место Герцена было определено Лениным. Только после Великой Октябрьской социалистической революции произведения Герцена, ранее запрещенные или изуродованные царской цензурой, стали доступны народным массам и любимы ими.

2. Идейная борьба вокруг наследия Герцена и современность

Герцен так передал то чувство, которое вызывало в нем возвращение к «вечно живым произведениям» великих художников: «У меня страсть перечитывать поэмы великих maestri:[1] Гёте, Шекспира, Пушкина, Вальтера Скотта. Казалось бы, зачем читать одно и то же, когда в это время можно «украсить» свой ум произведениями гг. А., В., С.? Да в том-то и дело, что это не одно и то же; в промежутки какой-то дух меняет очень много в вечно живых произведениях маэстро. Как Гамлет, Фауст прежде были шире меня, так и теперь шире, несмотря на то, что я убежден в своем расширении. Нет, я не оставлю привычки перечитывать, по этому я наглазно измеряю свое возрастание, улучшение, падение, направление... Да, надобно перечитывать великих поэтов, и особенно Шиллера, поэта благородных порывов, чтоб поймать свою душу, если она начнет сохнуть! Человечество своим образом перечитывает целые тысячелетия Гомера, и это для него оселок, на котором оно пробует силу возраста» (1, 279).

Эти слова могут быть отнесены и к произведениям самого Герцена.

Прошло более 150 лет со дня его рождения и более ста лет с тех пор, как были созданы «С того берега», первые части «Былого и дум», многие замечательные образцы публицистики Искандера.

Но и сейчас передовое человечество по-своему перечитывает Герцена, пробуя на нем «силу возраста», силу своего современного могучего роста.

---

[1] Мастеров.

Переживаемая нами историческая эпоха принесла с собою превращение коммунизма в величайшую силу современности, как о том сказано в Программе КПСС, принятой XXII съездом партии, то есть принесла с собою такие революционные изменения действительности, которые во времена Герцена казались еще «отвлеченными построениями в будущем», если использовать выражение автора «С того берега». Тем не менее, Искандер был и остался таким спутником человечества, который не отстает от поступательного развития последнего. Точнее: Герцен, как и другие великие писатели и мыслители, растет вместе с человечеством.

И такое восприятие не субъективизм, не попытка в духе прагматизма объявить идеи и образы художника существующими лишь в опыте читателя, а следствие неисчерпаемости духовных богатств, в творчестве Герцена заключенных.

Дело не в том, что мы сейчас открываем в этом творчестве нечто такое, чего раньше в нем не содержалось. Но в произведениях великого писателя и революционера живут такие стремления и мечтания, идеи и догадки, здесь уловлены такие движения мыслей и чувствований, которые обладают творческой силой и рвутся вперед, к будущему. Теперь они стали важными факторами нашей общественной практики, народной жизни, нравственного облика человека, а став ими, придали слову Герцена новый вес.

Наше общество взращивает и развивает зародыши и задатки, содержащиеся в мире идей, чувств, исканий, художественно воссозданном Герценом как и другими нашими великими классиками.

Сегодня мы все шире и всесторонней охватываем этот, в сущности — как у каждого классического писателя — безбрежный, мир, поворачивающийся сейчас к нам и такими своими сторонами, которые раньше не играли для нас первостепенной роли.

В наше время, когда социалистический мир *практически* создает условия, обеспечивающие свободу личности, предоставляющие ей возможность всестороннего гармонического развития, мы с особенным чувством жгучего интереса и внутреннего напряжения следим за *теоретическими исканиями* герценовской мысли. Она помогает нам лучше осознать всемирно-историческое зна-

чение таких этических вопросов, как вопрос о свободе личности, о нравственности поведения человека, о путях гармонического роста индивидуальности, и прочувствовать трудности и противоречия решения этих проблем.

Как сказано в Отчетном докладе ЦК КПСС XXII съезду: «Только в социалистическом обществе, на основе новых отношений между людьми, возможны подлинная свобода и всесторонний расцвет личности, гармоническое сочетание личных интересов с интересами всего общества» [1].

В известном смысле все творчество Герцена — и не только оно, но и весь его жизненный путь — является поисками «гармонии между лицом и обществом» (6, 130), поисками, неотрывными от политической и идейной борьбы против самодержавия и крепостничества, от критики либерализма и разоблачения бесчеловечности буржуазного общественного строя.

Нельзя не сознаться, что советское герценоведение — и это относится в первую очередь к пишущему эти строки — уделяло недостаточное внимание изучению нравственных поисков Герцена. Исследования долгие годы были сосредоточены по преимуществу на политическом облике Герцена, с одной стороны, на нем как художнике, с другой, без сколько-нибудь полного уяснения встающих в этой связи этических проблем.

И именно потому, что «в процессе перехода к коммунизму все более возрастает роль нравственных начал в жизни общества» (Программа КПСС) [2], изучение вопросов морали и этики в мировоззрении и творчестве Герцена, его учения о личности и обществе приобретают в советском герценоведении все более значительный удельный вес. Об этом свидетельствует вышеупомянутая работа Е. И. Зелигер-Рубинштейн; правильная, хотя и неразвернутая постановка проблемы личности у Герцена дана в статье А. И. Володина «Подновленная легенда» («История СССР», 1962, № 5).

В самых разных направлениях расширяется и углубляется в социалистических странах исследование наследия Герцена. На некоторые работы ученых этих стран мы ссылались выше. Особенно существен вклад ученых

---

[1] «Материалы XXII съезда КПСС», стр. 85.

[2] Там же, стр. 410.

ГДР, в частности Г. Цигенгейста, Д. Локиса, Э. Рейснера (редактора полного немецкого перевода «Былого и дум»). Значительный интерес представляют работы польских исследователей Р. Сливовского и С. Фишмана. В помещенных в сборнике «Проблемы изучения Герцена» (изд. АН СССР, 1963) статьях Ю. Доланского и Р. Гребеничковой освещаются чешские, а в статье И. Шетера — венгерские связи Герцена.

Расширению круга исследований способствуют и работы ученых капиталистических стран, вовлекающие новые факты и данные в обиход герценоведения и объективно освещающие их, в частности статьи М. Партридж (Англия), публикация Дж. Трегенца (Австралия) писем Герцена к Ч. Г. Пирсону (эти письма помещены в сб. «Проблемы изучения Герцена») и др.

Из выступлений ученых капиталистических стран, связанных с юбилейным чествованием памяти Герцена в 1962 году, следует отметить интересный, хотя и содержащий отдельные спорные утверждения, доклад известного итальянского историка Ф. Вентури на торжественном заседании, организованном городским самоуправлением Флоренции и итальянским Обществом культурных связей с СССР (см. журнал «Ponte», 1962, № 7).

Очень важно замечание И. Бехера: «Чтобы оставаться живым, все великое из прошлого нуждается в революционном сегодня»[1]. Именно революционное сегодня, раскрывая и подтверждая все лучшие и прозорливейшие чаяния и мысли Герцена и обогащаясь ими, одновременно по-новому освещает своим громадным историческим опытом духовное наследие великого русского революционера.

В эпоху развернутого строительства коммунистического общества новый подъем духовной, идейной жизни в СССР позволяет лучше, шире, глубже понять, прочувствовать и оценить великое наследие наших предшественников.

И в это же время глубокий кризис буржуазной идеологии, ее деградация закономерно заставляет ее представителей сужать, обеднять, извращать это наследие, видя в нем достояние ненавистного им социализма.

Мы, несомненно, наблюдаем сейчас резкое обостре-

[1] Иоганнес Бехер, В защиту поэзии, ИЛ, М. 1959, стр. 247.

ние этой борьбы. И это не случайно. Именно потому, что идеи Герцена, его творчество, вся его деятельность, весь духовный склад этого замечательного человека и революционера, беззаветно преданного революции и неустанно искавшего правильную революционную теорию, принадлежат миру социализма, советскому народу, идеологи буржуазии особенно рьяно стараются сейчас всячески исказить или принизить герценовское наследие.

Стремясь извратить историческую роль Герцена, клевеща на него, идеологи империалистической реакции выступают под знаменем антикоммунизма. В Программе КПСС мы читаем: «Империалистическая реакция мобилизует все средства идеологического воздействия на массы, пытаясь опорочить коммунизм и его благородные идеи, защитить капитализм. Главное идейно-политическое оружие империализма — *антикоммунизм,* основным содержанием которого является клевета на социалистический строй, фальсификация политики и целей коммунистических партий, учения марксизма-ленинизма» [1].

Извращая Герцена и его деятельность, идеологи буржуазии нередко пытаются также лживо использовать его произведения для защиты буржуазного порядка, для доказательства незыблемости последнего и тщеты революции.

Различны те аргументы, которые враги современного социалистического мира выдвигают против его предшественника — Герцена. Но нового в этих аргументах очень мало. Буржуазные идеологи различных стран, в сущности, лишь варьируют те тезисы, которые уже давно были использованы против Герцена философами и публицистами реакции. И не от хорошей жизни повторяют они избитые доказательства, ветхие фразы.

Видя победы марксизма-ленинизма, мировой системы социализма, советского общества, переживая глубокий кризис, идеологи капиталистического строя уже не в состоянии возлагать свои надежды на какую-либо общественную группу внутри нашей страны. Они зато пытаются дискредитировать социалистические и революционные идеи, вдохновляющие советский народ, и стремятся отнять принадлежащее ему духовное наследие.

---

[1] «Материалы XXII съезда КПСС», стр. 358.

В отчетном докладе ЦК КПСС XXII съезду Н. С. Хрущев говорил: «Наши идейные противники без конца твердят, что коммунизм будто бы создает неизбежный конфликт между личностью и обществом, ведет к подавлению личности. Враги социализма не прочь даже признать наши успехи в сфере материального производства, но тут же утверждают, что достигнуты они якобы за счет ущемления свободы и прав человека. Империалисты измеряют понятия на свой лад и видят свободу личности в анархическом противопоставлении личного общественному, личности коллективу» [1].

Поэтому Герцен, так часто задумывавшийся над путями человечества, русского народа к будущему, к социализму, и искавший гармонического сочетания между интересами личности и общества, стал для врагов социализма объектом настойчиво лживой интерпретации и клеветнических атак.

Все это не могло не сказаться на состоянии буржуазной науки в интересующей нас области. В наше время эта наука, за исключением работ, посвященных собиранию и публикации новых фактических данных, оказывается, как правило, неспособной внести существенный вклад в объективное и глубокое изучение мировоззрения, деятельности и творчества Герцена. Если, например, в конце 20-х годов появились хотя и страдавшие серьезными идейными пороками, но, тем не менее, богатые впервые вводимыми в научный оборот значительными материалами, книги Р. Лабри, то сейчас нельзя назвать ни одного большого исследования, вышедшего за последние годы в какой-либо из капиталистических стран и обладающего подобным научным значением.

Зато под маской академизма появляются статьи, на деле носящие политически-тенденциозный характер. В этом смысле особого внимания заслуживают выступления Исайи Берлина, преподавателя Оксфордского университета, являющегося также редактором «Библиотеки идей», серии книг, выпускаемой одним лондонским издательством и включающей «С того берега» Герцена.

Можно, разумеется, только приветствовать появление английского перевода этой замечательной герценов-

[1] «Материалы XXII съезда КПСС», стр. 85.

ской книги, сыгравшей в свое время такую большую роль в идейной жизни немецкой и французской интеллигенции 40—50-х годов, но, по-видимому, никогда не издававшейся на английском языке. Интерес, вызванный среди английских читателей появлением этой самой лирической книги Герцена (следует отметить, что «Былое и думы» были полностью изданы в Великобритании еще в конце 20-х годов), подтверждается тем, что потребовалось уже новое издание ее, хотя первое вышло сравнительно недавно, в 1956 году.

Однако, отмечая положительное значение издания «С того берега», нельзя пройти мимо той фальсифицирующей интерпретации этой книги, которая содержится в предисловии И. Берлина.

Здесь утверждается, что Герцен не внес своего вклада в подготовку русской революции, он-де не принадлежит русскому народу, советским людям; в сущности, статья Берлина и является собранием «доказательств» тому.

Герцен выступает под пером И. Берлина прежде всего как интеллигент, индивидуалист, эмпирик, эстет и сторонник субъективистских воззрений, не верящий ни в народ, ни в человеческое познание, ни в существование объективных закономерностей общественного развития. И. Берлин видит во взглядах Герцена «мост между позитивистами, одаренными этическим воображением, и экзистенциалистами, которые способны сказать нечто неподдельно содержательное» [1].

И. Берлин рассматривает Герцена как предшественника философии XX века, имея в виду именно буржуазную философию с ее агностицизмом и субъективизмом.

По словам И. Берлина, «Герцен выразил мысли, достаточно оригинальные для того, чтобы они были вновь открыты только в наше время...», и далее взгляды Герцена «излагаются» следующим образом: «великие традиционные проблемы, которые постоянно волнуют человеческие умы, не имеют общих генеральных решений; все подобные проблемы носят в силу необходимости специфический характер, их можно понять лишь в спе-

---

[1] Alexander Herzen, From the Other Shore, with an Introduction of Isaiah Berlin, Weidenfeld and Nicolson, London, стр. XVI.

цифическом контексте; такие генеральные вопросы, как «Какова цель (или смысл) истории» или «Благодаря чему все происходящее в природе совершается так, как оно совершается», или «Что служит образцом, примером в истории», не могут получить ответа, и не потому, что они так трудны для нашего бедного ума, а потому, что эти вопросы сами по себе неправильно поставлены, ибо цели, образцы, смысл, причины различаются в зависимости от ситуации, точки зрения и потребностей того, кто задает вопрос; все эти вопросы могут быть правильно и ясно сформулированы только в том случае, если они будут поняты именно таким образом. Способность Герцена понять этот факт и превращает его в предшественника многих мыслителей XX века и отличает его как человека, по своим качествам близкого к философскому гению» [1].

Конечно, Герцен не раз выступал против утопических представлений о путях истории и ее «цели», но приведенные слова Берлина свидетельствуют прежде всего о попытке приписать великому русскому мыслителю отрицание объективной истины, существования закономерностей общественного развития. Впрочем, самый подход Берлина к данному вопросу таков, что он заранее, в сущности, предусматривает отказ от объективно-исторического изучения. Ведь под пером И. Берлина встает не подлинный Герцен, а загримированный под него современный буржуазный интеллигент, никак не способный подняться над воззрениями субъективистского толка, растерянный, беспомощный перед ходом исторических судеб, но пытающийся вместе с тем выдать эту свою растерянность за достоинство и даже щеголяющий ею. Берлин рисует Герцена по собственному подобию и подобию многих близких ему по духу буржуазных интеллигентов, что полностью соответствует требованиям современной буржуазной пропаганды.

Ведь крайний релятивизм, скептицизм и индивидуализм, направленный против какой-либо единой научной концепции, способной охватить все многообразие жизни, является тем оружием, которое буржуазная пропаганда особенно охотно направляет против марксистско-ленинской теории. При этом — как это и делает

[1] Alexander Herzen. From the Other Shore, стр. XXII.

Берлин — каждая творческая концепция, стремящаяся к цельному и объективному материалистическому пониманию мира, объявляется догматической, окостенелой, консервативной и, как это мы видим в данном случае, бездоказательно, без соответствующего анализа искажается и превращается в свою противоположность.

В самом деле, как же можно Герцена изображать сторонником субъективистских воззрений, когда он, начиная еще с первых философских сочинений, стремился выработать научное воззрение, а уже в «Дилетантизме в науке» видел цель «философии и гражданственности» в том, чтобы «раскрыть во всех головах один ум»; Герцен боролся за такое «единение умов» именно потому, что был убежден в существовании объективных закономерностей, к правильному пониманию которых придет все человечество.

Как назвать такую характеристику Герцена, согласно которой он оказывается «эмпиричным и натуралистичным», когда весь пафос его классического философского произведения «Писем об изучении природы» как раз и заключается в стремлении преодолеть эмпирическую ограниченность естествознания того времени, а «законы мышления» здесь определяются как «сознанные законы бытия».

И. Берлин изображает Герцена противником и детерминизма и социализма, явно имея в виду под первым — материализм. И это несмотря на то, что сам Искандер в «Былом и думах» говорил, что он и его университетские друзья «рано переплыли тот рубеж», который определяется понятиями «социализм и реализм» — этими «пробными камнями, брошенными на путях революции и науки»,— под реализмом Герцен разумел материализм.

Необходимо остановиться на исходных политических позициях И. Берлина, ибо именно они определяют его подход к философским воззрениям Герцена, ту совершенно произвольную субъективистскую характеристику русского мыслителя, представление о которой мы дали выше. Эта политическая тенденция И. Берлина выступает особенно обнаженно в его посвященной Герцену статье более общего характера, опубликованной во французском реакционном журнале «Прёв» (1958 г., март—апрель).

Впрочем, и в статье, предваряющей «С того берега»,

содержатся прямые политические высказывания, однако здесь И. Берлин пытается все же сохранить респектабельную сдержанность английского университетского преподавателя, зато в «Прёв» мы видим распоясавшегося реакционного публициста.

Одно название этой последней статьи И. Берлина с головой выдает ее политическую тенденцию — «Герцен, гуманизм и террор». Задача этого сочинения заключается в том, чтобы противопоставить гуманизм Герцена, якобы близкий И. Берлину,— бесчеловечному террору, к которому якобы сводится социалистический и коммунистический строй.

По мнению И. Берлина, Герцен является противником «рабства социализма», который-де приходит на смену «рабству церкви»[1]. Больше того, оказывается, что вообще «вера в великолепное будущее человечества» — «роковая доктрина, направленная против человеческой жизни»[2]. И. Берлин уверяет даже, что, «несмотря на свое неистовое отвращение к буржуазии, Герцен не хочет насильственного катаклизма»[3].

И это говорится о Герцене, который даже в момент крайнего отчаяния, переживая крах своих утопических иллюзий, восклицал именно в «С того берега» (в своей статье И. Берлин также ссылается главным образом на это произведение, на чем еще придется остановиться): «...Что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему...»

Герцену действительно в это время, вслед за поражением парижского пролетариата в июньские дни 1848 года, будущая народная революция представлялась прежде всего разрушительным стихийным катаклизмом, но даже тогда он, ненавидя и презирая капиталистический строй и господство буржуазии, оставался верен революции, героям июня.

Вспоминая о кровавой расправе французской буржуазии с июньскими повстанцами, о расстреле их, Герцен писал в книге «С того берега»: «За такие минуты

---

[1] «Preuves», 1958, март, стр. 17.
[2] Там же, стр. 11.
[3] Там же, 1958, апрель, стр. 10.

ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, *кто прощает такие минуты!»*

Все дело в том, что Герцен опасался напрасного пролития крови народа и ненавидел буржуазию, в то время как И. Берлин больше всего боится революционного насилия над буржуазией.

И. Берлин изображает Герцена этаким спокойным, самодовольным гедонистом, поплевывающим на революцию, критикующим буржуазию, но только красного словца ради, а на деле примирившимся с нею, да и вообще ничего глубоко не переживающим и заботящимся только о свободе личности индивидуалиста, чуждого народу.

Главное же для И. Берлина заключается в том, чтобы противопоставить Герцена и его гуманизм — будущему, социализму. В Герцене И. Берлин видит воплощенной «традицию литературного гуманизма в русском социализме, традицию, которая потерпела поражение в октябре 1917 года» [1].

Впрочем, в предисловии к переводу «С того берега» Берлин заявляет даже, что народничество Герцена (как и Толстого) в большей степени генетически связано с Руссо, чем с родной почвой...

Не случайно И. Берлин в своих софистических упражнениях опирается почти исключительно на книгу «С того берега», уверяя, что именно она «кредо и политическое завещание Герцена», и совершенно игнорируя — в том антиисторическом духе, который в наше время так характерен для буржуазной науки вообще,— дальнейшую идейную эволюцию Герцена.

Впрочем, И. Берлин игнорирует не только эту последнюю, но и внутреннюю логику и подлинный смысл «С того берега», в особенности противоречия этой книги, так остро ощущавшиеся самим автором.

Если, как мы видели выше, Герцен и в этой книге искал гармонию между обществом и личностью, то И. Берлин пытается его представить эпикурейцем, довольствующимся грубо понимаемой свободой личности, равнодушным к судьбам народа. Герцен был неизменно предан идеям социализма, а И. Берлин, будучи враждебен им, называет их влияние «тиранией больших аль-

[1] «Preuves», 1958, апрель, стр. 16.

туристических систем»[1]. Каким духовно бедным выглядит Герцен под пером Берлина!

Но и в такой оценке «С того берега», и в попытке противопоставить Герцена идеям социализма и социалистической революции И. Берлин совсем не оригинален. Его аргументация, в сущности, повторяет доводы, приводившиеся Г. Шпетом в его изданной еще в 1921 году брошюре «Философское мировоззрение Герцена», которую мне довелось критиковать еще более тридцати лет назад.

Именно Шпет призывал «с осторожностью и опаской» «прислушиваться к звукам марша, призывающего в бездушный град безликого будущего, ибо эти звуки только для того, чтобы заглушить стон и рыдания тех, на чьих настоящих слезах и на чьей настоящей крови воздвигается в настоящем этот безумный и бессердечный град. Своим трезвым отношением к такого типа образу мыслей Герцен раскрыл с полною ясностью тонкость своего ума и чуткость сердца»[2].

В настоящее время с брошюрой Г. Шпета спорить не приходится, ибо давно неопровержимо доказана историческая плодотворность революционной борьбы, диктатуры пролетариата, которая была необходима для сохранения и углубления завоеваний социалистической революции.

Брошюра Г. Шпета — документ ожесточенной классовой борьбы первых лет Советской власти. Но приходится напомнить о ней, ибо И. Берлин именно из этого источника заимствует свои аргументы, пользуясь ими, однако, уже в совершенно иной обстановке, когда в жизни советского общества открылись невиданные в истории человечества возможности расцвета личности.

Попытка же И. Берлина выдать именно «С того берега», книгу, написанную еще в 1848—1850 годах, за «политическое завещание» Герцена просто удивительна по очевидной тенденциозности. Если уж применять такое определение, то оно, конечно, более всего подходит к письмам «К старому товарищу», в которых Герцен, как сказал Ленин, обратил свои взоры к Интернационалу, руководимому Марксом.

[1] Alexander Herzen, From the Other Shore, стр. XVII.
[2] Г. Шпет, Философское мировоззрение Герцена, М. 1921, стр. 43—44.

В утверждениях Берлина особенно наглядно проявляется то обеднение и сужение духовного наследия Герцена, которое так характерно для ученых, вдохновленных антикоммунизмом. Все богатство, сложность и основное направление идейных творческих *исканий* Герцена оказывается чем-то совершенно несущественным. Остановившимся, застойным рисует Берлин мировоззрение Герцена.

Гораздо более основательной по объему привлекаемого материала, по эрудиции и по тому вниманию, с которым автор подходит к фактам и чертам биографии и мировоззрения Герцена, является большая книга Мартина Малиа «Александр Герцен и возникновение русского социализма. 1812—1855», изданная в 1961 году Гарвардским университетом[1]. Это научное исследование, в отличие от публицистики Берлина. Однако приходится признать, что в конечном счете познания и исследовательская заинтересованность, несомненно присущие Малиа, подчиняются все той же хорошо известной буржуазной реакционной концепции и в ряде своих выводов американский ученый при всей своей академической сдержанности оказывается во многом похожим на Берлина.

По сути своей враждебное непонимание марксизма-ленинизма, и в особенности значения гениальных ленинских работ, посвященных русскому революционному движению и русской общественной мысли, в частности Герцену, — вот в чем коренится несостоятельность взглядов Малиа.

Вероятно, наши историки подвергнут эту книгу специальной критике в связи с данным в этой книге анализом народнических воззрений Герцена, приводящим Малиа к выводу о том, что они выросли из дворянских корней.

Нас же сейчас больше интересует общий взгляд Малиа на мировоззрение великого русского писателя и мыслителя. И именно потому, что его конечные выводы оказываются, к сожалению, чрезвычайно близкими к воззрениям Берлина, мы можем ограничиться краткой их характеристикой.

---

[1] Martin Malia, Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, 1812—1855, Harvard University Press, 1961.

Свою концепцию Малиа также строит в первую очередь на книге «С того берега», считая последнюю «наиболее оригинальным философским произведением» Искандера (376) и игнорируя его дальнейшую идейную эволюцию. Герцен рассматривается как представитель философского и политического индивидуализма-анархизма. Малиа полагает, что философская концепция «С того берега» сводится к представлению о природе и истории как «слепой хаотической силе» (380). Но «если анархия является законом мира, тогда человек безгранично свободен» (381). На этом основании Герцен — как это делает и Берлин — объявляется предшественником экзистенциализма.

Мучительно напряженные же, порой трагически-надломленные, но вновь и вновь возрождавшиеся и черпавшие новые силы поиски Герценом пути, ведущего вперед, поиски, основанные на глубоком изучении общественной народной жизни, — все это остается для американского исследователя несущественным.

Герцен оказывается «праздным наблюдателем» французских революционных событий, и подчеркивается его «полная безответственность» (384). Действительно, Герцен был совершенно «безответствен» перед буржуазией, но какая нужна предвзятость для того, чтобы великого деятеля, чье органически ему присущее чувство международной революционной солидарности заставило так остро перестрадать июньские дни и поражение революционного пролетариата, объявлять безответственным перед революцией и прогрессивными общественными силами!

И совершенно естественно, что Малиа гораздо более снисходителен к Ледрю-Роллену, Луи Блану, Прудону, чьи идейные компромиссы с реакцией и буржуазией близки его сердцу.

Так Малиа (сочувственно ссылающийся и на Берлина и на Шпета) приходит к выводу, что «новая история всех стран и, в частности, России показывает, что практическая проблема соединения индивидуальной свободы с революционной демократизацией встречается с величайшими трудностями и что оба эти идеала неизбежно тускнели при своем применении» (425).

На самом же деле, как мы видели выше, Герцен и в период поражения революции 1848 года верил в то,

что идеалы эти, неотрывные друг от друга, практически осуществятся в будущем. Наша действительность доказала проницательность этого убеждения. В советском обществе возможности расцвета личности предоставляет строй, основанный на социалистическом демократизме.

Выше мы уделили много внимания статьям И. Берлина, ибо высокая оценка и даже восхищение личностью Герцена и его литературной деятельностью прикрывают в этих работах глубокую враждебность революционным идеям великого русского мыслителя и писателя.

В книге Мартина Малиа нет политической хлесткости и беспардонности Берлина, американский исследователь серьезнее, солидней, деловитей, но все эти качества не в состоянии скрыть реакционности, ограниченности и бедности концепции, которую обосновывает автор.

Мартин Малиа подчиняется тенденциозным требованиям идеологии империалистической реакции США. Поэтому его исследование получило полное одобрение в библиографическом приложении к «Нью-Йорк таймс» со стороны «специалиста по русским делам» (как его рекомендует редакция) Бертрама Д. Вольфа. При этом особенно любопытно, что последний, говоря о продолжении монографии Малиа, которая доведена лишь до 1855 года, дает калифорнийскому профессору весьма четкие и недвусмысленные идеологические директивы относительно дальнейшего направления его труда. Бертрам Д. Вольф предлагает Малиа прежде всего подчеркнуть «возрастающую трагедию Герцена как в личной жизни, так и в политике, связанную с ростом нового поколения нигилистов и расширением движений, отвергнуть которые Герцен чувствовал себя вынужденным»[1]. Иначе говоря, идеологи буржуазной реакции прежде всего хотят отделить Герцена от русского революционного движения. Подлинный трагизм Герцена, трагизм исторически обусловленной невозможности практического претворения социалистических идеалов опошляется буржуазными критиками до мещанского скептицизма.

Впрочем, следует признать, что кое-кто из идеологи-

[1] «New York Times Book Review», September, 1961.

ческих прислужников буржуазной реакции стремится превзойти и такие требования и даже успевает в этом. Особенную рьяность проявляют в этом отношении западногерманские клерикалы и реваншисты.

Так обстоит дело с книгой П. Шейберта «От Бакунина к Ленину», довольно типичной для так называемого «востоковедения» (Ostforschung) ФРГ и уже получившей достойную оценку в ГДР и у нас[1].

В отличие от Берлина, Шейберт *открыто* ненавидит наших революционных мыслителей, лишь довольно прозрачно маскируя эту свою злобу высокомерным принижением их исторической роли.

Книга Шейберта, подготовленная в одном из так называемых Восточных институтов, связанных и с Ватиканом, и с правящей в ФРГ христианско-демократической партией, а также и с меценатами из США, представляет собою попытку оклеветать и опошлить русскую передовую мысль. Говоря о ее представителях, Шейберт утверждает, что имеет дело не с мыслителями, а всего лишь с «привлекательными журналистами, убежденными проповедниками, а также со скучными писаками, надутыми посредственностями и наводящими грусть школярствующими филистерами». «Независимых великих» Шейберт видит лишь по ту сторону баррикад, в лагере реакции, в частности в лице «теологов», не имевших сколько-нибудь серьезного духовного влияния на русскую жизнь, почему автор «От Бакунина к Ленину» горько оплакивает их изоляцию. Высоко ставит он также Боткина.

Шейбертом владеет безудержная ненависть, направленная против русской социалистической революции и тех, кто ее подготовили, в том числе и Герцена. Ему хочется доказать, что революция эта беспочвенна, что ее деятели — утописты, и больше того, что они далеки от подлинно прогрессивных (а с точки зрения Шейберта подлинно прогрессивны лишь буржуазный строй и консервативная буржуазная идеология клерикального толка) тенденций общественного развития. Он даже пы-

[1] См., в частности, обзор В. И. Салова и М. Р. Тульчинского «Мюнхенский институт Восточной Европы на службе боннской реваншистской политики», «Вопросы истории», 1960, № 12, и рецензию P. Hobbmann на книгу Шейберта в «Zeitschrift für Slawistik», 1960, № 1.

тается представить дело так, что Герцен, как и русские революционеры вообще, являются врагами буржуазии, в сущности потому, что они ближе к... крепостничеству.

По словам Шейберта, «от владельца крепостных к профессиональному революционеру ведет одна и та же линия антибуржуазных убеждений и жизненных позиций».

Расценивая наших революционных мыслителей как утопистов, Шейберт видит в их взглядах проявление того «русского духа, который как тогда, так и сегодня готов верить в свою способность преобразовать мир, и видит в фантазиях и утопиях истину...».

Совсем в стиле «Вех» Шейберт говорит о том, что русские революционеры «не занимали постов, влекущих за собою ответственность в общественной жизни». Заявляя, что им было свойственно «эстетическое отвращение к буржуазному сознанию своей ответственности», Шейберт расписывается тем самым в том, что с его точки зрения стремление к справедливому общественному строю, к социализму — безответственно; это и понятно, ибо для него все, что противостоит буржуазной идеологии,— лишено фундамента.

Поэтому Шейберт и причисляет Герцена к тем, кто «не знали ответственности по отношению к истории как по отношению к своей, так и мировой... Так как настоящее в них не нуждалось, то они жили будущим» [1].

Вся деятельность Искандера представляется Шейберту призрачной и бессмысленной. Так, «Письма об изучении природы» для него из-за «материалистической тенденции» этого произведения всего лишь «выпад в пустоту».

Легко заметить, что по основным своим выводам Шейберт весьма близок к Берлину, хотя его полемика гораздо грубей, прямолинейней и откровенно тенденциозна.

Но именно поэтому нельзя пройти мимо того, что книга Шейберта, представляющая собой, в сущности, памфлет, замаскированный научным аппаратом и деланным глубокомыслием, получила положительную оценку в таком специальном научном издании, как «Венский славистический ежегодник» (Wiener Slawisti-

---

[1] P. Scheibert, Von Bakunin zu Lenin. Geschichte der russischen revolutionären Ideologien, 1840—1895, B. 1, стр. 131, 316.

sches Jahrbuch, B. VI, 1957—1958). Впрочем, рецензент не скрывает того, что видит в книге Шейберта прежде всего явление политического значения и отражение взглядов «европейца, верного христианской традиции».

Книга Шейберта отражает общее для ряда представителей реакционной идеологии и идеалистической философии стремление во что бы то ни стало, пренебрегая фактами, принизить Герцена, дать клеветнически-искажающее представление о его мировоззрении.

В этом отношении показательна и та характеристика взглядов замечательного русского мыслителя, которая содержится в изданном в ФРГ «Философском словаре» (основан Г. Шмидтом). Здесь отмечается, что Герцен «...пришел к фаталистическому, грубо материалистическому, даже нигилистическому мировоззрению»[1]. Таким образом, враждебность по отношению к поступательному идейному развитию Герцена выступает тут обнаженно.

Для мистико-религиозных настроений старой и «новой» антисоветской эмиграции, группирующейся вокруг неких «исследовательских» учреждений в Мюнхене, типична вышедшая в 1961 году небольшая и весьма примитивная работа Веры Пирожковой «Александр Герцен. Крах одной утопии»[2].

В восторженном предисловии Ф. Степун считает основной заслугой Пирожковой то, что она указывает на якобы присущую Герцену «христианскую наследственную массу»[3].

Впрочем, В. Пирожкова должна сознаться, что «Герцен никогда не понимал истинный смысл христианства», утопизм же его заключался якобы в том, что он искал путь к совершенному человеку и совершенному обществу, осуществление которого на земле христианство и не обещает[4]. Нет нужды приводить явно несостоятельные

---

[1] Цит. по русскому переводу этого «Философского словаря», ИЛ, 1961, стр. 158.

[2] Vera Piroschkow, Alexander Herzen. Zusammenbruch einer Utopie, Verlag Anton Pustet, München, 1961. Подробную критику этой книжки см. в уже упомянутом обзоре А. И. Володина «Подновленная легенда» («История СССР», 1962, № 5, стр. 193—224). Автор этой статьи говорит и о ряде таких работ буржуазных ученых, посвященных Герцену, которых мы здесь не касаемся.

[3] Там же, стр. 3.

[4] Там же, стр. 46.

и пошлые аргументы, на которые опирается В. Пирожкова, опять-таки пытающаяся противопоставить Герцена русской революции.

Любопытно отметить, что если выступление И. Берлина и П. Шейберта встречают положительную оценку со стороны буржуазной печати, то гораздо более объективная работа Е. Лемперта «Очерки по истории бунтарства», в которой Герцену уделена специальная глава, вызвала окрик со стороны такого архиреакционного и архиантисоветского журнала, как «Рэшен ревью», хотя и заслужила признание со стороны лондонского «Таймс» [1].

Особенно недоволен орган фашиствующей реакции и контрреволюционной эмиграции тем, что Лемперт «слишком снисходителен по отношению к герценовским филиппикам, направленным против «буржуазного декаданса Запада» [2]. Так «Рэшен ревью» добросовестно отрабатывает подачки своих хозяев.

В своей книге Лемперт подчеркивает высокий философский теоретический уровень русской революционной мысли в целом и Герцена, в частности, противопоставляя его, что очень существенно, либералам. В книге чувствуется искреннее понимание величия Герцена (Лемперт сопоставляет его с Вольтером), хотя с рядом оценок и определений автора невозможно согласиться [3].

Советское герценоведение может по праву гордиться тем, что, объективно, исторически верно, правдиво исследуя мировоззрение Герцена, его деятельность и творчество во всей их сложности и противоречивости, оно вместе с тем неизменно видит основные побеждающие и поступательные тенденции его политического, философского, художественного развития. Этими своими успехами наше герценоведение обязано прежде всего гениальному ленинскому анализу, данному в статье «Памяти Герцена».

Советское герценоведение своими коллективными усилиями привлекло огромный исторический, литературный, философский материал, воссоздающий исторический контекст эпохи, закономерности общественного

[1] См. рецензию Е. Я. Басина на книгу Е. Лемперта в «Вопросах философии», 1959, № 10.

[2] «The Russian Review», 1958, апрель, стр. 149.

[3] См. E. Lampert, Studies in Rebellion, London, 1957.

развития, необходимые для понимания деятельности Герцена. Буржуазные ученые, искажающие облик Герцена, игнорируют этот контекст, модернизируют самого писателя в угоду предвзятой схеме, отрывают его от закономерностей развития своего времени.

Можно привести такой пример. Создание «Былого и дум» рассматривается советской наукой как проявление общих закономерностей русского художественного развития 40—60-х годов, как отказ от следования за традиционными жанрами, как поиски героя — «нового человека», как роман о положительном герое, о себе самом.

Профессор же А. Стендер-Петерсен в своей известной истории русской литературы (при всех ее серьезнейших недостатках и пороках, на которых уже останавливалась наша печать, нельзя назвать изданную за рубежом историю русской литературы, которая содержала бы лучшую главу о Герцене) утверждает, что в «Былом и думах» «недостаток истинной художественности раскрывается в стиле и композиции» [1], и полагает, что Герцен писал на «космополитическом языке» [2].

В этих столь странных и неосновательных утверждениях (тут же у А. Стендер-Петерсена можно найти и довольно правильные положения) сказываются не только индивидуальные, свойственные данному ученому, но и общие для всей буржуазной науки органические пороки.

Нежелание объективно-исторически исследовать закономерности общественного развития, связанное с различными формами субъективизма, является отражением деградации буржуазной идеологии.

Успехи же советской науки и ученых социалистических стран в идейной борьбе за наследие Герцена, бесспорно принадлежащее нашему народу, миру социализма, коренятся во всемирно-исторических победах марксизма-ленинизма, социалистической идеологии, столь очевидных в наше время.

Чернышевский дал такой критерий тех оценок, которые исторические деятели вправе ожидать со стороны

---

[1] Adolf Stender-Petersen, Geschichte der russischen Literatur, München, 1957, B. II, стр. 225.

[2] Там же, стр. 226.

потомства: «Только для тех сохраним наше удивление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зарю грядущего дня, имели мужество приветствовать его приход»[1]. Таким деятелем и был Герцен.

Поэтому Герцен и выступает перед нами сегодня, как «живой с живыми говоря».

Теоретическое и художественное наследие Герцена полно идей, чувств, образов, которые находят отклик в сердцах и умах советских людей, помогают обогащению и росту нашего сознания.

Герцен болезненно остро ощущал «разрыв» между *«высшей* мыслью *своего времени и «мыслью всех»* (10; 118—119).

Советский же народ владеет самым передовым мировоззрением и, строя коммунизм, завоевывает вершины духовной культуры. Происходит расцвет личности миллионов.

В художественном творчестве, в раздумьях Герцена очень большую роль играла, как мы видели, проблема «нового человека». Много ошибок совершил Герцен, много разочарований перенес он в общественной и личной жизни, прежде чем приблизился к выводу о том, что только революционное изменение жизни, только духовный рост народа, пролетариата является условиями воспитания нового человека. Но герценовское представление о новом человеке и сейчас внушает нам патриотическую гордость той великой требовательностью, которую автор «Былого и дум» предъявлял к будущим своим потомкам. Новый человек для Герцена — это человек, освобожденный от гнета помещичье-буржуазного общества, прекрасный телом и духом, сильный мыслью, кровно связанный со своим народом, борющийся за идеалы социализма.

Герцен мечтал о том времени, когда всем «обыкновенным людям» будет открыта возможность стать сознательными участниками строительства передового общественного строя, «народного государства».

Основой герценовских надежд было убеждение революционера и патриота в быстроте общественного развития России, в росте русского народа, в возрастающей силе русского революционного движения.

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. V, стр. 303.

История подтвердила прозорливость этого убеждения Герцена. Быстрота развития советского народа далеко превзошла самые смелые его упования.

В то время, когда жил Герцен, творческий труд, нужный родине и доставляющий огромное внутреннее удовлетворение, помогающий человеку духовно расти и проявлять все свои дарования, был уделом немногих. Притом радость, доставляемая таким трудом, была омрачена сознанием недоступности его народу. Ныне творческий труд стал реальной возможностью для миллионов, строящих счастливую и прекрасную жизнь. Каждому дана возможность растить свои способности. Вера Герцена в даровитость русского человека получила замечательное подтверждение.

Если, по словам Герцена, передовой интеллигенции 40-х годов «недоставало одного — простора, шири; накопившиеся мысли ныли по воле», если эта интеллигенция тосковала по просторам народной жизни, то в наше время перед каждым открыты просторы и возможности творческого участия в народной жизни.

Мысль о том, как гигантски выросла духовная жизнь нашей страны и как вместе с тем дороги и близки нам лучшие революционно-демократические заветы пламенной герценовской пропаганды и агитации, замечательно наглядно выразил в следующих строках Маяковский:

Бедный,
бедный Герцен!..
По радио
колокол-сердце
расплескивать бы
ему
по России.

(«Счастье искусства»)

Поэт передал нам в этих строках тоску Герцена по свободной России, по не стесненной никакими барьерами проповеди, обращенной к народу.

Всегда живая и ищущая, сочетающая огромные знания со смелым новаторством, стремящаяся к активному влиянию на народную жизнь, теоретическая мысль Герцена является драгоценным наследием советской науки.

Герцен учит самостоятельности, творческим дерзаниям мысли, неустанному стремлению претворять тео-

ретические выводы в практику, в дело. С какой уничтожающей иронией отзывался Герцен о «бюрократии науки», о схоластах и книжниках, о догматических, вперед данных рецептах, «снадобьях и приказах, как поступать в таком случае и в таком».

Мысль Герцена оказывает ценнейшую помощь в преодолении идеологических пережитков культа личности. Искандер был постоянным и последовательным противником слепого преклонения перед авторитетами, и вместе с тем каким ореолом искреннего восхищения, поэзии и красоты умел он окружать тех, кто двигает вперед историю, революцию, человеческую мысль!

Недаром писал Герцен в «Письмах из Франции и Италии»: «Предмет, говоря о котором, человек не может улыбнуться, не впадая в кощунство, не боясь угрызений совести, — фетиш, и человек не свободен, он подавлен предметом, он боится его смешать с *простою* жизнию» (5, 266).

У самого Герцена восхищение истинным величием было неотрывно от подлинно человеческого, ласково-дружеского чувства, совершенно чуждого какому-либо идолопоклонству, коленопреклоненному самоуничижению. В глазах Герцена величие вождя не может быть вознесено над «простой жизнью», над жизнью народа.

Велико значение лучших традиций художественного творчества и эстетических воззрений Герцена для развития советской литературы, как и передовой литературы всего мира. Своими художественными произведениями Герцен, не менее чем своей публицистикой, стремился вмешиваться в жизнь и достиг этого. Он воспитывал преданность передовым идеям, возбуждал стремление жить богатой, многосторонней духовной жизнью, постоянно стремиться вперед.

В письме к сыну, относящемся к 1859 году, Герцен писал о своеобразном восприятии читателем великой художественной литературы, о влиянии, ею оказываемом: «Чтением человек переживает века, не так, как в науке, где он берет последний очищенный труд, а как попутчик, вместе шагая и сбиваясь с дороги» (X, 45).

Глубокое замечание это очень точно характеризует впечатление, производимое чтением сочинений самого Герцена и влияние, ими оказываемое. В творениях Герцена встает история и борьба человеческого сознания во

всей сложности и противоречивости духовных исканий, развития и роста. Вместе с Герценом переживает читатель его идейный путь, его ошибки и победы.

А. В. Луначарский в 1922 году в статье «Советское государство и искусство» охарактеризовал последнее как «гигантскую песнь человечества о себе самом и своей среде», как «лирическую и фантастическую автобиографию нашего рода».

А те художественные произведения, в которых «...выразилось стремление человека к счастью, к социалистической правде, мужественное приятие мира, борьба с темными силами и т. д. и т. д.», Луначарский называл «настоящими кострами, освещающими путь трудовых масс» [1]. Таким было и есть творчество Герцена.

Когда читаешь Герцена, то видишь перед собою не только блестящего писателя, но и мудрого мыслителя, неутомимого революционного борца и человека огромной внутренней силы. Поэтому, вероятно, так велико обаяние знаменитого портрета Герцена, написанного Н. Н. Ге «с любовью, преданностью и верой» [2]. С этого портрета, изображающего автора «Былого и дум» в последние годы его жизни, пристально и испытующе смотрят на нас незабываемые глаза, в которых живет познавшая и муки поражения, и торжество победы многоопытная и неутомимая мысль, неотделимая от нравственной силы, не знающая остановки и покоя, превозмогающая разочарования, годы и усталь.

В творчестве Герцена воплощена красота русской передовой мысли, ее исканий и борьбы. В мировой литературе XIX века нет другого писателя, в творчестве которого встала бы такая широкая и красочная картина идейной жизни России и Западной Европы.

Для советской литературы и искусства сохраняют очень большое значение и художественная практика Герцена, и его призыв к созданию «искусства творческого, живого», способного явиться «художественным элементом в самой жизни», активно вмешивающегося, воспитывающего человека.

---

[1] А. В. Луначарский, Статьи об искусстве, изд. «Искусство», 1941, стр. 507.

[2] «Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка», сост. В. В. Стасов, М. 1904, стр. 164.

Традиции художественного творчества Герцена — это традиции высокоидейного, интеллектуально насыщенного искусства, полного духовного благородства.

Верность лучшим национальным традициям, широта идейного кругозора, глубокое восприятие великих достижений культуры всего человечества — неотъемлемое качество передовой литературы, учил Герцен.

Характерные черты герценовского художественного творчества в наше время приобрели особенно большое значение. Перед советской литературой стоит важнейшая задача изображения идейного роста советского человека, его интеллектуального, духовного богатства.

Герцен учил поэтическому изображению исканий передовой мысли своего времени. Он обладал замечательным даром, рисуя чрезвычайно конкретную, исторически точную и поэтическую картину идейной жизни своего времени, воссоздать на первом плане этого широкого полотна светлые, полнокровные фигуры виднейших представителей передовой культуры тех лет. Вспомним созданные в «Былом и думах» образы Белинского, Огарева, Щепкина, самого Герцена. Герценовское умение средствами искусства воплотить индивидуальное своеобразие жизненного и духовного пути каждого из изображаемых им передовых деятелей, особенности их интеллектуального творчества, передать светлую радость, доставляемую этим творчеством, сохраняет для советской литературы очень большую ценность.

Герцен создал классические образы, воплощающие героический духовный рост передового русского юношества. Лучшие традиции революционного поколения, поэтически изображенного Герценом, дороги советской молодежи. И разве «Молодая гвардия» Александра Фадеева и произведения Аркадия Гайдара не перекликаются с теми герценовскими образами, в которых нашла воплощение юная поэтическая и страстная «первая дружба», проникнутая единством революционных и патриотических стремлений и идеалов?

В наше время, когда так возросла морально-политическая ответственность писателя, когда проблема идейной и нравственной проверки человека приобрела в литературе социалистического реализма огромный удельный вес и вся эта литература устремлена к воссозданию и воспитанию всесторонне развивающейся

личности, кровно связанной с народом, с коллективом, только естественно, что наследие Герцена приобретает особенно большое значение для советского искусства.

Ольга Берггольц, высказывая надежду увидеть в литературе современного «нашего Герцена», писала о «Былом и думах»: «Какое бесстрашное и естественное слияние интимнейшего повествования о «кружении сердца» с картинами европейских социальных поворотов; какой умной и требовательной любовью пронизано создание обликов тогдашних передовых людей, борцов с царской тиранией, и рядом — какие уничтожающие, памфлетные характеристики и «портреты» царских сатрапов, и испепеляющая ненависть к Николаю I, и боль за русский народ, и вера в его безграничные силы! Обо всем в этой книге написано с той идейной прямотой, с тем личным страстным отношением, с той «субъективностью», которая и является одной из существеннейших сторон партийности художника. И все пропитано кровью сердца, и все — сокрушительной силы пропаганда!»[1]

Гордо, с мужественной нежностью рисуя деятелей прошедших этапов русского освободительного движения, Герцен воссоздавал картину развития русской общественной мысли, показывал, что опыт и типы революционного прошлого «пройдут, и все с той неутрачиваемостью однажды возбужденных сил, которую мы научились узнавать в физическом мире, останутся и взойдут, видоизменяясь, в будущее движение России и в будущее устройство ее» (20, 340).

Мысли и образы Герцена заставляют звучать много струн в душе советского человека. То чувство исторической преемственности, творческой связи с предшествующими поколениями и неразрывное с ними смелое революционное новаторство, получившее такое глубокое выражение в произведениях Герцена, близки, понятны и дороги советским людям.

Эти чувства мы можем определить и назвать образными словами советского поэта — «чувство поколений», «завет веков и вместе — предвестье будущих времен» (Твардовский).

Наследие Герцена вызывает у советских людей гор-

---

[1] Ольга Берггольц, Дневные звезды, изд. «Советский писатель», 1960, стр. 46—47.

дость последовательностью и блеском материалистической и революционной мысли, художественной глубиной, нравственной чистотой, преданностью народу. Пример Герцена наглядно учит тому, что идти вперед в области теории, в области культуры можно, лишь творчески усваивая и развивая все духовные ценности, накопленные человечеством.

Герцен говорил в одной статье 1860 года: «...человек и слаб, как *искра,* и силен, как *искра,* если верит в свою силу и *вовремя* попадет в приготовленную среду» (14, 289). Такой «искрой» в русском освободительном движении был сам Герцен.

Герцен в свое время гордо звал своих врагов на *«верховный суд России потомства, истории!»* (14, 204). Он имел право на то. «Россия потомства, истории» свершила свой суд, признала значение и вольного слова, и революционного дела Герцена и произнесла беспощадный приговор его врагам, врагам демократической и социалистической России.

Герцен пророчески писал, полемизируя с славянофилом И. Аксаковым: «Нет... не блудными детьми России, не поседевшими Магдалинами с понурой головой воротимся мы, если воротимся, а свободными людьми, требующими не оправданья, не прощенья, а признанья дела всей их жизни» (19, 254).

Герцен, его мысли, его творчество действительно получили на родине высшее признание, признание родного народа, невиданно, гигантски выросшего.

«Чествуя Герцена,— писал В. И. Ленин,— пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории; — учится понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...» [1]

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 15.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Агассиз Ж.-Л. — 475
Адлерберг А. В. — 452
Азадовский М. К. — 264
Аксаков И. С. — 137, 165, 404, 473, 524, 540, 542, 571, 605, 714
Аксаков К. С. — 82, 110, 140, 141, 404, 506
Аксаков С. Т. — 165, 633
Александр I — 8, 38, 364, 552, 645
Александр II — 71, 405, 411, 412, 430, 433, 449, 451—454, 459, 471, 502, 507, 508, 517, 519, 538, 558, 572, 590, 591, 657
Александра Федоровна (жена Николая I) — 454, 539
Алексеев М. П. — 650
Алексей (повар И. А. Яковлева) — 593
Андрианов А. А. — 213
Анненков П. В. — 5, 175, 208, 222—224, 237—239, 246, 255, 257, 265—267, 365, 460, 572
Аннибал — 445
Антон Безднинский — см. Петров Антон.
Антонович М. А. — 465
Анциферов Н. П. — 675
Аракчеев А. А. — 551
Аргиропуло П. Э. — 367
Аристотель — 189, 203
Асиновская С. А. — 213
Астракова Т. А. — 237

Базилева З. П. — 471, 503
Байрон Д.-Г. — 329, 356, 358
Бакай Я. И. — 542
Бакунин М. А. — 5, 83—85, 104, 114, 160, 221, 222, 240, 261, 262, 315, 319, 340, 346—349, 408, 409, 515, 527, 528, 582, 625, 666, 671, 672, 703
Бальзак О. — 184
Барабой А. З. — 468
Барнум Ф. Т. — 623
Барро Одилон — 276
Басин Е. Я. — 706
Бэкон Ф. — 30, 603
Белинский В. Г. — 5, 13, 24, 28, 42, 43, 51, 80—99, 103—105, 109, 110, 119, 125, 131, 135, 137—145, 149, 152, 155, 156, 160, 162, 165, 166, 169—180, 182, 184, 207, 208, 212, 214—216, 222, 227, 228, 233, 236—241, 255, 266, 300, 304, 305, 319, 320, 342, 343, 353, 355, 357—360, 365, 366, 403, 408, 411,

413, 414, 424, 432, 434, 435, 507, 547, 548, 553, 557, 573, 594—597, 599, 603, 604, 623, 624, 631, 634, 644, 681, 712
Белявская И. М. — 514
Бенкендорф А. Х. — 72, 93, 133, 601
Беранже П.-Ж. — 220, 231
Берггольц О. — 618, 713
Беринг А. А. — 443, 452
Берлин И. — 693—704, 706
Берне Л. — 31
Бестужев-Рюмин М. П. — 16, 386
Бетховен Л. — 648
Бехер И. — 691
Бирон И. Э. — 549, 551
Благой Д. Д. — 357
Блан Л. — 221, 271, 274, 280, 606, 701
Бланки О. — 588
Блудов Д. Н. — 364, 646
Боборыкин П. Д. — 673
Богатырев Ш. М. — 481
Бомарше П. — 11
Бонапарт П. — 673, 675
Бонер Р. — 650
Бортнянский С. С. — 647
Борщевский С. С. — 615, 634
Борщов И. Г. — 576
Ботев Х. — 481, 482
Боткин В. П. — 5, 85, 103, 104, 114, 135, 139, 175, 207, 214—216, 236—239, 241, 255, 265—267, 365, 393, 394, 396, 425, 429, 439, 509, 510, 524, 557, 558, 560, 571—573, 604, 703
Боткин М. П. — 484
Боткин С. П. — 674
Брандес Г. — 446
Брейсбен — см. Брисбен А.
Брисбен А. — 278, 475
Бродский Н. Л. — 82, 510
Бруннов Ф. И. — 392
Брюллов К. П. — 126, 507
Булгарин Ф. В. — 153, 157, 462
Бушканец Е. А. — 470
Бушо — 18
Бюффон Ж. — 116
Бялик Б. А. — 641

Ван-Дейк А. — 327
Варнгаген фон Энзе К.-А. — 391
Вейдемейер И. — 362
Вентури Ф. — 691
Вера Артамоновна (няня Герцена) — 8, 591
Ветошников П. А. — 528
Виленская Э. С. — 506
Витберг А. Л. — 53, 65—67, 128, 379, 599
Волгин В. П. — 6, 590
Володин А. И. — 88, 678, 690, 705
Вольтер Ф. — 18, 112, 129, 155, 184, 216, 231, 275, 307, 351, 377, 456, 599, 706
Вольф Б.-Д. — 702
Воробьев Л. — 482
Воронцов В. П. (В. В.) — 546
Ворцель С. — 398, 511—513
Вырлина А. — 593
Вырубов Г. Н. — 674, 675

Гааг Л. И. — 10, 14, 47, 51, 54, 72, 218, 269, 290, 335
Гагарин П. П. — 502
Гай Г. — 155
Гайдар А. П. — 712
Гакстгаузен А. — 339, 340, 342, 343, 389
Галахов И. П. — 244, 599
Гамбс — 485
Гарибальди Д. — 491, 518, 540, 563—565, 589, 624, 625
Ге Н. Н. — 653, 711
Гегель Г.-В.-Ф. — 30, 83, 85—88, 92, 93, 104, 112—114, 117—119,

121, 126—128, 189, 190, 192, 193, 221, 414, 596, 670, 686, 687
Гейне Г. — 31, 32, 100, 103, 185, 255, 332, 333, 375, 639, 641, 661
Гельвеций К.-А. — 205
Гензерих — 648
Гераклит Эфесский — 193
Гервег Г. — 293—296, 301, 332—336, 338, 348, 375—377, 613, 635, 652
Герцен А. А. (Саша) — 80, 163, 179, 210, 218, 272, 332, 397, 404, 472, 477, 493, 497, 498, 513, 523, 549, 576, 613, 624, 651, 652, 659, 660, 710
Герцен Е. А. (Лиза) — 523, 652
Герцен Н. А. (жена Герцена) — см. Захарьина Н. А.
Герцен Н. А. (Тата), дочь Герцена — 211, 218, 259, 332, 397, 404, 497, 498, 570, 641, 651, 652
Герцен Н. А. (Коля), сын Герцена — 210, 211, 218, 335
Герцен О. А. (Ольга) — 397, 497, 498, 651
Гесс М. — 295, 312, 313
Гёте И.-В. — 56, 57, 78, 100, 126, 128, 129, 288, 328, 333, 486, 599, 608, 611, 688
Гинзбург Б. С. — 446
Гинзбург Л. Я. — 5, 67, 68, 289, 363, 380, 618, 633
Гицкий В. — 541
Глебов И. Т. — 195
Глинка М. И. — 507, 647
Глинка Ф. Н. — 85
Гоббман П. — 703
Гогенцоллерны — 662
Гоголь Н. В. — 52, 86, 95, 102, 103, 105, 107, 129, 168, 169, 176, 183, 184, 187, 203, 239, 320, 353, 356—358, 366, 411, 413, 414, 424, 451, 490, 507, 541, 547, 553, 640
Голицын Ю. Н. — 647
Головенченко Ф. М. — 238
Головин И. Г. — 397, 623
Гольбах П. — 145
Гомер — 648, 688
Гончар О. С. — 496
Гончаров И. А. — 23, 181, 187, 434, 595
Горький А. М. — 5, 78, 88, 158, 198, 199, 205, 311, 442, 598, 639, 641
Гофман Э.-Т.-А. — 39, 69
Грановская Е. Б. — 249
Грановский Т. Н. — 5, 21, 83, 87, 132, 135, 139, 143, 151, 152, 154, 155, 163, 175, 184, 207—218, 222, 225, 241, 242, 249, 255, 258, 263, 265—267, 320—322, 364—367, 380, 381, 392, 393, 396, 403, 404, 423—430, 432, 435, 439, 509, 548, 594, 604, 626, 627, 639
Гребеничкова Р. — 481, 691
Грёз Ж.-Б. — 327
Греч Н. И. — 153, 462
Грибоедов А. С. — 181
Григорович Д. В. — 249, 486
Гусарова Ф. П. — 6
Гусев Н. Н. — 638
Гутцейт Л. К. — 544
Гюбер Л. — 252
Гюго В. — 67, 411, 446, 632, 650, 651

Данте А. — 209, 564, 625
Дантон Ж.-Ж. — 143, 487
Декарт Р. — 199
Дементьев А. Г. — 467
Демулен К. — 143
Дерман А. Б. — 176
Джонс Э.-Ч. — 400

Дидро Д.— 185, 205, 216
Диккенс Ч. — 225
Дмитриев И. И. — 67
Дмитрий Ростовский — 57
Добролюбов Н. А. — 148, 163, 279, 322, 422, 444, 453, 461—464, 466, 470, 471, 507, 533, 544, 547, 560, 681
Доланский Ю. — 481, 691
Долгоруков В. А. — 452, 502
Долгоруков П. В. — 540
Долинин А. С. — 101, 501
Долотова А. М. — 634
Дольчи К. — 327
Доносо-Кортес Ж.-Ф. — 270, 293, 297
Дорофеев В. П. — 668
Достоевский Ф. М. — 375, 495, 634
Дружинин А. В. — 470, 485
Дружинин Н. М. — 445
Дрыжакова Е. Н. — 155, 461
Дубельт Л. В. — 601
Дубовиков А. Н. — 68, 69
Дубровин — 390
Дуров С. Ф.— 320
Дымшиц А. Л. — 39, 40
Дьяконов В. А. — 526
Дюссо — 305
Дядьковский И. Е. — 195

Екатерина II — 9, 11, 367
Епифанов В. — 433
Ерихонов Л. — 482

Жадановский Н. П. — 610
Жирмунский В. М. — 129
Жорж Санд — 623
Жуковский В. А. — 67, 71, 85

Зайончковский П. А. — 455
Зайцев В. А. — 533
Заичневский П. Г. — 367
Закревский А. А. — 443, 452, 575
Заславский Д. И. — 212—214
Застенкер Н. Е. — 318
Захарьина К. И.— 47
Захарьина Н. А. — 20, 47—49, 51, 52, 54—56, 58—62, 64, 66, 68, 70—74, 93, 106, 110, 154, 158, 216, 218, 243, 247, 255, 259, 269, 331, 332, 334, 335, 377, 436, 497, 498, 613, 629, 632, 635, 652, 675
Зелигер-Рубинштейн Е. И. — 5, 690
Зельдович М. Г.— 677
Зильберфарб И. И. — 607
Зильберштейн И. С. — 648
Зольгер Р.— 312, 313

Иванов А. А. — 487—489, 507, 648
Иванов С. А. — 489
Иванова Л. А. — 78
Иллерицкий В. Е.— 354

Кавелин К. Д. — 5, 139, 169, 208, 237, 404, 424, 430—435, 438, 439, 447, 451, 453, 454, 456, 460, 464—466, 509, 510, 558, 561, 572, 573, 633, 638
Кавеньяк Л.-Э. — 253
Кавур К.-Б. — 563
Калинин М. И. — 155
Кампанелла Т. — 681
Кан С. Б. — 408
Каравелов Л. — 482
Каразин В. Н. — 552, 645
Каракозов Д. В.— 590, 657
Карамзин Н. М. — 105
Карлейль Т. — 632
Касик К. — 481
Катков М. Н. — 507, 508, 516, 517, 523, 540, 542, 669
Каховский П. Г. — 16
Каченовский М. Т. — 25, 26
Кедров Б. М. — 193

Кельсиев В. И. — 493, 494, 496, 524
Кельсиев И. И.— 507, 524, 529
Кетчер Н. Х.— 24, 41, 51, 63, 72, 74, 79, 104, 135, 139, 143, 207, 210, 215, 217, 255, 265, 266, 380, 381, 392, 394, 396, 429, 430, 439, 509, 516, 557, 558, 605
Кетчер С.— 593
Киреевский И. В. — 136, 144
Клевенский М. М. — 523
Клеман М. К.— 566
Клоотс Анахарсис (Жан-Батист)— 57, 101
Клопотовская Л.— 443, 445, 446
Ковалев Ю. В. — 363
Ковалевский В. О. — 495
Коган Л. Р. — 200
Козьмин Б. П. — 462, 463, 466, 470, 531, 534, 669
Кокорев В. А.— 444
Кокошкин С. А. — 601
Колачек А. — 335
Кольцов А. В. — 357
Константин Николаевич (великий князь) — 447, 580
Конт О. — 674, 687
Коперник Н. — 30, 153
Корреджио А. — 130
Корф М. А. — 646
Корш Е. Ф. — 135, 139, 175, 207, 214, 216, 237, 239, 255, 429, 509, 557, 560, 604
Костюшко Т. — 32
Кошут Л.— 636
Краевский А. А. — 166, 189
Крестова Л. В. — 58, 486
Критские В. И., М. И., П. И.— 24
Крылов И. А. — 360
Крылов Н. И. — 542
Курочкин В. С. — 545
Курута И. Э. — 72
Курута Ю. Ф. — 72
Курье П.-Л. — 231
Кучина Т. П.— см. Пассек Т. П.
Кювье Ж.— 116
Кюстин А. — 258

Лабри Р. — 518, 693
Лавров П. Л. — 686
Ламенне Ф.-Р. — 73
Ламорисьер К.-Л. — 276
Ландсир Э.-Г. — 650
Ланский Л. Р. — 237, 363, 611
Лапинский Ф. — 523
Лаплас П.-С.— 116
Лассаль Ф. — 671
Левассер Р. — 229, 231
Левасор П.— 229, 231
Левин Ш. М. — 340, 401, 403, 520
Ледрю-Роллен А.-О. — 267, 269, 274, 315, 398, 562, 606, 607, 701
Лейбниц Г.-В. — 192
Леметр Ф. — 229
Лемке М. К. — 3, 50, 157, 265, 337, 392, 401, 442, 577, 615, 617
Лемперт Е. — 706
Ленин В. И. — 4, 15, 17, 22, 23, 38, 80, 81, 86, 91, 92, 94, 95, 120, 121, 189, 195, 196, 205, 217, 219, 227, 228, 234, 235, 271—274, 281, 292, 314, 341, 342, 344, 391, 408, 409, 411—413, 415, 435, 437, 442, 445, 447—449, 451, 457, 458, 467, 468, 483, 499, 500, 503, 508, 517, 520, 536, 543, 546, 547, 578, 584, 594, 595, 597, 656, 666, 667, 670, 672, 676—679, 681, 682, 685—688, 699, 700, 703, 706, 707, 714
Леопарди Д. — 329, 330
Лепешкин — 148, 390
Лермонтов М. Ю. — 67, 82, 281, 358, 386, 413
Леру П. — 274, 636
Либих Ю. — 475

Линков Я. И. — 384, 520—522
Линтон В. — 363
Литтре Э. — 674
Лицинер С. Д.— 523, 568, 649
Локис Д. — 40, 691
Ломоносов М. В. — 3, 28, 198, 358, 549, 553
Луи Бонапарт — см. Наполеон III.
Луи-Филипп — 218, 220, 251, 457
Лукан Марк Анней — 291
Лукиан — 129, 130
Луначарский А. В. — 186, 711
Людовик XVI — 18
Лютер М.—56

Майков В. Н. — 156
Максимович М. А. — 28, 29
Малиа М.— 700, 701, 702
Малов М. Я. — 32
Мария Александровна (жена Александра II) — 471
Мария Николаевна (дочь Николая I) — 392
Марко Вовчок (Маркович М. А.)— 483, 485
Маркс А. Ф. — 10
Маркс К. — 30, 33, 34, 55, 86, 191, 195, 196, 198, 220—222, 227, 232, 237, 249, 252, 253, 267—269, 275, 313—317, 328, 333, 340, 341, 346—349, 362, 376, 398, 406—410, 479, 480, 518—520, 625, 639, 662, 666, 671, 673, 685, 699, 700, 707
Мартьянов П. А. — 496, 541, 542, 553
Матвей Савельевич (слуга Герцена) — 593
Матюшенко Л. И. — 541, 542
Маццини Д.— 274, 295, 296, 301, 336—338, 386, 406, 411, 563—565, 606
Машинский С. О.— 490
Маяковский В. В. — 709
Медведева П. П. — 60, 66
Мейзенбуг М.— 311, 397, 589, 629, 644, 651, 653
Мечников Л. И. — 517
Микеланджело Буонаротти — 327, 564, 599
Микулинский С. Р. — 29, 195
Милль Д.-С. — 474, 476, 617, 687
Минин (Сухорук) К. З. — 206
Мирабо О. — 487
Михайлов М. Л. — 495, 509, 553, 590
Мицкевич А. — 145, 146, 345, 512, 516
Мишле Ж. — 37, 345, 362, 410, 411, 632
Мор Т. — 681
Моцарт В. — 487, 599
Мочалов П. С. — 173, 396, 647
Мошкалов П. С. — 524
Муравьев М. Н. — 502, 508, 516, 540
Муравьев-Апостол С. И.— 16, 347, 384, 386, 552
Мурильо Э.-Б. — 484

Набокова Г. И. — 6
Назимов В. И. — 452
Налбандян М. Л. — 503
Наполеон I Бонапарт — 8, 9, 65, 226, 245, 457, 684
Наполеон III — 61, 258, 268, 273, 279, 284, 335, 345, 399, 662—665, 672, 673
Неверов Я. М. — 266
Неккер Ж. — 457
Некрасов Н. А. — 16, 188, 208, 302, 320, 343, 507, 547, 549, 674
Нерон — 64, 75, 76, 507
Нечаев С. Г. — 527
Нечаева В. С.— 173
Нечкина М. В. — 6, 22, 440, 454, 463, 466—470, 515, 520, 522, 523

Николадзе Н. Я. — **531**
Николай I — 16, 23, 40, 44, 49, 50, 64, 71, 72, 93, 102, 106, 109, 111, 133, 134, 137, 142, 151, 152, 166, 172, 173, 185, 209, 210, 217, 222, 224, 234, 255, 258, 262, 279, 320, 337, 338, 347, 354, 379, 380, 385, 386, 392, 398, 399, 401, 404, 406—408, 410—412, 424, 427, 429, 453, 455, 461, 472, 479, 483, 506, 507, 509, 539, 541, 581, 584, 600, 601, 623, 626, 627, 632, 654, 713
Нович И. С. — 181
Новосильцев П. П.— 443
Нуар В. — 673, 675

Обручев В. А. — 553
Обручев Н. Н. — 503, 537
Огарев Н. П. — 3, 5, 19—27, 31, 33, 38—40, 42, 45—50, 52, 55, 67, 68, 72—74, 79, 86—88, 93, 94, 97, 98, 117, 135, 160, 196, 207, 209, 210, 216, 217, 248, 256, 267, 291, 325, 343, 347, 381, 397, 415—417, 428, 429, 439, 440, 442, 455, 456, 458, 459, 461, 464—466, 468—470, 486, 489, 494, 495, 497, 503—507, 513, 515, 522—525, 527, 528, 531, 535, 537, 543, 546, 594, 604, 652—654, 657, 667, 668, 673, 674, 712
Огарев П. Б. — 19, 74
Огарева М. Л.— 73, 74, 381
Огарева-Тучкова Н. А. — 249, 255, 256, 331, 332, 334, 381, 397, 497, 498, 651, 652
Одоевский В. Ф. — 162
Оксман Ю. Г. — 6, 90, 355
Ольга Николаевна (дочь Николая I) — 392
Орлов А. Ф. — 44, 137
Орлов М. Ф. — 44, 47, 108, 594
Остерман А. И. — 549
Островский А. Н. — 200, 495, 647
Оуэн Р. — 578, 579, 581, 582, 599, 600, 602, 617, 619, 624, 632, 668, 681

Павленков Ф. Ф. — 49, 51, 54, 55, 59, 64, 243
Павлов М. Г. — 25
Панаев И. И. — 171
Панин В. Н. — 181, 414, 444
Партридж М. — 492, 691
Паскаль В. — 299
Паскевич И. Ф. — 222
Пассек В. В. — 24
Пассек Л. В. — 59
Пассек Т. П. — 10—13, 18, 69
Пен В. — 75, 79
Пестель П. И. — 16, 31, 347, 353, 384, 386, 506, 507, 552, 592
Петр I — 36, 37, 109, 142, 148, 207, 226, 351, 359, 424, 425, 550—552, 628
Петраш В. В. — 526
Петрашевский М. В. — 132, 233, 264, 319, 320, 340, 359, 360, 386, 397, 553, 594
Петров А. — 538
Печерин В. С.— 369, 370, 632
Пиа Ф. — 324
Пизакане К. — 563
Пий IX — 251, 446
Пикулин П. А. — 424
Пирогов Н. И. — 445
Пирожкова В. — 705, 706
Пирсон Ч.-Г. — 691
Пирумова Н. — 550
Писарев Д. И. — 421, 524
Платон — 189
Плеханов Г. В. — 195, 196, 410
Плещеев А. Н. —.320
Плиний Младший — 288
Плиний Старший — 291
Плоткин Л. — 155

Погодин М. П. — 137, 144, 537
Полевой Н. А. — 40, 41, 44, 358
Полежаев А. И. — 380
Поляков М. Я. — 24, 88
Потебня А. А. — 516
Потехин А. А. — 674
Протопопов И. Е. — 13, 17
Прудон П.-Ж. — 5, 221, 222, 315—319, 376, 411, 517—519, 632, 687, 701
Птушкина И. Г. — 6, 87, 150, 552
Пугачев Е. — 350, 387, 458
Пульская Т. — 380
Путинцев В. А. — 6, 68, 101, 155, 470, 495, 501, 610, 617, 666, 667
Пушкин А. С. — 8, 9, 13, 17, 18, 44, 101, 153, 182—184, 186, 199, 248, 258, 261, 328, 339, 344, 349, 352, 355—358, 380, 386, 410, 413, 507, 552, 598, 599, 638—640, 688

Радищев А. Н. — 28, 352, 399, 552
Раевский Н. Н. — 44, 47
Расин Ж. — 323, 648
Рафаэль С. — 130, 327
Рашель Э. — 303, 323
Рейсер С. А. — 470, 471, 678
Рейснер Э. — 492, 691
Рейхель А. — 312
Рейхель М. К. — 377, 380, 381, 383, 384, 392—397, 428, 429, 433, 438, 439, 487, 492, 509, 608
Рембрандт ван Рейн — 484, 485
Репин И. Е. — 598, 648
Робеспьер М. — 92, 143, 215
Розенталь В. Н. — 432
Романенко В. И. — 495
Романовы — 448
Рославлев Л. Я. — 381
Ротшильд Д. — 230
Рубенс П.-П. — 485
Рубинштейн Н. Г. — 495
Руге А. — 221, 237
Рулье К. Ф. — 195, 419, 420
Руссо Ж.-Ж. — 11, 12, 18, 19, 26, 112, 145, 150, 231, 245, 301, 302, 307, 318, 599, 608, 698
Рылеев К. Ф. — 16—18, 25, 27, 31, 352, 380, 386, 410, 413, 507, 592

Сабашниковы М. и С. — 180, 216
Савич А. Н. — 24, 42, 71
Сазонов Н. И. — 24, 43, 51, 56, 160, 221, 222, 268, 311, 321, 594, 600
Сакулин П. Н. — 58
Салов В. И. — 703
Салтыков-Щедрин М. Е. — 11, 53, 60, 132, 163, 178, 181, 188, 212, 279, 343, 371, 402, 403, 431, 444, 510, 517, 541, 547, 557, 561, 572, 640, 674
Салтыкова Е. А. — 60
Самарин Ю. Ф. — 5, 141, 404, 518, 519, 524, 570—575, 577, 578, 605
Сатин Н. М. — 24, 42, 98
Сведенборг Э. — 66
Себастиани О. — 588
Сенека Л.-А. — 291
Сенковский О. И. — 358
Сен-Жюст А. — 562
Сен-Симон А. — 31, 33—35, 38, 56, 58, 150, 361, 681
Сервантес М. — 565
Сержан А.-Ф. — 665
Серно-Соловьевич А. А. — 495, 532—535, 560
Серно-Соловьевич Н. А. — 495, 503, 507, 528
Сеченов И. М. — 195
Скворцов А. Е. — 53
Скворцова — 53
Скотт В. — 688
Скриб Э. — 325
Слепцов А. А. — 503, 522

Слепцов В. А. — 499
Сливовский Р. — 519, 691
Смирнова З. В. — 119
Смит А. — 234
Смолин И. С. — 445, 503
Соколова М. А. — 634
Соколовский В. И. — 46, 50, 51, 423
Соловьев И. М. — 23
Соловьев С. М. — 402
Софокл — 648
Спартак — 541
Станкевич Н. В.—82—84, 104, 143,
Стасов В. В. — 488, 495, 598, 649, 650, 711
Стахеев Б. Ф. — 145
Стендер-Петерсен А.— 707
Степун Ф. — 705
Строганов А. Г. — 72, 106
Струве П. — 677
Субботин Д. Т. — 526
Суворов А. В. — 399
Сунгуров Н. П. — 25, 46
Сусанин И. — 647

Тараканова В. П. — 562
Тахо-Годи А. А.— 77
Твардовский А. Т. — 619, 713
Теплов Б. М. — 164
Терещатова Л. С. — 6
Тиберий — 64
Тихон (воронежский епископ) — 537, 543
Тициан В. — 130
Токвиль А. — 79, 602
Толочанов — 14
Толстой Л. Н.— 9, 181, 430, 431, 492, 495, 592, 634, 638, 640, 698
Трегенц Д. — 691
Трувеллер В. В. — 526
Трюбнер Н. — 493
Туган-Барановский М. И. — 390
Тульчинский М. Р. — 703
Тургенев И. С. — 5, 169, 173, 187, 188, 246, 259, 320, 334, 414, 425—427, 432, 434, 439, 460, 485, 486, 495, 509, 510, 517, 557—561, 565, 566, 573, 574, 595, 625, 633, 634, 637, 638, 640, 644, 648
Тургенев Н. И. — 354, 506
Турчанинов И. В. — 496
Тучков А. А. — 248, 249, 255, 256, 381
Тучкова Е. А. — 249, 255, 256
Тучкова Н. А.— см. Огарева-Тучкова Н. А.
Тьер Л.-А.— 276, 277, 315
Тюрго Р.-Ж.— 457
Тюфяев К. Я.— 63, 74, 601, 640

Уваров С. С. — 130, 137
Усакина Т. И. — 461
Утин Н. И. — 531, 533

Фадеев А. А. — 712
Фалес Милетский — 190, 191
Федора (св.) — 57
Фейербах Л. — 27, 117—119, 204, 205, 491, 492, 687
Фейнберг И. Л. — 640
Фидий — 648
Филарет (митрополит московский и коломенский) — 222, 266, 537
Фиркс Ф. И.— см. Шедо-Ферроти.
Фихте И.-Г. — 29
Фишман С.— 691
Фонвизин Д. И. — 352
Фребель Ю. — 312
Фридрих Барбаросса — 229
Фридрих Вильгельм IV — 333
Фрич И. В. — 481
Фролов Н. Г. — 241
Фурье Ш. — 35, 38, 150, 151, 244, 475, 681

Ханыков Н. В. — 492
Хинкулов Л. Ф. — 471
Хованская М. А. — 47, 48, 72, 158, 377
Хомяков А. С. — 135, 136, 138—141, 361, 403, 575
Хрущев Н. С. — 681, 693

Цезарь Кай Юлий — 338
Цейтлин А. Г. — 25
Цеханович П. — 63, 512
Цигенгейст Г. — 335, 337, 363, 691
Цыпкина З. М. — 563

Чаадаев П. Я. — 44, 64, 65, 100, 211, 218, 357, 365, 366, 483, 575, 594, 599, 627—629
Чарторижский А. — 513
Чеботарев В. С. — 64
Челлини Б. — 608
Чернецкий Л. — 385
Чернышевская Н. М. — 200
Чернышевская О. С. — 60, 61
Чернышевский Н. Г. — 5, 11, 27, 28, 34, 42, 60, 61, 84—87, 89, 91, 96, 97, 123, 139, 148, 183, 200, 206, 209, 212, 213, 234, 322, 330, 331, 341, 358, 360, 402, 408, 414, 415, 417, 418, 421, 430, 431, 434, 451, 453, 455, 462—467, 469, 470, 477, 481, 482, 488, 495, 505, 507, 509, 510, 528—530, 532—534, 544, 547, 548, 553, 571, 572, 583, 585, 590, 593, 603, 613, 660, 680, 681, 687, 708
Черняк Я. З. — 213, 666, 667
Чесноков Д. И. — 194
Чичерин Б. Н. — 5, 180, 255, 402, 404, 424, 429—435, 438, 439, 459, 460, 469, 509, 542, 572, 617
Чичерина Е. Б. — 255
Чичероваккио Б.-А. — 247, 249
Чуковская Л. К. — 618
Чумиков А. А. — 264, 318, 356

Шадури В. — 531
Шангарнье Н. — 268
Шапиро А. Б. — 155
Шатобриан Ф.-Р. — 275
Шевченко Т. Г. — 483
Шевырев С. П. — 137, 144, 212, 637, 638
Шедо-Ферроти — 477, 507, 518, 524
Шейберт П. — 703—706
Шекспир В. — 78, 125, 126, 484, 599, 603, 641, 645, 688
Шелгунов Н. В. — 404, 413, 495, 534, 617
Шеллинг Ф.-В. — 26, 29, 30, 55, 138, 192
Шелудько С. А. — 6
Шетер И. — 691
Шиллер Ф. — 11, 18, 19, 26, 27, 41, 78, 101, 128, 154, 333, 599, 641, 688
Шмидт Г. — 705
Шопенгауэр А. — 576
Шпет Г. Г. — 699, 701
Штейн К. — 599
Шульце-Делич Ф.-Г. — 529

Щепкин М. С. — 135, 176, 207—209, 236, 237, 392—396, 446, 447, 547, 595, 599, 647, 712
Щербатов М. М. — 399

Эзоп — 45, 179, 220, 225, 226, 241, 416
Эльстер Э. — 32
Энгельс Ф. — 30, 33, 34, 55, 129, 190, 191, 195, 196, 198, 220, 232,

249, 252, 253, 267—269, 275, 313—315, 317, 333, 340, 341, 346—349, 362, 375, 376, 398, 406—409, 479, 480, 518—520, 625, 639, 671
Энгельсон В. А.— 132, 384, 397, 401, 411, 594, 634
Эпикур — 205, 352, 556, 576, 698

Юдифь — 324
Юстиниан — 295

Языков Н. М. — 143
Якоби И. — 312
Яковлев Александр Алексеевич — 16, 47
Яковлев Алексей Александрович («химик») — 27, 28
Яковлев И. А.— 8—12, 14—16, 19, 25, 47, 93, 218, 377
Яковлев Л. А. — 10, 16
Якушкин И. Д. — 422, 423, 507
Ямпольский И. Г. — 545

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НА РОДИНЕ
(1812—1847)

I. Раннее развитие (1812—1828) 7

1. В доме отца 8
2. Пробуждение политических интересов и дружба с Огаревым 15

II. Юность (1829—1834) 23

1. В университете.— Первые философские сочинения 23
2. Политика и утопический социализм 31
3. Дружеский круг, мечты и замыслы 39

III. Испытания (1834—1839) 45

1. Арест и ссылка 45
2. Герцен и Н. А. Захарьина 54
3. Уроки Вятки и литературная работа 62
4. Во Владимире 71

IV. Герцен и идейная борьба 40-х годов XIX века (1839—1847) 80

1. Герцен и Белинский 82
2. «Записки одного молодого человека» 99
3. В новгородской ссылке 106

4. «Дилетантизм в науке». — Эстетические взгляды Герцена начала и середины 40-х годов 111
5. Герцен, славянофилы и западники 132
6. Дневник Герцена 1842—1844 годов 149
7. «Кто виноват?» 155
8. «Сорока-воровка» 170
9. «Доктор Крупов» 177
10. Реализм Герцена 40-х годов 182
11. «Письма об изучении природы» 188
12. Этические воззрения Герцена 200
13. В Москве в 1842—1846 годах.— Герцен и Грановский.— Дружеский круг и идейные расхождения.— Отъезд за границу 207

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЕРЦЕН В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА (1847—1851)

I. В Париже в 1847 году 219

II. «Письма из Avenue Marigny» 224

III. В Италии в 1847—1848 годах. — «Перед грозой».— Итальянское освободительное движение и «Письма с Via del Corso» 243

IV. Июньские дни 1848 года 251

V. В Париже в 1848—1849 годах 256

VI. Духовная драма Герцена после поражения революции 1848 года 270

1. Идейное содержание «С того берега» и «Опять в Париже» 270
2. Художественные и публицистические элементы в книге «С того берега» 298
3. Проблема личности и общества в книге «С того берега» 306
4. «С того берега» и современники Герцена . . 311

VII. Эстетические взгляды Герцена конца 40-х годов 323

VIII. Семейная драма Герцена 331

IX. Первые статьи о России для западноевропейского читателя.— Зарождение народнических взглядов.— Герцен и славянство 336

X. «О развитии революционных идей в России» . . 349
XI. «Долг прежде всего» 367
XII. «Поврежденный» 371

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЕРЦЕН В ЛОНДОНЕ. — СОЗДАНИЕ ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ПЕЧАТИ (1852—1860)

I. Первые годы пребывания в Лондоне.— Организация Вольной русской типографии. — Замысел «Былого и дум» (1852—1853) 375
II. Восточная война и пораженческая позиция Герцена — патриота и революционера 399
III. «Полярная звезда» и русское общество 410
1. «Полярная звезда» и Чернышевский и Добролюбов 414
2. «Полярная звезда» и Грановский 423
3. «Полярная звезда» и Чичерин и Кавелин . . 430
IV. «Колокол» в 1857—1860 годах 440
1. Организация «Колокола», его распространение и общий характер издания.— Революционная агитация Герцена 440
2. Борьба против самодержавно-крепостнического строя и либеральные колебания Герцена-демократа.— Крестьянский вопрос.— Герцен и революционная демократия.— Критика буржуазного порядка 450
3. Славянский вопрос в «Колоколе» 477
V. Эстетические воззрения Герцена 50-х годов . . 484
VI. Общественная роль Герцена. — Личная жизнь 491

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЕРЦЕН В ЛОНДОНЕ И ЖЕНЕВЕ. — «КОЛОКОЛ».— «БЫЛОЕ И ДУМЫ». — ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ (1861—1870)

I. «Колокол» в 1861—1867 годах 499
1. Революционно-демократические позиции Герцена.— Борьба против самодержавия и разоблачение либерализма 499

2. Герцен и Польша 511
3. Революционно-организующая роль вольной русской печати.— Герцен и «Земля и воля».— «Колокол» в Женеве. — Герцен и «молодая эмиграция» 520
4. Стиль герценовской публицистики.— Сатира и лиризм. — Памфлеты Герцена 536

II. Герцен о путях русской жизни и культуры.— «Концы и начала» (1862—1863).— Полемика с Тургеневым.— Образы и стиль 545

III. Философские позиции Герцена и эволюция его взглядов на перспективы исторического развития (1861—1867) 569

IV. «Былое и думы» 591

1. Идейное содержание 591
2. Образы и стиль 621

V. Эстетические воззрения Герцена 60-х годов . . 642

VI. Последние годы (1867—1870) 651

Личная жизнь.— Судьба «Колокола».— Эволюция мировоззрения.— Последняя часть «Былого и дум».—Беллетристика 1868—1869 годов.—Письма «К старому товарищу» 651

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Ленин о Герцене 676
2. Идейная борьба вокруг наследия Герцена и современность 688

Именной указатель 717

Яков Ефимович
Эльсберг

ГЕРЦЕН

Редактор *С. Гиждеу*
Худож. редактор *Г. Андронова*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *М. Доценко*

•

Сдано в набор 5/VI 1963 г.
Подписано к печати 13/IX 1963 г.
Бумага $84\times108^{1}/_{32}$ — 22,88 печ. л.
37,52 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 39,59+
+1 вкл. = 39,64 л. Тираж 5 000 экз.
Заказ № 352. Цена 1 р. 80 к.
Издательство
Художественной литературы
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

•

Московская типография № 8
Управления полиграфической
промышленности Мосгорсовнархоза
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Т. 30 к.

Я. ЭЛЬСБЕРГ ■ ГЕРЦЕН